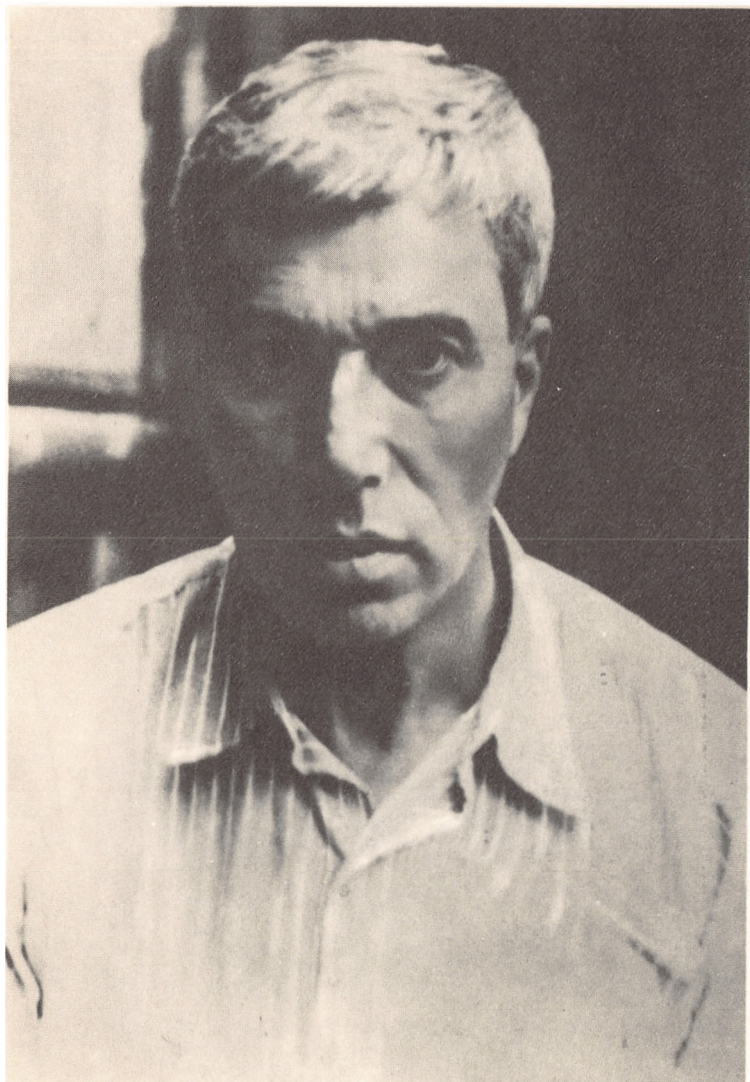


5

W. W. [unclear]

5
K
A
M
P
I
S
A
N
A
S
P
E
C
I
M
E
N



Б. Л. Пастернак. 50-е годы

БОРИС ПАСТЕРНАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ПЯТЫЙ

БОРИС ПАСТЕРНАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

А. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Д. Ф. МАМЛЕЕВ

А. А. МИХАЙЛОВ

Е. Б. ПАСТЕРНАК



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1992

БОРИС ПАСТЕРНАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

ТОМ ПЯТЫЙ

ПИСЬМА



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1992

**ББК 84Р6
П19**

**Издание выпущено по Федеральной
целевой программе книгоиздания
России**

**Составление и комментарии
Е. В. ПАСТЕРНАК И К. М. ПОЛИВАНОВА**

**Оформление художника
И. САЛЬНИКОВОЙ**

П $\frac{4702010206-174}{028(01)-92}$ Подписное

**ISBN 5-280-00985-7 (Т. 5)
ISBN 5-280-00765-X**

**© Пастернак Е. В. Со-
ставление, комментарии.
1992.**

**© Поливанов К. М. Со-
ставление, комментарии.
1992 г.**

**© Сальникова И. Оформ-
ление. 1992 г.**

ПИСЬМА

1. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ ¹

7 июля 1910, Меррекюль ²

Дорогая Оля!

Я не могу писать. Идут целые стопы объяснений; их нельзя довести до конца. Все это так громоздко. И три письма последовательно друг за другом пошли к черту. Цель их была — возвести в куб и без того красноречивый многочлен доводов в пользу твоего приезда сюда.

Дорогая Оля, ради Бога приезжай сюда и поскорее. Тебя, наверное, рассердило мое зимнее безмолвие, и вообще ты предубеждена против таких самоочевидных и простых максим, как, например, необходимость твоего присутствия здесь. Что мне делать?

Два слова о зимнем безмолвии: тогда тоже письма шли к черту; и это были большие письма, о Мопассане и Нильсе ³ и о тебе, и этих писем было три. (Это у меня предельная цифра.) Это совсем не интересно. Только я не молчал. И если можешь, не сердись. Мне так хочется видеть тебя, что боюсь сказать. Я сюда приехал на две недели. Три-четыре дня я уже здесь. Мне немного осталось. Знаешь, что мне представляется? Большие, только здесь возможные, интересные прогулки с тобой; я нарочно прикусываю сейчас же «язычок». Но поверь мне, Оля, что все это может быть восхитительным. Скорее, скорее, завтра выезжай. Мама, вероятно, так убеждена в успехе моих молений, что просила помолиться и за нее. Занятый сейчас ее четками, я вдруг вспоминаю, что есть подушка и одеяло твои, которые ты должна привезти; и потом один фунт грибов: белых, сушеных, без корешков, еще раз белых, первый сорт. И может быть, они не будут червивы? Тогда вообще на кухне будет светлое воскресенье.

Дорогая Оля, как ты только поймешь, что, даже будучи неприязненно настроена ко мне или к кому-нибудь из здешних, ты все-таки многое выиграешь от этой поездки в чудную местность со сказочными условиями,

как только этот призывный посев взойдет в тебе аксиомой, ты тотчас пожни его на телеграфе. Ради Бога телеграфируй о номере поезда и дне. Я тогда выеду на станцию встретить тебя. Если ты решительно противишься такой встрече, подпишись на телеграмме Ольга вместо Оля. Оля будет пропуском на станцию. Оля вообще будет громадным пропуском. Оля, дорогая, едь скорее. Станция «Корф». Это будет так хорошо. Я прямо не верю.

И не собирайся. Ради Бога *завтра же!* Я тебя тогда спрошу о том, почему у тебя на подозрении философия. Я тебя хочу о многом спросить. Обними тетю Асю ⁴. Я хочу ей ответить на днях. Я почти обижен. Все-таки это издевательство. «И ты, Брат, тоже?! ты тоже в заговоре и улыбаешься?»

Да! Конечно, это не почтовая бумага. Слава тебе, Господи. Ведь я тоже не слепой и вижу. Но это и не та, которой ты, может быть, готова окрестить ее. Упаси Боже. Ее назначение если и не литература, то и не музыка. Просто это оберточная бумага в столетний юбилей Магницкого. Дело в том, что стопку с Меркурием ⁵ охраняет сейчас родительский храп. Ну и сейчас еще раз, последний раз серьезно и с нажимом: Оля, дорогая, приезжай. Умоляю.

2. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

23 июля 1910, Москва ¹

Помнишь ли ты еще полдень с кричащей собакой и пропадающими Ангелами ². Вечер наступал быстрее чем мы; вообще мы почему-то ленились; мне хочется, чтобы ты помнила и то, что мы свернули с этой независимо обсаженной дороги влево и, оказалось, сказочку должен был я рассказать тебе, это когда пыль улеглась и Ангели пропали. Если ты даже совсем, совсем-таки шутила, то это одно и то же; ведь, и шутя, ты оставалась правой: я все больше и больше становился должен тебе; и это был *сказочный* долг; тогда я хотел рассказать тебе сказку о заставах, о той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под какой-то мощеной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре, — переживает на проводах больших дорог, где кончается город,

глубокое протрясение, где она, взволнованная, машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и, оставаясь теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности. Это легко принять за провинцию, как легко спутать нежность с простотой или наивностью; но весь аристократизм такой заставы в том, что тут замирает от полноты грохот рассуждающих площадей и мостовых и эта музыка одаренной тысячной, миллионной жизни, что тут молчание, а не косноязычие; но это все неважно; вообще я отошел в сторону, и слава Богу, ты дальше увидишь, как невыносимо тяжело мне не уклоняться от главного. Так я еще «уклонен»: о заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданием обязаны границе, начинающей невымощенные словами духовные «пространства», и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю; и о заставе, где весь рассуждающий перекатывающийся грохот громад охватывает нежность приобщенности к одному и тому же рубежу. Я тебе наверно когда-нибудь покажу эти «Заставы», то, что сделано и что еще будет. Итак, я мог бы рассказать сказку о двух волчках, которые запели и закружились одновременно, как их пустили на заставе. Но я не хотел рассказывать, знаешь, я был немного озлоблен: я знал, вот ты, рядом, такая чуткая, что в чуткости твоей можно потонуть, вместе со мной переживаешь это *наступление* окружающего, то, что еще больше волнует, чем красота, и что в тебе нагорает преданность, почти посвященность этой поступи наступания; то, что мы называем так коротко: лиризм, когда чувствуешь, что и сам наступаешь; и тогда хочется отсчитывать этот такт спокойного, нетрагического (почти вызывающего радость принадлежности чему-то) фатума. Отсчитывать в признаниях о наступлениях в природе и в себе. Наш долг был однороден, у тебя и у меня, один и тот же долг радостной преданности; но только я должен был гасить этот долг, а ты идти и слушать, и это было несправедливо еще и вот почему: ты и не поймешь, как, ширясь, наступала ты сама далеким, далеким долгом во мне. Это как-то называется: такое состояние. Ты понимаешь, ты была свободнее меня; ты принадлежала только своему миру;

а я больше всего принадлежал тебе, тебе как беззвучному событию, которое спрашивало одним своим появлением только; ты только являлась, молчала и не спрашивала. И вот сейчас, сегодня я хотел тебе сказать, что эту сказку рассказала ты мне. Она началась в вагоне; это почти исступленная сказка; это — шестисотверстная ночь у окна, где столько мест, вскочивших в фонарях, где по-разному: глубже и ровнее, внезапно или «гипнотизирующе» нет тебя, где ты не можешь наступить, хотя бы как событие, и где приходится считать и различать одно и то же твое отсутствие, и сейчас, этот надтреснутый, полый город!

Что сказать мне тебе, родная Оля? И разве письмо, которое я посылаю тебе с этим — единственное письмо? И почему оно лучше других, из которых ты должна была узнать, что на всех станциях я подбегал к тому последнему wagon-lit, который стоял твоим сновидением, помнишь, ты сказала, — он будет сниться мне сегодня. И знаешь, он ни разу не попал на платформу, и всегда нужно было выйти из-под навеса; там кончался асфальт, и стояли твои героические бочки, и был кусочек выщипанной черной травы, она гербом лежала на песке; все линии вагона были зарыты в какую-то оседлую, невокзальную ночь, этот вагон был оторван, принадлежал твоему сновидению, стоял и снился тебе; на пятиминутных остановках никогда не стоят за поездом и водокачкой, там, где на человеческий рост от шпал вагонные дверцы. Вот отчего я как-то не относился к этой ночи — перегону.

И разве не разыгрывали что-то зарницы? Они ложились подолгу в облака, зарывались, мотыльками трепетали в них, или протирали всю линию облаков, как запотевшую в фантастических пятнах стеклянную веранду. И чем? Бело-голубым пламенем, которое расшатывало будки и попадало со своими черными обгрызенными нитками палисадников, ящиков и переходящих пути сторожей мимо рельсовых игл, в которые нужно было вправить эти далекие нити. Но к чертям эти огрубелые копавшиеся ладони туч, перебиравших полустанок и равнины. Разве не разыгрывали что-то и звонки, русыми отшельниками заходившие на станции; тогда из зал бежали люди без шляп, с поднятыми воротниками, не своей походкой, и прямоугольные экскурсии ламп разделяли эту толпу, и в каждом наделе лампы выгоняли тени под колеса, под буфера на водо-

пой. Да все отметала, отметала в сторону эта невыносимая ночь.

Я тебе писал в вагоне; в Чудове или под Чудовым я бросил его в реку. Потом это ужасное состояние стало до такой степени острым, что я на какой-то станции пошел за алкоголем ради отупения; но даже эта значительная доза не изменила ничего и вообще не подействовала, я продолжал стоять у окна и присел только утром у самой Москвы. А Москва? Она меня ничуть не тронула, ничего не разгладила, напротив, отшатнула от себя тем, что здесь удаление от Петербурга стало апогеем (и то, что я сказал — пошлая неправда), и особенно ненавистны и чужды были мне все эти места своим незнанием о тебе, безотносительностью к тебе (и вот только это — правда); мне не нужно было распаковать корзину, и совсем равнодушно вспомнил я об оставленном ключе; вскрыли, я вошел, знакомый запах, связанный с прошлыми приездами и первой музыкой первых осенних свиданий с городом; этот знакомый запах накатывает прошлое, как валики по твоему «сейчас», и вот хочется прильнуть к музыке и отпечататься лирическим шифром. Это я и делаю. Выходит что-то вроде предания; я прямо поражаюсь тому, сколько небывалых перекрестков и закоулков в этой музыке импровизаций, — вечером городе, такими незнакомыми фигурами спотыкающемся над твоим извозчиком.

Извозчик грустно размыкает все толпы на углах, как живые, ползучие замки, и складывает и раскладывает фасады, как кубические дверцы несгораемых касс. Несгораемых, хотя, прыгая с пивной на пивную, их лижут лампы и рожки. Извозчик закрывает за собой стены и площади и плывет с одного вокзала на другой, который — на другом конце города. И вот, импровизируя, я сейчас так же в полусне правил на «тот конец» музыки; и вся эта импровизация была как лирическая пересадка, и, может быть, это был Измайловский проспект. Словом, я искал чего-нибудь связанного с тобою; я перечел письмо в Меррекюль. Там ты говоришь о другом письме, которое еще на столе и на тему из другой оперы; мне стало больно, но не так просто больно, а так, что я убежал из дому, при мысли, что я мог попросить его у тебя в Петербурге и не сделал. Федя³ был за городом. Иначе я вызвал бы много «догадок» у него односторонним рассказом о лете, рассказом о тебе. И все нарастала невыносимая тоска. Я поехал к Се-

реже ⁴, на край города; он сидел у окна; но я вдруг понял, что решительно «никто» и «ничто» живут и существуют в Москве; я не зашел даже и уехал; я подходил к ресторану, кинематографу, книжному магазину, своим тетрадам, ко всему — и не входил.

Тогда я вдруг стал ребенком и лег совершенно без сил на матрац и плакал, как в одесском детстве ⁵. И наконец, чудовищно медленно, но сделалось поздно. И я только ужасался, что же будет дальше, что это будет за жизнь? А теперь уже пятница. Доброе утро, Оля, как ты поживаешь после прогулки по самым страшным суткам в моей жизни? А ты не покидала ни одной секунды в них. А теперь ты спросишь о том, что же это такое? И вот что я тебе скажу.

Я говорил тебе о детстве внутреннего мира, которое связывало нас. И даже не говорил, а, может быть, слушал твои воспоминания об этом. Но постепенно эта романтика духовного мира, которая отличает детство и кульминирует в 15—16 лет, захватывает внешний мир, который до этого момента мы просто наблюдали, схватывали характерное, имитировали, умели или не умели выражать. Теперь, на этой новой стадии, город, природа, отдельные жизни, которые проходят перед тобой, реальные и отчетливо сознаются тобой *только* для той функции духа, при помощи которой ты *только считаешься*, так сказать, с ними, реальны, пока ты имеешь их в виду как данные, пока они только даются твоей жизни. Если бы ты захотела, я точно и ясно определил бы реальность как этап лишь. Но для этого нужно много фраз, которые сюда не относятся, потому что я хочу лишь выяснить для тебя и для себя эту боль по тебе. Но разве я только *считаюсь* с окружающими? Иногда предметы перестают быть определенными, конечными, такими, с которыми *порешили*. Которых порешило раз навсегда общее сознание, общая жизнь, та жизнь, в которой спасается Маргулиус ⁶. Тогда они становятся (оставаясь реальными для моего здравого смысла) нереальными, *еще не* реальными образами, для которых должна прийти форма новой реальности, аналогичной с этой прежней, порешившей с объектами реальностью здравого смысла; эта форма — недоступная человеку, но ему доступно порывание за этой формой, ее требование (как лирическое чувство, дает себя знать это требование и как идея сознается). Оля, как трудно говорить об этом!!

Помнишь, это было у меня (и у тебя, кажется), когда мы оказались в Питере. Тогда, на извозчике, этот город казался бесконечным содержанием без фабулы, материей, переполнением самого фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного, которое бросалось за сюжетом, за лирическим предметом, лирической темой для себя к нам. Если ты готова признать особенность и исключительность таких восприятий города, вообще всего объективного, и если ты живо чувствуешь эту особенность, ты поймешь меня, если я скажу, что творчество с таким настроением не отмечает характерное, не наблюдает, а только так или иначе констатирует факт, что и глаголы и существительные переживаемого мира, воплощенные существительные, и глаголы стали прилагательными, каким-то водоворотом *качества*, которые ты должна отнести к носителю высшего типа, к предмету, к реальному, которое не дано нам. И не к предмету религиозного чувства, а к предмету лирически творческого восторга или грусти (т. е. они даже тождественны в своем главном определении: лирическое). Я уже говорил тебе, что, как мне кажется, сравнения имеют целью освободить предметы от принадлежности интересам жизни или науки и делают их свободными качествами; чистое, очищенное от других элементов творчество переводит крепостные явления от одного владельца к другому; из принадлежности причинной связи, обреченности, судьбе, как мы переживаем их, оно переводит их в другое владение, они становятся фаталистически зависимыми не от судьбы, предмета и существительного жизни, а от другого предмета, совершенно несуществующего как таковой и только постулируемого, когда мы переживаем такое обращение всего устойчивого в неустойчивое, предметов и действий в качества, когда мы переживаем совершенно иную, качественно иную зависимость воспринимаемого, когда самая жизнь становится качеством. И, чтобы раз навсегда бросить эти скучные рассуждения, я скажу тебе, что так же, как есть одиночное вдохновенье, есть вдохновенные восприятия объективного: тогда все эти гуляющие на Стрелке или вечер на Измайловском проспекте делаются покинутыми, брошенными, грустными, поэтому и легендарными качествами без предметов. И эта беспредметная фантастика фатальна и преходяща, а ее причинность — ритм. И она наступает, и ее отмечает время, и вновь и вновь наступает. Обыкновенно

я был один за всем этим, всех людей, которые приходили (а некоторых из них я сильно любил и люблю), всех людей я находил там, в объекте. И это даже отождествилось: такое отношение к романтике качеств и любовь. Так что я влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в папу; в какую-то глубокую фантастику не решенных для меня характеров; я тебе говорил об этом чувстве. Но ты не знаешь, как росло, росло и вдруг стало ясным для меня и другое, мучительное чувство к тебе. Когда ты так безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я, любили одно и то же, одинаково безучастное к нам, почти покидающее нас в своей необычной неприспособленности к остальной жизни. И вот я говорил тебе о какой-то деятельности, сменяющей наблюдение, о переживании жизни, ставшей качеством предметов, покинувших предметность жизни (о как скучно это для тебя, и как трудно выразить это); разве не владело это и тобой? И тогда, Боже, что это было за сектантство вдвоем! Теперь отбрось все. Я не скоро, верно, привыкну к тому, что и один могу любить и думать обо всем этом. Мне совсем нестерпимо, когда я вспоминаю о том, что, подавленный этой посвященностью, принадлежностью к жизни, приходящей за высшей темой, своеобразно посвященной городу и природе — всему, я в этом чувстве так же женственен, т. е. зависим, как и ты; и что ты в нем так же деятельна, сознательна и лирически-мужественна, как я. Я не знаю, так ли все это, и я хотел бы получить на это ответ. Но понимаешь ли ты, если даже и далека от этого всего, отчего меня так угнетает боль по тебе, и что это за боль? Если даже и от любви можно перейти через дорогу и оттуда смотреть на свое волнение, то с тобой у меня что-то, чего нельзя покинуть и оглянуться.

Ах, Оля, вот я тут написал много, много слов. Я хотел этой артиллерией защититься от недоразумения, которое было бы горько. А ведь ты бы могла подумать что-то другое, если бы я только сказал, что все стали чужими, что я задрожал, увидавши на окне клочок *Петербургской* газеты, и что я умоляю тебя что-нибудь написать мне, даже открытку (!!!), но скорее, сейчас, и приехать в Москву! Оля, напиши, можно ли так писать тебе? И не бойся огорчить меня. Если ты другая, нужно это сказать; я ведь немного высказался, тебе, может быть, легче будет писать. Может быть, все

это было признанием. Признанием в том, что я влюблен в Меррекюль, нашу поездку, первый вечер, дяди Мишин⁷ день (когда я искал помощи у тебя), Стрелку, Петербург, тебя во всем этом, в вокзал, во все, что непрерывно задавалось *мне и тебе вдвоем* — и вот только в конце вся тяжесть признания, все признание.

Видишь, я не умею писать. Но я многое имел рассказать тебе и о многом спросить; когда я начинал, ты меня не перебивала, не спрашивала, не принимала в этом участия; я замечал, что тебе это не может быть интересно, и быстро покидал затеянное. И теперь я тоже прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий. Долго, долго жму твои руки и целую.

Боря

Сейчас звонил Зайка⁸: один 22-летний композитор, из наших, которого я считал уравновешеннее других, умер от острого помешательства. Зайка просил меня приехать, я умолял его не приезжать ко мне хоть неделю. Напиши мне хоть что-нибудь.

З. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

26 июля 1910, Москва

Оля, я знаю, посылка такого письма, как мое, требует «мужества» и «непосредственности», чтобы выразиться мягко. Я рад (ты знаешь анекдот с еврейкой, которая умирала, бормоча «ура» проезжавшему государю), да, так я рад, что еще нет ответа от тебя: может быть, еще удастся предупредить его. Все эти дни я по праву мучаю себя за эти чудные качества, которые я выказал, которым не помогут сейчас и эти псевдонимы непосредственности, наивности и т. д. Но если я тебе скажу о настоящей (как мне, по крайней мере, кажется) причине такого тяжеловесного и во многом смешного многословия, я, во-первых, дам тебе возможность оставить его без внимания, не отвечать на письмо, что было бы, вероятно, тяжело тебе, и затем, может быть, и поздно (что — хуже, чем никогда) и, наверное, неубедительно, постараюсь показать тебе, что такой «непосредственностью», «необдуманностью» и т. д. страдаю не хронически, что это

лишь исключение, непростительный эксцесс, что хочешь, но что оно не лежит в моем характере.

По-видимому, на меня слишком сильно подействовал внезапный переход от массы разнообразных впечатлений, перевитых и усиленных неоправдавшейся надеждой на то, что от них, как от общей почвы, можно будет отправляться к личным мыслям и наблюдениям с теми людьми, которые делили со мной эту общую почву; от этих впечатлений (ты ведь и сама пережила их численную смену) к пустой для меня Москве, пустой чисто условно, вероятно; пустой только потому, что в первый момент она означала только конец праздника, каникул, и их апогея — Петербурга — и больше ничего; была границей той отеческой атмосферы воскресных улиц, когда гимназистиком выходишь в гости. И когда даже пасмурный сентябрь: «сегодняшняя погода», как опекун страшит твой предстоящий диалог. И вдруг настали будни, совершеннолетний учебный день, когда все отвернулось и нет опоры во всех этих неодушевленных опекунах; вот и все. И даже на таком уравновешенном и трезво-рационалистическом характере, как мой, при этом максимуме самообладания, должны были сказаться результаты такого перехода. Это и дало себя знать в письме. Надеюсь, ты извинишь мне его. И затем, ты стала в верную, единственно возможную (как могла надеяться на другое?) и справедливую позицию по отношению к нему, если нашла это письмо смешным и в «лучшем случае» странным. Во всяком случае, безусловно искренно здесь то, что я себя до физического отвращения ненавижу сейчас.

А теперь поблагодарим нацию, школы, миллионные населения городов, тысячи профессий за то, что они создали такие удобные, легко постижимые понятия и, выработав такой точный и содержательный язык, тем самым приняли благосклонное участие в этом интимном объяснении, и принесли, так сказать, посильную помощь, и простимся прежними разъехавшимися родственниками.

Кланяйся, пожалуйста, всем. И если будет солнечный день, когда ты схватишь подходящую интонацию для упоминания о Феде и для приветствия Карлу¹, зайди, пожалуйста, к нему и серьезно кланяйся от меня; скажи ему, что я в его Элевзинских подтяжках чувствую себя окрыленным на лиловый лад, что это — мистерия (и это опять серьезно) воспоминания о невы-

носимой духоте, которая могла быть незаметной и становилась такою иногда, о милой иронической лавочке, которая не хотела знать, что юмор дальше от меня в подобные минуты, чем даже сама лавочка... и ты ведь слишком умна, чтобы не понимать, что я, по-видимому, вновь испытываю переход или что, ради всех святых, что я наговорил тебе там? Ну так это самое я, очевидно, переживаю вновь, и еще того и гляди явится посыльная, как говорят там, на дереве, на нашем родовом дереве, посыльная помощь. И кланяйся тоже Лившиц².

И Карлу, если он страдает в той же мере Федишизмом, как тетя Ася, скажи, что я переговорил с Федей; он готов быть похожим на Карла. Но все это при условии, чтобы Казанская площадь оплывала топленным небом. Разве полдень не грустнее лунных разных там ночей, которые представляются мне минерально железистыми круглыми пилюлями, голубыми пилюлями нервности, которые несколько раз в месяц нисходят в городские глотки, в остальном нечувствительные. Да, так не скупись на поклоны. Тете Асе я хочу написать. А теперь, что сказать мне тебе, Оля. Вот, разве еще нужно повторять, ты стоишь на верном пути, если, как я думаю, я вижу твою спину. Теперь оглянись и посмотри, что это за прелесть издали, эти уходящие заграничные подтяжки! И это даже не грубо, так уходят в жару в европейских городах. И наконец, addio, я измучен этой глупой болтовней. Что сейчас? Утро понедельника.

Твой Боря.

Есть точка, на которой ты можешь считать это сегодняшнее письмо несуществующим, ненаписанным даже, имей это в виду. Но это только возможность, такая радостная! Есть такая одна точка. Но *ее нет*, вот в чем дело.

4. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

28 июля 1910, Москва

Сначала я писал тебе о том, как трудно (что даже все сознание, все способности противятся этому), как трудно заговорить после того, что ты и представить себе не можешь, как глубоко ложится все, что ты говоришь;

даже слова у тебя какие-то могуче спокойные пространства, и ты что-то возводишь, закладываешь; как мне отделаться хотя бы просто от этого мерного ритма ступающей тоски, в котором ты выстроила свое посещение, свое завещание. Потом я хотел сказать тебе, что ведь есть у меня слух, какое-то глубокое, первично, извечно взволнованное внимание, с которым я ждал всю жизнь, с которым я вскрывал сотни конвертов, и столько встреч, и каких встреч, как конверты, вскрыл я, и я ведь знаю жизнь (ты ведь понимаешь, Оля, что это не то, что называется жизнью, и еще в кавычках, а моя жизнь), да, так если бы тебе только рассказать, сколько протянутого мне (иногда я желал этого и сам создавал) вскрыто мною... И вот вчера пришло оно, то, чего не было в этой долгой жизни получаемых так или иначе конвертов, да, твоего письма искал я, а это были разные почерки. Понимаешь, если это риторический шаг, то оно слишком пошло и грязно даже: тогда это — красноречие приказчика. Но ты понимай это просто, в сантиметрах.

Я хочу сказать, что много большого, редкого и чистого, может быть, даже обогащающего, вдохновляющего шло мне навстречу. Но навстречу. А здесь, ведь здесь какое-то спокойно величественное «рядом»; ты какая-то участница того самого, от чего мечется в стороны вся судьба моя! И отчего, спрошу я тебя, не обрывала ты меня, когда я говорил тебе такие слишком знакомые вещи, твое «твое». Может быть, мы пошли бы дальше; а я шел как болван мимо этих елок и говорил тебе о таком существовании, когда живешь через улицу даже от собственной жизни, и смотришь: вот там зажгли огонь, вот там хотят писать прелюдию, потому что пришли домой в таком-то состоянии... и тогда перебегаешь улицу, кидаешься в этого, так или иначе настроенного, и пишешь ему его прелюдию; может быть, этот пароксизм больного восторга в такие минуты происходит от того, что прекращается это объективное «через улицу», и все обрушивается в субъект, в это чистое, твое, Оля, чистое духовное существо. Ну так это неважно. А ты слушала столь знакомое тебе!! Понимаешь ты, это странное «рядом». За несколько дней до твоего приезда я потянулся за одним дорогим, долго не прибывавшим конвертом и многое сказал об этом слове.

И вдруг это произошло с тобой. У меня нет ничего, что просилось бы к тебе, туда через улицу; если даже и есть, то это несущественно; существенно то, что ты

ничего не прибавила, не обогатила меня, как это бывало у меня, или я не замечаю этого за тем большим, что как мистерия, за которой хочешь следить, как следишь за музыкой, голосовыми мускулами «символически активно»; за тем большим, что должно быть выражено, как это ни трудно. Итак, ты не прибавила ни единой монеты к тому, что передо мной; но ты первая действительно сделала эти металлические условия живым глубоким богатством. Меня как-то необычно утомило какое-то недельное соучастие с тобой в том, где я всегда был одинок. И вот такое минование мимо жизни, природы, которое так родственно у нас, именно это имели (как какую-то ценность) в виду денежные знаки жизни, условное богатство, идеальным и необходимым условием которого является то, что поставило нас рядом. Понимаешь, если ты даже и положила там целые пригоршни золотых, и я их увижу и уже переживаю, то это ничтожно, незначительно в сравнении с тем, что ты реализовала их, что все это потеряло условный характер; прибавила ты или нет страничку к этой книге, я не знаю, слишком поразительно то, что этот переплетенный куб сделала книгой ты. Как я тебе сказал, у меня нет ничего, что имело бы смысл для тебя, было тебе интересным, ценным; и это потому, что слишком поразило меня твое письмо; оно — как до высшего тахитум'а увеличенное Я. Эта «жизнеупорность», это покидание жизни, это: «Я сама возможность, и себя мне не страшно»¹, все это подавило меня своим родством со мною и превосходством размеров; но я хочу все время до боли какого-нибудь движения, посвященного тебе, носящего твое имя; и вот мне хочется продолжаться, — как будто я — твой вид, маленький вариант, который не может пойти навстречу, или встретить, а лишь продолжает, специфицирует родовое, что за ним и что в нем как родное.

Ах, ведь я только хотел сказать тебе, что написал тебе много листов, где было раскаяние и бесконечная, не дававшая передохнуть благодарность. Я хотел отправить письмо на вокзале курьерским поездом, чтобы сегодня же утром задушить то преступное, гадкое письмо. И как мог, торопливо, я просил тебя вчера понять эту гадость. Боже, как часто, если не почти всегда, приходилось мне делать этот духовный реверанс, как это отвратительное письмо, написанное с горечью и ложью; знаешь, я терпеть не могу оставаться непоня-

тым, не оттого, что жалею собеседника или друга, нет, тут эгоистическая причина, я боюсь подозрения в претензии на оригинальность, несходство с другими и т. д. И вот, я говорил тебе, что живу как-то «например», проходяще, как бы только для того, чтобы пережить ряд мыслей как идеальный скелет своих чувств, даже самых дорогих, и вот я рассказываю такому Сереже² какое-нибудь новое свое «прозрение» и слежу за ним; он увлекается этим высказанным, но так, так шаблонно не понимает главного, из-за чего вообще только стоит трогать как-нибудь общую всем собственность, так увлекается этим, что я вдруг тушу все огни; нет, сегодня не мое рождение, я обманул вас, или мне, наверное, показалось, что я родился на несколько шагов дальше, или я даже прочел это или выучил, или я болен, туп, нарочно подстроил это и т. д., давайте говорить о другом, сегодня будни.

Оля, пойми буквально: слишком невероятно то, что было как чайные и оправдало себя, то, что мы, считая общезначительные, неподчеркнутые свои движения значительными, символическими и читая (еще зимой) в этих движениях, читали то, что другой вписал туда, не вписывая. Ты говоришь, что поняла все на вокзале: у тебя значит больше: ты понимала и была уверена в том, что все это стоит там, в тексте движений. Я только понимал, только постигал, до меня доходило все, все; я жил его многозначительностью, но было невероятно, чтобы это не снилось, что это так на самом деле. И хотя я не мог не послать всей этой «артиллерии», — но после вдруг я вспомнил о том, как все это может стать смешным в чужих руках... и сделал этот ужасный отрицающий жест. Против рук твоих, рук первой сестры согрешил я. Прости меня, а то мы заразим друг друга этой виной. Но Боже мой, ведь это невероятно, что эти руки не снятся. Ты говоришь о каком-то ложном представлении. Ах, нет, его не может быть, так абсолютно реально вся ты сейчас! Ах ты такая, такая! Это возмутительно, что ты еще не знаешь о полной несоединимости, нерастворимости всего твоего и банального, даже с внешней стороны; я понимаю твою учительницу теперь: твое письмо на границе музыки, я его читаю вполголоса, оно как-то падает, нисходит.

Потом я писал тебе о том, как зимой, в дни обращения моего пишущей братией³, я задумал такую фавулу. Композиторская бессонная ночь над нотной бумагой,

какое-то наитие, в котором после долгих страниц набрасываются истерически небывалые, но как-то спокойно и бесповоротно явившиеся строчки, и потом долгий экстаз чистого духа (о котором столько говоришь ты и который ты чище и больше и чаще переживаешь, чем я), когда случайно и проблематично все, родные, жизнь, город (странно, язык остается, он не случайный); прогулка по комнате и потом порыв: зарегистрировать, отметить навсегда все вокруг: пляшущие мысли, состояние просветления, обстановку, имя, все, чем можно отметить, пометить даже этот миг. Это набрасывается у окна, масса листков, а пока просыпается улица, потом уже вполне рассветная, утренняя осень хлопает дверями за окном, внизу (все это можно так описать, что дождь будет течь по строчкам), идут в школу дети и не дети, кучами и в одиночку; в экстатической комнате отпирается окно, потом дверь... и он уходит в булочную. А листки на подоконнике. Сквозняк, и вдруг все эти белые примеры «одиночества в экстазе» летят за окно и на уровне последних этажей вальсируют над слякотью, а внизу проходят в школу дети и не дети, они стоят и ждут. А потом это падает, и разные жизни бросаются за этими «симптомами ночи». И много несущественного, школьных выходов и потом другая, нешкольная жизнь, подобравшая листки, мало постигшая, но отбравшая у остальных эти, пока еще иероглифы для нее. Потом порывисто идущее развитие, может быть, влияние даже этих подобранных фраз, и масса своего, оригинально-одинокого, потому что это — влияние по-своему комментированных знаков; и затем встреча оригинала с переросшей его копией, даже не копией его, может быть, даже антитезой. Я не сказал тебе о главном, ради чего конструируется эта фабула, о постоянном фатальном чувстве объективности, зависимости, которая проникает через дополнение и заставляет его постоянно согласовывать все свое развитие и его этапы — переживания с незнакомым ему, странно любимым подлежащим. Все целиком — сложный случай, когда жизнь в роли художника, когда портрет пишется элементами психическими, целыми, своеобразно формирующимися наклонностями и воззрениями, только немногочисленными и тем более субъективными и независимыми, что их преследует постоянное сомнение «героя»; мне было интересно это как вид, где и психическое, как краски и звуки, становится средством в

творчестве, средством выполнения задуманного. Но вся эта повесть о quasi-заказанной жизни совершенно ни к чему здесь, если бы я не хотел сказать тебе, что у меня такое состояние сейчас, как будто я когда-то на рассвете шел и ждал падения твоих листков; так много такого у меня, что принадлежит тебе! Но я припоминаю, нет, ведь не подбирал я ничего, Оля? Что же это?

Вот с поездом хотел я многое отправить тебе. Наступило 11 часов, я простился с тобой, и о ужас, я был заперт в собственной квартире. Пойди стучись здесь! Уже сегодня выяснилось, что я по рассеянности не прикрыл двери и провел целых полдня в настезь открытой квартире. Швейцар, осматривавший вечером классы, не знал, вероятно, что мой ключ в Меррекуле, и «исправил» мою оплошность. Ты знаешь эту боль, когда волнуешься, смотришь на часы, зависишь от этого освещенного вокзала, куда прибежишь, как будто можно повидаться — и вдруг дверь, плоская — и дверь до последних мелочей... Сегодня утром я так мило орал на весь двор, чтобы меня отперли, и как долго нужно было объяснять это все!

Я перечел письмо и положил его в камин, как положу и это, если не брошу сейчас. Потому что все это так мало, и так трудно писать, Оля, ты же знаешь, как я жду тебя, но не пиши мне, если и тебе это так мучительно трудно, я же боюсь своих писем к тебе и не буду писать. Но если бы ты приехала к Тоне!!!⁴

Не пиши мне таких писем, они столького требуют! Надо стать подвигом, твоим подвигом, прочитавши тебя. А я! *Я отвечаю!* Оля, родная, это гадкое письмо из Вруды;⁵ и сейчас, эти фразы человека, пораженного пудостью, и вообще вся эта тикопись после твоего письма! Правда ли, что мы передавали друг другу этих: кондуктора, извозчика и этого дорогого морского жителя, который искал соли и тоже находил сказочное в Меррекуле! Он ведь едва, едва сдерживал ресницами целый взрыв романтического смеха или какой-то веселой погони за чем-то... и все это висело на рыжем волоске!! Я ведь ими, их присутствием, заменял прямое выражение какой-то строгой нежности к тебе.

О, как ты страдаешь! И я хотел бы успокоить тебя, но не потому, что старше и сильнее. Ты старше, ты сильнее. Но может быть, можно успокоить слабостью.

Ведь мы еще раз увидим друг друга? Мне это материально невозможно, но если и ты не можешь, я поеду в Петербург, если хочешь, через месяц. А теперь дай мне руки свои; простят ли они меня?

Б. А. О. И О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

〈Август 1910〉 Москва ¹

Моя дорогая тетя Ася!

Я хотел сейчас же после Вашей открытки благодарить Вас за готовность помочь моей поездке и за сладкое. Но я боялся. Вот напишу, а послезавтра приедут наши, скажут два-три живых слова о СПбурге, и меня прямо захлестнет, заломит в позу Николаевской железной дороги; захочется много писать Вам, и так, что это многое скорее должно будет быть отнесено к Оле, и к ней захочется писать, но опять-таки буду писать я и такие письма, которые были уже обсуждаемы Вами и ею с иронией и т. д. Словом, я чувствовал несвоевременность ответа и ждал приезда наших. Они приехали... ах, в Меррекуле были такие чудные (может быть, скверные, я не помню) погоды, у детей на маскараде были превосходные костюмы!..— А Петербург?..— Ах, что у нас вышло с билетами! Боря...— Нет, нет, скажите, вы видели город и «их»!.. Да, мы видели на вокзале... Одним словом, как будто это не люди, а овощи, которые были подвергнуты последовательной пересадке из местности в местность. Свойство пастернака расти в земле и обрастать землею; да, таково свойство этого вида. Вы понимаете, для них совершенно закрыт был вид на Екатерининском канале! ² В этом смысле папа оказался меньше всего пастернаком. Так что жаль, что я не ответил вам до приезда наших. Один итальянец, Papini ³, говорит, что художник делает обыкновенное необыкновенным и обычное необычайным. Значит, у меня нет ничего художнического, но моя судьба за то, она-то, вероятно, суфлировала Папине: ибо все, что кажется мне обыкновенным в моих поступках, взглядах etc., признается «несколько странным».

А вот три дня в вашем городе, это уже далекое прошлое, которое каким-то глухим рупором иногда веет на меня издали; это необычайное из необычайных, которое имеет свои вибрации (прошлое вибрирует сильнее

всего на свете) и приближения — оно оказывается самым обычным в глазах наших; самым обычным городом с обычной встречей обычных близких людей и т. д. Но не думаете ли вы, что Лифшиц, распределившая в двух последовательных открытках так удачно в обеих столицах атмосферные осадки (она писала о дождях в Петербурге и Москве, и наоборот), и ее недоумение при моих советах хоть сколько-нибудь изменяет мою природу и мои склонности? Вероятно, я останусь тем же, несмотря на ее кузена с его заботами о нравственности кузины, несмотря на всю эту квисизану⁴ этического.

И, думается, Петербург и дядя Миша и Оля и все останется сложной, притягательной темой, оказавшейся для наших — постройками, людьми, понятным, доступным, оформленным. Если я пишу так глупо, что ничего нельзя понять, то скажу просто: наши поехали из Петербурга в Москву; я, выехавши от вас, поехал в страшно далекий Петербург, но Петербург, а не Москву. Вы видели мою угнетенность в начале этой поездки; это настроение было просто показанием далемера. Меня огорчило, что наши привезли такую румяную простоту после свидания с тем, что заставило меня немного заболеть. Но тут сказалось что-то роковое в судьбе семьи *художника*. Они пережили коллизия с городом на *полотне*... железной дороги. Эта коллизия — скандал с билетами на перроне.

Скоро начинается университет. Я запишусь на высшую математику. Скоро у меня экзамены. Один убийственно интересный! Основной курс чистой логики⁵. Профессор уже знает меня с весны, я поступлю к нему в просеминарий по опытной психологии, но он меня предупредил, что, может быть, я разочаруюсь, т. к. слишком отвлеченно мыслю (это после экзамена по филос.). Я это говорю Вам *из-за* тщеславия. Потом я вспомнил, когда здесь по какой-то строчке поплыла Оля, что урока у меня действительно нет⁶, так что я написал правду, но правду на тикопирующей машине, — в этом она права.

Тетя, что бы Вы сказали, если бы я поручил Вам *передать* Карлу или нет, кому-ниб. еще, что меня исключили из университета или, если Вы не суеверны, что Шура⁷ сошел с ума, я убил человека и заболел коклюшем, Лида занозила дыхательные пути, Жюня⁸ поехала в Нарву писать дневник и всю ночь в Кремле

били набат, чтобы она могла ориентироваться в своей пропаже... и еще, и еще, такое за душу хватающее, ужасающее, зачесывающее бобриком все фибры Вашей души... и все это *передать*... как будто бы вы только калькируете это известие и не настолько сопереживаете эти катастрофы, чтобы и Вам это передавали, как конечной станции, а не узловому пункту. Я передал, Оля, Тоне о твоём отсутствии в Москве. Фибры ее души... одним словом, я ее чуть не побил... она не царапнула ни одной обои и не дотронулась до пепла, хотя я заготовил к ее приходу целый склад окурков. Но все-таки она была страшно огорчена. У нее еще нет адреса. Она напишет тебе при первой возможности. А Вруда и Тикопись, ты права, — какие-то святые Дары. С ними нужно являться в решительные минуты неверия.

А зубы: — зачем их рвать; они такие чистые! И ведь это зубы мудрости болели; но только нервной болью.

Понимаешь ли ты эту сигнализацию сквозь зубы, Оля? Мои неоромантики⁹ съезжаются. Уже одного видел из Бретани, другого из Парижа. Этот катает наизусть Ад по-итальянски, так что прямо в круг попадает. Он это преподносит, как Горацио Картер свой электровалидор от ревматизма. Но хорошие ребята. Мне так странно лепиться на карнизе моего письма к твоей маме, но ты понимаешь, что *приписка* тебе самопротиворечивое понятие.

6. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

22 апреля 1912

Дорогие! Вот вам власть костюма: серый сюртук при-
вык в дороге целый день лежать на полатях, полный
Леонида Осиповича; он как-то магнетически препят-
ствует мне слезть с ночного ложа. Чудный день в Смо-
ленске, древний кремль, кобзари и еврейский кларне-
тист обходят наши вагоны, о них, конечно, ничего не
знают Ехресс'ы, пролетающие безразлично по всей
земле. А тут — фольклор, и я научился по запаху вагона
распознавать губернию, по которой проезжаю. Пасса-
жиры меняются ежечасно. Визг, детские слюни и поль-
ские евр. и еврейские поляки.

Вам, конечно, ясно, что я здоров, жизнерадостен,
штудирую Кюгена под потолком и целую вас.

7. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

23 апреля 1912

Знаете, на что у меня уходят деньги? На Азров¹. Они выстраиваются вдоль станций с курами и мацными булками в руках, с плачевным жаргоном на устах и с неисчерпаемой бесконечной скорбью в очах. А рядом: пьершь, пепшь, пеншь². Это я написал еще вчера, — в России. Сегодня же — неузнаваемая картина. Соберите всю вашу фантазию, вспомните Шопена и поляков у Гоголя, и главное, залейте зеленью, зеленью тополей, каштанов и фруктовых садов эту открытку. Заставьте ее гореть, как горит она сейчас, нагреваемая открытым окном возле Александрова. На границе я буду в 3 ч. дня; в Берлине в половине первого ночи. Ввиду такого часа телеграфирую Розенфельдам³. Что я сделал? Куда я еду? Обнимаю всех.

8. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

7 мая 1912, Берлин

Дорогие. Вот я и в Берлине! Помнишь, что я говорил, насчет расходов скопляющихся вокруг знакомств? Так и случилось. Мой поезд прибыл в 12 ч. ночи в Берлин. Вследствие такого часу я дал с пути телеграмму Р. А.¹ Подъезжая к городу, я решил, что если меня не ждут (т. е. если portier ничего не знает) — отправиться в какой-нибудь отель на ночь, за 2 м. или даже 1 м. 50 pf. Таких много. Решил вылезть на Bahnhof Charlottenburg; но выглянул кстати на Friedrichstr. гляжу — Володя².

Что тут долго рассказывать; я услышал, что таких отелей, как я говорю, — не существует; что пара марок не имеет значения... и что у Розенфельдов семейное торжество и бал... и... и вот я в той самой гостинице, в которой они сняли зал для торжества (серебр. свадьба у какого-то родств(енника)). Я был совсем неподходящим гостем. Ничего не увижу сейчас в Берлине, а на обратном пути. Подробно из Марбурга.

Боря.

11 мая 1912, Марбург

Дорогие! Я думал, что за 1 Colleg(ium) в университете платят по 7 м. 50; оказалось, что только 5 м., хотя явились еще расходы по взносам в семинарий и библиотеки. В общем у меня сейчас на руках 50 марок, что по здешнему масштабу довольно приличная сумма; поэтому вы можете не торопиться с деньгами.

Мне все время страшно стыдно в душе перед вами: мне совершенно незаслуженно хорошо здесь. И я совсем не надеюсь оправдать моими занятиями того наслаждения, которым полна жизнь в этом городке. Есть еще другая сторона, которая смущает меня: живое очарование здешней природы, которою закрашены и переполнены здешние улицы, прерывает меня среди моего желания учиться; оно не мешает мне: я ведь умею от всего отвлечься. Но я знаю великую цену ее намеков и требований. Можно бросить все и прежде всего, конечно, теорию и оставить налицо только одно: чуткую восприимчивость и какое-то послушанье полученным впечатлениям. Так именно начинается искусство. Я, к несчастью, слишком хорошо знаю пестроту и фантастичность дневника, которые создаются, если только допустить его. А я приехал учиться сюда. В Москве, когда я оставался на собственный риск, я бросал иногда целое лето на растерзание этого Минотавра. Здесь я делаю вид, что не понимаю языка обольстителя; — а не то из города Когена я привез бы: во-первых, — полное забвение философии или даже логического «нрава», — во-вторых, в лучшем случае несколько жалких разочарований в области прекрасного. Тогда вы встретили бы на Брестск. вокзале несчастную карикатуру с участью, полною сарказма. Я познакомился уже с Наторпом¹. Но в семинарии у него я еще не говорил, — я еще недостаточно онемечен в своем говоре. Что касается идейной стороны — мои представления о немецкой аудитории были преувеличены.

Если бы это был только город! А то это какая-то средневековая сказка. Если бы тут были только профессора! А то иногда среди лекции приоткрывается грозное готическое окно, напряжение сотни садов заполняет почерневший зал, и оттуда с гор глядит вечная великая

Укоризна. Если бы тут были только профессора! А то тут и Бог еще.

Страшно обрадовался вашему письму. Шура совсем рассмешил меня.

10. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

14 мая 1912, Марбург

Как здоровье Маруси Шор? Непременно напишите мне об этом. А как твое состоянье, мама? Я думаю, ты не забудешь в письмах ко мне, которые, надо надеяться, я начну когда-нибудь получать, упомянуть об этом. Ах, этот город! Здесь без шапок ходят на лекции. Не потому, что это близко, а потому, что это — как переход по одному нескончаемому, собственному саду, примыкающему к твоей комнате. Ходят по мостовым. — Нет карет или повозок; а электричка¹ дает звонки только для того, чтобы сзывать пассажиров, это вечно пустая попрошайка. Иногда бывают очень своевременные сны: мне снилось, что я в Москве; и я во сне же удивлялся, как я попал туда, и силился вспомнить, когда же я, собственно, был в пути из Марбурга к вам. Я положил много труда на то, чтобы выпросить у тебя вторично папин чемодан, и решил ехать через Скальмержицы². Мама, это было так конкретно, что, когда я проснулся и увидел, что я *еще* здесь, я пережил только облегчающую замену одной действительности другою. Этот сон чрезвычайно кстати. Меня часто мучит мысль, что здесь, в Марбурге, я только вижу, как мало во мне философского. И, кроме того, я уже говорил вам: это Оболенское и Меррекуль³, а не резиденция кантианства!! По вечерам ноги в росе, ночью режут лягушки, на опушке леса я видел зайца!!

Когда чистое мышление было еще ново для меня, я знал его; его *качественная* сторона приковывала меня: года 3 назад я был невеждой и философом в миниатюре. Теперь же я беспорядочно закидал свою невежественность разными сведениями (а не знаниями) и во всяком случае *не* философ; я именно утерял ту простоту, которая есть простота стройности и зарождающейся системы. Что же, я сложен теперь?? Ха, ха, ха!! Это, пожалуй, сложность... мусорного ящика или канализационная сложность! Однако строгое мышление вовсе не так недо-

ступно мне. Я могу найти путь к нему. Но меня одолевает сомнение здесь: нужно ли это мне.

Я уже не раз повторял вам: здешняя природа и здешняя готика делают таким самоочевидным исключительное положение искусства! Настроения, замыслы, образы приходят и уходят. Такая далекая поездка и такое редкое присутствие самого Кюгена — все это условия, определяющие мои действия, отнимающие у них свободу.

Однако, я вижу, все найдет себе равнодействующую. Кюген действительно то, что я предчувствовал. Внешностью он похож на Ибсена, Шопенгауэра, вообще на этих стариков с большими головами. Горький опыт большой, знающей себе цену и недостаточно оцененной жизни делает его речь, когда он говорит о великих, скорбной и трагичной.

Целую всех: начинаю и кончаю мамой. Как папин портрет Высоцкого? ⁴ Я познакомился с одним громадным, медлительным и мечтательным англичанином: он знает папу как рисовальщика. Приятно иметь такого отца!!

11. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

15 мая 1912, Марбург

...той ¹, если пройти мимо такой гостиницы равнодушным? Но обедаю я не у него. У него слишком хорошая душа для стряпни. Обедаю я в одной столовой, которую содержит венка. Эта венка заслуживает венка; и лучше бы она потратила свой Rabarbar* на это украшение, чем на компот; что за предрассудок давать шляпы на сладкое: а Rabarbar именно шляпа. Зато шницель и Kartoffelsalat** надолго привязывают к земле. Самоубийство для Zeppelin'a ², который завелся над нашими головами на этих днях и своими экскурсиями увеличивает потребность в шампуне. Кстати — здесь праздники без конца: на днях отпраздновали день, который случайно прошел без праздника. Перед моими окнами партия немецких каторжников обращает луга в фруктовый сад. Каторжники эти какие-то полные молокососы с животами, без сюртуков и при часах. Сте-

* Ревень (нем.).

** Картофельный салат (нем.).

режет их старый такс и дрянная кукла в повозке. Боже мой, какие нравы! Беру газету: в Нейштадте жена фабриканта родила четверню, *die Wöchnerin und die Kinder befinden sich wohl* *. В воскресенье я должен был сделать вид, что я объелся и сплю, а то меня арестовали бы за то, что я не наслаждаюсь. Но я объелся — этого было достаточно, и мне дали наслаждаться. Здесь цветет сирень в изобилии, я сорвал кисть, способную осчастливить целое общество³, — коллекцию этих предсказаний вышлю вам.

Это безвкусно и неостроумно. Но если бы вы знали Марбург — вы поняли бы, что это и грубо и грешно! Писать неумные открытки из города, сверхъестественного по своему будущему в истории! Странно и жутко сознавать, что следующей, за Платоном и Кантом свáей, водруженной всемирно, на все века, оказывается *вот эта* закопченная аудитория и вот этот чудной, запутанный и вдохновенно ясный старик, который дрожит и сам от потрясающего изумления, от того поразительного чуда, что история была непóнята до него, что эти века, туго набитые жизнями, мириадами сознаний, мириадами мыслей, так тускло молчат, именно там, где его осеняет ясностью⁴. Его слушатели боготворят эти часы, они участвуют в чем-то величавом, бессмертном счастье, которое по своим размерам действует как трагедия. Его недостижимость вызывает какое-то глухое страданье, я боюсь сказать, состраданье во мне. Он не говорит, а живет, движется ... обитает в своей мысли. Я говорю вам — это драматично все. Конечно, я еще не подошел к нему. Зачем оскорблять большие предметы!! Но я знаю: *я проработаю к нему*. Во всяком случае, нельзя было не видеть этого.

12. Ж. Л. ПАСТЕРНАК

17 мая 1912, Марбург

Marburg a/L 17/V

Моя дорогая, вдумчивая Жоничка!

Теперь я знаю, кому я больше всего буду писать. Тебе так нравится гадать о красках, о свежести, о тишине, о случайных звуках и о том, как все это переплетено

* Роженица и дети чувствуют себя прекрасно (нем.).

в душе человека. Я и сам когда-то находил самое глубокое и утомляющее наслаждение (как прогулка, после которой устаешь и весь в глине) в том, чтобы «представлять себе». Я любил писать как раз такие письма, как то, которое ты мне послала. Мне казалось, что только то и есть настоящее, что — воображение; и что все остальное только заводное, как игрушечные поезда с круглыми рельсами. Такие глупые поезда, с колесами, свистком, паром и вагонами — и все понапрасну: потому что самое интересное в железной дороге, то, что она заворачивает и не оканчивается, — отсутствовало у этих поездов. Я не только думал так, а это и мое теперешнее убеждение: удивительное и страшно серьезное и, как бы это сказать, глубоко грустное — как пирожное (пирожное — грустно, а суп — как острофы в «Родине»¹) — нет, это чепуха, а такое грустное, вдоль которого идешь и идешь, и не сворачиваешь, потому что оно непрерывно верно себе и все еще что-то впереди обещает, как живая колючая изгородь сада, вдоль которой идешь затем, чтобы потом завернуть, когда и она завернет, и зайти в усадьбу, в которой летний день и воздух высоко в липах и колеи от кареты в парке; как будто изгородь дала слово завернуть. Да так, значит, удивительное и таинственное и свежее умеет подбирать только воображение, странствующее по своим догадкам. Твое письмо ужасно напомнило мне самого себя. Хотя я писал далеко не так хорошо, как ты. Ты замечательно верно и живо чувствуешь «субъективное» во всевозможных его состояниях. Рассеянность, затерянность среди города, который для тебя только сейчас в это холодное, в это *так* расположившееся утро только и начал существовать, перекличку с вокзалом, который вдруг подсказывает тебе твоё происхождение, — все это ты воссоздала прямо поразительно. Ты воображай и дальше, другие местности и другие времена, заставай не одного человека с колодцем и ратушей за плечом, а двух, или трех, или целое войско ночью в болотах, или не людей, а, например, один пожар, или целый месяц, охваченный одним беспрерывно шумящим дождем. Застань их и подслушай. Или дай им застать себя. И пиши, ты должна писать, Жоничка. Только пиши *правду, правду*. Как ты видишь их, а не так, как говорят, когда говорят о том, что видят. Не подделывай. Ты, может быть, уже усвоила себе некоторое умение как бы садиться в слова и фразы, которые везут непременно в тонко подмеченное и необычное, как

линейки, отвозящие в праздник в определенные деревни здесь. Не делай этого. Не имей заготовленных неожиданностей. Это ведь скучнее арифметических задач. Окружающие не замечают этого вначале, и ты можешь достигнуть некоторого значения этим. Но ведь не в этом дело. Да это и не нужно тебе; в твоём письме есть бесспорные признаки того, что ты умеешь видеть, должна уметь видеть и что много сказочно правдивого войдет в твой кругозор, если ты будешь держать его в чистоте. Эти видения не только упадут в твои зрачки, они *должны* выпасть над ними, как должен выпасть снег над северными землями. Потому что они-то, эти нерасказанные последования темных и пестрых предметов, создали глаза такими, на них держатся они, как солнце на стрекозах, а не наоборот.

Мне хочется еще раз сказать тебе это: вглядывайся в свое прошлое и в свои фантазии; правду о них трудно, страшно трудно сказать; не кажется ли тебе, что правдиво сочиненное отличается от действительности так же, как оброненная, лежащая на улице вещь (например, кошелек или номерок от собаки или квитанция) от тех, которые на местах, у владельцев. Эти утерянные и только они суть настоящие вещи. Ими владеет не карман, а кто-то живой, мечущийся по шкафам, расспрашивающий прислугу и телефонирующий знакомым. И вот вокруг того, что подбирает воображение, мечется чья-то, потерявшая все это жизнь. Райнер Мария Рильке называет его Богом. Ты не подумай, Жоничка, что я хочу померяться с тобой в описаниях, если я вкратце исправлю твоё представление о Марбурге. Здесь очень мало прямых улиц; здесь очень мало улиц, которые вообще *лежат* на земле; а вот что здесь есть: ты останавливаешься в каких-то сумерках, нагроможденных из древних, древних домов, воткнутых один в другой в виде каких-то еловых шишек из этажей: кончается один дом, и над ним начинается другой; потом — отстраняющий взмах сиреней, и дальше, уже заслоня маленькое, старое небо, продолжается все та же темная еловая шишка из домов друг над другом. Потом, когда осваиваешься в этом опрятном полумраке, то замечаешь серую неправильную улочку, которая сочится сверху, сцеженная в прихотливых, странных изгибах. Здесь нет «*остатков*» старого Марбурга. Я учусь в старом Марбурге, в аудиториях с цветными окнами, сижу на скамьях, выбитых в стенах коридора, наваливаюсь всем телом на гро-

мадную, обитую железом дверь, которая не стала подвижнее оттого, что ее 300 лет отпирают, любуюсь скворцом, свившим гнездо в актовом зале с органом, где — рыцари в окнах, похожих на медовые соты, и высокие дубовые стулья.

Здесь недалеко то местечко Münchhausen, из которого и т. д. Здесь нет остатков, здесь весь Марбург остался. Я живу на Gisselbergerstr. Но это не улица. Это старая дорога из Giessen'a, проходящая мимо Gisselberg'a, громадной горы, в лесах которой охотились здешние рыцари. Эта дорога, тысячелетние чудовища которой и сейчас сошлись над ней глухими сводами, эта дорога приводит к улице, ведущей в университет, нет, надо сказать иначе: к улице, которая в конце, совсем в конце, после площади и колодцев и еврейского закоулка, — *становится университетом, аудиторией*, прямо переходит в аудиторию. Эта улица начинается от ворот, носящих название Barfüsserthor; вероятно, было и здесь то же самое, что и на какой-то картине, которую я когда-то видел. Несколько десятков бунтовщиков должны были с веревками на шее, босыми войти в город и протоптать всю эту Barfüsserthorstrasse по снегу². Это было зимой, было верно темно, и дома скупивались еще непрогляднее, еще круче висели над головой, и только фонари, редкие и большие фонари над цирюльнями и гостиницами разрывали, вероятно, эти черные цепи сумерек и давали падать их концам. Это были те самые дома, которые я завтра увижу по пути в университет. Здесь нет порогов: одно начинается в другом; над улицей можно перепрыгнуть, нет: просто шагнуть из окна в окно. В крохотном университетском саду живет пекарь, *водится* пекарь, напаяливший на свои растопыренные локти окошко, ставни и крышу, целый дом с пристегнутой улочкой. Это кусочек города, который он испек, и все это находится над Когеном и Наторпом, беседующими на мостовой.

Здесь нет улиц: есть расходящиеся с маленькими промежутками дома. Тут не продают также ландышей: тут нет людей, у которых не было бы собственных цветов.

Все тесно связано здесь: на днях из деревни пригнали несметное стадо кудлатых овец. В реке стояло несколько крестьян и крестьянок; они ловили овец, которых им кидали в воду за уши и за хвост, как сумки с письмами. Стояло глупое поддразнивающее бляение сотни морд.

Потом, выстиранными, их вновь угнали в горы. На днях прохожу мимо Schutzenpfuhl'a *. Гостиница заперта, и весь двор набит этим блеющим бельем. Прачешная и зверинец! Сын моей хозяйки болен Heuschneppen'ом **: ему надо жить в скалистой местности, он чихает при виде цветов, я говорю вполне серьезно, это страшно смешно. Здесь все — один сплошной цветник, и ему поэтому оглушительно влажно живется. Когда я слышу эти нескончаемые каскады за стеной, я радуюсь тому, что где-то что-то зацвело. Но нехорошо над ним смеяться. Это совсем несчастный мальчик: в детстве его толкнул со всей силы учитель во дворе, и он сломал себе бедро и вообще сорвал ногу с сухожилий и тазобедренной кости. Этому уже три года, нога на 7 сантиметров короче и не растет, так что разница увеличивается; но хуже всего, что это причиняет ему страдания, не уменьшившиеся со дня того паденья; и оттого он не учится в гимназии, — как он хотел, а предназначен к духовному званию: он не может долго сидеть и не может долго стоять: его гонит эта боль. Он худой, белокурый, высокий и весь изломанный. Что сделали учителю? Он скоро умер.

Я ждал с отправкой этого письма: мне хотелось приписать несколько слов о торжестве зачисления в студенты, которое только что происходило в «Aula» ³. Такое странное ощущение вызывает эта тысяча дубовых спинок с тысячей голов в восковом, землистом полумраке зала, — который создают сетчатые серо-зеленые окна из слюды, похожие на чешуйчатые крылья мух!!

После многих имен я услышал свое, подошел к ректору, пожал ему руку, и мне вручили «имматрикуляцию» ⁴ и лист, что я: durch Handschlag feierlich gelobt habe *** и т. д. То есть я теперь действительный студент Марбургск. университета, в такой же мере, как и Московского. Университет основан в 1527 г. в помещении доминиканского монастыря. Он был возобновлен после 30-летней войны (1625 г.).

* Оборонительного водоема (нем.).

** Сенная лихорадка (нем.).

*** Рукопожатием торжественно посвящен (нем.).

Здесь есть много гостиниц и домов с того времени. Покровительница города — св. Елисавета, жившая здесь в начале XIII в.

Письмо началось обращением к Жоничке; я думаю, на первой же строке оно сбилось с пути. Если оно свернуло из детской в спальню, то я это заметил только сейчас. А потому (и не только для того, чтобы попасть в тон) я перехожу на деловую почву. Деньги мне все-таки нужны. Если бы вы выслали мне 100 марок, то этого хватило бы на все лето. Высылайте сколько хотите (50, или 75, или 100), но высылайте, пожалуйста, на этих днях. Это не экстренно, но очень оттягивать тоже не нужно. С университет. расходами было все-таки так, как я думал: 80 марок с чем-то, даже 85. (Я не принял во внимание приплат, которые здесь обязательны.)

Ты удивляешься, папа, что я ничего не пишу о Когене? Это тема не для письма. С Наторпом я уже говорил не раз. Вообще, я первые дни отчаялся в том, что приехал: не устанавливался баланс между тратами и *raison d'être* *. Теперь же я вижу, что эта поездка имеет большое, очень большое значение. Если я даже и не философ, то ведь Коген — человек эпохи, вековая величина, надо же было увидеть, услышать все это на месте. Я беру этот *minimum*: я уеду только очевидцем. Но ведь и это значительно. А этот *minimum* преувеличен. Я страшно хохотал, когда прочел твою приписку с «пейсою Когена».

Напишите мне подробно, как вы решили с летом. Если бы вы заехали сюда, на пути в Мариенбад! Не забудьте написать мне о вашем маршруте, действующих лицах и времени отъезда. — Я почти уверен, что, прочтя всю эту чепуху, ты не дашь ее Жоне, просто затем, чтобы не портить ее мышления, вкуса, или даже потому, что не захочешь уронить старшего брата в глазах сестры. Я совсем чистосердечно поручаю себя твоей воле в данном случае. Ты только напиши мне: Боря, ответь Жоне сызнова. Пока поблагодари ее за письмо, от которого я, конечно, в восторге.

* смыслом существования (*фр.*).

Целую всех. Феде напишу на днях, пока обнимаю и кланяюсь.

Милый, золотой Лидок!

Ты, верно, совсем не знаешь, как опасно читать твои письма, например, в трамвае, где нельзя оскалить зубы и заколыхаться от громкого, домашнего смеха. Я же не знал этого и чуть не выдавил стекла в столовой, стараясь после твоих строк разглядеть в окне совершенно ясную вывеску Raabe, Konsumanstalt*.

Я же кусал свои губы и не мог разобрать: что это там за гусеница над дверью; ах да, да, да, это не гусеница, там даже скорее несколько букв; пожалуй, это таки вывеска. Теперь я буду уходить в лес читать твои письма.

Он совсем недалеко от меня; мой дом — предпоследний на юге.

В лесу я видел (на опушке) зайца; а в чаще — множество белок. Ну поцелуй Федю, Лидок.

И вот еще тебе поцелуй.

13. К. Г. ЛОКСУ¹

19 мая 1912, Марбург

Сегодня праздник, и у меня нет открытки с видом под рукой. Простите поэтому, дорогой Костя, что эта записка не будет соответствовать своему происхождению. Мне трудно представить себе место на земле, иллюстрированное в большей степени, чем Марбург. И это не та поверхностная живописность, о которой мы говорим, что она восхитительна или прелестна. Испытанные, окрепшие в веках красоты этого городка, покровительствуемого легендой о св. Елисавете (нач. XIII столетия), имеют какое-то темное и властное *предрасположение*. К органу, к готике, к чему-то прерванному и недовершенному, что зарыто здесь. С этой чертой оживает город. Но он не оживлен. Это не живость. Это какое-то глухое напряжение архаического. И это напряжение создает все: сумерки, душистость садов, опрятное безлюдье полдня, туманные вечера. История становится здесь землею. Это знают, это чувствуют все: ректор, производя торжественное зачисление несметной толпы студентов

* Раабе, потребительская контора (нем.).

(и меня и меня и меня), пожелал нам, чтобы дыхание поэзии, овевающей город святой Елисаветы, унесли мы с собой как обет молодости. Коген — сверхъестественное что-то. Он часто как-то зло и горестно чудит. В семинарии не знают тогда, что делать. В нем много драматического. Я не знаю ничего, что было бы дальше от позитивизма, уравновешенности и благополучия, чем его мысль и его фигура. Чисто философская курия, очень немногочисленная, представляет с(обой) редкое, величавое явление. Все это люди, в своем непрерывном, ежечасном росте ушедшие по плечи в какое-то небо идеализма. У подошвы этого хребта (ничего общего с корпорациями и чернью!!) чудачит горсть художественных *enfants terribles* *. Это представители декаданса. Один из них молится на Когена; но Шелли, Свинберн и Эсхил, на которых он воспитался, заставляют его терроризировать кофейни с цитатами из Верлена на устах. С ним я познакомился. Я думал о Вас. Мой адрес: *Hern B. Pasternack Marburg a/1 Gisselbergerstr. 15/II.*

Напишите мне закрытое письмо. Как Ваша статья о Леонтьеве.

14. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

26 мая 1912, Марбург

Вы мне еще не ответили о здоровье Маруси Шор. Отвечайте мне всегда на *эти* вопросы. Если я задаю их, то это значит, что у меня были дурные сны. Они повторяются, и я начинаю существовать с ними как с действительностью. Потом я очень прошу вас не откладывать этих предприятий: пишите густые, полные и частые открытки, я нуждаюсь в этом питании. Ведь это не трудно. Мама и папа, вы не представляете себе, как это нужно мне, собственно от вас только. Если бы вы это истолковали в том смысле, что я привязан к дому, что я еще не вполне взрослый и самостоятельный, то вы не только ошиблись бы во всех этих предположениях; вы главным образом упустили бы из виду существенное. Тоска по дому, по родине — это все было бы еще не так страшно. Мне никогда не удастся выразить того чувства, которое по временам не только не дает мне думать о чем-либо другом, но часто прямо-таки изнуряет меня.

* сорванцов (*фр.*).

Но, может быть, я высказал бы его, если бы назвал ваш образ воплощением какого-то немого упрека, нечеловеческого, непрекращающегося, который возникает предо мною иногда и зовет куда-то обратно, обратно.

И о ужас, когда я начинаю вникать в это «обратно», в моем сознании вырисовывается вдруг кусочек подоконника в рабочей комнате Глиэра ¹, на даче, и я слышу собственную сонату ², но не это важно, а важен тот мир легендарной сказочной полноты и счастья, которыми заряжено это смолистое, яркое летнее дерево, и душистый сумрак переступающего сада; и эти как бы распечатываемые дальними криками и свистками чистые просторы, темные, матовые, растворенные горизонтами, с воздушной позолотой мошек; эти вечера, в которые можно бесследно совать какие-то мысли, слова, намерения, ненаписанные письма и т. д. и которые тысячекратно ценны именно как эти колодцы, в которые падало столько творчества. И тут начинается мое несчастье: я вижу тебя, папа, твой безусловный, абсолютный, классически и непримиримо творческий дух, то образцовое в тебе, что мы всегда называли вечно молодым у тебя. Я вижу тебя с этим страшным значеньем *бессмертия* и себя как поколение, т. е. противоречие; как оспаривание тебя с этими вечными вечерами!! А с мамой еще труднее!! Она совсем как-то скорбно, жертвенно и безгласно поникает... как мать «взрослого сына»; а за ней эта ее властная царственная душа музыки и опять этот язык бессмертия — нечеловеческий. Боже, Боже!

Мои занятия наладились. Сейчас неделя Pfingstferien *. Осталось познакомиться с Когеном. Сделаю это через неделю, т. к. хочу что-нибудь приготовить.

15. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

29 мая 1912, Марбург

Спасибо тебе за большое письмо, дорогой папа! Я не ответил тотчас: ждал ваших известий об экзаменах ¹. Их еще до сих пор нет, но так как я всем очень сильно желал успеха, а мои желания, направленные на других, всегда сбываются, то теперь я поздравляю: миленького третьеклассника, Жонюрку, перевалившую во вторую полови-

* Каникул по поводу праздника Троицы (нем.).

ну всего гимназического курса и Вейерштрасса ². Сегодня только вновь наступили будни после 3-х дн. Pfingsten * с их суровым ограничением; нельзя достать хлеба, т. к. все должны есть пироги. Но каникулы продолжатся еще всю неделю. Сегодня я приступлю к чтению Когеновского труда о Кантовской этике, т. к. хочу пойти к нему на дом. Значит, это случится так через неделю. Для Лейбница, которым я занимаюсь у симпатичнейшего Dr. Hartmann'a ³, нужно, Шура, широкое знание теории аналитических функций комплексной переменной, а эта статья, в свою очередь, требует больших знаний интегрального исчисления. А я за эти месяцы забыл все прямо-таки виртуозно: начиная с первой строки. Придется по 40 верст в час глотнуть всего Поссе ⁴ и потом только найти эти знания недостаточными перед лицом этой небольшой, цепкой книжонки о Funktionentheorie **, которая своими формулами и отсутствием человеческой речи на страницах кажется каким-то немлекопитающимся существом вроде клещей, скорпионов и сколопендр. Прежде всего, однако, для семинария Гартмана нужно знание Лейбница. Я прямо и не знаю, что мне делать сейчас. Как не знаю? Конечно, прежде всего: Kants Begründung der Ethik ⁵ и затем сердцебиение на Universitätstrasse 62/I! ⁶ Это нужно наполовину в целях твоего знакомства с ним, папа, и портретного вопроса, который очень кстати сейчас: в июле 70 день рождения Когена, и мне пришлось истратить на складчину, которую устроили студенты на подарок ему. О твоём намерении я говорил Dr. Hartmann'у, это его обрадовало и изумило. Этот Гартман, несмотря на свои 30 лет, написал уже не один 500-страничный труд о Платоне, Евклиде и т. д. Его владение греческим, его тонкий навык в преследовании их мыслей непередаваемы. Он — величина в Марбургской школе и уже 2 года доцентом. Несмотря на все это, он как-то неподдельно искренно и живо интересуется всем, что ему развиваешь; хотя меня несколько шокирует его просто-напросто игнорирование русского языка, который он знает, домик, в котором он живет, — выстроен из батиста и стоит одиноко, в стороне среди тяжелых каштанов, что еще больше увеличивает миниатюрность этого носового платка. Гавронский ⁷ — идеал точности и такой научности, которой прежде всего нет

* Празднования Троицы (нем.).

** Теории функций (нем.).

и у самого Когена. Его любезность преступает даже предписания самолюбия; однако мне она кажется той самую циничной игрой, которую себе всегда позволяют Илюша Гавр., Саша и их сестра Анюта. Они опускаются до ухаживания за другими только оттого, что им кажется бросающимся всем в глаза и ясным «значение» того, что *они* идут на компромисс, терпеливо выслушивают и т. д. Я боюсь этого ласкового взгляда и участия. Хотя, если это искренно, то Гавр(онский) действительно прелесть. Он мне одолжил несколько книг, т. е. в библиотеке здесь не достать как раз того, что всегда оставалось на полке в Моск. библиотеке: трудов их корифеев.

16. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

31 мая 1912, Марбург

Прежде всего я получил целое состояние 100 м. (деньги), за которое я бесконечно благодарю. Что касается того непечатного неприличия, которое, надо ему отдать справедливость, Андреев¹ показал тебе в *рукописной* форме, то это, конечно, пустяки: моей мечтой было бы, чтобы математика обратилась на меня одними хотя бы «уд»ами.

Между тем я вижу только ленты ее чепца и китовый ус формул, которым зашнурована ее спина. И, приняв во внимание порхающий характер твоих подготовок, я только усиливаю свое поздравление. Я даже в семинаре о тебе рассказал одному двуногому желудю, рыжеволосому и в шотландских чулках, который, не изменяя выражения лица, раскрыл рот, словно подъемный мост спустил; и оттуда зашагали роты удивлений. Потом он подтянул это мешковатое свое учреждение, надел ранец и двинулся в путь, прямо из семинара в каникулярные странствия. Знаете ли вы анекдот о Мойше Пиш, который, перейдя в лютеранство, назвался Martin von Wasserstrahl, а затем Mourice de Lafontaine? Мне рассказал это один англичанин. Дорогая мама, я и не знаю, как благодарить тебя за Марбург. Собственно, сейчас только я стал по-настоящему работать, т. к. разобрался в том, что первостепенно и что нет. Многие я стал открывать в уже читанном только благодаря здешней честной методе изучения. Сам Коген этому живой пример. Он вдруг останавливается над строкой Канта, он, который

сам создал его, он просит нас, чтобы мы подождали, и вдумывается и вертит так и сяк это предложение, пока вдруг, просиявши, не начинает объяснять тонко, внушительно и сдержанно, как Ключевский ², немецкий перевод которого, со всеми чудачествами последнего, он составляет. Я уже сказал вам, что пойду к нему непременно, но через некоторое время; и теперь я могу с чистою душой сказать, что не боязнь останавливает меня, а та серьезность, которой не опишешь, серьезность гения, которою он нас заражает. Представьте себе человека, отбросившего всякую фразу, всякую претензию на оригинальничание (и все-таки неподражаемого в своем, усвоенном при изучении греческой мысли, афористическом стиле), человека, поклоняющегося математическому определению и методическому целомудрию, и захватывающего, как мистерия, фантастического, как сказочная чаща. В нем теряешься; как при экстазе отмирают, увядают и уже надолго не существуют эти лишние навыки, непродуманные мысли, ставшие синтаксическими оборотами, пропадают даже термины. И остается как стройный, величавый покой в природе одно только основное, существенное, классическое в своей безусловной достоверности, той достоверности, которая в духовной культуре означает животворность, успешность, урожай. Видеть мудреца, т. е. ту сущность, которую мы только *подозреваем* в истории, — наглядно! Это последний семестр, что он читает. Какая случайность, мама!

Я пишу часто, т. к. боюсь, что иначе вы перестанете писать.

17. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

5 июня 1912, Марбург

Vous l'avez voulu, Georges Dandins! ¹ 3 раза я отправлялся к Когену. То он был в Берлине, то он спал, то; но в этот 3-й раз я таки попал к нему. Дело в том, что на пути к нему я вдруг очень просто представил себе, что если он преподает последний семестр, и если моя научная, постоянная связь с философией сомнительна, т. е. если меня неотвратимо влечет к ней именно только его философия, т. е. ее чисто *творческая живая* ценность, которая во всех отношениях может преобразовать меня, к чему бы потом я ни приложил свои силы; что если все

это так (а недоступность таких поездок за границу и его уход от преподавания только усиливают этот общий аргумент), то мне надо плюнуть на всяких Лейбницев и математику и философию как предмет вообще — и отдаться исключительно изучению *его системы*. А так как читает он только этику сейчас, а логики «потом» уже нельзя будет слушать по вышеознач. причине, то, следовательно, оную я должен проходить дома, а у него испросить позволения посетить его раз-другой для переговоров. Этими доводами я сделал осмысленным и необходимым и в собственных глазах мой приход к нему и, с друг. стороны, нашел оправдания для своего появления. Конечно, было бы грубо сказать ему: к моему ужасу вы последний семестр и т. д.; я обходным путем пришел к моему вопросу: бросить ли все и ограничиться... Но он был очень нелюбезен и нервически взвинчен. Может быть, я неудачно попал к нему. Он не дал мне договорить о моем отце, *dem Professor der Mosk. Mal'akademie* * и т. д.; он, мол, многим, всем отказывал и не может сделать теперь исключения и т. д.²

Я страшно рад, что он затронул если не мое собственное самолюбие, которого у меня решительно нет, то сознание высокого достоинства моих милых, которые обслуживают мои, не удовлетворенные на стороне, потребности в ласке. Вы знаете, какого я мнения о себе в музыке; я не страдаю идеализацией собственных сил. Но настолько философского дарования у меня бы хватило, чтобы *leisten* ** то, что производят его любимцы. Да я и не смущаюсь вовсе при расчете данных! Только при обсуждении живого интереса, при вопросе о назначении моей жизни, о том, что я в конце концов люблю, я прихожу в уныние от философии. Это вовсе не так неопределенно! Но, как я сказал, философия — дело *человека*, чем бы он ни стал.

Я очень хотел бы, чтобы Жоничка и Лида написали мне о торжествах³.

Следующее письмо я напишу закрытое и поподробнее.

Кажется, вы не особенно нуждаетесь в моем кликушестве.

* профессоре Московской академии художеств (*нем.*).

** выполнить (*нем.*).

8 июня 1912, Марбург

Мне абсолютно нечего сообщить вам радостного. И все же таки мне так легко сейчас. Сегодня месяц, как я здесь. Что я сделал? Ничего. Занимаюсь я меньше, чем дома, и труднее сосредоточиться; а так как те деньги, которые я плачу за обед, — не мои собственные, я не могу себе позволить, чтобы они пропадали без пользы: то есть я поглощаю все, что за эти деньги дают, телегу картофеля, несколько ломтей мяса, ведра рисовой каши и целые грязевые ванны шпинату. Если бы «мои» деньги не ушли на цветы и ночные импровизации с Анисимовыми¹, если бы у меня были «свои» деньги, — я приехал бы скелетом. А так я, наперекор всей привлекательности недоедания, делаю всякое возбуждение а priori невозможным и довольно тяжеловесно ожидаю вечера, сна, утра, семинария, обеда — и писем. Я сказал, я работаю меньше, сравнить нельзя с Москвой. Но что совсем несравнимо — это *характер* моего досуга. Мой быт, который я вам сейчас описал, лишает этот досуг тех творческих брожений, богатых личными приобретениями, которыми он отличался всегда на Родине. Вы понимаете, мне противно всякое свободное время, которым владеет мое пищеварение. Вы давно не писали мне: я подожду вестей от вас, может быть, нужно будет ответить. Пока же я прошу Шуру зайти в филологическую канцелярию и купить мне «обозрение» будущего года и выслать бандеролью!! Очень нужно. Я пришлю тебе счет моих трат, мама. У меня ушло (с переездом 20 м. и с унив(ерсите)том — 90 м.) — 160 марок в этот месяц. На съестное здесь неслыханные цены: 1 ф. вишен — 60 пф.; 1 огурец, 1! — 35 пф., 1 ф. сыру — 1 м. 30 пф.!!

Сейчас получил открытку. Изображение Когена есть у Марии Васильевны Гавронской² (старушки), тел. № 47—49, хотя он там не похож и абсолютно не выражено то бездонное, в котором тонешь, когда он сопровождает свои лекции пафосом, мимикой и каким-то, ему только свойственным приемом, который я назвал бы... интонированием столетий, выразительностью вечного, признаки которого он умеет дать в одном, неожиданном определении. Это ничего, что посещение мое было неудачно. Не думаю, чтобы имелись какие-нибудь «лики» с него, кроме вышеупомянутого. Во

всяк〈ом〉 случ〈ае〉 все это не так доступно, так что ментально я этого исполнить не могу. Но Гавронская такое задушевнейшее существо, что я не думаю, чтобы ты нашел в моем совете что-нибудь неудобное для себя. Сейчас, непосредственно я клянусь себя на чем свет стоит: несколько дней я никак не могу сосредоточиться и почти плачу! Как вы там ни вертите с лаской, а я таки искалечил свою жизнь в совершенстве, и с каким-то педантизмом систематического прекословия всему лучшему в себе: только потому что я находил это свободным и смешивал свободу с произволом. Произвольное же, как мне подсказывало чутье, — не должно быть терпимо. Напишите мне, когда найдете своевременным, дельно и подробно о вашей поездке, где, кто с кем, через какие пункты, на сколько и т. д.

Сейчас скажу вам страшный секрет!!! Ида и Лена приедут ко мне на днях погостить³. Что-то с занятиями будет?!

Целую всех. Привет Юлию Дмитр.⁴, которому отвечу в Шмеечке.

19. А. Л. ШТИХУ¹.

18 июня 1912, Марбург

O triste, triste était mon âme
A cause, à cause d'une femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon cœur s'en soit allé
Bien que mon cœur, bien que mon âme
Eussent fui loin de cette femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon cœur s'en soit allé...*²

И она все та же, все та, которую знали вы, милые гимназисты, и потом Stürmer'ы и Dränger'ы³, и потом больные, и потом мечтатели, а потом и сами такие же,

* Душе грустнее и грустней —
Моя душа грустит о ней.
И мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце ни брело.
Оно ушло с моей душой
От этой женщины чужой,
Но мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце ни брело. (Перевод с фр. А. Гелескула.)

как и я. Это не открытка — это непринужденность го-
рящего в публичном саду.

Я не могу сейчас отвечать тебе. *Pereat mundus, fiat tristitia* ⁴. Она была здесь, в замке ⁵. Знаешь ли ты, что она как царица. И из замка заметили ее появление. *Meine Dame*, сказали ей там,

Sie kamen in die Stadt, wir sahen sie *.

Это не открытка для любопытных, это — бродяга в городском саду.

20. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

18 июня 1912, Марбург

Дорогой папа!

Меня попросил к себе тот г-н Рубинштейн¹, о котором рассказывал Конст. Никол.², — это теперь более, кажется, любимый Когеном ученик, чем даже Гавронский. Когда я пришел к нему, выяснилось, что и его мать — г-жа Рубинштейн — желала меня видеть по поводу твоего намерения сделать с Когена набросок. Мой визит у Когена оказался несчастным недоразумением. Поспешность, с которой он меня тогда принял, отняла у меня надежду на возможность вторичного приема. Это заставило меня при первом же знакомстве упомянуть о твоём желании. Он, как теперь рассказывает Рубинштейн, был изумлен и шокирован этим «*навязываемым ему заказом*», тем более что не знал твоего имени и нашей национальности.

Рубинштейн оправдывает резкость этого старца тем, что в Германии не могут себе представить такого художественного предложения без корыстного умысла. Теперь Коген узнал через них, что ты — знаменитость и что еврейство твое вполне безупречно; и затем, что всего важнее, они устранили недоразумение, о котором я говорю; я, конечно, с чистым сердцем подтвердил, что твоя идея очень естественна, что это задача с чисто культурной привлекательностью: увековечить и черты того, кто сам себя увековечил в своих творениях, что живой художник не может упустить этой возможности, в особенности если он еще через сына связан с этим именем и т. д. — и что, конечно, дико видеть в этом повод

* Госпожа, вы вчера приехали в город. Мы вас видели (нем.).

к наживе. Когда же они спросили меня, думаешь ли ты подарить ему оригинал, — то у меня было желание вылить им супник на голову, с какой стати, черт возьми, художник должен быть и еще святым, да еще в придачу и мучеником: он должен так же, как m-me Рубинштейн, дарить ему свое восхищение, или ее сын — свои философские успехи (которые способствуют его же собственному блеску), или Митя Гавронский — счастье близкой связи и возможность приват-доцентуры — как все они — он должен дарить всего себя в своем рисунке?! И еще экономически — подарить ему твой труд? Как это несправедливо узко, делать этот труд искупительною жертвой нашей экономики.

Чувствительность общества в этом пункте очень напоминает его тонкую поэтичность по вопросу о проституции, где те, кто не могут дотянуться до надуманного ими идеала, морщатся от того горя и тех несчастных, которые им нужны, потому что они же не могут дотянуться до идеала... Да, я хотел вылить супник; но вместо этого я просто сказал, что сомневаюсь в такой, ничем не вызванной жертве с твоей стороны. Может быть, ты подаришь копию? Я и этого, конечно, не обещал. Итак, мне поручено сообщить тебе, что Коген не только жалеет об инциденте и не только дал полное его объяснение, но он чувствует все большее и большее желание быть написанным тобою; они даже говорят — это мечта его.

Я просил их, ввиду щекотливости положения, — ввиду того еще, что близкий юбилей (4-го июля) обостряет его, — и наконец, просто по несчастному опыту — сказать мне все, что они думают или знают в связи с этим.

Тогда они, почти что прощаясь со мной, сообщают случайно и неполно, что ученики и поклонники Когена заказали «одному немецкому художнику-еврею» за плату рисунок с него (верно, с фотографии) — это секрет, и они не хотят говорить его фамилии; но что это, мол, нас не касается, потому что, де, и Коген ничего не знает; между тем как твое предприятие совершенно личное, платоническое, известное уже Когену и встреченное им, в конце концов, с благодарностью. И Когену и им я объяснил твое желание тем понятным чувством уважения к исторической величине, которая современна нам, прибавив, что мое увлечение им, может быть, достаточно для тебя, как отца. Если хочешь,

взгляни в его Эстетику, кот. у меня в шкафу на верхней полке сзади.

Поступай как знаешь, я нарочно рассказал тебе все дословно и беспристрастно. Меня же, признаться, не очень склоняет к тому, чтобы ты приехал из-за этого: что-то мне во всем этом несимпатично. Он прав: ни ты, ни я — мы не евреи; хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несем все, на что нас обязывает это счастье (меня, например, невозможность заработка на основ(ании) *только* того факультета, который дорог мне)³, не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но нисколько от этого мне не ближе еврейство. Да делай как знаешь. В Берлине ты увидишь еще, верно, Высоцких.

Мама! Они были у меня 5 дней. Мне трудно было расстаться с ними, и вот я поехал в Берлин. Мы прибыли ночью; на следующее утро мне было еще труднее расстаться с ними, и я уехал в Марбург. *Не знай* того, что я тебе сказал: Мюнхенская их поездка и была, в сущности, поездкой ко мне. Родители будут недовольны, если (о Марбурге они уже знают) им станет известен и Берлинский эксцесс. Дорогая мама, если увидишь их, не шути с ними и приласкай их, как это ты сделала бы со мной. Они так одарены — Лена так умна, она была на Когене и так поняла и так развила его лекцию, когда я ей объяснил кое-что из математики. Лена так умна, и так восхитительна в ней женщина, которой несколько недель. Так чиста, так глубоко-мысленна!

А Ида, она так гениально глубока, глуха и непонятна для себя, и так афористично-непредвиденна; и так сумрачна и неразговорчива — и так... и так... печальна. Отчего она не владеет большим, большим счастьем, как ты, например, мама, — а если бы ты знала, сколько у нее на это прав!..

Только не говори с ними обо мне; это грубо, мама, и не нужно. И если бы я не надеялся на то, что иногда, иногда ты умеешь побороть в себе инстинкт, я не просил бы тебя сейчас: серьезно и тепло подойти к ним, забывши, что есть у тебя связь через меня, — а то это деспотично.

Ты сделаешь это?

Ну — и вот тебе этот поцелуй для передачи.

Боря.

Я вторично в первый раз въехал в Марбург⁴. И вторично вхожу в работу.

O mon Dieu — la vie est là
Simple et Tranquille*.

21. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

21 июня 1912, Марбург

...Передай папе¹, что Коген мечтает прямо о рисунке, по словам г-жи Рубинштейн; и что теперь его глубоко огорчило бы, если бы недоразумение и т. д. Я хотел бы сегодня же иметь подробные сведения о папином решении и вообще о ваших видах на Марбург. Когда уехали Ида и Лена, то после двух-трех дней полной покинутости меня стали замечать здесь; я уже говорил в двух семинариях;² в одном сошел за знатока Лейбница и мне навязали реферат. Сегодня я давал продолжительные объяснения не без некоторого пафоса о Когеновской логике. Математик Рашке был против меня, но я переубедил его, Швандт стоял на моей стороне, Шенфельд не понял пустяков, Наторп слушал, записывал и был, как всегда, задушевен как Христос. На этой неделе я, значит, открыл шлюзы и небезуспешно. Но сердце мое молчало при этом и только старалось ударить в верный падеж.

Я думаю взять реферат у Когена. С этой стороны папино согласие усложнило бы и затемнило первое ознакомление полубога с одним из семинарских пигмеев. Вообще же надо тебе знать, что среда, суббота и воскресенье — любезнейшие дни для меня, и если бы ты осчастливил меня своим приездом, то было бы хорошо, если бы ты выбрал один из этих дней, конечно, если это тебе безразлично. Сюда 9—10 ч. езды из Берлина и стоит 15 м. 50 р. Эту поездку стоит сделать, ибо я живу наполовину в лесу и в поле, которое уже скошено, окружен горами и совсем непривычными для тебя чащами: я так и не написал вам, как однажды я встретил оленя, живого дикого оленя в лесу. У меня настолько просторная комната, что ты прекрасно бы мог ночевать: у меня есть чудный диван. Я бы съездил с то-

* О Боже — вот жизнь, проста и спокойна (фр.).

бою в Франкфурт, который как Клин от Москвы удален отсюда. Мы пошли бы в дом, где родился Гете. Или же мы съездили бы в Кельн, Шура, в средневековый странный Кельн с его соборными сумерками. Это было бы недорого, так как эти поездки мы произвели бы, как здесь все делают, в 4-м классе. А ты погрузился бы в самую гущу Германии. Не забудь, что ты увидел бы при этом Рейн! Но, что прежде всего, ты на несколько дней приехал бы в деревню, в настоящую деревню с белками и зайцами и завтраками в васильках. И так как я после первых радостей стал бы работать, то мы не стеснили бы друг друга и ты даром прожил бы на даче.

Ты проехал бы через черный Гарц, где еловые леса, угольные шахты и Рюбецаль³. И так как в Германии без всяких затруднений разрешается вылезть на промежуточной станции и с тем же билетом ехать потом дальше, а поездов много, то ты мог бы вылезть в Гарце там, где бы тебе как раз понравилось из окошка (в Госларе, напр., или Kreiensen), и, побродивши часа 3—4, ехать дальше: есть 8-часовой утренний поезд из Берлина сюда. С ним ты мог бы учинить такую штуку.

Опускайте письма рано утром до 10 ч. Тогда я их могу получить к вечеру. И пишите.

22. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

22 июня 1912, Марбург

Здесь все так хорошо: идешь себе в 8 ч. утра в семинарий, зашедший тебя издали почтальон говорит тебе: Moe Herr Pasternack и вынимает папу из сумки. Все так тихо, дельно, серьезно. Я был бы наверху блаженства, если бы не связался с Лейбницем и Гартманом. Мне совсем теперь не этим хочется заниматься — Лейбница можно и в Москве и впоследствии проходить. Сейчас же главное — система Когена, первый образчик понимания которой я дал вчера.

Но Hartmann очень обидчивый и подозрительный человек, ему опасно отказывать. К тому же это несчастное письмо Гордона¹ к нему обязывает меня к тому, чтобы симулировать знатока Лейбница. Все это трудно. Пользуясь немецким языком — я испытываю полную неспособность быть недобросовестным: а то я делаю грамматические ошибки и строю неправильно предло-

жения. Я ведь, собственно, прибег к открытке, чтобы поздравить вас с приездом. Кончу этим. Надеюсь, мама здорова.

Был в театре на «Frau von Meer»². В среду гастролирует здесь Поссарт³ — взял билет.

Все очень мило, все очень грустно, и все очень удачно, легко и доступно.

Когда и как мы свидимся? Очень советовал бы Шуре не прозевать удобного случая поездить по Германии. Ведь ночлег ему бы не стоил; я же более или менее освоился со всем. Не все из того, что я вчера говорил в семинаре, — было понято — это хороший признак — существенного не уловили, а тому, что мне представляется очевидным, — придали неподобающе серьезное значение.

Сколько времени вы пробудете в Берлине? Привет Р. А., Ю. С.⁴, Володе и Высоцким.

Работаю с остервенением. В Москву вернусь с приобретениями, как раз в эти дни.

23. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

27 июня 1912, Марбург

Господи! Вчера ночью в кафе говорил о той осени одному человеку: сегодня не могу войти в нужную колею; — и вдруг Франкфурт!!!¹ Отчего же мы не удивляемся, не удивляемся этой последовательности? Ты спрашиваешь день, час? А вот я, — не спрошу! Итак, существуй под дамокловым мечом. Я тебя не застаю в гостинице? Ну, так я пойду в Гетевский домик. Там тоже нет? Ну, так я услышу, как трава растет. Словом — я отмстил тебе.

Понимаешь ли ты, что значит: из-за тридцати земель, из-за тысячи дней наконец добраться до Когена и вдруг оказаться значеньем того слова, которое, между прочим, не воробей, ибо, когда оно вылетит, то, естественно, его не поймашь. Это может, казалось бы, понять ребенок. И вот это слово: Pasternak вылетело у Senior'a Семинария на вопрос боготворимого мага: кто ему будет реферировать в этот вторник². Отказаться нельзя. Но можно ли удержать, не растрясти поднос с таким множеством строк, как те книги, в которые нужно взглянуть для реферата, — при этой килевой качке: Марбург —

Франкфурт. Милая, я бегу наконец от морской болезни, и если я перед лицом философии оказываюсь глупым как пробка, — то навигационный характер всей картины делает это качество, во всяком случае, завидным. Лейбница я уже отвел на место. Мазурка с этикой уже обещана. Но — *vogue la galère* *.

Оставить тебе место для двойки с минусом?

В конце концов ты не знаешь, что тебе делать? — Ничего. Ты ничего не успеешь. Это — моментальная фотография за пятак. И как всегда, ты себя не узнаешь. Но может быть, тебя оттолкнет мой тон? О нет, я не фамильярен. Я просто раб. И даже без твоего аншлага: «...остановилась не для тебя одного»³ — даже и без него, говорю я, я тщательно вытер бы ноги, без шума ступал по коврику и перед тем, как постучать, оправился бы, готовый встретить оживленное общество у тебя.

Я вообще не понимаю таких предостерегающих замечаний. Разве я так самоуверенно лезу на интимность? — Хотя, быть может, иногда неудачный тон моих писем давал тебе основания так меня понять.

Мне даже нравится та нотка старшинства, которая против твоей воли вкрадывается в твои письма ко мне. Это как раз та нотка, с которой ты заказывала Шуре цветы. Что ж, я к твоим услугам.

В пятницу к завтраку низко тебя привечу. То есть завтра.

24. А. Л. ШТИХУ

27 июня 1912, Марбург

Дорогая душа! Клянусь тебе, что закроюсь наконец и перестану посылать эти летние открытки без пиджаков! Но не могу собраться. Пока же, как флюгер, обращаюсь к тебе: ветрено, мой друг, и я стал ветренным, а так как ты самая *снисходительная* страна света по отн(ошению) ко мне, то вот я и жеманюсь на А. Ш. Кажется, я пригнал к тебе своевременно несколько печальных ягнят. Я думаю, эти козлы достаточно ясно сказали тебе о трагизме моего положения тогда. Я метался и вел себя безобразно; слово «плаксиво» просится сюда. А потом я заговорил в семинариях. А еще потом посыпались

* была не была (фр.).

рефераты. О Лейбнице я прочел ¹. Сложно: проф. не дал мне развить тех мест, где я если не оригинален, то, во всяк. случае, стараюсь восстановить тонкое и единственно правильное понимание Лейбница, которое дал в свое время Гербарт. Я же не поддавался, не обошлось без колкостей, но в общем, в конце концов я смазал все это минутной бульварною вафлей, и ее-то он нашел пикантной. Во всяком случае, это было подвигом для меня — при моей застенчивости даже в Москве. Удачнее, однако, у меня бывают свободные возражения, где я, несколько увлекаясь, дохожу до непозволительной самоуверенности. Сейчас — взял у Когена реферат! О, о, о! Осталось 4 дня. Я не приступал. Отказаться нельзя. Хочу приступить сегодня. Вдруг письмо. Из Франкфурта (2 часа отсюда). Оля! Еду во Франкфурт, снисходительная страна света. Отказаться нельзя. И это единственный раз в жизни — с Когеном. Поклон Нюте ². Лене кланяйся ³. Поклонись и Мише ⁴. Перед Валею ляг, так и быть. Володя? ⁵ Ну провались перед ним сквозь землю.

25. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 июня 1912, Марбург

Как бы это сказать?.. Мне досадно. Конечно, я вернусь и к твоему письму, и к сознанию тоже вернусь. *В понедельник вечером*. А пока. Мне досадно, Оля, что ты так неосторожно запоздала со своим письмом; оно должно было прийти в августе 1910 года. Как раз тогда, когда, вернувшись больным из Петербурга, я был извлечен в одно прекрасное утро на Божий свет одним сердобольным другом, и на его увещания, что так нельзя, что так и погибнуть можно и что при таких условиях нужно, бросив все, вернуться в Петербург... На все эти увещания — сослался на преждевременность этой поездки. При этом я с трудом только втолковал ему, что мне нужно в корне измениться: приходили тети Асины реактивы — где фиолетовым на белом была начертана моя — недоброкачественность; твоего же письма из Франкфурта не было тогда. И вот я решил перевоспитать свое сознание (я, Оля, сейчас не синтезирую, а точно обозначаю все) — для того, чтобы быть ближе «Петербургу». — Правда, цель эта держалась недолго, но первые дисциплинарные приемы мои определили для меня

целое направление работы над собой. Являлись иные цели: люди, которые тоже были, как и «Петербург», классичнее, законченнее, определеннее меня... И вот я попросту отрицал всю эту чашу в себе, которая бродила и требовала выражения, — в угоду тех, кто... опаздывали, ибо, как это ни курьезно, до тебя, этим же летом я услышал тоже запоздавший «отзыв», которого не подозревал.

Я не знаю, поверишь ли ты мне, что меня согрело от того приветливого взгляда, который ты бросила в ту невозвратную даль. Я и сам люблю его, бедного. И потому я не могу не быть тронутым тобой. И мне надо все это. Я тебе объясню в закрытом письме.

Не сердись на меня, Оля, но все это, правда, досадно. Если бы мне время повернуть.

26. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

4 июля 1912, Марбург

Милый папа!

Меня чрезвычайно удивляет то недоразумение (я даже не знаю, что это и как это назвать) — kurz *, в том письме, которое получил в Берлине от меня (через Розенфельд) Шура, — в том же конверте и даже в качестве продолжения беседы с Шурой — находилось обстоятельное осведомление тебя о всей этой Когениаде, которое тебе Шура должен был передать. Он ничего этого не получил. Затем — не помню уже — ах нет, вспомнил: я ведь послал тебе в Москву закрытое письмо ко времени вашего выезда, но так, что оно еще должно было застать тебя, папа. Видишь ли, теперь уже та срочность, которая была нужна тогда, потеряла смысл: сегодня как раз 70-летн. день рождения Когена, с поздравлениями и подарками, и цветами, и фестивалем... и с подношением в виде Liebermann'овской ¹ Radierung **, которую тот, кажется, сделал с фотографии; Radierung, заказана докторами — бывш. Когеновск. учениками по секрету от него и, конечно, за деньги, хотя Liebermann и «почитатель Когена». Рубинштейн, тот Рубинштейн из Одессы, о котором говорил всегда Пуриц (если же ты не

* короче (нем.).

** офорт (нем.).

знаешь, дорогой, то я не могу этому помочь и пусть он будет *x* для тебя), так одесский Рубинштейн, любимейший из учеников Когена сейчас, который часто бывает у последнего и прямо близок с ним, позвал меня этак нед. 2 тому назад к себе и объяснил мне причину и подлинную суть того казуса, того, хочу я сказать, непонятно возбужденного и почти негодующего приема, о котором я в свое время писал вам. А именно: его возмутил вовсе не мой вопрос о его уходе, а как раз мое упоминание о твоём намерении, папа. Он это принял за навязывание платной художественной услуги, в которой он не нуждается, — и был изумлен дерзостью этого шага. Меня принимал не только Рубинштейн у себя, но и m-me Рубинштейн (его мать) в духе одесских аристократок à la Ида Осиповна. И вот она, бывая часто у Когенов и втянувшись в свойственное всем здесь обожание старика, извиняла его полную неспособностью Германии хотя бы вообразить себе такое бескорыстное желание со стороны художника. Предложить такую вещь означает здесь — предложить ее за вознаграждение. Когда же Коген узнал от Рубинштейнов — передавали они — о твоём значении в России, о том, что ты еврей, — и наконец, о том, что тебя привлекает эта задача по вполне естественной склонности обращать свое внимание и свой художественный интерес на то, что — значительно; — когда он узнал, что ты просто хочешь сделать рисунок с него, как живой, интересной, — исторически и иначе величины, — он был растроган и каялся и т. д. и т. д. Как я только узнал это, я через полчаса писал обо всем этом вам в Москву и через час бросил в ящик; справь-тесь у Феди, нет ли письма.

Теперь я уже не могу собрать всех тех соображений, которые я высказал тебе тогда *sur le champ* *. Во всяком случае, если ты захочешь сделать с него набросок, выжди нед. 2—2 $\frac{1}{2}$ — пока пройдет эта юбилейная атмосфера и ее психология, которая делает невозможным все попытки рассеять недоразумение.

Корыстный и *gelegenheits* ** — характер остался бы висеть на твоём предприятии. Что же касается дальнейшего, то все же тебе просто было бы отрадно познакомиться с ним. Если ты и вынужден бы был пройти

* немедленно (*фр.*).

** к случаю, приуроченный (*нем.*).

мимо его оригинальных и бессмертных заслуг в области точной мысли, то я думаю, от тебя не укрылся бы этот человек, как таковой, как самобытнейшая и властнейшая фигура этого столетия; — и вместе с тем, я думаю, ты оставил бы его — навсегда сохранив ту неясную нежность, которая возникает во всех, которая заставила нас вчера весь день метаться по городу, заказывая букеты, корзины цветов; сколько портных готовят срочные фраки; даже я взял напрокат на *souper* *, кот. будет сегодня.

Итак, черт бы подрал это несчастье, что ты не получил того письма, — итак, неделю назад, когда я посылая тебе свой вопрос о том, что ты думаешь сделать и что Коген растроган и кается и т. д. и страшно хотел бы etc. etc., — это еще имело смысл (я ведь спрашивал, предполагая, что письмо то получено вами) — сейчас просто неудобно приезжать — а в дальнейшем желательность твоей работы удесятерится, т. к. отпадает характер приуроченности. — Что я читал в семинаре реферат и что Коген был доволен очень, это ничего, собственно, не составляет.

О докторам и испанцах (не в ироническом, а Пиренейском смысле слова) я писал, чтобы дать вам понятие о том аккумуляторе, которым могло зарядиться мое волнение. Это не так уже замечательно все. Но мне кажется, придется реферировать в следующий раз: человек, который взял на себя эту задачу, говорит, что у него докторский экзамен или диссертация и он занят, а что Коген был доволен и не только ничего не будет иметь против, но даже рад будет моему повторному появлению за общим столом с ним. Однако я думаю, это со всех сторон — назойливо: по отношению к нему и даже к семинарию; — все-таки при всей литературности моего стиля — это не родной их немецкий язык: и заставлять их вновь слушать все это (понятно другое содержание и на другую тему)!

А на очереди стоит страшно интересное нечто: о государстве в праве, в котором надо найти истинную субъективность, в противоположность ненаучной субъективности «профанов» — т. е. «субъективности» в духе

* ужин (фр.).

Ницше и современности, которые понимают это в буквальном смысле как «Я» и т. д.

У Когена же человек — это есть предмет *права* и т. д.

И эту фундировку «самосознания» надо сравнить с интегралом в математике. И ко всему читать Канта и угадывать Когена, когда он прерывает чтение и задает вопрос. Если ему дают ответ в целой длинной фразе, он просто не слушает и переводит взгляд на кого-нибудь другого: он признает ответы и вообще выражения *maximum* в 3—4 слова. Это — *maximum*.

Так как я нахожусь в неизвестности насчет ближайшего понедельника, то, во всяком случае, надо быть готовым.

Следовательно — много заниматься.

Приехал Шура. Я очень рад ему, он ведет себя с благородством, с которым ничто не может сравниться по отн. ко мне: стянулся почти в комок, почти не занимает места. Я звал его к себе, я думал, он приедет дня на 3. Он же приехал на $2\frac{1}{2}$ недели. Ну так что же. Ну так что же.

Вам трудно — я слышал от Оли, как вы потратились, — Шура явился с ног до головы олицетворением ваших трат.

Ну что же; моя комната, т. е., *parдон*, ваша комната в Марбурге, в которой я живу и работаю, как раз надлежащий пункт, чтобы потом гасить Кемпинских². А я — успею очень.

Ваш Боря

От Шуры получите письмо сегодня же или через день.

Не знаю, как буду сегодня двигаться в этом фраке, есть устрицы и услуживать даме рядом.

27. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

5 июля 1912, Марбург

Ну, дорогие мои, и была же пьяная неделя у нас! Началось с моего реферата: сегодня первая ночь, что лягу прилично. Вчера был банкет в честь Когена. Было

торжественно, тепло, вдохновенно, вкусно, светло, многолюдно, обширно. Чокался с ним. Его ученик, Кассирер¹, произвел своей речью на меня столь сильное впечатление, что для меня стало несомненным, куда мне набежать будущим летом, когда Когена в Марбурге не будет. Конечно, в Берлин к Кассиреру, — в особенности потому еще, что Коген переселяется туда. Закончили чествование маминой скрипичной сонатой Баха и Моцарт (овской) фантазией. С Шурой мы сжились и очень хорошо; хотя ему, конечно, скучно. Целую вас.

Боря

Гавронская передала поклон от вас. Спасибо.

28. А. Л. ШТИХУ

8 июля 1912, Марбург

Милый Шура!

Из твоего письма я унес на себе какие-то паутинки, кусочки хвои, сырость леса, отголосок какой-то речи простуженного: — так оно естественно. — Кстати — тебе удаются иногда поразительно краткие, выразительные определения — при помощи тех слов, которые редки в обиходе — но не редкостны — и которые поэтому не только всегда уместны, но и хотят *исправить* обиход. Ты прости, что я говорю о технике — но это моя слабость. — Так, твое письмо — ботанический сад, от которого отделилась жизнь — со всем парным налетом природы. Я совсем не вовремя припомнил сложное очарование Северного лета — читая твои строки: сегодня я читал второй раз Когену; сейчас я утомлен: все-таки это волнение: в семинаре такой ученый народ; испанские профессора и доктора (Мадрид) — англичане и англичанки, — немецкие доценты и, наконец, просто мои немецкие *Commilitonen** — эта публика, мертвенное ожидание Cohen'a, его шаги, шумная встреча, потом опять эта мертвая тишина и мои первые слова — все это несколько волнует. Но я люблю это, люблю готовиться, люблю уже по пути, в чтении — преодолевать волнение и превращать его в орудие логической интенсивности и в голосовое средство. Оба ре-

* товарищи (нем.).

ферата удались мне. Второй раз кроме того я читал Канта, разбирая с Когеном прочтенные места. Он остался доволен мною. Сегодня же он даже пригласил меня к себе на дом. Это пустяки. Но я рад его приему. Это живая маска всего того мира, который уже второй год колыхнется над моей уединенной работой, эти драгоценные черты — дают мне столькое пережить! Думаешь о Платоновском Эросе. И когда он так искренне радуется моему пониманию и замечаниям, ты понимаешь, тогда все это поклонение мое реализуется, оно становится жизнью. Но это не важно — это мое личное дело. Этот человек стареет. Достаньте ему что-нибудь от Мечникова¹. Как это чудовищно, что он состарится (ему 70 лет)! Он сейчас седой, седой — Бальзак. Громадный глухой и улыбающийся. Но он еще гениален. А его логика, его идея реальности, интеграла, самосознания государства! Господи! Как он был строен и прекрасен, — вспомнят и скажут о нем любившие его женщины — любившие его столетия, назначавшие свидание всем своим лелеянным надеждам у него. Так будет постоянно причитать бессмертие его об этом могучем юноше 1988 года. Смешно и безвкусно все в сравнении с этим. Молодой Коген!! Я не стану его учеником: я опоздал — это последний семестр его преподавания. Но я понимаю хорошо его учение. Если я буду философствовать — то только исходя из его неслыханных сооружений. Я не могу уже быть его учеником; если бы я приехал раньше — вся эта философская любовь имела бы более действительный результат; я знаю, я выдвинулся бы среди его любимцев — я это знаю. Я имею чем ответить на его своеобразие. Вообще же в Марбурге не во всей чистоте (за немногими исключениями) понимают Марбургскую философию. Это досадно, — что поздно. Я не буду его учеником. Но я пойду к нему на ужин. А если бы я издал когда-нибудь стихи — я посвятил бы их философу инфинитесимальной методы: и ради этого, за неимением собственных — я пошел бы даже на кражу во всей противоречивости этого словообразования. Десять лет назад у него учились Гавронский, Hartmann etc. etc. Я мог бы стоять среди них. Теперь я пойду ужинать к нему. Ничего, ничего. Это досадно.

Как же увеличивается досада, когда... Марбург... Коген... 1912... Я с рефератом в Марбурге для Когена... — когда, говорю я, это сочетание входит в непредвиденную — запоздавшую связь с... августом 1910... в Спас-

ском... после Петербурга...² с проектом коренного «самоперевоспитания» для сближения с классическим миром Оли и ее отца etc. Отдаление от романтизма и творческой и вновь творческой фантастики — объективация и строгая дисциплина — начались для меня с того комичного решения. Это была ошибка! Ты ждешь разъяснений. Связь между этими двумя моментами создает письмо из Франкфурта, пущенное мне в спину. Оно от Оли, той Оли Фрейденберг, и приходит в Марбург в день первого реферата³. Когда я пришел в семинарий, мое сознание было из края в край удобрено этим бесконечным «увы» — которое вызвано было этим письмом: «Я сплющился; она молчала тогда (1910), потому что происходило чудо — я говорил — говорил за себя, за нее, за ее отца, за ее жизнь и ее город: и именно так, как я тогда говорил (это было время товарных вагонов и двойников), — надо было говорить — тогда я был выше ее и ей трудно было дотянуться, теперь же — я отстал — она больше, она дальше меня — я сплющился, я потерялся...»⁴ Что ты скажешь на эту *oratio obliqua*? * Боже, если бы она мне все это сказала тогда; если бы я не считал, что предстоит дисциплинарная обработка — в которой погибло все — в целях уподобления — классическому и рациональному; Боже, если бы я тогда держал это Франкфуртское письмо в Марбург! Ну что же тогда? О, я послал бы ей все, что я писал; — то есть: я послал бы ей знаки; — она бы приняла их, чудо бы продолжалось, — это было бы знаком мне, чтобы допустить то *mimicri*, которое создается завтрашней жизнью по отношению к сегодняшней строфе: жизнь училась бы у знаков; нашли бы вы меня в Марбурге на уроке? Где вы нашли бы меня через эти два года? Разве не имею я права быть искренним? Разве я не оторвал от себя весь этот мир чувств и их препаратов *наильно!* Разве это не *наслаждение*, когда у пьяного Гафиза есть строфа, с которой он просыпается в кофейне, упершись головою в полдень, с толпой, ступающей как расплывчатый верблюд, — разве это не наслаждение — *сказывать*, фантазировать, фантазировать, *сказывать*, окликать, быть окликнутым и — в промежутках слушать, слушать, слушать: ставить палатку в пустыне. О чушь, чушь! Но это не шуточки!! Разве я не *наильно* сошел с пути!! — Так [...] ⁵

* косвенная речь (лат.).

9 июля 1912, Марбург

Дорогие! Шура не показал мне своего письма. Я боюсь идеализации с его стороны. Эти выступления, вернее, мое самочувствие при них носит смешанный характер; радость отравляется досадой: существенного, своего мне не удастся сказать; я даже боюсь, что он меня принимает просто за стилистически ловкого человека. Между тем есть пункты, в которых я понимаю его систему если не оригинально, то до самого основания. Когда я читал Канта, мне хотелось расширить критику и толкования. — Удалось только местами, он не дает много распространяться. Мне не суждено стать действительным его учеником, т. е. ученым, вышедшим из Марбургской школы. Мне не суждено насладиться тем его уходом, который узнали, между прочим, Гавронский и Рубинштейн. Но я не жалею об этом; странно заговаривать об этом в открытке... но ведь я не совсем выздоровел от той желтухи, которая так густо окрашивала мое детство и ее кругозор. Я все-таки знаю еще нападения лиризма и творческих несуразностей. Коген был для меня живым увлечением. В полуторагодовой работе изменился мой характер. Я все-таки пожертвовал кое-чем. Теперь я *живо* вознагражден. Второй раз он сказал мне: *Aber sie machen doch das alles sehr gut, sehr schön* *. Он сказал, что хотел бы меня очень видеть у себя. Он, наверное, скоро пригласит меня к себе на дом.

Что касается денег, то я страшно удручен своими расходами. Но вы сами поймете — сколько трат вызвал этот Когеновский юбилей; хотя, признаюсь, это не извинение. Так или иначе, на Когена (банкет, фрак, пластрон, цветы, еще цветы и цветы Наторпу, кафе, где обсуждались действия и т. д. — я уже не помню) — стоило мне марок 25—30!! Хозяйке уплатил сегодня 31 марку (стирка еще и хлеб и кофе).

Вот вам 60 марок уже. Затем обеда за месяц — марок 15—18, да еще у меня из ста рублей в прошлый месяц марок пять ушло. Т. образом, со ста у меня осталось сейчас 15 марок. Шура изменил мой скромный обиход

* Вы все очень хорошо делаете, даже прекрасно (нем.).

своим патрицианским аллюром; т. е. я-то держусь при своей системе.

Простите за Fliegenkakeen *!

30. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

11 июля 1912, Марбург

Дорогая Оля! Если бы слова были необитаемыми островами, если бы их не осыпал скрытый в туманах архипелаг предположений, я бы просто сказал тебе, что таким письмом кончить нельзя, т. е. просто словесно нельзя. Вообще я писал бы то, что хочется. А то я должен объяснять тебе, что с философией у меня все обстоит отлично. Коген был приятно удивлен моей работой; я даже вторично реферировал ему с еще большим успехом. — Так что мое молчанье — совсем не меланхолия после неудачи. Затем я должен был бы оговориться, что ничуть не предполагаю с твоей стороны какой-нибудь потребности в письме от меня — и это объяснение лишено всякой опоры в виде самоуверенности. И еще много было бы оговорок. — Но если бы слова падали с неба как неорганические части, — и не разрастались в догадках, я бы сказал тебе, что так кончить нельзя; потому что то твое письмо — страшно справедливое и чрезвычайно важное, почти спасительно для меня! — было каким-то предварительным. Ты там говорила о своем стремительном развитии. Я просто дивлюсь той пронизательности, с какой ты уловила что-то чужое, общее и упадочное, что изменило меня. Ты и понятия не имеешь, как я сбился *со своего* пути. Но ты ошибаешься: это случилось сознательно и умышленно: я думал, что у «моего» нет права на существование. Ты писала: я выразил тогда и твой мир. Неужели же ты откажешь мне в том, чтобы теперь дать известие о том, что случилось за два года с тем миром, который ведь был и моим. Я был в отъезде и от себя самого в философии, математике, праве. Может быть, можно вернуться, но я не говорю, что ты в долгу передо мной. Написать о том мире — это значит написать о себе. Но не так: я развилась, я выросла, я — в разбеге... О, какие полные глаголы с дуплом!! Ты, кажется, шутишь словами. У меня ж — серьезные трудные времена.

* мушинные кашки (нем.).

11 июля 1912, Марбург

Опять открытка. Закрытое невозможно. Я все скажу тебе, — письменность уже не жизнь для меня. Тебе нетрудно читать? Это не мелко? Из стихов, кот. ты прислал мне, — наилучшее, замечательное по музыке: Звезда моей и т. д. Удивительно и то (по содержанию), — где кровью отмечается счастья путь. Но я говорю это наспех тебе. Потому что — мы о всем переговорим. Коген был очень доволен мной. Я читал второй раз реферат. И Канта с разбором. Коген был прямо удивлен и просил меня к себе на дом. Я был страшно рад. Можешь себе представить, как я волновался перед всеми этими докторами со всех концов мира, заполнившими семинар; и перед дамами. Я знаю, что выдвинулся бы в философии, — все то, что я иногда намечал в гостинной или в метель, *hat sein gutes Recht* *. Но в этом году в Москве я сломя себя в последний раз. Я имею многое рассказать тебе. Если бы я умел сейчас чувствовать, я бы сказал тебе, что целый ряд обстоятельств сложился чудовищно для меня. Боже, чего только я не делал в эти два года! Я имею много рассказать тебе. Я написал в день реферата — почти бессознательно — за 3 часа до очной ставки перед корифеем чистого рационализма, — перед гением иных вдохновений — 5 стихотв. Одно за другим запоем. А тут раскрывались «обстоятельства». Была обнаружена со стороны моя подложность, неподлинность. Я и сам хочу участвовать в сыске, который приведет к прошлому, разоблачит насилие и, может быть, изуверство этой работы над собой. Я докопался в идеализме до основания. У меня начата работа о законах мышления как о категории динамического предмета. Это одна из тех притягательных логических тем, которые иногда могут сойти за безобидный наркотик. Но безобидности я не хочу. Боже, как успешна эта поездка в М(ар)б(ург). Но я бросаю все; — искусство, и больше ничего. Господи, как мне просто ненавистны все эти связанные одной работой со мною люди!

* оправдывается (нем.).

15—16 июля 1912, Марбург¹

Дорогая моя Жонюрка!

Забудь то, что я сказал тебе об Иде. Я не знаю, зачем я это сделал. В Иде ты находишь родного тебе человека, какого и я в ней всегда находил и нахожу — и как я посмел мешать тебе в этом?

Дорогая девочка, поцелуй Лиду и передай папе, что Коген говорил со мной, советовал остаться в Германии и посвятить себя философии, то есть это значит преподавать потом при немецком университете. Прежде меня несказанно порадовал бы такой совет; теперь же, как ты верно заметила, — я запутался во многом — и, главное, я не с вами. Поэтому я предприму что угодно, но не стану философом в Германии. Я краснею от стыда, когда думаю, что сказали бы умные люди, прочитав такие строки, которые пишутся взрослым человеком ребенку о том, что этот взрослый человек бросает свои долгие, успешные и даже любимые занятия, в которые он верит, только оттого, что эти, *нужные* далеко за пределами отдельных жизней и событий, труды отдаляют его от тех, кого он любит... Он, этот взрослый человек, не думает найти опять эту, утерянную в работе, связь с дорогими людьми только тем, что прекратит эту работу: он вообще не надеется найти эту связь. Но работа не нужна ему; и все ему безразлично, — и он ждет писем от сестры, этот взрослый человек, и целует ее, — и он ждет писем от Иды, этот взрослый человек, и тоже целует ее; и вместо семинария он пойдет в лес, и мало ли что он там будет делать...

Но он не станет преподавать в Германии; потому что товарищи вокруг — как паутина, от которой еще холоднее, еще более пусто...

И главное, потому что он ждет писем. От Жони и от Иды. И первая расскажет все второй, не показывая письма.

17 июля 1912, Марбург

Милый Шура.

Господи — мне не хорошо. Я ставлю крест над философией. Единственная причина, но какая причина! Я растерял все, с чем срастилось сердце. От меня, явно или тайно, отвернулись все любимые мною люди. Этот разрыв ничему не поможет. Меня не любят. Меня не ждут. У меня нет будущего. Я могу сказать цельнее и ближе к действительности: весь мир, из которого я вышел, все, что есть женственного, — исключено для меня. Трогательнее всего было с Жонечкой. Боже, как выросла эта 12-летн. девочка! Я ехал 11 часов в Киссинген. Поехал на один день: 1-го русского июля — рождение Иды. Там Высоцкие, наши, Вишневский¹, Собинов² etc. Но к чему это? Помнишь атмосферу вокруг Наташи Ростовской? Это я нашел вокруг Жони — Иды. Они серьезно обе дружны; серьезной и грустной связью. Мне так все безразлично сейчас, что хочется часто умереть. И как хочется! Когда я вернулся из Киссингена — голова у меня шла кругом. Ты думаешь, я не плакал этим летом? Как часто мне приходилось выходить из семинария! Горести связаны и с оскорблениями. — Оля: «...Боже, как скучны эти твои итоги...» Ида: «...Попробуй жить нормально; тебя ввел в заблужденье твой образ жизни; все люди, не пообедав и не выспавшись, находят в себе множество диких небывалых идей...» Жоня: «...Скажи, Боря, ты стал глупее? Ты стал таким, как все? Твое *занятье*, может б., отличается от других: ты не можешь принести пользы в нем, т. е. твоё *занятье* не *взрослый человек*; но ты, как все в своих мужских трудах, ты, кажется, затвердел в нем?» Жоничка хоть спрашивала не с холодным превосходством первых, а с состраданием, с горем на лице. Вечером я застал ее плачущей. Она присела ко мне с причитанием: «Бедный Боря, ты запутался в прежнем и теперешнем, бедный, тебе теперь трудно, в тебе все должно определиться...» Она так тонко, так непостижимо пронизательно привела в кач(естве) примера те вечера в Москве, когда я, раскачиваясь после иной работы, которая, как плаванье под парусом, отучает от верной почвы, — начинал дико и взволнованно шутить, — и отец никогда не понимал *природы* этих болезненных шуток, принимая их за неудачное остроумие. Она при-

помнила эту действительную рознь эпического и драматического, — а потом прибавила, что теперь я и сам не пойму таких, каким был когда-то я: в Когене тебе подменили то, чего ты избег дома: формы обеспеченности... И плачет, и плачет. И все так конкретно! В праздной распутности Киссингена, в его жидовстве — этот спаянный в одну целую цепь — летний день; дорога полем в Салины; — где добывают соль. Тоненькая, взрослая, нежная Жоничка, окруженная заботливостью, улыбающаяся выходкам Вишневого; — рядом Ида, величавая, просто до трагизма для меня, прекрасная, — оскорбляемая поклонением всех, одинокая, темная для себя, темная для меня, и прекрасная, прекрасная в каждом отдельном шаге, в каждом вмешательстве ветра, в каждом соседстве деревьев... Она видела меня раз в припадке, почти в безумье, когда она приехала в Марбург сказать мне (в ответ на одно мое письмо, подсказанное горькой обидой), — что я прав, что было необдуманно, не испытывая того же, что и я, вырастать так долго вместе, — и что надо расстаться — она видела меня таким — и Боже мой, какую нежность, как ее основу, узнал я тогда случайно в ней: в ее уходе за мной, в ее утешениях; Господи, мне тогда хотелось умереть в этих ладонях — и как мне было оторваться от нее? Это была нежность женского сожаления; — нежность «в сторону», — но однажды, рассказывая мне об одном человеке — (как мне определить его — это безукоризненное ничтожество, один из космополитических бездельников богачей, с большим поясом на животе, с панамой, автомобилем и всенародными формами движений развитого животного, которые зовутся у этих людей «культурой»...), — говоря однажды о том, как этот, противный ей человек домогался ее руки — и заявил в автомобиле о том, что без дальних слов она должна стать его женой, рассказывая об этом... она употребила бесподобное выражение: «Потом он приходил ко мне, плакал, терялся... и мне *так же точно* (!) приходилось утешать его...» Ты понимаешь, Шура, это значит, ее «мой бедный мальчик» — было уже неоднократно примененным средством в нужде... И я был тоже противным, далеким, помогающимся... Отчего меня вдруг перестали понимать! И кто? И так чудовищно истолковывать! — Я думал, меня излечит эта редкая оговорка. Стало еще хуже. Все хуже и хуже. За что это? — Какое-то странное, роковое чудо выслеживает меня; и даже в Жоне мне мерещились его чужие,

недружелюбные глаза... В Киссинген я, «наученный опытом», приехал а priori спокойным, утвердившись в такой колее, — которая делает всякую близость и ее катастрофы невозможными. Но меня тянуло к ней в день ее рождения. Она так просто несчастна, — так несостоятельна в жизни — и так одарена; — у нее так очевидно похищена та судьба, которую предполагает ее душа, — она, словом, так несчастлива, — что меня подмывало какой-то тоской, и мне хотелось пожелать ей счастья; — я тебе говорю, как сложен был Киссинген!..

Я вернулся в понедельник совершенно разбитый; воскресенье колыхалось за мной; его уносили от меня, и я даже не знал, как крикнуть, как попросить о смягчении моей участи. На пустой, полуденной улице, возле парикмахерской встречаю Когена. В день моего отсутствия пришло ко мне приглашение его посетить... *Um ihren freundlichen Besuch bittet Ihr Professor Herm. Cohen* *. Я, конечно, извиняюсь. Длинный разговор. Между прочим расспросы, что я думаю делать... Россия, еврей, приложение труда, экстерном, юрист. Недоумение: «Отчего же мне не остаться в Германии и не сделать философской карьеры (доцентуры) — раз у меня все данные на это?»

Шура, мне хочется прямо внушить тебе, — в каком я сейчас замешательстве. Что ты не понимал связи государства и самосознания или интеграла и реальности — это не останавливало меня; что этого не понимали Анис (имов) и Станевич³ — тоже нет, и что Сережа⁴ видел в моих занятиях шаг назад — также мало.

Но Ида, Жоня, Лена!.. Ты не читай собственных имен! Это-то ты должен понять! Это не интеграл! Я оборвал свои занятия. Я не знаю философии. Если я бросаю ее, то ничуть не надеюсь этим вернуть себе утраченную связь! Но я гнушаюсь тем трудом, которого не знает, не замечает, в котором не нуждается женственность. Так я брожу сейчас — и мне так горько — так горько. И так дики мне мои Когенианцы. И хуже всего, я знаю, что Коген исключает все, что это действи-

* Вас просит дружественно посетить его профессор Герм. Коген (нем.).

тельно Бог — так я не нахожу нигде опоры: перед собой мне стыдно — те же, кого я люблю, и не знают, что мне нужна их помощь. Странно.

Прости, это письмо длинное и бездумное. Я писал его почти что за кофе, — а то другие, вечерние и пред-рассветные, приходилось рвать. Ответь мне, умоляю тебя, просто, честно и обстоятельно. И скоро, без на-строен<ия>.

34. А. Л. ШТИХУ

17 июля 1912, Марбург

Отвечай мне поскорее, Шура! Я здоров. Но я без сил. Что я сделал такого, что такое проклятие преследует меня. Было бы мракобесием сейчас с моей стороны заниматься тем, что так удачно шло у меня несколько недель тому назад. Я не представляю себе также ничего иного. Что же остается мне? Я жду конца семестра, мне хочется родного леса. Но если бы ты только знал, как мне хочется встречи с тобой!! Наши поедут в Италию. Зовут с собой. Поехать сейчас туда значило бы совершить грязный поступок: с такой душой и Италия, с такой сухой тряпкой. Этим я испортил бы ее вконец. Шура, Шура; ты мне не поможешь: надо заразиться сейчас моим состоянием, как я когда-то был способен по отношению к Саше¹. — Захочешь ли ты это? Но пиши, пиши мне. А когда мы свидимся, я вложу уже тебе в уста все то, что мне нужно услышать от тебя. И тебе не будет трудно. Я уже говорил тебе: при всей внешней незначительности — личные события последних недель совершили какой-то примерный бой, сомкнутым строем, по команде... Учебная стрельба. Подумай, какая пошлость: Fakelzug*. И дернула же меня нелегкая на все это. — Скажи мне: да или нет? Чего мне ждать. Знаешь, во что я верю? В предстоящий спутанный лес; во вдохновенность природы — и в твою дружбу. Об этом я думал сегодня. Глупый, ты не написал: «Я рад твоему лету»... нашел когда радоваться, Иванушка-дурачок. Впрочем, я не предупредил тебя, свадьба ли у меня или похоро-

* факельное шествие (нем.).

ны. Сегодня же поехал бы в Москву, но хочу получить Abgangszeugnis* для родителей. Еще недели 2—3 осталось.

Сейчас же напиши мне. Сжался надо мной.

35. А. Л. ШТИХУ

18 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура!

Еще далеко до того дня, когда задумываешься над раскрытым чемоданом; но он ведь придет. Я буду мало, очень мало говорить; а когда переедем границу, я скажусь иностранцем и совсем замолчу. Никогда я не чувствовал так опустошительного свойства слов в разговоре — как сейчас. Слов в разговоре. Но не тех, скучиваемых в повестях. Они — как гнезда. О них я думаю. У меня нет вдохновения. Я выбился из той общей среды, в которой срастаются творческие характеры, образуя особый круг, особый мир. Можно переодеться, можно сделать усилия над собой; но что сделать с теми желваками на руках, которые явились в черной работе? Как отвердевают новые формы над человеком в этом возрасте!

36. А. Л. ШТИХУ

19 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура!

Здесь неделями стояли душные и ослепительные дни. Сегодня первый пасмурный. Я проводил Шуру¹ на вокзал. Когда я спускался в подземелье и, вынырнув, попал в тяжкий туман, я припомнил первое утро. Первое утро, когда я, обессиленный собственным недоумением, вышел и остановился: куда ты приехал, бессвязный идиот, где тебе, куда тебе... Я стеснялся тогда всех тех русских, которые уже — давно его ученики, и чуть что не извинялся своей наглости. Ты знаешь, уже, верно, месяц, как я ничего не делаю, не посещаю семинариев². Никогда я не вел еще такого бессо-

* свидетельство об окончании курса (нем.).

держательного существования. Но мне не хочется прикрывать той нагой правды, что я только жду, только выжидаю. Я ничего не боюсь. Что я запылится и ослаб и что я лишен того единственного, что заменяло мне недостающее дарование: что я лишен сейчас первого удивления молодости и еще одного, чрезвычайно важного: той непрерывности, с которой восторженность восприятия, восторженность чтения служила душою созидания и письма... что все это так — меня не пугает. Мне бесконечно милее (сравнение вообще невозможно!) эта карающая рука; это не желающее меня искусство — чем рукопожатие осьминога. О нет, не осьминога! Если бы мне выразить только это настроение, которое мною сейчас владеет! Оно было бы так любопытно тебе! Я очнулся в этом предложении стать немецким ученым, как — excusez le mot sentimental* — обманутая девушка в ту минуту, когда, благодаря порядку вещей, обман уже невозможен. Предложение Когена, то, о чем я и не смел мечтать, уезжая сюда, как-то нездешне оскорбило, обидело меня, обдало какой-то горячей волной, — оскорбило порядком вещей. Я не знаю, понимаешь ли ты меня. Не Коген, не этот сверхчеловек обидел меня. Напротив, я удостоился большой чести в этом его предположении о моей карьере. Не Коген. Но порядок вещей!! И я с такой горячностью возвращаюсь к тебе; не только к тебе, но тебе придется много выслушать, во многом посоветовать. Что меня гонит сейчас? Так странно: удача, возможность дальнейшего успеха? Порядок вещей? Понимаешь ли ты меня? Я видел этих женатых ученых; они не только женаты, они наслаждаются иногда театром и сочностью лугов; я думаю, драматизм грозы также привлекателен им. Можно ли говорить о таких вещах на трех строчках? Да, они не существуют; они не спрягаются в страдательном. Они не падают в творчестве. Это скоты интеллектуализма.

Сердечный привет Нюте. Когда я приеду, напомни мне рассказать о Harry³.

* извини за сентиментальность (фр.).

22 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура!

Я еще не получил ответа от тебя. Это не упрек: я только хочу устранить возможные недоразумения — иногда содержание таких «спорадических» писем ставится в связь с отправленными и еще не дошедшими до назначения... Я напишу тебе грубую открытку. Мой отец не Rentier * и не Renntier **. И то и другое — счастье! «Будущность» на философском поприще, которая в Москве с основанием казалась мне плачевной, вырисовалась здесь, как я тебе сказал, — по-иному: Коген, жестоко бедствовавший в юности, дал мне свой совет (обосноваться в ученой Германии) *после того, как я ему заявил о «несостоятельности» моих родителей.* Это — реально обдуманый совет. Я не могу в письме выразить с достаточной вразумительностью, отчего я, собственно, так эпилептически отскочил от той дорожки, которая незадолго до этого довольно-таки усердно протаптывалась мною... и отскочил именно тогда, когда достиг на ней первого недвусмысленного успеха... Господи, у меня голова кружится от счастья! Я вернусь на родину; и эта родина — Россия, и эта родина — осень... Господи! Allein, wie gesagt, er ist kein Renntier ***. Поэтому я решил пока что — переводить Келлера ¹. То есть перевести: это еще Futurum II. Есть произведения, которые, несмотря на сложность и разветвленность языка, уже в своем творческом возникновении движутся в переводе, уже охвачены переводом с самого начала. Таковы Якобсен, Флобер, Мопассан. Правда, это не перевод на языки. Скорее наоборот: с языков. Вся эта литература величаво спускается на словах — словно на плотях. Как нигде под ними познается несущая их сила одного топографически определенного искусства. Заговорить в их тоне значит потерять всякую иную почву под собой и ощутить только эту, единственную. Я не говорю, что Келлера легко переводить. Но он один из тех, для которых перевод типичен... от которого этого можно ожидать. Привет Нюте.

* рантье (нем.).

** скакун (нем.).

*** только, как сказано, он не скакун (нем.).

25 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура! Меня удивило, что от тебя нет письма; я только что вернулся из Касселя, где я осматривал вместе с папой картинную галерею. Который уже раз я приезжаю в Марбург?! Идут, похаживают, стучат, постукивают поезда, поля, поля, поля — и горы, горы, — и вдруг они разрешаются Марбургом. Стоит как вкопанный тихий, обезлюдивший вечер, — какое-то угнетенное безветрие листьев, в котором сошлись стеной к стене старые готические улицы. Как они стоят! Это — лучшее из всего, что они могут и хотят: так темно и слитно стоять и блаженствовать в звездной свежести. Потом проходишь ц(ерко)вь Елисаветы — и обе ее складки, обе башни оперты вниз в ночной сумрак — выше они просто господствуют, громадные и непостижимые, как свернутые знамена, поставленные в ночи. И все такое величаво-сладостное! Как перемирие утомленных, давно не ложившихся великанов. Какое внезапное, загадочное и все-таки нерасслышанное замечание вставляет эта афористическая фигура из Кассельской галереи в нашу беседу¹. Это, вероятно, — поэт. Или — публицист, может быть? Вообще — Кассель — редкая галерея. Там столько вдохновенной живописи. Рембрандт — это ряд сдач перед каким-то осаждающим потоком. Он не в силах обороняться. Орган тоже — допущенная стихия. Коген — уже совершенно, раз навсегда — прошлое для меня. Пиши. Целую. Твой Б.

26 июля 1912, Марбург

Дорогой Шура! У меня к тебе чрезвычайная просьба: я решил остаться за границей, т. е. в Италии, до середины русского августа; просьба же заключается в следующем: призови, если у тебя нет собственных источников, у нашего Федя¹ (он живет в д. Хлудова против Метрополя, где товарищество «Оборот», в пансионе г-жи Пастёр) сколько следует для того, чтобы

купить и переслать мне сюда: *Блока* из собр. стихотв. II том, кажется, это — *Нечаянная радость* (не ту, которую ты брал у меня читать, та, помнится, была 1-м томом) — *Вяч. Иванова Cor Ardens* (тоже второй или третий том, я не знаю, во всяк. случае, у меня ничего нет Иванова, читал же я тот томик, который в своем заглавии имел что-то *Звездное* или *Ночное*) — и, наконец, *Брюсова* — ту его книгу стихов, которая представляет собою выбор из всех прежних, — не знаю, «*Пути*» ли это «и перепутья», или же «*Все напевы*»², или еще что. Ты разузнай это в магазине. У меня есть в Москве *Сологуб*, кажется, 1-й том, — не давал ли я тебе его просмотреть вместе с Белого «*Пеплом*». Если «*Образование*» (на *Кузнецком*), где ты скажешь мою фамилию, или *И. Высоцкой* — ...если они пойдут на следующее условие: обмен через месяц не разрезанной книги, в случае она оказалась бы уже имеющейся у меня, — возьми тогда и один том *Сологуба*: второй или третий (стихотв.). Там есть такой интеллигентный, черный. Кажется, сын хозяина, забыл фамилию, чеховский вид у него. Поручи им послать это все (4 или 3 книги) мне сюда, в М(ар)б(ур)г, скорее, т. к. через неделю я уезжаю. Тотчас же ответь мне открытой, можешь ли ты это сделать или нет. Прости за беспокойство. Буду бесконечно благодарен тебе. Феде, если ты займешь у него нужное, не говори, *какие* книги я заказываю, на 3 недели так сроком.

40. А. Л. ШТИХУ

3 августа 1912, Венеция

Venezia, Poste restante. Но книг не посылай уж, ты рассудил правильно; пусть уж это будет первым моим взносом в русскую книгопромышленность по возвращении. Предполагается, что я через неделю еду к нашим прямо в Пизу. Вместо этого я, мож. быть, и вовсе не заеду к ним. У меня золотой отец, совершенно не испорченный тем, что ему уж не 18 лет. Подумай, когда мне такие вещи Коген говорил, другой бы приводил доводы здравого смысла и т. д., — а он вместо этого соглашался со мной: тебе, говорит, надо все это *страхнуть*, ты уже душевно сам на себя не похож,

отправляйся al piasege * в литературную богему или к черту, но не стать же тебе в самом деле этим синтетическим жидом, за тридевять земель отстоящим от сумерек и легенд искусства, etc... etc... «Мы спелись с тобой», — пишет он мне! А?!¹

Нюта, я встретил Ланца². Это какой-то банан в жилетке, до того он худой и коричневый. Ничего. Подхожу я, значит, к нему, и сказал про твою открытку. Он извиняется очень, у него были неприятности, и оттого он не мог ответить. Вероятно, он с ними переписывался. Сегодня был последний раз в университете. Это здание еще долго простоит, уверяю тебя. Прочная постройка. Остаюсь здесь еще шесть дней. Потом выеду на шестерке, покину философию навсегда. В России буду в середине родного августа. Прости за болгарский юмор. *Боря.*

41. С. П. БОБРОВУ¹

2 июля 1913, Молоди²

Я еще не получил твоей книги³, дорогой Сергей Павлович, почтовое отделение здесь верстах в десяти, — но у меня есть повестка на получение заказного, может быть, это твои Вертоградари, и если бы не погода, я отправился бы за нею. Это вопрос двух-трех дней. Что же касается поездки в город, то это своего рода хозяйственная миссия, очередная и которой надо ждать. Я уже был в городе однажды, это было недели 2 назад, в четверг. Квартира ваша была на запоре, никого не было в городе или доме. Буду ждать теперь оказии, на то, чтобы она представилась вскоре, надежды мало.

Мне очень понравились оба твои письма, за первое я тебе чрезвычайно признателен, но чувства, о которых я тебе писал, не выпускают меня из-под своей власти, и если бы я искал названия для основного своего настроения всего этого времени, я назвал бы его озлобленным и усидчивым бездельем. Впрочем, это нуждается в примечаниях, которых не хочется делать.

Все-таки я кое за что брался, теоретическое и нетеоретическое. Но все это, написанное или только намеченное,

* пешочком (*ит.*).

нисколько не люблю мне ⁴. И я слишком быстро настраиваюсь на враждебный лад относительно этой дряни.

Я знаю, что все это скучно и что это письмо похоже на предыдущее, как одна сушеная фи́га на другую, нанизанную рядом, но что же делать.

А у меня ведь есть что сказать тебе и о чем посоветоваться. Сделаю это лучше в следующем письме по поводу Вертоградарей, где, надеюсь, начну без предисловий и мусульманского разувания на пороге.

Пока же сердечное тебе спасибо за книжку, за которую отправляюсь завтра. У меня есть сильное ощущение, связанное с нею, это — вечер 29 января, у тебя, первый вечер с тобой, Николаем ⁵ и Локсом, когда стол был осыпан корректурным цветением и я с восторгом копошился в нем.

Твой Борис Пастернак.

Молоди, 2/VII.

42. С. П. БОБРОВУ

2 августа 1913, Молоди

Дорогой Сергей!

Ты узнаешь мой почерк на конверте, но мое письмо разочарует тебя, оно не будет о Вертоградарях, но только о سینема, не больше.

Мне хочется или, лучше, приходится ухватиться за эту возможность заработка ¹, потому что иные еще дальше от истинного моего призванья, чем эта. И я до сих пор радуюсь этой счастливой случайности и тому, что ты будешь ее виновником.

Мне хочется написать тебе сейчас о той стороне кинематографа, которая позволила бы мне искренно и без всяких сделок с совестью поставить его выше театра и служить ему. Если можешь, выслушай меня внимательно, а я постараюсь быть точным. Конечно, драма в «Кине», драма людей или артистов, настолько же мало — искусство, насколько она мало — жизнь или презренная действительность в театре. Кинематографическая драма есть движущаяся фотография с десятка людей, занятых своим актерским ремеслом, но не фотография драмы. В драме ведь существенна игра вокруг некоторо-

го лирического равновесия известной среды; поэтому кинематографический фильм фотографирует второстепенный естественный элемент, а никак не драматическое в драме. Если подвижной объектив запечатлевает пантомиму на сцене, то на пленке получаются ведь просто невнятные слова, а никак не глагольные движенья. Словом, с людьми дело плохо. И вот я обращаюсь к главному, на мой взгляд, преимуществу кинематографа.

Драматичнее всего сцена; сама сцена, момент боре-ния подмостков с зрительным залом, или реальности идеи с темным простором, в котором размнивается, в котором получает свое осуществление замысленная ценность идеи. И как это ни странно, этот момент, момент драматизма самой сцены, остается не использованным на сцене, и в самом деле, как было бы его ввести в построение трагедии? Романтики, с их метеорическим появлением автора из-за кулис, преследовали, и ты понимаешь, неудачно, именно эту, быть может, цель. Мы, вдоволь изучившие зарождение лирического восхода с отпечатком личности на нем, мы слишком хорошо наблюдали, как заверчен и поддержан он окружным водоворотом, еле замеченным, оставшимся без названья и сейчас же нами забытым. Ты поймешь меня, если я назову действительность, и действительность города предпочтительно — лирической сценой как раз в том смысле, о котором я говорил. Именно; город как сцена состязается и входит в трагическое соотношение с пожирающей нас аудиторией Слова или Языка. Партеру предвечного Слова вольно думать, что его потрясение вызвано нашей игрою — жизнью, созерцаемой и постигаемой им. Между тем зрительский экстаз Слова (искусство) вызван тем, к чему у него нет никакого доступа: бессловесной иррациональной материей, к которой мы пригвозждаем его око (его назначенье) тем, что сосредоточиваем в ней свое, сродное ему, движенье. А вслед за тем, за движеньем нашим и явилось сюда слово, чтобы вперяться в него и его понимать.

Перемещенье цели, напряженье, самообман, — эти или подобные им обозначенья мне хотелось бы поставить на манометре лирики. Ты понимаешь, я говорю не об обстановке, не о действительности и даже не о природе, но о тех бортовых колках, которые натягивают и взносят основную мачту лиризма, в которой ветер поет только оттого, что он пленяется ими и остается заточенным в снастях.

Кинематограф должен оставить в стороне ядро драмы лиризма — он извращает их смысл; мне уже ясно почему, скажу ниже. Но только кинематограф и способен отразить и запечатлеть окружающую систему ядра, его происхождение и туманность, и его ореол; а только что мы видели, что эта оболочка зерна и есть центральная драма сцены. И следовательно, кинематограф может схватить первостепенное в ней потому, что второстепенное ему доступно, и это последнее есть то первое. К счастью, кинематограф извращает ядро драмы потому, что он призван выражать ее истинное — окружающую плазму. Пусть он только фотографирует не повести, но атмосферы повестей. И с другой стороны, пусть его виды будут видами, которые созерцаются драмою в них.

Тогда будет основанье искать нам имена для десятой музыки.

Прости за беспорядочность и поцелуй Николая ².

Что ты думаешь об этом?

Твой *Б. Пастернак*.

P. S., разделенный неделюю.

Это письмо лежало 8 дней; все же я пошлю его, может быть, тебе достаточно будет одного этого неудачного намека, чтобы понять мою мысль. Ответь мне скорее и сообщи о деле. К 15-му буду и я в Москве.

43. С. П. БОБРОВУ

21 сентября 1913, Москва

Дорогой Сергей!

Так как эти хулиганы относятся к рифмам как к вопросу о чистом белье, то я, собираясь переночевать во Всегдае ¹, думаю строфу

Бывало, раздвинется. . .
.....
.....
..... переполнив фиал

заменить рифмически безукоризненной:

Бывало, раздвинется Запад,
В маневрах ненастий и шпал
И в пепле, как *Mortuum Carui*,
Ширяет крылами вокзал ².

Ты, наверное, знаешь, что Мертвая голова это ночная бабочка с крыльями цвета министерства путей сообщения, совершенно дымно-пепельная и такая же неожиданная и ничем не обоснованная втируша, как и этот эпизод с насекомым в стихотворении.

Поступи как знаешь; если примешь вариант и тебе будет лень исправить оригинальную редакцию, позвони мне, и я напишу вновь. Если же сделаешь это ты, твоя принадлежность к добрым духам будет лишней раз блестяще доказана.

Твой Б. П.

44. С. П. БОБРОВУ

27 сентября 1913, Москва

Позвони сейчас же.

Дорогой Сергей!

Одного я боюсь теперь, à propos de Pasternak * — это все усиливающейся у меня риторики, и, что только довершает серьезность этой угрозы — как неизменного признака сильных стихотворений, то есть тех, которые по своей теме должны были бы казаться сильными. Вот и этот взлет, который я тебе посвящаю¹, страдает, кажется, тем же недостатком, и образ города на привязи, срывающегося в осеннее плаванье, проведен в нем неясно.

Во всяком случае, с неостывшим еще жаром передаю его тебе, и, прости, это обругание детища на произвол твоей критики почему-то кажется мне судьбою незаконнорожденного на пороге Воспитательного дома.

Горечь и истина этого сравнения лежит всецело a priori **, поскольку касается оно меня, и несколько не задевает тебя и твоей высокой роли относительно меня.

Во всяком случае, это завыванье характеристичнее для меня, и вообще лучше того Calcomani ***, которое я украсил твоим эпитафией.

М<жду> п<рочим> — триангль² — музыкальный треугольник в большом оркестре. Беркут, конечно, имеет

* по поводу Пастернака (фр.).

** в первой части (лат.).

*** декалькомания, многоцветная раскраска стекла или фарфора (фр.).

больше сходства со степным орлом, когда он покоряется обычному ударению на последнем слоге. Но и пораженный в первый слог, он, может быть, не лишится оперенья. Позвони мне 60—26.

45. Н. В. ЗАВАДСКОЙ¹

25 декабря 1913, Москва

«Может быть, Вам захочется ответить мне...» — о какая жестокая мысль! Вот дата: 25 декабря. Вы сейчас представите себе вечер после визитов, отравленный чувством досады, назойливое желание остаться наконец одному — и вообразите: 25 декабря, не накануне или неделей раньше, этому человеку захотелось писать. И Вас покинет личный Ваш опыт, и Вы забудете, что написали лишь тогда, когда желание писать не стало мешать Вам. Оно мешало мне. Вы уже измерили, вероятно, его продолжительность. Простите, пожалуйста, мне не пришлось скрыть его от Вас, и Вы его вволю изучили. А теперь... Веселые ли у Вас праздники? Да? Тогда я Вас понимаю. Так наступало для меня Рождество в прошлом году. Нет? Тогда я тоже понимаю Вас. Так сказались для меня Святки нынешний раз.

Платон где-то сравнивает движение идей с полетом голубиной стаи. Есть какой-то жизненный период, когда эти голуби — почтовые. Недавно я думал, что иначе и быть не может. Что всякое бесцельное скитание, о котором пишете и Вы, заставит тебя к вечеру, в отсутствие господина всей этой жизни, прямодушного дня, заменить все те имена, которые он дал своим предметам, теми, которые грозят им в твоём скитании. Что в странном этом занятии, когда метафоры разгоняют действительность и заставляют ее проплывать как будто явь. Это такой мир, в котором чей-то взор блуждает навсегда, и смешивает, и сгущает краски до последнего предела бесцветной черной; всеми тонами насыщенной, и острой простотою насыщенной были, — что в странном этом занятии ты отыщешь самую щемящую загадку, — которую разгадываешь не раз, каждый раз по-новому, а потом и не разгадываешь уже, а просто, теснимый потоком уже данных решений, захлебываешься ими, уступаешь

им, и, сами от себя, прибавляются новые и новые, и эти уже звучат как жалобы, и вот она — целая череда роко-чущих мыслей, излитых загадочным родником — живое зрелище творчества, загадавшего себя и себя разрешающего. Тогда зовешь свидетеля, который разделял бы твоё восхищение. Тогда, ещё более того, быть может, вызываешь собеседника, для того чтобы говор этой тайны лег между тобою и им, в ваших речах. Так, мне казалось, что голуби Платона — почтовые голуби, что не может быть иначе. Но как-то изменилось все. Как жаль, что Вы позвонили мне в этом году! ² Вы и не знаете, как страшно Вы опоздали! Образ дилетанта казался мне всегда соединением шаржа с нетленностью нимба. Потому что там, где художник — герой, дилетант — подвижник, и где, снова, художник — герой, дилетант — рыцарь Ламанча ³. Я перестал задумываться о том, о чём нельзя не думать. Об едином, всегда тождественном смысле всякого художественного движения, всякого, дарящего окраску прикосновения, всякого, наконец, лирического замысла, этого единственного желания, которое исходит не от тебя, но тебя окружает и, суживаясь и умалаясь, становится твоим собственным. Так идет, вдохновляя тебя, к тебе навстречу — лирический горизонт — окружившего тебя желания.

Я перестал об этом размышлять: это — размышление дилетанта. Оно-то и сияет над ним ореолом святости и чистоты.

Надо кончить. Это письмо до глупости громко написано. Где и как Вы станете его читать?

Нужно ли прибавлять мне, какую неожиданную, глубокую радость доставили мне Ваши строки. Если это не ответ на них, простите великодушно. Вероятно, я и не умею отвечать. Посылаю Вам книжку ⁴.

Я был бы очень огорчен, если бы Вы отказали мне в ответе. Мне хотелось бы знать Ваше искреннее и свободное мнение о «Близнеце» ⁵. XI-ое стихотворение объясняет заглавие или, по крайней мере, — ответственно за него. Уверяю Вас, пределы книжки — мои собственные пределы. Не будьте снисходительнее ко мне, чем к ней. Это мучительно и даже обидно.

Ваш *Б. Пастернак*

1 июля 1914, Петровское

1. VII. 1914

Шура!

Какое тяжелое лето! Разрыв за разрывом! И наши отношения тоже на волосок от гибели. В твои руки предаю их и предаюсь.

Вот я, живой человек с живым прошлым, с живыми привязанностями. Когда я встречался с тобой, все это перевешивало, даже и тогда, когда моментами ты, в настоящем, далек был для меня. Думаю, что противоположное происходило чаще, и никогда не поверю, чтобы не становился я с годами все антипатичнее и антипатичнее тебе.

Теперь ты накануне того превращения, когда поверхностное начинает своею особою жизнью жить, и у этого поверхностного есть свои клетки, и вот оно не поверхностно уже. Но именно потому, что ты накануне только, ты только завтра поймешь меня.

Если бы я написал тебе предисловие ¹, то мог бы это только дружески искренно и художественно недобросовестно сделать. А это предисловие к стихотворениям — и вот я отказываюсь писать его. Минуту. Только при безусловном доверии могу дальше говорить с тобой. Самое грубое и жестокое о самом себе я уже сказал; хотя бы за это только, слушай дальше. Я должен (чтобы писать в печати о твоих стихах) в воображении представить себе ту область, в которой одно только имя сейчас способно взволновать меня; но это имя принадлежит к целому течению; и этим именем то течение свято для меня. Всякое отступление отрезано мне: потому что Маяковский это я сам, каким я был в молодости, быть может, еще до Спасского, — и даже прошлое не сможет заступиться за *твоего* друга против *его* недруга. Весна потому-то и сблизила меня с Кушнером ², что он был свидетелем этого — внешне незначительного, внутренне сокрушающего — перелома. И, Господи, как чуток он был — чуток до сверхъестественности. Я крепко его полюбил не за одно это, конечно, за то, что я в нем нашел.

К чему тебе предисловие? Ты знаешь историю предисловия к «Близнецу»? От меня требовали собственного. Я отказал. Poleмические мотивы «Лирики» (тогда она была органом Боброва) делали предисловие в его глазах

чем-то существеннейшим в книге. Стихотворения считал он какую-то иллюстрацией к схватке с символистами («Сл(он) и Моська») — каким-то антрактом с прохладительным, когда сменяются тореадоры. Тогда, даже не затребовавши от меня стихов, предисловие написал Асеев;² — я всячески от него отбодрялся, — его положение казалось мне ответственным; на это он ответил мне подозрением: он заподозрил меня в том, что я не доволен его предисловием; и вот, чтобы его сомнения рассеять, я сдал предисловие в типографию. Да ты ведь знаешь про все это. Ты допускаешь возможность предисловия? Значит, есть у тебя сознание какой-то атмосферы и какого-то лирически-душевного строя, из коего они вышли; и может быть, этот строй, на твой взгляд, недостаточно ясно или, говоря о таком предмете, недостаточно неясно означен самими стихами? Тогда кто же, как не ты сам, способен наилучшее в этом духе предисловие написать. Тогда это было бы тем, что задумывал ты в своих статьях, что Николай Асеев в своем послесловии дал. Достань «Ночн. флейту»⁴, и ты поймешь, о чем я говорю.

Есть другие предисловия — партийные. Я вообще не способен их дать. В данном случае нелепо было бы об этом и думать. Отвлекшись от жизни — я отказываюсь от себя — от того, что Брюсов, разбирая «Бл(изнеца) в туч(ах)» в июньской «Р(усской) м(ысли)», — называет порубежничеством⁵ — я статьи этой не читал, но заглавие, сообщенное мне Бобровым, заключает в себе трагедию моего выступления и трагизм того моего невежества, которое заставило меня в 1911 году быть в Анисимовской клике, когда футуризм Гилейцев⁶ уже существовал, киты заплывали в лес и могли бы заплыть в издательство Гилею.

Однако единственное содержание этого письма уже настолько тебя против меня восстановило, что ты, вероятно, сочтешь преувеличенным тот тон, в котором я говорю о трагедии моих первых шагов.

Напиши мне, пожалуйста, какие стороны хотел бы ты оттенить в заглавии или какое стихотворение думал бы сделать центральным в книге. Этим ты дал бы мне в руки путеводную нить, без которой я чувствую себя слишком произвольно неопределенно. То же и о псевдониме. Что бы ты хотел выразить в нем? Эти две услуги — с радостью окажу тебе, хотелось бы только угодить тебе, и чтобы это возможно было — ответь мне, пожалуйста, на эти вопросы. «Бл. в т.» только отделка загла-

вия — дело рук Боброва. Еще в пивной у почтамта я читал тебе вещь, которая по тому чувству, кот. я с нею связал, имела стать величиной собирательно-циклической. «Бл〈изнец〉 за тучею» — назвал я этот цикл. «Бл. в т.» — как имя книги — вот все, что оставалось сделать находчивому Боброву. Жду твоих распоряжений.

Твой *Боря*.

47. С. П. БОБРОВУ

8 июля 1914, Петровское ¹

Сергей, выслушай меня до конца. Я ничего не писал, в этом я не обманул тебя. Однако я ничего не сказал тебе о причине такого прискорбного факта. Я хочу писать снова так, как начинал я когда-то. Говорю не о форме, но о духе этих начинаний. Твои советы были для меня незаменимою школой, и я никогда не забуду того, что ты сделал для меня. Но если бы я снова обрел тот, утерянный мною лад, — а только так я и согласен продолжать, и разубеждать меня в этом излишне, — я ушел бы от тебя и от Николая ². И ввиду того, что только о такой возможности и можно говорить, — не молчать же приглашаешь ты меня, — прими уже и сейчас этот отказ мой ³.

Я знаю, все так запутано и так нечисто сплетено у нас, что ты легко можешь вообразить, будто бы этот отказ с моей стороны — поступок неслыханно мерзкий и ожидает твоего суда и расправы.

Такого осуждения я не боюсь. Я боюсь только того, что поставишь ты мое заявление в связь с весенними нашими злоключениями. Милый Сергей, мы слишком воодушевленно сплотились этой зимой, воспротивившись духу, царившему в «Лирике» ⁴, положение мятежников, коих изображения за отсутствием их самих сожигаются всенародно, еще более связало нас — чтобы выходки этих снобов могли как-нибудь сказаться в личных наших отношениях. Вот почему, опасаясь за правильность объяснения, какое ты бы дал ему, я так долго медлил с этим извещением.

У тебя есть письмо мое, последнее. В нем ни слова нет об этом решении. Это похоже на обман. Да, я обманывал тебя, потому что и себя обманывал. Ты иногда бываешь редкостно чуток, Сергей. Что бы я отдал за то, чтобы письмо это попало к тебе в одно из таких мгновений. Те-

бя это оскорбит, я знаю. И это чувство не даст тебе вслушаться в правду — и правду, вконец истомившую меня, — в правду моих слов. Расставаясь с тобою, я это делаю потому, что надо мне расстаться с тем, во что я постепенно превратился в последние годы, — и если бы у меня были деньги, — я бросил бы все, что связывает меня с Москвою, и переселился бы — ну хотя бы в Петербург. Тебе тяжело читать это. Мне не легче это писать. Лучше кончим. Крепко жму твою руку.

Твой Борис.

48. Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАК

⟨Июль 1914⟩, Петровское

Наконец-то! Это не упрек, я знаю, теперь не до писем вам, но когда же, как не теперь, так настоятельна и непреодолима потребность в том, чтобы увидеть вас! Произошла молниеносная перестановка явных и тайных симпатий и антипатий. Не говоря о специально-племенных чувствах (*sapienti sat* *), душевное расположение всякого кочегара культуры — а таков прежде всего художник — не нуждалось до сих пор в толковании. И вдруг! История не знает ничего подобного, и узурпации Наполеона кажутся капризами, простительными гению в сравнении с этим бесчеловечным разбойничьим актом Германии. Нет, скажи ты, папа, на милость, что за мерзавцы! Двуличность, с которою они дипломатию за нос водили, речь Вильгельма, обращение с Францией! Люксембург и Бельгия!

И это страна, куда мы теории культуры ездили учиться! Рядом с этими, укладывающимися в строчку, потому что и газеты уже набрали их печатным путем, чувствами — стоячий как кошмар, целый и непроницаемый хаос.

Поездка Балтрушайтисов — на рассвете, почти бегство. Целый день ливень, тоска, запустение. И это запустение, и эта тоска, и прежде всего, конечно, это ненастье, — во всякое иное время столь благодатные для меня. Я не верю своему искусству, если запроваляю его в солнечный день: легкий жар, с которым это действие всегда так связано, исходит как будто бы все от того же полдня,

* разумному достаточно (*лат.*).

и ты не чувствуешь себя язычком пламени, зажженного на письменном столе в пасмурный утренник под оползающим, расседающимся небом. Такие дни — дни для лирика. — Эта подробность тоже не последняя светотень в сети частого этого безвременья.

А когда я прочел воззвание Пуришкевича ¹ к забвению всякой племенной розни — не выдержал и разрыдался, до того *все* нервы перетянуты были. Господи, до чего нас измучили! Может быть, все позорно это: Оболенское ², и вывод отсюда, и то, что после приступа этого заныло, взвыло что-то во мне и я без лишних слов, как в собственную свою комнату, прошел к Ивановым ³, у них пианино, — но у Веры Константиновны брат офицер в Гродне! Он не говорит, вероятно, о настроениях и о культуре и о Европе в эти дни и еще менее вероятно импровизирует. Но отчего же я остаюсь собою и не краснею? Нет, не шутка, вероятно, и наше дело, и достаточно в нем фатального, которое вдруг оказывается таинственным образом сродни общему фатуму этих дней.

День — как в паутине; время не движется, но капля за каплею высасывается каким-то узлом ненастья, — и, подчиняясь этой топкости засасывающего неба, выходишь к вечеру за ворота, за плечами — тургеневская изгородь усадьбы — впереди — свинцовая пустыня, пустыри в слякоти, жнивья, серые, серые, воронье, комья пара, ни души, и только полный, невыносимо многоверстный кругом очерченный горизонт вокруг тебя — ты — центр его заунывных ветров и центр его усыпительного гипноза, и сколько бы ты ни шел, все будешь осью его, равномерно переключивающейся осью. На горизонте — частые поезда товарные, воинские. И это все один и тот же поезд или, еще вернее, чье-то повторяющееся без конца причитанье об одном, последнем проползшем поезде, который, может быть, прошел и вправду, до этого наваждения, до этой мертвой думы, от которой оторвалась последняя надежда, в последний день, быть может 19-го, когда действительность еще существовала и выходили еще из дому, чтобы вернуться затем домой.

Я шел на станцию с повесткой о заказной какой-то бандероли. На Средней стоял воинский поезд с кавалерийским эскадронам. Солдаты вели себя, как гимназисты на перемене, как камчаточники перед греческим уроком, который не пугает их, потому что они уже камчаточники.

Какая-то баба принесла пригоршню зеленых яблок, кавалеристы затеяли драку с командой, шуточной и нервно-остроумной, иронизирующей над завтрашним днем. В пролетах вагонов — морды лошадей, благородные, породистые, вероятно офицерские, скучные глаза, далекие от наших тревог, пасмурные и поблескивающие.

Изредка труба горниста, распарывающая серый туман. Поезд ждал встречного: Средняя — разъезд. Подошел этот поезд почтовый, переполненный, люди не только на площадках, но на переходных мостках между вагонами стоят. Вдруг, как по команде, бабье причитанье вокруг, истерика — проводы запасных. Ты знаешь, слышал, наверное, в эти дни повторяющийся этот напев, в который хотят насильно втиснуть свой визгливый голосистый плач и утопить в нем всё эти каширские и калужские, алексинские и тарусские золовки, невестки, соседки и молодухи?

Я прямо содрогнулся от восторга при виде того, как солдаты воинского поезда, когда прошел почтовый, — со снисходительной насмешкой отнеслись к женской этой кутерьме. На каждой станции, вероятно, — то же самое, а сколько было их, этих станций, и сколько еще будет, — и многих провожали точно так же, вероятно. О тот обыденный, как будто в порядке вещей он, — героизм их! Я твердо почувствовал, что если дело дойдет до крайности, и я, как и Шура, вероятно, поведем себя, как парижане сорок лет назад перед пруссаками. Но об этом лучше не говорить. Может быть, это слова только.

Зашел на станцию за бандеролью. Представь себе мое удивление: из Мусажета, новая книга Эм. Метнера «Размышления о Гете», с особенною его надписью «Борису Леонидовичу Пастернаку, на добрую память от Э. Метнера»; ⁴ по адр. Балтрушайтисов и только мне, мне, которого он всего 3 раза видел, с которым я лично не знаком и т. д.

И в такую минуту в этой глуши, в необъятности ненастья и разоренья, в день как бы смытый с лица недели, день без назначения и наименования эта странная посылка неопишимо меня растрогала. Написал ему письмо на адрес Мусажета. Бедный, в какое время выпустил. Дельно, отчетливо, философски, без священнодействия, существенно написанная книга. — Часто захожу к Ивановым. Он знает, что мы разных с ним толков, но не скрываемо, в особенности через посредство своей секретарши (напоминает Ек. Ив. Баратынскую) ⁵ — благово-

лит ко мне. Доказывает, что то, что я называю просто обостренной выразительностью и вообще истинной, оригинально созданной художественностью — есть — я-с-н-о-в-и-д-е-н-и-е!! И когда я ему говорю что-то о наблюдениях над змеей или о том, как я представляю себе солнце в Египте, с тою свойственной мне манерой *независимости* от нехудожественной *привычки* и верности свежему впечатлению, к каким бы неожиданностям оно меня ни приводило, он повторял, что это все плоды ясно-видения и, если бы я умел это запечатлеть так, как я умею об этом рассказывать, я заявил бы себя крупнее и значительнее, чем я, быть может, мечтаю об этом и т. д.

То же, что я говорил тебе в одном из моих писем (о своеобразном в принципе подходе к творчеству, об исходном и даже поддающемся теоретическому определению своеобразии своего дела), я чувствую с каждым днем решительнее, хотя ни единой строчкой не нарушил еще торжественного своего бесплодия последних 3-х месяцев. Вообще В. Ив. говорит, что я лучше и больше того, что я думаю о себе, хотя я ничуть перед ним не скромничаю; что никогда он не видал человека, который настолько бы вразрез со своими данными поступал, как я. Он имеет при этом в виду то рабское подчинение ритмической форме, которое действительно заставляет меня часто многим поступиться в угоду шаблонному строю стиха, но зато предохраняет меня и от той, опасной в искусстве свободы, которая грозит разливом вширь, несущим за собой неизбежное обмеление.

От М. И. ⁶ получил сегодня письмо. Громадное спасибо тебе, папа. Правда ли, что Федя ⁷ хочет в р. п. п.? Вот хорошо было бы! Пишите же поскорее мне! Если бы хоть скорее в Москву мне попасть!

Как тетя Ася? Уговорите ее в Москву переехать. Получил от квартирной своей хозяйки письмецо. Рад тому, что мужа ее не тронули.

Если Балтрушайтисы вернутся, испрошу у них разрешения съездить к вам на пару дней. Сейчас чуть ли не ежедневно бываю у Ржевских и Ивановых. Вяч. Ив. остроумный, глубокомысленный собеседник и в прошлом, в молодых своих вещах серьезный поэт чистой воды. В нем есть что-то, напоминающее Гете, конечно, только в манере держать себя. 9 семестров провел он в Берлине, но о Guillaume'e ⁸, как он его называет, говорит с тонким юмором.

Целую тысячекратно *Боря*.

16 декабря 1915, Москва

16.XII.1915

Глубокоуважаемый Дмитрий Петрович!

Меня чрезвычайно тронуло Ваше предложение. Я искренне Вам благодарен за то, что выбор свой Вы оставили на мне, но выбора этого не одобряю и не могу понять.

Вы, наверное, не знаете, какого невысокого мнения я обо всем том, что происходило и происходит в русской литературе и поэзии за последние десятилетия и в наши дни. Работы Вашего покойного брата ничем не хуже и не лучше всего остального в этом роде. Они оригинальны постольку и оригинальны в том, в чем и поскольку оригинальны все явления этой бедной неплодной эпохи, не исключая, разумеется, и моих собственных блужданий и заблуждений в этой области.

Вы спросите, быть может, как согласовать мое участие в футуристических сборниках с этими убогими признаками? О, этот вопрос завел бы меня с Вами слишком далеко, в область исследования характера случайности и случайностей характера. Последние года два мне не приходилось заниматься писательством серьезно — были другие дела. А такое полусерьезное отношение и позволяло мне мириться со многим таким во мне самом и в окружающих, что вообще в замкнутой системе творчески правдивого и живого организма существовать не может.

Я отказываюсь от Вашего предложения. Я отказываюсь потому, что все сделанное нами пока — ничтожно, и потому, что оставаться верным этому духу ничтожества я не в состоянии. Крепко жму Вашу руку. Не сердитесь.

Ваш Б. Пастернак.

50. С. П. БОБРОВУ

27 апреля 1916, Всеволодо-Вильва¹

Милый Сергей!

Ты меня вконец растрогал письмами своими, хотел тебе тотчас же ответить, да все ждал прибытия альманаха². Вчера получил его наконец. Внешность у

него великолепная, говорю совершенно искренно, непри-
нужденно, непосредственно, как эстетическое двуногое,
как первобыт. Шрифт великолепный, графически-штам-
повые пропорции не оставляют желать лучшего, страни-
ца довлеет себе и не вносит своей страничной тревоги в
свою ношу. Так следует печатать все, что нам доведется
печатать. Но об этом после.

Не перестаю судить об альманахе, как неискушенное
двуногое, — так лучше будет и для тебя и для меня. Вот
увидишь. — Сергей, ты страшно остроумен, очень умен
и умеешь с разительною оживленностью менять голос
в критических статьях. Меня восхищает (за очень немно-
гими исключениями) твоя манера личной рокировки
лично позиционных моментов (моментов идеи, убежде-
ний, формулировок, дефинитивных сжатий и сокраще-
ний etc. etc.) — и в такой же степени радуют те бодрые и
лаконические выпады, с какими ты объявляешь против-
нику мат в ту минуту, когда он менее всего склонен
думать о составлении завещания, а напротив, готов вос-
кликнуть: «Ну-с, по рюмочке!» Так, стало быть. — Но,
Сергей, Сергей, — откуда у тебя бескорыстие это берется,
с каким ты, напр., пишешь статью типа «Ф<илософ-
ский> камень фантаста» или «Два сл<ова> о ф<орме>
и содержании»? — Скажи, много ль людей ты знаешь,
с самой колыбели, со злокачественных и патологических
тупиков детства, свычных с неудобствами сути и сущест-
венности. Воспитанных собственным размышлением в
колодках субстантивизма, редко хаживавших в проходку
на атрибутивные прогулки по придаточным предло-
жениям. Двоих, троих таких приведешь на память, и
глядишь, обчелся уже. Добро бы времена Беме³ были
сейчас. Но ведь беда — налицо: т<ак> называемая со-
временная мысль (исключая чисто научную) — гальва-
низируется запятыми и дрыгает лапками, разбрызгивая
т. называемые публицистические периоды.

Кто поймет тебя, Сергей? А? Я ведь не шутя тебя
спрашиваю.

Дворец двух родительных падежей! Да ведь тут твое
а priori, кот. требует многого от мимоидущих, а они да-
же и шляпы не снимут.

Но меня эта бескорыстная смелость и непритязатель-
ная беспечность твои умилили несказанно и настроили
на очень серьезный лад. Мне мало самого себя и двух-трех
хронических собеседников там, где дело касается веще-
ственной крепости мысли. *Правда*, конечно, на твоей сто-

роне, и как знать — быть может, и выгода. Выгода, потому что соблюсти себя на стороне нет возможности. Большинство привыкло вообще понимать только то, что само оно в состоянии говорить во всех своих состояниях безразлично. Часто на эту-то удочку и попадаешься. Снабжаешь свою мысль разными трапами, веревочными лестницами и мостками для безногих. В конце концов оснащения эти достигают такой изобильности, что за ними уже не сыскать основной мысли. Так теряешь и и утрачиваешь свой собственный облик. Я нахожусь на пороге этой катастрофы. Последнего шага в теплицу тупиц я еще не сделал и делать не собираюсь. Но на этом пороге, уже дыша испарениями посредственности, я лучше, чем когда-либо, оценил ту сторону твоего характера, о кот. у нас речь.

Продолжаю об альманахе. Из стихов (свои я тоже включаю в обзор) мне нравятся единственно: Хлебников — «Вой в лубке» до «Малявинских красавиц» (искл<ючение>), «Страна Лебедия» — ос<обенно> «Ах, князь и князь и конь и книга»... я знаю, что ты на это скажешь, а все ж...

2) Три последних ст<ихотво>рения К. Большакова. — Я все-таки считаю Большакова истинным лириком — это не ново — мне приходилось и спорить по эт<ому> поводу, не с тобой, как кажется мне.

3) Из твоих следующие: Кинематограф, Кон<ец> сражения, Черн<ые> дни, На эти горных скал озубья, Кисл<оводский> курьерский, Стрепеты стремнин стройных теснее.

Вот и все.

Своих я не упомянул по той же самой причине, по какой я не назвал ни Кушнеровых, ни Ивневских, никаких прочих стихов. Если это может огорчить их, то меня, Dieu me benisse * — это не огорчает нисколько. Если я назвал Хлебникова, Большакова и некоторые твои, то потому лишь, что о вас можно говорить, или вернее: тут есть о чем говорить. Из круга нижеследующих соображений исключается Большаков. Я не знаю, достаточно ли условия живописно впечатляемой и ощущением усваиваемой сиенциальности для того, чтобы признать лирические строчки частями творчески укорененного целого. Если нет, — то и то немного, что нравится мне

* Да простит меня Бог (фр.).

в стихотворном отделе Альманаха, — значением похвалиться не может.

Когда-то я и не подозревал о том, что можно задумываться над лирической тканью, подходя к ней извне. Если мне и казалось, что я теоретизирую, то на деле обстояло все несколько иначе: предо мной был динамический диапазон тематической склонности, метафорических приемов, ритмико-синтаксических напряжений и т. д. и т. д., одним словом, некоторая величина динамического порядка, некоторый расплывчатый потенциал.

К этому количеству личной валентности, изживая и живо укрепляя его в себе, я подходил лишь мнимо и по видимости одной — теоретически. На деле же я занимался фиском и переписью. Я не находил никаких проблем в этой валентности; я просто мерил теорией и при помощи чистых понятий описывал измеренное, находя радость в том, что имеется на свете неизмышленное и более походящее на самого владельца, нежели все майораты мира, имущество, которым можно овладеть всякий раз, как в этом владении усумнишься. Мы теоретизировали и размышляли над фактом пения валентности нашей. При этом в нас пела всё та же валентность и все по-прежнему — о пении валентности в нас. Милый мой, я уверен, что всякая метафора несет в своем теле чистую и безобразную теорию своей данной для данного случая теоретической сущности, точно так же, как всякое число есть законченное и вращающееся отношение (*regretium mobile*). Я уверен в том, что только эта чистая циркуляция самосознания в метафоре (или, лучше, ее самосознание) есть то, что заставляет нас признавать в ней присутствие красящего вещества. Так размышлял и теоретизировал я когда-то. Я пользовался в этих размышлениях лишь тем разумом, тем самым разумом, который парился в лирической бане, и я пользовался парящимся этим разумом в тот самый миг, когда он достигал до уровня каменки и ничего, кроме лирического пара, не знал и знать не хотел.

Но как-то случилось, что я дал ему другое употребление. Для меня многое изменилось с тех пор, как мы по-настоящему виделись с тобой в последний раз. Тут мне распространяться не о чем. У меня ничего еще нет такого, что я бы мог непреложным назвать, и за все с той поры по сей день истекшее время у меня еще не было ни одной такой прихоти, кот <орую> я бы решился, душой не покрывив, превратить в настоящее, центростреми-

тельное желание. Ведь и я с печалью вспоминаю то время, к которому с печалью ты меня отсылаешь. Для меня оно невозвратно, потому что я уже не тот, что тогда. Сделай одолжение, не сдабривай этих признаний моих элегичностью — элегичности тут и в помине нет.

Меньше всего мне хотелось бы с тобой о собственных моих намерениях говорить. У нас с ними, с намерениями моими, — совсем особый разговор. Многих намерений я и на порог к себе не пускаю. В одном только я уверен: пускай и благодатен был уклад старинной нашей юности, плевать мне на его благодатность, не для благодатности мы строены, ставлены, правлены. Еще мне нечего печатать. Когда будет, скажу. Пусть Платов ⁴ печатается. А не будет — тоже убиваться не стану. — И это только меня самого лично касается. Никому до этого дела никакого нет. А думаешь ты, что это для отводу глаз говорится, — Бог с тобой, думай себе на здоровье.

В первую голову мне хочется что-ниб〈удь〉 такое сделать, от чего бы несло хозяйничающей в нем значительностью. Как понимать это, я сам еще не знаю, не додумался еще, либо опыт мой еще слишком узок. Да кто я, в самом деле? Молокосос еще. А судьи наши? Мы же сами, опять *. А то еще хуже: инвалиды, нами же уволенные в отставку. Слов нет, что «павианы 20-го числа» — павианы. Что старики не больно хороши — в том тоже спору нет. Но из всего этого один только вывод за дверь возможен. Да что это ты меня за язык тянешь? С меня взятки гладки в этом пункте. Писать мне никто не поможет, а как напишу, тогда поговорим. И не думай, что я важничать вздумал еще и мне неведомыми, умышляемыми заслугами какими-то. Ничуть не бывало. Осточертело мне все. Потом, не понимаю. Гляжу я теперь трезвыми глазами на все и берусь здраво рассудить себя самого с тобою. Ради Создателя, что в Альманахе меняется или изменилось бы от наличности дюжины еще таких полярных вшей ⁵ или от их отсутствия? Нет, по чести говоря. А? Ну вот.

Велика тоже радость с такой весомостью в ансамбль входить. Ты спрашиваешь про Иды. Да ведь это

* Вот то-то и есть, что не сами, а друзья-приятели, для которых солидарность — вопрос собственного существования. (Примеч. Б. Пастернака.)

же булавочная головка. Мало, что ли, таких Ид и Швей и т. п., и т. п.? Ты не берись меня разубеждать, порох напрасно потратишь. Масштаб совсем другой. Прежде меня задевало то, что Юлиан ⁶ мне глаза колол «отдаленными догадками» о том, что не еврей ли я, раз у меня падежи и предлоги хромают (будто мы только падежам и предлогам только шеи свертывали). Меня задевало это, мне этого хватало на цельное ощущение, я, т. ск., мог этим тешиться (ты поймешь). Теперь бы мне этих догадок на рыжок не стало. Теперь случись опять Юлиан с такой догадливостью, я бы ему предложил мои вещи на русский язык с моего собственного перевести. Тешился я и Шершеневичем, и сближением с Маяковским и «Обелиском» ⁷, и мало ли еще чем. Теперь не тешит это меня. Да на что я тебе! — Довольно. Одно знай, Сергей: очень ты меня растрогал, альманах твой красив, статьи твои настоящие, мужественные, дельные, умно, самостоятельно написаны, примирение твое с Б., Х. ⁸ и др. меня радует, и мне трудно было согласовать собственную мою сухость с той теплотой, кот. вызвали во мне письма твои и альм. Сердечный привет Марии Ивановне ⁹. Как Мар? Вот вырос, наверно?!

Е. Г. Лундберг ¹⁰ отсюда выехал в Вятск. губ. Знаю, что он написал тебе, он сам мне об этом сообщил, прибавив, что не обошлось у него письмо без легкомысленных и ложных наветов в мою сторону. Что он там настроил — тайна вашей переписки. А ты не верь.

Если хочешь мне писать в ответ — адресуй в Ташкент до востребования. В начале мая думаю отсюда сняться ¹¹. Бор. Ильич Збарский не раз тебя поминал, он очень симпатично к тебе относится и, если бы сейчас тут был, наверное, тебе бы приписал, как уже часто порывался, заслышав, что я тебе писать собираюсь. Но вот уж неделя, как он в отъезде. Да, твои обещания денег, гонорара и т. д. Тебе не стыдно, Сергей?! Что это за посулы за такие. Уж не подкупить ли ты меня собираешься. Да нет, глухой, меня и это в тебе до слез трогает. Только ты оставь. Тоже, Крез нашелся!

Кланяйся Борису Анисимовичу ¹², если его увидишь. Я ему написал отсюда, просил стихов прислать для прочтения, искренне и серьезно интересовался ими, а он — ни слова в ответ. Странно.

51. С. П. БОБРОВУ

8 ноября 1916, Тихие Горы ¹.

Дорогой Сергей,

Снега, сороки, пошевни, трубы <осве>тительные шкалики, печи, ночи, свечи, — но где же письма в таком случае? Что случилось с ними? Не заклевал ли ворон в поле их, или на злого половца наехали горемычные! Носят зайцев, носят глухарей и тетеревов, несут, наконец, околесицу, не уязвленную сомнением. Но где же письма в таком случае? Что мне с того, что кухне пишут с фронта.

Не пишу ли и я на фронт? Ясно — дальше так продолжаться не может. Я упраздняю зиму, снег, сорок, глухарей и тетеревов — это не то, не то. Это, конечно, символически выявляет лик современности, спору нет, но все-таки, общего с нею во всем этом нет ничего, и, о современник мой, яви мне лицо свое без покрывала Майи — я это предпочту.

Письмо это кончается на 4 «еры». Это пока. От 5-ти «ы» меня спасет только добросовестность корреспондента. Под сим, последним из безответных, подписуюсь.

Б. П.

52. С. П. БОБРОВУ

26 ноября 1916, Тихие Горы

26 ноября, Т. Горы

Милый Сергей!

Спасибо за присланного Маяковского ¹. Зачем ты сделал такую надпись, не дождавшись ответа моего на твое предложение? А я как раз отклоняю его, единственно по вине некоторых его деталей. Я органически не способен искать у Маяковского неловкостей стиля. Это было бы возможно, если бы у Маяковского то, что ты называешь уклоном в сторону извозничьего langage'a *, не было явно намеренным исканием и нахождением собственного стиля. Но не в этом дело. Это соображение, абсурдно выраженное к тому же, я высказываю для того, чтобы ослабить следующее. На мой взгляд, Маяков-

* языка (фр.).

ский единственный среди всех нас, пишущих, поэт, если относиться с некоторой обязующей взыскательностью к этому слову. А раз это так, то ни о какой чистке его фразеологии говорить я не возьмусь; и браться за это не стану по той единственной причине, что это претило бы моей душе и расходилось бы с тем чувством восхищения перед М. — которое, как тебе небезызвестно — неискоренимая и основательная моя слабость. Меня только удивляет, как это ты додумался до того, чтобы искать у Маяковского того, что при некоторой слепой рачительности может быть найдено у меня, у кого хочешь, наконец, но не у него, потому что в этом-то ведь и его величавость и чистота, что литературные и словесно-критические мерилы к нему абсолютно неприменимы. Надо радоваться тому, что есть один такой и нет другого, а не коверкать этого последнего. Меня, было, обидело даже твое письмо с этой стороны, и в сердцах я чуть не наговорил тебе лишнего. А потом вспомнил твою взбалмошность, Сергей, и у меня несколько от сердца отлегло. А все-таки, как тебе не стыдно, Сергей? Ведь не слепой же ты. А ведь я тебе завидую, что у тебя иммунитет какой-то есть, которым я по отнош(ению) к таким явлениям, как Маяковский, не располагаю. Жду письма. Жму руку.

Твой *Б. Пастернак*.

Дня через три отправляю тебе стихи для альманаха. Не грызись там слишком. Боюсь, подведешь ты меня там чем-ниб. таким, что для меня участие в альманахе сделаешь невозможным. Ну, вот, к примеру, хоть — травлей Маяковского.

53. Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАК

9 декабря 1916, Тихие Горы

Тихие Горы 9/XII 1916.

Дорогие мои!

Если до вас дошло уже сумасшедшее мое письмо одно, в котором я пишу о желании моем уехать отсюда и отдаленно касаюсь мотивов этого желания, — прочтите его и предайте забвению. В тот день, как пришла посылка ваша, события, достигнув кризиса, быстро покатались под гору, и «развертывание» их прошло

сплошь по светлой солнечной стороне междучеловеческих сношений. Сейчас все прекрасно, мне не на что жаловаться и, думаю, жаловаться на что-либо некому. В этом смысле посылка лишний раз доказала истину о вещи силе родительского, вернее, материнского сердца; мамино письмо, не говоря о той радости, которую оно мне доставило безотносительно к чему-либо, имело значение материнского присутствия здесь в очень нужный момент, и, может быть, эта приуроченность его особенно меня взволновала.

Когда-нибудь я вам расскажу про все то, что темными намеками вторгается в последнее время в мои письма к вам. Теперь я сделать этого не могу, да и не вправе. Вам важно знать сейчас, что ничего особенного не произошло и не произойдет, — и вы должны этому верить: такие вещи не воспаление легких, о которых сообщают родным, называя болезнь насморком или гриппом. О таких вещах иные люди иного склада и с иной связью с домом — молчат вовсе, не видя надобности о них кому бы то ни было говорить. — Иные. — Иные же, заговаривая о таких вещах, договаривают все до конца. Середины тут не бывает, и она не имеет смысла. И раз я проявляю все признаки откровенности и неспособности молчать перед вами, то вы должны принять за правило, что, высказываясь, я высказываюсь до конца и без остатка. Итак, ничего не произошло и не произойдет, и все прекрасно.

Опять вся способность моя на тоску по чем-либо сосредоточилась в тоске по работе. Сейчас она не находит себе удовлетворения, я по целым дням занят в конторе.

Однако я думаю это изменить: я еще не закабален и закабаления никогда не допущу. То, чего я хотел, в согласии с вашими желаниями, отправляясь сюда, — достигнуто. Я не знаю, сообщал ли я вам это в виде определенного факта. Возможно, что нет. Теперь вы это знаете. Затем — лично для себя — я хотел перевести Свинберновскую драму¹. Достигнуто и это.

Наконец, — в ходе событий некоторых — нет, это слово здесь не подходит — скажу — в ходе некоторых насущных бесед и разговоров я пожелал устранить ту ложь, которая заключается в склонности нашей людской называть именем «житейских драм» праздную порчу жизни, которая проистекает от книг, когда они в руках читателя, книги не производящего. — Посколь-

ку это было в моих силах, я достиг и этого. Лучше сказать: я сделал все, что мог. Теперь, в ближайшем прошлом я не вижу за собой ни одного достойного желания, которое так или иначе не было бы удовлетворено. Вот почему я и сообщаю вам: все прекрасно.

Милые папа и мама, не ждите теперь от меня частых и подробных писем. Глупых пустяков я вам писать не умею и не хочу. Серьезные же схождения с вами требуют времени и свободной, не загрязненной конторским мусором головы. Такую роскошь мне сейчас себе не позволять стать. Дождусь более удобного времени. Уезжать отсюда — я не уеду². Да и не от чего и не к чему.

Пробегая газеты, я часто содрогаюсь при мысли о том контрасте и о той пропасти, которая разверзается между дешевой политикой дня и тем, что — при дверях. Первое связано привычкой жить в эпоху войны и с ней считаться; — второе, квартируя не в человеческих мозгах, принадлежит уже к той новой эре, которая, думаю, скоро за первой воспоследует. Дай-то Бог. Дыханье ее уже чувствуется. Глупо ждать конца глупости. А то бы глупость была последовательной и законченной и глупостью уже не была. Глупость конца не имеет и не будет иметь: она просто оборвется на одном из глупых своих звеньев, когда никто этого не будет ждать. И оборвется она не потому, что глупость окончится, а потому, что у разумного есть начало и это начало вытесняет и аннулирует глупость.

Так я это понимаю. Так жду того, чего и вы, наверное, ждете. Иными словами: я не ищущу просвета в дрящемся еще сейчас мраке потому, что мрак его выделить не в состоянии. Зато я знаю, что просвета не будет потому, *что будет сразу свет*. Искать его сейчас в том, что нам известно, нет возможности и смысла: он сам ищет и нащупывает нас и завтра или послезавтра нас собою обольет.

Напиши мне, папа, что ты об этом думаешь.

Письмо это, которое будет послано с оказией из Казани, я заканчиваю тем, чем можно было начать: взаимным поздравлением: — с тем, что маме, — кажется — не плохо; что ты — кажется — работаешь с очевидным успехом и удачей; — что мрак скоро — кажется — сменится светом; что мне уже не кажется двойственным мое положение здесь, ибо двойственность его миновала и я — снова я.

Напишите непременно Збарским³. Человечно, великодушно, умно, интересно и, словом, — в достойном стиле. Они оба этого заслуживают. У Пепы были огорчения заводского характера, но и это миновало.

Целую. *Боря.*

54. К. Г. ЛОКСУ

28 января 1917, Тихие Горы

Дорогой Костя!

Спасибо Вам большое за Ваши добрые ко мне чувства. Письмо Ваше получил я вчера, и, как часто это со мной в жизни бывает, — в на редкость урочное, нужное время. Я по уши зарылся опять в работу по переводу Свинберна (III-ей драмы):¹ она до крайности длинна и велеречива; один лишь первый акт растянут на 60 без малого страниц, и, исключая немногие эпизоды, довольно, надо-таки признаться, скучноват этот первый акт.

А я, как это всегда у меня водится (заставить себя работать каким-нибудь иным способом не могу и не умею), пошел на пари с моей же собственной суеверностью, что если, дескать, переведу я 60 страниц в 10 дней сроком, то будет то-то и то-то; а если нет, то мне будет так плохо, что род этой недоли и злосчастья уже и в предвкушении его просится в сказку. Мне оставалось еще два дня работы и всего восемь непереуверенных страниц. И тут во мне что-то прямо-таки по-кобыльи уперлось и — ни с места. Целые сутки потратил я на покушенья этого вселившегося в мою трудолюбивую душу беса; его невозможно было сдвинуть с места ни лаской, ни угрозами. Я вконец отчаялся пари свое выиграть. Печальные перспективы проигрыша и его провиденциального значения открывались мне. Это до такой степени тоскливо было и глупо (я не шучу), что бежать самого себя хотелось! В таком состоянии бабьей растерянности и уныния застало меня Ваше письмо. Тороплюсь Вам ответить в особенности еще и потому, что на другой или третий день по отсыле Вашего письма Вы получили, вероятно, мое заказное, которое должно было прозвучать для Вас тоном незаслуженной укоризны.

Вы очень верно выделили в «Барьерах» существеннейшее их начало: дифирамбическое. Помнится, я уже

в весенние свои беседы с Лундбергом (это когда предполагалось наше с Вами сотрудничество в подыхавшем «Современнике») ² говорил ему о том, что уже и у символистов, а у футуристов тем более, за очень немногими исключениями, совершенно неоправданна самая условность поэтической формы; часто стихотворение, в общем никакого недоумения не вызывающее, его вызывает только тем единственно, что оно — стихотворение; совершенно неизвестно, в каком смысле понимать тут метр, рифму и формальное движение стиха. А все это не только должно быть в поэзии осмыслено, но больше: оно должно иметь *смысл*, превалирующий надо всеми прочими смыслами стихотворения. Когда говорят, что наибольшим значением в губернии пользуется губернатор, то на практике понимается это так, что кто бы то ни был, если он губернатор — есть величина по губернии значительнейшая; тогда как на самом деле это должно было бы пониматься так: никто, кроме значительнейшего в губернии, губернатором быть не может.

Все, что говорилось в дни нашей юности о примате формы над содержанием, звучало так, будто форма не только существует, но вдобавок даже и обладает уже этим превосходством своего значения; тогда как на самом деле эти рассуждения были полусонными выражениями прямо противоположной мысли: что если форма может быть создана (даже и состоящая в прямом потомственном родстве с когда-то живыми предками), то она может быть создана только в виде живого — иррационально осмысленного своею способностью самоподвижности организма. Я ни на минуту не задумаясь поставил прямое равенство между тем, что называют вдохновением (оно существует), и тем, чего не называют осмысленностью формы. Нельзя писать в той или другой форме, но нельзя также писать и так, чтобы написанное в приливах и отливах своих формы не дало: т. е. не подсказало созерцателю своего упрощенного, моментального, родного, однопланетного, земного и близкого самой моментальности внимания очерка; потому что нет того дива на земле, перед которым стало бы в тупик диво человеческого восприятия; надо только, чтобы это диво было на земле, то есть в форме своей указывало на начало своей жизненности и на приспособленность своего сожития со всей прочей жизнью. Это и есть то, что Вы назвали дифирамбизмом «Барьеров». Очень верно и удачно. А Ваши слова о «развернутых голосах

трагедии» бьют в больное как раз мое место. Принимаю я их как редкостно чуткое и щедрое пожелание. Спасибо Вам, Костя. Я многим обязан Вам. Вы это знаете.

От Вашего письма веет очень плохо скрытой грустью. Не щадите Вы себя, Костя. В каждом человеке — пропасть задатков самоубийственных. Знал и я такие поры, в какие все свои силы я отдавал восстанью на самого себя. Этим можно легко увлечься. И это знаю я. За примерами далеко ходить не приходится. В строю таких состояний забросил я когда-то музыку. А это была прямая ампутация; отнятие живейшей части своего существования. Вы думаете, редко находят на меня теперь состояния полной парализованности тоскою, когда я каждый раз все острее и острее начинаю сознавать, что убил в себе главное, а потому и все? Вы думаете, в эти нахлыни меланхолии — сужденье мое заблуждается, Вы думаете, на самом деле это не так, и в поэзии — *мое призванье?*

О нет, стоит мне только излить все накипевшее в какой-нибудь керосином не просветленной импровизации, как жгучая потребность в *композиторской биографии* настойчиво и неотвязно, как *стихийная претензия* начинает предъявляться мне потрясенною гармонией, как стрясшимся несчастьем. Это так навязчиво. Опешенность перед долголетнею ошибкой достигает здесь той силы и живости, с какой на площадке тронувшегося поезда вспоминают об оставленных дома ключах или о печке, оставшейся гореть в минуту выезда из дома.

Я бегу этих состояний, как чумы. Содеянное — непоправимо. Те годы молодости, в какие выносишь решения своей судьбы и потом отменяешь их, уверенный в возможности их восстановления; годы заигрыванья со своим баццов'ом — миновали. Я останусь при том, за чем застанет меня завтра 27-й день моего рождения. — Ну вот так бывает всегда. Не ясно ли Вам, что я, что называется, договорился? Торжественность последнего моего заявления по импозантности своей напоминает ископаемое. Я говорю, так бывает всегда. Нет того, горько освещенного яркой тоскою чувства, которое не отбрасывало бы своей четкой тени. Его тень — ирония мировой задушевности; сама тоска смеется над ним.

Целую Вас крепко. Б. П.

Пишите мне чаще, Костя. Что у Вас с рукой было? Какой ужас! Конверта нет. Спрошу у соседей.

13 февраля 1917, Тихие Горы

13.II.

Дорогой Сергей!

Твоей телеграмме не повезло. Она была завезена черт знает куда и к кому и лишь по истечении недели доставлена мне — по счастливой случайности. Твоему заказному был я несказанно рад и ответил бы на него тотчас, будь у меня статья о Маяковском написана; но я подходил к гениальному мычанию и так и сяк, и все меня это не удовлетворяло; а послать тебе опять холостое письмо мне не хотелось, я решил, что в ответ на твое тебе будет послано это письмо мое с осязательным приложением.

Не знаю, как тебе сия последняя моя попытка понравится¹. После ряда самых разнообразных вариантов я пришел к тому заключению, что о Маяковском писать с той специальной деловитостью, с какой я писал о Николае² и готов говорить о тебе, о моих собственных намерениях и т. д., — невозможно. Бегло просмотрев прилагаемую статью, ты сразу же поймешь, под каким углом зрения я разбирал его, и догадаешься почему. Я знаю, как неприятен будет тебе «естественноисторический» привкус статьи, но этот привкус неизбежен. В самом деле, рассуди сам. Первые его вещи ярче последних. Род их яркости близок мне и тебе, м. б., памятен; до знакомства с Николаем и с тобой я писал именно так. Я этой яркости достоинством превосходным не считаю; — иначе какого дьявола я стал бы подавлять в себе этот сумбур. Но не в этом, конечно, дело. А дело в том, что, отметь я у Маяковского упадок образности, ничего к этому замечанию не прибавив, — я бы явно покривил душой. Вышло бы, что эти первые его вещи годятся в прототипы форм, желательных для развития поэзии; тогда как это образцы явно нежелательных форм, несмотря на всю их живую полновесность. Я думаю, в этом ты согласишься со мной. Не стану развивать этих презумпций — скучное и лишнее дело. Ты сам сообразишь, как несправедливо было бы по отношению к ним голословное предпочтение последних его вещей в ущерб первым. А эти противоречия в плоскости самой реальной поэзии разьяснению и примирению не поддаются. В статье имеется достаточно указаний на то, что само-

бытности в сфере конкретизированного искусства места я не отвожу, потому что не нахожу в нем для нее места. Но я считаю недопустимым обойти молчанием ее явление. Вот откуда и явилось у меня все то, что ты, наверное, почтешь за фразы, к делу не относящиеся. От быстрых своих слов о нем как о единственном поэте и т. д. — я уже как-то в письме к тебе отказался. Напиши мне, пожалуйста, как получишь статью, что ты о ней думаешь. К чему нам разбирать Андр. Белого? Эта антропософия до литературы никакого касательства не имеет. Неужто же за всякое поминание символизма нам все еще по старой памяти хвататься? Зачем приурочивать нам наши мысли и замыслы к их случайным выступлениям, — Сергей, ты знаешь, как хладнокровен я во всем, что касается нашей общей будущности, но можешь мне поверить, Сергей, — лишённые нашего к ним пусть и враждебного интереса, они скоро заскучают и подберутся к нам на ролях высокомерных расценщиков для начала, а потом, как увидят, что их не слушают, — в качестве доброжелательных и, «в сущности, родственных нам» толкователей. Их надо донять невниманием, и больше ничего. Если вообще благополучие их тебя хоть сколько-нибудь занимает. Мы ведь отказали им во всем, в чем только можно отказать художникам; не в даре одном только, более того: мы установили у них наличность такой апатии, до которой не доходил и чеховский обыватель, для них в большей, чем для провизоров, степени безразлично, существует ли искусство вообще и будет ли существовать; любви к материальной выразительности, к многосмысленной, ко всеосмысленной, скажу — точности в них нет ни на грош. Дальше идти некуда. Они сами себя отлучили от того общества, в котором мы могли бы с ними повстречаться. Кроме книги худож. прозы, которую думаю приготовить к апрелю, я задумал еще идеологическое нечто; быть может, там при случае разверстка с Белым будет навязана самой темой. Могу загодя сказать, тебе она ничего, кроме удовольствия, не доставит. Хотя я осужу его и не с той стороны, с какой ты, м. б., ждешь. Я считаю, что с книгою этой придется столкнуться мне в изысканиях на тему об... организованной посредственности. Как понять Белого? Ведь он же талантлив, Сергей! Что это значит все?

Печально было мне прочесть все, что ты о себе пишешь. Скажи, Сергей, Сологубом хваленые вещи («Мо-

лодость золота», «Свобода» и т. д., у меня тут нет «черепов» под рукой) войдут в «Алм(азные) леса»? ³ Да? Тогда чего же ты? — Вообще боюсь, что все, что ты о себе пишешь, относится скорее к общему нашему времени, нежели к тебе специально. Разумеется, мы многим лучше предшественников. Но и хуже того, чем должны бы наконец стать. Ах, Сергей, трудно обо всем этом писать, словоупорная это тема. Жду «Лесов» с нетерпением. Как получу, напишу тебе. У Аксенова ⁴ много счастливых элементов. Степень счастливости их подчас — первой руки. Но в восхищение все это меня не приводит. В телеграмме своей я упомянул, кажется, о нежелательности повторений (одна из проз в альманахе, и потом она же — в книжке), — впрочем, предоставляю это на усмотрение твое. На печатанье «Дв(ух) посвящений» согласился с большой неохотой. Рад буду, не найдя стихов в альманахе ⁵. Что же делать, когда удачных у меня сейчас нет (совсем почти не пишу). Свинб(ерна) переводить бросил. Сегодня отошлю ст. о Маяковском, и т. образом, счетам моим с альманахом — конец. Если потребуешь, могу послать тебе книжку Белого ⁶. Теперь думаю взяться первым делом за прозу. Дружески тебя обнимаю. Шли скорей книжки свои.

Твой *Б. Пастернак.*

56. К. Г. ЛОКСУ

13 февраля 1917, Тихие Горы

13.II.1917.

Дорогой Костя! Простите, что так долго не отвечал Вам на доброе Ваше письмо. Карповы ¹ привезли его 3-го, и вот уже более недели прошло со дня его получения мной, а я никак не собрался написать Вам. Были неприятности, меланхолия нахлынула страшная, потом взялся за продолжение начатых «проз» ², потом вдруг налетело что-то такое, в чем я и сейчас себе ясного отчета дать не могу, и под гонением этого последнего я стал без передышки писать какую-то крупную вещь в стихах. Говорю какую-то, так как и сам не предвижу, как в целом сложится у меня эта «Поэма о ближнем» ³. Часть ее отослана вчера Сергею, и Вы найдете ее у него уже и сегодня, если только почта не отколет какой-нибудь

штучки в стиле прежних своих коленец (одно письмо бровровское шло, например, дольше двух недель). Я просил его напечатать эти наброски в III ЦФГ взамен никуда не годных «2-х Посвящений». Писал я эти отрывки с большим увлечением, и меня очень интересует, что Вы мне о них скажете. Но что бы ни сказали Вы, я эту вещь буду продолжать, уже и сейчас она в черновике вдвое против посланного Сергею больше. Это, конечно, не то, что виделось Вам, по не заслуженной мною щедрости Вашей, дорогой мой, в моем, Вами идеализированном будущем; — говорю сознательно: потому что и сам я *наметил* себе на лето (буду в Москве заниматься в Румянцевской)⁴ совсем иную вещь, на иных началах покоящуюся, с иными, нежели «Поэма» эта, традициями связанную и т. д. Это, словом, не то. Но это первая попытка выйти за тесные границы лирической миниатюры (которую так легко самому автору разбить под тяжелую руку — как, спрашиваете Вы? — подозрением в произвольности хотя бы, в импровизационной случайности возникновения и т. д.). Затем, приводит меня за этой работой в хорошее возбуждение то, что в этот на всей моей бытности первый обширный у меня загон врывается все жизнеспособное из — чуть не сказал: «Барьеров», но в «Барьерах» очень немного крупноногого скота; за удалением вовсе безногого останется только несколько жеребят. Из чего же, в таком случае? — Но это мало занимательно и смешно. Бросим этот разговор.

К маю думаю быть в Москве. Если б Вы могли до того времени остаться! Мне так хочется, так необходимо Вас повидать! Сергея-то я увижу. Вы тоже должны на неделю хотя бы остаться. Я б ликеру привез. Мы бы у Сергея заседание ЦФГ устроили; военный совет марки Сугао de Ширге или D. O. M.⁵ А? Честное слово. И смаковали бы глоток за глотком — ближайшую будущность издательства и его ближайшую, по счастью, уже не полемическую только и зависимую, но положительную и спокойно-независимую программу. А? Вы только марку назовите мне и останьтесь на первые числа мая в Москве. Сергей пишет мне о новой Вашей книге «О естественном человеке». Он хвалит ее; говорит: «*очень приятно и остро*». Что это такое, Костя? Отчего Вы мне о ней ничего не пишете? Отчего не заканчиваете Вашего «Катехизиса *Небезразличного в искусстве*»?⁶ Верьте мне, это очень хорошая книга; ее непременно надо за-

кончить и издать; она сплошь существенна, нагнетена, лаконична. Вы находите в ней краткие прекрасные формулы и определения для многого такого, что сейчас до неузнаваемости замутнено символической фразеологией, и то не по вине ее *касательства* до всех этих тонкостей; до всех этих тонкостей она и коснуться-то бессильна, потому что и не подозревает о их существовании; не по глазу они ей; но тонкости все эти, тем не менее, символистической фразеологией замутнены; потому что водянистость этой фразеологии паводком разлилась по лицу всей критики, всей теории,— всего, *horribile dictu* * «интеллигентского словаря» наших дней! — Ах, неисправимый самоненавистник Вы, Костя, бросьте это. Меня это обижает, наконец, Вы просто слушать меня не желаете или не верите мне. То и другое — одинаково, конечно, лестно. Вы не можете? Вам противна книжка? Какая наивность! Вы, наверное, забываете, что в каждом из нас живет отвратительный, лживый пошляк, который иногда лорнетирует нас после обеда и, подчас остроумно, критикует. И это-то животное считаем мы (по наглости его) — аристократом в нас! Черт Вам с его аристократизмом! Да будь он хоть Д'Альгеймом! Довольно с Вас того, что этот торчащий в Вас барон ни одной строчки не написал из всех написанных Вами; шагу не ступил на Вашем пути; где он пропадает, когда Вы любите, например,— блистал ли Вам в такие минуты высокоаристократический его лорнет? Как? Только *не врете*. Или, учтивей: не заблуждайтесь. Вы не смотрите, что важностью осанки он в Барбе самого пошел или взыскательностью — в Флобера. Я знаю, что не он, торча и в этих (только посредственность его не замечает и этим *невниманием своим этого солитера убивает*) — и в Барбе и во Флобере, — писал о фанфаронаде и дэндизме; об аристократической нетерпимости «стиля без помилованья». *Не он*. Конечно, в Пушкине сидел Онегин — простите за азбучность — я даже на сию одну минуту пожалею, что не прочнее он в Пушкине сидел, потому что сиди он в нем и Барбаросою в горе, то и в таком случае я сказал бы: Так. Но Онегина написал *не он*, а Пушкин. «Онегиных» Онегины не пишут.

Вот еще экземпляр, в другом немножко духе. Сергей. Как нравятся Вам «Алмазные леса»? Постоите. Мне он делает такую надпись: «Дорогому Боре — не оби-

* страшно сказать (*лат.*).

жайся, коли скучно будет». А как *это* Вам нравится? Пойдите, не будь такой надписи, не говори Сергей о своих печалях и сомнениях, — как легко было бы мне тогда ему о книге написать. Мне она не только нравится; сильно и просто мне нравится, напр., — Маяковский. Но мне еще более нравится то, как нравится мне она. Вы не понимаете? А это очень просто. Нечто подобное я испытал, читая насвеже в первый раз «Оксану»⁷. Я об этом писал Сергею в свое время. Свежесть и своеобразие этого впечатления я, по несвойственности его нашей современности и мне, пропитанному ею, — утратил, не удержал. «Алм. леса» это впечатление воссоздали и напомнили мне о нем. Выйди они раньше, я своей статьи об Асееве так бы писать не стал. Теперь я хватился, да поздно. Николай прочтет многое такое в статье, что к нему относится только атрибутивно, его уродует, стилизует, искажает. Совсе не образность у него существенна. И не всегда она самостоятельна. По счастью, в «Алмазн. лесах» ткань яснее и проще. Вы правы были, сказав Сергею, что в книге много задушевности. В ней все — задушевность. Но я все же не раскрыл Вам смысла моей фразы о том, как нравится мне она. Многие из нас (я в том числе) делаем все от нас зависящее, чтобы сделать совершенную редкостью тип чтения не воспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углубленность авторских *смыслов* и убедившись в *разъяснимости* их, не как в одной понятности только в современном значении этого слова — отдается этой игре, как особому наслаждению; игре проникновения в автора, характер того движения, с каким это проникновение совершается и может быть совершенно, коэффициент *разъяснимости* — придает характер всей книге; это ее дыхание. Таков, в идеале, Баратынский. Но не Языков, конечно. Это составляло сущность Коневского. Сейчас это редкость. Говорю Вам, «Алм. леса» напомнили мне только Николая разве. Не книгу его, не жанр — но только род пользования такой поэзией. Но Николай сложнее. Он слишком, подчас, многосоставен. Может быть, «Алмазные леса» слабы? Эту мысль надо отбросить при первом же появлении ее. Требования грубой силы к этому роду искусства непредъявимы. Зачем делать такие надписи? Многое очень тонко — все паразитически *чисто*, тою чистотой лиризма, которая тоже утеряна. Не ее ли устыдившись (несчастное малодушие, которому подпадаем в известное время все или почти

все мы, мальчишки), бросил Сергей эту линию? Я не знаю, что пишет он сейчас. Но вести эту линию и дальше следовало. Замечательно! О чем ином, как не о прелести участия этой линии в эпике жизни, говорит книжка? А предисловие? — Что же делает автор? Бог дал ему способность разыскать это волокно во всем плетеве всех прочих; автор, силою положения, не мог видеть это волокно *непоэтически*; Богу угодно сделать его поэтом так, а не как-нибудь еще. Что же, говорю я, делает автор? Ведь он знает, где и как пробегает это волокно. Вот и можно, значит, теревить и колоть его, дергать в стороны и вивисецировать. — Вот что общего между Вами, Костя, и Сергеем. Вы не сердитесь на меня, Костя. Но как это все тяжело мне и больно. Как страдают от этого отношения! Кстати о Сергее. Настолько же, насколько легко мне было писать Вам о нем, настолько трудно будет ему. Я уже сказал Вам почему и не знаю, когда он письма от меня дождется. Во всяком случае, и половины того, что я Вам о нем пишу, от меня он не услышит: *лучшей* половины. Виновата надпись. Игнорировать ее — не могу. Весь разбор получает характер разубеждающего: «Да что Вы! Напротив!» Кланяйтесь, Костя, ему от меня. Пусть не сердится на меня, если письмо мое запоздает. Сам виноват. Помните, Костя, что я люблю Вас искренне, и Вы многое из сказанного мной должны мне простить. Как и он. Все это похоже на какое-то послание по епархии, и мне даже немного стыдно. Крепко целую Вас. Ваш *Боря*.

Привет Вере Николаевне и Мих. Павловичу⁸. Что они подделывают?

57. О. Т. ЗВАРСКОЙ¹

⟨Декабрь 1917⟩, Москва

Милая Ольга Тимофеевна!

Ну и спасибо же Вам, без конца и без краю! Скажу кратко и уверенно: как только поулягутся события, жизнь на жизнь станет похожа, и будем мы опять людьми (потому сейчас тут не люди мы) — выйдет большая моя вещь, роман, вчерне почти целиком готовый². Так вот, попадетсЯ он Вам на глаза когда-нибудь, хоть не скоро это, знайте и запомните, что первую часть его подымать помогли мне Вы. Не шучу нисколько. Вы и вообразить себе не можете, как чудесно, насколько

впору и кстати Вы вдруг вспомнили обо мне. Вчера все вечером вышло. А при этой работе, в напряжении, заметил я, сгораешь чудовищно быстро. Подхожу я к окну, веско так, с думой на неделю, как быть, что-то завтра Бог пошлет, ночь темная, непроглядная, обычная стрельба в вымершем городе — что-нибудь пошлет непременно, думаю, кого-нибудь, нематериальное что-нибудь, поддержку какую-нибудь, или радость на подтопку, знаете, бывает так. И что же, утром звонят по телефону, длинный разговор о каком-то сборнике, назначаю плату, принимают, о радость! — как Вас звать, очаровательный тенор — так-то и так-то. Раз. А потом брат ко мне является: посылка тебе от Ольги, говорят, Тимофеевны, если не спутали у Ушковых в конторе.

Нет, не спутали в конторе у Ушковых, только не сказали ему, чем я заслужил у Вас такую память, щедрую такую и животворящую?! Ах, милая Ольга Тимофеевна, да объясняй я Вам битый час значение совершенного Вами, Вы ведь все равно вполне не поймете, что это за богатство, как просто — пронизательно, свободно и благородно вышло это у Вас и — пришло ко мне от Вас и от вчерашнего Бога.

Вы не смейтесь, пожалуйста, я ведь сам сумасшедший немного, по-своему суеверен, и, вероятно, уже стар и дик душой — и год этот — ужасный, и город этот голодный, смертоносный и разрушающийся, не произведший за этот срок ни одной живой пылинки — все это, взятое вместе, способно лишить толковой речи хоть кого.

Но довольно об этом. Теперь Вы и сами уже уверились, что Вы — ангел. Сегодня как раз Фанни Николаевна уезжает. Страшно хотелось бы послать Вам чего-нибудь хоть отдале-е-енно напоминающего о значении Вашей посылки. Но в Москве ничего такого не найдешь, или если есть что, так нет приступа. Вам расскажут побывавшие тут. Что мы одним чудом спасаемся, знайте: Вы одно из его чудесных орудий.

А потому, не взыщите, ради Бога, на том ничтожном, что попрошу передать Ф. Н. — Вам. Говорят, у Вас в этом недостаток ощущается. Это чистый вздор, но Вы ведь не осудите меня за то?

Я расспрашивал Ф. Н. о Вас и Якове Ильиче³, она, что могла и имела, рассказала мне, только немного. Вот будет хорошо, если Вы напишете мне, как живете и что думаете, вспомняув, как чудно сживали мы зимними вечерами в той всегда превшей комнатушке, где

занимались военными и продовольственными и, в общем, татарскими делами. Вы, — сдерживая душивший Вас смех; я закуриваясь до одурения; В. Е. — насмешливо и резонно косясь из-под пенсне. А «картины» (кинематограф)! Существует ли он еще?

Вы где теперь живете? Напишите мне непременно. И пусть Яков Ильич, как приедет, коли будет охота. А я Вам отвечу. А к тому времени лед тронется, и с навигацией, может, наладится почта. А то с оказией: от Вас ведь ездят в Москву рабочие и служащие; и я тоже буду наведываться.

Скажите, счастливее ли стали у Вас люди в этот год, Ольга Тимофеевна? У нас — наоборот, озверели все, я ведь не о классах говорю и не о борьбе, а так вообще, по-человечески. Озверели и отчаялись. Что-то дальше будет. Ведь нас десять дней сплошь бомбардировали, а теперь измором берут, а потом, может статься, подвешивать за ноги, головой вниз, станут. — Ну, прощайте. Еще раз огромное спасибо. И еще от людей Вам неизвестных, кот. тоже попользовал. Дружески жму Вашу руку.

Ваш *Б. Пастернак*.

Привет Якову Ильичу. Поклоны всем, кого встречаете и кто заслуживает.

58. С. П. БОБРОВУ

17 июля 1918, Москва

Дорогой Сергей!

Прошу тебя о большой дружеской услуге: прочти начало романа ¹, о котором слышал отзывы самые противоречивые, из всех мнений дороже мне, конечно, твое, и вот отчего до самой последней минуты колебался и избегал тебе его показывать — это должно было произойти в минуту решительную, в момент последней авторской читки, т. к. вкусу я учился м. пр. и у тебя, в чутье твое верю больше, чем в свое собственное, а что до нелицеприятия и беспристатия, то и в этом отношении я тебя безмолвно и со стороны испытал. Мне очень важно будет знать твое суждение об этом опыте. М. б., припомнишь все, что случилось мне зимой говорить насчет объективных форм, нейтрализованной художнической среды, заботы о человеке и т. п. модерантически-пассеистских вещей. — Ну, вот, все эти сообра-

жения отразились на этой вещи. Иногда приходит в голову мне, что все-таки ведь, невзирая на всяческие эти *scrupules* *, — роман писал я, и тогда мне становится легче среди чада всех этих, как оказалось, ненужных и мало чем со мною связанных сомнений. Надо, вероятно, пройти и через эту отвратительную полосу восстания на все, что в тебе живого есть, в угоду неизвестно каким неорганическим и чуждым моментам. Перед тем как приступить к обработке существеннейшей второй и наименьшей третьей части, мне бы хотелось к.-нибудь реализовать или, по крайности, заручиться видом на реализацию целого на основании переписанных $\frac{3}{4}$ первой части. А наперед надо навести порядок в своем собственном отношении к вещи. Тут-то ты и должен мне помочь своим суждением и советом. Очень тебя прошу, если есть время, не откладывая чтения в долгий ящик и займись этим, к. только можно будет. Не знаю, надо ли делать это замечанье: вторая и третья скрепленные порции (тетради) связаны воедино попыткой показать, как складывается в сознании момент абстрактный, к чему это впоследствии ведет и как отражается на характере. Тут это показано на идее третьего человека. Если захочется тебе и придется, можешь сделать заметки карандашом на левых половинах. Я буду тебе за это несказанно признателен. Лундберг (вот не ожидал!) вещь забраковал как сонную, скучную и добродетельно-тенденциозную по внешнему тону и виду. На два дня уезжал к родителям ², эту неделю, вероятно, пробуду тут. Зайду послезавтра. Роман будет называться «Три имени» или что-нибудь в этом духе. Пока что это неважно. Пред тем, как кому-нибудь сдавать, слегка местами подчищу, т. что смотри на это как на белой список.

Твой Б. П.

59. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ ¹

6 апреля 1920, Москва

6.IV.1920

Дорогой Дмитрий! Очень обрадовался Вашему письму. Что ж это брат Ваш? Помнится, он ведь уже болел раз тифом в Петербурге. Бедный! Помните Вы

* щепетильности (фр.).

свое зимнее тогда посещение с ним, на Сивцевом Вражке? ² А чудесная ведь была пора, хотя и холодно было! Дорогой Дмитрий, что сказать мне Вам в ответ на Ваш вопрос, жив ли я. Вот, как видите.

А ужасная зима была здесь в Москве. Вы слышали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный Отдел вон; ³ нас, в уважение к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились. Очень, очень рано, неожиданно выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч. К., по соседству. Так постепенно с сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. — Видите, вот и я — советский стал. Я к таким ужасам готовился, что год мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым. Он протек «еще на земле», вот в чем счастье. Только что писал своей двоюродной сестре (тоже хороший человек, настоящий) в ответ на вопрос ее, «чем живу еще я, не положен ли уже на лопатки». Много я ей написал, а об этом сказать позабыл. Нехай. Вам оно будет. Чем живу?

Все тем же. Все так же идут дни за днями. Как же они идут? А так, что не из вчерашнего Вас в сегодняшний толкают, а в завтрашний Вас выволакивают из нынешнего. Обычно, когда жилось хорошо, все настоящее было сплошь будущим, и, помните, по временам все волнение наше проистекало от такого затеканья, засасыванья времени. Сейчас это вытягиванье человеческого невода не так ощутимо. Но ведь вот существую я еще? Значит, где-то в отдаленном будущем работают рыбацьи мышцы, и скучно сейчас только оттого, что со слишком уже большого расстоянья доходит это действие. О, где-то по-настоящему шумно и молодо еще! — Тут советская власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую богадельню. Пенсии, пайки, субсидии, только еще не в пелеринках интеллигенция и гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот, держут впроголодь и заставляют исповедовать неверье, молясь о спасенье от вши, снимать шапки при исполнении интернационала и т. д. Портреты ВЦИКа, курьеры, присутственные и неприсутственные дни. Вот оно. Ну стоило ли такую кашу заваривать.

Не стану я писать Вам о своих литературных делах.

А то вы, чего доброго, вообразите, что я им какую-нибудь цену придаю. Нет. Мертво, мертво все тут, и надо поскорее отсюда вон. Куда еще не знаю, ближайшее будущее покажет, куда. Много заказов, много звонких слов, много затей, но все это — профессиональное времяпрепровождение в вышеописанном приюте без Бога, без души, без смысла. Прав я был, когда ни во что это не верил. Единственно реально тут нищета, но и она проходит в каком-то тумане, обидно вяло, не по-человечески, словно это не бедные люди опускаются, а разоряются гиены в пустыне. Вообще — безобразье. А ведь и у вши под микроскопом есть лицо. — Слушайте, милый мой, закончука я свой синодик, а то вы, пожалуй, еще заснете под эту обывательскую колыбельную песню.

У меня к Вам просьба большая, а услуга, которую Вы бы мне могли оказать, прямо неоценима. Домашние поставили бы Вас превыше памятника на Страстной.

Пол-Москвы живет почтовыми посылками из краев, подобных Вашим. На этой неделе вышлю Вам тысячи три или больше, если добуду со следующим молением. Посылайте исподволь продовольствие: сухари, если можно будет — мед, крупу, сало, — если можно это у Вас достать. Красноармейцы имеют право посылать всякие продукты, обыкновенные смертные — одни сухари, но и это тут — величайшее благо. Посылать может одно лицо какому-нибудь одному лицу два раза в месяц по 20 ф. Кажется, обходят это тем, что поручают отсылку кому-нибудь или отсылают от чьего-нибудь имени, хорошо бы — красноармейца. Узнайте это все точно, Дмитрий, если почта не слишком далека от Вас, и окажите мне эту помощь. Это легче, удобнее, вернее и т. д., чем привоз. Вот Вам наш адрес точный (хотя он и так известен Вам). Волхонка, 14, кв. 9. Вот вам адресаты, на случай учащения посылок (чтобы не дожидаться истечения сроков, положенных на каждое лицо) — Борис Леонидович, Александр Леонидович, Лидия Леонидовна и Жозефина Леонидовна Пастернаки. О посылке, а главное, о том, от чьего имени посылка, — предупредите письмом. Нечего говорить о том, как я за это Вам буду благодарен. Хотя должен огорчить Вас. Странно я слаб и странно живу. Всю жизнь вокруг меня друзья, по-разному делающие мне разные услуги, поддерживающие меня просто морально, преданностью своей, верой, многим другим. И вот — я не знаю, за что это,

и иногда мне бывает страшно больно от мысли, что никому я никакой радости настоящей не сумел никогда доставить.

Ваш *Б. Пастернак*.

Пишите о себе побольше, если не скоро приедете.

60. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ

1.VI.1920

1 июня 1920, Москва

Спасибо, спасибо, дорогой Дмитрий!

Получил повестку, не сказано от кого и откуда, пошел на почтамт, спрашивают (иначе не выдают), наугад называю вас, Городню. — Так и есть. Он, Дмитрий. Сухари. Чудно! — оно; я тотчас вам деньги переведу, а м. б., и раньше. Как будут.

Ну а теперь о другом. Отчего Вы не напишете ничего о себе? Как брат Ваш! — Опять события разворачиваются совсем под боком у Вас, и очень за Вас боюсь и тревожусь. Той зимой, Дмитрий, что я Вас узнал, стало близко Ваше дело мне и Ваша жизнь. Верно, больно Вам часто бывает, как и мне тут, а ничем не поможешь. Горько то, что быть бы таким людям, как Вы — счастливыми, как цветам — цвести и в грозу дождю идти. Да ведь что поделаешь? Люди такие пачкуны, что просто дивишься, как природе не надоест их на свет выпускать. Да и ни при чем она тут, природа. Она, бедная, в дивном неведенье своем продолжает выгонять ту породу, которою рай когда-то в шесть дней поразила: двух неповторяемых детей по седому образу и подобию Божью. А всякая эта сволочь тупоумная заводится в городах и из книжек выскакивает. А это — господа положенья. Вы думаете, что неестественная шваль не знает, что они — незаконнорожденные! Знают прекрасно! Раскройте Библию, и в ней Вы себя и все, что у вас пред глазами, и лето в Дроздовицах ¹, и свою бессонную ночь, и небо найдете: обо всех рассказано. Но об этих «деятелях», об интеллигенции, о «подполье» ни слова там нет.

Адвокатов и зубных врачей не имеется там. А между тем и над ними — небо из Библии, и липы из Библии над ними, и ночь из Библии, Ваша, Дмитрий, ночь — у них. Ну не воры ли? Никогда еще лето не казалось на-

столько странным в Москве, как в этом году, где его оскорбляют на каждом шагу обыватели и не обыватели. И каждый раз, что хочу я с последним взять искреннюю летнюю ноту и сердечно заговорить как с людьми, — оскорбляют и меня. И ох как горько подчас! И величаво. Потому что ведь и лету горько, и Вам, и всему, что раем пахнет. И чувствуешь: — вместе мы, слава тебе, Господи, слава тебе! Обнимаю Вас.

Ваш *Б. Пастернак*.

Был тут Петников². Он тоже ведь, есть грех, из Ламанчи. С ним не так одиноко себя чувствовал.

61. Н. А. ПАВЛОВИЧ¹

28 июня 1920, Москва

Милая Надежда Александровна!

Спасибо за письмо. Я получил его вчера, 27-го. Спешу ответить, хотя Ваших просьб еще исполнить не успел, а постараюсь сегодня.

Радуют меня Ваши сообщенья, радует доверье, радуется тепло. Спасибо за все. Все больше и больше крепнет во мне решенье переехать в Петроград. А здесь все продолжается московская бестолочь, наперекор природе укрепляемая принципом: «кто трудится, тот не ест». Два раза выступал в кафе² и второй раз особенно хорошо, т. е. особенно неудачно. Это был «доклад», я им дело говорил, а они ждали «теории» «научности» и, что всего важнее, — полуторачасового цеженья сквозь зубы. Я же отрапортовал им в пять минут. А люди деньги платили. Всего замечательнее было то, что они моими же книгами старались побить; задавали вопросы, что я чувствовал, написав то-то; как я писал, писав эт-то, люблю ли я прозу А. Белого; какова будет та проза, которую я напишу? и т. д. и т. д. — Все это мне порядком надоело. На днях закончу я это все: выступления и работу в Союзе. Надо что-то настоящее сделать, а пока этого нет, тошнит от этой «круговой профессиональной поруки». Вы знаете, как я смотрю на все происходящее кругом. Помните, я говорил Вам, как и когда я оживу опять. А жить на счет какого-то создавшегося кредита, жить вообще в кредит не могу, не хочу, не умею. Вот скоро уеду.

Страшно только то, что время так быстро идет, пустое, негруженое. Так вагоны возвращают на ст. отправленья, сплошными составами. Получается впечатление, будто время это не поступает, а отливает назад. Хорошо, когда бы так. Ну, да что меня слушать! Из пяти возможностей издать «Сестру м. ж.»³ не использовал ни одной и, кажется, на время брошу. Она не пропадет. Я, вероятно, пошлю Вам кое-какие рукописи — рассказ, статью (вчерашний «доклад»), еще что-нибудь, еще не надумал. Может, пригодятся там. Борису Николаевичу⁴ большое спасибо за память. Пока он жил тут, я сильно сдерживал себя, чтобы не увеличить числа звонков, и стуков, и посещений в его доме еще одним — тяжелым. Вот так всегда. А теперь его тут нет.

62. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ

*15 декабря 1920—19 января
1921, Москва*

15.XII.1920

Дорогой Дмитрий!

Вот так всегда (то есть вовремя, несмотря на желанье, не отвечать), и имени этому нет. Распорол я Вашу посылку, и все это такой Шехерезадой красоты показалось, что не хотелось мне, чтобы домашние до этой груды дотрагивались, а чтобы лежала эта гора так всегда на столе, тигровая, гранатовая, сразу же влюбившая в себя нашу лампу, которая ничего подобного никогда не видала и побледнела при виде ее больше, чем требовалось для полной Вашей победы. Ну да что я Вам эстетику развожу. Это — Гомер, и баста. Бронза, чайные розы, чернь и кармин. Этим бы Дориан Грей не побрезговал. Сидел бы, сидел, как за своим Готье, и перебирал и переворачивал. Я бы об этом не заговорил, если бы не думал, что и Вы знали это, как посылали, и уверенно подняли занавес над этой фруктовой трагедией, и что действие Ваших «Цыган» для вас не сюрприз. А если я так долго на действии Вашей посылки останавливаюсь, то это потому, что мне она другой случай напомнила.

Перебирались мы как-то на другую квартиру¹. Все в отъезде были, только я да мать. Это давно было, я еще ребенком был. Я помогал ей укладываться. Трое суток на это ушло, трое круглых суток, в обстановке вещей,

сразу же ставших неузнаваемыми, лишь только их сдвинули с несмываемых квадратов, которые они отстояли за свою верную девятигодовую стойку. Трое круглых суток провели мы с мамой в чужом доме, и мне было страшно за маму, больно, что она загромождена таким количеством пыльной, деревянной, шерстяной и стеклянной неприязни, и не только никто этого не знает, но попробуй кому-нибудь об этом сказать, так тебя обличат во лжи: как же, скажут, ведь это все сплошь ваши вещи, и квартира ваша; какой же тут еще чужой дом? Но вот что замечательно, и для чего я вам это рассказываю. Стоило среди всей этой злорадной (перебираетесь, мол, дом на слом пойдет) рухляди попасться чему-нибудь такому, о чем эстетики пишутся, то есть тому, что называют красивой хорошей вещью, изящной или еще как-нибудь, как тотчас же эти действительно красивые: ноты (жирно гравированные), или перчатки, или еще что-нибудь приковывали все мое вниманье вот чем: оказалось, что, куда их ни ставь и как ни клади, они врагами дома не делаются, не грозят, а утешают, помнят и знают нас, и желают маме успеха и доброго пути, и обещают перевести счет всего нашего прошлого с этой улицы на любую улицу, куда их повезут, как переводят долг с лица на лицо. Я помню, как отрывала меня мама от этих заступников — и торопила. Нельзя так, Боря. Ты чего это зазевался. Ну в чем дело? Свеча как свеча. А это! — Ленты. Вам, Дмитрий, это, наверное, смешно, значит, я не сумел передать, как надо. Потому что верьте, это наблюденье верное. Настолько верное, что если бы я когда-нибудь, расфилософствовавшись, решил заняться проблемою прекрасного, то в тридцать свои лет, человек живший, читавший, любивший, писавший, знавший людей, как вы и я, и других, ни на меня, ни на вас не похожих, я обязательно бы вернулся к описанному ощущению, и его обособил, и попристальнее вгляделся в его своеобразие, и проанализировал бы не любовь, не жизнь, не стихи, не вас, не себя, а именно: успокоительное простосердечье этих дивных вещей, не менявшихся, не изменявших человеку, при перемещенье. Их было мало, помню. Хотя это, вероятно, от настроенья зависело. Потому что, когда все было уложено, я как-то все этим вещалкам и шкафам простил и уверился, что (как я бы теперь сказал), что и мышеловку Фидий мастерил.

Что-то подобное этой меланхолии овевало меня при виде Вашего подарка. Только мне теперь не домашних

было жалко, а того Дмитрия, которого тут, кроме сестер, никто не знает и которого трогали руками, и на весы клали, и куда-то волокли, — потому что с одухотворенностью этой мертвой природы я невольно ваш хутор связал, и почему-то Вашу маму и Вас, и еще тысячу больших неясностей. Еще несколько слов о том же, и я Вас в покое оставлю: не думайте, что все это — сентиментально. Нет, нет, это только неумело выражено, это тогда язык мой — нюня. А чувство это в основе своей — правильное и здоровое, и что-то подобное этому чувствуется где-то кем-то у Ростовых в «Войне и Мире», или это только кажется мне.

12. I. 1921.

Месяц просрочки, да еще и письмо с месяц в столе пролежало! Его бы не следовало посылать, да Вы ведь не поверили бы, если бы я теперь сказал, что не вовсе я свинья, и писал Вам, но только вдался в излишний психологический миниатюризм, что всегда в своей основе вздорно и смешно. Ну, да не боюсь я, знайте меня и смешным, Вы человек свой и близкий. Теперь о фактах.

Лито (Лит. Отдел) распадается, или, как говорят, — реорганизуется. Кузько² — там, и остается. Вот Вам пример, вывод сделайте сами. Меня очень любят там, зеленейшая молодежь начинает мне подражать, делает из меня мэтра. Поправлюсь: речь идет только о той молодежи, которая не ловится на удочку громких слов, выступлений, популярности, признанности и так далее. Меня выделяют (меня и Маяковского) — Брюсов и за ним вся его служивая свита в Лито. Прошлою весной я собрал для них все написанное и составил том (Сочиненья. 1-й том. Стихотворенья). Они его тогда же купили, несмотря на величину (5 000 с лишним стихов). Часть уплатили мне летом, часть же (80 000) должны были уплатить осенью, когда эти деньги еще имели некоторую ценность. И вот, в течение полугода тянется это дело, и до сих пор я не получил из этого остатка ни гроша. То у них «реорганизовали» бухгалтерию и отчетность, то в кассе не оказалось ассигнованных на это сумм. Теперь на эти деньги в Москве купишь фунтов 5 мяса, но я не знаю, что на них можно будет купить, когда они наконец выплатят их мне.

То же и с академическим пайком. Я зачислен на него с апреля месяца. И до сих пор он «не реализован». То же и с изданием книги. Нашлись люди, деньги, типография, бумага. Вы думаете, она будет издана?

19. I.

Окончательно выяснилась реконструкция Литер. Отдела. Во главе вместо Брюсова станет Серафимович³. Журнал Худож. слово⁴, вероятно, прикончится. Я сдуру, поверив в обещанье пайка и издание «Сестры моей Жизни», уже два месяца как бросил службу и теперь без денег и продовольствия. Больше всего меня бесят эти обещанья. Не будь их, все шло бы своей тихой, бездарной и бесплодной колеей. Четыре месяца я ходил на службу, в «Гудок» (железнодорожн. газета), ничего не делал, ни строчки для газеты не написал, исправлял чужие стихи и получал хороший красноармейский паек. Потом стали мне обещать со всех сторон: из Всемирн. Литературы, академической и так далее. Я бросил службу, впервые за три года стал что-то писать, и вот результаты: опять на положении дармоеда.— Слушайте, Дмитрий, я ведь Вам пропасть денег должен, за сухари и за яблоки. Не сердитесь на меня, что не высылаю. Сейчас нет возможности. Когда-нибудь сочтемся, а Вам спасибо большое.

Ваш *Б. Пастернак*

63. А. М. ГОРЬКОМУ¹

5 февраля, 1921, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Однажды я по пустячному поводу, без основания и несправедливо поднял ненужную и глупую историю о правке «Разбитого кувшина»². Вы, наверное, уже ничего не помните, и это письмо, м. б., удивит Вас и покажется непонятным. Но дайте мне выложить то, что на душе у меня, я его пишу не для Вас, а для себя. Я страшно виноват перед Вами, я без вины перед Вами виноват, и этой вины я ни изжить, ни искупить не в состоянии: не знаю как. Горечь этого сознания не оставляет меня, особенно ужасно мне было первое открытие этой моей вины, которой я за собой раньше не знал,— я Вам пишу

чистосердечно, т. е. без преувеличений, и говорю: вина, ее и разумею, как бы противоречиво это ни казалось, как бы ни просилось на язык логически более удобное «недоразуменье». Если бы я оправдывался (хотя бы перед самим собою), психологические условия моей роковой оплошности могли бы иметь значение, — но оправдаться я никак не надеюсь, — тут важен результат, тут важно то, что в сумме целого ряда несчастных случайностей я оказался несмываемо виноватым перед Вами, вот и все. И оттого я называю это виною. Так оно и есть. Я Вам пишу о своем горе, дочтите письмо до конца.

Никогда в жизни я так не бледнел от чувства неправомерности при внезапном каком-нибудь известии, как в тот вечер 18 года, когда летом я вернулся от Вас после первого моего посещения и узнал то, что уже три года влачил за собой, того не зная. Я себе места не находил от этого чувства и бросился Вам писать. Но это так некстати и так досадно сплелось с тем, что я у Вас по делу был, что этот шаг, такой необходимый и такой единственный, показался мне немислимым, невозможным. Я не знаю, за что судьба послала мне этот случай. Но я не преувеличиваю его тягостности: чувство это, как сознание проклятья, пошло трещиной по всему моему миру, раздвоив все то, чем приходится жить, когда пишешь. И я не каюсь Вам. В чем мне каяться? И не винюсь. Какое тут может быть извиненье? Но эта роковая бессмыслица, отравившая мне мое отношение к двум людям, с этой бессмыслицей связанным: к себе и к Вам, к себе в особенности (о хаотической путанице, царящей в последнем чувстве, уже совсем нестерпимом, мне нет надобности говорить), — эта бессмыслица мне не под силу. Я это опять испытал, будучи у Вас по просьбе Пильняка³. Мне кажется, что, когда Вы узнаете все это, у меня станет чище и яснее на душе. Письмо это я передам лично: я знаю, что Вы его получите. Считаться с этим письмом Вам не надо. Я знаю, что оно покажется Вам отвратительным — это сознание мое — лишний пример того, как множится и плодится бацилла этой моральной горечи во мне: как в ней ни двинься, куда ни глянь, ее растишь, ее множишь; это линия безвыходности, всякий выход из которой только ее удлиняет. Что ж делать? Но надо было, чтоб Вы это узнали. Если б я Вам рассказал, как двойственно и как несчастно сложился мой «литературный путь» после этого случая, Вы бы увидали, как планомерно и последовательно

казнит жизнь за всякий поступок, сделанный без согласия с характером человека, то есть за всякую нечаянность, оплошность, за все то, словом, за что может винить человека только мысль мистика. За недоразуменье. 5. II. 21.

Ваш *Б. Пастернак.*

64. Д. В. ПЕТРОВСКОМУ

1 мая 1921, Москва

1. V. 1921

Дорогой Дмитрий! Не пошли Вы своей открытки, так я б Вам и не написал. Ждал Вас, думал, приедете, на словах обсудим, разберу я Ваше горе, во все вникну; на свете у людей ничего не бывает непоправимого, а если исправить нельзя, значит, оно и само исправно, то есть так и надо, и тогда трагизм естественен, положителен; тогда в нем никакой обиды, никакого искаженья нет; тогда он черен как ночь, как туча, а не как клякса, не как пятно. И не навсегда. Нет такого живого цвета, который был бы постоянен. За всяким цветом, позади и впереди — целая история. И если Ваше горе таково¹, а оно наверное таково, Вас-то я хорошо знаю, то есть если горе Ваше целиком от Вас, от Вашего детства и первой юности пошло и к Вам вернулось, ничем сторонним не осложнясь, ни в чем не заблудившись, то оно именно таково, как туча и как ночь, которая была днем и днем станет. Ну да разве можно об этом в письме? Оттого-то и не писал я Вам, не писал и после сухарей, когда это уже просто грубо и странно стало, и домашние, зная меня (но мало понимая), стали интересоваться: ты, мол, по обыкновению, Петровскому, верно, не написал. А я ждал, ждал Вас, ждал особенно после большого Вашего письма. — А теперь эта Ваша открытка! — Но так как Вы уже за письмом и читаете его и заняты им, и, значит, настолько со мной и в моей воле, насколько это вообще заочно возможно, то торопиться мне нечего, я задержу Вас, и об открытке — в конце. — О длинном же Вашем письме вот что. О горе, как сказано, не хотел я Вам, дорогой мой, до встречи писать. Зато очень хотелось мне Вам вот что сказать. Книжке Вашей и всему, что Вы о ней пишете, рад я до крайности. Глаз на это закрывать не хочу: Ваша книга будет книгою дилетанта². Но быть мо-

жет, это пока единственная книга, о которой я стал бы говорить или писать публично, с готовностью, с радостью и по собственному побуждению. Мы давно не видались, и это признание нуждается в поясненье. А то Вы его не поймете. В течение последнего времени ко мне очень часто обращались молодые с просьбой «сказать что-нибудь» при том или ином выступлении, при дебютах или в других случаях. В этом никогда не отказывает Андрей Белый. Делают это многие. Но Вы знаете, Дмитрий, я не так-то уж легко очаровываюсь. Как это ни больно, ни вредно и ни опасно (житейски) порою, я в сентимент не впадаю и говорю этим поэтам то, что чувствую. Когда их огорчает моя резкость, я говорю им: «Вы зачем пришли! Чтобы найти выход из своих сомнений или чтобы услышать приятное! Первого Вы добились, а если Вы за вторым пришли, то вы ошиблись адресом. Ступайте к Аксенову или еще к кому-нибудь, в интересы этих людей входит поддерживать сомнительное, они сами таковы, и про вещь, о которой я вам сказал, что она даже отдаленно не отдает талантливостью, не говоря уже о неудачности, незрелости и так далее, вы услышите там одно приятное». Они идут и потом удивляются, как это я заранее знал все, что они им скажут. Так вот, не было ни одного до сих пор случая, где бы я не отказал желающим во «вступительном слове» и где визитеры мои не пожалели бы о своей мысли о публичной моей оценке, слышав ее от меня с глазу на глаз.— О Вас же — Вы это уже слышали. А почему? Потому что на стезю сомнительного Вы не вступали ни разу. И я представляю себе дух Вашей дикой, неслаженной и, вероятно, очень беспомощной книги, и радуюсь ей, и буду ее защищать, если это понадобится. Между прочим о Петникове³. Он тоже к сомнительному касательства не имеет и в поддержке сомнительного не заинтересован. И у него есть хорошие качества, и на несколько миллиметров он — поэт. Он мог бы и должен был бы развиваться. Я часто об этом с ним говорил. У него есть над чем работать, и некоторая его несамостоятельность — случайна. Но у него есть черты, которые этому, м. б., помешают. Он, напр., до смешного — рекламист. В его журналах все о нем пишут, и подчас мне неловко было с ним говорить. Скажешь ему, напр., что-нибудь об искусстве вообще, в связи с разговором о нем как о том, что он тебе показывает, и вот он подхватывает это и говорит: вот Вы бы написали об этом, Б. Л., об этом надо писать, а то что, говорит, разговоров

мало: — и тут же о деньгах. То же, что Вы пишете об его отношении к Хлебникову, — просто возмутительно.

А теперь об открытке, Дмитрий. Как это ужасно, что она в Стр(астную) пятницу пришла! Мне хотелось телеграфировать Вам, чтобы Вы ничего не предпринимали, никуда не шли, пока мы не свидимся или, по крайней мере, не спишемся. Но теперь частных телеграмм не принимают. В особенности такой, которая начинается со слов «Умоляю и так далее». Я решил через какое-нибудь военное учреждение. Везде заперто, занятий нигде нет, и люди, которые могли бы приказать принять депешу, — в разъезде. До среды занятий не будет. Мне сказали, что телеграмма не скорей письма дойдет. Но как на горе, и почтамт заперт, а простым не решаюсь. — Но вот ведь попало Вам письмо это в руки, верю и знаю и хочу верить, — и вот ведь я с Вами говорю. Так вот. Заклинаю Вас, Дмитрий, не предпринимайте ничего, никакого не делайте шага, предварительно не сделав вот чего. Если не можете приехать, напишите мне ясно, яснейшим и честнейшим образом, что Вы думаете в открытке сказать. Тут мало догадок, такими вещами не шутят. Напишите мне и ждите ответа. Напишите ясно. А всего лучше свидеться бы. Ну вот. Это заменяет телеграмму. Выпал и не знаю, что еще сказать. Выпал все. — «Самый дорогой друг», — так называли Вы меня, Дмитрий; спасибо; Вы не ошиблись, — но на что я Вам, если в самый существенный момент Ваших страданий или незадач Вы ограничились кратким извещением, иероглифически темным, и не спросили меня — (Вам смешно это?) — но ведь этого не случилось — я крепко-крепко целую Вас и жду ответа немедленного и полного. Слышите, Дмитрий!

Ваш Б. Пастернак.

65. В. П. ПОЛОНСКОМУ¹

〈Лето 1921〉, Москва

Дорогой Вячеслав Павлович!

Очень жалею, что Вас не застал. Мне хочется последовательно ознакомить Вас с другими моими работами, с художественной прозой, статьями и т. п. Для начала вот Вам большая порция прозы. Несколько слов о ней².

Это начало (5-я — примерно — часть) большого романа, который я задумал, частью написал и частью наметил в 1917 — весной 1918 года и тогда бросил. Вообще, весной 1918 г. мне пришлось оригинальные работы оставить и взяться за переводы (заказы) ³. Вот история этой вещи. До 17 г. у меня был путь — внешне общий со всеми; но роковое своеобразие загоняло меня в тупик, и я раньше других, и пока, кажется, я единственно, — осознал с болезненностью тот тупик, в который эта наша эра *оригинальности в кавычках* заводит. Тут, в записке, трудно об этом говорить обстоятельно и точно; но у меня есть обвинения времени формулятивные, продуманные, и я как-нибудь ими с вами поделюсь. Пока достаточно Вам будет знать, что на море произвола, открывавшемся за нашим неозстетизмом, я готов был заболеть морской болезнью. И я решил круто повернуть. Я решил, что буду писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зренья и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически, и т. д. Я таким образом решил дематерьялизовать прозу и, чтобы поставить себя в условия требовавшейся объективности, стал писать о героине, о женщине, с психологической генетикой, со скрупулезным повествованьем о детстве и т. д. и т. д. — Три года назад я этой вещи литераторам не показывал. Неискусшенных она приводила... в трепет. Потом я о ней забыл. Этой весной мне принес ее С. П. Бобров. Я перечел ее, и вот мое о ней мнение. Печатать я ее не буду. Она перепрощена донельзя и перегружена сентенциями и длиннотами. Не буду ее и перерабатывать. Время и труд, потраченные на нее, потерянными не считаю. Такую ванну следовало принять, значенье ее, вероятно, воспитательное и школьное. Значенья этого я, вероятно, еще не в силах оценить. Оно скажется на первой же вещи, которую я возьмусь писать.

Но, к сожаленью, в последнее время эта вещь попала на глаза нескольким молодым беллетристам, и они превознесли ее превыше небес. Видел ее и Горький. Боюсь, что верить в искренность его слов мне нельзя, т. к. однажды я (по роковому недоразумению) очень резко и незаслуженно его обидел ⁴. Большие люди в таких случаях до гипертрофии доводят беспристрастье, и, боюсь, такого происхождения и его советы относительно этой вещи и похвалы.

Прочтите ее, Вячеслав Павлович. Превозможите психологизмы, там есть и свежие места, существенные, но читайте подряд, мне очень дорого и важно Ваше мнение.
Ваш *Б. Пастернак*.

66. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

29 декабря 1921, Москва

Москва, Волхонка, 14, кв. 9.

Дорогая Оля!

У меня до сих пор лежит летнее письмо мое в ответ на твое издевательское и жестокое. Ты меня тогда не поняла и жестоко высмеяла. Но я так устроен и так люблю твой humour (это шире ведь, чем юмор?), что полез к папе и сестрам хвастаться тобой: каково, мол, отхлестала! И нашим нравилось, как ты меня отчехвостила, несмотря на то, что моего письма к тебе они не читали и, следовательно, судить о справедливости твоей карикатуры не могли. Т. к. для тебя не было бы приобретением усвоение более правильного взгляда на все то, что я в своем письме тогда разумел, а ты для меня не делаешься хуже от того, как на меня смотришь, то больше не будем этой темы касаться, а вот что. Немедленно же, немедленно, прошу тебя, напиши мне, как вы все поживаете, тетя Ася и ты и Сашка¹, как живете и что ты делаешь. И ради Бога, попрактичнее (прости за варваризм). Промедление в этом отношении с твоей стороны очень меня бы огорчило и даже взволновало. Ради Бога, садись писать, не откладывая. Где же я был до сих пор, скажешь ты, если мне так загорелось все это узнать? Оно и правда, да мне и самому неясно, зачем я предпочел месяцы провести в неосновательных пожеланьях вестей о вас и от вас, ни разу не сделав попытки заложить для этой мечты оснований. Не будь же строга в меру моей глупости, избери ее в мерку своей снисходительности.

Пусть тур эпистолярного контрданса замкнется до истечения года, я прошу тебя, поскольку это в силах-возможностях почты. А если новогодняя ночь ляжет промеж привета и ответа, то вот тебе и тете и Сашке мой поцелуй, за всех шестерых, крепкий и молчаливо до краев налитый всей терпкостью невыразимого в его глухой силе пожеланья, того, которое братается с фатумом и

в своей фатальности сбывается, того, которое в живой своей горечи дает богатую цену правдоподобного оптимизма, того, которое видит будущее за теми, к кому обращено.

С Новым годом, Олечка!

Прости, что пишу тебе только сердечно, а не содержательно вдобавок. Прости за небрежность. Я пользуюсь перерывом между двумя порциями новообразовавшегося за последние мои годы глухонемого безделья. Как глухонемые, эти приступы безделья и идиотичны кроме того. А я не хотел, чтобы письма к тебе шли от идиотов. Оля, прошу тебя, садись писать сейчас же. И не пиши *ответа* на письмо: т. е. не считайся с ним; что оно-де тебя огорчило или тебя порадовало. Оно ни на мизинец не должно урезать твоего письма, став хотя бы вводной его темой, приступом, поводом или придишкой. Пишут ли вам наши из-за границы? ² Ты знаешь, они ожили там, и письма родителей моложе адресатов и их глаз, которые тут их читают, стыдно сознаться.

О себе не пишу. Это либо вскорости в очередном письме (за твоим), либо же еще как-нибудь. Мне не хочется целоваться с тобою и тетей после того новогоднего объятия, которое было почти калечащим по иллюзии: оно размягло мое почерк и заставило руку плясать.

Твой *Боря*.

67. Ю. И. ЮРКУНУ ¹

14 июня 1922, Москва

Москва, Волхонка, 14, кв. 9
14/VI 22.

Дорогой Юрий Иванович!

Посылаю Вам альманах, в котором напечатана моя повесть ², а Михаилу Алексеевичу только что вышедшую «Сестру мою — жизнь» ³. Эту последнюю хотелось бы надписать и Вам, да делать нечего, — в день ее выхода почти все авторские были расхvatаны никогда скучать мне не дающими приятелями, сплошные посещения которых, кстати сказать, останутся не последнею причиною того, что работать мне совершенно не приходится, редко счастливится что-нибудь прочесть, о письмах же, а то и просто об минуте-другой молчали-

вого про себя размышленья и не мечтается. Последствий такого положенья много, к числу их отнесите и мое молчанье, которое, быть может, Вас и не удивляло, но тяготило мою собственную совесть, после того, что я прочел Вашего причудливого и чудного Пичунаса ⁴, который, конечно, ближе и роднее мне сегодняшней и вчерашней, майской и мартовской, Московской и Петроградской, временной и местной и потому, разумеется, — несовременной, ведущей сомнительное существованье (появляется, не составляя явления) «художественной» прозы. Говорю о ней безо всякого отчаянья, без сетующего поминанья лучшего прошлого, говорю так оттого, что ее и наше будущее — постижимое, одно — разумом, другое — волей. И несомненно, только творческое мало-душье может заставить людей нашего возраста, наших старших друзей согласиться с той схематической классификацией, которую создала критика. Не буду говорить о себе. Но я считаю родными себе тех людей, самый расцвет впечатлительности и способности выраженья коих совпал с началом войны. О них установилась аксиома какая-то «дореволюционности», «выслушанности читателями до конца», «высказавшего себя без остатка мастерства», «символизма, акмеизма, буржуазности» и т. д. При установившемся у нас — час по нашим часам назад — взгляде это, как Вам, верно, известно, означает что-то вроде доисторического происхожденья. А между тем ведь эти: семнадцатый, восемнадцатый и так далее, разве были бы они вообще чем-нибудь стоящим на земле, а тем паче годами великой революции, если бы не были эти годы моим или Вашим тридцатым или чьим-нибудь сороковым, пятидесятым. Или при шестидесятом Вы приметесь качать головой? Ну а если я, подав Вам семидесятый, не удовольствуюсь и потянусь за следующим? Когда это художники перестали кровно нуждаться в долгой жизни и жадно желать необходимого, как роскоши? Когда стряслось то, что из их мечты о бессмертии, осязательно напоенной всею флорой поясов, в которых мы додыхивались до единобожия, ушла и выпала земля, это шарообразное зерно вышеописанной мечтательности, долгой, прожекториальной мечтательности, полосой слепнувшего нетерпенья, скопом биографического фосфора, рвущегося Бог знает куда, — когда это случилось? Это случилось в годы нашего упадка, и в нашей воле все это изменить.

Вероятно, есть люди одаренные среди «Серапионовцев». Вероятно, очень хорош Замятин, изобретший быт. И вероятно, недурен Пильняк. Все это — люди Революции (за исключением Замятина) (когда это слово произносится под эмфатической подливкой и оканчивается на еры). Вот. И они, конечно, — беспартийные. О моей партийности Вам нечего говорить. Но знаете, чем я такой народ люблю ошарашивать? Я серьезно и запальчиво заявляю им, что я — коммунист, неопределенных разговоров не вожу, а затем уже раздраженной скороговоркой прибавляю, что коммунистами были и Петр, и Пушкин, что у нас, — и слава Богу, Пушкинское время, и, как ни дико быть Петербургу в Москве, ему было бы легче этот географический парадокс осилить, если бы все эти «люди революции» не были бы личными врагами памятника на Тверском бульваре и, следовательно, — контрреволюционерами. И это не только поза, скажу Вам. Это не только поза оттого, что все нестилизированные и бесстильные революционеры и люди времени берутся за высказанное, как за свой собственный стиль, как неожиданно и независимо он им ни высказывается. К примеру, вот мои две вещи, которые Вам посылаю. Найдите в них хоть что-нибудь «революционное» в хоровом смысле. Просто смешно, до чего «Сестре» посчастливилось. Мало сказать, аполитическая, — книга, в которой при известной натяжке можно выудить политическое словцо, да и то это оказывается — Керенский⁵, книга эта должна была вызвать самые ходячие и самые натуральные нападки, а между тем, — и эту терминологию можно простить, — она признается «революционнейшею»⁶. Я бы ничего этого не писал Вам, Юрий Иванович, если бы оно не было интересно в качестве симптома и пробы своего на другом. Я почти убежден, что Вам порывистая определенность, экспрессионизм, выразительная расправа с содержанием, туго и лично накапливающимся, жизненно мечтательным, etc. — сродни и по душе. Вот, значит, и Вы петербуржец, вот и Вы коммунист и человек революции — и я был тем первым дураком, на котором это предположение доказалось, как на яблоках. Вот какими я сейчас истинами ушиблен. Что если это и не так (о, конечно), то надо так сделать, чтобы революция была временем скорых темпов, зрелых исповедей и мужественно-сказочных притязаний. В прямой связи со сказанным ото всей души и горячо желаю Вам скорейшей и успешнейшей работы. Я обращаюсь к Вам не как к себе-

седнику, а как к Юркуну. Я мог бы пожелать того же (т. е. чтобы Юркун взялся за работу и начал, забыв о достижениях) любому X-у, или игреку, или самому себе как читателю. В той же связи, странно сказать, хотелось мне надписать книгу и Кузмину и Ахматовой. В случае с Анной Андреевной боязнь показаться фамильярно-панибратствующим (а как это было бы далеко от истины) преодолена чувством живого знакомства с ней. В этом духе я и сделал ей надпись: ⁷ как человеку, несправедливо потерпевшему от дружественной критики, преждевременно объявляющей человека мастером, канонизирующей его в меру своих умеренных требований и больше ничего от него не желающей. А когда я книжку ей надписывал, я видел пред собою чуть что не девочку с тем восприимчивым воображеньем, которое чурается всякой обобщенности и отвлеченья, даже того малого, какое заключается в понятии «зрелого человека», не говоря уже о той абстракции, которой подвергается человек, мирящийся со званием мастера. А сколько еще роящихся и не сроившихся элементов в «Нездешних вечерах» ⁸. Мне очень близок и дорог прием мгновенного и мимолетного затрагиванья пейзажа и задеванья за него в вещах большой лирической скорости и прямого сердечного назначенья. И я не далек был от того, чтобы Кузмину надписать книгу как товарищу, который тоже торопится и жалеет об упущенном и ничего еще не сказал. — Вы понимаете. Но такая надпись действительно свидетельствовала бы о недалекости. А между тем если я на что и отзываюсь сейчас восхищенно и горячо, то именно всегда так только, в порядке порывистого сверстничества, не разбираясь в подробностях возраста и творческих заслуг. Но я заболтался с Вами. Так жаден и тороплив я стал оттого, что пятый уже год ничего не делаю, не делаю и по сей самый день, и для того, чтобы снять с себя горб этого закоснелого безделья и выпрямиться для дела, задумал я в близком будущем месяцев на 6 съездить за границу, верно, поселюсь где-ниб. в Марбурге или Геттингене, да я, быть может, об этом Вам и говорил. От Берлинской литературной шумихи, в которую я уже без моего ведома и против воли отчасти втянут, буду, разумеется, держаться в стороне. Дорогой Юрий Иванович, я, верно, никогда не кончу этого несчастного и многословного письма. Но мне действительно и серьезно хочется переписываться с Вами. То обстоятельство, что это письмо я дописал и что оно не у меня в

столе останется,— факт беспримерной редкости,— и меня очень огорчит, если Вы мне до моего отъезда не ответите.

Пробуду я тут еще с месяц. Мне так жалко, что не удалось побывать у Михаила Алексеевича и с ним познакомиться⁹. Одно время я утешался мыслью, что до отъезда побываю в Петербурге или поеду на Ревель. Однако эту мысль теперь придется бросить. До возвращения в Россию свидеться нам не удастся. По возвращении же думаю вообще на жительство переехать в Петербург и там обосноваться.

Напишите же мне обязательно. Читали ли Вы «Версты» Марины Цветаевой и «Стального соловья» Н. Асеева. Прекрасные книги — не правда ли? Асеев весной приехал с Д(альнего) Востока, и я ожил — это лучший мой друг. Всего лучшего, Юрий Иванович, жму крепко Вашу руку и от души приветствую М(ихаила) А(лексеевича).

Ваш Б. Пастернак.

68. Н. К. ЧУКОВСКОМУ¹

11. VII. 1922

11 июля 1922, Москва

Милый Николай Корнеевич!

Исполнением обещанной большой услуги Вы настолько превзошли все мои ожидания, что теперь, по прошествии недели со дня получения рукописи, к выражению живейшей моей благодарности Вам примешиваются извинения.

Простите, что не тотчас поблагодарил Вас за помощь и за верность слову.

Сегодня говорил о Вас с Мандельштамом. О. Э. очень правильно и тепло о Вас отзывается.

Он говорил о некоторых качествах Ваших стихов, тонко и справедливо оттеняя их задушевность. Проводя параллель между «добротою души», сказавшейся в них без ущерба для поэзии, и поэзией Мерики — он до полной ясности оттенил эту на вид несколько расплывчатую характеристику, и я не мог не согласиться с ним, как ни мало, чтоб не сказать ничтожно, мое с Вами знакомство. Крепко жму Вашу руку. Буду рад встретиться с Вами в Петербурге.

Душевный привет Корнею Ивановичу. Передали ли Вы ему, что с его выбором я вполне согласен! Передали ли Вы также, как тронут я его вниманием, как благодарен ему за сочувствие и за его, правда, и не совпадающие с моими собственными, — пожелания? Неудобно — неловко путь подобных передач там, где имеется возможность непосредственного и личного общения. Но Вашему папе я не пишу оттого, что мне пришлось бы отправить ему целый пакет пролегомен в объяснение некоторых возражений, с которых такое послание обязательно бы началось, и которые без этих пролегомен повели бы к недоразумению. Так, довольно определенный строй мыслей, которого бы я никак не миновал, навел бы его на ошибочную мысль о ложной моей или даже, может быть, лживой скромности. Другой круг утверждений, которого бы я тоже никак не избег, навел бы его на противоположное и столь же ошибочное предположение о неоправданной заносчивости и т. д. Всего же хуже — и чутье тут никогда не обманывает — было бы то, что более или менее безотносительная и в эту именно меру — абсолютная беседа — независимая, — была бы истолкована под знаком отношения к себе и к другим в самом худшем для «литератора» смысле.

Как было бы понято или, лучше сказать, сколько понадобилось бы утомительных для собеседника разъяснений, чтобы понято было мое отношение к нашей «неофициальной» печати в подавляющей ее части. Я понимаю Бунина, понимаю Цветаеву. Здесь нечего раскатываться в интонации, запятых не поставишь, двух-трех назвал и обчелся. Из таких «журнала» не наберешь. Я понимаю эту породу, являющую собой бином из двух противных бесконечностей. Темперамент, дарование, чутье, нахрап достигают той определенности, которая живьем помещает их в истинное отечество бесконечно больших величин — в культуру. В том высоком стаде, в каком ходят они (в культуре), уже не любопытствуют о стойле, в котором тепло телилось их домгновенное несуществование. Существование их стирает и затемняет этот, для верховного фермера небезынтересный момент.

А политико-социальные их взгляды так бесконечно малы, что легко и отрадно для чистоты воззрения и счета, — приравнять их нулю.

Я понимаю коммунизм, — двучлен обратного строения. Индивидуально-осязательное, эстетическое, экзем-

плярно-симментальное нулевого значения. Политико-социальное — потрясающе громадно (и нас, и, в частности меня, трясло, и не так, как в концертах или на Парсифале!)²).

Но что мне сказать о персонажах «Утренников», «Пересветов», «Костров»³ и т. д. и т. д.? Что сказать о людях, в противоположность названному (начинавшим себя с личности или с Государства) — ориентировавшихся на маршрутных поездах, на новой «биологически общественной России» на «обовшивевшем ее пути»⁴ (как ново!), на бытовых осложнениях, на множественностях, на разъездах за литературными гонорарами и репутациями, на поле, на бабах... — но, черт возьми, надо же, наконец, различать энергию и ее приложение: где только не видите Вы ужимок электричества: прощупайте его пути — и Вам придется переглядить ладонью чуть что не весь инвентарь вселенной, это верх разнообразия; когда же вы перенесетесь к электричеству техническому, к электрифицированному городу — проволока обезит с вами все места и положения, удостоившиеся изображения Шекспира и Диккенса, опередит фантазию Уэллса, побывает везде, где живут и не дождались еще нового Достоевского, услышит выстрел, приканчивающий Пушкина, и, швыряя вас с выступа на выступ и из-за угла за угол, внезапно вернет в неожиданно плохо освещенную, с краснотой, — уборную глухой какой-нибудь квартиры! Как множественны приложения!

Но как скупа конструкция этого бога в бегах! + —, два полюса и даже уже это плеоназм. А Вы представляете себе, что получилось, если бы это электричество ориентировалось на многом множестве электрифицированных уборных, на маршрутах, на вшах, на письмах в редакцию и на дружбе со мною, с Андреем Белым или с Вашим отцом!

Вот этого-то класса явлений, в противность двум, вполне понятным мне, я не понимаю. И я не люблю того бинома, который дает мне чистейшую в сумме посредственность, хотя бы она давалась и в максимальной, Лутохиночарующей дозе⁵.

Вот видите. Не то что к Корнею Ивановичу, — в письме к Вам пришлось прибегнуть к игре! Речь и тут шла об одном приятеле моем с тем «симпатичным» дарованием, которое не могло меня в свое время не подкупить. Теперь это любимец, если не божок, — всех вышеохарактеризованных журналов. Эта посредственность не ломается, —

она искренна — она ломает дурака и дает тему для статей об этом. Но искренняя мина «мастерства» так натянуто-топорна на лице этой же посредственности, что я смешнее ничего не знаю. И этим захлебываются все знатоки электричества, производящие энергию от узора прокладки.

Я не смею его назвать ⁶. Мы еще приятели. Я назову его завтра, послезавтра, когда, начав открытую войну с бинамами третьего вида, объявлю его главным лобовым слонем этой вражеской карфагенской экзотики.

Ваш *Б. Пастернак*.

69. В. Я. БРЮСОВУ ¹

15 августа, 1922, Петроград

Петроград 15/VIII 1922.

Дорогой Валерий Яковлевич!

Если бы я попросту и запросто собирался к Вам все то долгое время, что я мечтал о посещении Вас, ссылка на многочисленные помехи, тому препятствовавшие, не имела бы смысла. Находил же я время, между дел, для встреч с приятелями, для чего хотите, и среди последнего, в первую голову, для мечтаний о настоящей встрече с Вами. Вот эта-то мечта, совсем особенная, и сообщила препятствиям характер непреодолимости, которого у них на деле не было. Встреча с Вами должна была по мысли моей и по чувству быть отчетной и исчерпывающей, ей должен был быть посвящен целый день, — в том смысле, — что часу, который бы Вы разрешили провести с Вами, не должно было предшествовать ничего отвлекающего, и ничто постороннее и озабочивающее за ним не должно было следовать. Таким мыслился мне этот, — гадательный и теперь уже утраченный день в меру той нешуточно глубокой признательности, вне и без которой я не могу и никогда не смогу сделать ни одного Вам навстречу шага. Вы склоняете к простоте и короткости в обращении, — склонили многих, и не таких, как я, — склонился бы к этому и я, — да Вы тут, верно, ни при чем.

Вероятно, эта моя признательность глубже хорошей учтивости, — и по-видимому, поток этой благодарности, всплывающей при всякой моей мысли о Вас, направлен

столько же к Валерию Яковлевичу, сколько и к Брюсову, к поэтической силе высокой (по размерам и по степени) заразительности, к родной и, вместе с тем, — старшей стихии, которая сначала с помощью заочной заразительности сложила тебя и как бы вызвала к существованию, затем — тебя заметила и тебя назвала — и наконец (как кажется многим) — в деле рук своих и в своем предвидении оказалась правой. Если бы я сказал, что я сплошь и целиком ученик Ваш, что я вышел из Вас, так как из Вас вышли Гумилев, Ходасевич и многие — это было бы лезть, это было бы неправдой. И это было бы принижением той правды, которая меня с Вами связывает, которою я горжусь и которая многим значительно более зависимости от Вас упомянутых.

Если у индивидуальности есть лицо, и если оно целостно, то в любой из эмоциональных плоскостей этой индивидуальности (любовной, волевой, творческой и пр.) обязательно имеется другое человеческое лицо, к которому целостность первой восходит как к своему началу и в присутствии которого лицо индивидуальности потрясается, освещается, собирается воедино.

Таким лицом в сфере моих художественных, артистических, мужественно творческих чувствований, в сфере ощущения поэта в себе — являетесь Вы. Это трудно объяснить, Валерий Яковлевич, — и значило бы стать вовсе фантастичным, если бы, воспользовавшись подсобным определением, я бы просто, аналогизируя приемы уравнивательные, выразился алгебраически и безапелляционно: больше всего я Вам благодарен за то, что, кажется, не подражав Вам, — иногда чувствую Брюсова в себе — это тогда, когда я чувствую над собою, за собою и в себе — поэта.

Странность этого ощущения богата следствиями и производными. Так, напр., при всяком внешнем успехе — я радуюсь ему и им горжусь. Радость оставляю про себя, как нечто интимное, детское и приватное. Гордость же по этому странному балансу целиком отписывается Вам. Знайте, Валерий Яковлевич, что никогда я не горжусь собою, но всегда тем, что Брюсовское дело (поэзия порывистая и выразительная, не скоро стирающаяся) преуспевает, идет от признанья к признанью. Так, — тут, например, в Петербурге сильно и крупно выделил мою прозу (напечат. в «Наших днях») Мих. Ал. Кузмин, поставив ее выше Белого и Ал. Толстого, не говоря уже о Пильняке и Серапионцах². И — объяс-

ните это мне, Валерий Яковлевич, — я *порадовался за Вас*, вспомнив Ваши вкусы, Ваши заказы и заветы литературе, Ваших друзей и уклоны, Вам не улыбающиеся. И когда я уже так близок был к отъезду, что казалось, не оставалось уже надежды поспеть к Вам, я все-таки твердо верил, что Вас увижу — и вот подробность: ко мне зашел брат Софьи Парнок — Валентин Парнах. На моей совести большой грех: его книжка³, надписанная Вам, пролежала у меня несколько месяцев. Последнее время по выходе «Сестры Моей Жизни» я положил Парнахову книжку с Вашим экземпляром «Сестры» рядом. Парнаху я его книги, Вам предназначенной, не отдал, уверив, что отнесу вместе со своей.

Это было уже накануне отъезда. Я все еще надеялся. Но вот не пришлось. Не пришлось оттого, конечно, что я не умею жить, ибо меньше жить (в лучшем смысле этого слова) — в том и заключается, чтобы успеть делить время между важным и неважным, существенным и насущным, важного и существенного этим дележом не ущербляя и не профанируя. Кончилось тем, что я обе книжки увез с собой в Петроград. Теперь с пути (я еду за границу) посылаю их Вам по почте.

Я еду в Германию на полгода или на год, если удастся. Еду работать. То же неумение жить не дает мне возможности поделить время между работою и не работою, как того требует Москва. Оттого и еду. Я знаю, что внешне — порчу себе, так как, несомненно, меня в мое отсутствие так же быстро покатают вниз, как вкатили, меня не спрашиваясь, наверх, — на высоту вполне условную, еще не заслуженную, и малопонятную. Сделают это «молодые», т. е. те, из которых (представьте себе!) некоторые пишут кровным моим тоном, вовсе этого за собой не зная и не выдав «Сестры», — благодаря вторичным — горизонтально-круговым заимствованиям друг у друга. Живой пример. Некий Цветков в Москве приходит ко мне и аттестуется: «юный земли поэт» — передайте, пожалуйста, эти мои стихи Есенину, если увидите, — я крестьянский поэт — его, мол, десятка. Потом развертываю — живая «Елена», — другое — того чище, то есть в такой степени, в какой я б этого ни о ком не сказал!

А Вам, Валерий Яковлевич. — Неловко, право, всерьез говорить с Вами об этом новом «мастерстве». Две-три тощие тетрадки. Вам вот что скажу. Честное слово, я не придаю этим удачам никакого значения, кроме одного

только. Что я на верном, кажется, пути, и что на нем нельзя останавливаться. Меня очень удовлетворил отзыв Городецкого о Ваших новых книгах ⁴ (в Известиях, июль, кажется). Хотя подход мне не свойственный и слегка поверхностный, все же сознание серьезности задачи — налицо, и должная оценка разбираемого дана в тоне разбора.

Перед самым отъездом вызвал меня к себе Троцкий ⁵. Он более получаса беседовал со мною о предметах литературных, жалко, что пришлось говорить главным образом мне, хотелось больше его послушать, а надобность в такой декларативности явилась не только от двух-трех его вопросов, о которых — ниже; потребность в таких изъяснениях вытекала прямо из перспектив зарубежных, чреватых кривотолками, искаженьями истины, разочарованиями в совести уехавшего. Он спросил меня (ссылаясь на «Сестру» и еще кое-что, ему известное) — отчего я «воздерживаюсь» от откликов на общественные темы. Вообще он меня очаровал и привел в восхищение, надо также сказать, что со своей точки зрения он совершенно прав, задавая мне такие вопросы. Ответы и разъяснения мои сводились к защите индивидуализма истинного, как новой социальной клеточки нового социального организма.

Проще: я начал с *предположительного* утверждения того, что я современен и что даже уже и французские символисты, как современники *упадка* буржуазии, тем самым принадлежат нашему времени, а не истории мещанства; если бы они с мещанством разделяли его упадок — они мирились бы с литературой периода Гюго и молчаливо-удовлетворенно погибали, а не остро чувствовали и творчески себя выражали. Я ограничился общими положеньями и предупрежденьями относительно будущих своих работ, задуманных еще более индивидуально. А вместо этого мне, может быть, надлежало сказать ему, что «Сестра» — революционна в лучшем смысле этого слова. Что стадия революции, наиболее близкая сердцу и поэзии, — что, — *утро* революции и ее взрыв, когда она возвращает человека к *природе* человека и смотрит на государство глазами *естественного права* (америк. и францужск. декларации прав), выражены этой книгою в самом духе ее, характером ее содержания, темпом и последовательностью частей и т. д. и т. д. Очевидно, придется как-нибудь написать об этом.

До свиданья, дорогой Валерий Яковлевич, — и еще раз — горячо Вас за все, что Вы из меня и для меня сделали, — благодарю. Не разочаровывайтесь во мне как части Вашего собственного дела, если (по некоторым соображениям) внешняя судьба теперь изменит мне.

Не знаю, отчего я об этом заговариваю, и, может быть, ошибаюсь. Однако больно мне будет перестать «гордиться Брюсовым» — как выше — хотя бы на время. Я напишу Вам еще из-за границы, где на первых порах остановлюсь на Fasanenstrasse 41, Pension Fasanepesck Berlin W. Крепко жму Вашу руку. От души желаю Вам всего лучшего и побольше счастливых досугов.

До свиданья.

Любящий Вас Б. Пастернак.

70. В. П. ПОЛОНСКОМУ

2 января 1923, Берлин

2. I. 23

Дорогой Вячеслав Павлович!

Я сам, сидючи тут, мог как угодно отзываться о себе самом, о видимой, покамест, бессмысленности моей поездки, о душевной тяжести, мешающей мне тут работать, и пр. и пр. И верьте мне, в горечи этого признанья я всякое чужое порицанье превзошел. Когда при расставанье с Вами я в особенности настаивал на желательности личной переписки с Вами, я настолько же мало кривил душой, как и прощаясь в том же духе с давними и испытанными своими друзьями, которые мое молчанье, наверное, как-нибудь объяснят, но ни за что на свете не поставят нашу дружбу под угрозу этого толкованья, удачного или неудачного. Меня часто беспокоила мысль о неоправданном Вашем авансе¹. Эта мысль беспокоила бы меня еще больше, если бы, будучи связана непосредственно и причинно с целым рядом других и превосходных беспокойств, она не тонула в их море с угнетающей гармонией и симметрией.

Успокаивала ли меня согласованность этих невзгод? Нет, увы, далеко не успокаивала. Напротив того, боюсь, что я питал и поддерживал этот мрак своей «обеспокоенностью беспокойствами». Однако я не терял надежды услышать и иную музыку, твердо зная, что и Ваш

трагический аванс разрешится в ней неожиданным и долгожданным консонансом. Между тем стороной узнав я, в каком свете сложилась у Вас эта история с моим эксом. Как это ни обидно для меня, повторяю, всего неприятнее мне то, что, при таком толковании, Вы должны были необходимо усомниться в моем к Вам, по меньшей мере, уважении. А если Вы играете им, значит, оно Вам не нужно. Значит, мое отношение к Вам Вас мало трогает и интересуется. Вот что огорчительно весьма.

Как поправить это дело и поправимо ли оно вообще, надо будет выяснить по моем приезде домой. Что же касается аванса, он будет Вам возвращен в самое ближайшее время. Я не знаю, что составят сейчас те двадцать долларов, которые я достал за те осенние 100 мил., — во всяком случае, я перешлю деньги в долларах Вам, равно как и О. С. Литовскому², который, вероятно, тоже решил, что я наперед все знал и уехал, радуясь своей требовательности к себе, часто осуждающей меня на молчанье.

Когда Вы получите деньги, не почтите, пожалуйста, их за брошенную перчатку и не подумайте, *qu'on prend congé de vous**. Даже и ребенку должно быть ясно, что занятые деньги надо возвращать, и если я их задержал и стал бы задерживать и далее, то только оттого, что был в неясности относительно характера этого займа и смысл его понял слишком распространенно и широко.

Однако это обстоятельство несколько не умаляет признательности, с которой я их Вам возвращаю, и огорченье, причиненное Вами мне и выше объясненное, служит только доказательством моего безразличья к тому, каких Вы обо мне держитесь мыслей и чем мне отвечаете на мое, скажу на этот раз, — уваженье.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш *Б. Пастернак*.

Нежнейший привет (если Вы только и тут не подгадили мне своей кровавой недоверчивостью) ото всего сердца дорогой Валентине Ароновне³ и Черняку с женою.

Б. П.

О способе пересылки денег выясню на днях. Если у Вас есть прямой и хороший способ, тотчас же меня об нем известите. Эту просьбу исполните, пожалуйста, точ-

* что с вами перестают иметь дело (*фр.*).

но, т. е. не заменяйте ее исполнением неожиданной и (как Вы думаете) незаслуженной любезностью.

За всем прочим — с Новым Годом!

71. В. П. ПОЛОНСКОМУ

10 января 1923, Берлин

Дорогой Вячеслав Павлович!

Получили ли Вы мое письмо, посланное вам летучею почтой? С его отсылки прошло немного времени, но за это время случилось вот что. Во-первых, я после многолетнего перерыва стал опять работать, чем отчасти обязан Бор. Зайцеву¹, догадавшемуся пожелать мне написать что-нибудь такое, что он бы полюбил (счастливая по простоте формулировка потребности в художестве), во-вторых, — в чем отчасти виноваты Вы, — я связал обычные для меня при всяком новом подступе к настоящей работе ощущения тревоги и боязни (что не доделаешь, не кончишь, помешают или упустишь, или вообще, что это яйца выеденного не стоит, и т. д. и т. д.) — с Вами. То, о чем я говорю сейчас, никакого отношения к «Печати и революции» не имеет. Опять заварившаяся беллетристическая моя кашка ни на йоту моей задолженности Вам не уменьшает, дела с корреспондированьем не подвигает ни на шаг, и вообще предложенного Вам в прошлом письме возвращенья аванса не затрагивает и не касается. Это — дело решенное и пойдет своим порядком. Что же до сегодняшнего моего письма, до моей встревоженности, и той именно, в которой обращаешься к друзьям, возобновляешь замершую переписку и т. д., то это совершенно иная статья. Вероятно, оттого, что всего менее у меня оснований ждать удовлетворенья этой странной жажды именно с Вашей стороны, мне почему-то особенно занудился десяток-другой живых слов от Вас, о Вашем житье-бытье, о том, что Вы меня не забыли, о чем хотите сколь угодно далеко лежащем от несчастной трудности писанья по-настоящему, вызывающей всегда это периферическое, волнообразное и вихревое влеченье к людям в моменты постигнутости этим трудом. Я почти не понимаю, что пишу, у меня язык заржавел, и почти уверен, что Вам знакомо описываемое явление. Напишите мне, Вячеслав Павлович, непременно напишите.

Я оглядываюсь кругом, присматриваюсь к себе и одновременно готов прийти к двум выводам. Что никто сейчас из живущих не чувствует искусства и его специфической требовательности к автору с той остротой, что я, и никто, вероятно, не настолько, как я, — бездарен. Все что-то делают, что-то или о чем-то пишут и, за двумя-тремя исключениями, друг друга стоят. Ни труда этого (легкого и почетного), ни благополучья я разделить не в состоянии. Есть какой-то мне одному свойственный тон. Как мало дорожил я им, пока был им беснуем! Вне этого тона я не способен пользоваться даже тем небогатым кругом скромнейших ощущений, которые доступны любой современной посредственности, чаще всего — мещанской. Будто исчезновеньем этой одержимости я прямо-таки выключаюсь из всего обихода, на весь срок ее исчезновенья. На днях после пятилетнего отсутствия у меня в зрачках, кажется, опять забегали эти зайчики. До этой недавней радости я не раз рвался домой. Теперь же повременю. Занялся развитием одного отрывка, однако эта проба ввела меня в тон брошенной когда-то большой работы (романа). Если за этой небольшой работой сохраню в целости эту загнипнотизированность, возьмусь за продолжение романа. Как ужасно, что для моего существованья этот внутренний свист и грохот — условие *sine qua non* *. Замечательно, что эти ремни должны безостановочно кружиться и находиться в деятельности для того, чтобы пробуждались и пассивные способности: пониманья, восприятья и т. д. Так обстоит у меня, например, с чтеньем. Для него требуется досуг. Для досуга требуется приостановка писанья. Но достаточно мне забросить мазню *хоть на месяц*, как вслед за этим месяцем тут же, под рукой, неведомо откуда и в срок каких-нибудь двух-трех часов вырастает затяжное и продолжительное, неопишимо тупоумное бездействие, и когда эта временная опухоль начинает бледнеть, то с ужасом обнаруживаешь, что: *то прошло пять лет!* Вы поняли? Мне трудно описать это оглушительное чувствованье ближе. Неужели Вы хоть на минуту всерьез плохо думали обо мне? Как Вам не стыдно! А не бросилось ли Вам в глаза то, что даже Маяковский написал свою автобиографию для Яценки ², я же отказался наотрез участвовать в этой сборной телефонной

* обязательное (лат.).

книге, равно как и в «Накануне», участие в котором того же Маяка и теперь Асеева меня огорчает. Неужели Вам ничего не сказало то, что обо мне Вы перестали вообще слышать, именно вот это обстоятельство, именно оно, само по себе. Уже не объяснили ли Вы себе его простейшим и бездушнейшим образом? Неудачей? — Упал, мол, в цене, — что-то ничего о нем не слыхать. А, помнится, я предупреждал о том, что «литературы» в Берлине делать не собираюсь. Для чего же я наперед глушь — Марбург — избрал? В Марбург мне попасть не удалось: жена заболела, а потом удачно стала работать (она художница). Но теперь я о нем и не думаю. Теперь место моей тетради, как она с вечера ложится, — мое собственное. Дорогой Вячеслав Павлович, в таком роде, с описками и колоратурами, утомительно и коловратно, я бы мог с Вами еще до многого дописаться, однако довольно. В ожиданье чего-нибудь отрадного от Вас, крепко Вас обнимаю. Я горячо и упорно люблю Боброва, Асеева и Маяка. Для оценки их данных мне, их односторонне, не надо было сюда забираться. Но тут мы кажемся богами.

Ваш *Б. Пастернак*.

Р. S. О пересылке денег поговорю с Гринбергом³. Очень буду ждать письма от Вас. Вот видите, не лучше ли было мне молчать, как раньше, не беспокоя себя лишними и сомнительными надеждами? А теперь молчанье это нарушено, и по утрам уже справляешься, нет ли писем. И, конечно, их нет.

Б. П.

72. В. П. ПОЛОНСКОМУ

11 февраля 1923, Берлин

Дорогой Вячеслав Павлович!

Горячо Вас благодарю за щедрое и сердечное письмо, за участие, за советы.

Им наперекор, а также вопреки и собственным соображениям и пожеланьям, постепенно поднимаюсь в обратный путь и вскорости, вероятно, в марте месяце, — буду в Москве. А как бы мне хотелось переехать в Марбург¹, куда попал я лишь по шестимесячном сидении в совершенно ненужном мне Берлине, бескачественном и

сверхколичественном! И всего лишь на два дня. Но — жена у меня ².

И в согласии с последним замечаньем: — до скорого, до скорого.

Ваш Б. П.

VII-й «Печати и революции» не видел. Пришлите.

73. Н. С. ТИХОНОВУ

21 апреля 1924, Москва

21/IV.24

Напрасно, дорогой Николай Семенович, обиделись Вы на меня и даже, как мне передавали, — рассердились. Взаимное сношение поэтов требует большой веры друг во друга, и если я замедлил ответом, Ваше воображение должно было подсказать Вам какие угодно другие объяснения моего безмолвия, но никак не те, которые могут рассердить или обидеть. Вот видите, не будь у Вас сердца на меня, я прямо бы начал с извинений, теперь же случай проводит меня прямо к Вам мимо них.

Вы спрашивали о моей поэме. В начале зимы затеял я большую отчетную вещь, трезвую, сухую, и немолодую, в представлении моем носились только: тон и размер, — и всего менее я стал бы звать ее поэмой, — да, затеял я, значит, ее писать, и сделал глупость, показав ее кое-кому на неделе же ее первого возникновенья. Теперь этого не поправить, да и целая зима прошла, утвердив мою оплошность, и потребуются слишком длинные нитки, чтобы этот на год отплывший, непродолженный кусок приметать к продолженью, чем далее, тем менее терпимому и предвидимому. В той же форме, которой поспособствовали слабость воли, обстоятельства и прочая вспомогательная дребедень, порция этого многословия в скорости выйдет в «Лефе» ², и Вы успеете восхититься. Вчера я держал ее корректуру и должен сказать, что по скуке и тупоумию это произведение вполне совершенное. Когда Ахматова про Вас сказала, будто собираетесь Вы порвать навсегда (я не помню выраженья) с писаньем стихов «сюжетных» и «о чем-нибудь», я громко эту ее фразу подхватил и за Вас порадовался, и под налетом этой темы и закончился ночной чай у Асеева, где все мы до этого читали, радовались

друг другу, сожалели о брошенных молодых наших путях, кляли отклоненья и собирались встретить утро решительно переменившимися к лучшему (т. е. ставши прежними и новыми в одно и то же время).

Посылайте мне скорее все, что вами сделано нового. Вышло ли у Вас что-нибудь (отдельным изданием) после «Браги»? ³ Вы поэт моего мира и пониманья, лучше не скажешь, и нечего прибавлять. В литературное коло-вращенье я не вставился и механически с частями шестерни не сообщаюсь. Вот отчего многого я не вижу и не знаю, с чем автоматически сталкиваются другие. Жалко, что, не читавши регулярно «Красной нови», пропустил несколько Ваших вещей. Их хвалили. Мне нравятся Ваши стихи в «России» ⁴. Теперь вот что сделайте. Напишите точно, в каких именно номерах каких журналов Вы имеется, я их достану. У меня был очень тяжелый во всех отношеньях год. Крепко жму Вашу руку.
Ваш *Б. Пастернак*.

74. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

25 июля 1924, Тайцы

Тайцы ¹. Балтийской. Воскресенье.

Олюшка, дорогая моя сестра!

Ради Бога, не торопись говорить мне подлеца, не зови негодяем и выслушай. В минувшую среду от поезда к поезду я был в Петербурге, и не надо говорить, как меня подмывало повидаться с тобой. Физически это было возможно. У меня было три часа времени. Но я был не уверен в том, как ты, и в особенности тетя, встретите меня. Если уже от этих нескольких слов веет здоровьем, устойчивостью и благополучьем, то я просто писать не умею. Ничего подобного нет. Ничего нет, ничего не было. Если бы я пришел, ты это прекрасно знаешь, то никогда не с тем, чтобы показывать и рассказывать что-нибудь — я ведь не допускаю мысли, чтобы тебе или тете как-нибудь недоставало меня, но только оттого, что это чувство испытываю я к вам, оттого, иначе сказать, что в этой большой, далеко в глубь прошлого уходящей, еще продолжающейся, заторможенной на десять лет, тяжелой, невыносимой повести, которую мы признаем за нашу жизнь, вы — лучшие, любимейшие, глубочайшие главы. Я пришел бы, мы поговорили бы втроем, и

я *засуществовал* бы вновь, с вами, за вас, ты все это знаешь.

И вот я боялся, что вместо этого всего будут Мони, Яши, Берлины, обидные темы, недостойные комнат на Канале, — и, дорогая Оля, о неужели заслуженные мной? В три же часа успеть подготовить письмом и потом прийти нельзя было, и я эту возможность упустил, обалделыми глазами следя за тем, как мимо трамвая бегут улицы города, который для меня летом есть город Оли, — город Оли, и никакой другой.

Помнишь, тринадцать лет тому назад возвращались мы из Меррекуля. Помнишь, как звучали названья станций — Вруда, Пудость, Тикопись? Мы их потом никогда не вспоминали. Они попадались, впоследствии в датировках Северянинских стихов². А ты мне тогда о нем рассказывала, на извозчике кажется, по дороге с вокзала. Помнишь? Помнишь все? Как тебя тогда папа, дядя Миша встретил! Как я любил его в этот вечер! Помнишь, Оля? Я поворачиваю голову в сторону и вглядываюсь в эту страшную даль. Точно недавно ударившим ветром это все за край поля отнесло, подбежать — подберешь.

Слушай, как чудно, как безрадостно чудесно. Я пишу тебе из Тайц, со станции, смежной с Пудостью. Ты — петербуржка, тебя этот язык Балтийской дороги не может удивить и привести в возбужденье, ты летами, вероятно, возобновляла прямо или косвенно звучанье этих чухонских заклятий. Но можешь себе представить, что делает этот словарь со мной. Вот как это случилось. К весне Женя измучилась и истощилась до невозможности: надо тебе знать, что у нас ребенок, мальчик, зовут также Женичкой, она малокровна, кормила, изнервничалась, и материальные обстоятельства всю зиму у нас были прескверные. Вот она и отправилась к своей матери, где тоже свои незадачи, болезни, трудности. Летом ей сняли верх в две комнатки в Тайцах.

Я остался в Москве, чтобы поработать, написать Илиаду, Божественную комедию или Войну и мир и таким образом радикально поправить дела надолго. Надо ли говорить, что я с таким самочувствием и до Аверченки не поднялся, т. е. попросту ничего не сделал. Тем временем я успел захворать, болел пустяковойшей ангиной, которая, однако, отозвалась на сердце, страшно скучал по Жене, и все никак не мог достать денег, чтобы оплатить квартиру за несколько месяцев, разделаться с дол-

гами и к ним съездить. Теперь я наконец попал к ним в Тайцы, и вот тебе объяснение моего трехчасового пребывания в городе. Первою мыслью моей было просить тебя погостить у нас, об этом бы я стал просить тебя на коленях, принимая на себя все обидные слова и клички, которые ты написала в Берлин. Скажу вскользь, наверное, ты права, наверное, я мерзок, я этого не чувствую, не знаю за собой, но тебе лучше знать, что с того, что в моем опыте с тобой и с тетей ничего от неловкости, оплошности и т. д. нет, а только всегда порыв, волнение, интерес и преданность. Но это мимоходом. Я собирался в город вчера, в субботу, но опоздал на поезд. Мне хотелось завезти тебя на воскресенье. Дело в том, что по приезде в Тайцы я увидел, что поселиться просто у нас тебе негде будет (ты сама увидишь), т. е. что тебе тесно будет, неудобно и отдыха никакого. Тогда же Женя стала подыскивать для тебя комнату поблизости, и одна уже есть на примете, точно узнаем на днях. Письмо это преследует одну цель. Напомнить о себе и о том, что пишет письмо не собака. Начинать с этого при встрече было бы тягостно. В середине недели (среда, четверг) днем буду у тебя. Был бы и раньше, но, как сказано, до письма боюсь. При проезде же настоящей причиной того, что не зашел, была невозможность видеть кого бы то ни было до своих, я по ним сильно стосковался. Теперь они тут, и, начав письмо, об этом забыл. Крепко целую тебя, тетю и Сашу.

Твой *Боря*.

75. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

2 августа 1924, Тайцы

Тайцы. Понедельник

Дорогая Олюшка!

У меня болит горло и несколько повышена температура (37.4). В другое бы время я не обратил на это внимания и приехал в точности в назначенный час, тем более что это для меня одно удовольствие и счастье победить твою несговорчивость насчет издателя¹ и поездки к нам, но летом я очень провозился с ангиной, трижды возвращавшейся и отразившейся на сердце, что и делает меня до смешного осторожным. Слово тети о тяжести понедельника таким образом сбывается с неожиданной стороны. Я приеду в город в следующий приемный день

Современника[?], т. е. в пятницу в три часа, как предполагал сегодня. Не сердись же на меня, если тебе из-за меня пришлось потерять два-три дневных часа, и ради Бога, не наказывай меня за движение бактерий, которое не в моей воле. Вот на всякий случай наш адрес: Тайцы Балтийской ж.-д., Евгеньевский пер. 3, дача Карновского. Если бы ты собралась к нам до пятницы, это было бы для нас большой радостью. Жене мало тебя, она еще очень просит тетю и горячо вас обеих целует. От вас на Балтийский ходит трамвай № 2, остановка на углу Садовой и Гороховой, как ты мне говорила. На сегодня у меня был такой план. Если бы мне удалось уломать тебя на завтра (вторник) к нам в гости приехать, то мы бы отправились с тобой на поезде, отходящем из города в 9 часов утра (по городскому времени), и для того, чтобы не проспять его и вовремя поспеть, я бы к вам ночевать напросился. Следующий, к сожалению, идет только во втором часу (1.40) по городскому, а это поздно, половина дня пропадает. Ах, Оля, как жалко, что я тебя сегодня не увижу. Но если два часа назад у меня еще были колебания и некоторая надежда, что, может быть, я все же поеду, теперь об этом и говорить нечего: у меня жар увеличивается. Итак, если Бог даст,— до пятницы.

Целую тебя и тетю.

Поклон Саше и его жене.

Твой Боря.

76. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ¹

19 сентября 1924, Москва

19.IX.24.

Волхонка 14, кв. 9

Дорогой Осип Эмилиевич!

Мне следовало давно извиниться перед Вами за наше исчезновение из Петербурга без прощального визита, который мы собирались Вам нанести, и по какой-то непредвиденной причине не успели. Надеюсь, Вы вполне тогда же оправились от инфлуэнцы, разыгравшейся у Вас в те дни. Перед отъездом заходил я к Кузмину, но не застал его дома. Думал повторить посещение, и тоже отчего-то не вышло. Хотя мы в Москве всего с неделю, но кажется мне, что дни, проведенные в Петербурге, дело прошлого года. Все больше жалею я, что так и не

услышал Вашей прозы, хотя, конечно, это моя вина. Я несколько раз у Вас был и по многу часов отымал у Вас и Надежды Яковлевны² обыденнейшими разговорами, вместо чего можно было попросить Вас ее почитать. Закончили ли Вы ее уже? Когда можно ждать появления «Воспоминаний»?³

Мне пожаловаться не на что. Все неприятное, с чем я тут в Москве столкнулся, я более или менее предвидел всегда и предчувствовал этим летом. Хотя ежедневно ведутся с нами разговоры о площади и тому подобном, но комнаты мы, вероятно, отстоим, так мне, по крайней мере, кажется. Служба у меня обещает получиться по статистической части. Так как я в юридических дисциплинах ничего не смыслю и вообще в отношении теории, как уясняется мне, гораздо наивнее, чем мог предполагать, то придется мне на месяц засесть за разнообразные курсы, до преодоления которых не буду себя считать вполне человеком. Что-то сделалось в мое отсутствие с Дмитрием Петровским. Он пишет что-то громадное, мало с кем встречается и при первом же моем звонке объявил мне, что не желает меня видеть. Надо знать Дмитрия так, как знаю его я, а также и степень, давность и глубину нашей дружбы. Я понял, что причины этой перемены лежат где-то глубоко, и не только не обиделся, но даже и не огорчился, а как-то порадовался за его болезненным усилием воли проводимое одиночество. Я не ошибся. Он виделся с женой, его объяснения ее удовлетворили и показались достаточными и благородными. Она мне их не передала, связанная словом. Но этот крупный духовный подъем у Петровского, заставляющий его сторониться меня, совпадает с внешней стороны, объективно по смыслу и по времени с некоторой атмосферой холода и отчуждения, которые я тут застал. Говоря относительно, — она заслужена мной, я давно уже ничего особенного не писал и притязать на ровное и постоянное внимание не вправе. Вы, конечно, понимаете, что говорю я не о мнениях, комплиментах, оценках или баллах. Но я даже готов допустить, что и на чувство дружбы я претендовать не вправе, если ее не поддерживаю постоянно и непрестанно, так, как это нашему брату подобает. Замечательно, насколько противоположны тут действительные и субъективные причины. Мне ясны те и другие и ясно их различие. Все это меня печалит лишь в том смысле, что целиком доходит до меня, и темные эффекты жизнью, таким образом, даром на меня не

тратятся: я их воспринимаю. При всем том мне нравится категорическая серьезность теперешней моей участи. Это положение меня от многого замкнет и от еще большего освободит. Матерьяльно, думается, мне удастся прожить довольно сносно. Здесь поставили «Алхимика»⁴ в моем переводе, и Госиздат Украины собирается его издать. Никогда еще я не смотрел вперед с таким бодрым удовлетвореньем. Пишите, что у Вас делается. Засушили ли столяра? Еще раз большое спасибо за помощь в Петербурге. Крепко жму Вашу руку. Привет Надежде Яковлевне.

Ваш *Б. Пастернак.*

77. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

〈Конец сентября 1924〉, Москва

Дорогая Олюшка!

Не думай, что я о твоих делах забыл. Я с первого же дня стал наводить нужные справки, но пока ничего, на мой собственный взгляд, стоящего упоминанья не узнал. Твои предначертанья я исчерпал на третий же день по приезде. Председатель Цекубу¹ не Покровский, а Лавров, лицо мне неизвестное и совершенно для тебя непригодное, т. к., судя уже по тому, где и по каким делам он принимает, он в ученых, а тем более специально филологических, вопросах совсем некомпетентен. Мне сказали, что принимает он в учреждении, ведающем муниципальным и национализированным имуществом г. Москвы, т. е. это больше касается местных передряг по квартирным делам, нежели твоего дела. Но я ведь взялся не только тебя слушаться и по твоей записке жить, вот отчего и предпочел бы ничего тебе пока не писать. Если я еще не посылаю тебе телеграммы о выезде, то только оттого, что сейчас почти все нужные люди в отпуску. Я говорил с Женей о том, что всего лучше было бы тебе сейчас уже к нам приехать, потому что походя, при разговорах и упоминаньях ты возбуждаешь тут большой интерес, а вообще говоря среда моих частных знакомств непосредственно и постепенно переходит в ту, которую составляют люди с полномочьями и влияньем. Жена меня разбранила, говоря, что, как ты тут во всякое время и на любой срок желанна, должно быть известно и маме и тебе и что не в этом дело, а в том, что ты с тетей

Асей без экстренных оснований разлучаться не согласна. Если дело действительно так обстоит, то это очень жалко. Если же ты могла бы отлучиться недели на две, то я был бы на седьмом небе от счастья и стал бы тебя звать уже и сейчас. Между прочим, твое недовольство Кубу разрешимо по установленной форме. Можно протестовать о дисквалификации. Заявление о повышении квалификации подается в местное Кубу (значит Лен-Кубу) с приложением отзыва двух членов Кубу по данной специальности не ниже 4-й категории. Но мне хочется для тебя совсем другого, и хотя я ясно не представляю, чего именно, но продолжаю действовать в принятом направлении, в котором и надеюсь достигнуть обязательно чего-нибудь радостного, конкретного и по размерам вполне тобой заслуженного. На днях напишу тебе еще и о том, как мы приехали. Все в наилучшем порядке. Крепко тебя и тетю Асю целую.

Твой Боря.

Женя будет на меня сердиться, что отправляю письмо без нее и ее приписки. Но это и не письмо вовсе, и пишу я второпях. Поговорим по-человечески в следующем. Но ты знай, что каждый день занят чем-нибудь и из твоих дел.

78. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

28 сентября 1924, Москва

28.IX.1924

Дорогая Оля!

Как сильно и выразительно ты пишешь! Не бывши там, я с твоих слов все увидел и пережил и потрясся! ¹ Странное совпадение. Точно столетний юбилей того наводнения, что легло в основу Медного всадника. И это совпало со столетием ссылки в Михайловское.

А тут — бабье лето, по зною и духоте не уступающее настоящему. И сквозь пыль, летящие бумажки, серые бульвары, вновь поехал в полные зною, сору и бестолочи комиссарьяты — твоя правда — во главе экспертной комиссии — Покровский. Но ты очень заблуждаешься, если думаешь, что это что-нибудь для тебя значит. По каким дням принимает? — Никогда и никого не принимает. — ?? — А по какому делу. — Излагаю, приблизи-

тельно, с дозволенной степенью приближенья. — Подать заявленье в местное Кубу. Если речь идет о Ленинградском, то тем паче: оно обладает и компетенцией высокой и полномочьями, равносильными Цекубу — это все провинциальное отделение. — Да я не про то, да вы послушайте и т. д., и т. д. Посоветуйте Вашим знакомым написать в экспертную комиссию сюда, если, как видно из Ваших слов, это дело исключительное; тогда, в меру исключительности, оно, быть может, дойдет до Мих. Ник-ча. Мы рассмотрим.

К чему я пишу это тебе? К тому, чтобы ты не упорствовала на своем отношении к этому делу, вернее, на одной детали своих планов или предположений. Чтобы ты знала, что такого порядка, который готов и тебя ждет и эмбрионально заключает возможность разрешенья твоего дела, — нет.

В моих расплывчатых и, может быть, требующих недели времени и твоего присутствия представлениях гораздо больше опыта, знанья обстановки и чутья, чем ты думаешь. Приезжайте вдвоем с тетей Асей! Ну чем это невозможно или трудно! У вас будет отдельная комната. Мы будем действовать с тобой вовсю. Представь, я мог бы ворваться к Покровскому. Но этот прорыв имел бы смысл только с тобой. Когда ты будешь тут, мы этого, мы и многого другого добьемся.

Вот мы хотим тут все порядки Кубу вверх ногами поставить, а для твоей поездки, что, объективно рассуждая, гораздо легче, требуется повод, зацепка, основанье, вызов. Но ради Бога, выезжай без вызова, — завтра, послезавтра. Стань на ту точку зренья, что ты отправляешься пожить у нас и познакомиться с той частью Москвы, с которой тебе познакомиться будет полезно. Твой взгляд на очную ставку, на красноречивость внезапного визита вполне правилен. Но тут-то ты только или я с тобой и увидим, кому и когда и какие визиты надо нанести, т. е., иными словами, почвы щупать тут не приходится, все готово, и я бы даже мог соврать тебе с преспокойным видом: Покровский, дескать, принимает по средам от двух до трех, — и в среду утром на Волхонке 14, кв. 9 (вход со двора, трамвай 34), обман бы этот обнаружился, а в пятницу вечером мы бы пошли к Луначарскому или не к Луначарскому, потому что до пятницы мы еще бы кого-нибудь увидали, и у того бы блеснула гениальная мысль, и этот «тот» бы, конечно, был, во всяком случае, коммунистом, сведущим, знающим

и пр. и пр. Это построенье тем естественнее вырастает передо мной, что ты мне всячески запретила идти путем ходатайств и просьб за человека, с целью улучшения той или иной его участи. Что речь идет о деле, говорящем за себя, и о человеке, ни о чем другом говорить не желающем.

Вначале ведь и тебе это все представлялось в таком свете. Ты помнишь, как говорила о том, что впоследствии за пятнадцатым сентября. Потом изменилось. Да кстати, если на этот вопрос ты мне не ответишь уже устно, с глазу на глаз, — скажи, напиши, что нового у тебя с диссертацией? Вернулся ли Марр? ² Когда ты будешь защищать ее? Или все осталось в той формулировке, за какой мы с тобою расстались? Если Покровский — виденье Жанны д'Арк, то ему, конечно, надо довериться. Я в навязчивость таких представлений верю, и сам многим их силе обязан. Как странно, что ты еще не тут! Какая глупая переписка! Но отпуск ты должна взять минимум недельный. А что б тебе тетю Асю уговорить? — Но какие вы малoverы! Это мы-то забыли вас?! Итак, — Б. Конюшенная, второй или третий дом по левой с Невского стороне, городская касса Октябрьской жел. дор., 2-й этаж, окошко, кажется, 21, плацкарту на *спальное* жесткое место до Москвы в *ускоренном*. В Москве, конечно, остановка трамвая 34, несколько левее выхода вокзального, против смежного с Николаевским, Ярославского вокзала.

Против ваших, в особенности тетиных, ожиданий въехали мы в квартиру, олицетворявшую чистоту, порядок, внутренний мир и тишину, и сделано это было как раз руками соседей, и никаких у них нет бород, ничем у них не пахнет, и все это было, когда еще чистая сволочность нашей породы не знала никаких смесей и мерила были непоколеблены. Теперь же, на мой грешный и еще немного сволочной глаз, наша квартира Лицей, Στοα λοικυλη *, пропилен в сравнении с Ямской. Здесь ждал меня сюрприз, в форме случайной и неожиданной, обостренной предшествующим контрастом.

Когда с остатком от проданной медали в кармане ³, с договором с Ленгизом на книжку прозы, для которой я должен написать новый рассказ (и тогда окупится все старое), которого я не напишу, потому что перестал понимать, что значит писать, когда с этими отрадными

* цветной портик в Афинах (греч.).

вещами и ощущениями в левом боку я подсакивал на телеге с десятью местами багажа и глядел на Москву, словно ветром вытащенную в сентябрь из мукомольного амбара — смертельно жаркую и серо-белую, всю в глицериновых каплях мух и пота, я, собственно, не понимал, зачем я тут и что все это значит. В сумерки мучной характер миража сменился мышинным, измученность взяла над нами верх, мы впали в стадию святости и легкой походки, какая бывает после бессонницы. Естественно, что с этим Тютчевским «изнеможением в кости»⁴, толкнувшись к друзьям и знакомым, среди которых много всякого такого от «юного племени», я пооткрывал, что дело дрянь — кто поохладел, а кто и вовсе врагом стал, — знаешь ты это ощущение, когда вдруг кажется, что начатая глава кончилась и, словно без тебя, в твое отсутствие ее дочитали, и надо новую начать, тебе надо, и будет ли — так вот, в таких духах я встретил первый вечер. И всегда я теперь боюсь Сашкиной нумизматики. Что твой упадок тебе вычеканят с полной художественностью, и твою грусть поймет лучше всех и разделит (на себе ощутив) твой кошелек. Надо ли говорить, что я тут разумею то, как флюиды отражаются на бюджете? И твое *душевное* состояние станет *физической* действительностью для двух ни в чем не повинных Евгениев.

Прескверная и неотвратимая метаморфоза.— На другой день утром по телефону я узнал, что вещь, о которой я давным-давно и думать позабыл, перевод пятиэтажной, сорокаведерной, во сто лошадиных сил, похожей по объему на оба дома на Троицкой, комедии Бен Джонсона (171 стр. в лист ремингтонного шрифта) принята к изданию в Украинск. Госиздате (Харьков)⁵. Это несколько освежило нумизматические центры. Я отправился *sur le champ* * в представительство Издательства. Сходя с трамвая, я инстинктивно взялся за голову. С афишного столба на меня глядел «Алхимик», выведенный аршинными буквами. Он же смеялся надо мной с заборов. Я подошел к столбу, откашливаясь, в убеждение, что где-то кто-то ставит комедию, о которой я сейчас бегу договариваться через три дома налево, конечно, как бывает, как *должно* быть, *не в моем* переводе. Но как очистились и освежили упомянутые центры, когда рядом с именем режиссера я увидел свое! Замечательно.

* тотчас (фр.).

что эти факты ни в какой связи между собой не находятся, ничего общего между постановкой и печатаньем нет, и друг о друге они даже и не знают. Я готов поспорить, что это совпадение, что эту чепуху породила за ночь моя беспросветная неутешность, и я сделал большую ошибку, успокоившись после афиши. Не расстанься с пессимизмом я и тут, я убежден, душевный мрак стал бы порождать случай за случаем, подобные названным, и, может быть, за исчерпанностью форм применения, «Алхимика» стали бы в этот день пить, курить, употреблять в качестве шин для автомобилей, ставить в кино, применять в политике и в виде почтовых и гербовых марок. Но я поторопился успокоиться.

Когда по многим личным основаниям, в связи со справками для тебя, с особенною же легкостью на генеральной репетиции, ко мне вернулось утраченное сернистое настроение, оно уже оказалось стерильным и неплодным. «Алхимика» не только не разыгрывают в лотерею, не только не шпигуют им гусей, но и ставить-то, вероятно, его, будут недолго, и, во всяком случае, с убывающей частотой: он поразительно скучен и глуп на сцене, несмотря на то, что режиссер сделал из него фарс, и фарс этот актеры играют совсем недурно. Вероятно, виноват бедный Бен. Перевод мой хорош. По моему крайнему разуменью, все, что мог, сделал и режиссер. Но вещь не сценична. Это та форма домольеровской комедии, все движение которой сводится к последовательной экспозиции характеров и фигур. С этой стороны вещь, и особенно в чтенье, обладает крепостью своего рода. Но я, кажется, забываю, что пишу письмо, и может случиться, что предисловье к изданию начну словами «Дорогие тетя Ася и Оля! Часто ли к вам ходит Юлиус?»⁶ Бен Джонсон, современник, приятель и литературный антипод Шекспира и т. д., и т. д.».

Приезжай, Оля, вот все, что можно сказать, приезжай, и думаю, мы об этом не пожалеем. Свиданья с Покровским, я думаю, мы добьемся, в особенности при твоём убеждении, что это правильный путь и что «войти» к нему ты сумеешь. Во всяком случае, я твоего дела не оставляю и, если у тебя еще нет билета на поезд, напишу на днях. Ты же в свою очередь извести меня о состоянии своей диссертации и не раздражайся, если что в моем письме тебе покажется недостаточно живым и порыви-

стым. Я пишу в конце дурацкого дня, немножко устал и вообще — писать не умею.

Дорогая тетя Ася! Спасибо за золотые строки! Все мы крепко обнимаем вас обеих и любим.

Ваш Боря.

79. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

6 октября 1924, Москва

6.X.1924

Дорогая Олюшка!

Что же ты не едешь? Каждое утро около 11-ти мы ждем, вот постучатся, откроем, и ты войдешь. Прием у Луначарского тебе обеспечен, к Покровскому не советуется человек, очень близкий Луначарскому. Кроме того, узнал, что ваш Кристи¹ большой друг Луначарского. Ты, во всяком случае, письмо от него к кому бы то ни было из них получишь. Итак, приезжай не откладывая. Женя и то меня бранит, что все тебя нет, словно я виноват. Не мешало бы тебе захватить рекомендательное письмо (или осведомляющее) от акад. Марра: ты не становись на дыбы и выслушай. Дело в том, что я эту публику знаю и знаю, насколько *привыкли* они к чудесам во всемирном масштабе; только этим они и занимаются ведь все семь лет; вот почему им и примелькалась исключительность как разряд, они верят тебе и не верят. Тебе кажется, что самого указания на факт *докторской* диссертации достаточно, чтобы сделать из этого должный вывод. Они могут не желать *этот* вывод делать по своей воле, и ради экономии энергии было бы неплохо, если бы этот вывод о значительности твоей работы делался ими под давлением чьего-нибудь компетентного суждения или, во всяком случае, стимул для вывода исходил не от нас, для того, чтобы с тем большей свежестью мы могли добиваться всех остальных практических заключений. Кроме того, обязательно захвати с собой работу. Ведь ее надо издать. Легко может стать, что здесь зайдет об этом речь. Требование это совсем очевидное и не нуждается в объяснении. Есть ли у тебя «Золотая ветвь» Фрезера? Если есть, привези ее обязательно и «Козла»². Я не пишу тебе ни о Госиздате, ни о Кубу, надеясь на твой скорый приезд, которому помешать может одна лишь защита диссертации. Не сердись за про-

медленье в переписке: не привожу причин. Ты приедешь и сама увидишь, как я живу и как у меня проходит день. Целую тебя. До скорого свиданья.

Твой *Боря*.

Дорогая тетя Ася! Что же Вы не гоните Оли в Москву? Если в ее академической судьбе не приключилось какой-нибудь отрадной новости, которая ее привязывает к городу, то ей давно следовало бы быть здесь. Перед ее поездкой взгляните здраво и объективно на то, что ей в первую голову хочется добиться, и логика, чутье и знание жизни подскажут Вам, как ей следует ехать. Являться, например, без работы или сведений о ней — значит продешевлять или ронять себя. Но ведь разговаривать с Вами разумно — значит быть заподозренным в холоде или измене. Ну, Бог вам судья. По счастью, Оле достаточно приехать сюда, как и с чем угодно.

Итак, мы ждем ее. Комната ей давно готова. Крепко Вас обнимаю.

Ваш *Боря*.

Крепко целую тетю Асю,
Олечка, приезжайте поскорее. *Женя*.

80. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

11—13 октября 1924, Москва

11.X.24

Дорогая Олечка!

Что же это все значит? Здоровы ли ты и тетя? Прошу тебя, ответь поскорее.

13.X.1924

Я, собственно, не знал, что дальше писать, и это должно было бы скорее служить текстом телеграммы или во всяком случае и всего прежде — почтового перевода. Я очень хорошо и скоро понял, что мерзко с моей стороны слать тебе письма с запросами, и увидал, у какого почтового окошка место мое в этой переписке о переезде¹. Это фатально, что до сих пор я перед это окошко встать не волен. Сегодня пришло твое письмо, которое, несмотря на свою высокую содержательность и насыщенность сюрпризами, ни в какой мере не было для меня

неожиданностью. Из него я вывел заключение, что через неделю-другую ты заявишься к нам, — таков смысл приписки, с другой же стороны, и у меня за эти полторы недели, быть может, несколько прояснится горизонт. Мне больше ничего прибавлять не хочется, желаю тебе от всей души полного и заслуженного успеха. Побывать в Москве тебе обязательно надо, и, судя по твоим заключительным словам, это не за горами. Назначенье настоящей записки сказать тебе, что твое письмо во всем и по всем статьям дошло по принадлежности. В самом непродолжительном времени я, может быть, сообщу тебе что-нибудь более <...> * и отрадное. Ты и сама не знаешь, какая счастливая случайность, что ты мне написала это письмо, и так написала. Знаменательный по исчерпывающей отчетливости и определительности документ. Его значенье еще как-то или в чем-то скажется. Итак, до скорого свиданья, до ближайшего отчетного (с моей стороны) письма, где будет уже дело, а не чувствительная словесность.

При всей скромности наших трудов и дней нам, однако, не на что жаловаться. Мы здоровы и благополучны, хотя призрак всевозможных болезней похаживает вокруг да около, в непосредственной близости от мальчика. Не посчастливилось той комнате, которую я в этом году поступил в пользу молодого поколения. Несколько дней в ней лежала прислуга соседей, больная брюшным тифом. Ее сменило трое вселенных студентов, из которых один похож на водолаза, так как у этого Митрофанушки голова сплошь обмотана полотенцами и лицо скрыто марлей — у него экзема по всему бытию. А комната эта, уставленная теперь койками и благоухающая смесью естественнейших запахов с махоркою и карболовой кислотой, — проходная на пути в кухню, к воде и пр. и смежная с мальчиковой. Вчера, хлопоча за одного невинно сосланного мальчика ², попал в Кремле в квартиру, где дифтерит. Однако, как говорили в старину, Бог милует и проносит. Мальчик охрип, ежедневно на все лады выводя «тотя Уоля». По странности, у него образовалась прочная ассоциация: 1) тети Асиной фотографии у нас на стене, 2) яблока и 3) слов тудль дудль. Мальчик совсем уже вырос.

Крепко тебя и тетю целую.

Твой Боря.

* Край листа оборван.

24 октября 1924, Москва

24.X.24.

Дорогой Осип Эмилиевич!

У меня к Вам большая просьба. Не откажите тотчас по получении письма сообщить мне адрес А. И. Пиотровского¹. Он у меня записан: ул. Красных Зорь, д. 12, кв. 11а, Ленинград. Между тем он оказывается неправильным, я ему послал несколько писем и не получил на них ответа, с месяц же назад отправил посылку с тремя драматическими переводами и сейчас получил повестку почтамта о ненахождении адресата. Может быть, превратность моих сведений так велика, что я называю неправильно Адрианом Ивановичем Пиотровским молодого режиссера с правильными и приятными чертами лица, с которым Вы меня познакомили в Ленгизе? В таком случае исправьте и эту мою ошибку и вместе с адресом сообщите имя его и отчество и правильную орфографию его фамилии. Я часто читал про А. Пиотровского и думал, что это он. Если можете, то не задержите ответом, так как по смыслу повестки посылку можно еще передоправить, если успеть вовремя. По приезде сюда я писал Вам. Получили ли Вы то мое письмо? О смерти Брюсова Вы, конечно, знаете и читали о похоронах и речах². Сегодня получил письмо от Ходасевича из Сорренто, занимают они там с Горьким и еще кое с кем вчетвером большой дом, наслаждаются одиночеством, работают и нам сочувствуют.

Горький, слава Богу, поправился. Как Вам и Надежде Яковлевне живется? Закончили ли Вы свою прозу? Я чувствую себя неплохо и хорошо настроен, хотя муниципальное дыхание города по временам слишком учащается и то нас выселяют, то предоставляют льготы. Пишу Вам в стадии выселительной. Торопитесь же мне ответить на Волхонку, а то через две недели я буду, может быть, путешествовать по воздуху в качестве трамвайного трабанта. У Вас чудесное стихотворение в «России», о статье же мы с Вами за завтраком говорили³. Обнимаю Вас. Сердечный привет Надежде Яковлевне. Жена, с соответствующими перемещеньями, присоединяется.

Ваш Б. Пастернак.

Адрес мой: Москва, Волхонка, 14, кв. 9 — мне.

31 октября 1924, Москва

31/X 24

Дорогая Жоничка!

Спасибо за нежное письмо. Не относись только с превеликой восторженностью к тому, что я пишу. Когда нам с Женей бывает особенно трудно, я с чувством большого облегченья думаю о вас обоих. Меня не перестает радовать то, что Шура пристроился и, кажется, с успехом работает и зарабатывает. Потому что если бы вам было скверно или продолжало быть плохо Шуре, это было бы несравненно хуже, чем когда бывает что-нибудь подобное со мной. В моей жизни бывают только невыносимы нелепейшие и совсем неожиданные шлагбаумы, которые обыкновенно опускаются перед носом в моменты самого легкого и многообещающего разбега. Я пишу тебе как раз в таком полосатом пейзаже и ни словом не обмолвлюсь о нем. Когда пишешь о бедствии в бедственный период, то говоришь не о нем, а о своей удрученности, говорить же о чувстве — значит питать его: целый ряд чувств только лишь и разрастается по упоминанию или в выражении. Вот отчего любовь или некоторый род ее так декламационны. Когда я буду по ту сторону этого загражденья, я, может быть, вспомню о нем и расскажу. Если бы в моем случае все сводилось к тому, чтобы жить широко и много зарабатывать, этот вопрос был бы давно разрешен и всего менее нам с тобой пришлось бы переписываться издалека. Но я человек наименее свободный из нас четверых. Если даже, как в обиходе это называется: «я не знаю, чего хочу», то вот именно в данных кавычках мне этого знать не полагается во всю жизнь. Под несвободой я разумею несвободу от себя самого, несвободу предназначенья. И все-таки, все-таки все это утрясется и уладится, и, как мне всего больше бы хотелось, половину дня я буду ходить в ляжке большинства (это ничуть не тяжело и мне нравится и меня развлекает), половину же отдавать своему незнанию. По роду моей работы (я участвую в составлении библиографии по Ленину и взял на себя библиографию иностранную)¹ мне приходится читать целыми комплектами лучшие из журналов, выходящие на 3-х языках. Ты даже не представляешь себе, как их много. Там подчас попадаются любопытные вещи. Я врежу себе, на

них задерживаясь, т. к. я подражен сдельно и вырабатываю пропорционально количеству и скорости требуемых от меня находок. Любопытные же вещи лежат в стороне от требуемого. Так, сегодня я подумал о мамочке, прочитав в каком-то из №№ американского журнала *The Foghorn* воспоминанья Станиславского о Рубинштейне, где он очень живо и с большой любовью нарисован. Оказывается, Станиславский в молодости был одним из директоров Русск. Муз. Об-ва и по долгу службы встречал Рубинштейна на вокзале в его наезды из Петербурга в Москву (на симфонические). Станиславский вспоминает о двух *великих людях* — о Рубинштейне и Л. Толстом и очень хорошо передает содержание, заключающееся в этом понятии, трактовкой обеих фигур. Когда у тебя будут время и возможности, почитай непременно следующих авторов. Томаса Харди (Т. Hardy), *Джозефа Конрада* (величайшего современного английск. романиста), Джеймса Джойса (James Joyce) и Марселя Пруста. Я сужу об их достоинствах по переводам, неполным и отрывочным, и по тому, что о них говорится в журналах. Особенно интересны Конрад и Пруст². Я бы не писал тебе пока что, когда бы не задушевность твоего письма, требующая немедленного ответа. Если хочешь знать, и пусть тебе это не покажется пустой претензией, то грустнее всего мне потому, что я чувствую, до чего я нужен тебе, и Лиде, и Шуре, и родителям, и в особенности тебе, или скорее твоему изображенью, оставшемуся в Москве, или вашим следам, стертým с паркетов, или той форме *неполноты*, которую неизбежно приобрели вы, частью по зрелости лет и оторванности от детства, частью же потому, что, живя за границею, вы неглубоко в ней сидите. Словом, помимо служб, сколько бы я их не накапливал, постоянно остается какая-то сердечная должность и задолженность миру, который вы вправе забыть, если даже и знали его. Я еще не бросил мысли поспеть когда-нибудь на это нужнейшее дежурство, хотя совсем недавно, когда для меня стало установленным фактом, что я вновь за него берусь, все обстоятельства перевернулись и легли плашмя поперек этой естественнейшей и нужнейшей дороги. Не я один нахожусь тут в таком положении. Еще (и значительно) хуже Белому и Кузмину. В существе своем это не ново, и мне бы хотелось отделаться только от того, что есть нового в этой трудности. А этого не опишешь. Как-то осенью писал я Ходасевичу в Шотландию. Теперь он в Сорренто, живет с Горьким.

Опыт обоих подсказал им, что у меня недоговорено, и им легко было вообразить себе, над чем тут изнемогаешь. Чистосердечно повторяю, что это отнюдь не ново в России и она перестанет быть собою, когда станет замечать и выделять людей не с тем, чтобы медленно их потом удушать и мучить.

83. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

〈Начало ноября 1924〉, Москва

Дорогой Осип Эмилиевич!

Спасибо за письмо. Среды ждать недолго, часы прихода почтальона мне известны, буду три дня волноваться, как влюбленный. О «ревантологии» слышал, и сам подумал про Гервега ¹. В деньгах, в пристройке вещей нуждаюсь, как никогда, институт ² жидоморничает, второй месяц не платят, оплачивают скуднее, чем было обещано, и, как на беду, «продолженьем или, лучше: повтореньем себя» занялся, кажется, не на шутку.— Вчера у Асеева слышал чудесный анекдот о том, отчего наводнение случилось. Оказывается, Нева узнала, что ее собираются Розой Люксембург назвать, и из берегов полезла. Правда, хорошо? Но эта прелесть, верно, идет прямо от нее, из Ленинграда, и Вы, вероятно, эту шутку слышали.

Вы знаете, что с «Камнем» ³ я был знаком очень поверхностно? Да, да, конечно; — Вы должны были догадываться не раз об этом при встречах наших на основании Вашего знания меня и тех шероховатостей, которые *при этом знаньи* неизбежно становились промахами и пробелами в отношениях, требовавшими объяснения. И Вы его находили, не правда ли, — и догадывались. Когда-то очень давно, у кого-то в гостях, и не поручусь, что это не было у Амари ⁴, я прикасался к книжке физически, но так как это происходило в атмосфере, вкривь и вкось пронизанной воздушными прикосновеньями хозяев ко всем вещам, которых много еще было в те времена у них под руками, то естественно, что этот случай скорее составляет часть их домашней хроники, чем моих воспоминаний. После этого при всяком удобном поводе я искал книжки, но так, как всего ищу, — непростительно сонно и вполонину. Спрашивал и у Вас. Недавно, на этой неделе, мне посчастливилось ее достать. Милый

мой, я ничего не понимаю! Что хорошего нашли Вы во мне? Кто внушал и подсказывал Вам статьи вроде «Российских» или той, что в «Русском искусстве»⁵. На что Вы польстились? Да ведь мне в жизнь не написать книжки, подобной «Камню»! И как давно все это сделано, и сколько там, в тиши и без шума, понаоткрыто америк, которые потом продолжали открываться с большею живописностью только оттого, что сопровождалась плутанием у самой цели и провалами в Саргассовых морях, с плеском, бултыханьем и всеми прелестями водозлазных ощущений, всегда импонирующих, как паровозы и полисмены в фильмах.

Мне было бы совсем легко писать все это Вам, как и твердить кругом, если бы не одно обстоятельство, которое всегда отравляет мне такие восторги. Я не знаю отчего (это красной нитью проходит через мое прошлое, а последние годы только сплошь из нее и ткани), — но я ни разу в жизни не сделал ничего из того, что хотел или считал должным, приятным или полезным. Вся она составила из кусочков, подбиравшихся помимо воли и мимо чаяний и главных устремлений. Ее целостность — явочного порядка. Слитность памяти явилась сама собой. Ведь даже кусочки свинца обладают силою сцепленья. Конфузы, неожиданности, несчастные и счастливые случайности стали элементами какой-то одной судьбы или деятельности только оттого, что легли рядом и слежались.

Письмо лежало целую неделю. Причине не поверите.

84. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

2 ноября 1924, Москва

2.XI.1924

Дорогая Олечка!

Что у тебя нового и как вам живется? Последний вопрос очень меня тревожит. Как твоя диссертация. Хотя, кажется, и не полагалось мне писать до твоего циркуляра, но вовсе не из повиновения тебе я был все это время так молчалив. Я и сейчас не прервал бы молчанья, когда бы не беспокойство за вас и желанье узнать, как твои дела. Писать же — значит писать о себе. Всего менее я стал бы делать это сейчас. Опять это не та жизнь,

которую я себе наметил. А все началось так чудесно. Я нашел работу, которую не назову службой только оттого, что она — сдельная и я не включен в штаты. Во всем же остальном это самая настоящая должность. В своем роде она даже приятна. Я получил работу по составлению библиографии по Ленину и взял на себя иностранную часть. Для этого хожу в библиотеку Наркоминдела, где получается большинство иностранных журналов, и тону в них и захлебываюсь статьями, рецензиями и публикациями с десяти до четырех. Того, что от меня требуется, всего в них меньше. Но мимоходом просматриваю множество интереснейших вещей, по отношению к которым «Современный Запад»¹ с Прустом и Сати лишь отраженье в малой капле. Так было с месяцем назад, когда я соразмерил все потребности жизни и свои собственные чайня с величиной этого заработка, с размером остающегося досуга и со сделанными долгами, с двумя договорами, по которым я должен был получить деньги из Харькова и Петербурга, и очень порадовался возможностям и вероятьям, представившимся мне при том. Я тут же раскрыл Гамлета и принялся за его перевод, — замысел, который у меня откладывался годами. О предположеньях оригинальных не хочу говорить, — их смутным ощущеньем всегда бываешь полон. Но тут это не было похоже нисколько на пассивное и темное колыханье непроверенной потенции. Нет, вновь, как когда-то очень давно, все это представлялось делом каждого дня, перспективой постоянных и регулярных, ежевечерних осуществлений. И вот, еще Горацио не успел усомниться в действительности появленья тени, как из Харькова, а вслед за тем и из Петербурга, пришли отказы от договоров, из которых один находился в стадии заключенья (на «Алхимика»), а другой, на прозу, был уже и подписан Ленгизом и мной, в мою бытность у вас — оставалось только рассказ один им дослать и деньги получить. Ты легко себе представишь, насколько тверды были мои расчеты на эти поступленья: что может быть надежнее аффирмированного договора — так было, по крайней мере, до сих пор. С «годовой росписи» скинули таким образом до 100 червонцев, в общей сложности. Ты сама догадаешься, что со дня полученья таких известий я и внешне изменился и из Наркоминдела стал приходить в 9-м часу, — хорошо еще, что там библиотекари сменяются и читальня с 10 до 8-ми открыта. Было бы прямо спасеньем, если бы принцип сдельности про-

водился на манер чистых математических пропорций. Но боюсь, что тут имеются абсолютные критические пределы, выше которых отработанного не исчисляют. Боюсь также, что критический этот предел просто совпадает с тем, что мне было предположительно предложено. Думаю, что больше ста двадцати рублей в месяц мне не отработать и при двойной работе. Но так как все равно дома после пяти я ни о чем, кроме как о вероломности случая, думать не в состоянии, то я предпочитаю забывать эти часы еженедельниками, трехмесячниками, ежегодниками и прочим. Вот как обстоит у меня дело, и когда я возвращаюсь домой, то «обои» Жени уже ложатся спать. Конечно, я все усилия приложу к тому, чтобы это положение изменить и дело поправить; да и хотя не хотя, все равно придется, библиографией мне и долга Фене (Жениной няне) не покрыть; я ей, не считая жалованья, должен 120 рублей.

Чтобы сразу с этой темой покончить, прибавлю, что жаловаться мне не на что. Я сам во всем виноват, на службу следовало уже поступить прошлую зиму. И еще скажу, что, несмотря на все «вышеописанное», я внутренне себя чувствую так хорошо, как уже давно не запомню. А теперь, таким образом, избавившись от ваших вопрошающих взглядов и их удовлетворив, кончу тем, с чего начал. Напиши про себя и про свою работу. Все, когда-то сказанное тебе о твоём приезде и прочем, остается в силе и в ней только еще приобрело. Никакого отношения моя информация до наших осенних планов не имеет. Чем грустнее мне, тем больше вероятия, что эта грусть при твоём появлении пройдет. Чем больше у меня причин возмущаться широтою госиздатовских телодвижений, с тем большим возмущением я брошусь в разговоры о тебе и за тебя. Засим, как писали, прощай. Крепко тебя и тетю целую.

85. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ¹

19 ноября 1924, Москва

Дорогая тетя Ася!

В закрытом письме я более подробно напишу о том, как папа меня упрашивал скрыть от Вас происхождение этих денег из боязни, что Вы его обидите и их не возьмете. Живое чувство подсказало мне его в этом отношении

не слушаться. Уже с месяц назад он поручил нам продать одну его картину, и только теперь это удалось сделать. Вырученная сумма в частях получила разнообразное назначение. Сто рублей он просил переслать Вам. Что у Вас и у Оли слышно? Скоро напишу. Целую. Ваш *Боря*.

86. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

20 ноября 1924, Москва

20.XI.1924

Дорогая Олечка!

Спасибо, что ты тотчас же написала мне. Я твое письмо прочел с большим волнением. Ты молодчина, что смотришь на все стряпееея как надо. Я легко, по личному опыту, представляю себе, с каким чувством ты думаешь о Марре и Франк-Каменецком¹. Но сколько тебе пришлось выстрадать в этот день! Мысленно сравнивая тебя с собою, я с радостью нахожу в тебе твердость и мужество, мне в такой форме и в такой степени несвойственные. Если я верил в тебя раньше, если картина диспута, в своей природе понятная и естественная, эту веру поддерживает и объективно подтверждает, то она особенно возрастает от того, как ты на этом позорище держалась и как судишь, вспоминаешь и пишешь о том. Завидная преданность своему назначенью и в своей непоколебимости — знаменательная и многообещающая. Так и почти всегда только так открываются поприща с большим будущим, — ты это не хуже меня знаешь, потому что читала, во всяком случае, больше моего. Вероятно, ты теперь отдохнешь и некоторое время никаких планов строить не будешь. Я хотел тебе предложить на это время приехать к нам. Если хочешь и тебе удобнее провести его дома с тетей, а приезд к нам связать с возобновлением этих планов, будь по-твоему. Мне очень тебя хотелось бы видеть, и ты знаешь, как я тебе буду рад. То же и о Жене. — Что касается меня, то я мало и редко бываю дома и томлюсь по воскресеньям, когда представлений не даю. Мне нравится мой быстрый, механизированный машинный день, свинченный из службы, из дел и занятий, связанных с ней, и из множества других хлопот, с ней не связанных, и касающийся до дома, до сношений с людьми, исполненья всяких просьб

и поручений и пр. Я как игру переживаю всю эту гонку и с увлечением, словно фигурируя в каком-то сочиненном романе, изображаю взрослого, вечно торопящегося, лаконического, забывчивого и скачущего из ведомства в ведомство, с трамвая на трамвай. Вот о чем я говорил тогда у вас, я вовсе не «слиянья» хотел, а именно этого. Я получаю 15 червонцев в месяц, если бы не долги, это было бы $\frac{3}{4}$ того, что нам нужно. В будущем, думаю, мне и работать удастся. Дай Бог, чтобы в этом отношении я не ошибся. А пока что должен сказать, я провожу день в непрерывных наслаждениях, ибо, повторяю, наполненность дня густою сетью несложных и стремительных пустяков меня чарует. Бездарная эта горячка все-таки больше похожа на бывалую горячку духа, которая сделала меня поэтом, нежели то вынужденное бездействие, в какое я впал в последние два-три года, когда узнал, что индивидуализм ересь, а идеализм запрещен. Но полно о чепухе такой речь заводить. Вчера я перевел вам по просьбе папы 10 червонцев. Он так пространно и сложно и наивно умолял меня Вам их переслать без обозначенья источника, что будет преступленьем с вашей стороны, если вы хоть чем-нибудь оправдаете его опасенья. Оля, золотая, прошу вас, не надо — примите.

Боря.

Напиши все-таки, когда думаешь к нам собраться. Крепко целуем тетю.

87. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

〈Середина декабря 1924〉, Москва

Дорогая Оля! Что ты наделала! Это уже шестое письмо тебе в ответ, — такие темы не по мне, — не могу, делай что хочешь. Разбирать, убеждать, доказывать? Какая чепуха. Все было ясно как день, обо всем было говорено больше трех месяцев, и вдруг оказывается, что дело не в тебе было и не в твоей работе, а просто ставился психологический опыт со мной¹. Ну и поздравляю. Только не стоило столько нервов на это тратить. Я бы подписался под любой твоей или тетиной аттестацией с самого начала, как в конце концов всегда и делал. Вы не можете жить без галереи мерзавцев, ну и чудес-

но, — коллекция пополнилась мною. Как это все тонко и похоже на правду. И для всего у тебя есть блестящие формулировки (вроде сопровожденья к деньгам). Были живые чувства, были живые планы, мы уже видели тебя приехавшею, я в каждом письме об этом писал, ты и сама знала и чувствовала, что за твоим приездом и за твоей работой все дело стало, но поездка откладывалась до диспута, наконец эта причина отпала и надо было либо приехать, либо в чем-то себе и другим честно сознаться, либо же, наконец, искать новых причин, чтобы не сделать простейшего и настоятельно-необходимого шага. И самым удобным тебе показалось искать их во мне, в каких-то моих недостатках, словно для исправности Николаевской жел. дороги и для надежных перспектив исключительного по качеству научного труда требуется наличие в Москве совершенного ангелоподобья. Да ты и успела бы еще разочароваться во мне, приехавши и осмотревшись. Вот этот пункт изумляет меня всего больше и доводит до отчаянья. При чем тут я и мои качества, когда ты ничего не желаешь делать и, по-видимому, весь наш летний разговор — сплошное недоразуменье. А если это так, то на что я тебе дался, и отчего *ты сама*, Оля, не остановишь мамы или сама не объяснишь Жене: что Вы, дескать, мало в это посвящены, а я понимаю, — Боре *ничего* вообще делать без меня и моего языка, и моих потребностей, и моего труда. Оля, Оля, как тебе не стыдно так играть правдой! Ведь вся эта история только (отчасти) ясна мне и — вполне — тебе. Жениной же маме, Жене самой и пр. можно говорить что угодно, это аудитория удобная¹. Я и этой потребности не понимаю. Я негодяй, пустослов, бахвал, мерзавец, — ты — естественная этому противоположность, все это я принимаю без спора; — но мне казалось, будто речь шла не об этих легких победах и поражениях и вообще — вне детской комнаты — моей или твоей, — отчего же это все вдруг настолько изменилось и отчего ты вовремя не объявила мне и другим, что переносишь дело в детскую? Так вот. Столь же живо, как живы эти мечты, должна ты была съездить к нам. С верою, с готовностью проездить зря, как ездит живой человек в твои годы. Вместо этого, как воск на огне, видоизменялись и таяли переговоры по поводу приезда. Ты словно торговалась со мной или с судьбой. Скажите на милость, иначе ты не можешь! А я, помню, *требовал* этого, *такого* приезда. При неоформленности (фатальной и объясни-

мой, как у всех, и у меня) твоих претензий и потребностей в настоящих условиях, надо было и поступать так, т. е. добиться всего неожиданно, мимоходом, за чаем, где не ожидали.— Ах, если этого не желать понимать, то к чему и объяснять! О чем говорить. В близкой связи со всем происшедшим, я могу только об одном. Что было задумано *живое* дело. Поездка твоя в Москву, в административный центр, где ты бы у нас жила, с нами бы, при желании, свои планы обсуждала и приводила в исполнение, где я бы тебе своими знакомствами помог (когда я дохожу до этого пункта, я не знаю, как выразиться: ты болезненно самолюбива). Отсюда: 1) Я выражаюсь бледно; тогда ты в этом усматриваешь слабую увлеченность тобой,— пустословие и пр. 2) Я выражаюсь отчетливее; тогда ты отстраняешь меня и указываешь точные границы: узнать часы приема у Покровского; ворвешься же ты сама. И врываешься. Ввиду того, что это намеренье еще не осуществилось, то его-то только и осталось осуществить. В этом отношении ничего не изменилось. *Только* в этом направлении я и вижу тебя и тетю, и способен думать с вами и на близкую вам тему. Вот отчего я и не отвечаю на твою выходку: это область ошибок, микробиотики, неприбранных комнат, маленьких драм и, словом, тот край, куда лучше не соваться,— тоска без форм, без сметы, вроде паутины,— тронуть,— не оберешься, не исчерпаешь. Так что все, что вне твоего приезда,— осталось за флагом. Плюнь на все, Олечка, и езжай. Мы с тобой надо всем этим посмеемся и так, в лучшем настроении, отправимся к Л(уначарскому). Без тебя я не пойду, так и знай. Такой уж я мерзавец. Чудно было бы, если бы приехала ты на Рождество, самое и для дела время. Глупо было, что ты деньги отослала², тебе приехать надо было на них, потом бы, при первом авансе от издательства, возвратила. Ты на мгновенье сильно упала в моих глазах, я подумал о том, как я бы поступил в твоём случае. Так карьеры не строят и путей не прокладывают. Езжай же, Оля, умоляю тебя, а то ничего из тебя не выйдет, если тебе до Москвы доехать такое дело мудреное.

Говорил о тебе с Марром и Ольденбургом. Когда приедешь, расскажу, что про тебя говорили.

Ах, тетя, тетя! И Вы все это видите и не защитите меня! Да гоните ее к нам, ей приехать надо, вот что. А папа прав был, я Вашу простоту и широкость переоценил.

31 января 1925, Москва

I

31.1.1925

Дорогой Осип Эмилиевич! Сейчас ко мне звонил Урчин¹ (Вы его знаете?) и передал от Шкловского, живущего с ним об стену, вести о Вас и от Вас и все Ваши поклоны. Так как я получил все это из третьих рук, то не знаю, с которых начались превосходные степени и были ли они в источнике. Я узнал, — если верить человеку бесхитростному и правдивому, каков Урчин, — я узнал, что Вы мне не отвечали, потому что чересчур меня любите, а не отвечали о том, имеются ли в Ленгизе возможности, оттого, что их слишком много. Факты в корне своем настолько радостные, что даже необыкновенная форма, в какой они сообщены, ничего к ним не прибавляет. Радоваться больше нельзя, и веселого положения не замечаешь. Теперь у меня две цели. Досадить Вам, чтобы Вы ко мне охладели и написали. Поостеречься Вам досаждать, чтобы Вы навели у себя требуемые справки и — и — и оставили их про себя, так, что ли? — я разлетелся, не предусмотрев, к чему меня приведут посылки. Нет, правда, давайте толком говорить и впредь о делах. «Прими к сведенью... отнесись серьезно и пр.», — говорит Урчин (мы с ним на «ты») о чем-то, что называет Вашими предложениями и чего ближе оформить не может (третьи руки). Я уже Вам писал, вероятно, что у меня есть несколько, скажем, три, капитальных ресурса, которые дожидаются капитальной реализации. Это: 1) Известные Вам «Темы и варьяции», книга стихов, вышедшая за границей и в России не издававшаяся. Я ее снабдил дополнениями, сильно ее отличающимися от заграничного издания и увеличивающими ее размер против него примерно на четверть. (Общей сложностью в 2000 строк.) 2) «Алхимик» — переводная комедия Бен Джонсона, размером больше 4000 строк (таков и подлинник), вещь очень густая по началу и слабеющая к концу, на тему, сближающую ее с современным антирелигиозным движением (одурачи-

ванье суеверов, насмешка над лжемудрием, кабалой, оккультизмом; галерея тунеядцев, тонущих под бременем собственной паразитарности и пр.). В двух первых актах и в нескольких сценах третьего — на редкость терпкое, реалистическое, во множестве подробностей воплощенное свидетельство эпохи. 3) «Принц Фридрих Гомбургский» Клейста. Вещь более известная, чем «Алхимик». Драма. 2400 строк. Видите, как я стараюсь, — на аттестации «Алхимика» даже легкий лекторский, доцентский налет. (Симпатичный голос, пенсне на сурке, вьющиеся каштановые волосы, задумчивость, телодвижения...)

Но как мне без смеха — в скобках: хороший смех! — просить Вас об ответе? А между тем как мне узнать, можно ли что-нибудь сделать, и если можно, то какую из рукописей слать Вам, а если не одну, то в каком количестве? Тут без переписки не обойтись. Вот и выходит, что она, не говоря о душе, даже и в делах — вещь необходимая. Положенье безнадежное. Еще вопрос. Ведь Ленгиз слился с Госиздатом. Через Питер ли надо, то есть, лучше сказать, можно ли, *довольно* ли действовать через Питер? Ионов ², кажется, тут. Мне почему-то кажется, что он меня не любит. Может быть, это оттого, что я часто слышал фразу: Ионов ненавидит А. Н. Тихонова ³. Она повторялась. Осталось: «Ионов ненавидит», вроде того, как «Маркс сказал». И я ее перенес на себя. Но точно я сон видел о его предубеждении против меня. Еще замечанье: «Темы и варьяции» могу послать только в случае окончательного решения издательства, наверняка. Когда у меня истоцилась возможность приобретать книжку и ее не стало в лавках, я принялся отбирать их у знакомых. Но и эта пропасть не бездонна.

Как же вам живется, — виноват, я все забываю, как Вы меня любите. Что Надежда Яковлевна? Вышла ли уже во «Времени» Ваша проза? ⁴ Очевидно, нет: Вы бы догадались прислать. Когда выйдет? Я живу чрезвычайно скромно, чтобы не сказать бедно. Чувствую себя, как никогда, хорошо. Спокойно, уверенно. Даже что-то стал мараить. Ей-богу, — и кажется, во что-то оформлю. Но совсем недавно, и знаете: раньше роса очи выест и прочее... Если заставит необходимость, то кусок помещу в «Современнике» ⁵, хотя страшно бы не хотелось, пока не увижу целого. Это возвращенье на старые поэтические рельсы поезда, сошедшего с рельс и шесть лет валившегося под откосом. Таковыми были для меня «Сест-

ра», «Люверс» и кое-что из «Тем». Я назвал и «Детство Люверс», то есть не сказал Вам, проза ли это или стихи. С начала января пишу урывками, исподволь. Трудно неимоверно. Все проржавлено, разбито, развинчено, на всем закаляневшие слои наносной бесчувственности, глухоты, насевшей рутины. Гадко. Но работа лежит далеко в стороне от дня, точь-в-точь как было в свое время с нашими первыми поползновеньями и счастливейшими работами. Помните? Вот в этом ее прелесть. Она напоминает забытое, оживают запасы сил, казавшиеся отжившими. Домысел чрезвычайности эпохи отпадает. Финальный стиль (конец века, конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит в берега, мелеет, мелеет и перестает действовать. Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся делом выбора и доброй воли. Кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают. Возьмешься продолжать, и не кончится. Преждевременно желать всему перечисленному конца. И я возвращаюсь к брошенному без продолженья. Но не как имя, не как литератор. Не как призванный по финальному разряду. Нет, как лицо штатское, естественное, счастливо-несчастное, таящееся, неизвестное. Если бы Вас обо мне спросили, ответ один — занимаюсь библиографией (по Ленину), как оно есть и в действительности. Трудно, заработок мизерный. Однако довольно, можно и чистую страничку оставить. Рассказывал ли Вам Шкловский про конференцию Лефа? ⁶ Если нет, то Вы много потеряли. Ничтожнее, забавнее и доказательнее зрелища я в жизни не видал. Я сидел гостем, в зрителях, и если бы не легкая обида за Маяковского и Асеева, то все бы прекрасно: я мирно, беззлобно торжествовал. Это демонстрировался вывод из ряда ложных долготных допущений. Это был абсурд в лицах, идиллический, пастушеский абсурд. Они только что не объявили искусством чистки медных дверных ручек, но уже Маяковский произнес целую речь о пользе мела, в чайные возможности такого провозглашенья. Я увидел их бедными, старыми, слабыми рыцарями, катящимися от униженья к униженью во славу своей неведомой и никому не нужной дамы. Крепко жму Вашу руку. Из того, что я пишу к Вам, не заключайте, что чувствую слабее, чем Вы. Привет супруге.

Любящий Вас *Б. Пастернак*.

14 мая 1925, Москва

Милый Николай Корнеевич!

У меня к Вам просьба. Окажите мне протекцию в Кубуч¹ с «Каруселью», если, на Ваш взгляд, она не слишком плоха и подходит для детей. Не откажите также, в случае положительном, написать, на какую сумму и в какой срок я могу рассчитывать. Передайте, пожалуйста, сердечный привет Корнею Ивановичу. Если бы я даже не видал Ваших стихов и не знал о Вас понаслышке, о том, что Вы в литераторы посвящены вполне, я бы заключил по одному признаку: Вы мне обещали прислать Вашу книжку (прозу для детей)² и, разумеется, как посвященный, слов не сдержали. Как поживаете? Жму Вашу руку.

Ваш Пастернак.

14/V 25

Москва

Волхонка, 14, кв. 9

Кажется, дрянь. Не стесняйтесь ругать!³

90. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

〈Май 1925〉, Москва

Милый мой мучитель!

Что ж это такое! Если у Вас нет мнения о Спекторском или Вы такого низкого, что не хотите меня огорчать, то ведь Вы бы могли написать мне о ревантологии и о деньгах. Как обстоит с этим дело?¹ Посланные отрывки всего бы лучше Вы уничтожили: я их во многих отношениях исправил. Вообще вещь уже не тайна. Я отдаю первую главу в печать. Целиком пойдет эта глава в «Круге» (6-й альманах), отрывок в «России», другие думаю пристроить у Вас в ленинградских журналах², попрошу Асеева, который собирается съездить, или же Тихонова.

Отчасти в этом опубликовании неотлежавшейся части еще отсутствующего целого виноваты и Вы. Небольшая ревантологическая поддержка, а тем более мо-

ральная в виде отклика или совета помогли бы мне продержаться еще тот недолгий срок, которого бы хватило, чтобы хоть набросать вторую главу. Еще бы лучше было, если бы Вы меня разобрали, как, по-видимому, в душе и сделали, оставив меня в совершенной неизвестности о своем осуждении. Я на Вас не сержусь, люблю, как всегда, в то, что ответите, не верю, целую руку Надежде Яковлевне и желаю ей доброго здоровья. Собирается ли она в Крым и когда?

Ваш *В. Пастернак*.

Р. С. Сейчас, правив ремингтонный список Спекторского, дал себе слово не видеть правды. Он скучен и водянист, но я буду сдерживаться, сколько будет возможности, а то вещи конец, а я ее хочу написать. Поэтому можете ругать ее последними словами: *мне это не повредит* и неожиданностью не явится. И рев'ы не перестали интересовать меня.

91. Н. С. ТИХОНОВУ

7 июня 1925, Москва

Дорогой Николай Семенович!

Извиненья и выраженья чувств до Вас, наверное, своевременно доходили через других людей. Удивительно, что я Вам не написал по ознакомлении с «Дорогой» у Асеева¹. Он ее прочел восхитительно, Вам так не прочесть. Потом я стал ждать выхода «Ковша» для дотошного ее разбора. С такой безоговорочностью мне у Вас нравилась одна «Брага». Наибольшее впечатление в слушанье на меня произвели: тигр, осетинская пастушка, перевал через хребет. В особенности последний эпизод. Теперь говорю по воспоминанью. Я хотел было взять рукопись, но потом рассудил, что надо ее повезти на дачу к Брикам. Теперь скоро ее увижу. Катаев видел «Ковш» сверстанным.

У нас снята дача под Москвой, а переехать все не удается, — холода и безденежье. Когда будете тут, обязательно к нам. Надо, справившись с расписанием по рубрике Немчиновка — Усово (Александровской железной дороги), взять билет на поезд, совпадающий с поездами этой ветки. Билеты на эту линию выдаются без очереди. Билет надо взять в Усово. Пересесть в Немчи-

новке. По приезде в Усово спросить, как пройти в Александровское. Переход через Москва-реку (вброд или кликнуть перевозчика). В Александровском спросить новый дом (избу) Шарова. Окраина деревни. Бурная встреча друзей.

Вышел ли отдельной книжкой Ваш «Вамбери»?² Я журнала не получаю и не читал. Его очень хвалят. Если вышел, пришлите.

Садофьев³ сказал, что большинство меня в Петербурге не принимает. В той форме, в какой он эту сентенцию высказал, это было некоторой новостью для меня, глубоко и до странности меня огорчившей. Врет? Врет?!

Вы всегда несправедливы к Маяковскому. Прав все-таки оказался я в своем к нему отношении. Он написал «Парижские стихи»⁴, бесподобные по былой свежести. Интересно, что Вы скажете насчет «Лисьей шубы» Казина, которую прочтете в «Красной нови»⁵.

Вы спрашивали, связным ли романом будет «Спекторский»? Да, надеюсь. Несвязного в нем пока лишь то, что в самый разгар работы над 2-ой главой мне пришлось все побросать и наспех омолоди... — виноват — оmlадеичитьcя. Впадать в детство мне придется, по всей вероятности, сплошь все лето. Таковы обстоятельства. Долгов у меня столько, что я скоро стану державой. Вы, конечно, догадались, что я говорю о вещах для Маршака и Чуковского⁶. Крепко Вас целую.

Ваш Б. Пастернак.

7.VI.25

92. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

16 августа 1925, Москва

16/VIII. 25.

Дорогой Осип Эмилиевич!

В свое время Вы, конечно, были правы, не отвечав мне ни на письма, ни на присылку прозы с моей глупой надписью¹. Вышла Ваша, и не дело было дожидаться книжки от Вас, это было с моей стороны просто бес-тактно. Теперь забудьте все и будем снова друзьями.

«Шум времени» доставил мне редкое, давно не испытанное наслаждение. Полный звук этой книжки, на-

шедшей счастливое выражение для многих неуловимостей, и многих таких, что совершенно изгладились из памяти, так приковывал к себе, нес так уверенно и хорошо, что любо было читать и перечитывать ее, где бы и в какой обстановке это ни случилось. Я ее перечел только что, переехав на дачу, в лесу, то есть в условиях, действующих убийственно и разоблачающе на всякое искусство, не в последней степени совершенное. Отчего Вы не пишете большого романа? Вам он уже удался. Надо его только написать. Что мое мнение не одиноко и не оригинально, я знаю по собственному опыту, то есть так же, как я, судят о вашей прозе и другие, между прочим Бобров. Ваш в этом отношении шире, и тем большим повтореньем слышанных похвал и благодарностей покажется Вам мой отзыв. Слышал, что Вы в Луге². Как здоровье Надежды Яковлевны?

Читали ли Вы «Города и годы»? Молодец Федин. Не правда ли? Мне за лето ничем путным позаняться не пришлось. Дернула меня нелегкая за детские стихи взяться³. Одно ничего, сошло, с другим случилась заминка, и поехало, неудача за неудачей. Я заметался вовсю, и один месяц у меня начисто впустую вышел, и весь в долг стал. Как-то среди этих метаний напал я на работу редакционную, бывшую для меня совершенной новостью. Вот заработок чистый и верный! Мне бы очень хотелось на зиму сделать редактуру основным и постоянным своим делом, не знаю, удастся ли. Вы бы хоть раз-то написали мне, что Вы и как, какие у Вас виды и намеренья, что делали или собираетесь делать. У меня было много планов к весне. Помните, я Вам писал еще тогда, что по-старому стал чувствовать и что вера в дело вернулась. И надо же было этой задержке с детской вещью случиться и на целый месяц меня выгнать из дому с глупой и озадаченной рожой в редакции, где такая мина никогда к добру не ведет и припоминается потом как цепь унижений. Ощущений, среди которых заваривался и уже не на шутку варился роман, как не бывало. Печально. Прощайте. Да скажите же, наконец, прямо, почему не пишете и чем я против Вас оплошал?

Ваш *Б. Пастернак*

25/III 26

25 марта 1926, Москва

Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно и я в нее верю, то можно бы молчать, предоставив все судьбе, такой головокружительно-незаслуженной, такой преданной. Но именно в этой мысли столько чувства к тебе. Если не все оно целиком, что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, так *вполне*, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на бок, подвешивало за ноги вниз головою * — я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным, мира, явленного тобой и мной. Мне не нравятся последние три слова. О мире дальше. Всего сразу не сказать. Тогда ты зачеркнешь и подставишь.

Что же я делаю, где ты меня увидишь висящим в воздухе вверх ногами?

Я четвертый вечер сую в пальто кусок мгlistо-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца². Попала ко мне случайно, ремингтонированная; без знаков препинания.

Но о чем речь, разве еще стол описывать, на котором лежала?

Ты мне напомнила о нашем Боге, обо мне самом, о детстве, о той моей струне, которая склоняла меня всегда смотреть на роман как на *учебник* (ты понимаешь чего) и на лирику как на *этимологию* чувства (если ты про учебник не поняла).

Верно, верно. Именно так, именно та нить, которая сучится действительностью; именно то, что человек всегда делает и никогда не *видит*. Так должны шевелиться *губы* человеческого *гения*, этой твари, вышедшей из себя. Так, именно так, как в ведущих частях этой

* Оттого-то я и проговариваюсь, и пишу. Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь, ты прямо с неба спущена ко мне; ты в пору последним крайностям души.

Ты моя и всегда была моею, и вся моя жизнь — тебе. (Примеч. В. Пастернака.)

поэмы. С каким волнением ее читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс подсказан.

«Преувеличенно — преувеличенно то есть», «Но в час, когда поезд подан — вручающий», «Коммерческими тайнами и бальным порошком», «Значит — не надо, значит — не надо», «Любовь это плоть и кровь», «Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас», «Расставание, расставаться?» — (Ты понимаешь, я этими фразами целые страницы обозначаю, так что: «Я не более, чем животное, кем-то раненное в живот», «Уже упомянуто шахматами».) Верно, пропустил, поэма лежит справа, взглянуть и проверить, но не хочу, тут живое, со слуха, что все эти дни при мне, как «мое с неба свалившееся счастье», «родная», «удивительная», «Марина» или любой другой безответный звук, какой, засуча рукава, ты из кучи можешь достать с моего дна.

А у людей так. После чтенья, моего, *такого* чтенья, — тишина, подчиненье, атмосфера, в которой и начинается это «купанье в бурю». Как же это делается? Иногда движеньем брови. Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно ты это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила. Потом, когда они перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положенья, бросить шепотом: «А? Каково! Какой человек большой!», чтобы сердце тут же занеряло, открытое в своей болтливости, и при всех проговорках законспирированное от них породю в раздвинутых тобою даях.

Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина!

Но о поэме больше ни слова, а то придется бросить тебя, бросить работу, бросить своих и, сев ко всем вам спиною, без конца писать об искусстве, об гениальности, о никем никогда по-настоящему не обсужденном откровении объективности, о даре тождественности с миром, потому что в самый центр всех этих высот бьет твой прицел, как всякое истинное творенье. Только небольшое замечание об одном выраженье. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон, что в своем одинаковом отщепенстве, начавшемся с малых лет, мы с тобой не по-одинаковому отталкивались от последовательно царивших штампов. Слова *артист* и *объективность* могли быть оставлены тобой в терминологии кругов, от которых ты бежала. Тогда ты в них только слышишь,

что они — Сивцево-Вражечьи, прокурены, облиты вином и оставлены навсегда за ненужностью на той или другой гостеприимной лестнице.

Я же их захватил с собой, и об артистизме ничего не скажу, тут если не мое богословье, то целый том, не поднять. А об объективности вот что. Этим термином я обозначаю неуловимое, волшебное, редкое и в высочайшей степени известное тебе чувство. Вот оно в двух словах. Ты же, читая, прикинь на себя, припомни свое, помоги мне.

Когда Пушкин сказал (ты знаешь это точнее, прости невежество и неточность): «а знаете, Татьяна моя собирается замуж», то в его времена это было, вероятно, новым, свежим выраженьем этого чувства.

Захватывающая парадоксальность ощущения была гениально скопирована высказанным парадоксом. Но именно этот-то парадокс и прокурен и облит вином на Сивцевом Вражке и издолблен в лепешку по гимназиям.

Может быть, только оттого парадоксальность объективности перевернулась в наши (мои и твои) дни на другой бок.

Он менее парадоксален. Для выраженья того чувства, о котором я говорю, Пушкин должен был бы сказать не о Татьяне, а о поэме: знаете, я читал Онегина, как читал когда-то Байрона. Я не представляю себе, кто ее написал. *Как поэт он выше меня.*

Субъективно то, что только *написано* тобой. Объективно то, что (из твоего) *читается* тобою или правится в гранках, как написанное *чем-то* большим, чем ты. Знаешь ты это, знаешь?

Все равно, я знаю это о тебе.

И опять больше, меньше — тут не чины, не в этом моя объективность. Не в этом ее жалостная, роковая, убийная радостность. А в незаслуженном даренье. Все упомянутое и занесенное, дорогое и памятное стоит как поставили и самоуправничает в жизненности, как его парадоксальная Татьяна,— но тут нельзя останавливаться и надо прибавить: *и ты вечно со всем этим*, там, среди этого всего, в этом Пражском притоне или на мосту, с которого бросаются матери с незаконнорожденными, и в их именно час. И этим именно ты больше себя: что ты там, в произведении, а не в авторстве.

Потому что твоим гощеньем в произведении эмпирика поставлена на голову. Дни идут и не уходят и не сменяются. Ты одновременно в разных местах.

Вечный этот мир весь начисто мгновенен (как в жизни только молния). Следовательно, его можно любить постоянно, как в жизни только — мгновенно. Нет признака, которого бы я не желал вложить в термин: откровенье объективности.

Прямо не постижимо, до чего ты большой поэт!

Болезненно близко и преждевременно подступило к горлу то, что будет у нас, и, кажется, скоро, потому что этим воздухом я дышу уже и сейчас. *Mein grösstes Leben lebe ich mit dir* *. Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованьем, и уже и сейчас, поведив по своей жизни и рассказав про ее основанья, крылья, перистили и пр., показать тебе, где в ней начинаешься ты (очень рано, в шестилетнем возрасте!), где исчезаешь, возобновляешься (Мариной Цветаевой Верст), напоминаешь собственное основанье, насильно теснишься мною назад и вдруг, с соответствующими неожиданностями в других частях (*об этом в другом, следующем письме*) начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основанье и обещаешь завершить собою все, объявив — шестилетнюю странность лицом целого, душой зданья. Ты моя безусловность, ты, с головы до ног горячий, воплощенный замысел, как и я, ты — невероятная награда мне за рожденье и блужданья, и веру в Бога и обиды.

«Сестра моя жизнь» была посвящена женщине. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. *Она вышла за другого*. Вьюном можно было продолжить: впоследствии я тоже женился на другой. Но я говорю с тобой. Ты знаешь, что жизнь, какая бы она ни была, всегда благороднее и выше таких либреттных формулировок. Стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне. Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему!

Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер. Когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то, и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружия. Поэтому в сценах — громкая роль отдана

* Своей высшей жизнью я живу с тобой (нем.).

ей, я уступаю, жертвую, — *лицемерю* (!!), как по-либреттному чувствует и говорит она.

Но об этом ни слова больше. Ни тебе, ни кому другому. Забота об этой жизни, мне кажется, *привита* той судьбе, которая дала тебя мне. Тут колошмати не будет, даже либреттной.

Мои следующие письма будут скучны тебе, если ты не со мной сейчас и не знаешь, кто с кем и почему так переписывается. О Rilke, куске нашей жизни, о человеке, приглашающем нас с тобой в Альпы будущим летом, — потом, в другом письме.

А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть. Ведь это не ново, ведь это сказано уже где-то в письмах у меня к тебе, летом 24-го года, или, может быть, весной, и, может быть, уже и в 22—23-м. Зачем ты сказала мне, что я как все? Ты ломилась? Зачем ты так заносишься в унижение? И унижение нарочитое, и заноситься не надо. Ты ломилась? Ты правда так думаешь? А я как раз в фатальных тонах все это воспринимаю *оттого только*, что такого счастья руками не сделать и вломом не достать. Ну куда б я мог вломиться, чтобы сделать тебя? Чтобы вызвать тебя на свет в один час со мною? Руки твои и свои я знаю, хорошие руки, но и воспоминанья стоят предо мной, и воображаются твои. Сколько сделано людей, сколько в отрочестве объявлено гениев, доверенных, друзей, единственных, сколько мистерий!

Отчего их так много? Не оттого ли, что по детской глупости *работалось* постоянно одно, то именно «ты», которое оказалось налицо, и это одно поролось за работой, за гнилостью нитки, за гнилостью затеи. И вот вдруг ты, не созданная мною, врожденно тыкаемая каждым вздрогом, — преувеличенно, то есть // Во весь рост.

Что ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. А я, говоришь, как все? Значит, ты создала меня, как их? Тогда за что ты не бросаешь меня и столько всего мне спускаешь? Нет, ты тоже не создавала меня и знаешь, насколько я твой.

Всю жизнь я быть хотел, как все.
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Это из «Высокой болезни», которую я, за вычетом этого четверостишья, терпеть не могу.

Как удивительно, что ты — женщина. При твоём таланте это ведь такая случайность! И вот, за возможность жить при Debordes-Valmore³ (какие редкие шансы в лотерее!) — возможность — при тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье. Если ты ещё не слышишь, что об этом чуде я и говорю тебе, то это даже лучше. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооружением, я не говорю, что целую тебя, только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что *этих поцелуев я никогда не видал*. Я боготворю тебя.

Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе ещё.

Спокойнее, как раньше.

Когда перечитываю письма, — ничего не понимаю. А ты? Какое-то семинарское удручающее однословье!

94. P. M. РИЛЬКЕ

Moskau, 12. April 1926

Großer, geliebtester Dichter!

Ich weiß nicht, wo dieser Brief endete und wodurch er sich vom Leben unterschiede, gäbe ich den Gefühlen der Liebe, Bewunderung und Erkenntlichkeit, die zwei Jahrzehnte zählen, volle Sprache.

Ich bin Ihnen mit dem Grundzuge des Charakters, mit der Art meines Geistesdaseins verpflichtet. Das sind Ihre Schöpfungen. Ich habe Worte für Sie, die man für ferne Geschehnisse hat, die nachher als Quellen des Geschehens betrachtet werden, das von dorthier zu gehen scheint. Die stürmische Freude Ihnen einmal Dichtergeständnisse machen zu dürfen, ist nicht gewöhnlicher bei mir, als wie ich sie Aischylos oder Puschkina gegenüber fühlte, wäre der Fall denkbar. Das Gefühl der Schicksalspannung, der Unglaublichkeit, der überwundenen Unmöglichkeit, das mich durchdring, indem ich Ihnen schreibe, ist dem Ausdrucke nicht erreichbar. Der Zauberzufall, daß ich Ihnen unter Augen fiel, wirkte auf mich erschütternd. Die Nachricht darüber war für mich, wie ein elektrischer Seelenkurszschluß. Ich war allein im Zimmer, alle Meinen waren weg als ich die Zeilen darüber im Briefe von L. O. las. Ich eilte zum Fenster. Es schneite, Leute gingen. Ich

vernahm nichts umher, ich weinte. Dann kam der Sohn mit der Wärterin, später noch die Frau. Ich schwieg,— stundenlang nachher war ich nicht imstande zu reden.

Bisher war ich Ihnen einen grenzenlosen Dank schuldig für die breiten, dauernden und bodenlosen Wohltaten Ihrer Dichtung. Jetzt danke ich Ihnen für die plötzliche und gesammelte Wohltat, die in mein Schicksal eingriff und in diesem merkwürdigen Zufall sich zeigt. Dies näher zu erläutern, heiße Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, was ich nie wagen will, bis Sie es mir nicht bewilligen. Das heiße auch eine Reihe tragischer Dinge der Geschichte zu begreifen und erzählen zu können, was wahrscheinlich meine Kräfte übersteigt.

Eins aber lehrt schon unsere hiesige Lebenserfahrung jeden, der lernen will: daß das Große, wenn es *handelnd* auftritt, am widerspruchsvollsten ist. Daß es, in seiner Wirklichkeit, seiner Größe nach, auch *klein* ist, seiner Aktivität nach, träge. Eine solche ist unsere Revolution, schon in ihrem Erscheinen ein Widerspruch: ein Bruchstück der gleitenden Zeit in der Form einer unbeweglichen, furchtbaren Sehenswürdigkeit. Solcherlei sind auch unsere Geschicke, *unbewegliche* zeitliche *Unterthane* der finsternen und erhabenen geschichtlichen Rarität, auch im kleinsten, auch im lächerlichen — tragische. Aber wovon rede ich! Was die Dichtung und den Dichter betrifft, das heißt die besondere Brechung des allgemeinen europäischen Intimitätslichts, der unzähligen zusammenfließenden Geschicksgeheimnisse der Zeitgenossen,— was die Dichtung betrifft, so steht es mit ihr wie zuvor. Wie ewig, so auch *hier* und jetzt hängt alles von der Güte des Zufalls ab, der, tief und zu rechter Zeit empfunden, eben die fehlende Brechung gibt. Dann wird alles einfach, dumm, ungeschichtlich und zeitergründend, frei und fatal. Dann wird man von neuem Dichter, nachdem man acht Jahre dieses erschöpfende Glück vermißte. So geschah es mir in diesen letzten Tagen. Vordem war ich tief unglücklich und so gut wie tot, während dieser langen acht Jahre; obwohl ich die erhabene Tragik der Revolution nie, auch im tiefsten Verdrusse, vergaß. Ich konnte gar nicht schreiben. Alles war in den Jahren 1917—1918 bereits geschrieben.

Und jetzt bin wie wiedergeboren. Das brachten zwei Zufälle. Über den ersten sprach ich schon. Der macht mich stumm vor Dankbarkeit: wieviel ich davon nicht schriebe, ist es nichts gegen das Gefühl. Erlauben Sie mir, daß ich

auch über den anderen spreche, umsomehr, daß ich diese Tatsachen als miteinander verwandte, erlebte, und daß es eine Dichterin betrifft, die Sie nicht weniger und *nicht anders* liebt, als ich, und (wie eng oder wie weit man das nicht verstehen wollte), ebenso wie ich selbst, als ein Teil Ihrer eigenen Dichter-Geschichte — Dispansion und Wirkung — betrachtet werden kann. Denselben Tag, wie die Nachricht über Sie, erhielt ich auf den hiesigen Seitenwegen ein Poem, so wahr und echt geschrieben, wie hier in U. S. S. R. jetzt keiner von uns schreiben wird. Das war die zweite Erschütterung des Tages. Die Dichterin ist Marina Zwetajewa, eine Dichterin von Geburt, ein großes Talent vom Schlage einer Desbores-Valmore. Sie lebt in der Emigration in Paris. Ich möchte — o bitte bitte verzeihen Sie mir die Kühnheit und die scheinbare Zudringlichkeit, ich möchte, ich dürfte wünschen, daß sie für ihren Teil etwas der Freude ähnliches erlebte, die sich über mich, dank Ihnen ergoß. Ich stellte mir vor, was für sie ein Buch von Ihnen, vielleicht die Duineser Elegien, deren Name ich nur vom Hörensagen kenne, mit Ihrer Aufschrift, wäre. O verzeihen Sie bitte mich! Aber in dem gebrochenen Lichte der tiefen, weiten Zufälligkeit der Blindheit dieses Zustands darf ich wännen, daß die Brechung eine Wahrheit ist, daß meine Bitte erfüllbar und irgendwie brauchbar ist. Für wen, wofür? Das könnte ich nicht sagen. Vielleicht für den Dichter, der in der Dichtung enthalten ist, und durch die Zeiten verschiedene Namen führt.

Sie heißt Marina Iwanowna Zwetajewa und lebt in Paris: 19^{me} arr. 8 rue Rouvet.

Erlauben Sie mir die Erfüllung der Bitte um die Zwetajewa als eine Antwort von Ihnen zu betrachten, als Zeichen dessen, daß ich Ihnen künftighin schreiben darf. Von einer direkten will ich nicht träumen. Ohnedies nahm ich Ihnen schon viel Zeit durch diesen langwierigen Brief, der gewiß von Fehlern und Absurditäten wimmelt. Als ich ihn anfang, dachte ich, daß es ein richtiger «hommage» sein wird. Die Offenbarung, die Sie für mich sind und ewig bleiben, stand vor mir, zum unzähligsten Male plötzlich auf. Ich vergaß, daß solcherlei Gefühle, die auf Jahre, Lebensalter, verschiedene Orte und Situationen verbreitet sind, sich nie einer plötzlichen Sammlung in einem Briefe (!) unterwerfen. Gott sei Dank, daß ich es vergaß. Ich schriebe auch diese ohnmächtigen Zeilen nicht. Liegen doch Bogen beschrieben, die ich Ihrer Weitschweifigkeit und

Unbescheidenheit halber nie Ihnen zukommen lassen wage, liegen doch auch zwei Gedichtheftchen, die ich im ersten Augenblick instinktiv Ihnen zusenden wollte, als fühlbare Klumpen Siegelerde für den Brief, und liegen lasse aus Furcht, es käme Ihnen einmal ein Gedanke, die Siegelerde zu lesen. Aber alles wird überflüssig in dem ich das erste und letzte sage. Ich liebe Sie, wie die Dichtung geliebt werden will und soll, wie die Kultur im Gange ihre eigenen Höhen feiert, bewundert und erlebt. Ich liebe Sie und kann stolz darauf sein, daß ich Sie durch diese Liebe nicht erniedrige, weder ich, noch meine größte und wahrscheinlich einzige Freundin, die ich schon nannte.

Wollten Sie auch mich durch Ihr Autograph beglücken, so möchte ich Sie bitten dieselbe Zwetajewsche Adresse zu benutzen. Man kann nicht sicher sein über Postsendungen aus der Schweiz.

Ihr

Boris Pasternak.

Перевод:

12 апреля 1926, Москва

Великий, обожаемый поэт!

Я не знаю, где окончилось бы это письмо и чем бы оно отличалось от жизни, позволь я заговорить в полный голос чувствам любви, удивления и признательности, которые испытываю вот уже двадцать лет.

Я обязан Вам основными чертами моего характера, всем складом духовной жизни. Они созданы Вами. Я говорю с Вами, как говорят о давно происшедшем, которое впоследствии считают истоком всего происходящего, словно оно взяло оттуда свое начало. Я вне себя от радости, что стал Вам известен как поэт, — мне так же трудно представить себе это, как если бы речь шла о Пушкине или Эхиле.

Чувство невообразимости такого сцепления судеб, своей щемящей невозможностью пронизывающее меня, когда я пишу эти строки, не поддается выражению. То, что я чудом попался Вам на глаза, потрясло меня. Известие об этом отозвалось в моей душе подобно току короткого замыкания.

Все ушли из дому, и я остался один в комнате, когда прочел несколько строк об этом в письме Л. О.¹ Я бросился к окну. Шел снег, мимо проходили люди. Я не воспринимал окружающего, я плакал. Вернулись с

прогулки сын с няней, затем пришла жена. Я молчал,— в течение нескольких часов я не мог выговорить ни слова.

До сих пор я был Вам безгранично благодарен за широкие, нескончаемые и бездонные благодеяния Вашей поэзии. Теперь я благодарю Вас за внезапное и сосредоточенное благодетельное вмешательство в мою судьбу, сказавшееся в таком исключительном проявлении. Входить при этом в подробности значило бы претендовать на Ваше внимание, на что я никогда не решусь, пока Вы мне сами этого не прикажете. Это значило бы также постичь цепь трагических событий истории и суметь о них рассказать, что, вероятно, превосходит мои силы.

Тем не менее всякий, кто способен учиться, может усвоить из нашего жизненного опыта, что великое в своем *непосредственном проявлении* оборачивается собственной противоположностью. Осуществившись, оно становится *ничтожным* в меру своего величия и косным в меру своей активности.

Такова между прочим и наша революция — противоречие уже с самого своего возникновения: разрыв течения времени под видом неподвижной и жуткой достопримечательности. Таковы и наши судьбы, *неподвижные*, недолговечные, *зависимые* от темной и величественной исторической исключительности, трагичные даже в самых мелких и смехотворных проявлениях. Однако о чем я разговаривал? Что касается поэзии и поэта, иными словами, особого в каждом случае преломления света европейской всеобщности, то есть множества слитых воедино судеб безымянных современников,— что касается поэзии, все остается по-прежнему. Как исстари, так и теперь и *здесь* все зависит от воли случая, которая, будучи воспринята глубоко и своевременно, приводит именно к недостающему преломлению. Тогда все становится до глупости простым, внеисторическим и постигающим течение времени, свободным и роковым. Тогда заново становишься поэтом, после того, как восемь лет не знал этого обессиливающего счастья. Так случилось со мной в последние дни, а до того долгие восемь лет я был глубоко несчастлив и все равно что мертв, хоть и в самом глубоком унынии никогда не забывал о возвышенном трагизме революции. Я совсем не мог писать, я жил по инерции. Все уже было написано в 1917—1918 году.

А теперь я словно родился заново. Тому две причины. О первой из них я уже говорил. Она заставляет меня онеметь от благодарности, и сколько бы я об этом ни писал, это не идет в сравнение с моими чувствами.

Позвольте мне сказать также и о другой причине, тем более, что для меня эти события взаимно связаны и что дело касается поэтессы, которая любит Вас не меньше и *не иначе*, чем я, и которая (как бы широко или узко это ни понимать) может в той же степени, что и я, рассматриваться как часть Вашей поэтической биографии в ее действии и охвате.

В тот же день, что и известие о Вас, я здешними окольными путями получил поэму, написанную так неподдельно и правдиво, как здесь в СССР никто из нас уже не сможет написать. Это было вторым потрясением дня. Это — Марина Цветаева, прирожденный поэт большого таланта, родственного по своему складу Деборд-Вальмор. Она живет в Париже в эмиграции. Я хотел бы, о ради Бога, простите мою дерзость и видимую назойливость, я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с Вашей надписью, может быть «Дуинезские Элегии», известные мне лишь понаслышке. Пожалуйста, простите меня! Но в преломленном свете этого глубокого и далеко идущего совпадения, в радостном ослеплении я хотел бы вообразить себе, что истина заключена именно в таком преломлении и что моя просьба выполнима и имеет смысл. Для кого, зачем? Этого я не смог бы сказать. Может быть, для поэта, который вечно составляет содержание поэзии и в разные времена именуется по-разному.

Ее зовут Марина Ивановна Цветаева, и живет она в Париже: 19^{me} arr. 8, Rue Rouvet.

Позвольте мне считать Вашим ответом исполнение моей просьбы относительно Цветаевой. Это будет знаком для меня, что я и впредь могу писать Вам. Я не смею мечтать о прямом ответе. И без того я отнял у Вас столько времени своим растянутым письмом, которое заведомо кишит ошибками и несуразицей. Когда я его начал, я думал лишь достойно засвидетельствовать Вам свое преклонение. Неожиданно и в который уже раз я ощутил, каким откровением Вы для меня стали. Я забыл, что чувства, которые простираются на годы, возрасты, разные местности и положения, не могут под-

даться внезапной попытке охватить их одним письмом, И слава Богу, что забыл. А то я не написал бы и этих беспомощных строк. Лежат же исписанные листы, которые я никогда не решусь послать Вам за их многословие и нескромность. Лежат и две книги стихов, которые я по первому побуждению собрался отправить Вам, чтобы ими, как сургучом, осязаемо запечатать это письмо, и не посылаю из боязни, что Вам когда-нибудь придет в голову читать этот сургуч. Но все становится лишним, стоит выговорить то, что важнее всего. Я люблю Вас так, как поэзия может и должна быть любима, как живая культура славит свои вершины, радуется им и существует ими. Я люблю Вас и могу гордиться тем, что Вас не унижит ни моя любовь, ни любовь моего самого большого и, вероятно, единственного друга Марины, о которой я уже упоминал.

Если бы Вы захотели меня осчастливить несколькими строчками, написанными Вашей рукой, я попросил бы Вас также воспользоваться для этого Цветаевским адресом. Нет уверенности, что почтовое отправление из Швейцарии дойдет до нас.

Ваш Борис Пастернак.

95. А. А. АХМАТОВОЙ¹

17 апреля 1926, Москва

17.IV.26

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Как Вас благодарить, что не забыли Вашего слова в ответ на мое восклицанье, вырвавшееся так безотчетно и так ведь верно! Еще труднее описать чувство радости при получении этой удивительной карточки с удивительной Ахматовской надписью², совершенной в ее кажущейся случайности, как и все у Вас. Вы, может быть, забыли? Там сказано: «от этого садового украшения»!

Но, Анна Андреевна, зачем Вы так небрежете здоровьем? Горнунг передает, будто Вы опять хвораете. А я-то на радостях написал Цветаевой (знаете, в тот вечер, что мы о ней говорили, она читала Вас в Лондоне), — про сказочную перемену, которую нашел в Вас, и эта радость успела там распространиться. Если бы я

не верил в доброту всякого глаза, устремленного на Вас, я бы из предосторожности перестал заикаться о Вашем здоровье. При таком же убеждении мне хочется просить Вас положенья этого не колебать. От всего сердца желаю Вам скорейшей поправки.

Анна Андреевна, у меня к Вам просьба, которую я испещрю оговорками только ввиду Вашей высокой, поразительной и редкой разборчивости в вещах практических. Однако, думается, ей в данном случае не может быть места. Речь идет о получении причитающегося Вам гонорара за перепечатку Ваших стихов в «Антологии русской поэзии XX в.», выпущенной изд-вом «Новая Москва»³. Составители и книгоиздательство, собирая книгу, и не подозревали, что им когда-нибудь об авторах напомнят. Сделали это, в отно(шении) себя самих, Герасимов и Кириллов. Суд приговорил издательство к выплате истцам гонорара по 50 коп. за строчку. Местком писателей (полноправный Союз), на основании соответствующих отдельных заявлений, предъявляет издательству аналогичный иск от лица всех, как говорится в таких случаях, — потерпевших. И вот, драгоценная и неповторимая пострадавшая, одного насморка которой не стоит вся антология со всем издательством в придачу, настойчиво прошу Вас о следующем. Пришлите Ю. Н. Верховскому или мне собственноручное заявление в Моск. местком писателей при Союзе Рабпроса — о доправке с издательства «Новая Москва» причитающегося Вам гонорара за перепечатку ваших стихов в «Ант(ологии) р(усской) поэзии XX в.», выпущенной издательством. Пришлите также Юрию Никандровичу или мне доверенность на получение денег, которые изд. обязано будет выплатить по принуждению суда, но, вероятно, не раньше осени. Вам приходится, если не ошибаюсь, около 200 руб. (немн. больше или меньше, не помню). В доверенные я Вам навязываю двух лиц на выбор с тем, чтобы сузить наблюденье за Вашими дальнейшими шагами до полной обозримости. А то нельзя быть уверенным, что Вы что-нибудь предпримете.

Простите, что неприличнейшим образом исписываю листок со всех сторон. Не знаю, куда девалась почтовая бумага. Хочется верить, что Вам уже лучше. После вашего пребывания в Москве⁴ началось для меня удивительное время. Было несколько радостных сообщений из-за границы⁵. Потянуло к работе. И вдруг разыгра-

лась нестерпимая невралгическая боль в челюсти и в левом виске. Пришлось все бросить.

Адрес Ю. Н. Верховского. Остоженка, Коробейников (б. 1-й Ушаковский) п., д. 12, кв. 4.

Привет Н. Н. Пунину⁶. Мой адрес: Волконка, 14, кв. 9.

Еще раз горячо благодарю Вас за все.

Преданный Вам *Б. Пастернак*.

96. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

20 апреля 1926, Москва

20/IV/26

Завтра я встану другим, скреплюсь, возьмусь за работу. А эту ночь проведу с тобой. Наконец-то они разошлись по двум комнатам. Я тебе начинал сегодня пять писем. Мальчик болен гриппом, Женя при нем, еще — брат и невестка. Входили, выходили. Поток слов, которые ты пила и выкачивала из меня, прерывался. Мы отскакивали друг от друга. Письма летели к черту, одно за другим. О как ты чудно работаешь! Но не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить.

Вчера я прочел в твоей анкете о матери¹. Все это удивительно! Моя в 12 лет играла концерт Шопена, и кажется, Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петербургской консерватории. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу (была репетиция, слушали музыканты) со словами: «Вот как это надо играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. Она жива. Я, верно, в нее. Она воплощенье скромности, в ней ни следа вундеркиндства, все отдала мужу, детям, нам.

Но это я пишу о тебе. Утром, проснувшись, думал об анкете, о твоём детстве и с совершенно мокрым лицом напевал их, балладу за балладой, и ноктюрны, все, в чем ты выварилась и я. И ревел. Мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей.

Мне понадобилось написать Волошину² и Ахматовой³. Два запечатанных конверта скоро легли в сторону. Меня потянуло поговорить с тобой, и тут я измерил разницу. Точно ветер пробежал по волосам. Мне именно

стало неумогу писать тебе, а захотелось выйти взглянуть, что сделалось с воздухом и небом, чуть только поэт назвал поэта. Вот колодка, вот мы друг для друга, вот голодный рацион, которого мы должны держаться год, если ты проживешь и обещаешь мне, что я тоже выживу. Родной мой друг, я не шучу, я никогда не говорил так. Уверь меня, что ты на меня полагаешься, что ты доверилась моему чутью. Я расскажу тебе, откуда эта оттяжка, отчего еще не я с тобой, а летняя ночь, И〈лья〉 Г〈ригорьевич〉, Л〈юбовь〉 М〈ихайловна〉⁴ и прочая.

Я это объясню потом.

В противоположность твоим сновиденьям я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. В противоположность моим обычным, сон был молодой, спокойный, безболезненно перешедший в пробуждение. Это было на днях. Это был последний день, что я называл себе и тебе счастьем. Мне снилось начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть, и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз такие коридоры. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты, я легко пробежал по взволнованным светом пролетам и скатился по лестнице. Действительно, в чем-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной, а крылатой, планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал. Кем ты была? Беглым обликом всего, что в переломное мгновение чувства доводит женщину на твоей руке до размеров физической несовместимости с человеческим ростом, точно это не человек, а небо в прелести всех пльвших когда-либо над тобой облаков. Но это было рудиментом твоего обаянья. Твоя красота, переданная на фотографии, — красота в твоём особом случае — т. е. явленность большого духа в женщине, ударяла в твоё окружение прежде, чем я попадал в эти волны блаженствующего света и звучности. Это были состоянья мира, вызванные в нём тобою. Это трудно объяснить, но это-то и придавало сновиденью черту счастливости и бесконечности.

Это была гармония, впервые в жизни пережитая с силой, какая до тех пор бывала только у боли. Я находился в мире, полном страсти к тебе, и не слышал резкости и дымности собственной. Это было первее первой любви и проще всего на свете. Я любил тебя так, как в жизни только *думал* любить, давно-давно, до число-

вого ряда. Ты была абсолютно прекрасна. Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья, т. е. в антропоморфной однородности воздуха и часа — Цветаевой, т. е. языком, открывающимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ. Ты была громадным поэтом в поле большого влюбленного обожанья, т. е. предельной *человечностью стихии*, не среди людей или в человеческом словоупотребленье («стихийность»), а у себя на месте. —

Отчего, когда два года назад я в той же волне пустился собирать тебя и стал натекаться на Ланов⁵, я Ланам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор, быть может, и нынешнему твоему возраженью, что у Ланов есть вес в твоём сердце. Отчего для меня существует только С(ергей) Я(ковлевич)⁶ и моя жизнь.

Ты же пишешь о женщине с мертвыми пальцами: ты, может быть, любил ее? И это ты видишь меня и говоришь, что знаешь? Но ведь даже и если бы Э(льза) Ю(рьевна)⁷ была полною себе противоположностью, то *и тогда* требовалось бы нечто исключительное, возвращающее от отдельных лет и лиц к первооснове жизни, ко входу, к началу — иными словами, требовалась бы ты — чтобы вывести меня из линии и довести до чего-нибудь достойного именованья. Я ведь не только женат, я еще и я, и я полуробенек. Т. е. у меня нет в этом частоты, которая грозила бы опасностью жизнеискаженья. И опять, понимаешь ли ты?

Есть несколько случаев, когда Женя страдала по недостаточным поводам, т. е. когда я начинал любить и не долюбивал даже до первого шага. Есть *тысячи* женских лиц, которых мне бы *пришлось* любить, если бы я давал себе волю. Я готов нестись на всякое проявление женственности, и видимостью ее кишит мой обиход. Может быть, в восполнение этой черты я рожден и сложился на сильном, почти абсолютном тормозе.

Так вот, в том, что Э. Ю. не было даже среди недостаточных поводов, причинявших страданье Жене, и вся замечательность ее вероятной антипатии ко мне. Я ее видел два-три раза тут в обществе, чаще чужом, чем своем. При моем появлении она во всеуслышанье заявляла, что она так мол и так — а я на нее даже не обращаю внимания. Я конфузился ее бестактности, ссылался на то, что я вообще тюфяк или бездушная кукла, и говорил все,

что в таких случаях говорится. Мне пришлось у ней побывать не из-за ее напоминаний, а из-за твоего Есенина⁸, по тому естественному закону, который до фантастики преувеличивает цену всего, что из чужого мира помогает как-нибудь мне с тобой. Она мне читала свою прозу, и я ее хвалил, где она этого заслуживала. Она не без способностей, но я сказал ей, что писателя и текст создает третье измеренье — глубина, которая подымает сказанное и показанное вертикально над страницей, и что важнее — отделяет книгу от автора. Я сказал ей, что этого у нее нет и что это, верно, приходит с работой. Я не знаю, зачем ей вздумалось искать или стараться симпатизировать мне. Действительных причин думать дружить со мной у ней нет. Я хочу сказать, что по всему я должен был бы быть нулем для нее или безразличен, как большинству тут, тронутому тем же противоречьем подражанья мне и пр. Неприятной стала она мне после твоего письма, и ты, конечно, мне поверишь, что не из-за слов о Гапоне⁹ (она его слышала только один раз, и я не ей его читал), которые не новы для меня, а потому, что явилась из ночи в твое письмо, в первое твое письмо, сделавшее мне невыносимым дальнейшее существованье без тебя.

Марина, позволь мне прервать это самомучительство, от которого никому не будет никакого проку. Я задам тебе сейчас вопрос, без всяких пояснений со *своей* стороны, потому что я верю в *твои* основанья, которые у тебя должны быть, должны быть неизвестны мне и составляют часть моей жизни. Ты на него ответь, как никому никогда не отвечала, — как себе самой. *Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?* Эта нерешительность у меня не *абсурдна*, у меня есть настоящие причины колебаться в сроке, но нет сил остановиться на втором решенье (т. е. через год). Если ты меня поддержишь во втором решенье, то из этого проистечет следующее. 1) Я со всем возможным напряженьем проработаю этот год. Я передвинусь и продвинусь не только к тебе, но и к какой-то возможности быть для тебя (пойми широчайшим образом) чем-то более *полезным* в жизни и судьбе (объяснять — это томы исписать), чем это было бы сейчас.

Тогда я попрошу твоей помощи. Ты должна будешь представить себе, *как* я читаю твои письма и что со мной при этом делается. Я перестану совершенно отвечать тебе, т. е. никогда не дам воли чувству. Т. е. буду

видеть тебя во сне и ты об этом ничего не будешь знать. Год это мера, я буду соблюдать ее. Речь идет *только* о работе и вооруженье, о продолженье усилий, направленных на то, чтобы *вернуть* истории поколенья, видимо отпавшее от нее, и в *котором находимся* и ты.

Ни о чем больше нет речи. У меня есть цель в жизни, и эта цель — ты. Ты именно становишься меньше целью, а частью моего труда, моей беды, моей теперешней бесполезности, когда счастье увидеть тебя этим же летом заслоняет для меня все, и я не вижу долей этого целого, которые, может быть, увидишь ты. Распространяться тут — значит затуманивать. Марина, сделай, как я тебя прошу. Оглядишься, вдумайся в *свое*, только в то, что кругом *тебя*, хотя бы это были *твои* представления обо мне, или хотя бы слова, сказанные при тебе утром французскими твоими рыбаками, — осмотришься и в этом огляде почерпни толчок для ответа, но не в твоём желанье видеть меня, потому что ты знаешь, как я тебя люблю, и увидеть это тебе должно хотеться.

И отвечай тотчас же.

Если ты меня не остановишь, то тогда я еду с пустыми руками только *к тебе* и даже не представляю себе, *куда еще* и *зачем еще*. Не поддавайся живущей в тебе романтике. Это плохо, а не хорошо. Ты *сама* шире этого *только*, а я как ты. Между тем если еще есть судьба на свете, а я это увидел нынешней весной, то еще не тот кругом у нас русских воздух (а может быть, и во всем мире), когда можно доверяться человечности случая или лучше — приравненности неизвестности к поэту. Тут заряжать надо собственной рукой. А это — год. Но я почти уверен, что еду к тебе сейчас, побросав всякие работы. Все равно, пока ты меня не приведешь в порядок, я ни за что взяться не могу.

Посылаю тебе фотографию. Я ужасно безобразен. Я именно таков, как на фотографии, — она удачна. Я только щурюсь, потому что смотрю на солнце, что и делает ее особенно неприятной. Глаз надо закрыть.

Не слушай *меня*. Отвечай свободно. Умоляю тебя.

19 мая 1926, Москва

19/V-26

До этого были три неотправленных. Это болезнь. Это надо подавлять. Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное *молчание* твоей руки. Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк. Я в жизни не запомню тоски, подобной вчерашней. Все я увидел в черном свете. Болен Асеев ангиной, четвертый день 40 градусов. Я боюсь, боюсь произнести, чего боюсь. И все в таком роде. *Так* я не могу, не хочу и не буду тебе писать. Я страшно дорожу временем, ставшим твоим живым раствором, только разжигающим жажду. Я дорожу годом, жизнью и боюсь нервничать, боюсь играть этим нечеловеческим добром.

По той же причине не отзываюсь на письмо о Парнок¹. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда мы каши с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла»², отчасти из-за нее. Писать же о двадцатилетней Марине в этом обрамление и с данными, которые ты на меня обрушила, мог бы только св. Себастьян. Я боюсь и коситься на эту банку, заряженную болью, ревностью, ревом и страданьем за тебя, хотя бы краем одного плеча полуобнажающуюся хоть в прошлом столетии. Попало ни в чем не повинным. Я письмо получил на лестнице, отправляясь в Известия, где не был четыре года. Я вез им стихотворенье, написанное слишком быстро для меня, об английской забастовке, уверенный, что его не примут. В трамвае прочел письмо и стихи (если это — банка, то анод и катод, и вся музыка и весь ад и весь секрет, конечно, в них: Зачем тебе, зачем моя душа спартанского ребенка). И вот таким, от тебя и за тебя влетел я в редакцию, хотя и своего достаточно было. Они не знали, куда от меня деваться. Единственное, похожее на человеческую мысль, что они сказали, было: поэт в редакции это как слон в посудной лавке. Между прочим, я слишком высказался там в тот день, и может быть, мои общие страхи возвращаются и к тому вечеру. Среди всего прочего я сказал, что, начав играть в нищих, все они стали нищими, каких не бывает, каких бы только

выставляли в зверинцах, если бы природа и пр. и пр.

Соображенья житейские заставляют меня признать все уже написанное о Шмидте «I-ю частью» целого, уверовать в написанье второй и сдать написанное в журнал. Я над вещью работы не брошу. Она будет. Но мне хотелось посвященье тебе написать по окончании всего, и хорошо написать. Помещать же его надо в начале. Вчера, перед сдачей, написал как мог.

ПОСВЯЩЕНЬЕ

Мельканье рук и ног и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Ревя рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».

Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень — Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.

Ему б уплыть стихом во тьму времен.
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог ату,
Естественный, как листья леса, стон.

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листовою, пнями, сном ветвей
И ветром и травою мне и ей.

Тут — понятье (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, — моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал: слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства. Писал в странном состоянии, доля которого, впрочем, была и в значительно худшем, т. е. просто плохом, для газеты стихе об Англии. Так как оно кончается тем же колечкоподобным, узким и втягивающим словом, что и посвященье, то вот:

Событье на Темзе, столбом отрубей
Из гомозни претензий по вытяжной трубе!
О будущность! О бьющийся об устье вьюшки дух!
Волнуйся сам, но не волнуй, будь сух!

Ревущая отдушина! О тяга из тяг!
Ты комкаешь кусок газетного листа,
Вбираешь и выносишь и выплескиваешь вон
На улицу на произвол времен.

Сегодня воскресенье и отдыхает штамп
И не с кого списать мне дифирамб.
Кольцов помог бы втиснуть тебя в тиски анкет,
Но в праздник нет торговли в Огоньке.
И вот, прибой бушующий, не по моей вине
Сегодня мы с тобой наедине.

Асфальтов блеск и дробь подков и гонка облаков.
В потоке дышл и лошадей поток и бег веков.
Все мчит дыша, как кашалот, и где-то блещет цель,
И дни ложатся днями на панель.

По палке вверх взбегает плеск нетерпеливых рук.
Конаясь, дни пластают век, кому начать в игру.
Лицо времен, вот образ твой, ты не живой ручей,
Но столб вручную взмывших обручей.

Событье на Темзе, ты вензель в коре
Влюбленных гор, ты — ледником прорытое тире.
Ты зиждешь столб, история, и в передвижке дней
Я свижусь с днем, в который свижусь с ней³.

Хотя я сегодня немножко успокоился и снова помню и знаю, отчего остался на год, а отсюда и: *зачем*; но до получения письма от тебя темы Рильке затрагивать не в состоянии *. Это именно то письмо, которое мне грезилось и которого я и в сотой доле не заслуживаю. Он ответил немедленно. Но когда, помнишь, я запрашивал у тебя посторонних и действительных опор для решения, лично для себя я избрал, как указанье, именно это письмо, вернее, срок его прихода.

Я не рассчитал, что совершить ему предстояло не два, а больше четырех концов (везли с оказией к родным в Германию, оттуда послали ему, может быть, не прямо, от него на Rue Rouvet⁴, потом на океан, потом лишь от тебя ко мне). У меня было загадано, если ответ его будет вложен в письмо с твоим решением, послу-

* А также и думать о нем, а писать ему и подавно. (Примеч. В. Пастернака.)

шаюсь *только* своего нетерпенья, а не тебя и не «другого» своего голоса. И, верно, хорошо, что тогда вы с ним разошлись. Но что ты разошлась с ним вторично, что вместе с ним пришла не ты, а только твоя рука, потрясло меня и напугало. Успокой же меня скорее, Марина, надежда моя. Не обращай вниманья на скверные стихи в письмах. Вот увидишь Шмидта в целом. Если же посвященье плохо, успеи остановить.

Я твоей просьбы относительно Над(ежды) Ал(ександровны)⁵ еще не исполнил. Ты должна меня простить. Это тоже из самосохраненья. Боюсь избытка тебя в делах и в дне. С исполненьем просьбы запоздаю.

98. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

23 мая 1926, Москва

23/V/26.

У меня к тебе просьба. Не разочаровывайся во мне раньше времени. Эта просьба не бессмысленна, потому что, поверив сейчас про себя, на слух, слова: «разочаруйся во мне», я понял, что я их, когда заслужу, произнести способен. До этого же не отворачивайся, что бы тебе ни показалось.

И еще вот что. Отдельными движеньями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою, и любить этот общий воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает. У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь. А так как я держал все вместе, в одной охапке, то это значит отдаляешься ты от меня, прямо своего движенья не называя.

Я готов это нести. Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем. Существенности, которая бы развела нас врозь, я никогда в свой круг не втяну, не захочу. А поэтическая воля предвосхищает жизнь. Собственно, я никогда никакой воли за собой не помню, а всегда лишь предвиденья, предвкушенья и... осуществленья,— нет, лучше: проверки.

И вот недавно, с тобою, решительно *впервые* случилось это со мной по-человечески, как у людей воли.

Ты простоте открыла радость недостававшего разряда. Степень стала основанием *.

И вот ты сейчас возмутишься, точно это я завожу неожиданный *plusquamperfect*.

Ничего не изменилось.

Все равно *одно* одиночество, одни выходы и рысканье то же и те же излюбленности в лабиринте литературы и истории, и одна роль. Чудесно о тебе написал Святополк-Мирский ¹. Тот же самый Зелинский прислал, раскаявшись и устыдившись политической клеветы, идущей от Кусикова, убогого ничтожества, ни на что лучшее не способного, которого и я достаточно хорошо знаю по столкновеньям в Берлине, где они, засев в «Накануне» ² травили Белого и, когда требовалось, так нагло переписывали его заслуги в чужую графу, что так и ждалось номера, где просто будет снят Борис Николаевич и подпись под фотографией: Ал. Н. Толстой. Таков — «сяков» сей — Ку-сиков, в корне, правду сказать, совсем безобидный малый. Сказанное похорони, памяти не стоит. Держал он книжную лавку. В крайнем случае, когда он заведет мясную, забирать, из злопамятности, будешь не у него.

Статья переремингтонена на тонкой посольской бумаге. Не только пожалел, но значит нашел, отчеркнул, поручил на Rue de Grenelle машинистке. Задала им работу. Чудесная статья, глубокая, замечательная, и верно, очень верно.

Люблю С<вятополк>-М<ирского>. Но я не уверен, справедливо ли *определяет* меня. Я не про оценку, а про определение именно. Ведь это выходит вроде «Шума Времени» ³, как ты его определяешь — натюрмортизм? Не так ли? А мне казалось, что я вглухую, обходами, туго, из-под земли начинаю в реалистическом обличьи

* Об этом (о воле, предвосхищенье и о простоте беспредельного разряда) есть у меня рассказ 1916 года, не сделанный. Сейчас решил, что отделаю летом. (Примеч. Б. Пастернака.)

спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя: читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного.

Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю, чтобы заслонить тебя от него. Ты — *большой* поэт. Это загадочнее, превратнее, больше «первого». Большой поэт — сердце и субъект поколения. Первый поэт — объект дивованья журналов и даже... журналистов. Мне защищаться не приходится. Для меня, в моем случае — первый, но тоже и большой, как ты, т. е. таймый и отогреваемый на груди поколеньем, как Пушкин между Баратынским и Языковым — Маяковский. Но и первый. Что же касается этого слова в статье, то напирать на него было бы близорукой придиркой. Разность терминологии. Св. Мирский под «первым» понимает подлинно большой, т. е. я бы так рассуждал: единство поколения — единственность лирической стихии — единственность в своем бое, сосредоточивающаяся в данное время в данном лице. Постоянна только наша способность быть проводниками или преемниками единственности. Волны же эти все время в движении. Стихия именуемости ошеломительней имени. Устойчивое имя то же, в отношении духа, что атом в учении о материи: — приближенное обобщенье. —

Говорю о ст. в «Совр. зап.». Статьи под рукой нет. Тотчас по прочтении послал Вильяму в Красноярск, надеясь на скорый привоз ее Эренбургом. Оттого коротко и отзываюсь. Следовало бы перечсть.

Я еще хотел сказать о цели предостереженья. В случаях моего молчанья не приписывай ему ничего типического, напрашивающегося. Так, например, когда в журналах помещается что-нибудь мое, я эти номера получаю. В толстых всегда есть что-нибудь любопытное, интересное или даже достойное. В теперешний, *трудный* для меня период преодоления *реализма* через поэзию, там всегда есть вещи лучше моих, нередко даже случаи, когда вообще *весь* номер в своей праздничной легкости, этажом выше и опрятнее моих

отяжеленных будней. Я этих журналов не читаю, т. е. не могу читать не из небрежности. Но у меня сердце не на месте. Будь ты тут, я бы, верно, ими зачитывался. Так вот, пример из тысячи. Если бы тебе вручили бандероль новеньких журналов с двумя-тремя страницами, разрезанными для правки, ты не думай, что это я рвусь осчастливить тебя своими неудачами и только ими занят изо всего тома. Нет, это значит совсем другое. У меня является возможность послать тебе книжки в нетронutom виде, где много хорошего (в «Ковше», например, весь уровень выше моей доли)⁴. Я этой возможностью и пользуюсь.

Спекторский определенно плох. Но я не жалею, что с ним и 1905-ым, за исключением двух-трех недавних глав из «Шмидта», залез в такую скуку и аритмию. Я эту гору проем. А надо это: потому что в природе обстоятельств и неизбежно и еще потому, что это в дальнейшем освободит ритм от сращенности с наследственным содержанием. Но таких вещей в двух словах не говорят. Ты поймешь неправильно и решишь, что я мечтаю о холостом ритме, о ритмическом чехле? О, никогда, напротив. О ритме, который девять месяцев носит слово. Перебирая старую дребедень, нашел в сборничке 22 года две странички⁵, за которые, в противоположность вещам в посылаемых журналах, стою горой. Прилагаю, и ты прочти не спеша, не обманываясь формой: это не афоризмы, а подлинные убеждения, может быть, даже и мысли. Записал в 19-м году. Но так как это идеи скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются в форме выраженья, чем, может быть, ее и затрудняют. Святополк говорит, что мы разные. Прочти. Неужели разные? Разве это не ты? У меня это единственный экземпляр. Если ты с чем-нибудь будешь настолько несогласна, что захочешь спорить, приведи задевшее место целиком, а то не буду знать, о чем говоришь. А из журнального много-много если в отрывке 1905 (в Звезде) найдется два-три настоящих слова⁶.—

Рильке сейчас не пишу. Я его люблю не меньше твоего, мне грустно, что ты этого не знаешь. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги⁷, вообще, как это случилось, и может быть, что-нибудь из писем. Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва и вдруг — в сторону. — Живу его благословеньем. Если будет что, посылай просто по

почте. Дойдет, думаю, лишь бы не швейцарские марки.

Верно, не удержусь и пошлю 1-ю часть Шмидта. Когда она была сдана, нашел матерьял, несоизмеримо существеннейший, чем тот, которым пользовался. Переделывать — надо бы поместьем владеть. Не придется. Вгоню главу в виде клина, от которой эта суть разольется в обе стороны. Допишу эту дополнительную главу и тогда вышлю.

Если письмо покажется чудным, тем скорее вспомни о просьбе, с которой оно начинается.

Кланяйся Але, поцелуй мальчика, кланяйся С. Я. Мы, может быть, будем обеими семьями друзьями. И это не ограниченье, а еще больше, чем было. Увидишь. Этой весной я стал сильно седеть. Целую тебя.

99. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

5—7 июня 1926, Москва

5/VI/26

Горячо благодарю тебя за все ¹. — Вычеркни меня на время, недели на две, и не больше чем на месяц, из сознания. Прошу вот зачем. У меня сейчас сумбурные дни, полные забот и житейщины. А мне больше и серьезнее, чем даже в последнее время, надо поговорить с тобой. Поводы к этому разбросаны в твоих последних письмах. Этого нельзя сделать сейчас. Я между прочим до сих пор не поблагодарил Рильке за его благословенье. Но и это, как и работу над Шмидтом, как и чтение тебя (настоящее) и разговор с тобой, придется отложить. Может быть, я ошибаюсь в сроке и все это станет возможно гораздо скорее. —

У меня сейчас нет своего угла, где бы я мог побыть с твоей большой карточкой, как это было с маленькою, когда я занимался в комнате брата с невесткой (оба на полдня уходили на службу). И я о ней пока не хочу говорить, по малости того, что я бы сейчас сказал в сравненьи с тем, что скажу. У меня на руках в течение дня были «Поэма Горы» и «Крысолов». Я охотно отдал их на прочтенье Асе ² по той же причине непринадлежности себе.

Я их прочел по одному разу. При этом недопустимом и невозможном, в твоём случае, чтении, мне пока-

залось, что несколько новых, особенных по поэтическому значению, магических мест есть в «Крысолове», удивительно построенном и скомпонованном. Эти места таковы, что, возвратившись к ним, я должен буду призадуматься над *определеньем* неуловимой их новизны, новизны родовой, для которой слѡва на языке, может быть, не будет и придется искать. Но пока считай, что я тебе ничего не сказал. Больше чем когда-либо я именно в этот раз хочу быть перед тобою зрелым и *точным*. Асе больше понравилась (и больше «Поэмы Конца») — Поэма Горы. По первому чтенью я отдаю предпочтенье «Крысолову», и, во всяком случае, той стороне в нем, о которой пока еще ничего не сказал. —

Эренбург пришел ко мне, пробыв тут вне досягаемости неделю. Он еще не все мне передал. Из оттисков только «Гору» и «Крысолова» в одном экземпляре. На квартире, где он остановился, его никогда не застать. —

Лучше всего с фуфайкой и с кожаной тетрадкой для стихов³. Обе положил, первую в ожидании зимы, вторую — в ожиданьи (безнадежном) какой-нибудь неслыханной мысли, — без горечи и боли, которая вызывается во мне взглядами других подарков, устремленными в мою теперешнюю пустоту. Деньги, до полученья, мечтал отдать Асе. Но они пришли в очень критическую минуту, и мне, пока что, от этой мечты приходится отказаться.

Положенье, на первый взгляд, такое. Человек бушевал и обновлялся при виде маленькой карточки и вот получил большую. Человек обезумел от некоторых мест поэмы и вот получил две. На него пролился золотой дождь, и с его каплями в волосах он адресуется к источнику: погоди, мол, я завтра поблагодарю тебя. Как бы ни было велико у тебя искушенье увидеть это в таком роде, как бы ни было велико правдоподобье образа, гони этот призрак, ничем не похожий на истину. Лучше всего было бы в точности исполнить просьбу: забыть меня на месяц. Ради Бога, не взрывайся. Впрочем, я готов допустить и крайность с твоей стороны. Я так в своих надеждах тверд, что готов все начать сызнова. —

Была у меня мысль послать тебе в этот промежуток написанную половину Шмидта, «Поверх барьеров»⁴ и еще всякой дребедени с условием, чтобы ты мне об этом ни слова не писала, пока я не возобновлю человеческого разговора с тобой. Но Шмидта не хочу окружать оговорками и вообще не пошлю, пока не будет кончен. С тем

падает и весь план. Опять были частные совпадения: блюдец (о море), множество выражений, рифм и пр. в поэмах.

Очень хочется все поскорее устроить с семьей, остаться одному и опять приняться за работу. Разгон верно упущен, но что делать.

Боюсь лета в городе, — духоты, пыли, бессонницы, накатов чужого, но заразительного скотства; идеи ада (бесформенного страдания). Если же воспользоваться одним из сотни приглашений, боюсь захлебнуться благодарностью новых впечатлений, освеженья, которое скажется никак не сейчас, а обязательно через годы. Боюсь влюбиться, боюсь свободы. Сейчас мне нельзя. То, что в руках у меня, не так держу, чтобы отложить в сторону. За год ухвачусь ловчее, т. е. — метафоры неуместны — прикован пока к данному подоконнику и к верстаку чудовищностью расходов и невыровнявшимся заработком.

Весной был выпад категоризма. Я рванулся было вон из круга вынужденного приниженья Жени, тебя, себя самого и (какой глупый порядок) всего мира. Удручает кажущийся возврат к сеяню обид и обиженности. Я говорю о нравственной неуловимости, которою пересыпан обиход в том случае, когда *единственное* чистое и безусловное его место составляет *работа*.

Тебе кажется, что это пусть горько, но нормально. Мне нет.

7/VI/26

Совпадения словаря и манеры таковы, что предположенное все-таки вышло, чтобы не казалось, что Шмидта и Барьеры написал под влиянием Крысолова.

О Барьерах. Не приходи в унынье. Со страницы примерно 58-й станут попадаться вещи поотраднее. Всего хуже середина книги. Начало: серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо бунтующее предназначенье, взрывающееся каждым движеньем труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме) — начало, говорю я, еще может быть терпимо. Непозволительно обращение со словом. Потребуется перемещение ударенья ради рифмы — пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклоненья или приближенья иностранных слов

к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры вместо извозчиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, которой это посвящено, — из Харькова и так говорит. Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении, может быть большим, чем в следующих книгах.

Есть много людей, ошибочно считающих эту книжку моею лучшею. Это дичь и ересь, *отчасти* того же порядка, что и ошибки твоей творческой философии, проскользнувшие в последних письмах.

Прости за смелость, — я это кругом обошел и знаю.

Опечаток больше, чем стихов, потому что жил тогда (в 16 г.) на Урале. Постарался Бобров. Типический грех горячо преданного человека. Т. е. правил и выпускал он.

О Шмидте два слова. Нетерпез *послать* (только *послать*, на почту снести). Между 7-й и 8-й цифрой пропуск. Будет письмо к сестре (совсем другой человек пишет, нежели автор писем к «предмету»). Очень важная вставка. Почти готово, — но дошло со 2-й частью, где только и начинается драма (Превращенье человека в героя в деле, в которое он не верит, надлом и гибель). Будь ангелом, сделай милость, не пиши о вещах, пока я подробно в «Крысолове» не отчитаюсь. Будь другом, все равно, понравится ли, нет ли, пока молчи. Зачем остальная дребедень, объяснил уже раньше.

Ася называет его Сережей, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, потому что мне как-то от него больно. Нет, просто люблю его и по-мужски, чудесно, *уважаю*.

Мне позвонили из «Комсомольской Правды» (неслыханный случай) с просьбой разрешить напечатать «Мне 14 лет» (выбор, для комсомола!). Когда напечатают, будет возможность, если захочешь, со ссылкой на № комсомола в «Верстах»! ⁵ Ты меня ненавидишь, я это чувствую.

100. М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

30 июля 1926, Москва

30/VII/26

Если я примусь отвечать тебе, все будет продолжаться деятельно и документально. Или ты веришь в перемены? Нет, главное было сказано навсегда. Ис-

ходные положенья нерушимы. Нас поставило рядом. В том, чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли.

Теперь о воле. В планы моей воли входит не писать тебе и хватиться за твою невозможность писать мне как за *обещанье* не писать. При этом я не считаюсь ни с тобой, ни с собой. Оба сильные, и мне их не жаль. Дай Бог и другим так. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Либо это приведет ко благу, либо этому не бывать. И ты мне не задашь вопроса: к чему? Благом может быть лишь благо абсолютной деятельной правды.

Не старайся понять.

Я не могу писать тебе, и ты мне не пиши.

Когда твой адрес переменится, *пришли мне новый*. Это обязательно!

Позволь мне не рассказывать себя и не перечислять отдельных шагов, которые я делаю чистосердечно и добровольно.

До полного свиданья. Прости мне все промахи и оплошности, допущенные в отношеньи тебя. Твоей клятвы в дружбе и обещанья, подчеркнутого карандашом (обещанья выехать ко мне), никогда тебе не возвращу назад. Расстаюсь на этом. Про себя не говорю, *ты все знаешь*.

Не забудь про адрес, умоляю тебя.

Еще до того, как тебе напишет Асеев, расскажу это тебе сам. Зимой я у Бриков пробовал читать «Поэму Конца». У нас были шероховатые отношенья, читать я принялся в ответ на просьбу прочесть что-нибудь свое, верно, вообще вид у меня был вызывающий. Мне и не преминули отомстить самым чувствительным образом. Я не мог вынести этого пренебреженья и бросил на второй странице. Я возмутился, стал шуметь, вечер был безобразный. На прошлой неделе я дал Асееву, который тогда тоже присутствовал, прочесть «Поэму Конца» и «Крысолова» в печатных оттисках. Я дал ему месяц на прочтение и для спокойного, ничем не связанного отзыва. Он позвонил мне рано утром по телефону, под сильнейшим впечатлением этой ни с чем не сравнимой, гениальной вещи. Потом я ее слышал в его изумительном чтении на квартире Бриков. Лиля и Маяковский в Крыму. Асеевский ученик и любимец, Кирсанов, пальцы изъязвил чернилами, переписывая ее. Кажется,

он это сделал в одну ночь. Асеев читал и «Крысолова», тоже чудесно, на разные голоса. Мы проразбирали тебя до четырех часов ночи. Они мечтают о перепечатке Поэмы в Лефе. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что считаю мечту неосуществимой. Главлит не допустит твоего имени, а до Главлита, верно, и Маяковский, относительно которого все уверены, что вещь ему понравится безумно.

По-видимому, аналогия к чтенью Шмидта со Святополком-Мирским? Да, даже в тот же день. (Мы полунощничали с 28-го на 29-е.) О нет, нет и трижды нет, моя мука, моя прелесть, моя судьба, мой несравненный поэт, нет, не унижай меня и себя, тут нет параллели.

И зачем это чтение со С<вятополком>-М<ирским>? То есть не с ним, я хочу сказать, а чтение *чего!* Ты меня так обижаешь, серьезно обсуждая 1905 г.! Я иногда поддавался тебе, и вот так только могла возникнуть нелепость посвященья! Но уверяю тебя, по силам, сложившим 1905, это находится на середине между службой и *писательством*. Координаты же по отношению к *поэзии* не берусь даже определить.

Ты меня оскорбляешь своей скрытой и подавленной жалостью. Но это пустяки. Я жалованья еще не получил и 1905 dokonчу. Я тебе ничего там не посвящу, потому что хочу книжку выпустить с посвященьем: «Среднему читателю и его опекунам». Или: «...и его деревянной лошадке».

Не пиши мне, прошу тебя, и не жди от меня писем. Пойми также и то, что ни слова не говорю о стихах «о нас». Ведь у тебя редкостное воображенье. Ну, а тут и рядового было бы довольно, чтобы все прочесть и постигнуть. Справлюсь со всем.

Весь твой Б.

Но адрес обязательно. Целую Францию за все, что она дала мне. Ты еще забыла Рильке, когда так истолковала переезд. Помнишь?

Ты спрашивала о статьях: Поэт о критике и Герой Труда¹. Эренбург их не привез. Не будет ли еще оказии?

21 октября 1926, Москва

21.X.1926

Олюшка, дорогая моя!

Давно прошло лето, а мы так и не повидались. Сказать по совести, я и не знаю, на что оно у меня ушло. Окна нашей комнаты поперек спуска к набережной. Мостовая прямо ложится на оба подоконника. Все лето они у меня стояли настежь, и вот мне кажется, что три месяца я только и знал, что вытирал пыль и подметал пол. Только уборку и помню, да несколько неотвеченных писем и недочитанных книг. Работалось же через пень-колоду. — Не знаю, говорил ли я тебе в свое время, что в квартире у нас мне негде заниматься, что, в результате ряда передвижений, комбинаций, приращений и других метаморфоз, у меня третий год не стало отдельной комнаты. Это б еще с полбебды: прошлую зиму всю я проработал в комнате Шуры и Ирины¹, зачастую с ними вместе, когда же это их стесняло, то перебирался в переднюю, служащую нам в то же время и кухней и столовой. По некоторым причинам и такой способ стал недоступен. И вот есть внешний, объективный признак, превращающий внутреннюю и, может быть, спорную невозможность заниматься в одной комнате с Женей, Женичкой и няней, в никем не оспариваемый факт: я много курю за работой, закуривать же детскую нельзя. Мы решили в комнате поставить перегородку. Не странно ли: все это я рассказываю тебе в объяснение причин, почему пишу тебе именно сегодня. А внешний повод таков. Женя привезла мне из-за границы блок почтовой бумаги, и обновить его я хочу тобой. Ты помнишь бывшую папину мастерскую. Это, по размерам, суший манеж. Мне пришлось искать плотников и рядиться с ними, как любому непосвященному: Шура и Ирина, как архитекторы, мне помочь не могли. Они с утра до вечера заняты, Шура — на стройке, Ирина — в строительной конторе. Стоимость перегородки исчислили мне в 200 с чем-то рублей. Хотя рабочие и дерут с меня несколько против меры, все же источник этой торжественной и ужасной цифры не в их жадности, а в размерах помещенья. Они должны были сегодня с утра начать возить матерьял. Вчера, после их ухода, я был обнаружен на общей кухне в состояньи глубокого

и молчаливого рассеянья. На вопрос соседей, зашедших минут пять спустя, чего я ищу и не нахожу там, я пресерьезно ответил, что вот, дескать, беседовал с Мурзилкой (соседской кошкой), где мне достать эти деньги; но и на нее это подействовало так угнетающе, что она забралась от меня за кухонный стол. Я говорил это почти что не шутя, т. е. я никого смешить не собирался. Я находился во власти прискорбной и умиляющей бессмыслицы, и вариации ее были мне безразличны. Один абсурд другого стоит, немыслимость кошачьего совета немыслимости нашей затеи не слабей. Потом — вопрос со штукатуркой. Плотники уверяют, будто бы за неделю при жаровнях и постоянной, по несколько раз в день топке печей она усохнет. Люди же посторонние и незаинтересованные говорят, — кто — две-три недели, а кто и месяц. В моем кухонном столбняке шуршали не одни червонцы. Так же и стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темно-серого, текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь, и жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к новоселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях.

Нет ничего удивительного, что после таких видений я полночи не мог уснуть. Я ворочался в постели и думал о разных разностях. Когда я перешел на людей, то первыми вообразил и живо увидел вас, тебя и маму. Утром первым делом мне хотелось напомнить вам обоим, какие вы золотые и как я вас люблю.

Есть у человека потребность родовая и распространеннейшая, прямейшим образом связанная со всею музыкой сознания, и она так обща, так свойственна всем, что для нее, верно, существует и название, и только сейчас оно улетучилось у меня из памяти, а завтра же, когда я отправлю письмо, будет на языке. Идут годы, меняются основанья и приложенья собственного недовольства, несовершенные слагаемые городятся одно на другое, взгляд вперед чает совершенств и теряется в этих гаданьях, и вот, пожалуй, лучшие из мгновений этой движущейся живой задачи на сложенье — те, когда все частности перевешивают чувство живущей за всем этим беспокойной, ворочающейся суммы. Тогда хочется дорассказать именно до нее, т. е. начать болтать о себе, как раз так, чтобы эту болтовню, веселую или грустную,

обняла, повалила и встала над ней общая кантилена бытованья, человеческая повесть, больше того — ее закон. Потребность эта обманчива. Она редко удовлетворяется всерьез. Человек, являясь с вокзала после долголетней разлуки, раздражается восклицаньями и говорит отрывочными, малозначащими фразами. Романа от первого лица за ним не запишешь, да и этой дичью слишком тормозилась бы жизнь. Наплыв памяти настоящего времени не останавливает и ему не помеха. Потребность эта — величина воображаемая, однако без ее воображаемости формула души и ее роста обесмыслилась бы и распалась. Так вот, цельней всего потребность эта пробуждается во мне представленьем четырех окон на канал, сейчас и в прошлом, а может быть, и в вечности. Отчего же не образом родителей и родных сестер? Тут удовлетворенье общительности оголено во всем противоречьи и настоящим полно до предела. Слишком реальна и велика близость.

Какое дурацкое письмо! Тем не менее я его не обрываю.

Если надумаешь писать, непременно сообщи, здорова ли тетя и как ты сама.

Нелады наши с Женей отошли в область преданий. Они не кажутся мне вздором оттого, что о них уже начинаешь забывать. Я только, может быть, глупо писал о них в самом их разгаре. Уже и тогда я понимал, какая роль отводится доброй, благоразумной воле в зрелом возрасте и к какому скромному значенью низводит себя судьба и случайность. Со своим значеньем она, конечно, всего меньше расстается в этом перемещеньи. Но с переднего она отступает на задний план. Или, может быть, перестает играть, а становится поприщем игры, т. е. по-видимому отсутствуя, целиком присваивает себе всю сцену. Игрою же и ее темой овладевает воля. Понял я это, разумеется, не вчера. Но часть наших препирательств именно к тому и сводилась: связывать ли нам нашу волю воедино, во благо ли это обоим, или же расстаться. Думаю, мы не раскаемся в принятом решеньи, — дай Бог.

Они чудесно провели время за границей. У Жени был даже целый месяц отдыха от ребенка, который она прожила одна в местности, о которой рассказывает сбивчиво и восторженно, на берегу озера, близ Тирольских Альп, с экскурсиями в горы, лодками, купаньем и романтикой новых знакомств. Тут, по старинному рецепту тети,

мне должно бы хотя бы нахмуриться. На свете иногда ходят такие фразы: «Может быть, я вообще никого не люблю и любить не умею». И еще афоризмы о творчестве, об одиночестве и его холоде. Мой случай проще всех этих истин. Думаю, теплотой и обычностью чувств я не ниже нормы. Ревность, — не на ревности ли стоит все, вообще говоря, воображение, — ревность я знаю слишком хорошо и пристально, чтобы барахтаться в ней, как в мутном и ослепляющем водовороте. Я люблю хорошую, благородную объективность, и, если эти слова имеют смысл, она мне платит взаимностью. К ней я не ревную, и страшно ревную ко всему, что хуже нее, что не она. Местность, в которой жила Женя, и ее времяпрепровождение были именно таковы, и люди, по всем признакам достойные, растворялись в грандиозной объективности щедрого горного пейзажа. Я рад, что при мне, т. е. в мою бытность в Жениной истории, у нее есть, отдельно от меня, отрывок, к которому она будет возвращаться, и не исчерпает в воспоминаньях. Вот из каких атомов должны бы мы состоять.

При многосемейности и дружности квартиры, я знал, что тотчас после встречи, на перроне же, мы сразу окажемся в гостях и из них уже больше не выйдем. Чтобы немножко побыть наедине, — (типическая московская подробность), — я поехал навстречу едущим в Можайск. И вот, *два часа жизни*, проведенные у Жени с мальчиком в купе, это, по контрасту, такой оазис, что получилось бы новое и нескончаемое письмо, начни я их описывать.

Жениной маме, проболевшей десять месяцев опухолью спинного мозга (распространяющийся с конечностей на все тело паралич), вырезали пять позвонков незадолго до приезда Жени. Операция, очень сложная и опасная, поначалу будто удалась. Она уже было стала поправляться, как вдруг заболела чем-то тяжким и сорокаградусным, что одновременно и заражение крови, и гнойная лихорадка, и целый ряд каких-то других неопределенных воспалений. В промежутках температура падает и к больной возвращается сознание. Состояние это, почти не оставляющее никаких надежд, длится вот уже третью неделю. Это удивительно и ужасно. У организма, верно, есть цель, и в какой-то мере вероятная, раз он так сопротивляется. Ее болезнь в этом смысле почти загадочна.

Да, а о *настоящей* радости, которой хотел поделиться с вами обеими, не написал ни слова! Папина выставка в Берлине ² протекает блестяще и встречает баснословный прием. По моей давно забежавшей вперед просьбе, он выслал мне три газетных вырезки из лучших берлинских газет, при записке, прямо начинающейся восклицанием: «Успех небывалый!» Таким образом, мою стихийную, т. е. элементарную радость по поводу его победы сопровождает еще и другая, идущая от сознания того, как он, в таких летах, еще несогбенно молод, и как я, несмотря на мои годы, фатально стар, т. е. *добровольно* сед. Какое живое, почти детское по непосредственности *доверье к радости* сказалось в этих словах, в моей судьбе немислимых, даже и наедине с собою! Но за этой простой, молодящей параллелью вскрывается другой роковой пласт, и тут — только реветь да руками разводить. Дело в том, что он недооценивался всю жизнь и недооценен и по сей день настолько же, насколько меня преследует переоценка. Гордитесь, тетя, братом и своей костью, и давайте обнимемся и поплачем втроем.

Крепко тебя и маму обнимаю. Тудель-Дудель ³ — большой мальчик, чудной и занятный, который начинает явно умилять и меня. Тайно, разумеется, он и всегда так на меня действовал. Жени сейчас дома нет, она в клинике. Отправляю без ее приписки, последней дожидаться не скоро, сейчас же в особенности, когда ей действительно не до того.

Твой Боря.

102. В. П. ПОЛОНСКОМУ

2 ноября 1926, Москва

Дорогой Вячеслав Павлович!

Я не подводил Вас и ничего от Вас умышленно не таил. Вины, мне вмененной, я за собой не знаю. Но я доставил Вам неприятность и теряюсь от сознания, что мне ее не загладить. Вы проявили в суждении обо мне незаслуженную строгость. Я в отчаянии и три дня хожу, как больной. «Посвящение» прикрыто условностями формы из побуждений, до политики никакого отношения не имеющих. Сделанное поэту, оно отдано на волю случая, в предположении, что поэтами же и будет раскрыто ¹.

Теперь Вы утратили веру ко мне и в меня. Я так легко и быстро не могу расстаться со своею. Я вынужден верить Вам, что случай значителен, хотя все во мне против такой оценки восстает. Дольше пребывать в этой неясности я не в силах. Я умоляю Вас сравнить значительность инцидента с тем значением, которое имеет для меня и может не иметь для Вас мое отношение к Вам. Выбор этот в Вашей власти. И тогда либо *совершенно и безо всякого остатка* простите мне эту мелкую и роковую оплошность, либо же, при малейшем осадке личной горечи, совершенно пожертвуйте мною в пользу принципов, развивающих в обществе все большую и большую правдивость и ставящих меня, в их отраженном изображении, в положение вкрадчивого лгуна. Это — Ваше дело, категоричность же моей просьбы неосновательной претензии в себе не заключает: я всегда смотрел в глаза Вам так же прямо и с той же симпатией и безусловным уваженьем, как — серьезно, неслучайно и во всех отношеньях заслужено и мое посвященье Цветаевой.

Ваш *Б. Пастернак.*

2/XI/26

103. В. П. ПОЛОНСКОМУ

1 июня 1927, Мутовки

Дорогой Вячеслав Павлович!

У меня к Вам большая личная просьба. Введите, пожалуйста, в должное русло работу подателя, Н. Н. Вильяма, в «Большой Советской Энциклопедии». Я видел и знаю две его статьи для Словаря. Обе они удачны и содержательны. По моему мнению, для недоразумений, которые у него случились с заместителями П. С. Когана, не должно бы быть никаких оснований¹. Петр Семенович заказал ему статью о Гельдерлине на 6 000 знаков. Он статьей был удовлетворен. По отъезде Петра Семеновича при расплате Вильяму говорят, что о Гельдерлине была предположена статья лишь на 1 000. Статья о Верфеле встретила замечанья, которые просятся в ваш Скобеевский литературный ларек². Между тем у Вильяма работа выравнивается, он уже, и очень быстро, вошел

в требующийся тон. Его обязательно надо поддержать и, Вячеслав Павлович, очень *решительно*.

Жалею, что не увижу Вас на этих днях, по приезде.

Я ухожу, и на этот раз окончательно, из Лефа. Вероятно, я оформлю это в виде письма к В. В.³ Вы знаете, как я его люблю и продолжаю ценить, — метафизическим авансом. Вот часть письма, имеющая отношение к Вам и к статье. Вы должны мне оставить свободу ее толкованья, лишь под этим условием, даже при резкости, эта часть не только не обидна для вас, а может быть, даже и наоборот. Кроме того, таково и мое истинное пониманье. Дальше под словом «вы» надо, значит, разуместь Маяковского. Предшествует мотивировка выхода. *«Только вне лефовского пониманья поэта смею напомнить, что поэт не есть психологический тип, в своей общности реконструируемый из метафор, как из частных дознанья, и из образов, как из реальных стычек с людьми отдаленных эпох. Бессмыслица, проникающая значительную часть статьи В. Полонского в «Новом мире»⁴, не может не быть сознательной. Нельзя предположить, чтобы критик и редактор забыл о границе, отделяющей переносный смысл от — во всех отношениях — непереносного. Утверждаю, что этот вопиющий по своей рискованности выпад против сильнейшего, что есть в нашей литературе за последнее десятилетье, гораздо шире и больше того, чем он может казаться. Это не только правомерная самозащита человека, пользующегося оружием нападающих. Это защита всей литературы, всей той, среди которой числится и «Облако в штанах», от лефовских методов, не слышавших о таком произведении. Таким, каким Вы получились у Полонского, и должен выйти поэт, если принять к руководству лефовскую эстетику, лефовскую роль на диспутах о Есенине, полемические приемы Лефа, больше же и прежде всего, лефовские художественные перспективы и идеалы. Честь и слава Вам, как поэту, что глупость лефовских теоретических положений показана именно на Вас, как на краеугольном, как на очевиднейшем по величине явлении, как на аксиоме. Метод доказательства Полонского разделяю, приветствую и поддерживаю. Существованье Лефа, как и раньше, считаю логической загадкой. Ключом к ней перестая интересоваться».*

Разрыв этот для меня нелегок. Они не хотят понять меня, более того, хотят не понимать. Я останусь в еще

большем одиночестве, чем раньше. Буду в конце июня в Москве, хочу с Вами повидаться. Не оставьте Вильяма без поддержки. Крепко жму Вашу руку.

Ваш *Б. Пастернак*.

104. С. А. ОБРАДОВИЧУ ¹

29 августа 1927, Мутовки

Глубокоуважаемый тов. Обрадович!

При сем высылаю матерьял для альманаха, Вам на выбор. Его свободу я несколько ограничу. Тут вещи двух родов, чисто антологические и исторического характера. Страницы первого рода перенумерованы красным карандашом, страницы второго — чернилами. Их мешать нельзя, потрудитесь выбрать что-нибудь одно, либо то, либо другое. Если Вы остановитесь на антологических стихах, то попрошу Вас взять не меньше трех стихотворений, причем в таком сочетании: либо «Пространство», либо же «Приближенье грозы» (но никак не оба) с двумя какими-нибудь из ботанических в придачу ². Или же можно было бы пожертвовать «Любкой» как недоделанной, т. е., вернее, недописанной (отброшены две строфы, слишком сырые и темные), и тогда взять остальные четыре стихотворенья.

Стесняю Ваш выбор я, разумеется, не с тем, чтобы легче и скорей сбыть стихи,— Вы знаете, что их у всех нас отовсюду просят, значит, и от меня,— а потому, что одно отдельное стихотворенье, в качестве показательной единицы, ни во что не ставлю, и элемент неделимости, для данного случая наименьший, Вам назвал.

Если антологии Вы предпочтете стихи, более подходящие для октябрьского юбилейного сборника, то Вам придется взять все эти 135 строк полностью, да еще с условием, что они напечатаны будут только в том случае, если со стороны цензуры не будет предложено их сократить или что-нибудь выбросить.

Что бы Вы ни выбрали, я просил бы гонорару по три рубля за строчку, и если издательству это не по силам, то нам придется разойтись. По два рубля со строки я получал за «1905-й год», вещь в 2000 строк, полностью и без пропусков шедшую в «Новом мире». Это же вещи, которые пишутся со ставкой на сжатость, с отбором. Не смотрите на октябрьский матерьял, как на поэму. Это

я говорю Вам как товарищу и поэту. В моем понимании Октябрь шире того трагического пятиактного члененья, при котором событие, переживая катастрофу, годится в рельефные темы для самостоятельной вещи, выводящей это событие как лицо или как предмет, в его сменяющихся перипетиях.

Я привык видеть в Октябре химическую особенность нашего воздуха, стихию и элемент нашего исторического дня. Иными словами, если предложенные отрывки — слабы, то, на мой взгляд, исполнение этой темы было бы сильнее только в том случае, если бы где-нибудь, например, в большой прозе, Октябрь был бы отодвинут еще больше вглубь, и еще больше, чем в данных стихах, приравнен к горизонту и отождествлен с природой, с сырою тайной времени и его смен, во всем их горьком, неприкрашенном разнообразии. Вы легко догадаетесь, что предложенное — одна из попыток (и — первая) зафиксировать для себя и собрать воедино эту расплывчатую неуловимость, как бы впрок, для той более широкой переработки, о которой я сейчас сказал выше.

Стихов об Октябре к юбилею я не собирался вообще писать. С другой стороны, в прямейшие мои планы, не приуроченные ни к каким дням, входило провести свой материал, поэтический и повествовательный, именно через его атмосферу. На очереди у меня работа по продолженью «Спекторского».

Из всяких запросов и предложений одно Ваше, сверх уже раньше отклоненных и упущенных, — связано твердым сроком и, как будто, посвящено годовщине. И я имел, собственно, в виду ЗиФ, когда засел в последнее время за октябрьскую запись. Прибавлю еще, что ее конец выиграл бы, если бы у меня было время дать еще небольшую вставку (еще немного развить тему бытового преломленья и три-четыре строфы посвятить 2-му Съезду Советов). Так это я и предполагал, и, может быть, пропуск этот чувствуется во внезапности концовки.

Но я боялся задерживать Вас ответом. Поправлять ли это, и как (можно бы в корректуре), — я решить не могу до Вашего редакционного решения. В пятницу мне привезут почту из города. *Я очень бы Вас просил дать мне ответ до четверга* *. Простите, что стихи, против правила, написаны на обеих сторонах бумаги. Это из

* По городскому адресу: Волхонка, 14, кв. 9. (Примеч. Б. Пастернака.)

почтовых соображений, да и все равно их придется перепечатать. Не удивляйтесь также, что как будто обставляю все излишними усложнениями. Так, съездить самому в город и Вас повидать было бы всего проще. И если бы Вы знали, как меня туда тянет, хотя бы даже в эту самую сутолоку редакций, — ведь мы народ отравленный в этом отношении! Но я так напуган полосами совершенной бездеятельности или еще более частыми периодами вялой работы, что сейчас, когда мне вдруг стало работаться, я, преодолевая эту тягу по улице и телефону, умышленно и насильно решил отсидеться тут остающееся небольшое время. Да кроме того, до середины лета я с конца марта ничего не делал, и это надо нагонять. Жму Вашу руку. Всего лучшего.

Ваш *Б. Пастернак*.

105. В. П. ПОЛОНСКОМУ

19 сентября 1927, Москва

Дорогой Вячеслав Павлович!

Вероятно, я поздно хватился, и Вы даже при желании и готовности не успеете исполнить моей просьбы. Все же, на всякий случай, вот она. Не попадет ли Вам в Вене или Берлине стоящая и исчерпывающая книга о Рильке (с большим биографическим материалом) или люди сведущие, которые такую могли бы указать? Простите тут же неловкость, которую я сейчас же допущу. Зная Вас, я прошу Вас принять мою просьбу во внимание только при том условии, что это не будет подарком. Лучше сказать, достаточным подарком будет уже и то, что среди множества легко представимых забот и поручений Вы уделите долю времени и ей.

У меня есть весь Rilke, кроме двух книжек дешевой библиотеки. Inselbücherei: «Requiem» и «Marienleben»*. Если после книг, вышедших при его жизни, появились какие-либо посмертные, т. е. какой-нибудь «Nachlass»**, то нет у меня и этого последнего. За эти пополнения был бы Вам также глубоко благодарен. Из книг же о Rilke есть у меня: книжка Faesi сборник французских писателей «Reconnaissance à Rilke» («Cahiers du

* Книжки издательства Инзель: «Реквием» и «Жизнь Марии» (нем.).

** «Наследие» (нем.).

mois») * и сборничек издательства Inselverlag под названием «Insel Schiff» **. Однако все это совсем не то, чего хочется и что, по всей вероятности, уже о нем имеется в немецкой печати.

Только вчера мы переехали с дачи. От Я. З.¹ узнал о громадной работе², чудесно исполненной Вами в такой невероятно короткий срок. Тем глупее чувствую себя я при сознании, что три с половиной месяца провел в прекрасной местности без видимой пользы. То немногое, что я сделал (несколько небольших стихотворений и небольшой набросок, имеющий отношение к Октябрю³, но абсолютно не тематический и очень слабый), я отдал в ЗиФ и «Звезду».

Я боялся впечатленье, что Вы так благоволите ко мне, что любая дрянь моя находит всегда гостеприимный кров «Нового мира», и чтобы себя и Вас избавить хоть на время от этой тени, направил свои предложенья в другие места, затруднив соглашенья повышенными требованьями гонорара. Однако их сговорчивость превзошла все мои ожиданья, и после этого опыта совесть моя в отношении Вас и себя много чище и легче.

Страшно рад за Вас. Поработать с таким успехом и пользой в поездке это ведь одна из тех радостей, которые граничат с выигрышем в лотерею. И как Вам, наверно, ездится при таком «fesi» ***, дающем полный нечеловеческий отпуск Вашим глазам и ушам!

Крепко жму Вашу руку.

Ваш *В. Пастернак.*

106. А. М. ГОРЬКОМУ

10 октября 1927, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю Вас за письмо. Ваше обещанье сообщить мне дальнейшие подробности относительно перевода «Д<етства> Л<юверс>»¹ смутило меня до крайности. В неловкости, которое оно для меня несет, я не повинен. Неужели не найдется никого другого, кто бы это сделал вместо Вас? Ваш рабочий день для всех

* «Памяти Рильке» («Ежемесячные тетради») (фр.).

** «Корабль издательства Инзель» (нем.).

*** «сделал» (лат.).

нас драгоценен. Легко вообразить, сколько на него делается отовсюду покушений. Вы у всех на виду и, вероятно, связаны дружеской перепиской с лучшими людьми мира. Вы в родстве и перекличке с крупнейшими его событиями. Можно догадаться, с какой бесцеремонностью и в каком числе забрасывают Вас всякими просьбами и вопросами отсюда. Ведь каждый тысячный считает себя первым и единственным, произведения же Ваши, обращенные к человеку без обиняков и околичностей, вероятно, развязывают в русском читателе его исконную сущность, и он, «*тоже*» не чинясь и точно делая Вам этим честь, тотчас лезет к Вам в прямые себе-седники. К этому надо прибавить Вашу удивительную отзывчивость и редкую заботливость о людях, примеры которой и у меня перед глазами. — Пополнять эти ряды, даже и с Вашего согласия, я считал бы преступлением. Ради бога, бросьте мысль о «*Детстве Люверс*» и в том случае, если только этой мысли я и обязан переводом вещи.

Выставляя себя таким неприятельным, я себе как будто противоречу. Я послал вам книжку², и, м. б., на Ваш отклик рассчитывал. Но вот и точные границы моей претензии. Я не мог не послать ее Вам. О посылке Вам первому и более, чем кому-либо другому, именно этой книги я мечтал, когда еще только собирал ее для отдельного издания. Определяющие мотивы этой мечты мне хотелось выразить в надписи Вам, но, м. б., это не удалось мне. Взволноваться вами как писателем особой заслуги не составляет. Проглотить в два долгих вечера «*Артамоновых*», не отрываясь, это *только* естественно для всякого, кто не кривит натурой и не создал себе искусственной чувствительности взамен природной и наличной. Однако эта естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности Вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению. Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее *правда*, если бы в русской истории не было Вас. Вне Вас, во всей плоти и отдельности, и вне Вас, как огромной родовой персонификации, прямо открываются ее выдумки и пустоты, частью приобщенные ей пострадавшими всех толков, т. е. лицемерничающим поколением, частью же перешедшие по революционной преемственности, тоже достаточно фиктивной. Дышав эти десять лет вместе со всеми ее обязательной фальшью, я постепенно думал об

освобождении. Для этого революционную тему надо было взять исторически, как главу меж глав, как событие меж событий, и возвести в какую-то пластическую, не-сектантскую, общерусскую степень. Эту цель я преследовал посланной Вам книгой. Если бы я ее достиг, Вы скорее и лучше всякого другого на это откликнулись. Вы о ней не обмолвились ни словом,— очевидно, попытка мне не удалась. Еще раз горячо благодарю Вас за письмо. Трудно говорить о неудаче без некоторой печали в голосе. Но Вы бы ее только усугубили, если бы в моих последних словах прочли что-либо подобное упреку. Откуда и быть ему. Не сердитесь на неприлично-скупую запись полей.

Глубоко Вам преданный *Б. Пастернак*.

107. А. М. ГОРЬКОМУ

13 октября 1927, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Приехала Ан. Цветаева¹, и я спешу загладить несколько оплошностей, допущенных во вчерашнем письме по незнанию. Прежде всего я глубоко признателен Марии Игнатьевне² за перевод «Люверс». На эту тему я говорил, как о какой-то далекой, заокеанской вещи. Ничего дурного я этим не сказал, но именно в этом упоминании факта, находящегося под Вашей крышей, в холодно-неопределенном тоне безразличного неведения и заключена неловкость, и Вы мне ее простите. Об этом же прошу и Марию Игнатьевну.

Ан. Ив. передала мне вскользь и Ваше впечатление от «Девятьсот пятого года». Мое предположение подтвердилось, и если бы я об этом узнал вчера, я бы его не стал высказывать Вам в виде догадки. Я знаю, как неприятно бывает говорить человеку, что его работа не годится или тебе не нравится. Как ни счастлив я был бы получить от Вас еще одно письмо, я еще более хотел бы Вас уверить в сказанном уже вчера. Среди случаев, когда Вы жертвуете своим временем и силами в чужую пользу, попадают и стоящие, серьезные. Мой пока не из таких. Я не жду от Вас ответа. Если в нем явится неизбежная и крайняя надобность, я сам Вам об этом напишу.

Еще одна неотложная поправка. Не понимаю, как это могло случиться. Цветаева и Зубакин³, между прочим, как-то рассказывали Вам о моем жите-бытье. В том бедственном виде, в каком они Вам его представили, оно было года два еще назад, однако от этих трудностей теперь ни следа не осталось. Переменой этой я как раз и обязан «1905-му году». Теперь я не только не нуждаюсь, но иногда имею возможность помогать и другим в нужде. В этом неприятном недоразумении кругом виноват я. Очевидно, я не умею с таким же красноречием радоваться удачам, с каким, видно, жалуясь на препятствия.

Алексей Максимович, оснований моей душевнейшей благодарности Вам — не перечислить. Иных я и не вправе касаться. Горячо Вас за все благодарю. Кроме того, кто еще лучше Вас знает природу прямых человеческих связей и их дальнейших случайных ветвлений! Поэтому я ложных сближений на мой счет с Вашей стороны не боюсь.

В том узле лиц и фактов, которого Вы с таким великодушием этим летом коснулись, важно и близко мне огромное дарование Марины Цветаевой и ее несчастная, непосильно запутанная судьба. Существенная и в отдельности, Ан. Ив. во многом родная сестра ей. Вот и все, поскольку может быть речь обо мне. Роль же и участь первой, то есть М(арины) Ц(ветаевой), таковы, что если бы Вы спросили, что я собираюсь *писать* или *делать*, я бы ответил: все, что угодно, что может помочь ей и поднять и вернуть России этого большого человека, м. б., не сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее, обратно. — Я не имел еще возможности прочесть «Жизнь Клима Самгина». Это моя ближайшая мечта. Если разрешите, я запишу то, что эта книга во мне вызовет.

Преданный Вам *Б. Пастернак*.

108. А. М. ГОРЬКОМУ

25 октября 1927, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю Вас за письмо¹, — на него надо бы отвечать телеграммой из одних коротких, порывистых глаголов. Вы знаете, что меня им осчастливили, — так

и писали. Оттого я и был неуверен насчет вещи, и Ваше недовольство ею представлялось мне легко вероятным, что ради нее я покинул привычную мне область неотвязной субъективности: Вы же прежде всего огромный художник, и, следовательно, неумеренный, неловко ученный или плохо пережитый отход от нее (как бы *частная* форма этой субъективности ни была вам далека) мог Вас оттолкнуть как ложное *вообще* творческое поползновение. Но, значит, это не так, и радости моей нет конца.

Письмом вашим горжусь в строгом одиночестве, накрепко заключаю в сердце, буду черпать в нем поддержку, когда нравственно будет приходиться трудно.

Пишу сейчас, потеряв голову от радости, точно пьяный, — не мой почерк, и, наверно, пишу нескладницу; не судите сегодняшних моих слов литературно.

Ради Бога, не пишите мне, не тратьте на меня время и не создавайте мне праздника на самых буднях. Когда надо будет, я сам, нарушая эту просьбу, Вас о том попрошу.

Цветаева рассказывает о Вас с большим упоением, с глубиной, со способностью постижения и с хорошей, никого не унижающей, преданностью. Зубакина не видал, но о роде нашего знакомства Вы успели догадаться по моим умолчаниям. Теперь, после Ваших слов о нем, не будет с моей стороны предательством, если я скажу, что встреч с ним избегаю давно и насколько возможно. Я не знаю, что Вы разумели, назвав его аморальным. Надо сказать, что о нем ходит сплетня, определенно вздорная, и мне кажется, что он сам ее о себе распускает. Я почти убежден в этом, да это и в духе его психологического типа. Ведь весь он из алхимической кухни Достоевского, легче всего его себе представить в Павловске на даче у Мышкина. Это надо сказать в его защиту. Он очень изломан, но никакою подлостью ни в малейшей мере не запятнан. Я избегал его не из-за этих слухов, а оттого, что всякая встреча с ним ставит в нестерпимое положение особой двойственности. Человек ведет себя так, точно он призван *только* поражать и нравиться (если такое призвание вообще мыслимо!!), а между тем менее всего в *естественную тайну* настоящего воздействия посвящен. Будто он никогда и не нюхал того, чем сам хочет пахнуть. Мы даже никогда не знакомились с ним. Он мне однажды *представился*, с визитной карточкой и чепухой, точно выскочив на пружине из тре-

скучей потешной коробки. Между тем даже и этот скачок уже поражал какой-то несоответственностью, глубоко меня переконфузившей. По всему смыслу его подорожной, т. е. его склонностям и притязаниям, менее всякого другого ему было позволительно выскакать из коробки. Избытком треска одно время, под его вероятным влиянием, страдала и А〈настасия〉 И〈вановна〉.

Простите меня за это путаное письмо и по его беспорядку судите о действии Вашего одобрения. От всего сердца желаю Вам всего наилучшего и легких, больших дней.

Ваш Б. П.

109. А. М. ГОРЬКОМУ

27 октября 1927, Москва

27.X.27

Дорогой Алексей Максимович! Зачем Вы так безжалостно бросаете меня из крайности в крайность? ¹ Как хорошо, что я вчера успел дать волю своей радости, недаром меня тянуло к телеграмме; как трудно было бы мне это сделать сегодня! За что Вы обрушились на А. И., между тем как источник Вашего гнева лежит, по-видимому, в моем письме, в какой-то его черте, мне неведомой, и навлекшей Ваше негодование на людей неповинных? Но хотя это сознание вины перед ними и Вами меня не оставляет, однако я ума не приложу, в чем мне оправдываться. Все письма, кроме вчерашнего, взволнованно беспорядочного, я писал Вам в состоянии признательной сосредоточенности, с наивозможнейшей точностью, к которой обязывает забота о том, чтобы на Вас не нависало хвостов из неясностей, домыслов, возможностей и вопросов и чтобы Вам не казалось, что их надо разбирать, приводить в действительность, дарить ответом.

Только стремление к этой исчерпанности, избавляющей Вас от траты времени, и вызвало у меня второе письмо вдогонку первому, потому что ведь ничего дурного, требующего других каких-нибудь поправок, ушедшее письмо не заключало. Но вот оно ушло, и в тот же день, — каков бы сам по себе он ни был, — приехал живой человек от Вас ². Мог ли я оставить Вас, большого, поглощенного заботой о людях и непомерно занятого человека, с моими предположеньями, после того как,

правильно или нет, он мне их подтвердил? Ведь от ответа, воспользовавшись его обходимостью, я бросился бы Вас избавлять и в том случае, если бы он эти предположенья не подтвердил мне, а рассеял. Ясно, что никакой эквивалент Вас заменить не может, что мало таких вещей, которые в полном смысле можно сделать *за Вас*. Ясно также, что, не говоря уже о письме, один Ваш автограф — бесспорная ценность, как ее ни понимать и какого употребления из нее ни делать.

Однако вот ведь всякое мое обращение к Вам я заканчиваю постоянною просьбой *не писать мне*. Кстати, верите ли Вы в действительную искренность моих слов, в полное их соответствие моим мыслям и желаньям? Странно, Вы можете что угодно сказать о моих вещах, о моем литературном складе, Вы всего меня можете заключить в какие угодно кавычки, но допустите только, что Вы мне не верите, и это разом выпрямит меня нравственно и заставит сказать Вам, что эту же недоверчивость Вы наблюдали в Толстом, что это — профессиональная подозрительность романиста, мне очень знакомая и, пусть это не смешит Вас, побежденная мною в первом зачатке.

А от Ваших ответов и связанной с ними радости я добровольно отказываюсь еще и потому, что помимо переписки существует жизнь, не в смысле страстей и характеров, а в смысле истории, т. е. широко и досуже сплутывающегося и *распутывающегося* времени. Разве исторические силы, которым Вы дали выраженье, не в переписке с моей судьбой? Разве огромное, сложившееся Ваше *поведенье* не переписывается с моим, складывающимся и выясняющимся?

Нет, как поэт, я нисколько не «начинающий»³, как Вы это сказали (но *ей-Богу* не обидно!), но для того чтобы приносить пользу, нужен *авторитет*, — и тут я, конечно, еще совершенный щенок. Между прочим, *этим* кругом интересов я обязан Вам, как и строю мысли о русской истории, о своеобразной миссии и судьбе интеллигенции и прочем. Тут на моих взглядах и, главное, — *склонностях* сильнейший отпечаток Вашего именно влиянья.

А теперь о лицах, Вами затронутых. Допущенная Ан. Цветаевой неточность, основанная на произвольно истолкованной недомолвке, по-моему, не из тех вещей, которые заслуживают таких возмущенных кавычек. А вокруг них ведь и собралось Ваше негодование, и от

них распространилось дальше, по пути захватывая имя за именем, положение за положением. Ее ошибка, конечно, огорчила меня, но трудно сказать, как огорчили меня Вы, придав ее оплошности такое значение. Я рад, что в прошлом письме успел сказать, как она говорит о Вас, т. е. как живы и высоки Вы в ее мыслях. И так как ничего, кроме рудимента, т. е. простого благородства и порядочности, мы в виде нормы с людей спрашивать не вправе, то она абсолютно перед Вами чиста. Другой вопрос — безотносительная ценность людей на наш глаз и мерку.

Тут мне и хочется Вас спросить: зачем все это о Цв(етаевой) и Зубакине ⁴ *знать мне, за что Вы на меня именно взвалили это бремя?* Ведь все это было и остается Вашим делом. Ведь вниманья Вашего к Зубакину и через него к Цветаевой я не мог счесть досадною странностью: зная Вас, я не мог этого себе позволить. Объяснения этой неожиданности я охотнее искал в чем угодно другом: в моей, может быть, недооценке Зубакина, в Вашей доброте, в готовности пригреть человека и поставить его на ноги.

Видимое расхождение наших взглядов, в особенности, на З., я, как мог, поспешил свести к очевидной несоизмеримости наших альтруистических ресурсов, в особенности же потому, что на Ваше приглашение смотрел, как на рождественскую сказку, вкус же к таким метаморфозам прямо у меня связан с тем чувством к людям, которое сами Вы во мне Вашей деятельностью воспитали. Я душой радовался их поездке, как чуду, свалившемуся с неба. Я ни единым помыслом не смел вмешаться в эту историю, и более того: я как неизбежность переварил и наперед спустил Зубакину весь тот мыслимый вздор, который он по своей природе обязательно должен был удручающе нагородить у Вас *и на мой счет*. За них у меня не было тревоги, потому что прямого интереса к З. как к писателю я в Вас не предполагал и иначе понял Ваше движение; за себя не тревожился, потому что помимо слов, Зубакинских и всяких, есть жизнь и время, все ставящее на должные места, — тревожиться за Вас мне не приходило в голову. Итак, вмешательству моему не было ни повода, ни причины. И вот, во все это меня вмешиваете Вы, и на каком тягостном переломе всего эпизода!

Ну что мне теперь делать?

Вправе ли я оставлять в полном неведении Ан. Ив.—

ну, за которую мне больно, потому что для меня это ничуть не писательница, не неоформленная претензия, ничего такого, а просто человек и друг, и, в настоящих границах, — достойный?

Вправе ли я, при моем отношении к Вам, оставлять Зубакина при его иллюзиях, или, в уважение к Вам, надо будет открыть глаза и ему, когда меня с ним столкнет первый случай. Как мне себя вести? Связываете ли Вы меня этим письмом или даете мне свободу. Я в полной неизвестности и, как видите, первым делом считаюсь с Вами. Но тяжелой миссии этой я не заслужил, и не знаю, зачем Вы меня в это положение поставили.

Однако есть дело, в которое я теперь не могу не вмешаться, не дожидаясь Вашего решения. Позвольте мне говорить со всей откровенностью. Я знаю, что это — в какой-то мере — тайна, которую я вправе знать, но которой не должен касаться. Но как мне выйти из этого круга с соблюдением всех градусов и ничьих запретов не нарушая!

Итак, я прорываю его. Я говорю о новом примере Вашей отзывчивости, о деньгах для М(арины) Цв(етаевой). Дорогой, дорогой Алексей Максимович, знайте, никакая фамильярность или задняя мысль относительно Вас с моей стороны немислима! Ничего, кроме желанья простоты и блага, моя просьба не содержит. Вы меня осчастливите, если ее поймете и ей последуете. Вот она. Я умоляю Вас, откажитесь вовсе от денежной помощи ей, неизбежной тягостности в результате этого ни Вам, ни М. Цв. не избежать! В этом сейчас нет острой надобности. Мне удалось уже кое-что сделать, м. б., удастся и еще когда-нибудь⁵.

Я страшно устал за этим письмом и, верно, не меньше того утомил Вас. Простите.

Заключу вынужденно лаконично. Я люблю Белого и М. Цветаеву и не могу их уступить Вам, как никому никогда не уступлю и Вас. —

Письмо это попробую послать возд. почтой. Если удастся, то оно опередит то, на которое я ссылаюсь, как на вчерашнее. «Клима Самгина» буду ждать с благодарностью и нетерпением.

Глубоко преданный Вам

Б. Пастернак.

15 ноября 1927, Москва

15.XI.27

Просьбу о М〈арине〉 Ц〈ветаевой〉 мне внушило одинаково сильное чувство к Вам и к ней. Высказывая ее, я настолько был убежден, что истинные ее мотивы дойдут до Вас во всем чистосердечьи, что видимая нескромность дела меня не испугала.

Вчера я получил Ваше письмо с предложением не писать Вам больше¹. С нынешней Вашей суровостью, впервые обращенной непосредственно ко мне, мне легче, чем с той косвенною, которая меня так взволновала. Тогда мне пришлось переживать за других. При этом я не мог не дать лишку. Что-то подсказывало мне, что в замкнутости переписки, т. е. *наедине с Вами*, долг мой — вступить за них, а не подхватывать Ваше негодование. В последнем случае я бы их предал, хотя бы потому только, что Вы бесконечно сильны, а они слабы. Неужели на моем месте Вы поступили бы иначе?

Или вот еще что, — с этого ведь все началось. Ради Бога, Алексей Максимович, станьте на мое место. N. N. превратно передает мне Ваше мнение о вещи, меня кровно касающейся (о «905-м»)². Из радости получается огорченье. Потом все разъясняется, радость двойная, и ей нет границ. И вот в самый ее разгар получают Ваши раздраженные строки об оплошности этой N. N. Ну что бы Вы стали делать в моем положении? Разделили бы это раздраженье против N. N. или, как лицо замешанное, как невольный и несчастный повод, всеми силами этому раздраженью воспротивились?

В заключение за все это поплатился я. Хочется верить, что запрещенье Ваше временно и Вы когда-нибудь его с меня снимете. А пока подчиняюсь ему. Вы хорошо знаете, как это меня огорчает. Однако либо этого не было и у Вас в мыслях, либо довольно и того, что я этому не подавал оснований, но *обиды в мое огорченье* никакой не замешалось. Я только получил письмо с дурною *вестью* от Вас и в меру ее и опечален.

Неизменно преданный Вам

Б. Пастернак.

P. S. Я еще раз писал Вам, в первых числах месяца. Вероятно, письмо пропало. Хотя там прямых извинений

не было (п. ч. ни в чем перед Вами не виноват), но истерическим свое предпоследнее письмо признал в нем и я.

Получив его, Вы меня бы, вероятно, пощадили. Мне оно было дорого другой стороной, и жалко, что не послал его заказным.

Ваш Б. П.

111. С. Д. СПАССКОМУ¹

15 ноября 1927, Москва

15.XI.27

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Первым делом не сердитесь на меня и не стройте насчет себя, меня и наших отношений каких-нибудь несоответственных предположений. Как только Вы вышли от меня, я сел читать Вашу поэму². Это объясняется не моей добротой, а моим интересом к Вам и качеством Ваших работ. Я мог бы Вам тогда же и написать и исполнить свое обещание (выслать рукопись). Мне помешала некоторая неясность сюжета. Я решил еще раз перечитать ее. Но до сих пор мне этого не пришлось сделать. Я по горло завален письмами и всякими чужими путаницами, которые мне приходится распутывать. Время совершенно не принадлежит мне, и мне почти не удается работать. Читаю Вашу «Историю»³ в Кр. Нови. Стихи эти мне очень близки.

Ваш Б. П.

112. А. М. ГОРЬКОМУ

16 ноября 1927, Москва

16.XI.27

Дорогой Алексей Максимович!

Простите, что после вчерашнего обещанья вновь Вам навязываюсь. Но дело вот в чем. М. б., в прошлых письмах к Вам мне случилось обмолвиться, что Ваших писем я не только никому не показываю, но даже и не рассказываю о них, гл. образом лицам, в них названным. Так было до нынешнего дня, когда Ан. Ив., с выпиской из Вашего последнего письма к ней (с ссылкой на мою бестактность), попросила у меня объяснения относительно всего происшедшего. Я вынужден был кое-что ей расска-

зять, т. е. мне пришлось, ввиду Вашей ссылки на меня, отступить от своего намеренья сохранить всю эту путаницу в тайне. Я рассказал ей только самое необходимое. О недоразуменьи, порожденном ее неудачной передачей Ваших слов, о том, как меня огорчило Ваше возмущенье этим, о неудаче моей попытки вступить за нее и разорвать другой клубок, смотанный ею или Зубакиным вокруг М. Ц., и наконец о том, чем все это кончилось для меня. Я ей также привел свои слова о З., я не забыл этого сделать. Последнее ее очень огорчило.

Вы знаете, фатальной моей ошибкой было то, что я вмешал их в мои письма. С другой стороны, это было естественно, они приехали прямо от Вас, я ничего еще не знал.

Если мне суждено когда-нибудь опять прийти Вам на память, мне хотелось бы, чтобы Вы вспомнили обо мне в совершенной отдельности от кого бы то ни было и каких бы то ни было происшествий. Вы знаете, что я ни в чем не виноват, всего же менее в томительном однообразии темы, которой мне пришлось, скрепя сердце, подчиниться, как несчастной случайности, разраставшейся от письма к письму.

Ваш *В. Пастернак.*

Совершенно убийственна мысль, что все началось для меня с ничем не сравнимой Вашей внимательности (известие о переводе), и дальше, слепо следуя желанью оградить Вас от лишних слов, заменимых движений и ненужной траты времени, я роковым образом пошел по направлению, докучному для Вас, двойственно-мучительному для меня, и так блестяще отблагодарил Вас за тепло и ласку. Однако благодарность моя по-прежнему велика и ничуть не стала меньше от того, что Вы не захотели понять меня. Я счастлив, что узел Вы разрубили именно на мне. Всего меньше минутных случайностей повлечет за собой удар по этому месту.

Ваш *В. П.*

113. А. М. ГОРЬКОМУ

23 ноября 1927, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

В последний раз нарушаю Ваше запрещение, следуя побуждению несравненно сильнейшему, чем до сих пор. После этого раза я все равно бы надолго замолк, и без

Вашей просьбы. Ко многому из того, что я постараюсь тут сказать Вам, я был готов наперед. Но я не мог предвидеть, что растяну и частью разорву себе плечевые связки на левой руке, что необходимость полной и продолжительной неподвижности, выведя меня из привычного строя, даст мне случай прочесть «Клима Самгина» почти без перерыва и что писать я об этом буду, превозмогая отчаянную физическую боль.

Прежде всего горячее и восхищенное спасибо Вам за всю громадную 5-ю главу, этот силовой и тематический центр всей повести. Чем она замечательна помимо своей прямой, абсолютной художественности? Характеристика империи дана в ней почти на зависть новому Леонтьеву, т. е. в таком эстетическом завершении, с такой чудовищной яркостью, захватывающе размещенной в отдалении времен и мест, что образ непреодолимо кажется величественным, а с тем и прекрасным. Но чем более у него этой неизбежной видимости, тем скорее он тут же, на твоих глазах, каждой строчкой своей превращается в зрелище жути, мотивированного трагизма и заслуженной обреченности. Именно неуловимостью атмосферных превращений этого удушья, с виду недвижимого (почти монументального), и потрясает эта глава и остается в памяти. И я не о Ходынке только. Исход романа Клима с Лидией, как одновременность, тоже треплется, сыреет и сохнет на том же воплощенном воздухе. Этим и гениальна глава, то есть тем, что существо истории, заключающееся в химическом перерождении каждого ее мига, схвачено тут, как нигде, и передано с насильственностью внушения.

Странно сознавать, что эпоха, которую Вы берете, нуждается в раскопке, как какая-то Атлантида. Странно это не только оттого, что у большинства из нас она еще на памяти, но в особенности оттого, что в свое время она прямо с природы изображалась именно Вами и писателями близкой Вам школы как бытовая современность. Но как раз тем и девственнее и неисследованнее она в своем новом, теперешнем состоянии, в качестве забытого и утраченного основания нынешнего мира или, другими словами, как дореволюционный пролог под пореволюционным пером. В этом смысле эпоха еще никем не затрагивалась. По какому-то странному чутью я не столько искал *прочитать* «Самгина», сколько *увидать* его и в него взглядеться. Потому что я знал, что пустующее зияние еще не заселенного исторического фона

с первого раза может быть только заброшено движущейся краской, или, по крайней мере, так его занятие (окупация) воспринимается современниками. Пока его необитаемое пространство не запружено толпящимися подробностями, ни о какой линейной фабуле не может быть речи, потому что этой нити пока еще не на что лечь. Только такая запись со многих концов разом и побеждает навязчивую точку эпохи как единого и обширного воспоминания еще блуждающего и стучащегося в головы ко всем, еще ни разу не примкнутого к вымыслу. Благодаря тому, что современный читатель хотя бы в этой памятной причастности притянут к душевному поводу произведения, он его оценивает в некотором искажении. Он недооценивает его сюжетности и порядка. М. б., он переоценивает его историчность, т. е. какую-то предварительность, в чей-то или какой-то прок и не догадывается, что в этом ощущении сам он, читатель, чувствует впрок *потомству*. Он забывает, что следующее же поколение воспримет Самгиных и Варавку, т. е. оба этажа первой главы и неназванный город кругом дома как замкнутую самоцель, как пространственный корень повествования, а не как первую застройку запущенной исторической дали, не как явочно-случайную запись белого анамнестического полотна. Однако аберрация современников так естественна, что, не гнушаясь ею, позволительно судить даже под ее углом. Даже в том случае, если допустить, что работа сделана во облегчение чьего-то нового приступа (пускай и вашего, во второй, м. б., части), Ваш подвиг не умалется в своей *творческой колоссальности*, т. е. в каком-то элементе, который я бы назвал *поэтической подоплекой* прозы. Какова же радость, когда за пятой главой вдруг открывается, что она-то и является этим отнесенным в даль гаданий новым приступом, когда видишь, что он уже сделан. — Мне сейчас очень трудно писать, да, вероятно, не легко и думать, потому что по ночам я не сплю. «Самгин» мне нравится больше «Артамоновых», я мог бы ограничиться одним этим признанием. Однако, вдумываясь (просто для себя) в причины художественного превосходства повести, я нахожу, что ее достоинства прямо связаны с тем, что читать ее труднее, чем «Д(ело) А(ртамоновых)», что, обсуждая вещь, с интересом и надеждой тянешься к оговоркам и противоположениям, короче говоря, высота и весомость вещи в том, что ее судьба и строй подчинены более широким и ос-

новным законам духа, нежели беллетристика бесспорная.

Отнюдь не в пояснение сказанного, но просто по невольности, с какой это мне припомнилось, расскажу другой случай. По тому, как тут носились с «Митиной любовью»¹, по сознанию того, что может написать Бунин, и по многому другому, я начал читать книгу с понятным волнением, наперед расположенный в ее пользу. Красота изложения, наполовину бесследно прошедшая мимо меня, оставила во мне отзвук *пустоты* и психологической загадки. И это после всего! После всего, перенесенного хотя бы автором, нет — именно им! Не поймите меня превратно. Не сюжет наперед я навязывал ему или разочаровывался выбором темы. Нет, нет. Героя и его чувство разом я принял с благодарностью как данность, в смутно нетерпеливом предвидении того, чем будет автор в дальнейшем мерить жизнь, и как трактовать ее фатальность. Я простил бы ему сколь угодно чуждый комментарий, объяснимый биографически, я ждал, что разверзнутся небеса и устами писателя заговорит онтология средневековья; я ждал, что на меня пахнет *хоть чем-нибудь* из того, чего недавно нельзя было позволить себе здесь и что огульно, на круг, называют мистикой или идеализмом. Я не требовал от него историзма в смысле глубокой и далеко идущей летописности, но то, что он, историк, «обыкновенные истории» продолжает рассказывать так же, как во времена, когда об их прямом родстве не догадывались, это было неожиданностью полной, решающей и разочаровывающей вчистую.

Не могу больше писать и сейчас брошу. Я не знаю, близки ли будут Вам мои слова о «Самгине», и скорее думаю, что весь круг моих рассуждений Вам чужд и ничего Вам не скажет. Вы как-то ложно воспринимаете меня, но, как я уже сказал, я знаю, что это выправится в свое время. Но у меня к Вам есть просьба. Не отказывайтесь от обещания и пришлите мне «Клима Самгина». Пожелайте мне чего-ниб. хорошего в надписи, пусть это будет даже нравоучение. Это было бы огромной радостью для меня. И горячее спасибо за прочитанное.

Ваш Б. П.

Прочитав, вижу, что изложил ничтожную долю того, что хотел сказать. И вообще не умею писать письма.

21 декабря 1927, Москва

21.XII.27

Дорогой Алексей Максимович!

Простите, что, не находя другого выхода, воспользуюсь В<ашим> адресом для пересылки письма Асееву¹. Он до сих пор не сообщил мне своего, а между тем у меня залеживается его телеграмма, на которую надо ответить. В письме к нему я попрошу его сообщить свой адрес, и возможностью Вашей передачи больше злоупотреблять не буду.

Я знаю, что написал Вам глупости о второй части «Самгина». Когда Вы были больны, я еще не слышал, что она уже написана. Случиться это могло оттого, что я живу дикарем и никуда не хожу. Но Вам, наверное, смешно было читать эти на год запоздавшие пожеланья. О существовании второй части узнал сравнительно недавно, т. е. недели две тому назад. Когда мне стало известно, что вторую долей она пойдет в «Красной нови»², это сразу определило мое отношение к новой редакции³.

Вообще говоря, у меня лично не было причин относиться к ней враждебно. Кое-кто из ее состава даже заслуживает симпатии. Воронский никогда особенно не жаловал меня, и при всем искреннем моем к нему уважении я не люблю людей, полагающих, что они сами недостаточно типичны, и находящих в искусственном усилении типа некоторую защиту от жизни или облегчение ее трудностей. У Вас в «Самгине» эта черта или очень близкая восхитительно воплощена в писателе-народнике, которого Вы сравниваете с кормилицей. Воронский падок на этот жанр, и вообще, валяние дурака распространено у литераторов и считается признаком сырой и широкой монументальности. Между тем этот Малый театр доступен всякому, не вовсе уже обиженному Богом, и данные для него всегда приходят с третьей рюмкой.

Однако, несмотря на все это и совершенную малозначительность тех форм, в которые вылилось осуждение расправы с Ал. Конст., было что-то примитивно благородное в несговоренной общности, с какой это производилось.

Долгое время я от участия в новой «Кр. нови» воздерживался. Можно радоваться, что это чуранье кончи-

лось ⁴. Пользуясь Вашим сравнением, скажу, что оно начало вырождаться в очень глупый и длительный воспитательный дом.

От души желаю Вам и всем Вашим веселых праздников и хорошей встречи Нов. года.

Преданный Вам

В. Пастернак.

115. Н. Н. АСЕЕВУ

21 декабря 1927, Москва

Дорогой Коля!

Я не так виноват перед тобой, как тебе покажется. Когда я дал согласие переслать тебе оставленные деньги, я имел в виду способ сложный, обменный, ты знаешь какой, а не прямую пересылку через банк, которая, помимо чудовищной хлопотливости, еще и попросту в ближайшие месяцы, до краев расписанные очередями, неосуществима. Итак, лежат они у меня и ждут тебя или твоих распоряжений, более мыслимых. Собака ты, конечно, что не написал мне до сих пор. Прислал хотя бы открытку с адресом. Впрочем, не убивайся, упрек бесстрастный и незначащий, я наперед знал, что так будет, да и сам бы на твоём месте так же себя вел. — У нас тут чудесные трескучие морозы и есть на что глядеть из окна. Не скучаю среди полосы семейного гриппа, которую открыл сам, как глава. Близится Рождество, на всех углах косматятся костры, видно, как дышат на улице безумцы со свертками, и так как даже и лошади стали трубачами, то весь кусковой воздух кажется мороженой музыкой, помешавшейся на орехах, яблоках и стеарине. Новый год хочу встретить с Володей ¹. Я хочу испытать, могу ли я еще его любить, как хотел бы, и по силам ли ответное чувство ему.

Нелегко среди «хороших людей», в большинстве самозванных. Ими, без кавычек, должны были бы быть вы, и черт вас поймет, почему вы предпочли быть мерзавцами по праву ². Может быть, ты вспыхнешь от последнего слова, найдя, что и шутке есть мера, но разве это не так? Конечно, не все в жизни логично и течение лет скорее дано не на решение задачи, а на изложение, на выписку ее распираемой недоуменьями формулы, которую решают поминатели, как бы низко или высоко и где

бы именно ни стоял поминаемый. То есть я говорю не о слове, а о рядовой памяти переживающих, об Иване Ильиче³. Я знаю, что клубок моих недочетов, недоотвлеченностей и прочих свинств в отношении тебя разорвут, распутают и объяснят другие. Моя дружба с тобой и в прошлом и сейчас одинаково естественна и фатальна, и вот не из одного же только благородства ты мне не колешь глаз тем, что я тебя меньше радовал, чем огорчал. Но не этих роковых слоев я касаюсь. «Понедельничная» деятельность проходит без метафизики, о ней можно было бы говорить логичней. Ну не безумье ли, что у нас нет журнала, от которого молодежь теряла бы голову и который чем-то напоминал бы праздничную стужу, как напоминало ее все то, к чему прикасались, когда-то, *такие же, как мы*, Белый и Блок. Помнишь?

Впрочем, и эти вздохи у меня тоже незначачи и бесстрастны. Все это, верно, порядком надоело тебе. Однако будь благодарен, что я письмом тебе напомнил, как тут тесно, бесплодно и накурено. Тем радостнее ты ощутишь, что далеко от Кривоколенного, обнимешь и расцелуешь по моей просьбе Ксаночку⁴ и оглянешь красоту и вольность твоего, столь скрываемого, географического секрета. Счастливо встретить вам обоим 28-й.

116. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

3 января 1928, Москва

3.1.1928

Дорогая Оля! Твое письмо дочитывал со слезами на глазах. Ты не можешь себе представить, до чего мне нестерпимо бывает читать твои печальные письма. Если бы ты была моей женой, с которой я жил, т. е. от любви которой все взял, и потом бросил, в мое огорченье, наверное, не столько замешивалось бы роковой тревоги и *раскаянья*, как когда я читаю твои страницы, в которых утоплена такая бездна горделивой задушевности и почти бесстрастного, почти пластического, т. е. не нуждающегося ни в ком и ни в чем, ни даже в разумной причине, страданья! Боже, каким непосильным и давно мною утраченным воздухом ты дышишь! Он разреженно, — нет, убийственно чист, в нем нет ни пылинки того облегчительного, уступочного сору, который мы приносим к возрасту, чтобы вынести парадокс бессмертия

среди болезней и сделать его мыслимым и правдоподобным. Ты же ослепительно гибка и молода сердцем, и этого нельзя видеть, не потрясаясь, даже и не будучи братом. Ты не всегда писала мне, как сегодня, но ты сама всегда такова. С таким ощущением тебя, твоей матери и твоей крови, твоей комнаты и твоего дара, твоего дьявола и твоей судьбы, т. е. в таких чувствах я ведь и переступил порог вашего дома! ¹ И хотя я достаточно знал, каким оттенком сдержанной властности ограждаетесь вы обе от всяких любвей и пониманий и тому подобного, и значит, в наивысшей пассивности, на какую был способен, нес себя в ваше, т. е., лучше и вернее, твое распоряжение, но и эта мера безынициативности показала мне недостаточной при первых тетиных словах.

Помнишь, ты сказала мне, что обычно я более веселым и шумным приезжал, чем на этот раз? Вы должны были себе представить, что моим настроеньям есть причины, коренящиеся во мне или оставшиеся в Москве, что у моего приезда есть какие-то деловые цели. А между тем я приехал только к тебе и вошел к вам *только* взволнованный, за исключением же этого волнения, во всем прочем весь начисто посвященный встрече, как только что для зарядки взятая светочувствительная пластинка. Это — о причинах моей грусти и сдержанности. А теперь о «деловых» целях. Я просто приехал сделать все, о чем ты меня попросишь, и последовать всюду, куда ты меня позовешь. Все это вранье о Царск(ом) Селе и Гатчине — было тем минимумом активной мечты или предвосхищенья, который я привез с собой и который, как я говорю, мне показался еще не довольно малым. Но что мне не к кому было в Питере, как только к тебе и маме, я и так, без всякой пользы и радости для тебя, доказал. У меня литературных друзей пол-Ленинграда, и ведь я не видал ни Ахматовой, ни Кузмина, ни Чуковского, ни десятка других менее милых, хотя почему же — менее, этого, может быть, о них нельзя сказать. Единственным исключением был Тихонов, но ведь это же почти младший брат мне. — Не знаю, как и благодарить тебя, что ты не попрекнула меня моим свинским молчаньем. Ты знаешь или легко догадываешься, что первые дни по приезде меня так и тянуло писать тебе и благодарить тетию за ласку. Но просто и не сказать, сколько наполнило отовсюду разнообразных нестложностей. Однако обстоятельства сложились так несчастливо, что сейчас, когда я пишу тебе, их еще вдесятеро больше. Дело в том,

что почти все это время я проболел. Я разорвал себе плечевые связки на левой руке, и на это, т. е. на неопи- сываемые мученья и потом постепенное овладение отхво- равшей и атрофировавшейся рукой, ушел месяц. Тогда же болел и весь дом, и, как вы его зовете, — Дудлик, представь, — воспаленьем почвенных (как он говорит) лоханок. Потом по истеченье недельной передышки схватил я грипп, и кончился он на самое Рождество — флюсом, так что Новый год встретил я... чрезвычайно надутю. А работать и надо и хочется. А писем, писем! Олечка, замечательные были среди них о «1905-м». От Горького. От лучших и независимейших из эмиграции. Конечно, права ты, а не Канский², но никому этого не говори, говорю и я достаточно. Статью в «Печ. и Рев.», конечно, знал до приезда к вам. Статья прискорбная, но нельзя ее ругать: автор, очевидно, желал мне блага и вынужден был сделать это в «терминах эпохи»³. Он москвич, и я его даже в лицо не знаю. Но если эти статьи тебе что-то по-сестрински дают (обстоятельство это меня волнует до крайности), то найди способ достать где-ни- будь у вас июльский номер консерв(ативного) англ(ий- ского) журнала «The London Mercury» за этот год (July, 1927). Там статья кн. Святополк-Мирского о совре- менной русской литературе⁴, и хотя оценка, которую он мне дает, незаслуженно преувеличенная, но это — един- ственная, о которой тебе не придется «спорить с Кан- ским». И потом, я тебе о Цветаевой рассказывал. Там тоже удивительно хорошо о ней. Но прочти всю статью.

Я и эту статью читал еще летом, как и «Печ. и Рев.» скую.— Я знаю, что не ответил тебе на письмо. Про- сти. Горячо тебя за все благодарю и целую. Также и маму. Жени тоже.

117. С. Д. СПАСКОМУ

3 января 1928, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич!

С Новым годом Вас и Вашу супругу! Не знаю, как и благодарить Вас, что щадили меня эти два месяца и не напоминали о столь неслыханно просроченном долге. Слушайте же, как я их провел. Чуть ли не в день Вашего письма или на другой день я разорвал себе плечевые связки на левой руке с внутренним кровоизлиянием, две

недели промучился в бинтах, только к концу их научившись спать сидя, и потом больше двух недель постепенно возвращал себе владенье рукой, не хуже вашего Лугина¹. Дел тем временем накопилась уйма. До этой несчастной случайности я успел задумать и начать что-то среднее между статьей и художественной прозой, о том, как в жизни жизнь переходила в искусство и почему, — род автобиографической феноменологии какой-то. Меня тянуло к этой работе. А тут письма набегали о «1905 годе», неожиданные, от Горького, от Евразийцев² (знакомы ли Вам эти люди, правопреемники скифов и Вольфилы: ³ Сувчинский, Святополк-Мирский, Карсавин?..), неожиданно теплые, незаслуженные, преувеличенные⁴, но душа не сейчас отвечает. Как всегда бывает, с моей болезнью совпали заболевания всего дома, вплоть до прислуги, наконец, и финансы заболели и стали слать меня, точно в аптеку, по редакциям, за повторными авансами, тем решительнее, по своей повторности, отбрасывавшие меня к работе, продолжавшей, однако, оставаться мечтой — и недостижимой. Прошло немного времени, и снова подарок — грипп, за которым вдруг разнылись зубы. Чтобы не входить в подробности скажу просто: 28-го года я не встречал, встретил меня он, да еще в сильнейшем флюсе.

Теперь о Вас, — хотя я и тут, по естественности повода, буду часто на себя сбиваться. Такую свободу в отношении Вас я себе позволил, да, впрочем, позволяю себе и в этом письме, потому что тонкость и благородство Вашего дарования мне близки, я их ощущал не раз и в них, как в явлениях наличности, уверен. Это и Вам известно, оттого Вы в Москве и заходите ко мне. Хорошо, что Вы написали эту поэму⁵. В корректуре я бы на Вашем месте ее сжал, примерно на четверть. Я все время больше говорю о Вас, нежели о ней. Т. е. скорее не из заботы о вещи, а о самом себе, я бы произвел это сокращенье, потому что до конечного выхода, пока еще типография нас не окончательно разлучает с произведением, мы все еще в нем вольны и повинны. Говоря о четверти, я разумею не какие-нибудь *определенные* места меньшей силы и удачи, — они-то, конечно, есть, и приблизительно в указанной пропорции, но начинать надо не с них, т. е. не с качественного установления слабых мест и их суммирования, а я бы (так летом я Шмидта⁶ на треть сокращал в гранках) стал идти в обратном направлении, т. е., прикинув коэффициент недоработанности,

недосыщенности в целом и определив его на круг количества, так бы и поставил себе задачу: сжать вещь на столько-то и настолько (путем простых выкидок), — и пошел бы от хороших и бесспорных мест, устраняя тексты явно пониженные и ослабленные, в меру их фабульной или другой какой устранимости, разумеется. О вещи я не хочу и боюсь говорить, так как говорить не по существу и вплотную можно только путем далеких отклонений, разом покидающих эту Вашу рукопись как таковую. Для того чтобы это утверждение не показалось Вам софизмом и не осталось в ушах в виде обидного каламбура, объяснюсь хоть несколько, не вдаваясь в те обязательные детали, которые меня именно отпугивают своей пространностью. Помните ли Вы род, аллюр и наклон Вашего дарованья к 17-му, скажем, году? Не ясно ли Вам, что если бы земля не заслужила катастроф и не позвала в каратели, а затем и во врачи искусство, его отношение к нам, художникам или поэтам, было бы совсем иным, нежели теперь. Всегда любой *истинный* задаток, каковы бы ни были его размеры, избирая для себя форму *несущую*, подхватывающую содержание, множащую его выразительность, моющую его и протирающую ему глаза, а никак не теснящую, т. е. не ущербляющую, не тормозящую. И вот, удивительное дело, до чего этот закон оказался всеобщим! Искусство, став, вольно или насильно, общественной силой, бросилось объедать художников. Вглядитесь, как безразличны комбинации, под которыми и в которых оно присасывается к нам опустошающей какой-то кровососною банкой. Один добровольно расстается с даром и со всею искренностью дает проглотить себя тенденции. Другой фальшивит и дает рифме с своей совестью ухлопать и самое звучание смысла. Эти платятся левым уклоном, и их зовут новаторами. Другие, что называется, — правеют.

С кого из нас обоих начать? Для краткости начну с себя, с этим я скоро разделаюсь. А потом на Вас перейду. Так вот. Ведь каков бы ни был Спекторский и что бы о нем ни говорили, это пример того же закона. Ведь только путем сизифовых усилий (в 1-й части) я не даю этому глупому, социально понятному пятистопнику, уже однажды отъезшему на Фетовой трагедии того же порядка, выесть всех моих потрохов без вычета и таким образом почти ценою судороги остаюсь при части внутренностей. Ведь дальше, если бы я стал продолжать, не дав себе отдыха, пошло бы уже совсем бесчинное чав-

канье, и я бы бесследно исчез в послеобеденном благодуше нажевавшейся формы. Ведь только оттого, что этот неизбежный сеанс начат, я собираюсь кончать вещь, приговариваясь к новой схватке, бессмысленной и фатальной, но исторически оправданной. Форма минусом приставлена к нам, та самая форма, которая когда-то смеялась нам таким положительным обещаньем поддержки и приращенья. Все равно, агитка ли это и тенденция и коммунизм или эпос, поправенье и прочее и прочее. Упирайтесь изо всех сил, подпускать ее и даваться ей как можно меньше — вот единственное, что нам дано. И вот «Возмездие» — Ваш Фет⁷. Пока это «Возмездие», цел Спасский, его стих, его пейзаж, его лирическая сентенция, его просветленный фатализм, самостоятельность и независимость его ума в блоковской каденции, как Блок самостоятелен в пушкинской. Когда же с каденции «Возмездия»⁸ автор соскальзывает в оборот «Медного всадника», разверзается именно та четверть, на которую, как мне кажется, надо вещь усечь.

Простите за частые помарки в письме и общую его несвязицу. Писал второпях и сгоряча. Привет Вашей жене.

Не сердитесь на меня, пожалуйста, и помните, что сделали Вы — неизбежное, т. е. то, что надо, без чего Вам пришлось бы уступить это место, исторически оправданное, другому. Вы соблюли себя и взяли большое препятствие. Крепко жму руку.

Ваш Б. П.

118. А. М. ГОРЬКОМУ

4 января 1928, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо Вас благодарю за подарок¹. Нелепая прихоть иметь от Вас надпись в виде пожелания явилась у меня в самом разгаре очень докучливой и мучительной болезни, когда наша физиология становится суеверной и даже пожеланию выздоровления радуешься как близкому его наступлению. Вероятно, эта потребность передалась Вам, потому что, взяв тему шире, Вы все же в надписи пошли по ее направлению, пожелав мне выздоровления и в моей работе, которая вам кажется без надобности сложной и надломленной. У Вас обо мне

ложное представление. Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану. — Я со смешанным чувством читаю Вашу, несмотря ни на что, все же дорогую надпись. Мне грустно, что привет в ней омрачен какой-то долей осуждения и что мое чутье отказывается решить, насколько симпатия в ней уравновешена антипатией. Что-то в моих словах, очевидно, до Вас не доходит, и уже от того одного остальное обречено на постоянные превратности. Еще раз спасибо.

Ваш *Б. Пастернак*.

119. А. М. ГОРЬКОМУ

7 января 1928, Москва

7.1.28

Дорогой Алексей Максимович!

Ваше сопроводительное письмо при моем на имя Асеева было для меня неожиданностью¹. Надпись на «Жизни Самгина» с советом не мудрствовать я понял, как прощальную. Оттого и в ответе моем Вы могли прочесть тихо сглоченную печаль и — примиренье. Но одно тягостное чувство, временами являвшееся у меня в эти месяцы, и Вашей надписью, как мне казалось, подкрепленное, рождается у меня и сейчас, за Вашими словами о «Двух книгах».

У меня все время впечатленье какой-то дрящейся бестактности по отношению к Вам, которой я, того не ведая, являюсь назойливо повторяющимся предлогом. Зачем меня показывают и навязывают Вам, зачем надоедают мною? Догадываетесь ли Вы, что это не только не вызвано лично мною, но просто противно моим привычкам и всей моей природе? Особенно неуместно, что этим угощают именно Вас.

Я знаю, что Вы в моей бережности не нуждаетесь. У меня, разумеется, есть свои непоколебимые представления о Вашей силе, охвате и историческом значении, о глубине и почти что вездесущности Вашей души. Но бережность в отношении Вашего времени и внимания тем не менее никогда меня не покидала. Я только раз от нее отступил. Я *должен* был послать Вам «1905-й год», потому что, в идее, я писал его, как-то все время с Вами считаясь. По той же причине я должен был интересоваться Вашим отзывом о нем, о Годе. Но не обо мне.

Занимать Вас собою, «талантом» и пр. никогда, никогда я не хотел и не осмелился бы, если бы даже мне свойственны были такие поползновения. Ведь сам-то я не посылал Вам «Двух книг» и никогда бы их не послал, потому что для обсуждения большим человеком они чересчур, и до неприличья, — личные. Вот почему Ваши замечанья обо мне по-многому, по-разному глубоко меня конфузят. Притом я догадываюсь, что чужд Вам, что крупной покровительственной простоты у Вас ко мне быть не может, и Ваше признанье, на котором есть налет сторонней неделикатной навязанности, ставит меня перед Вами почти что в несчастное положенье. Ваш одобрительный отзыв о «Детстве Люверс» и слова Ваши о Годе меня ошастливили. Этого, на тему о «способностях» было с меня за глаза довольно. В дальнейшем, т. е. в том, что исподволь, в Вашей близи, напоминанье обо мне продолжало работать в виде ненасытного до неприличья насоса, я не повинен, и легко себе представить, как это удручает меня.

Однако из уваженья, с которым я отношусь к любому Вашему слову, я Вашего совета не могу оставить без поясняющего возраженья. Осматриваюсь и вспоминаю. Мудрил ли я больше, чем мгновеньями, в молодости, случается всякому? Нет, Алексей Максимович, как ни обманчива видимость, греха этого я за собой не сознаю. Напротив того, когда ни вспомню себя в прошлом и недавно минувшем в состоянии увлеченья и собранности, везде и всегда это посвящено взрыву против *мудрствования в мудреном*, всегда отдано прямому и поспешному овладенью мудреным, как простым.

Зато до ненавистности мудрена сама моя участь. Вы знаете моего отца, и распространяться мне не придется. Мне, с моим местом рожденья, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влеченьями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезаю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почти до неподвижности доведенная сдержанность моя среди общества, живущего в революцию, не внушена тем же фактом? Ведь писали же Вы в свое время об идиотствах, допуская

шихся при изъятьях церковных ценностей, и глубоко были правы. А ведь этими изъятьями кишит наша действительность на каждом шагу, и не бывает случая, когда бы моя свобода в теперешнем окружении не казалась мне (*мне самому*, а не «кн. Марье Алексеевне») неудобной, потому что все пристрастия и предубеждения русского свойственны и мне. Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуясь на вынужденные пути, которые постоянно накладываю на себя я сам, по «доброй», но зато и проклятой же воле! О кривотолках же, воображаемых и предвидимых, дело которым так облегчено моим происхождением, говорить не стоит. Им подвержен всякий, кто хоть чего-нибудь в жизни добивался и достиг. Ведь и вокруг Пушкина *даже* ходили с вечно раскрытою грамматикой и с закрытым слухом и сердцем. А что прибавишь к *такому* примеру? Нет, внешняя судьба моя незаслуженно, преувеличенно легка. Но во внутреннем самоограничении, в причинах которого я Вам признался, м. б., и есть много такого, что можно назвать мудрствованием. Дорогой Алексей Максимович, простите, что вошел в такие интимности. С долей той или иной фатальности, вероятно, живет каждый.

Вы не ошиблись в Асееве. Это человек большой сердечности и очень хороший. Когда-то мы с ним были очень близки, и только в последние годы наши пути разошлись. Особенно осложнилась наша дружба благодаря пресловутому «Лефу», который мне кажется недостойною Ник. Ник-ча и Маяковского ерундой. Но м. б., журнал и люди, им объединенные, — выше моего понимания. Я с этим течением давно порвал, и, разумеется, они на меня обижены.

Я Вам, наверное, давно надоел своими благодарностями, но всегда есть причина Вас благодарить. Большое спасибо Вам за высылку XIX-го тома², он, вероятно, на днях придет. Алексей Максимович, если дело с переводом «Детства Люв.» осуществилось и мне будут причитаться какие-нибудь деньги, то, пожалуйста, пусть не переводят их сюда: у меня есть один старый долг за границей.

Простите, что пишу мелко.

Преданный Вам *Б. Пастернак*.

26 марта 1928, Москва

26.III.1928

Дорогой Всеволод Эмильевич!

Жалею, что заходил к Вам вчера² в антрактах. Ничего путного я Вам не сказал, да иначе было бы и неестественно³. Но вот сегодня я весь день, как шалый, и ни за что взяться не могу. Это — тоска по вчерашнем вечере. Вот это другой разговор. Это уж доказательство, это я понимаю.

«Ревизор» был гениальной постановкой, и в разбор ее не хочется входить. Были места неравного значения и в нем, но так именно и дышит всякая творческая ткань: тут ядро, там протоплазма.

Может быть, в «Горе» те же достоинства распределены не с такой правильностью, может быть, размещение их не так часто, но эти же достоинства и тонкости в нем против «Ревизора» — стали еще глубже. В последовательности работ это восхождение совершенно неоспоримое, и на этот счет тратить слов не приходится.

Еще приятнее, чем говорить это Вам, было бы мне жить этим сознаньем молча, и если бы не нелепости, которые, как мне передавали, Вам пришлось выслушать и прочесть о постановке, Вы о моих восторгах так бы и не узнали.

Я мало знаю театр, и меня в него не тянет. Достаточно сказать, что, прожив всю жизнь в Москве, я ни разу не был в Малом и в Камерном. Когда я однажды у Суинберна в его книжке о Шекспире⁴ прочел, будто бы он лучшие свои вещи писал для чтенья, а не для сцены, меня такой взгляд, даже и в применении к такому имени, не удивил. Надо согласиться, что более чем кто-либо другой Шекспир обращался не столько к трупам, сколько к человеческому воображению. Но давайте допустим (так хочется верить, и может быть, так оно и было), что Блекфрайер⁵ был истинным театром. Тогда, значит, он был театром реалистическим. В таком случае он был списан и слеплен с *натуры*. Что же может служить моделью театру? Типы, нравы, человеческие повадки, настроенье? Нет, всего этого мало, живые эти частности просятся в натурщики и, конечно, без пользы не пропадают, но они служат образцом актеру, живой, главной частности театра, но не театру. Правда,

даже и талантливый актер так редок, что не часто культуре приходится довольствоваться им одним, но все же и в этих редких случаях она вправе желать большего и мечтать о целом: о театре.

Мне кажется, натурою, которой должен следовать в своем построении театр, может быть только *воображение*, воображение в целом, его строй, его неповторимая, вся напролет, сплошной особенностью бегущая мускулатура. Говоря проще, через среду воображенья все искусства тяготеют к идеальной сцене и иногда, и очень редко, на нее попадают.

Я помню несколько постановок Станиславского, тринадцати лет попав на несколько дней в Петербург, вечер за вечером ходил к Комиссаржевской, я смотрел Чехова, я их неоплатный должник в том же градусе и смысле, как Ваш, но есть вещь и несоизмеримая: придя к Вам, я впервые и единственный раз в жизни попал в *театр*, понял, что это значит, и в мыслимость этого искусства поверил.

Когда меня касается дыханье истинного дара, оно превращает меня в совершенного мальчика, ничем не искушенного, я беззаветно привязываюсь к произведению, робею его автора, точно никогда не жил и жизни не знаю, и чаще меры тянусь за носовым платком. Когда прокатывается волна этой первой непосредственности и я начинаю отдавать себе отчет в происшедшем, то, замечательно, на меня всегда начинают действовать родовые общности, сказавшиеся в произведении, законы, его сложившие, широчайшие человеческие секреты, которым оно обязано своим обаяньем. Странно, но, очевидно, со вниманьем я умею относиться только к тому, что его не заслуживает. Все же стоящее делает меня невнимательным дважды: сперва тем, что оно потрясает меня, а потом тем, что толкает на размышленья, отвлекающие от его частностей. Но я рад этой черте и не хотел бы жить иначе.

Чему же мимоходом учили Вы и о чем напоминали? Главное я уже сказал. Едва представимая редкость, к которой, по Суинберну, адресовался Шекспир, осуществлена Вами и находится на Садовой. Я был у Вас трижды — не сердитесь и не смейтесь — это очень много для меня. На «Рогоносце»⁶ меня поразили две вещи. Ваше отношенье к виртуозности и Ваше отношенье к материалу. Я видел, как Вы накапливаете виртуозность, как ею запасаетесь, точнее — в каких видах ее

у себя заводите. Вы ей отвели ту именно роль, которой она заслуживает в большом захватывающем искусстве. Она заняла у Вас место ручного огнетушителя или тор-моза Вестингауза, доведенных до совершенства, всегда находящихся под рукой и в ненужную минуту неза-метных.

Вы поняли, как никто, что искусство в целом — это трагедия, с которой не должно быть трагедий и которая должна прокатываться по всему пути, предохраненная от катастроф. Но естественно, избежав ошибки некото-рых быстро сгорающих дарований, Вы не впали и в ходовую типическую ошибку дурно понятого мастер-ства. Вы не стали пленником переродившейся виртуоз-ности, Вы не мебелировали своего дома одними огнету-шителями, как, может быть, это случилось с Брюсовым и теперь (как это ни странно при темпераменте Мая-ковского) повторяется с лефовцами. Ваш поезд дей-ствительно подхватывает и уносит, а не стоит на мертвой вестингаузовой точке отупелого формального навыка.

Затем, как я сказал, меня поразило Ваше отноше-ние к матерьялу. Однажды под трехсотлетие Шекспира я много думал о его метафорике, о его поэтическом богат-стве. Я пришел к убеждению, что у него не похожа только живая Мирандола на мертвую, все же остальное, все живое связано волной кругового, вихревого сходства. За его образностью и вечными уподобленьями я открыл то чутье сродства всего на свете, которое охватывает большого поэта в минуты наиболее порывисто из всех видов движенья движущегося творчества. «Загреб золы из печки, дунул и создал ад», — сказал Георге о Данте, и слова эти говорят как раз о том, что у меня сейчас в виду. Когда я увидел, как Ильинский и Зайчиков⁷ сно-сят у Вас до основанья привычную нам интонировку и потом из ее обломков, которые по своей бесформен-ности должны были бы смешить, мнут и лепят беглые формы выраженья, которые начинают потрясать и ста-новятся особым языком данной вещи, я вспомнил об этой редкой и молниеносной вершине искусства, с кото-рой можно говорить о совершенном *безразличии матерьяла*.

Я это встречал у Эсхила, у Данте, у Шекспира — впрочем, глупо перечислять, — ни один большой поэт без этого немислим — но я не представлял себе, что метафора воплотима в театре.

И вдруг после вступительной полосы этой ненасытной энергетике, с которой всегда должно начинаться большое творческое дело, но которая потом почти у всех либо кончается катастрофой, либо вырождается в пустую беспредметность, совершенно неожиданно и к великому счастью оказывается, что Вы еще и бездонный пластик, драматург не меньший, чем режиссер, и удивительный историк, и, что всего важнее, историк живой и волеустремленный, то есть такой, который не может не любить родины и ее прошлого, потому что ежедневно в лице своего дела любит часть ее живого будущего. А только такой футуризм, футуризм с родословной я и понимаю. Не могу сказать Вам, как много мне дали Ваш «Ревизор» и «Горе». Легко было припомнить, что было существенного в «Рогоносце». Здесь мыслимо сказать: меня поразили *две вещи*, потому что постановка была *принципиальная* и поражали принципы, которые всегда можно назвать и насчитать. Живые достоинства Ваших последних организмов именно оттого и неисчислимы, что они организмы.

Если бы я попал за кулисы с «Ревизора», я не растерялся бы при встрече с Зинаидой Николаевной⁸. Дело не только в том, что она там прекрасна и роль Софьи вообще (и у Грибоедова) менее благодарна, а в том несоветимом абсурде, которым ее коснулась улица. Меня страшно стесняло это обстоятельство, я чувствовал, что, что бы я ни сказал, она стала бы меня слушать отраженно и все бы, что хорошего бы я ни сказал, произвела бы от факта этой обиды. Но все это — решительные призраки последней пустоты, для меня их не существует, я преклоняюсь перед Вами обоими и пишу Вам обоим, и завидую Вам, что Вы работаете с человеком, которого любите.

Весь Ваш *Б. Пастернак*.

121. Н. К. ЧУКОВСКОМУ

29 марта 1928, Москва

29.III.1928

Благодарю Вас, дорогой поэт, за книжку¹ и память. Вы не смотрите, что открытка, и не сердитесь. Это — спешности ради. Благородная, ровная, живая ткань, промытая до ясности, до игры, постоянно текучим чув-

ством, как в отношении содержания (пережитого), так и в отношении доходности до другого (выражение). Чем дольше, тем горячее, но без измен себе, без так наз. «новых путей», без их «нащупывания». Часто удивляются мне: что, напр., такого я нахожу у Рождественского, скажем. Вот то же самое, но несколько зрелее, м. б. — Все же дальнейшее — дело случая и личной судьбы. Приневолят Вас, и Вы, м. б., будете одним из тех, кто из этих данных построит город. Или еще сильнейшее, нечеловеческое принуждение утыскарит Вашу волю. Вдруг какая-нибудь неосуществимая, затрудненная любовь к какой-нибудь далекой исторической силе, которую Вы станете ощущать как женщину, встанет перед Вами прямым ответом, и Вам придется на руках подтягиваться к ней, и через год Вас не узнать будет. Крепко жму В(ашу) руку. Сердечный привет Вашему отцу.

Б. П.

122. А. М. ГОРЬКОМУ

〈Начало апреля 1928〉, Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Так как уже и конверт, покрытый Вашей рукой, приводит в понятное волнение, то письма Ваши читаешь всегда почти превратно, т. е. с готовой уже и преувеличенной чувствительностью. Перечтя последнее Ваше письмо (где об обеих Цветаевых и т. д.), я поздно увидел, что в нем совсем нет тех нот, которые до пугающей явственности почудились мне в нем при первом чтении, и понял, что я ответил Вам глупо, с тою именно истерикой, которую Вы так не любите. Я не раскаиваюсь ни в одном из движений, сложивших мое нелепое письмо¹, — взять под защиту от Вашего гнева всякого, кого бы он косвенно, через меня, ни коснулся, было и остается моим трудным долгом перед Вами, — но в том-то и нелепость, что, может быть, Вы этих движений вызывать не думали, и я неправильно понял Вас.

Последнее время часто в газетах читаешь адреса и приветствия Вам и во всех них разноречивые даты². Наверное, Вы считаете все это докучливой кошлотью и на всех поздравителей сердиты. Однако, может быть, за далью, от Вашего взгляда ускользнуло, как рази-

тельно в Вашем случае все эти юбилейные тексты отличаются от извечно знакомого нам академического трафарета. Я не видал ни одного, где не жила бы и отдельными местами не находила себя, выраженная, особая, в каждом данном случае, прямая, неповторяющаяся задетость. Так же точно, к примеру, взволновала меня вся первая, историческая часть правительственного манифеста³. И тут горячность правды либо рвет риторический наигрыш, либо вдруг в фальшивом ложе периода находит себе свободное, некрасноречивое место.

И так как рокошующая пошлость этой условности в Вашем случае опрокинута даже фраками и крахмальными грудями, то в ту же дверь ломлюсь и я. И вот — без красноречивых фигур. Я за несколько тысяч верст от Вас. Я могу подумать и передумать. Я могу написать слово и зачеркнуть. *Так именно* мне и хочется поздравить Вас, медленно, медленно, в нестесненном раздумье, с неторопливым отбором предвидений и пожеланий. Все они стекаются в одно. Оно уже давно готово. Как только его назвать? — Ну, так вот. Я желаю Вам, чтобы чудо, случившееся с нашей родиной, успело в возможнейшей скорости обернуться своей особой, давно заслуженной чудесной гранью лично к Вам. Чтобы огромная, черная работа, взваленная в России на писателя, когда он крупен своим сердцем и своим истинным патриотизмом, была, видимо, для Вас, сделана современным русским мыслителем, историком, публицистом. Чтобы дикая миссия работы за всех была снята с Вас и Вы могли бы дать волю вашему безошибочному воображению, избавленные от надобности исправлять чужие ошибки. Вот, в намеке, глубочайшее мое пожелание Вам. Но и в ряду близких, желающих Вам радости, здоровья, счастья и долголетия, позвольте мне быть не последним.

Преданный Вам *Б. П.*

123. В. В. МАЯКОВСКОМУ

4 апреля 1928, Москва

Наш разговор не был обиден ни для Вас, ни для меня, но он удручающе бесплоден в жизни, которая нас не балует ни временем, ни безграничностью средств. Печально. Вы все время делаете одну ошибку (и ее за Вами повторяет Асеев), когда думаете, что мой выход — переход, и я кого-то кому-то предпочел¹. Точно

это я выбирал и выбираю. А Вы не выбрали? Разве Вы молча не сказали мне всем этим годом (но как Вы это поймете?!), что в отношении родства, близости, перекрестно-молчаливого знания трудных, громадных, невестелых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом, Ваше общество, которое я покинул и знаю не хуже Вас, для Вас ближе, живее, нервнубедительнее меня?

Может быть, я виноват перед Вами своими границами, нехваткой воли. Может быть, зная, кто Вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить Вас и освободить против Вашей воли от этой призрачной и полуобморочной роли вождя несуществующего отряда и приснившейся позиции.

Я сделал эту попытку заговорить с Вами потому, что все эти дни думал о Вас. Зачем Вы выдумали, что летнее письмо я писал Вам? ² Вам? Вы его держите у себя, как получатель? И я Вам поверю? Нет, простите меня, Вы сами давно доказали мне, что с адресатами не произошло недоразуменья. Если Вы хоть минуту считали, что оно обращено к Вам, Вы бы его напечатали, как я об этом просил, Вы бы это сделали из гордости. Но Вы прекрасно знаете, что это не Вы его скрыли и о нем умолчали, как и получали его не Вы. — Все это бред, дурной сон, абракадабра. Подождем еще год.

И потом, как Вам нравится толкованье, которое дается у Вас моему шагу? Выгода, соперничество, использование конъюнктуры и пр. И у Вас уши не вянут от этого вздора? Притом как похоже на меня, не правда ли? Ведь у Вас люди с общественной жилкой, бывают на собраниях, в театрах, в издательствах и на диспутах. Много ли они меня там видели? Покидая Леф, я растался с последним из этих бесполезных объединений не затем, чтобы начать весь ряд сначала. И Вы пока стараетесь этого не понять.

Б. П.

124. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

10 — 20 мая 1928, Москва

10.V.1928

Дорогая Олюшка! Жалею, что не было меня дома, когда звонил Мг. Лившиц, — он с Шурой говорил; спросил бы я его по-своему и побольше. Все же знаю, что

готовишься ты к осенней защите и день ото дня идешь в гору. Болел я. Началось с гриппа, кончилось скверным осложнением. Только тут, смущенный странной точностью и упорством головных болей, и обратился я к врачу. Оказалось — воспаление лобной пазухи (есть и такая), т. е. полости, находящейся под височной костью. Слава Богу, обошлось без трепанации, — и выздоравливаю, а то бы не писал тебе. Больше месяца ничего не делал, да и сейчас берусь за работу с большой опаской; а ну, как опять стрельнет в висок и все пойдет сначала. — Сидим пока без денег, но я их, разумеется, добуду. Когда поселяешься на лето тут, под Москвой, кругом только и говорят, что о дешевизне Кавказа или Крыма. Справляются о деньгах, зарываемых где-нибудь в 60-ти верстах от Москвы, приходят в ужас и доказывают, что за них вчетвером по Кавказу можно доехать до Персии. Так с осени Кавказ пускает глубокие корни, по закону озимых посевов, зимой о нем не думаешь, весной же оказывается, что дело зашло так далеко, что вся твоя семья давно уже в Кабарде или Теберде, и только остается эту галлюцинацию дополнительным образом оформить.

Я много болел этой зимой и мало чего сделал. В двух-трех работах, которые мне предстоит довести до конца¹, я теперь дошел до очень тяжелой и критической черты, за которой находится, по теме, — истекшее десятилетие — его события, его смысл и прочее, но не в объективно-эпическом построении, как это было с «1905-м», а в изображении личном, «субъективном», то есть придется рассказывать о том, как мы все это видели и переживали.

Я не двинусь ни в жизни, ни в работе, ни на шаг вперед, если об этом куске времени себе не отрапортую. Обойти это препятствие, занявшись чем-нибудь другим, при всех моих склонностях и складе значит обесценить наперед все, что мне осталось пережить. Я бы мог это сделать, только если бы знал, что буду жить дважды. Тогда я до второй и более удобной жизни отложил бы эту ужасную и колючую задачу. Но нужно мне об этом написать, и интересно это может быть лишь при том условии, что это будет сделано более или менее искренно. Ну вот. А ты знаешь, террор возобновился, без тех нравственных оснований или оправданий, какие для него находили когда-то, в самый разгар торговли, карьеризма, невзрачной «греховности»: это ведь давно уже

и далеко не те пуританские святые, что выступали в свое время ангелами карающего правосудья. И вообще — страшная путаница, прокатываются какие-то, ко времени не относящиеся волны, ничего не поймешь. Вообще, — осенью я не того ждал и не так было грустно. Я боюсь, что попытка, о которой говорю выше и без которой я не могу закончить двух вещей, принесет мне неприятности и снова затруднит мне жизнь, если не хуже. Но это — в естественной последовательности должного и предопределенного, вовсе не из задора какого-нибудь или чего-нибудь в этом роде. А может быть, все обойдется благополучно. Скорее верю в последнее.

20. V. Дорогая Олюшка! Вот всегда так. Письмо лежит десять дней. Я его не кончил, потому что тем временем пришло тети Асино, замечательное, на которое хотелось и надо было тут же ответить, но в котором заключались вопросы, ответ на которые, как мне казалось, придет в теченьи ближайших двух-трех дней, но эти вопросы задержались и до сих пор не получили разрешения: мы все еще не знаем, что предпримем летом. Кажется, я на месяц отправлю Женю с Женичкой на Кавказ, а сам в городе останусь, по их же возвращеньи поселимся где-нибудь тут на даче. Но все это еще в предположении. Во всяком случае, где бы то ни было, ты всегда будешь желанной гостьей (хоть на Кавказе). Если же (или — когда) мы поселимся под Москвой, то я очень бы хотел, чтобы пожила у нас и тетя. Крепко тебя обнимаю. Не сердись, что не отвечал тебе. Часть объяснений почерпнешь из письма, всех же не перечешь.

Твой *Боря*.

125. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

19 июля 1928, Москва

19.VII.1928

Дорогая Олечка! Прости за новое свинство: на твой привет из Царского и приглашение, переданное через Канского, до сих пор не ответил. Но, друг мой, если бы ты знала, что это была за гонка, что за каторга! Конечно, человеку постороннему достаточно на меня только взглянуть, чтобы по ввалившимся щекам сразу догадаться, что я не у вас в Питере провел этот трудный месяц. Но успел ли бы я столько, если бы за это не запла-

тил долей здоровья, тоже вопрос. Что это именно была за работа, долго рассказывать. Это и переделка старых книг, вроде «Поверх барьеров», которые обезображены были опечатками да и независимо от этого достаточно дики, и многое другое. Друг мой, Олечка, если хочешь взглянуть, как я просто стал писать, достань 7-й номер «Красной нови»¹, это продолжение одного моего романа в стихах, но самостоятельная часть, и ее можно читать, не зная начала; в крайнем случае посмотри № 1 того же журнала за этот год. Уезжаю, совершенно истомленный, и тебя и тетю страшно люблю.

Геленджик, ул. д-ра Гааза, 22.

Обнимаю вас обоих. Весь ваш Б.

126. О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

24 сентября 1928, Москва

24.IX.28

Дорогой Осип Эмилиевич!

Вчера достал Вашу книгу¹. Какой Вы счастливый, как можете гордиться соименничеством с автором:² ничего равного или подобного ей не знаю! Все эти стихи, кроме разве рассвета с чернецами в сенцах³ — знал, но и без того они росли и вырастали при каждом новом чтении, а тут — перечитка капитальная, с ведома автора и при беглом его участии, и что это за устыжающее наслаждение!

А я закорпелся над переделкою первых своих книг («Близнеца» и «Барьеров»), их можно переиздать, но переиздавать в прежнем виде нет никакой возможности, так это все безусловно, так рассчитано на общий поток времени (тех лет), на его симпатический подхват, на его подгон и призыв! С ужасом вижу, что там, кроме голого и часто оголенного до бессмыслицы движенья темы, — ничего нет. Это — полная противоположность Вашей абсолютной, переменами улицы не колеблемой высоте и содержательности. И так как бывшее варварское их движенье, по уходе времени, отвергает своей бедностью, превращенной в холостую претензию (чего в них не было), то я эти смешные двигатели разбираю до последней гайки, а потом, отчаиваясь в осмысленности работы, собираю в неприятный ворох почти недвижущихся, идиотских хрестоматийно-институтских

документаций. Летом кое-кому показывал, люди в ужасе от моих переделок. Я понимаю их и чувствую почти им в тон. И однако ничего не могу поделать и продолжаю начатое. В этом есть что-то роковое. Может быть, я развенчиваю себя и отсюда такое упоенное, ничего не слышащее упрямство. Теперь нашел человека, который бы мог это сделать без труда и не тратя времени. Это Вы. С каким правом Вы могли бы судить и осудить меня! И как легко это бы принято было и сказалось! Тут весь вопрос в праве. Но я коснулся одного из таких житейских мотков, путаница которых ясна лишь на месте и которой ни в каких письмах не описать. И вряд ли Вы меня поймете. А тогда и все это приплетанье себя самого к восхищенью Вами должно будет показаться досадным придатком неотесанности. А я совсем не о том! Ах, что за книга! Скоро ли Вы приедете и зайдете ко мне? Сердечный привет Надежде Яковлевне.

Любящий Вас Б. П.

Не смотрите на это как на письмо. Я и не рассчитывал говорить о книге. Совершенство ее и полновесность — изумительны, и эти строки — одно лишь *восклицанье* восторга и смущенья. Вот и все. Еще раз весь Ваш Б. П.

127. А. БЕЛОМУ¹

30 — 31 октября 1928, Москва

Дорогой Борис Николаевич!

Вчера мне звонил П(етр) Н(иконорович), и я с нетерпеньем жду субботнего вечера². Но вчера же весь день до его звонка я собирался написать Вам, потому что мне, по счастью, подвернулся случай осмыслить мое непоправимо запоздалое обращение к Вам, без чего оно не только лишено смысла, но без чего может быть у меня нет уже на него и права. Свое письмо я бы начал с просьбы простить мне этот неслыханный, ни с чем не сравнимый и все же никак не извинимый позор: целый месяц я живу с Вашим письмом на руках и в душе, *присвоив* себе незаслуженную ласку и прямой писательский подарок, которые в нем заключаются, и ни разу, ни минутою не возвысился над той рядовой, повседневной нищетой, из обстановки которой отвечать Вам было, разумеется, немислимо. Как всегда, случи-

лось это оттого, что я не ответил в первый же момент, потому что этот-то миг достаточно приподнял меня, и заговори я тут же, я бы хоть в отдаленном отражении дал Вам понятие о той радости, которую Вы на меня излили.

Но, по-видимому, Вы простили меня. А то П. Н., позвавший меня, вероятно, с Вашего ведома, этого бы не сделал. А за эту снисходительность мне Вас ничем и никак уж не отблагодарить.

Предлог же вчерашний таков. В воскресенье у меня был и долго просидел Шарль Вильдрак, вероятно его направил ко мне кто-ниб. из друзей, Пильняк или еще кто-ниб. Он показался мне очень милым, простым и задушевным человеком. Как поэта я его еще не знал, книги его получил на другой день, и они усилили это впечатление, а не ослабили, что бывает гораздо чаще. Сейчас ловлю себя на том, что (ничуть не погрешая против истины) стараюсь расположить Вас в его пользу: для него величайшей радостью было бы познакомиться с Вами, Ваше имя знакомо ему еще со времен Зол <отого> Руна³. Вот повод просить Вас ко мне с некоторым, м. б., для Вас интересом. День, покамест предположительно (в отношении как Вашей, так и его собственной поденной росписи), назначили: воскресенье 11/XI. Если бы Вы вспомнили кого-ниб., или пожелали с кем-ниб. прийти, с кем, находите, ему надо познакомиться, — это было бы шагом в том направлении, в котором сам он ищет, и таким вот образом, сцепленьем живых случайностей, находит дорогу. Но это не пожеланье во что бы то ни стало, а стремление считаться с Вашими желаньями. Мне же радость этой встречи, если она состоится, отравит лишь одно. Вы услышите, на каком диком волапюке я с ним буду объясняться, да и то не все время, потому что и *такого* франц. языка мне хватает лишь на первые полчаса, вслед за чем наступает полное онемение.

А теперь до скорой встречи в субботу, и, если разрешите (хотя как я об этом узнаю? ну да все равно, рискну), я приду с близким мне человеком, Ник. Ник. Вильямом, кот. полностью разделяет мое нетерпенье, а ему, в свою очередь, не утерпится привести жену, замечательно-настоящего и достойного человека, и, понятно, В<ашу> поклонницу⁴.

Без конца, *безо всякого конца* благодарный Вам и преданный *Б. П.*

Р. С. О предположении насч. Вильдрака, пожалуйста, громко не заговаривайте при всех, п. что, того не желая, я, м. б., кого-нибудь неизбежно обижу. Но П. Н. я пригласил. Не сердитесь за это предупреждение: делаю его *инстинктивно*, п. ч. сам в таковых нуждаюсь, более чем кто.

128. Н. С. ТИХОНОВУ

19 ноября 1928, Москва

19.XI.28

Дорогой Николай!

Пишу второпях, и прости, в письме ничего не найдешь, кроме просьбы. Сегодня выезжает в Ленинград Шарль Вильдрак, остановится в Доме ученых Цекубу (кажется, на Миллионной) и пробудет у вас три дня. Ему надо и хочется познакомиться с тобою и следовало бы повидать несколько человек, которых мы назвали с ним почти в один голос, не сговариваясь. Я бы возлюбил тебя еще больше, если это возможно, а также и он был бы тебе очень признателен, если бы ты связался с ним, не откладывая дела в долгий ящик, по телефону и повидался с ним. Прости за нескромность, но лично я советовал бы тебе пригласить его к себе в первый же вечер, позвав из людей, которых ему хочется узнать, тех, которые Марии Константиновне¹ и тебе приятны. Мандельштам, кажется, — здесь в Москве. Ну, так вот, познакомиться ему надо с Анной Андреевной, с тобою, с Кузминым, с прозаиками, т. е. с Замятиным, Фединым, Тыняновым, Кавериным и др. Впрочем, он только тебе будет благодарен, если ты, помимо права хозяина, воспользуешься и своим правом передового и первейшего поэта и отправишь этот список и в этом отношении, т. е. заменишь своим. Да, и про Ольгу Дмитриевну² забыл! Он милейший человек, и очень простой, и как поэт мне очень нравится. Я думаю, он как живое явление, как частица переживаемого и как обещанье будет мил и близок тебе. Это первый случай, что я захотел действительной дружбы с приезжим, которой лично пока не заслужил, но одно другому не помеха. Дорогой, ты не пожалеешь. И не бойся, что он будет тебе в тягость: в среду приедет Пильняк, который много с ним тут встречался и на которого, в основном, Вильдрак возлагает все надежды (в смысле

показа города, людей и пр. и пр.). А главное, это не «знатный иностранец» и очень прост. Ты знаешь, как я живу. В том, что он ко мне пошел, нет ничего удивительного: у меня много друзей тут. Но он у меня сидел довольно долго, и я его видел и успел узнать. И поэт очень настоящий. Позови его к себе. Обнимаю тебя и целую руку Марии Константиновне. Прости за вмешательство, — но как было это сделать иначе? Ну, бегу на вокзал отправить письмо.

Твой Б. П.

129. К. А. ФЕДИНУ¹

6 декабря 1928, Москва

6 декабря 1928

Милый, дорогой мой Константин Александрович!

Я хотел Вам ответить немедленно, — мне помешали печальные происшествия в жениной семье².

Я не помню летнего своего письма. Но раз Вы заинтересованы нашими отличиями и их, как и слово: сходство, берете в кавычки, значит, летнее мое письмо было написано слишком наспех и, не соответствуя чувству, которое его вызвало, пришло к Вам с налетом дурной навязчивости. И вот, если это так, то, конечно, это — недоразумение, коренящееся в недостатках стиля и в торопливости, с какой я выражал Вам свое удивление, радовался Вам, благодарил Вас и поздравлял. Краснею и сейчас, если в письмо действительно затесалась такая нота³.

Верите ли Вы мне вполне безо всякого усилия? Ну так вот, поверьте и в то, что не только не мог я навязываться Вам и не навязываюсь ни в какие спутники, ни во что бы то ни было другое, но и полную неуместность и невозможность этого переживаю без всякой грусти и боли, потому что, по счастью, у меня есть *глаза*, и когда именно *они*, а не молва или видимость, говорят мне, что кто-то рядом делает полностью и до конца то, до чего я только дорабатываюсь в сотой доле, и только могу завидовать этому счастливцу и любить его превосходное дарование и удачу, а никак не урезывать свою радость снижением ее источника до самого себя.

Но когда, больше всего любя искусство, мы встречаемся с большим и истинным его проявлением, мы впра-

ве, не боясь показаться притязательными, говорить, что автор нам близок. Разумеется, никогда бы Вы в таких словах не прочли притязаний, и, ст<ало> быть, не в этом промах моего письма. Как сказал, я его не помню.

Я не стану перебирать того, о чем я мог писать, касаясь Вас и «Братьев», — тема эта — бесконечна, потому что случай — живой, прекрасный, необязательный, насквозь дареный.

Но и опять — бессильный вспомнить, сделал ли я это или нет (я не знаю, что я *должен* был Вам написать), говоря об *особой* близости Вашего пути и последнего произведения. Предмет этот очень трудный, потому что не уловлен терминологией, и если я в своем письме об этом не заикнулся, то, значит, меня остановила тогда трудность задачи, и я от нее отказался. И может быть, я плохо понял Вас. Тогда простите. Но, — попробую. И без подробностей.

Мне казалось, что если Вы, как все мы, или многие из нас, добровольно ограничили свой живописующий дар, свою острогу и разность, свою частную судьбу в эпоху, стершую частности и заставившую нас жить не непреложными кругами и группами, а полуреальным хаосом однородной смеси, то подобно *очень немногим* из нас, и, может быть, лучше и выше всей этой небольшой горсти, Вы это (все равно вынужденное) самоограничение нравственно осмыслили и оправдали.

Когда я писал «905-й год», то на эту относительную пошлятину я шел сознательно из добровольной идеальной сделки с временем. Мне хотелось втереть очки себе самому и читателю, и линии историографической преемственности, если мне суждено остаться, и идолотворствующим тенденциям современников и пр. и пр. Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи. Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно-дорого мне), с тем, что мне чуждо для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы.

Но я напрасно заговорил о себе. И пример слишком беден, и труднее мне им пояснить свою мысль. История всегда (все равно, в мозгах или на бумаге) набиралась с патетикою, и весь вопрос в том, когда с какой.

Когда-то для нашего брата было необязательно быть историком или его в себе воспитывать. Очень немногие

поняли необходимость этого в наши дни. И хотя это понято по-разному, и велики политические различия между появившимися, но, странно, мне кажется, само искусство последнего времени (реалистическое и повествовательное) точно объединилось в одном безотчетном стремлении: *замирить* память хотя бы, если до сих пор нельзя помирить сторон, и как бы *склонить факты* за их изображением к полюбовной. Есть в этом какая-то бессознательная забота о восстановлении нарушенной нравственной преемственности. Это в одно и то же время забота и о потомстве, и о современниках, и о части поколения, попавшего в *наиболее* ложное положение (об эмиграции), и о Западе с его культурой, и вновь, наконец, о том, что все эти части вместе со множеством других, неперечисленных, содержит, — об истории.

Мы так заинтересованы в том, чтобы она как можно скорее пришла к своим окончательным, олицетворительным движеньям, нам так надо получить от нее устойчивое, не оставляющее уже больше спору лицо, что там, где в этих движеньях ее может еще остановиться временная несговорчивость фактов, мы подсовываем ей облагороженную легенду о них, — лишь бы она не задерживалась на горьких частностях, шаткость и временность которых очевидна.

Я не собирался писать Вам длинное письмо и жалею, что так оно вышло. Эту безвкусицу я допустил не для того, чтобы занять Вас вещами, более моего Вам известными, а чтобы отчитаться в своих словах об особой близости, вкравшихся и в сегодняшнее письмо. Затем простите, что вымарываю его на Ваших глазах, и не усматривайте в этом небрежности.

Хотя Вы просили принять Ваши слова о Вашей неудовлетворенности без возражений, а говорить о Вашей художественности и действительно значит ломиться в открытую дверь, не могу не признаться Вам, что «1905-й» я Вам послал только ради рукописи и документации того чувства, которое во мне неизменно вызывали Ваши книги.

И опять, как сырой и неискушенный читатель, увлеченный ходом повести и ее красотами, я сохранил в памяти ряд эпизодов так, точно сам их в тех местах пережил.

В заключение благодарю Вас за письмо.

Не правда ли, как фатальна эта двойственность нашего времени? Все оно пришло к нам с Запада, им вну-

шено и подсказано, а между тем никогда не бывал так взрыт до основания наш восток, как в результате этого западного события.

Но как мне исполнить Вашу просьбу и как сказать о нашем различьи, если, не говоря о качественном, — неисчерпаемом и бесконечном в любом живом случае — в нашем безмерно и количественное?

Как ни рад был бы я любой Вашей строке о любом предмете, однако последними словами на эту тему прошу Вас считать мои, — и больше ее не касайтесь ⁴. Я знаю, что всякий разбор неизбежно отдает преувеличением, что тех размеров, которые получила тут эта тема, не было в Вашем письме, что, вообще, быть может, *оно ничего подобного не заключало*. Все равно, я поспешил воспользоваться случаем выйти из (возможного) смешного положения. Я дорожу Вами как лучшие из Ваших читателей и писал Вам только в этих границах.

Любящий Вас
Б. П.

Не отзывайтесь, пожалуйста, на это письмо. Я Вам напишу еще как-нибудь. Я хотел сказать, что чувство объективности мне не чуждо, что если бы между нами, к Вашей чести и славе, не было огромной разницы, и я бы ее не знал, я бы и не разлетался к Вам так.

130. С. Д. СПАССКОМУ

22 декабря 1928, Москва

22.XII.28

Дорогой мой Сергей Дмитриевич!

Горячо Вас благодарю и поздравляю. Как хорошо, что дело доведено до конца и книга ¹ есть, живет, существует. Перелистывая, с удовольствием и радостью попадал на знакомые места, которые в печати еще выиграли. Разумеется, это — победа, и эта нешуточная, всюду подержанная настоящим поэтическим напряжением вещь, где Вы справились с таким множеством непреодолимых трудностей, заслуживает вновь особого и обстоятельного разбора, но Вы его мне простите навсегда, и не числите меня в должниках, лучше я неожиданно когда-нибудь скажу Вам или напишу какую-нибудь частность о ней,

предрешенно-приятную, потому что как было, так оно и остается: это истинная в своей свежести *поэтическая бесконечность*, укрепленная прозой, отстоянная и не сданная на этих укреплениях, и серьезностью последних окупленная. Это зрелая и мужественная встреча с временем, которая без самоограниченья немислима. Честь Вам и слава, что справились с этой нелегкой и, о, какую мучительной задачей. Я тем живее радуюсь и завидую Вам, что с самой весны ничего стоящего не сделал и теперь, когда по мат(ериальным) причинам уже обязательно пора что-ниб. предъявить, еще дальше от этого, чем когда. К личным причинам и отчасти семейным в последнее время присоединились обстоятельства объективные: меня очень нервируют и почти до физического заболевания удручают недавно начавшиеся и все развивающиеся толки о «правой опасности» в литературе². Было бы легче, если бы с официальной стороны были предприняты какие-ниб. определенные шаги, на которые можно было бы отозваться так или иначе. Но не только их не делают, но, кажется, они и не предвидятся, и только атмосфера, ставшая с годами сносной благодаря привычке, с обновленной свежестью напоминает о своей несносности. Опять в неразложимый (в силу единства официального аппарата) фактор сливаются чересчур различные силы. В растущей неопределенности, которою нас томят и донимают, сегодня слышится справедливое, по-своему, пролетарское недоуменье по поводу всех нас, пролетариату по-советски аттестованных в качестве одного из плодов его победы. Уже готов по-новому (и в который раз!) с интеллигентским чистосердечьем пережить, казалось, теряясь и болевая, действительный трагизм этого действительного подлога (осложненного тем, что поддеывали нас, а не мы фальшивили). Как вдруг, назавтра, с уже наставшей нравственной лихорадкой в душе, сдаваясь и уступая, открываешь в продолжении вчерашней темы уже новые подголоски, — тут и голоса мелкого неприкрытого завистничества и карьеризма, и, наконец, уже и свинская, по-хамски самодурствующая несправедливость. Так, на двух-трех заседаниях, куда предусмотрительно писателя не пригласили, оказываются «врагами», обманщиками и нетерпимыми ничтожествами все, коих существование могло подсказать Горькому название задуманного им журнала³. Все, что хоть несколько отдает действительным достиженьем, идет на-

смарку, и в первую голову: Леонов, Федин, Всеволод Иванов и др. Об этом узнаешь со стороны и после этой мерзости не знаешь, что тебе делать с твоим вчерашним раскаяньем.— Но довольно об этом, заговоришь, увязнешь.

Но только не сердитесь на меня, что пишу до нового полного прочтения «Неудачников». Эта книга поступает в тот десяток, к которому я неизменно тянусь всякий раз, как по ходу моей жизни это право себе зарабатываю, т. е. когда я такого удовольствия достоин, когда в ладах с собой и хоть сколько-ниб. своим поведением удовлетворен. Не то сейчас, когда в расчете на Вашу жалость и участие я остаюсь преданным Вам

Б. П.

Но Вы и в самом деле, конечно, не знаете, как велика Ваша заслуга и сколько в ней заложено обещающего для Вас!

Горячо Вас также благодарю за надпись. Привет Вашей милой супруге. От души желаю обоим Вам счастливо и весело встретить наступающий Новый год. Ах как мрачны его официальные акушеры!

И, вероятно, у меня начинается грипп.

131. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

27 декабря 1928, Москва

27.XII.1928

Дорогая Олечка! Ах, если б ты знала, как мне плохо, как безысходно-неопределенно-трудно последнее время. С самой весны я как-то справлялся только с житейскими нуждами, ничего же нового и живого не сделал. Виноват в этом не я один, а также и время, т. е. официальные его настроенья. Сейчас ничего не могу тебе ответить на предложение Института ¹, вероятно, инспирированное тобой, со дня на день собираюсь засесть за дело, что только меня и спасет душевно, и только отсюда, из вновь отвоеванного круга этого, не только теперь, но и извечно обреченного круга этого, не только *теперь*, но и *извечно* обреченного, благородно обреченного чистосердечья, способен буду сообразить, что написать и сделать. Но, думаю, писать теперь, в эти дни, стал бы лишь об этом: о невольном самоограничении «попутчиков», ставшем их второю

природой, и об искажении, которому подвергается оценка их исторической роли в самое последнее время. Но если ты знаешь Бухштаба лично, передай ему, чтобы он цитатами из моей второй книги «Поверх барьеров» не пользовался, не справлясь у меня: эта книга испещрена опечатками, она вышла без моей правки, в год, когда я был на Урале.

Крепко целую тебя и тетю.

132. П. Н. МЕДВЕДЕВУ ¹

10 января 1929, Москва

10. I. 29

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Что же Вы не шлете обещанной книги? ²

Ваше молчанье толкую в том смысле, что вероятные осложнения с бумагой связали Вам руки и отразились на Ваших планах, во всяком случае в части, касающейся меня.

Между тем обстановка последнего месяца (толки о попутчиках, о правой опасности и пр.) ³ всего менее располагают к работе. С самой осени ничего не пишу и второй месяц живу на журнальные авансы. Когда Вы со мной говорили по телефону, я себе не представлял, что это все так разрастется и так безнадежно на мне отразится. Вот отчего в обсуждении всяких возможностей я ни нетерпенья, ни повышенной, сверх приличной меры, заинтересованности не выражал. Не то сейчас. По состоянию моего бюджета мне вскорости (недели через две) надо обратиться к договорным предположениям о «Спекторском» как к источнику по истребованию большого единовременного аванса. И если это невозможно у Вас или вообще все это предположение отпадает, не откажите меня о том известить, и чем скорей, тем лучше. И пришлите книгу. Жду ответа. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак

Мой адрес: Москва, 19, Волхонка, 14, кв. 9.
Борису Леонидовичу Пастернаку

20 января 1929, Москва

20.1.29

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Сердечно благодарю Вас за быстрый отклик. Отвечаю вторспяж, и ничего, кроме дела, да и то, верно, сбивчиво изложенного, в этих строках не ищите. Вы очень меня вызволили присылкой предложенья. Чтобы не задерживать процедуры и, главное, присылки 35% или их части, подписываюсь в графе об авторском согласии, но если бы это Вам удалось, я очень бы просил Вас понизить тираж с 4-х тысяч до трех. Это не из правила, что при заключении договора поторговаться никогда не мешает, а вот из каких соображений. Когда у меня к осени или к концу года сложится и подберется несколько книжек, я бы тут же или вскоре после того хотел запродать собрание, и наличие одного издания не могло бы, вероятно, явиться помехой для такой сделки, между тем как 4-х тысячный тираж, наверное, выше единовременного выпуска и Р(едакционно)-И(здательский) О(тдел) Л(енгиза), по-видимому, собирается воспользоваться своим правом двукратно (т. е. не исчерпав тиражной цифры сразу, потом допечатает). Я нетверд в этой терминологии, то, что я хотел сказать, можно, вероятно, выразить в двух словах, но, думаю, Вы и так меня поняли. Затем, *Вам лично*, должен по совести сказать, что вряд ли до мая управлюсь, но очень прошу пропустить это признание мимо ушей и из него препятствия к заключению договора не делать. В течение лета рукопись представлена будет, а задержки Гизу не в диковинку, и, что еще важнее, сплошь и рядом производственно и планоно задерживает он и нас. У меня очень трудное и до крайности напряженное время сейчас, я об этом уже Вам писал, вероятно. Крепко жму Вашу руку и еще раз от души благодарю. Когда пришлете книгу, буду ее читать урывками и наперед вынужден Вас предостеречь: не подивитесь, если запоздаю ответом, и скорого не ждите. С неделю сел за повесть, которая будет самостоятельным фабуляторным звеном «Сп(екторско)го», чтобы облегчить заключительное стихотворное его звено, и войдет в предполагаемый сборник прозы (= переизд. кн. «Круга» + эта повесть (листа 2) + автобиогр. вещь листа на 3—4). О про-

зе говорить в этот торопливый час рано, но говорить готов именно с Вами. Пока повременим. Отвечайте и, если можно, пришлите денег.

Ваш *Б. Пастернак*

Проза ¹ в сроках разойдется (со «Спекторским») месяца на два — на три, и если бы мы договорились, то вопрос о том, что будет готово вперед, потерял бы существование, и выбор мог бы быть предоставлен мне. Это было бы большим облегчением в гонке.

134. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

28 января 1929, Москва

Глубокоуважаемый Павел Николаевич!

Книгу Вашу получил и очень благодарю за нее. Так как в дни ее получения я времени для чтения урвать не мог, то и не воспрепятствовал одному теоретику, приятелю моему ¹ со студенческой еще скамьи, ею завладеть. Мы должны были в этот день навестить Б. Садовского ², он зашел за мной, и так мы втроем (с книгой) туда и отправились.

Вы не поверите, как мне больно и неловко надоедать Вам, и не то что проявлять, а просто-таки *оголять* свое нетерпенье. Но так, к несчастью, сложились обстоятельства. Вот в чем дело. У меня давно, несколько уже месяцев, нет никаких денежных ресурсов, и держался я это время журнальными авансами. Но по своей робости я бы никогда на это не пустился, а пустившись, не стал бы вам в этом признаваться, если бы не сознание моей кредитоспособности, которое только-то в последнее время ко мне и вернулось.

Если бы меня сейчас поддержали, то вот какова моя программа (или, лучше, планы). Все это должно быть выполнено к осени, скажем, к сентябрю. Это, первым делом, повесть в прозе, которую я только, только начал, но — надежно, т. е. с увлечением, заставляющим верить в то, что она будет доведена до конца. Названа она вчерне «Революция», будет листа на 3 на 4, а может быть, и больше, и явится звеном «Спекторского», т. е. в ней я предполагаю фабуляторно разделаться со всем военно + военно-гражданским узлом, который в стихах было бы распутывать затруднительно. При всем том пи-

шется она как вещь самостоятельная, и включу я ее в сборник прозы, а не (интерполятивно) в роман, на который мы заключили договор.

Во-вторых, по исполнении названной прозы, должен быть закончен стихотворный «Спекторский», опять хотя и последовательно вытекающий из порученного прозе звена, но без ущерба для самостоятельности сплошь из стихов состоящей книжки.

Наконец, в-третьих, должна быть дописана автобиографическая вещь (памяти Рильке) об искусстве, половина которой готова и лежит в «Звезде» под временным, впредь до измененья, заглавьем «Охранная грамота»: ³ редакция по неопределимой своей любезности воздерживается от печатанья этой, давно оплаченной части, пока не допишу всего.

Тогда, по доведении до конца этих трех работ, у меня будут готовы те именно две книжки, которые интересовали Вас, т. е. «Спекторский» и «Проза» (так мне хотелось бы назвать прозаический сборник, так, собственно, был он назван, когда был — в старом объеме, без «Революции» и «Охранной грамоты» — предложен «Кругу» и затем выпущен под названием «Рассказы», самовольно замененным издательством ради пущей расхожести, — «Проза» казалась хозяйственной части названьем нерентабельным).

Фатально то, что ни план этот, ни очередной распорядок работ измененья не допускают. Т. е. я ни отложить его исполненья не могу, ни переверстать очереди. Я набрал (и прожил) авансы во всех трех журналах, и это время мне остается жить на авансы книгоиздательские (т. е. данные под книги, а не под отдельные вещи) или, короче говоря, под Ваши, — если мы сделаемся и насчет прозы. В ней будет листов 12 — 6 листов будут новые, представил бы книгу осенью, за лист просил бы 250 р. Разумеется, прошу не у Вас, а через Вас, т. е. вполне на Вас полагаюсь и знаю, чью сторону Вы будете держать. Простите, что тороплю Вас, но не могу оставить надежды на скорый ответ от Вас, в расчете на что и берусь снова за работу. Не задержитесь ответом и в том случае, если он сложится отрицательно, — тогда я обращусь в Гиз или в «Федерацию», главное, мне теперь откладывать этого нельзя и руку приходится наложить и на «Прозаический» аванс. И — главное главного — поспособствуйте скорейшей присылке всех авансовых денег под «Спекторского». Только в таком случае можно

будет продолжать работу. Задержка же и дробление сумм делают ее невозможной и проживаются в покрытие задолженности, а тем временем дело не делается, вот и получается отчаянная чепуха. Не сердитесь, что надоедаю. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. П.

135. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

23 февраля 1929, Москва

Дорогой Павел Николаевич!

Только что получил повестку о денежном переводе, и так как за этой быстрой помощью вижу Вашу добрую руку, то и спешу от души Вас поблагодарить. Иногда на теперешнюю свою работу смотрю как на постепенно выписывающуюся оправдательную отчетку перед двумя-тремя друзьями (и Вами в том числе), перед которыми глубоко виноват. Вы простите, что я неловкость положения, в котором сам нахожусь, то и дело сам подчеркиваю беспрестанным поминаньем о книге. Но так лучше, хотя и в обнажении своего собственного стыда мало такта. Но как бы сбежалось! Теперь два месяца можно будет спокойно работать, и надо торопиться, чтобы время не прошло без пользы. Как уже сказал, утешаюсь мыслью, что первый ремингтонный оттиск беды моей можно будет послать потом в виде оправданья — и Вы думаете — Вам? Нет, искреннейшим образом и без всякой задней мысли, — вот о чем я мечтаю. Я возьму с Вас слово, что Вы на нее и не взглянете, а от Вас она поступит к кому-нибудь близкому Вам и более свободному человеку¹ и, может быть, такому, ради досуга которого Вы поступились своим. И моего условия не изменит то обстоятельство, что к тому времени я, наверное, Вам напишу о книге, потому что следующая моя работа («Охранная грамота») — частью об искусстве, и при переходе к ней мне вдвойне будет интересно и важно за одно из долгих лишений себя вознаградить.

Тут в письме есть налет пока неоформленной, но самой неподдельной сердечности, и, если рука мне не изменяет, Вы ее уловите. Так она потом оформится и сложится и найдет по себе назначенье, вот что я хотел сказать.

Ваш Б. П.

6 марта 1929, Москва

6.III.29

Дорогая Анна Андреевна!

Мне кажется, я подберу слова,
 Похожие на вашу первозданность,
 И если не означу существа,
 То все равно с ошибкой не расстанусь.

(Я слышу мокрых кровель говорок,
 Колоколов безмолвные эклоги.
 Какой-то город, явный с первых строк,
 Растет и узнается в каждом слоге.

Волнует даль, но за город нельзя.
 Пока внизу гуляют краснобаи,
 Глаза шитьем за лампою слеза,
 Горит заря, спины не разгибая.

С недавних пор в стекле оконных рам
 Тоскует воздух в складках предрассветных.
 С недавних пор по долгим вечерам
 Его кроют по выкройкам газетным.

В воде каналов, как пустой орех,
 Нырятся ветер и колышет веки
 Заполночничавшейся за всех
 И счет часам забывшей белошвейки.

Мерцают, заостряясь, острова.
 Метя песок, клубится малокровье,
 И хмурит брови странная Нева,
 Срываясь за мост в роды и здоровье.

Всех градусов грунты рождает взор:
 Что чьи глаза накурят, все равно чьи
 Но самой сильной крепости раствор —
 Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
 Он мне внушен не тем столбом из соли,
 Которым вы пять лет тому назад
 Испуг оглядки к рифме прикололи,

Но, исходя из ваших первых книг,
Где крепили прозы пристальной крупницы,
Он и сейчас, как искры проводник,
События былью заставляет биться.

Дайте мне, просто даже открыткой, санкцию на печатание этого стихотворения. Может быть, в корректуре я его усилю. Очень много работаю сейчас, но над прозой, и для того чтобы ее дальше писать, пришлось прибегнуть к помощи стихов¹.

Но последний остаток лирического чувства живет и догорает во мне только еще в форме живого (и конечно неоплаченного) долга перед несколькими большими людьми и большими друзьями. Я написал Вам, Мейерхольдам и Маяковскому. Я у Вас спрашиваю не мненья о стихотворении, потому что знаю, что оно слабо и в нем нет того *движенья*, которое соответствовало бы записанным образам, Вами вызываемым. Но может быть, Вам что-нибудь просто *не понравится* как-нибудь лично, и это я должен знать и с этим обязан считаться, потому что это обращено к Вам, т. е. «Ахматовой» будет заголовком, а не только посвящением.

Необходимость уписать строку в почтовую строчку довела мой почерк до такой несвойственной ему бисерности, что у меня нет чувства, будто я Вам пишу письмо. Я и не пишу его. Это деловой запрос. Буду с нетерпением ждать вашей открытки. Адрес: Москва, 19, Волхонка, 14, кв. 9. Отдам, если позволите, в альманахах «Недра», вместе с двумя другими обращениями², которые еще хуже. Еще раз повторяю — вопрос в том, *терпимо* ли оно для Вас. Вы знаете, с какой силой живете во мне, как и во всяком, и настолько это лишь естественно, не более того. К этому знанию стихотворенье ничего не прибавляет.

Затем ясно ли, что речь идет об особом складе электрической силы, которая выражена не только в «Лотовой жене» и не в образе соляного столба только, а исходит от Вас всегда и никогда не перестанет исходить.

Ваш Б. П.

Бьюном подчеркнул места, которые постараюсь заменить *во всяком случае*, по их невыразительности или неуклюжести.

30 марта 1929, Москва

30.III.29

Милый Сергей Дмитриевич!

Только что узнал от Полонского, что «Повесть о старшем брате»¹ принята в журнал, и спешу Вас с этим поздравить. Кроме того, хочу посоветовать Вам книгу стихов предложить ЗиФ'у². Я почти уверен, что там они пройдут, а в Федерации их кажется провалили, не знаю, впрочем, наверное и теперь не помню, от кого слышал. Но Губеру³ они очень понравились, и в ответ на вырвавшееся мое недоумение он его только усилил, сказав, что книга-де не подошла потому, что слишком хорошо для Федерации. Это было сказано безо всякой иронии, так бы сказал и я, и только меня удивляет открытый цинизм пружин, соединяющих причины со следствиями. С Вашего вечера я ни разу в том доме не был. Не пришлось мне и поработать, как о том мечтал. Опять у меня случилась неприятность с челюстью (пиорея), которая на этот раз затянулась (а это мучительная штука) и только теперь привела к флюсу, — обычному исходу этой болезни, который я всегда встречаю с радостью, точно облегчение. Так встретил я его и сейчас, но только очень заждался его.

Я думал дать кусок прозы⁴ в апрельский № «Нов. мира», но не придется, хорошо — к маю бы не опоздать. Мне будет очень жалко, если мы разминемся с Вами «прозами», очень было бы радостно очутиться с Вами рядом под одной оберткой.

Всего лучшего. Поскорей обращайтесь в ЗиФ. Они реорганизуют издательство, во главе стоит Попов, один из редакторов Яков Захарович Черняк, с которым Вы познакомились у К. Если хотите, напишите прямо ему, со ссылкой на мой совет, если это Вам улыбается. Они написали Федину, не продаст ли он им собрание соч. и вообще, поначалу, полны наивысшей намерений. Сообщил ли Вам Петр Никанорович⁵ о нашем общем афронте в Недрах? Ну так вот: отказали Борису Николаевичу⁶, отказали Вам, отказали мне.

Привет от души Вашей милой супруге.

Искренне любящий Вас
Б. Пастернак.

6 апреля 1929, Москва

6.IV.29

Дорогая Анна Андреевна!

Недели три тому назад я Вам отправил письмо по Вашему старому, а легко может быть, и по ложному адресу¹. Я в нем испрашивал Вашей санкции на печатанье стихотворенья, к Вам обращенного. Оно было приложено. Своей оплошностью я поставил себя в положение неуяснимой неизвестности. Но все же мне казалось, что Вы бы мне отказали на словах (в случае, если письмо дошло), а не в такой молчаливой, обрекающей на догадки форме. Вероятно, так оно и есть, и я очень рад пропаже письма, потому что я им поторопился и стихи послал с первой записи.

Я третий месяц очень усидчиво работаю над большой повестью, которую пишу с верой в удачу. Я недавно болел, но не прерывал работы. Мне очень хорошо. Далекий от мысли, что я это осуществляю, я вновь, как бывало, умилен до крайности всем тем, что человеку дано прочувствовать и продумать. Мне некуда девать это умиление, повесть потеряла бы в плотности, если бы я все это излил на нее одну. Мне приходится исподволь писать стихи. Их теперь, в моем возрасте, я понимаю как долговую расплату с несколькими людьми, наиболее мне дорогими, потому что, конечно, именно они — истинные адресаты, к которым должно быть обращено это умиление. Я хочу написать стихотворенье Марине, Вам, Мейерхольдам, Жене и Ломоносовой, нашей заграничной приятельнице. Вам и Мейерхольдам они написаны, и, когда будут сделаны остальные (повесть задерживает), мне бы хотелось их напечатать.

Если я пока не заслужил Вашей искренности, то заслужу еще ее. И потому будьте, пожалуйста, со мной откровенны. Если прилагаемое стихотворенье чем-нибудь неприятно Вам (помимо того, что оно недостаточно сильно), напишите мне о том, пожалуйста, со всем прямым сердцем. Пусть неудачно, но свое виденье Вас и свое чувство я в нем выразил, и этого достаточно, чтобы, на мой взгляд, оно годилось для печати, и в этом случае, по понятным причинам, даже в нее *просилось*. Но я обязан считаться и с Вами.

Ответьте, пожалуйста, и напишите несколько слов о себе. Ответьте хотя бы открыткой.

Всей душой преданный Вам *Б. П.*

139. А. А. АХМАТОВОЙ

10 апреля 1929, Москва

10.IV.29

Дорогая Анна Андреевна!

Горячо благодарю Вас за ответ и очень обеспокоен концом телеграммы¹. Если это возможно, я просил бы кого-нибудь из Ваших близких или друзей, Вас навещающих, сообщить мне, что с Вами и как Ваше самочувствие.

Не надо прибавлять, с какой признательностью я приму такое извещение. Я просто бы, миновав Вас, запросил Лукницкого², но, к сожалению, затерял его адрес. А Вы, Анна Андреевна, пожалуйста, простите меня, что в такое время я Вас обеспокоил подобной ерундой, — ведь это произошло без моего ведома, и не по моей воле все вышло так нехорошо и глупо. Всей душой, как только можно, желаю Вам поскорее оправиться. Я и сам болел недавно, и по упорству и естественности, с какой, точно у себя дома и как постоянная жилища, обосновалась болезнь, еще недели две назад не видел, отчего бы и зачем ей кончиться и смениться здоровьем.

Пишу в вере, что моя просьба к вашим друзьям застанет вас в состоянии, когда это кажется уже более вообразимым. Всего лучшего.

Еще и еще раз большое спасибо.

Но об этом лучше не распространяться. Мне страшно стыдно. Я все знаю. Правда и то, что невозможно трудно сказать что-либо, хоть отдаленно Вас достойное. Или не только Вас. Но когда мы говорим о природе или о третьем лице, или о себе, — мы не спрашиваем и не слышим ответа. И все сходит с рук. А Ваша телеграмма, как старшая, смотрит на стихотворенье, и в ней больше содержания, живого и противоречивого, чем в последнем.

Ваш *Б. П.*

Жена шлет Вам сердечный привет и тоже желает скорейшего и полнейшего выздоровленья.

21 апреля 1929, Москва

21.IV.29

Дорогой Павел Николаевич!

Сердечно благодарю Вас за новый и вновь незаслуженный знак участия. Вы правы во всех Ваших предположениях и в точности угадали мои обстоятельства. Приход Вашего письма так чудесен, что заслуживает особо горячей благодарности, потому что мне его подали в минуту, когда оно прозвучало нечаянно-громким ответом на мои безрадостные мысли.

Тем более должно Вас удивить, что письмо придет без предложенья. Накануне его получения, опять, по обыкновенью, дав делам дойти до последнего предела, я завел разговор о том же с одним из здешних издательств и, по-видимому, с ним и сделаюсь насчет прозы¹. Не говоря о том, что Вы меня особенно обязали тем, что все оформили без моих настояний, своим почином, этот подарок еще сказался и на ходе моих переговоров с другим издательством, и это произошло само собой, без моего участия.

А отсрочка, выговоренная «Спекторскому», — громадная, громадная услуга, которой никогда не забыть. От души всего, всего вам лучшего.

Ваш Б. Пастернак.

141. С. Д. СПАСКОМУ

24 апреля 1929, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Обязательно, с большой охотой и безо всякого труда исполню Вашу просьбу. Вашими оговорками воспользуюсь только в том смысле, что позволю себе это сделать не сегодня, а дня через два, и вот по какой причине. Сам того не желая, я как бы стал на дороге Вам, т. е. легчайшему и естественнейшему исполнению просимого. Я не могу сей же час позвонить В. П.¹, как это было бы всего естественнее, потому что два раза забирал у него аванс под прозу и все обещал ее на след. неделе. Таких недель прошло уже немало, и он обязательно меня об этом спро-

сит. И если, из психологического расчета и иных тонкостей, Вы обратились со всем этим ко мне (и за это спасибо), то по тем же причинам боюсь и я, что мой звонок до известной поры Вам может повредить. Но разумеется, я не дам делу залежаться как-ниб. для Вас ощутительно, и Вы в этом убедитесь. Обнимаю Вас. Ваш Б. П.

142. В. С. ПОЗНЕРУ ¹

1 мая 1929, Москва

1.V.29

К моему стыду и крайней досаде, я забыл Ваше отчество. Сердечно благодарю Вас за подарок. Насколько могу судить, — переводы превосходные. Но еще и по другой причине я могу гордиться трудом, Вами на меня положенным, и тем, так сказать, что побывал в Ваших руках. Если отбросить Ваше лестное ко мне отношение и обратиться к остальным характеристикам, надо сказать, что они мне до чрезвычайности близки своей широкой, благородной положительностью и тем, не названным прямо, общим мериллом, которое легло в их основанье. Тут Вы дали мне случай порадоваться тому, что мои оценки, вероятно, пристрастные (они внушены посторонними причинами, о которых дальше), почти целиком совпадают с Вашими, а Вы в этом отношении свободнее моего. Я думаю, что огня и гения, так сказать, больше всего у Бабеля и Всеволода Иванова. И, однако, из крупных наших писателей мне всего ближе Пильняк и Федин. Я мог бы себя, например, заподозрить в лицепрятости в отношении Бабеля, т. е. в том, скажем, что, не состоя в списке людей, с которыми ему в жизни по пути, я ему плачу взаимностью и не включаю в свой собственный. Но с другой стороны, моя работа доступна Всеволоду Иванову, и он знает, к чему я в ней тяготее, не говоря уже о том, что мое преклоненье перед громадным даром их обоих ему известно. Так что не в этом дело. В наше время, которое начинает измеряться уже десятилетиями, мне ближе, роднее и понятнее то, что берут на себя, по-разному себя ограничивая и приближая, Пильняк и Федин. Тут и причина того, отчего я к Леонову отношусь холоднее, чем ко всем перечисленным того же полета. Пильняк и Федин ограничивают себя *исторически*, т. е. в со-

гласии со всеми сторонами (теневыми и светлыми) эпохи, Леонов же идет путем *стилистического* самоограничения. Может быть, я ошибаюсь, но дело мне представляется в таком, что ли, виде, что два первых приходят к академической крупноте и бесстрашию в отношении общего места скрепя сердце, ради действительности, которая того хочет и которую как-то можно подправить и облагородить такой уступкой; последний же и в любое время развивался бы так же, как сейчас, т. е. ему по душе капитальность места, к которому он пришел и так заслуженно занял. Я знаю, что все это — рассуждения внехудожественные. Оттого я и назвал причины, слагающие мое отношение к товарищам, посторонними.

Я мечтал Вас тотчас же отдарить посылкой книжки «Поверх барьеров», которую обещали выпустить к концу апреля. По-видимому, это желанье придется отложить недели на две. Но Вы доставили бы мне большую радость, если бы тем временем у Вас нашелся свободный экземпляр книги «*Literature russe*». Верьте мне, что интерес у меня к ней не только лично-корыстный (да ведь я и не знаю, что меня в этом смысле в ней ожидает). Не на всякое свидетельство симпатии и признанья я отзываюсь так живо, как на Вашу посылку. Но зато и ни одно доказательство широты, спокойно верящей в будущее и не цепляющейся за частности, не оставляет меня безответным, как в Вашем, например, случае. А вложенное в «*Prose russe*» оглавление (я говорю о перечне глав, а не об аннотации) обещает книгу захватывающей широты и существенности. И в перечне особняком поставлен Федин, и этот намек, как и несколько других, до крайности напрягают мое любопытство. Простите, если это чувство предосудительно.

Пишу Вам утром 1-го мая. По Волхонке мимо окон третий уже час идут на парад войска, отряды рабочих, дети. Надо быть совершенным ничтожеством, чтобы догадаться назвать это все *помехой*, но все же письмо под непрерывное следованье оркестров было писать трудно, и если Вы уловите что-нибудь такое, что Вам покажется неясным или досадным, то знайте, что именно меня отвлекало, рассеивало и волновало. Всего лучшего.

Глубоко Вам признательный Б. П.

13 мая 1929, Москва

13.V.29

Вы мне опять не сообщили Вашего отчества. Благодарю Вас за книгу¹. Позвольте сказать Вам искренне, что я о ней думаю, Вас не щадя, потому что если Вы со мной согласитесь, то недостаток, который, на мой взгляд, роняет ценность Вашего труда и может дурно повлиять на судьбу книги, — легко поправить, да и случая внести эти исправленья недолго придется ждать, благо это 4-е уже издание, и, след(овательно), книга будет переиздаваться. Я Вам укажу на две, на три частности, но суть не в них, они будут поясняющего характера, а потому и назову я их не сразу, а вперед скажу о том общем изъяне, который и мог только их вызвать. Предупреждаю Вас, что книгу я получил лишь третьего дня и все время очень занят. Я прочел ее не всю и читал не по порядку. Однако, пусть и без последовательности и вперемежку, две трети ее я все же прочел и не думаю, чтобы в недостающей трети находились те оговорки, которые служили бы автору извиненьем, либо же, заключая теоретические обоснованья шероховатости, возводили недочеты книги в намеренно осознанную систему.

Книгу Вы выслали мне по моей просьбе, просьба была внушена ожиданиями, ожидания были вызваны Вашими вводными замечаньями в «Антологии». Тремя первыми частями книга эти ожидания оправдала. Объективными эти 277 страниц можно назвать лишь с тем ограничением, которое привлекает к Вам и делает Вам честь. Это — историческая широта человека живого, с *пристрастьями*, но такого, который этими *пристрастьями* не тешится, а сквозь них и при их помощи растет, переходя к широте еще большей и предрешенно-живой. Откуда я это заключаю, или, другими словами, что подтвердило мне, что я в своих надеждах на Ваше лицо не обманулся? Вы нигде не даете своей поэтики, которая бы являлась мерилom Ваших суждений и оценок, и хорошо очень сделали, что не пустились на такую подделку. Потому что глубже и богаче всяких эстетических схем встает Ваша эстетика из сотни разбросанных по всем главам незначительностей, говорящих о Вашем *незаявном*, творческой складки, пониманьи. Таковы замечания о переводах в главе об Анненском; таковы сообра-

женья о Бальмонтовой музыкальности первых книг, когда эта музыка умела звучать, потому что представляла новизну для автора, такова трактовка Брюсовской судьбы (непоэтическая недооценка жизни и действительности, ее, так сказать, порядкового места в последовательности творческого дела) и пр. и пр., — называю лишь затем, чтобы Вам было ясно, о чем говорю). Тут много прекрасных глав (об Анненском, о Блоке, об Ахматовой) — но я не занимаюсь разбором достоинств книги, побужденья у меня совсем обратные, я просто хочу, перед тем как перейти к четвертой части, ставящей Вас и книгу в ложное положение, указать, как сильно и с какой выгодной стороны показывает себя автор, как много, другими словами, мы вправе от него требовать.

Почему Вы не пополнили своей осведомленности, с 22-го года становящейся очень недостаточной? Отчего, если это было невозможно, не предпочли ограничить книгу тремя первыми, прекрасными частями? Наконец, если Вы не могли отказаться от характеристики этого периода, естественно-близкого Вам и дорогого, то надо было из матерьяла, Вам доступного, выделить одно только несомненное и проверенное. Эту часть, шаткость подступа к которой Вы не могли не сознавать сами, следовало писать совершенно по-иному, нежели первые три. Тут сухая осторожность должна была заступить место личного лиризма, который в предыдущих частях дает историческую действительность, преломленную одаренным автором, а в этой преломляет ее через ряд житейских случайностей, т. е. через превратную среду, представляющую Вас в еще более ложном и незаслуженном свете, нежели ваши утверженья. Здесь надо было позабыть кучу имен, вами удержанных в памяти, и, во всяком случае, посвятив две страницы Л. Лунцу, назвав Боброва, Эльзу Триоле и пр. и пр., *немыслимо* было обходить совершенным молчаньем Ник. Асеева, равно как и странно было, при Родовых, Машировых и пр., забыть о существовании Демьяна Бедного.

Надо ли говорить, что для личной неудовлетворенности Вы мне прямого повода не подали, кроме того косвенного (с Асеевым), который, может быть, стоит много прямого. Потому что, как бы ни различествовали наши устремленья, как чужд ни был бы мне былой Леф, как мимоходом ни содействовал бы я всем смыслом моих работ постепенному оттесненью их на задний план,

Асеев есть Асеев, и он поэт мировой и бессмертный в том случае, если Кирсановы и Вагиновы и т. д. и т. д. остаются у Вас на страницах и с них не скатываются. Вы должны понять меня: я не отказываю названному в поэтической жилке, я не перевожу их в самозванцы, я просто призываю Вас к масштабам и пропорциям. Ведь вот сумели же Вы представить участь Брюсова как трагедию и горькой серьезности ее не понизили. Нашлось же у Вас достойной человечности написать, не роняя предмета, о Бальмонте, Вяч. Иванове, Ходасевиче. (Вам этот такт изменил лишь в гл. о Северянине, тут Вы тему обидно упростили, тем ее исказив.) А трагедия Асеева есть трагедия природного поэта, перелегкомысленничавшего несколько по-иному, нежели Бальмонт и Северянин, потому что тут не искусство, но *время* выкатило ту же, собственно говоря, дилемму: страдать ли без иллюзий или преуспевать, обманываясь и обманывая других. — К сожаленью, я очень занят и вряд ли скоро опять смогу Вам написать. На Вашем месте я бы обязательно запросил ленинградских друзей о книге и выбрал бы судьями наименее пристрастных и кто постарше. Вас просто засыплют указаниями, и то, что я привел, я сказал Вам только в пояснение общего впечатленья от последней части.

Вы же не сердитесь на меня. А за всем сказанным горячо благодарю Вас за подарок.

Ваш Б. П.

144. В. С. ПОЗНЕРУ

14 мая 1929, Москва

14.V

Сейчас пришло Ваше письмо, дорогой Владимир Соломонович, и мне еще более стало, что я, наверное, огорчу Вас, после теплоты Ваших строк. Вы просите меня порассказать о себе, и я это с охотой когда-нибудь сделаю, но не теперь, потому что просто не опишу Вам, как занят.

Между прочим, главная виновница моего недосуга — проза, за которую я принялся, но много и других виновников. Рад всему, что Вы о себе сообщаете. С удовольствием прочту Ваш сборник¹, симпатия ему обеспечена. Но для Вас и для меня будет лучше, если, отослав его, свыкнетесь с мыслью, будто бросили его, как камень в

воду. Я сам расстрою эту аналогию, когда смогу. Писанье писем — это то, что мне дается всего реже и труднее. О Carrefour'e (если это то самое) мне Пильняк говорил. Радостно знать, что Вы любите Цветаеву. Ее круг — самый мне близкий. Знаете ли Вы, что «Крысолов» любимейшая вещь многих серьезнейших коммунистов?

Пруст года три назад был для меня совершенным открытием. Боюсь читать (так близко!) и захлопнул на пятой странице. Оставил впрок, отложил, не знаю насколько. А тем временем и опасность уменьшается: в прозе ближусь к Боборыкину, в стихах — к Щепкиной-Куперник. Еще раз спасибо за все.

Ваш Б. П.

Привет Вашей жене, которой, вероятно, не знаю.

145. В. С. ПОЗНЕРУ

23 мая 1929, Москва

23.V.29

Дорогой Владимир Соломонович!

Не отвечайте мне, пожалуйста, на прошлое письмо и вообще не пишите, пока я не прочту Вашу книгу¹ толком по порядку от доски до доски (хотя этого не говорят о книгах в бумажных обертках). Я был несправедлив к Вам в отношении IV-ой части. Урывками успел в этом убедиться, как и в том, что книгу надо читать в ее естественной последовательности. Многое из того, чего ждал и не нашел в IV-й, рассыпано в предшествующих главах, там, где *досказываются* отдельные истории старших, концом приходящиеся на революционное время. Отказываюсь от всех моих замечаний, кроме одного, об Асееве. Впрочем, напрасно я их беру назад: от проверки и переработки посл. главы в новом издании, и такой проверки, которую произвели бы Вы, книга бы только выиграла. Но и тон у меня сегодня совершенно другой. А главное, не то совсем надо было Вам написать. Не о книге, а о том, что удивительна в 24 года такая зрелость, и благородство, и глубина. Что написать книгу по истории литературы, которая бы читалась как серьезнейшие произведения живейшего творчества и за которой постоянно бы веяло завидно-пластическое, достойное разделения и по-должному не высказанное, не отделанное под

теорию пониманье мира, да еще на чужом языке, при всех этих качествах, в этом языке свободно проявленных, да еще в таком возрасте, — это чудо, с которым надо поздравить и перед которым можно преклониться. *Вот что я упустил Вам сказать.*

Все же остальное не столь существенно. И еще вот что. Я забыл Вас предупредить, чтобы Вы стихов не посылали, потому что им не дойти. Книжки, напечатанные по-русски за границей, на ней задерживаются и нас не достигают. Простите мою оплошность.

Ваш Б. П.

146. Н. С. ТИХОНОВУ

14 июня 1929, Москва

Дорогой Николай, благодарю и уступаю: с ласковостью и содержанием твоего письма тягаться не в силах, сдаюсь, рекорд — твой.

Но шутки в сторону, — я рад, — я не знал, что все у нас с тобой так хорошо, — спасибо.

А мне на будущей неделе удалят разом 6 зубов и потом будут долбить челюстную кость, — развязка прескверной истории, тянувшейся около пяти лет и только теперь, благодаря рентгену, разъяснившейся.

Знаешь, с кем еще мне так просто радостно (и ясно), как с тобой? С Пильняком. Это единственный, пожалуй, человек, с которым встречался эту зиму.

Наверное, семья вскоре после операции поселится под Можайском, я же задержусь недели на 2 или больше, — сколько перевязки потребуют. На этот, вероятно, срок буду «осужден» на полное молчанье — то-то отдохну, — тут уж никакие таланты и обещанья ничего со мной не поделают и перед собой буду чист. Прочту «Вазир-Мухтара»¹, все откладывал до подходящего случая, вот и нашелся.

Вообще нынешней весной повернулась жизнь (на двух-трех примерах) неожиданно простой, беспощадно трогательной стороною. Это как когда у Шекспира герои без штанов сидят и зал рыдает, а Лир под дождем мокнет и колобродит.

Во-первых, Коля Асеев стал кровью харкать, и тут обнаружилось, что у него в острейшей форме туберкулез, чуть ли не то, что прежде звали скоротечной чахот-

кой. По счастью, он уже в санатории, где такие формы теперь поддаются полному излечению (из одного легкого воздух выкачивают, оно сморщивается комочком, и, благодаря его бездействию и неподвижности, каверны зарубцовываются; тогда его вновь распускают). Случаев кровохарканья у него было два-три, и по внешности никто бы не сказал, в какой он опасности. Меня, естественно, эта новость ошеломила, я с ним видался, помногу и так, как когда-то, т. е. как лет 10 или 15 тому назад.

Потом Мандельштам превратится для меня в совершенную загадку, если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в последнее время². В какую непоучительную, неудобоваримую, граммофонно-газетную пустяковину превращает он это дареное, в руки валяющееся испытанье, которое могло бы явиться источником обновленной силы и вновь молодого, нового достоинства, если бы только он решился признать свою вину, а не предпочитал горькой прелести этого сознания совершенных пустяков, вроде «общественных протестов», «травли писателей» и т. д. и т. д.

Тут на днях собиралась конфликтная комиссия. Его на ней не было, и я, защитник, первый признал его виновным, весело и по-товарищески, и тем же тоном напомнил, как трудно, временами, становится читать газеты (кампания по «разоблачению» «бывших» людей и пр. и пр.) и вообще, насколько было в моих силах, постарался дать движущий толчок общественнической лавине, за прокатом и паденьем которой широко и звучно очистился воздух, обвиняемому подобающий и заслуженно присущий. И теперь вся штука в том, воспользуется ли Осип Эмильевич этой чистотой и захочет ли он ее поднять.

Наконец, — последний случай жизненной простоты — читал я как-то прозу у Пильняка ему и его питомцам. Все это было удивительно счастливо и радостно. Это была замечательная ночь, и люди были замечательные. И хотя я понял, что все это вызвано Петровским парком, а не прозой, меня именно то и радовало, что эта неприкрыто чистая чужепричинность мне дороже каких-то критических выяснений сделанного. Я радовался ей, как сквозной, неподдельной случайности, до бесстыдства откровенной.

Имей в виду (с этого следовало начать), что это не ответ на твое письмо. Ответить тебе я бы мог лишь с твердого места, широко и щедро, как ты, ощущая обоих

в диалоге. Но под собой я чувствую нечто шаткое и неопределимое, точно меня занесли в некую операционную пятилетку, и, пока мне не индустриализируют челюсти, не знаю, как себя вести и за что приняться. Видишь, вот ведь и «Вазира» я раньше наступленья социализма читать не смогу.

Расхождение бухгалтерских данных с моими расчетами проистекает, верно, оттого, что в «Грамоте» считали $1\frac{1}{2}$ печ. листа, а теперь их, видно, оказалось меньше. Потому что так было дело. «Грамота» была оплачена из полуторалистового расчета, и за нее получено 625 руб. (350 руб. $\times 1\frac{1}{2}$).

Потом я в этом году получил аванс в 200 р. и в его погашенье послал «Реквием»³. Не помню, сколько в нем строк (полтора руб. за переводную строчку, расценка *очень хорошая*), но, кажется, около 150-ста. Тогда за него выходит что-то около 225 р. Из 625 и 200 и получается та сумма авансов, которую тебе указали (у тебя 819 р., а не 825 оттого, что почтовые расходы с меня вычитывались). Итак, если в «Грамоте» $1\frac{1}{2}$ листа, то мне с «Звезды» дополучить еще 25 руб., если же правилен расчет бухгалтерии (т. е. что я «Звезде» еще около полтора ста рублей должен), то это лишь в том случае, если листовой расчет «Грамоты» был произведен неправильно, а производили его у вас и, кажется, Н. Л. Это ничего, что я с тобой на такие темы?

Выраженья твоей скромности не знаю, как высмеять и чем отстранить. Да и не надо. Мечтаю о времени, когда индустриализация будет уже за плечами, и проза подвинута, и некоторые домашние сложности лета далеко позади. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, пока подбородок цел. Сердечный привет от нас обоих Марии Константиновне.

Твой Б.

147. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

20 августа 1929, Огневский Овраг

20.VIII.29

Дорогой Павел Николаевич!

У меня лето сложилось очень неудачно, я болел, меня оперировали. С месяц живу под Можайском в семье одного историка Рима¹, — род пансиона. Когда-то очень давно, когда он и сам был мальчиком, а я — младенцем,

мои родители были дружны с его семьей², а потом, с кончиной его родителей, это разладилось, и нашему теперешнему симбиозу предшествует более чем 30-летний перерыв. В силу изложенного он с особенной теплотой выделяет меня из числа своих нахлебников; и он не может меня третировать как мальчика: я тут с женой и ребенком, мне 39 лет, мое имя и профессия ему, стороной, известны. Но в силу тех же приведенных причин он не может не отрицать меня со всею названною теплотой, и я ему должен казаться ложным порождением, бездарной претензией, кладущей пятно на его светлые юношеские воспоминанья о моем отце и матери, около 8 лет (по болезни последней) живущих за границей. В двух словах этой обстановки, очень обыкновенной и естественной, не изобразить. В этой атмосфере мог бы работать только человек крайне самоуверенный. А я, вдобавок, приехал сюда после болезни, и если допущенный перерыв уже и тогда требовал силы для преодоления, то теперь, «принимая во вниманье» описанное, он мне кажется непреодолимым. Но откровенничаю я не ввиду ленгизовского договора. Как с этим будет, — боюсь думать, и думать начну, когда возопиет само учреждение. В подробности же эти вдаюсь вот зачем. Последние дни читаю Вашу книгу и хотел написать Вам по ее прочтеньи, но сегодня, на 270-й странице³, почувствовал страшную тягу к работе, и это обстоятельство — живейшая ей похвала. Я не смею сказать — лучшая и высшая, потому что надо всем моим миром с его градациями подъемов и падений имеется целая бесконечность еще более разительных реакций и отзывов, и значит, со своим пределом я не вправе ломиться в объективный суперлатив. Но что касается меня, то очень существенные и краеугольные вещи оживлены и наведены на память этим чтеньем. Я не знал, что Вы скрываете в себе такого философа. Читал без карандаша, в оправдавшей надежде, что главные тонкости не изгладятся и так. Очень не в бровь, а в глаз отделаны постоянные lapsus'ы дешевого гибридного марксизма с его непониманьем внутреннего функционального воздействия в пределах самой литературы и поисками запредметного давленья и праздного, науке ни во что не дающегося и ни к чему не нужного влиянья. Я слаб в теоретической литературе и не начитан, но с таким ясным разбором этой давно, как бабушкина бородавка, знакомой путаницы, столь характерной для нашей публицистики, встречаюсь впервые. И вашу пози-

цию в отношении формализма целиком разделяю, с той, впрочем, лишнею оговоркой, что, разумеется, в деталях Вы к ним несправедливы. Это, вероятно, сознаете и Вы, и это допущено умышленно. Я говорю о *недостаточных* толкованиях некоторых понятий, как то: остраненье, взаимоотношенье фабулы и сюжета и пр. и пр. Мне всегда казалось, что это, теоретически, очень *счастливые* идеи, и меня всегда поражало, как позволяют эти понятия, эвристически столь дальнобойные, быть их авторам тем, что они есть. На их месте я тут же, сгоряча, стал бы из этих наблюдений выводить систему эстетики, и если что всегда, с самого зарожденья футуризма (и чем дальше, тем больше), меня от лефовцев и формалистов отдаляло, то именно эта непостижимость их замиранья на самых обещающих подъемах. Этой непоследовательности я никогда понять не мог. С трудом представляю себе, чтобы при такой методологической содержательности Вас признали правоверным марксистом. И, вероятно, с внешнею удачей Вас поздравить нельзя. Тем сердечнее благодарю Вас за удовольствие и за минуты радостного изумленья, которые Вы мне доставили. Особенно мне близко Ваше пониманье историзма, социальной перспективы и других неуловимостей, на которых, пожалуй, все и держится. Крепко жму Вашу руку. Всего, всего Вам лучшего.

Ваш *Б. Пастернак*.

148. В. С. ПОЗНЕРУ

〈Октябрь — ноябрь 1929〉. Москва

Дорогой Владимир Соломонович!

Я выслал Вам «Поверх барьеров»¹ с очень многословной надписью, — компенсацией за ненаписанное письмо. Теперь я сообразил, что этот способ замещенья не пригоден. Книга не скажет Вам, что Ваши «Стихи на случай»², сверх всякого ожидания, своевременно дошли.

Я должен был тогда же поблагодарить Вас и этого не сделал. Вот причина. Мне делали операцию летом, — Вы, верно, об этом слышали, — и чуть ли не первым моим чтением после нее была Ваша книга.

Известить Вас вовремя о ее получении мне было трудно.

Теперь я здоров, и Вам интересно, верно, узнать что-нибудь о ней самой, а не об исправности почты.

Догадываетесь ли Вы, что мне о поэзии судить очень трудно, что я в ней *ничего не понимаю*? Это не обмолвка, не кокетство, не увертка. Это точное обозначенье того, что я знаю за собой очень издавна, с первого темнейшего детского переживанья искусства. Разумеется, это — недостаток. Но мне бы не хотелось с ним расставаться.

Высылке книги, сколько помню, предшествовали оговорки с Вашей стороны. И напрасно. Вам книжки не надо (и не приходится) стыдиться. Читать ее было приятно. Даже в *невыгоднейших* для поэзии расположеньях, в жанре, например, невыпуклой задумчивости с обезразличенным словарем (какова вся 1-я часть), Вы с промежутками, от страницы к странице, нападаете на значащие строчки. Они — Ваши союзницы. От них узнаешь, что и страницы Вашей художественной несамостоятельности (умышленной, разумеется) — восходят к самостоятельно пережитому. Тогда их перечитываешь поновому. Эта перечитка, не подымая их эстетической судьбы, спасает их творческое достоинство. За ними обнаруживается живой опыт. Всего больше таких защитниц у Вас к концу отдела, на стр. 33, 35, 37-ой. И на 20-й. И в других местах.

Лучше (в счастливейших своих частях) — второй отдел. Тут есть композиционные удачи (ст. 47, 49).

И больше всего их в отделе III-ем (65, 67, 69, 73, 74, 78, 80, 81). Тут есть вещи положительно хорошие.

Но Вы уловите сдержанность в моем отзыве. Слух не обманет вас. Все, что я Вам говорю, я сказал искренно. Но с примесью грусти.

В самом деле, порядок ли это и так ли справедливо, чтобы большинство писало с помощью средств и на основаньях, только что изложенных, с верой (сбывающейся) в предрешенное расположение читателя, в то, что смысл и образ, звук и краску и силовую игру принесет он сам из дому и из жизни? А немногим несчастным с первых шагов приходится заводить пожизненную драму с ним и его пустыми руками, годными лишь для аплодисментов и свистков в три пальца. Эти подозрительные уроды *тоже* любят личные неприятельные записи, как любят их простые, немудрящие люди, вроде революции или Ходасевича. Беда лишь та, что за веденьем записей им приходится заниматься созиданием глаза. Потому что записи их *так личны и так просты*, что их не про-

честь, если читателю не вылепить добавочного, по природе выправленного, воображенья. Отсюда и все «лишнее» и «темное» их. Их образность не щеголянье собственными прихотями, а уход за восприимчивостью ближних.

Мой милый, это не в Ваш огород. Но я Вам посылаю книгу, насвежо переписанную местами. Я был свидетелем незаслуженного своего признанья. Я не тщеславен, но сердцу моему это должно было что-то сказать. Я должен был отвести этой безымянной любви место в жизни. И вдруг я стал узнавать, что оно для нее неудобно. Что эта любовь желала бы меня видеть другим; что *она лучше моего понимает, кем мне надо быть* и как отблагодарить ее за ее издержки в вере. Следите ли Вы за моими словами, ясно ли Вам, что это разговор не о «славе», а о семейных вещах, о страстях: о грязном белье.

Вы думаете, не обязывал меня некогда Ходасевич, когда *уступал*, когда *допускал* меня, когда... тема родства пробегала (творческая же любовь — есть *ответная любовь*)? ³

И вот, выходит, — я его обманул. Он прогадал, оказывается; он передал мне в доверьи, и я не оправдал его. Вы думаете, я не бросился бы его оправдывать? Простите, — я так устроен. Тут тот же секрет, что и в моем непониманьи стихов. Но Ходасевичево «но» в отношении меня разрослось в оговорку, ничего от меня не оставляющую. *Этого* романа не поправить. К тому же до Ходасевича и далеко. Свободой, взятой в отношении меня, он меня освобождает: вина перед ним с меня снимается.

Но вот под боком другой друг, почти с такой же эстетикой и с той же подозрительностью, это — время, т. е. революция. Уж меня ли не баловал этот жизненный спутник, ждал, спускал, терпел подражанье, рассыпался в авансах, допускал.

Трудно, знаете, жить в постоянном сознании своей черной *неблагодарности*. Наимягчайшие сожаленья о «непонятности» (при непрекращающихся знаках расположения) действуют на меня, как неосновательная ревность человека, всем для тебя пожертвовавшего. И я не зверь, надо наконец вянуть столь милым людям, ну ее к черту, истину, если с нею в доме так трудно.

Я бы желал, чтобы в переизданных «Барьерах» Вы усмотрели пример, иллюстрирующий все вышесказанное. Книга переделана с верой в читателя, она запросто

беседует с ним, почти плюнув на искусство, т. е. не вынес драмы в доме. В ней господствует добрый акмеистический лад. Футуризм же, имажинизм и Сельвинский — были продолжением символизма. Были — символизмом, т. е. разгоряченно-мировоззрительным полноприемным искусством. И я.

В конце концов, письмо мое — сплошная чепуха. Простите.

Ваш Б. П.

149. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

6 ноября 1929, Москва

6.XI.29

Дорогой Павел Николаевич!

Сегодня высылаю Вам «Спекторского».

Вероятно, Вам, как заведующему отделом, придется его прочесть. Так как на все вопросы я ответил себе уже и сам, — и в самом безутешнейшем смысле, то назову лишь один, решить который сам не в состоянии.

Я знаю, что это — неудача, но не знаю, мыслимо ли ее опубликованье? Или еще точнее: мне трудно судить, находится ли ее выпуск в пределах *объективной* мыслимости, широкой, человеческой, а не главлитовской (в последнем отношении вещь совершенно невинна).

Потому что со стороны субъективной я этот вопрос решаю положительно. Более того, мне хотелось книжке предпослать короткое предисловье, которое состояло бы из признанья этой неудачи и ее разбора; потому что она не случайна, и в ее выяснившейся неизбежности весь интерес вещи.

Когда пять лет назад я принялся за нее, я назвал ее романом в стихах. Я глядел не только назад, но и вперед. Я ждал каких-то бытовых и общественных превращений, в результате которых была бы восстановлена возможность индивидуальной повести, то есть фабулы об отдельных лицах, репрезентативно примерной и всякому понятной в ее личной узости, а не прикладной широте. В этом я обманулся, я по-детски преувеличил скорость вероятной дифференциации нового общества и части старого в новых условиях, и той, наконец, части, о которой принято говорить наиболее фальшиво и лицемерно: точно ее отсутствие ничего, кроме публицисти-

ческого злорадства, не вызывает и не оставляет в воздухе ощутительной пустоты; точно разлука не является названьем того, что переживается в наше время большим, *слишком* большим множеством людей.— Я знаю, в какое смешное бы положение себя поставил (хотя бы перед Вами), если бы столь крупные предметы стал поднимать только ради объяснения бездарности моей поделки, или просто даже поставить их в связь со столь малым пустяком. Я этого и не делаю. Я только хочу сказать, что начинал я в состояньи некоторой надежды на то, что взорванная однородность жизни и ее пластическая очевидность восстановится в течение лет, а не десятилетий, при жизни, а не в историческом гаданьи. И как бы я ни был мал, такой ход придал бы мне силы — а ее рост, при живом росте общих нравственных сил, и есть единственная фабула лирического поэта. Потому что даже и о гибели можно в полную краску писать, только когда она обществом уже преодолена и оно вновь находится в состояньи роста. Но — довольно сказанного,— если Вы меня поняли, то все остающееся и гораздо более существенное добавите и сами,— и гораздо лучше моего. Скажу только, что в моих словах нет ничего противозаконного, и если здоровейшей пятилетке служит человек со сломанной ногой, нельзя во имя ее здоровья требовать от него, чтобы он скрывал, что нога его укорочена и что ему бывает больно в ненастье.

А теперь несколько слов совсем в другом роде. Последние полстраницы рукописи я отделаю или, может быть, перепишу в гранках. Т. е. самый конец приведен будет в больший порядок. Это во всяком случае; этот недочет будет восполнен,— это в моих еще силах.— Конец станет более тем, чего мы требуем от всякого конца. Вот почему я и попрошу, чтобы корректуру мне предоставили недели на $1\frac{1}{2}$, на две.— Сейчас я этого сделать не могу, потому что только что отбросил строк сто, тему окончанья развивавших. Они совершенно немислимы, потому что их бы неминуемо ложно истолковали. И вот мне нужно на известный промежуток времени отложить работу и перебить чем-нибудь иным. В том, что я отсылаю рукопись в таком виде, нет никакого риска. Если бы я не считался со своей уверенностью, я сделал бы это раньше.

Крепко жму Вашу руку. Всего, всего Вам лучшего. Благодарю Вас за письмо, простите, что не ответил.

Ваш *Б. Пастернак*.

28 ноября 1929, Москва

28.XI.29

Дорогой Павел Николаевич!

Это совсем не то, что я ждал от Вас услышать ¹, то есть не к этому готовился, когда писал Вам свое письмо.

И, прежде всего, я не знаю Вашего мнения и лишен прямой встречи с тем сопротивленьем, которое вырастет рядом с Вами или за Вашей спиной в Ленгизе. Я не знаю размеров и характера неодобренья, или превратного толкованья, или же недоуменья. Распространяется ли это на всю вещь в целом или же на отдельные ее части? Или возраженье вызывает один ее конец?

Итак, объяснюсь как могу, с риском полного непопаданья, так как не располагаю прямыми вопросами, на которые мог бы дать ответ.

Я бы и сам никогда не примирился с таким неподготовленным пресеченьем фабулы, если бы тот же «Спекторский» не пошел у меня боковыми разрешениями в прозе. Проза выпрямит его конец и его дополнит. *Заявление* об этом имеется у меня среди черновых строф конца ², и, может быть, этих строф не надо было вымарывать в белой, как я это сделал.

Но даже и при таком условии вещь нельзя было обрывать в виде фрагмента, то есть при ее фрагментарности нельзя было допустить *бесформенного* конца. То есть *сознание* границ (замысла или собственных сил) должно было внушить форму окончанья, привести, так сказать, к заключительной мысли, это сознание обнимающей, как часть. Это я и сделал, и это мне *удалось*. То есть из всей рукописи, находящейся сейчас у Вас, самое достойное (поэтически и по-человечески) место — это страницы конца, посвященные тому, как восстает время на человека и обгоняет его. Это была очень трудная, очень неуловимая по своей широте тема, и я доволен ее разрешеньем. Я никогда не расстанусь с сознанием, что тут и в *этой* именно *форме* я о революции ближайшей сказал гораздо больше и более по существу, чем прагматико-хронистической книжкой «905-й год» ³ — о революции девятьсот пятого года. Все это, так сказать, о себе.

Теперь об инциденте. Категорически ли отказывается отдел от изданья вещи? Если да, то тут ничего не поделаешь, и окончательный разговор об этом надо отложить

примерно на год, когда проза, являющаяся широчайшим дополнением к стихотворному эпизоду фабулы, будет налицо и доступна обозрению тех, кто сейчас протестует. Вы легко себе представите, в какое положение это меня ставит матерьяльно, но насильно ведь не издашься.

Если же есть хоть какая-нибудь возможность уговорить несогласных, то я так верю в Ваше участие и в удачу Вашего заступничества, что мне остается только попросить у Вас прощенья за доставленные беспокойства и заботы.

Или, может быть, я не понял Вашего письма и что-то должен был из него вычитать сверх сказанного прямо? Но ведь это невозможно, не правда ли? Тогда я услышал бы Ваше собственное мнение, и Вы не отказали бы мне в практическом совете, не затрудняя моей догадливости. Правда?

Когда, посылая Вам вещь, я в письме заикнулся о том, что, может быть, Вам *придется* ее читать, я хотел этим сказать, что примирился бы с читкой рецензентов и прямо на Ваше время не хочу притязать. Опасений о ее нецензурности у меня не могло быть, потому что все ее части в свое время печатались в поврежденных изданиях без возражений, как будет напечатан и ее конец. Как мне резюмировать сказанное выше?

Уломайте, слезно прошу Вас, кого надо, если это хоть сколько-нибудь возможно. Не задержите ответным известьем. Никаких переделок на себя взять не могу, потому что не в состоянии их буду выполнить в той неопределенной плоскости, в какой они могут быть испрошены. И в то же время прошу на известный срок предоставить в мое распоряжение гранки, чтобы переработать вещь, то есть привести ее в менее фрагментарный и более гармонический вид, что, легко может статься, и почти наверняка совпадет со смутными пожеланьями отдела. Но эта работа может быть произведена только в корректуре (так было с «1905-м годом») и только при условии, что я буду свободен в правке и не связан обещаньями, то есть что матерьял будет принят в его теперешнем виде.

Мне кажется, что фрагментаризм вещи не преступает границ дозволенного. Еще раз повторяю: на мой взгляд, спад фабулы возмещен (формально, с точки зрения пропорции) и оправдан поэтически страницами, посвященными *смыслу этого спада*, как прямой теме конца. Вот что, по моему разуменью, надó сделать с вещью в окон-

чательной обработке: ее надо сжать, *соразмеряясь* с названными страницами заключения. Это я и имею в виду, говоря о гранках.

Еще и еще раз выражаю уверенность, что если бы Вы на все это смотрели по-другому, Вы бы сами об этом мне сказали. Потому что в своей книге Вы дали немало доказательств того, как живо и тонко Вы улавливаете случаи тождества плана творческого с социальным, а стало быть, и случаи социальной несостоятельности, *совпадающей с несостоятельностью художественной*. И, допустим, тут этот случай был бы налицо. Неужели Вы ничем бы об этом не обмолвились, сколь угодно мягко и отдаленно, а довели бы далекость своих намеков до полного испаренья темы, до бесследного ее исчезновенья среди слов об отделе, препятствиях и т. п. Мне кажется, я этого ничем у Вас не заслужил.

Итак, либо дело непоправимо, то есть, во всяком случае, поправимо не скоро и не так, как думает Ленгиз (путем писанья заново заключительной части?); либо же оно поддается благополучному разрешенью и последним, — как мне ни стыдно в этих незаслуженных расчетах на Вашу помощь, — я могу быть обязан только Вам.

Говорить ли, что трудность этой задачи (если она Вам по сердцу) и значенье вероятной вашей услуги я наперед измерил? — Ведь я не ребенок.

Скоро выйдут «Две книги» 2-м изданием. Я их выменяю на соответствующие экземпляры «Поверх барьеров», потому что все авторские роздал случайным гостям и посетителям, и на долю действительных друзей и людей литературы ничего не осталось. Разумеется, это не общее правило и среди 25-ти казусов были случаи раздачи по действительному назначенью. Но все это происходило явочным порядком, дома. На днях получу эту возможность.

Всего лучшего.

Ваш Б. П.

151. П. Н. МЕДВЕДЕВУ

5 декабря 1929, Москва

Дорогой Павел Николаевич!

Отойдя немного от недавно сделанного, по прошествии некоторого времени, взглянул сегодня непредвзятым взглядом на конец «Спекторского» и простить себе

не могу двух последних моих писем к Вам. Концом удовлетворен совершенно, от возникших редакционных сомнений отделяюсь абсолютно, изумляюсь им и никогда не пойму. С легким сердцем советую Вам: печатайте вещь. Всякое препятствие буду рассматривать как случай внешней и посторонней силы, искать вразумленья у нее не стану, философии своей перестраивать на основании инцидента не буду. Это — во исправленье и в уточненье сказанного в письме. Спешу поделиться с Вами этой радостной уверенностью. Вот что только и обращено к Вам. Остальное — мимо, в направленье неведомого объекта.

Ваш Б. П.

152. Н. С. ТИХОНОВУ

5 декабря 1929, Москва

5.XII.29

Дорогой Николай!

Горячо благодарю тебя за письмо. «Поэм» с «Вырой» у меня нет, хотя все в отдельности знаю по прежним изданиям, а «Выру» по «Звезде», и я был у тебя, когда ты ее писал, и Ракова как бы пережил¹. Страшно буду благодарен за книгу, если пришьешь. «Барьеры», за двумя-тремя исключениями, я роздал кому попадет, все больше случайным посетителям, чтобы поскорей уходили. Но и эту скучную книгу ты получишь. Я обмена авторские второго издания «Двух книг» на барьерские², и ждать этого придется недолго. Между прочим, я тебя безбожно плагиатировал в основной мысли, заложенной в окончанье «Спекторского». Потому что если в двух словах выразить то, что со мной делалось, то это были — поиски героя³. Ты скажешь, что это слишком общо, но можешь быть уверен, что пустыми каламбурами я бы тебя угощать не стал и, думается, знаю, что говорю. Это было следованье по направленье твоей метафоры, которая шире и обязательнее словесного названья, точно так же, как «Облако в штанах» *все еще* поэзия, а не заголовок, и можно быть под властью всей поэмы, вторично вложенной в эти два слова. Еще точнее я мог бы сказать о «Сестре», но это не столь удобно.

Со всем, о чем ты пишешь, я глубоко согласен и не так наивен, как тебе, верно, кажется. Я уверен, что литература никому не нужна, и только в этом вижу достоинство

эпохи. Я стал бы ликовать, если бы об этом заявили открыто и свернули издательства и закрыли бы лит. газету и лит. отделы в других. Я только оставляю про себя право раздражаться по поводу того, что этого не делают и ради какого-то отвода глаз ставят нас в положение детей, не без баловства даже.

В одном я не согласен с тобой: мне нравится «Петр Первый»⁴, и я не могу понять, как это он тебя оставляет равнодушным. Дай его Марии Константиновне: она счастливее и свободнее нас с тобой, она не опутана *последствиями* дружб каждого из нас, которых нельзя пресечь без того, чтобы не сделать людей (может быть, только в нашем дружеском мнении) несчастными. Комкаю и кончаю. Ты все понимаешь! Но «Петр»! Молодец Толстой. Как легко, густо, страшно, бегло все двинуто. Как не перестает быть действительностью в движении, как складывается в загадки (не сюжетные, а историографические), как во всех изворотах, на всем ходу разъясняется!

Впрочем, дар легкости в прозе и у тебя очень велик, и мы, может быть, в разном положении. Ты был вправе недооценить его.

Получил от Эрлиха обе книжки⁵. Напрасно он стыдится «Перовской». За вычетом двух-трех действительных штампов, где он *рассуждает* о штампе, а не *жертвует собой* ради него, все в ней — настоящая поэзия. Она вообще без самопожертвованья немислима. Я жертвовал собой и во имя прозрений и во имя традиции. Первое делалось, когда любилось легко и когда пристрастия дифференцировались. Когда одни любили одно, а другие — другое. Когда же настало такое положение, когда все будто бы любят одно, а на самом деле ничего не любят, я полюбил традицию, чтобы не вовсе распротиться с этим чувством. Меня не может не трогать Перовская. Я сам все эти годы жертвую собой для штампа. Я знаю, что и это поэзия, мне это близко. Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаешься. Писать ему не буду. Не хочется размазывать в виде трактата и в упор человеку то, что тут сказалось коротко и гладко. Передай, что захочешь, и мою благодарность. Последняя новость. В Ленгизе не знают, издавать ли «Сп(екторского)» или не издавать. Но ты молчи, не звони. Храни в тайне, — есть соображенья. Обнимаю. Твой Б.

19 декабря 1929, Москва

Дорогой Павел Николаевич!

Как это унижительно, что спокойным, немногословным путем, без мелодраматических ссылок на крайности денег никогда не добиться! Говорю это Вам тем свободнее, что это не только не касается Вас, но даже не задевает Вашего *отдела*.

У меня к Вам просьба. Если бухгалтерия и финансовая часть тормозят Ваши распоряженья или если Вам продолжают чинить препятствия руководящие органы с редакторской компетенцией, расторгните, пожалуйста, от моего имени договор на «Спекторского», я его тут перезаключу и аванс выплачу постепенными взносами по мере расплаты по новому договору. В таком случае мне без рукописи не обойтись, и я попрошу Вас вернуть мне ее по почте: у меня копии нет, собрать же вновь из отрывков, печатавшихся в журналах, будет трудно.

Я думаю, эта просьба развязывает руки и Вам, избавляя от досадных хлопот, которым я подал повод только отчасти: виноваты ведь также и те, которых Вам пришлось уговаривать и убеждать.

Простите, что предлагаю этот выход с таким запозданием. Как и раньше, я никакими справками тут не обзавелся, но в «реализуемости» вещи никогда и не сомневался. В *таком* успехе (который только и нужен дому и финорганам, меня теснящим) я наперед уверен.

Сомненья были уместны в переписке с Вами, П. Н. Медведевым, в контексте, достойном лично Вас, но о них и знать не должна бухгалтерия и вообще учреждение на Невском.

Итак, не стесняйтесь мною, — я ничего не потеряю. Но ждать я больше не могу, я нахожусь действительно в крайности и простить себе не могу, что приходится говорить об этом.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак.

30 декабря 1929, Москва

30.XII.29

Дорогой Павел Николаевич!

На Ваше большое письмо я в свое время ответил и ответ, как все свои письма, отправил простым¹. Если Вы его не получили, Вы ничего не потеряли. В нем была прежде всего искренняя и естественная благодарность Вам за Ваш обстоятельный разбор несчастного «Спекторского»; выражение согласия с Вашей оценкой; некоторое расхождение с Вашим мнением об окончании. Единственным пунктом несогласия с Вашим письмом было несколько строк о Сельвинском. Я их не повторю, смысл же их был тот, что я был бы счастлив, если бы мог идти с ним в сравнение, потому что «Улялаевщина» и «Пушторг»² — блестящие победы и удачи большого поэта как раз на том поприще, на котором я провалился со своим «Спекторским». Тут и кончается передача этого давнишнего письма, либо утраченного, либо еще не дошедшего: отправлено оно было по домашнему Вашему адресу.

А нынешнее начну с этой же параллели. Чайня насчет «Спекторского» исходили не от меня. Никогда я об этой вещи как об эпосе не думал. Скажу точнее и проще: сближения с «Онегиным» не стал бы делать, если бы и был полною себе (по складу характера) противоположностью. В том же, что такие ожидания высказывались критикой, я не повинен: я шел мимо них и этих сопоставлений не любил; это все были особо-типические случаи современной манеры объявлять человека Наполеоном или Гомером с пребудничнейшим спокойствием, точно такие возможности на полу валяются и не редкость. Между тем как, на мой взгляд, и по поводу малейшей художественной правды следовало бы звонить в колокола, так это исключительно *и за тысячу верст* от Толстых, и Онегиных, и Наполеонов.

Вчера я получил записочку из Ленотгиза (от 27/XII) с Вашей припиской. Ею заканчивается цепь колебаний редакционных и моих собственных. О решении моем, которое не обойдется без личной к Вам просьбы, — ниже. А теперь несколько слов об истории этой переписки.

Она застала меня в состоянии больших денежных затруднений. Я этого не сказал сразу, пока мог терпеть.

Я в этом признался, когда дело очень обострилось: но и с этого признания прошло больше двух недель. Всего охотнее, по моему собственному недовольству «Спекторским» (совершенно иному, чем недовольство Отдела), я бы отказался от печатанья его в настоящее время и отложил бы до того времени, как будет дописана проза (не из соображений фабулы). Но этому мешала безвыходность моего положенья. Однако и противоположное решение выходом не явилось и облегченья не пришло.

Если бы около месяца назад, как следовало по договору, я получил бы оговоренные в нем в пункте 8-м 40%, это бы поддержало меня и, не нарушая ни работ моих, ни жизни, дало бы в будущем ту возможность прохожденья гранок, в которую я верил, и как-то... творчески ее предвосхищал. Такая работа мне не в новость... «Девятьсот пятый» и «Поверх барьеров» выходили неузнаваемыми именно из такой переработки. Потребность видеть вещь в единообразном типографском сырье, как-то уже лепечущем о книге в целом, быть может, и каприз, но я до него дослужился, и мне в нем не отказывали. Мне верили, и я и у Вас надеялся встретить это доверье. Вспомните, Павел Николаевич, о нашем прошлогоднем разговоре по телефону. Я не только не навязывался Вам, но, если Вы не забыли, в первое время указывал на отдаленность Ленгиза и трудность сношенья с ним в критические минуты, между тем как Гиз, учреждение близкое по типу, — под боком, и все либо улаживается, либо уясняется в два счета. Лишь затем, как дело пошло своим ходом, я стал надоедать Вам и на Вас наседать. И вряд ли я Вам говорил о «Спекторском», как об «Онегине».

Письмо очень растягивается. Я думал во всех подробностях разобрать происшедшее, но на это ни уменья моего, ни досуга у Вас не станет. Условия, при которых шероховатости (художественно-композиционные) «Спекторского» могли быть сглажены, Ленгизом не соблюдены, он отказал мне в доверии, он в трудную минуту не пришел мне на помощь, он произведенъем заинтересован только с той точки зренья, чтобы договор, заключенный с большими выгодами для меня и в этом смысле исключительный, был исполнен. К этому присоединился взгляд, так и оставшийся для меня спорным, на окончанье вещи: и об идеологической его несоответственности я получил письмо, подписанное Лебедежкой³.

Все б это ничего, но разговор пошел как с уличным мошенником: на букве идеологии стали настаивать, точно она — буква контракта.

Точно именно в договоре было сказано, что в шахты будут спускать безболезненно, под хлороформом или местной анестезией, и это будет не мучительно, а даже наоборот; и террор не будет страшен. Точно я по договору — выразил готовность изобразить революцию как событие, культурно выношенное на заседаниях Ком. Академии в хорошо освещенных и отопленных комнатах, при прекрасно оборудованной библиотеке. Наконец, точно в договор был вставлен предостерегающий меня параграф о том, что изобразить пожар — значит призывывать к поджогу.

Получилось так, что я обманул договорно-расчетную часть и за то и должен платиться.

Когда я посылал последнюю свою телеграмму, я искал выхода из крайности все в том же направлении, я еще попыток выйти из положенья как-нибудь по-другому не предпринимал. Но и это ни к чему доброму не повело.

Мне совершенно непонятно, откуда взялась сумма в 256 р. 25 к., обещанная мне высылкой 6.1.30 г. в последней записке Ленотгиза. Ввиду расхожденья предположенного числа строк (1500) с их настоящим числом (их, кажется, 1300 (?)), я эту арифметическую задачу решил так. По пункту 8-му договора авансом следует получить 35%, при сдаче рукописи — 40%, итого, общим счетом, получено должно быть по сдаче — 75%. Ввиду того, что мне авансом было переплочено (строк предполагалось больше), всего легче установить причитающуюся мне во второй срок сумму, вычислив 75% с истинной договорной суммы (по 1300 стр.) и вычтя из этого числа (1218 р. 75 к.) прошлогодний аванс (625 р. 25 к., кажется). По моим расчетам, в ответ на мою телеграмму мне должно было получить 592 р. 50 к. Я твердо помню число строк в «Спекторском». Если я даже и ошибся на сотню, то все равно никак не может получиться того, что мне обещано к высылке. Кроме того, дальнейшее оттягивание расплаты лишает меня и этой последней, загадочной по своим размерам, опоры. Все это сошлось очень фатально, но, думаю, к добру. Материальный план, первое время влиявший на все мои решения, за последние две-три недели истаял и истончился сам собой. Времени прошло слишком много, да, кроме

того, выяснилось, что и в расчетах своих я с Ленгизом разошелся как-то уж слишком грубо.

Ото всего происшедшего остается долг мой Ленгизу в размере полученного прошлый год аванса. Я обязуюсь его вернуть. В крайнем случае, если я не встречу иной возможности с ним расплатиться, я эту сумму отработаю в «Звезде».

Каких-то чрезвычайных усилий для поправки своих дел мне все равно не избежать. Вот я и воспользуюсь полной ничтожностью «Спекторского» как материального ресурса, чтобы вовсе его изъять на полгода — на год из плоскости какого бы то ни было обсуждения. Между прочим, при доработке его, за которую я возьмусь лишь по написаньи прозы, я, наверное, с благодарностью воспользуюсь рядом Ваших указаний, за исключением тех единственно, которые относились к идеологии окончанья (да они и не от Вас исходили).

К тому же все это окончанье идет в XII кн. «Красной нови» целиком, безо всяких изъятий.

Итак, — резюме. Прошу Вас 1) приостановить распоряжение о высылке мне 256 р. 25 к.; 2) расторгнуть от моего имени договор с Ленгизом (№ 48/29) от 15/II, с обязательством моим вернуть аванс (сейчас я не в состоянии указать срок точно, но в течение года это будет сделано обязательно); я понимаю, как слаб этот пункт, но рассчитываю на снисхождение (то есть что на год); 3-е, и главное: отошлите мне назад рукопись, у меня нет копии.

Просьба обо всем этом очень настоятельная, я не могу изменить этого решения. И не сердитесь, пожалуйста, на меня. Никакого иного выхода я не вижу. Дело не в строках, указанных в официальном письме (насчет этих строк только я и уверен, что они останутся); дело не в строках, а в сроках. Ленгизу же предлагать вновь переработанную вещь спустя большой срок, после скандала с ней, будет неудобно. Да и строк я не уступлю. Простите за утомительное письмо... «Барьеры», как будут, пришлю непременно, это мой долг. Крепко жму Вашу руку.

Ваш. Б. П.

А la marge * — вне дела: с новым годом Вас.

Как все это, в общем, тяжело! Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний! И неужели я самое яркое в ряду *этих* явлений? Но я никогда ни на что не притязал. Как раз в устраненье этой видимости, совершенно невыносимой, я стал писать «Охранную грамоту». Я готов быть осужденным и вычеркнутым из поминанья *за дело*, на основании моей действительной наличности, но не иначе. Я никогда победителем себя не чувствовал и об этом не думал. Но и «литературой» не занимался. Отсюда усиленный автобиографизм моих последних вещей: я не люблю тут ничем, я отчитываюсь как бы в ответ на обвиненье, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко. Поскорей бы довести до конца совокупность этих разъяснительных работ. И тогда я буду надолго свободен, я писательство брошу. Я б это сделал и сейчас, ничего не докончив, если б не семья и пр. и пр...

155. Л. Л. ПАСТЕРНАК

9 января 1930, Москва

9.I.30

Дорогая Лидочка!

По получении твоего письма я тебе ответил тотчас открыткой. Она лежала с неделю, то есть, вернее, я носил ее в боковом кармане с собой, выходя на улицу. Но в газетных киосках не находилось доплатной марки, которая мне была нужна, а через три дня я сам разорвал ее, так как весь смысл ее пропал, хотя в ней его и не было.

Теперь я тебе пишу во избежанье обиды с твоей стороны и беспокойства со стороны родителей. Я не отвечал потому, что писать решительно не о чем.

У нас были жестокие морозы с обычным у нас в такие холода квартирным злом. Коридор, примыкавший к папиной мастерской, уже в теченье многих лет отделен перегородкой, *доведенной до потолка*. Он, помнишь, и раньше не отапливался и был холодный, а теперь в моро-

* На полях (фр.).

зы в нем как в сенах. Чем больше топишь внутри, тем резче разница температуры в комнате и в нем. И вот все мы простужались и в разные сроки переболели гриппом, по счастью, впрочем, в слабой форме и без осложнений. Ты это письмо перешли папе. Последним от него было большое и очень содержательное письмо, с пересказом Олиных бедствий¹. Они действительно — гомерических размеров, но вовсе не исключительны, как должно вам казаться. Сейчас все живут под очень большим давлением, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто *привилегия* в сравнении с тем, что делается в деревне. Там проводятся меры широчайшего и векового значенья, и надо быть слепым, чтобы не видеть, к каким небывалым государственным перспективам это приводит, но, по-моему, надо быть и мужиком, чтобы *сметь* рассуждать об этом, то есть надо самому кровно испытать эти хирургические преобразования; со стороны же петь на эту тему еще безнравственнее, чем писать в тылу о войне. Вот этим и полон воздух.

Знаешь ли ты, что Геня (Генр. Петр.)² в Москве? Я ее раза два видел в концертах и уговаривался, чтобы позвонила и пришла. Ей этого очень хочется, встречала она меня почти восторженно, да и я ее хотел бы видеть, но она не заявляется.

Положительно не о чем писать. Что еда, питье и прочие необходимейшие элементы у нас еще осязательны, совсем как в жизни, ты, вероятно, догадываешься. Все же остальное на наши привычные представления не похоже. Точно в витрине большого магазина швейных машин. Сидят рядом выставочные манекены-портнихи, руки на ручках швейных машин, последние же вращаются на приводе от динамо-машины, бесшумно и гладко, ибо — на холостом ходу. Вот верное изображение нашей жизни, трудолюбивой, гладкой и бесперебойной. Но я об этом когда-нибудь расскажу, мы ведь увидимся, будет время. Теперь тороплюсь обнять тебя и отправить письмо; как бы не забеспокоились наши, от нас давно ведь не было вестей. Пусть мама сообщит, когда следует мне возобновить периодические посылки бабушке, временно прерванные. Поцелуй Федю, Жюню и Алешку³. Б.

9 января 1930, Москва

Дорогой Павел Николаевич!

Рукопись получил, сердечно благодарю Вас. Ошибку свою в счете строк (я просто не записал их числа и запамятовал) тоже усмотрел и спешу Вам об этом сообщить в предупреждение возможных с Вашей стороны объяснений. Цифра 1300 (или около того) встала в моем воображении, потому что я до отправки считал вместе с упраздненными вариантами.

Не переводите, пожалуйста, аванса на «Звезду» пока что¹. Вероятнее всего, его вернут за меня из ЗиФа или еще откуда-нибудь в ближайшее время. Причем это будет простым выкупом и знаменовать собой перепродажи не будет. Как я Вам писал, я все силы приложу к тому, чтобы «Спекторского» не издавать сейчас, чтобы он полежа́л у меня и пр. и пр.

Еще раз простите за бесконечные хлопоты, кончившиеся, с моей стороны, столь скандально. Жму Вашу руку.

Ваш Б. П.

157. Н. К. ЧУКОВСКОМУ

1 марта 1930, Москва

Дорогой Николай Корнеевич!

Мне о Вашей прозе говорила первая Е. Тагер, и я так доверяюсь ее суждению, что с большими надеждами ждал случая ее прочесть. Вы их не обманули. Благодарю Вас за книгу¹.

У меня есть недостаток, ведущий в жизни ко многим неудобствам. Я не умею перемежать свою работу чтением. Последнее по близости вещей, рождаемых в душе, производит во мне путаницу и выводит из рабочей колеи. А я давно уже тружусь лишь по необходимости, без радости и через силу. Утраченную инерцию я потом восстанавливаю не легко и не скоро.

Но «Юность» я прочел давно. Вашей соседкой была Кузминская «Форель», одно из моих непростительных упущений, несмотря на то, что я о книжке слышал отовсюду, а в последний раз даже от А. Д. Радловой. Лири-

ческая высота и сила поэмы и «Лазаря»² таковы, что я чуть было не сделал глупости. Я искал выражения чувству безразличья к автору, совершенно заслоненному страницами, которые движутся так совершенно, и в этом побуждении начал писать А. Д.— не как одному из лиц книги. У меня не было под рукой ее адреса, вот почему эта нелепость, не имеющая прецедентов, осталась без исполнения.

А потом, с почти месячным запозданием, по причинам моего обихода, которого я и теперь не изменю, я узнал о расстреле В. Силова³, о расправе, перед которой бледнеет и меркнет все, бывшее доселе. Это случилось не рядом, а в моей собственной жизни. С действием этого события я не расстанусь никогда. Из Лефовских людей в их современном облике это был единственный честный, живой, укоряюще-благородный пример той нравственной новизны, за которой я никогда не гнался, по ее полной недостижимости и чуждости моему складу, но воплощению которой (безуспешному и лишь словесному) весь Леф служил ценой попраiania где совести, где — дара. Был только один человек, на мгновение придававший вероятность невозможному и принудительному мифу, и это был В. С. Скажу точнее: в Москве я знал одно лишь место, посещение которого заставляло меня сомневаться в правоте моих представлений. Это была комната Силовых в пролеткультовом общежитии на Воздвиженке. Я не видел его больше года: отход мой от этой среды был так велик, что утерял из виду даже и его.

Здесь я прерываю рассказ о нем потому, что сказанного достаточно. Если же запрещено и это, т. е. если по утрате близких людей мы обязаны притвориться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет; если мое письмо может навлечь на Вас неприятности,— умоляю Вас, не щадите меня и отправляйте ко мне, как виновнику. Это же будет причиной моей полной подписи (обыкновенно я подписываюсь неразборчиво или одними инициалами).

А теперь о Вашей книге. Ваше дарование не могло быть для меня открытием. Вы его показали в стихах. Но что удивительно, и с чем Вас нужно поздравить, так это неожиданная зрелость Вашей прозы. Этим словом, немного не подходящим, я разумею тот композиционный тон, который является смыкающим током прозы, без которого все в ней распадается и перестает служить, и которым Вы завидно легко овладели. Например, ес-

тественно от поэта, переходящего на прозу, ждуть живых и удачных описаний. И они, местами, очень хороши у Вас. Но это не удивительно и не в том заслуга. Ибо тот же, скажем, дождь нисколько не шел бы у Вас, т. е. не задевал бы воображенья, если бы он не изливался над Громовским участком фабулы, если бы он не преследовал своими потоками этот элемент темы.

Реалистически картинным становится он лишь благодаря повествовательной неотступности, которой без этой композиционной связи он не имел бы. И едва ли бы картины второй главы так овладевали воображением, если бы не это параллельное черпанье их из разных, а потом сливающихся углов памяти. Короче говоря, уже и первая половина книги, трогающая достоинствами якобы только поэтического порядка, обязана действительностью своих изображений условиям, одной поэзией не дающимся.

Они с полной ясностью начинают выступать с середины книги, когда описание отходит на задний план, очищая место характерам, развитию интриги, развязкам и пр. Здесь, в сфере настоящей прозы, Вы достигли очень многого, и я на Вашем месте только не стал бы называть достигнутое романом, потому что лишь этот уровень, в Ваши планы и не входивший, замыслом не захвачен, да и захвачен быть не мог. От такого обозначения я бы воздержался, тем скорее, что в поставленных темой границах имеется несколько существенных побед.

Вам удалось уловить и передать несколько расплывчатых, нематериальных, забывающихся черточек недавнего прошлого. Чутье не обмануло Вас, когда в иных из них Вы усмотрели существо эпохи. Но Вы воспользовались и распорядились ими как художник, т. е., отстояв, растворили в фабуле, где они опять кажутся ускользающими и неуловимыми, но откуда им не ускользнуть, потому что ничто не улетучивается из художественного раствора. В этом отношении Леня Бейлинсон совершенная находка. Его избалованность, отношение к матери, бескорыстное во все вмешательство и пр. черты, делающие честь Вашему глазу и смелости, с какой, по нашим временам, Вы делитесь этими наблюдениями с читателем. Я не удивляюсь, если Вас упрекнут в антисемитизме именно за то, что Вы увидели ряд вещей, которых ни сквозь какие очки (в том числе и очки антисемитизма) не разглядеть. Но именно убийственности этого дружелюбно-зрячего наблюдения, дающего пищу таким ши-

роким размышлениям, именно неопровержимой типичности и образа Вам и не простят, если заметят. Кроме того, хорошо, что ни он, ни мать нигде не утрачивают объемности; если бы сами персонажи были посвящены в то, что из них неизбежны выводы, они стали бы карикатурами. Вы их выдержали в неведении относительно их поучительности, и из всех трудностей замысла эта преодолена всего поразительней.

Мне досадно, что письмо вышло таким длинным. Это оттого — ну да Вы сами понимаете. По той же причине уведоьте о получении. Еще раз спасибо. Вы — молодец и не по летам глубоки, спокойны и сердечны.

Ваш Б. Пастернак.

158. Л. О. ПАСТЕРНАКУ

26 марта 1930, Москва

26.III.30

Дорогой папа!

Поздравляю тебя с днем рождения. Какой ты молодец, как замечательно живешь, какой путь проделал! Крепко тебя целую и обнимаю.

Я давно хотел тебе написать, что здесь во втором МХАТ'е, то есть бывшей студии Моск. Худ. Театра, идет переделанное «Воскресенье», в мизансцене, значительно примыкающей к твоим иллюстрациям. Говорю так неопределенно — окольно и осторожно, потому что сам еще не смотрел, видевшие же восторженно хвалят в один голос и передают, будто твои иллюстрации, перенесенные из музея (?), развешаны в фойе. Ты, разумеется, удивишься, что я еще не сходил, и будешь прав; но ты удивишься еще более, если узнаешь, что на это зрелище, которое ничего, кроме удовольствия, не обещало, я еще и *должен* был пойти, чтобы не обидеть автора переделки ¹, просившего меня на премьеру. Я тогда и не знал, насколько ты, в духе и незримо, участвуешь в постановке, а то бы я, *во всяком случае*, побывал. А тут я не только упустил возможность, но еще и должен был попросить извинения, что не смогу воспользоваться билетом. Прислан был один, а Женя у меня... обидчива; Женичка ² чем-то хворал; *накануне*, в аналогичной ситуации, я ходил с знакомой (Женя не могла пойти по причине Же-

ничкиной простуды, и ее билет пропал бы) на генеральную «Коварства и любви» в новой постановке. Вышло бы, что я *каждый день* хожу в театр, а она прикована к дому. Получилось бы нечто мрачное, а свету и так кругом и дома не много. Как бы то ни было, «Воскресенье» у меня на очереди, и чуть побываю, напишу. Вы, я помню, *тоже* ведь много посещали театры, и из них не выходили, — а насколько времена были легче!

Да и что говорить. Вот тебе пример того, как я живу. Знал я одного человека ³, с женой и ребенком, прекрасного, образованного, способного, в высшей степени и в лучшем смысле слова *передового*. Возрастом он был мальчик против меня, мы часто с ними встречались в периоде между 24-м и 26-м годами, а по роду своей деятельности (он был лектором по истории и теории литературы в пролеткульте и в нескольких рабочих клубах), главное же, по чистоте своих убеждений и по своим нравственным качествам он был, пожалуй, единственным, при моих обширных знакомствах, кто воплощал для меня живой укор в том, что я не как он — не марксист и т. д. и т. д.

В последнее время я мало с кем встречаюсь. Недавно я случайно и с месячным запозданием узнал о том, что он погиб от той же болезни, что и первый муж покойной Лизы ⁴. После всего изложенного ты поймешь, как ужасен этот случай. Ему было 28 лет. Говорят, он вел дневник, и дневник не обывателя, а приверженца революции и слишком много думал, что и ведет иногда к менингиту в этой форме. Когда, узнав все это, я пошел к его жене, с которой был одно время в большой дружбе, у ней уже зарубцевалась шрамом через всю руку ее первая попытка выброситься из комнаты на улицу (ее удержали, она только успела разбить стекло и сильно себя поранила).

Вот тебе и театры.

Я много работаю сейчас, но очень медленно и трудно. Чем дальше, тем труднее мне определить, что это, собственно, такое, философия ли, искусство ли или что-нибудь другое. Но в художественном письме не требуют от себя мыслей, доведенных до точности формулы, а в контексте, где уместны формулы, не добиваются живости художественных изображений. Я же подчиняю себя и этим требованиям, и многим другим, что чудовищно замедляет работу и отражается на заработке.

Не забудьте, сообщите Лиде мою просьбу. Как только у ней освободится № «Звезды», ей посланный, пусть она

его пошлет бандеролью по следующему адресу: Prince D. Mirsky, 17, Gower St. London WC 1. Повести посылать не надо, там знают, а только журнал с «Охранной грамотой». Пусть сотрет, если там что-нибудь написано ей, но, разумеется, это не относится к знакам корректурной правки, которых стирать не надо. Вот и все. Жоню вчера с Федей и Аленушкой поздравил. Поздравляю и вас с новым внуком. Обнимаю вас обоих и целую.

Ваш Б.

159. А. М. ГОРЬКОМУ

31 мая 1930, Москва

31.V.30

Дорогой Алексей Максимович!

У меня к Вам огромная просьба. О ней — ниже, вперед несколько слов о другом.

Я видел Вас три раза в Ваш первый приезд летом 28 г. и на третий, чтобы не показаться бессловесной куклой, попросил слова в Вашем присутствии на собрании в «Кр. нови»¹. Когда я кончил, Вы поднялись и, не глядя в мою сторону, покинули собрание. Безмолвная укоризна, которую нельзя было не прочесть в этом движении, осталась для меня загадкой. Я уловил упрек, но не понял его. Однако я понял, что какие-то мне не ведомые обстоятельства так низко уронили меня в Ваших глазах, что, при невозможности все это выяснить, мне придется с этой тяжелой неизвестностью примириться. С того вечера я ничем не беспокоил Вас. Я и сейчас не осмелился бы нарушить этот порядок, если бы не весенняя моя встреча с П. П.Крючковым².

Он может рассказать Вам, какую неоценимую поддержку он неожиданно оказал мне в трудную для меня минуту. До посещения его на Кузнецком я с ним не был знаком. На столе лежала редакционная почта. Я узнал Вашу руку, и, естественно, зашел разговор о Вас. П. П. слушал, кивая и улыбаясь.

Так не мог бы вести себя Ваш секретарь, если бы таинственная преграда, затруднявшая мой доступ к Вам, существовала реально. Он должен был бы знать о ней. Я сказал ему, что какие-то люди или превратно поданные факты погубили меня в Вашем мнении. Он возразил, что меня ложно информировали, что ничего

такого нет. Это было страшной радостью для меня и большим освобождением.

Потому что в глубине души я знаю, как Вы ко мне относитесь, когда меня не навязывают Вам, без всяких натяжек в ту или другую сторону. И я люблю Ваш трезво-дружелюбный суд тем более, что он мне кровно близок и давно знаком. Так ко мне относятся самые дорогие люди: мой отец и старшая сестра.

Итак, П. П. с редким участием расспрашивал меня о моем житье-бытье, планах и нуждах. Я предположил, и, вероятно, не ошибся, что то была новая волна Вашей удивительной заботы обо всем мало-мальски проявившем себя в России, коснувшаяся также и меня, и потому не отвергайте, пожалуйста, моей глубочайшей благодарности Вам за себя и за всех.

Между прочим, перебирая всякие соблазны, П. П. назвал то самое, что является существом моей нынешней просьбы. И как жалко, что я тогда же не оформил своего желанья окончательно. Он согласился бы, может быть, помочь мне до отъезда, что крайне упростило бы все и ускорило, а также избавило бы Вас от чтенья длинных писем.

Все последние годы я мечтал о поездке на год — на полтора за границу, с женой и сыном. В крайности, если это притязанье слишком велико, я отказался бы от этого счастья в их пользу. Поездки же без них я и не обсуждал, за ее совершенной непредставимостью. Я хотел бы повидать родителей, с которыми не видался около 8-ми лет. Зимой 22 года я побывал в Германии, с тех пор ни разу не выезжал.

Помимо свиданья со своими, мне хочется и нужно побывать во Франции, и в Англии, может быть. И я боюсь встречи с друзьями, как боялся бы поездки к Вам, потому что тепла и веры, излившихся на меня за эти годы, ничем, ничем не возместить. Чем больше я это сознаю, тем несчастнее делает меня сознание моей глубокой и позорной задолженности. В том, что я бессилен отдариться, виноват, разумеется, я сам. Но и не я один.

Оттого-то, из весны в весну, я так долго и откладывал исполнение этой мечты. У меня начато две работы, стихотворная и прозаическая³, мыслимые лишь при широком и крупном завершении, и конфузно-смешные без него или с окончаньем невыношенным и скомканным. Мне туго работалось последнее время, в особенности в эту зиму, когда город попал в положение такой

дикой и ничем не оправдываемой привилегии против того, что делалось в деревне, и горожане приглашались ездить к потерпевшим и поздравлять их с их потрясениями и бедствиями. До этой зимы у меня было положено, что, как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался.

Но теперь я чувствую, — обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а м. б., и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю, — когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть, поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец.

Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешенья на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста, — вот моя просьба. Ответьте, прошу Вас, либо сами, если урвете время (я знаю, — это бессмыслица: его не может у Вас быть, если его даже не хватает мне и товарищам в моем положении), либо попросите П. П. ответить мне по адр. «Ирпень, Киевск. округа, Пушкинская ул., 13, мне».

Надо ли говорить, в каких чувствах я пишу Вам, и как равно готов принять любой Ваш ответ, потому что с радостью признаю над собой Ваше право даже и осудить меня за желанье и быть о нем ссобого мненья. Но если бы Вы нашли нужным замолвить обо мне, Ваше слово всесильно, — я знаю. Будьте же моей судьбою в ту или другую сторону. В обоих случаях равное спасибо.

Ваш *Б. Пастернак.*

Сердечный привет П. П.

160. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

11 июня 1930, Москва

11.VI.30

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Часто переносился мыслями к вам в этом году, часто собирался писать, и ни разу не написал, если не считать одной, оставленной Олею без ответа, открытки.

И сейчас пишу неизвестно почему. Повод посочувствовать вашим квартирным напастям и таске по судам, о чем сообщил однажды папа зимою, давно, по счастью, утрачен. Повод поздравить тетю с семидесятилетием я сам позорно пропустил. Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что, если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь.

Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилён сдвинуть ее с мертвой точки, я не участвовал в создании настоящего, и живой любви у меня к нему нет.

Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец, отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мною будет.

И однако, письмо все-таки не так беспричинно, как мне показалось. Собираясь изо дня в день вам написать, я постепенно забыл о первичном мотиве. Новые знакомые сманили нас на это лето под Киев и сняли нам дачу там. Женя с Женичкой и воспитательницей уже с конца мая на месте¹. По-видимому, затея была не из умных; первые впечатленья Жени и Шуриной жены (его семья тоже поселилась в той же местности) граничили с отчаяньем; так далеко и с такими трудностями ездить было незачем. Но всеобщее мнение, что с продовольствием на Украине все же будет лучше, чем на севере. После-завтра, 14-го, и я к ним отправлюсь. Не погостили ли бы вы у нас, или, по крайней мере, ты, Олюшка? У меня есть причины предполагать, что среди лета мне придется, может быть, вернуться в Москву. Но и до этого разрешения жилой площади, все это, кажется, возможно, — дача большая. Напиши мне, Оля, туда, если будет охота, по адресу: Ирпень, Киевского окр. Юго-Западной ж. д., Пушкинская ул., 13, мне.

Крепко вас обеих обнимаю. Прошу прощенья за грустное письмо.

Ваш Боря.

Р. С. Бумага — подарок одной американки, которого не трогал, пока не стало простой почтовой бумаги; и нигде не достать.

15 июля 1930, Ирпень

15.VII.30

Дорогая Жоничка!

Мне давно следовало успокоить тебя насчет своего здоровья и сказать, как крепко я тебя люблю и как глупо было с моей стороны так тебя пугать и расстраивать. Что же помешало мне? Лучше не говорить о причинах, так они второстепенны. Зато это запоздание застаёт меня совершенно оправившимся и отдохнувшим. И, верно, это к обоюдной выгоде скажется на письме. Вот одна только неприятность. Тебе, верно, уже известно, что из сугубой осторожности Г<орький> отказал мне в поддержке¹, и это равносильно полному крушению соответствующих надежд. Ну что ж, примиримся, оно, может быть, и к лучшему. В исходе очень трудной зимы, изобиловавшей разными разочарованиями и утратами (один Маяковский чего стоит!), Москва весной к началу ремонтного сезона приняла совершенно бредовой вид. Как это всегда с нами бывает, довольно безропотно преодолевая очень крупные затруднения, я разнервничался от двух-трех сущих пустяков. Особенно я обзлился на экзематозную дрянь, высыпавшую у меня на губе, и, как казалось, без намеренья когда-нибудь это место покинуть. — Но теперь все это прошло. — Я тут с двадцатых чисел июня. При мне была твоя «L'âme enchantée»², которую я с первого же дня стал глотать том за томом. Когда я кончил четвертый том, меня точно разлучили с большим и захватывающим миром, присутствие которого стало для меня необходимостью. И мне страшно скучно без него. Собственно, две последние книжки составляют один том — третий. Нынешним летом R. Rolland пишет или уже написал пятую книжку (IV-й том). Ведь ты в Швейцарии? Вот тебе на всякий случай его адрес: M-r Romain Rolland, Villa Olga Villeneuve (Vaud) Suisse. Я его тебе не навязываю, но и не скрываю, п. ч. что бы ты ни сделала, у тебя не может быть движенья, которое бы не было лучше и свежее моего. А по ряду счастливых случайностей у меня есть ничем не заслуженное право думать о письме к нему, и даже настолько близкое, что, если я им не воспользуюсь,

получится неловкость. Право это — сплошной конфуз. Я его ничем не заслужил. Одна моя знакомая М. Кудашева, одаренная французская поэтесса и очень, очень хороший человек, — ближайший друг, и, м. б., даже больше — R. Rolland. Она по матери француженка, москвичка, всегда живет в Москве и в давнишней переписке с ним. На днях она поехала к нему в гости. М. пр., у ней были опасенья, что швейцарцы не выдадут ей въездной визы, и на этот случай предполагалось, что они встретятся во Фрейбурге. И вот, зная о вас от меня, она заблаговременно попросила меня о помощи. Могло так статься, что, Федя, тебе пришлось бы хлопотать о близком Rolland человеке. Так вот, эта Кудашева по доброте своей рассказывала что-то обо мне Rolland, а кроме того, я значусь в списке современных русских имен, — обстоятельство еще более случайное, п. ч. совершенно устарелое, ничем не обновляемое и, за давностью, — тягостное и ложное. — Но несколько слов об Ирпене. Тут зимняя дача; дом как в Райка̄х, три комнаты с террасой, между светлыми, высокими комнатами *настоящие* стены. Короче, и не преувеличивая, это в сравненьи с моей московской обстановкой — настоящий дворец. Большой сад. К моему приезду все отцвело. Аисты, журавли, иволги, удоды. При мысли, что отсюда придется скоро уезжать, меня охватывает страх. Я навсегда бы тут остался. С первого же дня взялся за работу. Наблюденья еще более огорчительные, чем над плотностью стен и числом комнат: охватываю вдесятеро шире, успеваю качественно и количественно раз в двадцать больше. Пугаюсь сравненья потому, что это облегченье — недолговечное. Дорогая Жоничка, я опять к тебе с просьбой о книгах. Но читать R. Rolland было таким наслажденьем! И в городе я бы его себе позволить не мог. Пришли мне сюда, если можешь, но тогда — не откладывая, два тома Пруста, — 1-й и 3-й; второй, «A l'ombre des jeunes filles en fleurs» у меня есть. Мне же надо: Marcel Proust. «A la recherche du temps perdu», tome I, «Du coté de chez Swann» и tome III, «Le coté de Germantes»³. До сих пор я боялся читать Пруста, так это по всему близко мне. Теперь я вижу, что мне нечего терять, т. е. незачем себя блюсти и дорожиться. Прусту не на что уже влиять во мне. Но ты помни, что письмо мое — веселое и просительное, а не грустное. Дорогой Федя! Крепко целую тебя и люблю. Однажды мы гуляли с тобой по Kurfürstenstrasse. Ты мне про все рас-

сказывал. Таким тебя помню. Как давно все это было!
Адр. Ирпень, Киевск. окр. Ю. З. ж. д. Пушкинская,
13, мне.

162. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

21 августа 1930, Ирпень

21.VIII

Дорогая Олюшка!

И опять я не думаю *писать* тебе, а только хочу поблагодарить за письмо. Сколько ты в них иногда умеешь вложить и как изумительно их пишешь! Просто жалко, что такой отряд мыслей, выхваченных сгоряча, из прямых состояний духа, стройный, на всем ходу, куда-то отправляется и кем-то получается, и все кончается известием о его прибытии.

Я умышленно воздерживаюсь сейчас от сообщения чего-либо, мало-мальски стоящего упоминанья. Все это я расскажу при свиданьи. Для того, чтобы проронить в письме хоть слово о своих, о себе и лете, о свободных видах и сознании фатального, мне надо было бы себя уверить, что нет и скоро не будет обеденного стола посреди комнаты, и буфета у левой стены, и платяного шкафа в углу у окна. Отталкиваться же от такого грустного допущенья просто невозможно.

Крепко тебя и маму целую. Мне мешают сейчас глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы, с разлета кидаются в чернильницу или садятся на перо и на ручку. Свежая ночь после душного дня, далеко стороной где-то проходящая гроза, керосиновая лампа на большой (и действительно посреди этого черного воздуха кругом кажущейся неизмеримой) террасе, главное же, — эти мошки и мотыльки, — сколько это все должно было бы напомнить! Но революция или возраст, — а прошлое работает слабо, субъективный лабиринт не отклоняет простых и прямых ощущений, и мне жалко *только* их, а не себя, как это бывало раньше. Жалко того, что раскаленное стекло не *охлаждает* их пыла, а не того, что все это однажды было августовской ночью на Большом Фонтане, и море было впереди, чуть вправо, где теперь, за рекой, обдаваемый зарницами лес. — Но это похоже

на «описание природы», и притом — пошлейшего разбора, что в мои планы не входило.

Твои объяснения случая с Аптекарем¹ представили мне все дело с иной и совсем неизвестной мне стороны. (Ты замечаешь, какая тут мазня? Это все — бабочки. С особенным остервенением они налетели на Аптекаря.) Открытку твою я толковал иначе, эгоистичнее и своекорыстнее с твоей стороны. Но в этой теме, в основном, мы так схожи и так сходно поставлены, что я даже и отрицанье родства принял бы по-родственному, в глубочайшем смысле этого слова. Объяснения тут более или менее безразличны именно потому, что существом и центром сплетенья служит здесь то, чего никак объяснить нельзя, и наша одинаково фатальная подчиненность этой необъяснимости. Короче говоря, если бы ты не могла написать такой открытки — ты была бы далеким мне человеком. Обнимаю тебя.

Твой Боря.

Р. С. Когда я стал читать твое письмо, надо мной наклонилась Женья, предложив читать его вместе, т. е. то, чего я совершенно не умею. Я предложил ей прочесть его даже до меня, но только отдельно. Она на меня так обиделась, что и до сих пор его не читала и не хочет читать. Этим объясняется вновь ее отсутствие в письме. Но ты, конечно, знаешь, как она вас любит.

163. С. Д. СПАССКОМУ

29 сентября 1930, Москва

29.IX.30

Крепко целую Вас и благодарю, дорогой Сергей Дмитриевич! Не сердитесь, опозданье мое только недельное. Мы вернулись в Москву 22-го вечером. Меня ждало Ваше подношение. Наконец-то! Сколько препятствий сломлено, сколько оправдано надежд. Поздравляю Вас!

Книжку¹ буду читать и, верно, переиздавать. Вас будут читать как *лирика*, хочу сказать я, по такому чтению изголодались, а чем утолить этот голод, лирика теперь редкость. Вот это-то и главное: Вы опять становитесь слышимы почти что непосредственно и более или

менее прямо. И это редкость, это счастье и — по *нашим* условиям — необъяснимое, полувероятное.

Другой разговор — форма, линия окончательных вариантов, тот всегда переменный *вид общего языка*, какой на пробу и на выбор находишь для своей музыки, когда она к тебе пришла и в тебе осталась. Это было делом условным, игрою вкуса, риска, скромности и чего хотите у всех (и у величайших) во все времена. С той только разницей, что этот выбор направлялся жизнью, а теперь он произволен. Ни общего языка, ни чего бы то ни было другого современная жизнь лирику не подсказывает. Она его только терпит, он как-то экстерриториален в ней.

Вот почему эта сторона творчества вышла из эстетического кольца. Общий тон выраженья вытекает теперь не из *восприимчивости* лирика, не из преобладанья одного рода *реальных* впечатлений над каким-нибудь другим, а решается им самим почти как нравственный вопрос. То есть там, где в здоровое время мы считали бы *естественным* говорить так-то и так-то, мы теперь (каждый по-разному) считаем это своим *долгом*. И один видит его в одном, другой в другом. Причины всего этого лежат вне нас, ничего не поделаешь, это сильнее нас и наших усилий.

К чему я заговариваю об этом? К тому, чтобы Вы помнили, что лирика сейчас редкостнейшая редкость и она сидит в Вас, сидит и болеет, потому что не болеть сейчас не может, а как именно внешне выражается эта ее болезнь через Вас, в отличие от ее симптомов в другой какой-нибудь палате, — вопрос глубоко второстепенный. И если кто-нибудь, кто привык перегрублять в выраженье, скажет Вам, что Вы переблагораживаете, интересно только, кто именно Ваш собеседник. И если он — поэт, можете броситься друг другу в объятия: все Ваши разногласья — точки полного совпадения. Другое дело, если в человеке нечему болеть и область внешнего выраженья всего его исчерпывает. Такой прав во всех своих ошибках. Органического чуда *объективности* он никогда не переживал... Он был орнаментом, в лучшем случае на нравственном грунте, орнаментом и остался. Но с таким Вам не о чем и говорить.

Кое-что в смысле тона можно было сделать, на мой взгляд, посильнее. Но это именно то замечанье, которое, в согласье со сказанным, Вы должны оставить без внимания. Потому что это — легкое расхожденье в *при-*

хотя при полном согласье в главном: в лирике, в ее наличье.

Целиком в этой превосходной книге, и по своей выровненности больше других, хотя и пестрящих счастливыми образами и строками (их у Вас очень, очень много), мне понравилось: стр. 18 («Утешение». «Синева»), «Песня» (стр. 20), конец «Вступленья» (стр. 29), стр. 38 в «Ломоносове», Ленин («Вагон» и «Смольный» и части «Броневика»), стр. 55—58 «Юности», стр. 74—76 «Разговора». Большое удовольствие доставил мне цикл «Ночь», который я полюбил (помните?) с первого чтенья, от всех же выражений по поводу «Дождя» — отказываюсь. Помните, я жаловался тогда, что ли, на то, что и хорошие стихи получили налет «Неуважительных оснований» и всего более оставляют в недоуменье, когда они настоящие. Теперь уважительным их основаньем становится книга, и стихи удивляют только тем, чем удивлять и должны: воплощенной свежестью. Прекрасны также оба курсивных, вступительное и заключительное. Кстати, если напишете мне, сообщите, пожалуйста, какое односложное слово начинается собою четвертую строку снизу на стр. 77: перед словом «интонаций» очевидный пропуск.

Я жалею, что пустился в разбор «Примет». Все это всегда доходит до автора не так, как говорится. Вам было бы гораздо радостнее, если бы я только поздравил Вас и остался при первых восклицаниях; для меня же оба выраженья — равносильны и ни разметка самого удачного, ни что бы то ни было другое первых восхищенных междометий не снимают.

Мне приятны были на стр. 23—26 строки о солнце, о пушистой гвоздике и о булавах куполов. Летом мы жили в Ирпене под Киевом, который привел меня в совершенный восторг. Мне очень не хотелось возвращаться в Москву, и если бы, как сказал однажды Маяковский, я был... в аппетите жить... я бы там остался, т. е. переселился бы в Киев. Нас туда затащили друзья-киевляне, о которых как-нибудь расскажу. Жил там также и Ник. Ник.² Благодаря их окруженью и редкой беспечности, царившей в нашем кругу, мне удалось кончить стихотворного «Спекторского», то есть он стал похож на книгу с началом и концом. Вчера я сдал его в ЗиФ. Крепко, крепко обнимаю Вас. Сердечный привет Софье Гитмановне³.

Любящий Вас Б. П.

20 октября 1930, Москва

20.X.30

Дорогая Олюшка!

Страшно рад твоему письму. Из просьбы и тона ее изложения можно сделать успокоительные выводы, хотя и неопределенные.

В подчеркнутых твоих извиненьях прочел я скрытый упрек, и опять: — он приемлем, если сделан в самой неопределенной форме. Разумеется, в каком-то очень общем смысле, я — свинья, в наше свинское, в общем смысле, время. Но я растерялся бы, если бы узнал, что укор твой имеет в виду что-нибудь положительное и определенное. Переписку? Но отчего никогда не пишешь ты, зная, как мне дорого знать вовремя все о вас? Или тебя обидело, что на твои тяжелые известия я отозвался открыткой? Я не помню, — но я должен был предлагать дело в ней, что-нибудь о даче или о чем-нибудь еще. И как раз от тебя ждал на все это ответа. Правда и то (разве я отрицаю?), что показал, как ждал: довольно-таки вяло и безмолвно. А что ты поделаешь? Писать становится все трудней и трудней. Замолкает все. Замерла заграница в моей переписке, замер, предупреждая ее, и я.

А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, — работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно — мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского голода¹, но мир здоровый и ровный.

Написал я своего Медного всадника², Оля, — скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего. Вероятно, он не увидит света. Цензура стала кромсать меня в повторных изданиях и, наверстывая свое прежнее невниманье ко мне, с излишним вниманьем впивается в рукописи, еще не напечатанные.

Но ты напиши мне поподробнее. Я и боюсь спросить о тете. Упреки упреками, — а твое молчанье (по ситуации и пр. и пр.) много жесточе моего. И вряд ли последствия моего так сказываются на тебе, как обратно. Итак, прошу тебя, — напиши.

Теперь об Аптекаре. Я только что звонил ему и ничего путнее того, о чем ниже, не мог добиться. Он

будет в течение двух дней, первого и второго (ноября), в Ленинграде, утрами в Яфетическом институте, постоем — в Академии наук и просит тебя *ловить* его там (это его выражение), преимущественно по утрам. Я сказал, что собираюсь писать тебе, и не сообщит ли он мне чего-нибудь, кроме ловли, и ближе к твоему вопросу, т. к. одно от другого ничуть не пострадает. Но он с любезностями по твоему адресу отклонил меня, как третье лицо, вероятно потому, что не захотел показаться непосвященным в дела Комакадемии. А теперь ты будешь на меня сердиться. Но, ей-Богу, я со всем уважением адресовался к нему. Крепко целую тебя и тетю.

И вкратце о житье-бытье. Я зимы себе как-то не представляю, а потому в квартире у нас как-то все более, чем когда, по-временному: непрочно, с полвздоха и малореально. Но — сыты, слава Богу, и в деньгах пока не отказывают (ради Бога, всегда имей в виду, — осчастливишь!).— Только Женя худа.

165. А. БЕЛОМУ

12 ноября 1930, Москва

12.X.30

Дорогой Борис Николаевич!

Горячо благодарю Вас за письмо¹. Посылать Вам телеграмму, да еще такую, было невежливостью — нет: смешнейшим несоответствием тому, что я мог и должен был бы Вам восхищенно напомнить, управившись к дате.

Я принимался за это трижды, в письме к Вам. Но чувство, что я ломлюсь в открытые двери, меня не покидало. Я увидал, что не смогу сказать Вам ничего такого, что Вы бы не знали сами.

Что вспомнить лучшее из пережитого в ранние и позднейшие годы — значит вспомнить Вас всякий раз, как это пережитое коснется живой физической Москвы и ее физического перехода в разогнанное [нрзб] ее движением искусство, подхватывающее, продолжающее ее и как бы служащее ей большим движущимся горизонтом. Что вспомнить Вас — значит вспомнить последнее мерило первичности, виденное в жизни. И за Вами следует Маяковский, юношей, тот еще, каким Вы его слышали зимой 18 года². И потом начинается путаница.

И вот Вы живы, и с лучшим из запомнившегося,— с историей гениальности в России начала XX в. можно говорить. И все же меня не покидает чувство неловкости: разве с *этим* поздравляют?

А писать я Вам сел вот по какому поводу. У меня была сегодня племянница Новикова³, приехавшая из Ташкента. Туда сослан С. А. Поляков⁴, ее и самое забросила туда ссылка близкого ей человека⁵. Она в состоянии ужаса рассказала мне о бедственности положения С. А. Как только будут деньги, т. е. как только их можно будет заполучить в сберкассе, я ему пошлю, что смогу. Вероятно, она начала затем припоминать не столько сильных лит. мира, сколько своих литературных кумиров, п. ч. назвала Вас и затем запнулась (и дальше Белого не пошло перечисление богачей). Подчинясь ей, обращаюсь к Вам с просьбой о помощи к Вам первому. Разумеется, тут всего бы ближе Балтрушайтису⁶, бывшему закадычным его другом. Но, по-моему, к нему как к лицу дипломатическому обращаться небезопасно, в особенности по такому делу, да еще в такое время. А послать всего лучше денежным пакетом в Ташкент, до востребования, С. А. Полякову. Известит же его она, потому что, сообщив его адрес (Ташкент, Пушкинская, 1-й тупик, д. № 2), она усомнилась в его точности и собирается адрес проверить через родных, едущих в Ташкент. Впрочем, если захотите написать С. А., можете воспользоваться им для извещения и востребования.

Все последние дни вспоминаю Ваш «Петербург» и министров из «Зап<исок> чудака». Какая страшная Немезида, уловленная уже Достоевским. И ведь Ваши и его (Дост<оевского>) фантазмагории превзойдены действительностью. Теперь пойми, что двойник, что подлинник в планах, а ведь дальше будет еще непонятней.

Крепко обнимаю Вас. Ваш Б. П.

Привет Клавдии Николаевне⁷. Познакомились с П. Яшвили и его женой Т<амарой> Г<еоргиевной>. Они все разыскивали Клавдию Николаевну, чтобы спросить, когда можно будет к Вам. И все время Вы были на языке у всех⁸, у них, у нас,— Спасский, верно, рассказывал.

А ведь дал маху Свифт: не знал, когда и где родиться. Вот бред-то⁹.

30 октября 1930, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Сюда дошел слух о смерти Всеволода Рождественского. Правда ли это? Мне почему-то не верится и не хочется верить. Подтвердите мне поскорее ложность этого слуха, прошу Вас, и если он жив, как почему-то не перестаю надеяться я, то давайте снесемся с ним, — мы как-то его забыли, а ведь его следовало вспомнить, когда мы с Вами говорили о лирике, он ведь один из настоящих, не правда ли? Крепко обнимаю Вас. Ответьте хотя бы открыткой, но немедленно.

Если это неправда, узнайте и сообщите его адрес. Привет С. Г.

Ваш Б. П.

167. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

5 декабря 1930, Москва

5.XII.30

Олечка, дорогой мой друг, и Вы, дорогая тетя Ася! Надо ли говорить, как подействовало на нас твоё, Оля, письмо, и как вся, ничуть не переменившаяся, живёте Вы, тетя, в своём! Я слышал о ваших прошлогодних невзгодах, но и в десятой доле не мог вообразить, что они таковы.

И твой упрек в отрыве, Оля, — (справедливый!) горько прозвучал и оставил горький отзвук. И это отзвук моей жизни. Так все родилось, так все сложилось, — что делать!

Недавно, как-то вечером, в гостях Женя сентенцией разрешилась, что в Ленинграде женщины замечательные и все оттуда. Сказано это было по поводу присутствовавшей и действительно замечательной вашей пианистки М. Юдиной. А в пример привела, кроме названной бывавших и близко знакомых: Ахматову, сестер Радловых¹ и вас обеих. Тогда и хозяйка, где ужинали, напомнила, что она из Петербурга, Жене же пришлось рассказать о вас, ввиду заявленного.

И вот я люблю вас, как самое свое, а и не запишу до конца страницы. Тут, верно, и начинается то, что ты,

Оля, назвала: отрыв. Но рассказывать о чемнибудь своим — значит делиться, значит угощать, значит что-то предлагать, для всего же этого надо держать в руке что-то осязаемое. Осязаема ли нынешняя жизнь? Или повести это все одним восклицаньем и сказать так? Что сотой доли неизвестно за что выпадающего мне счастья было бы в былое время достаточно, чтобы вправлять его в кольца и резать им стекло. Что вновь и вновь встречаются люди, которых невозможно не любить, что до меня доходят волны, которых я не заслужил и отдаленно, что моя обыденность испещрена драгоценностями, и, следовательно, тем горше, что все это пропадает даром. Потому что это происходит в наше время, превратившее жизнь в нематерьяльный, отвлеченный сон. И чудесам человеческого сердца некуда лечь, не на чем оттиснуться, не в чем отразиться.

Но ведь я к вам с большой просьбой. Помогите мне, пожалуйста. Я не оставил надежды послать Женю с Дудликом, как вы его называете, к своим. В известных целях мне надо бы последовательно обязать их на известную сумму. Вы оказали бы мне серьезнейшую услугу, и я не знал бы, как за нее благодарить, если бы согласились раз-другой на перевод от меня, причем, только половину я бы отнес на папу. Неужели вы меня оттолкнете? Тогда я просто не понимаю, для чего мне зарабатывать. И всего меньше, — в чем мой отрыв. Потому что с людьми близкими из московских или из друзей, с которыми мы жили в Ирпене, этого отрыва нет и в этом вопросе, и ведь это легчайшее доказательство взаимного доверья. И вы мне в нем откажете? А главное, главное, главное: услуга, которую Вы мне при этом могли бы оказать, вдесятеро серьезнее той химерической брезгливости, которую всегда ко мне питаете. Клянусь Дудликовым здоровьем! Ваш отказ будет не только пощечиной мне, но и... нуллификацией будущих Дудликовых ресурсов. И это было бы так гадко, что я этого и вообразить не в состоянии. Простите за длинный разговор на эту гнусную тему, но я так боюсь вас! Как раз этот страх причина того, что пишу вам обеим сразу. Не пощадит Оля, пожалеете, тетя Ася, Вы. Тетечка, заступитесь за меня перед нею. Наедине же страшно.

Крепко целую и обнимаю.

Ваш Боря.

Писал ли вам папа о смерти тети Розы? ²

15 февраля 1931, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Боюсь, не огорчил ли я Вас тогда своим письмом. Вы на него не ответили. Что в таком случае основой всему какое-то недоразуменье, должно быть ясно и Вам. Только страх остаться бесполезным для Вас мог толкнуть меня от одних восхищений к товарищеским советам. Как Вы мне дороги, Вам известно. Не только утрата Вашей дружбы, но и малейшая тень на ней была бы для меня большим ударом. Я же молчал не из каких-либо счетов, я эти месяцы не писал никому. У меня было много хлопот и немало еще осталось, — много перемен... Я оставил семью, жил одно время у друзей (и у них дописал Охр. Гр., теперь у других) в кв. Пильняка, в его кабинете. Я ничего не могу сказать, п. ч. человек, которого я люблю, не свободен, и это жена друга, которого я никогда не смогу разлюбить. И все-таки это не драма, п. ч. радости здесь больше, чем вины и стыда. Я как-нибудь напишу Вам по-настоящему, теперь же с большой к Вам просьбой. Мне давно надоедает один литературовед, нужен ему «Спекторский» для какой-то срочной работы¹. Будьте добры, не откладывая вышлите рукопись заказной бандеролью по адресу: Москва, 34, Сивцев Вражек, д. 35, кв. 8, А. К. Тарасенкову. 20-го он должен сдать работу. Простите за лаконизм. Обрадовали бы письмом. Привет С. Г. Евг. Вл. сейчас тяжело, но время пройдет и мы будем с ней лучшими друзьями.

Ваш Б. П.

169. ДЖ. РИВИ

28 марта 1931, Москва

28.III.31

Дорогой Mr. Reavey, Георгий Данилович!

Ваши переводы, статья, Ваше внимание и, затем, — письмо до глубины души взволновали меня. Во всякое другое время я Вам ответил бы немедленно. Но нынешней зимой у меня было много личных событий.

Как раз в их разгаре произошло мое знакомство с Вами. Вот причина моего долгого молчания, которое, вероятно, огорчило Вас. Однако все это продолжается и сейчас. Я отвечаю Вам наскоро, и не так, как хотел бы.

Горячо благодарю Вас за отличные переводы. Восхищен Вашим вкусом. Ваш выбор достаточно говорит о нем. Много хотел бы, друг мой, сказать о Вашей прекрасной статье и оригинальных стихах, но это как-нибудь в другой раз. Как бы не задержало это письма.

С радостью даю Вам разрешение на помещенье переводов (даже и не известных мне) в «Европейский караван» и куда бы Вы ни пожелали. Познер ни о чем не уведомлял меня, и из письма Вашего мне неясно, о чем должен был уведомить. За Вашим сообщением, что он взял 4 перевода для revue *, у Вас следует слово, которого я не могу разобрать (Morada(?)) **². Если увидите В<ладимира> С<оломоновича>, кланяйтесь ему, пожалуйста. Он, кажется, сердится на меня, но не знаю, за что.

Узнаю о себе всегда по слепой случайности, когда общаются друзья. Мне пишут все реже, — виноват я сам.

Скоро распространенье на Западе заинтересует меня с той стороны, о которой я до сих пор никогда не думал.

В Германию на долгое время выезжает жена моя с сыном, и возможности посылать им отсюда у меня не будет. Тут очень кстати оказались бы иностранные издания.

Но против искусственного навязыванья меня Западу я первый стал бы открыто протестовать. До сих пор у меня не было ничего, что заслуживало бы европейского вниманья. «Детство Люверс» и «Повесть» — неприятные претензии, пока они не развиты во что-нибудь крупное. Последнюю я надеюсь продолжить, доведя до более достойного целого, в форме романа.

Сейчас я закончил прозаическую вещь, которая называется «Охранная грамота». Это первая вещь, которую я без стыда увидал бы в переводе. Это — ряд воспоминаний. Сами по себе они не представляли бы никакого интереса, если бы не заключали честных и прямых усилий понять с их помощью, что такое культура и искусство, если не вообще, то хотя бы в судьбе отдель-

* журнала (фр.).

** Скобки поставлены рукой Б. Пастернака.

ного человека. Думаю, тема эта никому не может быть далека, и разговор о ней на других языках так же уместен, как и в оригинале. Когда она появится у нас отдельной книжкой (к осени, вероятно, но, может быть, и раньше), вышлю ее Вам. Остальных Ваших просьб о книгах не могу исполнить. Последние издания разошлись, прозы еще не переиздавали, — но по мере появления буду всегда помнить о Вас. — Еще раз большое за все спасибо. Крепко жму Вашу руку. Напишите, что простили меня.

Ваш *Б. Пастернак.*

170. П. П. КРЮЧКОВУ¹

21 июня 1931, Москва

21.VI.31

Дорогой Петр Петрович!

Вероятно, это бессовестно с моей стороны и Вы откажетесь вникнуть в эту новую мою просьбу, — это будет заслуженным мне уроком и докучаньям моим таким образом будет положен конец.

В своих фантазиях я зашел даже так далеко, что хотел было просить Вас минут на пять к себе, где на месте все уяснилось бы гораздо скорей и убедительней.

Я занимаю остаток бывшей отцовской квартиры, людно уплотненной чужими, на мою долю осталась бывшая его мастерская, которую я переделал пополам неоштукатуренной звукопроводящей перегородкой и занимал с семьей, в комнате рядом, последней к выходу: живет семейный брат. Осенью он переедет в кооперативную квартиру, сдав свою площадь Руни, и ее заселят по ордеру, вот меня и страшит эта перспектива.

Никаких формально-законных оснований для расширения моей площади у меня нет, да и реальных притязаний на это не явилось бы, если бы не близкое вероятье новых людей, нового шума и постоянного хождения за стеною, почти фанерная тонкость которой превращает весь образ жизни моей на этом большом, количественно, квадрате в какой-то сквозной, *проходной образ.*

Расставшись, но не разведаюсь юридически с женой, я связал судьбу с другим человеком. У нее двое детей.

Мы будем жить вместе, по многим причинам это не матерьял для регистрации, по крайней мере в ближайшее время.

Когда я был у Алексея Максимовича, я признался на прощанье, что не только его редкое отношение ко мне, но и приязнь общества пока что кажутся мне незаслуженной милостью: до сих пор я ничего стоящего не сделал. Но все эти годы я боролся с пустым и бездушным формализмом, водворяющимся в стихах, где его трудней разоблачить, прочнее и легче, чем в прозе, и с трафаретнейшим, безличнейшим разрешением боевых актуальных тем. Хорошо ли, плохо ль, но какое-то *понятье* поэзии, которым мы в России обязаны в последнем счете Блоку, я старался сохранить. Далось мне это (не в смысле работы, а в отношении судьбы и положенья) нелегко.

Со мной случилось много неожиданного истекшей зимою. Работать мне хочется горячее, чем когда, и надежней, чем когда-либо, мои планы и расчеты. Опять-таки в разговоре с Алексеем Максимовичем, окрылившем меня своим одобрением, я сказал о предположенном романе, начало которого однажды напечатал и дальнейшее исполнение откладывал с году на год. Это неотложнейшая моя задача на ближайшую зиму.

В работе этой окончательно выяснится, справедливо ли мнение, будто чужд я духом нашему времени и *обязательна* ли, т. е. является ли *единственно* возможной комментация, которая его захватывающему величью дается.

Но ничего этого я не смогу сделать в изменившихся условиях, которые принесет осенью законное течение дел. И для того чтобы их уладить законно (подыскать и обменяться квартирой и пр. и пр.), потребуется время.

Не допустима ли хотя бы в виде блажи, уже полуоправданной, и которую я, м. б., оправдаю в будущем полностью, мечта об оставленьи братниной комнаты в мое пользование (как много бы я в этих улучшившихся условиях сделал!) и не мыслимо ли удовлетворенье этой мечты в исключительной какой-нибудь форме, в виде *временного*, что ли (на год), даренья?

Я хочу об этом написать кому-нибудь (м. б., Калинину?), и не знаю кому, и хотел бы об этом посоветоваться с Вами.

Я говорю, что думаю: у Вас достаточный авторитет, и беспокоить Алексея Максимовича не надо. Помогите мне в этом, не обращаясь к нему, мне хочется поговорить с Вами. Я позволю себе позвонить Вам дня через 3—4. Крепко жму Вашу руку.

Ваш *Б. Пастернак*.

171. С. Д. СПАССКОМУ

1 февраля 1932, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Пишу коротко, без подробностей, их не перебрать. Все это было страшно и осталось почти при том же положении. Делаю последние попытки добиться чего-нибудь в Москве¹.

Ответьте, пожалуйста, совершенно искренне и свободно, были ли бы Вы в состоянии приютить у себя меня и Зину на срок приисканья безобменной, минимально мебелированной (за плату по возм. не выше 150 р. в месяц) комнаты, ответьте, если можно, телеграммой по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, 8, кв. 52, мне.

К консультации, пожалуйста, не привлекайте Ел. Мих². Эта просьба ничего дурного по отношению к ней не заключает. В остальном, где можно, среди знакомых и в тов. среде откройте поиски (я говорю о первом толчке, вызывающем волну расспросов, — не все Вам одному, никогда бы не осмелился просить). Хотя комната понадобилась бы до осени, лучше говорить о годе. Только упорная и усидчивая работа над прозой может спасти меня, я готов к ней, — помогите. В пределах Вашей доброй готовности уверен, с силою препятствий столкнулся на практике (хотя тут на месте все это еще острее, — наличествующие в обеих семьях площади перевиты клубком наболевших нервов, — повторяю, в желаньи Вашем не сомневаюсь, с трудностями знаком, и потому отвечайте свободно, но и немедленно. В случае согласия выехали бы тотчас же.

Крепко Вас обнимаю. Сердечный привет Софье Гитмановне.

Ваш *Б. Пастернак*.

1.VI.32

1 июня 1932, Москва

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Как хорошо, что я все время не писал Вам! Сколько глупостей бы Вы наслышались, сколько тяжелого бы, и теперь уже лишнего, прочли.

Ах, какая тяжелая зима была, в особенности после приезда Жени. Мучилась, бедная, в первую очередь и она, но сколько и всем, и мне в том числе, было страданий! Сколько неразрешимых трудностей с квартирой (нам с Зиной и ее мальчиками некуда было деваться, когда очистили Волхонку, и надо было бы исписать много страниц, чтобы рассказать, как все это рассовывалось и рассасывалось!). Невозможным бременем, реальным, как с пятнадцатилетнего возраста сурово *реальна* вся ее жизнь женщины, легло все это на Зину. Вы думаете, не случилось той самой «небылицы, сказки и пр.», о которой Вы и слышать не хотели, и от безумья которой меня предостерегали? О, конечно! Я и на эту низость пустился, и если бы Вы знали, как боготворил я Зину, отпуская ее на это обидное закланье. Но пусть я и вернулся на несколько суток, пройти это насилье над жизнью не могло: я с ума сошел от тоски. Между прочим, я травился в те месяцы, и спасла меня Зина. Ах, страшная была зима. Я, а потом и она со мной поселились у Шуры с Ириной. Начались ежедневные ее хождения к детям и по рынкам (все, относящееся к закрытым распределителям, я оставил Жене), Зина по несколько раз сваливалась в гриппах и, наконец, к весне заболела воспалением легких. Мы были у Шуры, где тоже все время хворал Федя (сейчас у него корь с ушным осложнением), мальчики же ее находились у отца, в совершенно запущенной квартире, потому что Зина не справлялась с двумя хозяйствами и ей приходилось быть им, так сказать, «приходящей» матерью, а не живущей, — я страшно виноват перед ней, ужасно расшатал ее здоровье и состарил, но и я в последнем счете был несвободен, мною слишком владела жалость к Жене, я как бы ей весь год предоставлял возможность сделать благородное движение, признать свершившееся и простить, но не так, как она это делает, сурово и злобно или насмешливо, а широко, благородно, с затратой

каких-то, пусть и дорого стоящих, сил, но с той добротой, без расчета, от которой одной и можно только ждать мыслимого какого-то будущего, человеческого и достойного. Станным образом у нее совершенно нет этих задатков, и она даже смеется над теми, кто этой мягкостью обладает. Да, так вот, мы жили с Зиной у Шуры, когда вдруг заболел скарлатиной Женичка, и мне в последний, вероятно, раз со всей наивностью стало страшно за нее, и тогда Зина предложила мне поселиться на Волхонке на срок его болезни, а сама осталась на квартире у Шуры. И опять Жене было сказано, что я поселяюсь у них на положеньи друга на шесть недель, и вновь это была, пускай и горькая для нее, но мыслимая и совершенно определенная рама, в которой можно и надо было найтись и как-то проявить себя, и вновь с этой стороны не было показано ничего отрадного. Хотя я и чистил платье щеткой в сулеме, но, встречаясь с Зиной у нее на дворе или на воздухе, подвергал ее детей страшной опасности, и просто чудесно, что они до сих пор не заразились.

Но я очень многословен, — доскажу, что осталось, короче.

Женичке болеть еще полторы недели. До сих пор все шло благополучно. С неделю я живу с Зиной в двухкомнатной и еще недоделанной квартире, уделенной нам Союзом писателей на Тверском бульваре. Здесь не проведено еще электричество и не собрана ванна. С нами же ее чудесные мальчишки. Они на руках у нее, и Зина чуть ли не ежедневно стирает и моет полы, т. к. кругом ведутся строительные работы, и, когда входят со двора, следят мелом и песком. Через неделю мы вчетвером поедem на Урал¹, и на этот срок брать работницу не имеет смысла. Не думайте, что Женя оставлена материально и, так сказать, в загоне. При Женичке воспитательница, и у Жени пожилая опытная прислуга. Будьте справедливы и к ней: все это делается против ее воли, для меня большим облегченьем служит сравнительная сносность ее внешнего быта, и всякий раз, как дело доходит до новых денег, мне больших и горьких трудов стоит, чтобы она их приняла. Но, Бог ей судья, в ней есть что-то совершенно непонятное мне и глубоко чужое. Когда я о ней думаю после длительных разлук, я всегда прихожу в ужас от той черной двойственности и неискренности, в которой держал ее всегда, и несу ей навстречу волну готовой прямоты, чтобы все исправить, и когда оказываюсь вместе

с ней, то вновь и вновь единственной моей целью становится, чтобы она была весела, а для этого я должен говорить не то, что думаю, потому что она не терпит прекословий, и все это повторяется вновь и вновь и всегда мучит тем, что то чужое, что сидит в ней, совершенно расходится с ее внешним обликом и ее внутренней сутью в другие минуты, и все это так странно, что похоже на колдовство.

Я совершенно счастлив с Зиной. Не говоря обо мне, думаю, что и для нее встреча со мной не случайна. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Вы плакали, особенно ты, Оля, когда мы уходили². Эти слезы были к месту, потому что ничего веселого мой гаданья не заключали, но я не знаю, к кому они относились.

Она очень хороша, но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованною на два-три дня, пока не разовьется завивка. Таким торжественным случаем было посещение вас, и она к вам пришла прямо от парикмахера. Я не знаю, как Вы ее нашли и к ней относитесь. О полученном же ею впечатленьи я Вам говорил.

Она несколько раз порывалась писать Вам, тетя, в декабре истекшего года, когда вдруг так быстро стали близиться события, предсказанные Вами в качестве недопустимостей или неслыханностей. Я Вам их уже описал. Она бросалась к Вам за помощью в их предупреждение. Тогда же она думала обратиться к папе. Она справедливо боялась искаженного изображения всего происшедшего, какое могло получиться за границей. Ей было очень тяжело, и эта тягостность была тем нелепее, что мы взаимно были уверены друг во друге и в наших чувствах. Я помешал ей написать Вам и родителям из страха, как бы это не повредило Жене. В отношении последней у меня за годы жизни с ней развилась неестественная, безрадостная заботливость, часто расходящаяся со всеми моими убеждениями и внутренне меня возмущающая, потому что я никогда не видал человека, воспитанного в таком глупом, по-детски бездеятельном ослепляющем эгоизме, как она. Плоды этого дурацкого воспитания сказались в виде такой опасности, что я никогда не мог избавиться от суеверного страха за нее, тем более суеверного, чем дальше меня отталкивали некоторые ее проявления. Последним случаем такой нежности, основанной на осуждении,

ужасе и испуге, были зимние месяцы, когда, как я повторяю, я опять было готов был пожертвовать ей не только собственным счастьем, но и счастьем и честью близкого человека, но на этот раз уже восстала сама логика вещей, и этот бред не имел продолженья.

Если захотите, напишите мне, пожалуйста, в Свердловск, Главный почтамт, до востребованья, — Вы знаете, какую радостью будет весть от Вас. Напиши, пожалуйста, ты, Оля, родная. Было бы очень мило, если бы у Вас нашлись слова для Зины, она бы оценила их. Она очень простой, горячо привязывающийся и страшно родной мне человек и чудесная, незаслуженно естественная, прирожденно сужденная мне — жена.

Ваш Боря.

173. П. ЯШВИЛИ ¹

30 июля 1932, Свердловск

30.VII.32

Милый мой, дорогой мой Паоло!

Проходят недели, слагаясь в месяцы, и если продолжать и дальше так, то Вы никогда не узнаете, что, едва поселившись здесь на озере ², я тотчас же стал писать Вам. Я начал Вам несколько писем и последовательно их оставлял вследствие их размеров. Они выходили то исследованиями по истории Урала, то попытками рассказать Вам(!), что такое Грузия.

Замечательно, что, едва тут водворившись, мы стали вторично переживать проведенное с Вами лето. В такой цельности и с такой преследующей силой это случилось с нами впервые. Проявилось это в первое же утро, что мы проснулись в нашей трехкомнатной даче с террасой, предоставленной нам уральским обкомом партии, и пошли на озеро, и увидели стоверстные леса на том берегу, сосны и березы на этом, слюдяную гладь воды, тучи, могилы разрушенного кладбища, северную, бедную привычную гамму. Мы ничего не сравнивали. Мы не сравнивали природы, мы не сравнивали людей. Мы просто, точно сговорившись, в один голос назвали Коджоры и потом с возвращающимся постоянством стали вспоминать Тифлис, Окроканы, Кубулеты, Цагвери и Бакуриани, и все места и все положения. Сегодня Тезик вставал в воображении с Тамарой Александровной ³. Завтра кто-нибудь другой. Я со страшной силой почувст-

вовал радость за Вас, что Вы сейчас там, что это опять окружает Вас и Вы всех увидите.

Потому что это не только юг и Кавказ, то есть красота всегда бездонная и везде ошеломляющая; и это не только Тициан и Шаншиашвили, Надирадзе и Мицишвили, Гаприндашвили и Леонидзе, то есть люди замечательные на любой почве и не нуждающиеся в сравнении, чтобы догадаться об их несравнимости. А это нечто большее, и притом такое, что и на всем свете стало теперь редкостью. Потому что (оставляю в стороне ее сказочную самобытность) это и в более общих отношениях страна, удивительным образом не испытывавшая перерыва в своем существовании, страна, еще и теперь оставшаяся на земле и не унесенная в сферу совершенной абстракции, страна неотсроченной краски и ежесуточной действительности, как бы велики ни были ее нынешние лишения.

Именно в этом свете увидели мы сейчас Грузию и поразились пережитому с Вами, как немислимости и легенде. Ах, ведь это я, наверное, и предчувствовал, когда говорил с М. С. Джавахишвили о Грузии как о форме. Но надо было сперва попасть сюда, в этот организм без духовных отправлений, неведомо зачем желающий привить себе эти потребности механически, без представлений о последних, чужими руками и за большую плату, чтобы все это понять: чтобы в тоске по русской культуре вспомнить с благодарностью Тифлис и затосковать по нем именно этою тоскою. И мне теперь ясно. Этот город со всеми, кого я в нем видел, и со всем тем, за чем из него ездил и что в него привозил, будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Марбург, Венеция и Рильке, — одной из глав «Охранной грамоты», длежащей для меня всю жизнь, одной из глав, как Вы знаете, — немногочисленных; одной из этих глав и, в выполнении, — ближайшей по счету. Я говорю «будет», потому что я писатель, и все это надо превратить в дело и всему найти выражение; говорю «будет», потому что всем этим он уже для меня стал.

Оттого ведь и пишу я Вам письмо за письмом и их последовательно уничтожаю. Уже это не предмет вольной переписки. Уже этот круг воспоминаний владеет мной: уже он пишет меня, как сказал бы Тициан. Уже он стал для меня самостоятельным, в готовом виде найденным переживанием, подобным цветущему растению, то есть способным питаться всем тем, что я переживаю и

буду переживать после него; и пока его не сменит какой-нибудь новый центр той же породы, т. е. в свою очередь равный Скрябину, Рильке, Венеции и Тифлису, все соки почвы, постепенно распространяемой течением времени, будут питать его. Пример налицо. На Урал, как мне теперь уясняется, я приехал ради него, во имя Тифлиса. Но обо всем этом трудно писать в письме, даже если оно пятое по счету. И не в письме, разумеется, скажется это все. Что бы я ни задумал теперь, мне Грузии не обойти в ближайшей работе. И все это (что именно, трудно предвидеть) будет сгруппировано вокруг Вашей удивительной родины, как рассказ о части моей жизни сосредоточен на Маяковском ⁴.

Надо ли после этого прибавлять, до чего трудно мне во всей человеческой живости реализовать эту мою самообогащающуюся любовь к Вам и всему Вашему, распределив ее по рукам и направив по адресу Вам и Тициану, Тициану и Надирадзе и Гаприндашвили. Такая переписка должна была бы, по тому, что я чувствую и что не оставляет моего воображения, стать моим новым призваньем. И, уступая непосредственности, я не знал бы, где мне остановиться. Потому что, следуя сердцу, я должен был бы писать письма не только Тамаре Георгиевне и Нине Александровне, не только Ниточке и Медее ⁵, а и улицам, по которым они ходят, и платанам, которые на них бросают тень... Нет, нет: я должен был бы даже переписываться с огорченьями, которые Вы им доставляете.

Перецелуйте же их всех от всей души и всем местам передайте, что они самые лучшие и дорогие, какие могла произвести земля. И одному из этих мест скажите, что, собираясь засесть на днях за прозу о всякой всячине, северной и военно-гражданской, я несколько верю в исполнимость этого решения только потому, что об Урале буду писать мысленно из Окрокан и что это в вещи найдет свое выраженье.

Не случайно не сообщаю Вам нашего адреса. Мне очень хочется знать, как Вы живете и что делаете, Вы и ближайшие друзья. Но Вы не ответите, и это Вас будет чем дальше, тем больше мучить. Будьте же здоровы и счастливы в этом незнании того, куда нам писать. Осенью же, если Вас еще не будет в Москве, снова спишемся.

Удивительно, что в чувствах моих к прошлому лету есть одна сторона, которую всего бы легче понял чело-

век, тогда отсутствовавший. Это — Робакидзе. Однако, несмотря на вечное мое неумение выразить одно существо чувствуемого, без осложняющих частности, быть может, эта особенность дойдет и до Вас с Тицианом.

Крепко обнимаю Вас, а половина письма пишется и Зиною. Часто также Адик дает доказательства живости своей памяти именно на кавказском материале. Каламис цвери, каламис цвери *⁶, говорю я ему, и он вдруг расцветает и говорит мне о ливне в Бакурианах.

До свиданья со всеми.

Б. П.

174. Н. Н. ПУНИНУ И А. А. АХМАТОВОЙ

19 октября 1932, Москва

19.X.32

Дорогой Николай Николаевич, сердечно благодарю Вас за успокоительное известие и Анну Андреевну за особенно драгоценную в ее состоянии приписку.

Звонил в день приезда Чулкову¹, он обещал тотчас же обратиться по делам Анны Андреевны² в Наркомпрос и Оргкомитет, но этим не ограничился, как Вы уже, наверное, об этом знаете по результатам одной оказии в Ленинград, которой он для этого воспользовался.

Так же горячо ко всему отнесся и Борис³, пообещав намылить голову Гронскому, главе Оргкомитета. Он собирается к Вам в конце месяца, перед этим я его увижу.

Набравшись храбрости, хочу просить лично Вас, Николай Николаевич, чтобы в этих делах вы не ограничивали допуска нас, посторонних, одними теми минутами, когда Анна Андреевна находится в опасности, что в отношении общества было бы как-то страшно и нечеловечно. Поправка и отдых Анны Андреевны потребуют еще больших забот, нежели болезнь, и сколько найдется людей, для которых сознание, что они хоть чем-нибудь могут быть ей полезны, составит счастье.

Не забудьте позвонить Спасскому (Сергею Дмитриевичу), 4-76-99. У них какие-то замечательные связи во врачебно-больничном мире, что для установленья более твердого диагноза перед операцией может очень

* Кончик пера (груз.).

пригодиться, а может быть, и для производства самой операции, если ее не избежать. И вообще, во всем, вплоть до направленья мыслей и симпатий, Спасские меня легко заменяют и охотно заменят.

На вокзале собирался рассказать Вам, но забыл, — что в Москву приехал из Англии Святополк-Мирский⁴, был у меня и очень кланялся Анне Андреевне. Он был у меня перед самым моим отъездом, и я толком еще даже и не познакомился с ним. Упущенье это восполню на днях, когда увижусь наново и как бы сначала. Тогда помешало состоянье квартиры. Вещи не были еще расставлены, оконные рамы были частью без стекол, частью с остатками расколотых, и — (был дождливый день) с потолка текло. Это меня страшно стесняло при встрече, т. е. я не стыдился его, а все это отвлекало внимание. Но за четыре дня моего отсутствия Зинаида Николаевна произвела настоящие чудеса, и теперь жить и принимать друзей можно сосредоточенно и не рассеиваясь.

Дорогая Анна Андреевна, целую Вашу руку и крепко жму Вашу, Николай Николаевич. Еще раз большое спасибо за доверье и скорое известие. Выздоровливайте!

Преданный вам *Б. Пастернак*.

175. С. Д. и С. Г. СПАССКИМ

22 октября 1932, Москва

Москва, 19, Волхонка, 14, кв. 9

22.X.32

Дорогие друзья!

Все эти дни часто думал о Вас. Хочется еще раз от души поблагодарить Вас за Ваше радушье. Мне очень хорошо жилось у Вас¹, а говорилось и думалось так даже, как уже давно, давно, не случалось. Мне эта встреча много дала, и, я знаю, Вы должны были это видеть. Вот отчего и извиненья мои были недостаточно энергичны. Когда Вы пошли в Филармонию, мне стало жалко, что наше прощанье произошло в вагоне, где на нас смотрели с обеих лавок. Но все равно.

Зина очень кланяется Вам. Она своими средствами, и просто сказать — руками, преобразила квартиру². Вчера я засел за работу, т. е. ощутил, что она мыслима, что есть для нее вероятье. Мне бы хотелось, чтобы поло-

женье пошло в беспорядке обваливающегося снега, цельностью одной тематической тяжести. Это трудно и, наверное, не удастся.

От Пунина имел утешительное известие относительно Ахматовой, но в ответном письме порекомендовал все же обратиться к Вам.

У меня здесь есть два-три лишних экземпляра «Второго рождения», как был, правду говоря, один свободный и в гостях у Вас. Мне не пришлось бы придумывать надпись. Снести бандероль на почту не представляет труда. Но та же причина, что делала смешным и неподходящим это подношение в Ленинграде, удерживает меня от него и сейчас. Я слишком широко пользовался в Вашем кругу общностью того мира, который в нашей обстановке оживает так редко. Глупейшим образом я решил, что ответом на эти четыре дня должна быть какая-нибудь вещь или знак из того же мира, и взял на себя нечто непосильное: ничем этим моя книжка быть не может, надо будет написать что-нибудь подстойнее.

Не отвечайте мне, Сергей Дмитриевич, не тратьте времени, работайте, пока позволяют обстоятельства. Крепко обнимаю Вас. Софья Гитмановна, целую Вашу руку и желаю здоровья. Как палец? На этот вопрос ответьте сами — и открыткой.

Ваш Б. П.

176. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

〈Вторая половина октября 1932〉, Москва

Дорогие мои!

Говорят, вино хорошее, но только вид бутылок мне не нравится. Воспользовался любезностью тов. Лавута¹, который вслед за мной теперь повезет показывать вашей публике Пант. Романова, — он доставит вам это «Карданахи».

Коле² сообщил по телефону о твоих, Оля, подношениях, он очень благодарит и на днях зайдет за ними, — до сих пор с ним не видались, он, по-прежнему, занят по горло, затрепали и меня.

Квартиру нашел *неузнаваемой!* За четыре дня Зина успела позвать стекольщика и достать стекло — остальное все сделала сама, своими руками: смастерила

раздвижные гардины на шнурах, заново перебила и перевязала два совершенно негодных пружинных матраца и из одного сделала диван, сама полы натерла и пр. и пр. Комнату мне устроила на славу, и этого не описать, потому что надо было видеть, что тут было раньше!

По приезде застал письмо большое от папы, надо ответить глубоко, исчерпывающе и ото всей души, и, наверное, в ближайшие дни это будет невозможно технически, а он тем временем будет подыскивать этой неспешности свои, и теперь совсем неподходящие объяснения!

Крепко Вас обеих целую и за все горячо благодарю.
Ваш *Боря*.

На Зину не сердитесь, что не пишет: весь день все на ней, она о вас все расспрашивала, да и нет ее сейчас дома, завтра Ирина к Шуре в Крым отправляется.

177. ДЖ. РИВИ

20 ноября 1932, Москва

20.XI.32

Москва, 19, Волхонка, 14, кв. 9

Дорогой Георгий Данилович!

Не знаю, как благодарить Вас за Ваше прекрасное посвящение, за чудесные, замечательные Ваши переводы и за Ваш бескорыстный и, вероятно, ничего, кроме неприятностей и разочарований, Вам не приносящий интерес ко мне!¹

Еще труднее будет привести что-нибудь в оправдание моего молчания, в ответ на Ваше милое письмо, которое я получил 2 месяца назад. Положим, оно было не беспричинно: у меня в течение этого времени было много хлопот, я устраивал личные и семейные свои дела, ездил в Ленинград, и пр. и пр. И все-таки я очень виноват перед Вами. Напишите мне, как сложились Ваши дела, осуществляются ли Ваши намерения, и, если Ваши начинания оформились, пришлите мне, пожалуйста, проспект задуманного Вами журнала.

Страшно буду рад книге Ваших поэм, жду ее с нетерпением. Большую радость также доставило бы мне, если бы Вам удалось выпустить отдельной книжкой Ваши переводы из меня, лучшие из всех, какие я знаю. Если

бы это удалось, мне было бы интересно знать их литературную судьбу на Западе, их относительный вес, мнение товарищей или прессы, и вот почему: мне передавали, что ко мне хорошо относятся в узких, немногочисленных кругах Европы, некоторые писатели и поэты, но все это, думаю я, основывается только на голой непроверенной легенде, на утверждениях доброжелателей и друзей. Никто из иностранцев, слышавших звук Pasternak и привыкших относиться к нему как к консонансу, ничего не читал и не видел. И, вероятно, по первом испытании, т. е. после ознакомленья их со мной, легенда эта будет рассеяна и всех их постигнет разочарованье.

Однако вряд ли пригодны для такой пробы стихи вообще, в особенности (при их условности и сложности) — современные.

Гораздо больше может передать перевод прозы. Моя задержка в ответе произошла отчасти оттого, что у меня не было ни одного экземпляра «Охранной грамоты», и я нигде ее не мог достать. Только вчера посчастливилось мне случайно раздобыть эту книгу, и я Вам ее высылаю.

Не боюсь сознаться: насколько безразлично относился я до сих пор к тому, переводят ли меня или нет, насколько не следил за своей западной судьбой и ничего в этом смысле не знаю, настолько важно мне, чтобы эта книга была переведена. Эту книгу я писал не как одну из многих, а как единственную. Мне хотелось высказать в ней несколько своих мыслей, несколько мыслей, свойственных мне, по ряду вопросов. Части этих вопросов *нельзя было* касаться. Остальные, которые можно было затронуть, я, вероятно, сформулировал недостаточно удачно. Книга вышла втрое меньше задуманного. Но и того, что осталось, достаточно, чтобы в моих глазах это было самым важным из всего, что я сделал. Я в этой книге не изображаю, а думаю и разговариваю. Я стараюсь в ней быть не интересным, а точным.

Вот почему книга этих *мыслей* наиболее пригодна к ознакомленью всякого, и западного, читателя со мною. Если ему неинтересна будет «Охранная грамота», то не могу и не должен быть интересен и весь я остальной. И тогда не надо создавать этого интереса искусственно. Потому что не в интересе дело, он не самоцель.

А дело в моей собственной потребности разговора с Западом, и потребность эта естественна и есть налицо

только в «Охранной грамоте». Это оттого, что главным образом мысль ищет общения с людьми, и тем более широкого, чем она глубже. Художественный же образ может удовлетвориться одиночеством, в котором он родился и может остаться. Для того, чтобы хорошо перевести «Охранную грамоту», ее надо перевести *точно*, как научное сочиненье.

Итак, резюмирую.

Без всякого стыда навязываю Вам «Охранную грамоту» и не стесняюсь признаться, что очень бы хотел видеть ее переведенной, потому что только в ней, удачно или неудачно, обращаюсь к миру я сам, во всех же остальных случаях это произвол апологетов, снобизм друзей и пр. и пр.

Напишите мне, пожалуйста, не опоздал ли я с присылкою книги, хотите ли Вы по-прежнему ее переводить и не заставил ли я Вас своей задержкою упустить удобную возможность.

Простите, что пишу Вам на разрозненных клочках, какие под руками, и ответьте поскорее, очень прошу Вас.

Дружески жму Вашу руку и еще раз горячо и сердечно благодарю Вас за все.

Ваш *Б. Пастернак*.

Мой адрес старый, Вы его знаете. Вот он.
Москва, 19, Волхонка, 14, кв. 9.

Если писать по-русски Вам трудно, т. е. отнимает много времени, то, при его недостатке, можете мне ответить по-английски, но тогда — четким почерком (*very readably*) *.

178. ДЖ. РИВИ

2 января 1933, Москва

2.I.33

Дорогой Георгий Данилович,
с Новым годом! От души желаю Вам всяких удач в этом году и облегченья Вашей жизни, если кризис захватил и Вас и она Вам затруднена.

* легко читаемым (*англ.*).

Получили ли Вы мое письмо и «Охранную грамоту»? Очень тревожусь, что она до Вас не дошла, судя по Вашему молчанию. Если Вы ее получили и прочли, не бойтесь написать мне искренно в случае разочарования. Вероятно, движение по слишком знакомому Западной Европе пути, который тут называют идеализмом, не представляет для Запада никакого интереса, и от русской литературы ждут произведений, богатых фактами, и на совершенно иной и новой социальной подкладке?

Очень Вас прошу писать мне без всякого стеснения, не опасаясь огорчить меня отказами или неудачей с книгой.

Мне бы также хотелось знать, что случилось с Вашими осенними планами, о которых Вы мне сообщали в сентябре из Парижа. Осуществляются ли они? Да и в Лондоне ли Вы? И где обещанная Вами книга Ваших собственных стихотворений?

Напишите мне, пожалуйста. Крепко жму Вашу руку. Всего Вам наилучшего.

Ваш *Б. Пастернак*.

Москва 19, Волхонка, 14, кв. 9.

179. А. БЕЛОМУ

〈Январь 1933〉, Москва¹

Дорогой Борис Николаевич!

Податель сего, горячий Ваш почитатель, молодой непечатающийся поэт Алексей Владимирович Нарский второй или третий уже год просит у меня записки к Вам, чтобы к Вам проникнуть и иметь случай высказать Вам свою признательность и удивление. Щадя Ваш досуг, который, разумеется, дорог и ему (он им злоупотреблять не будет), я оттягивал под всякими предлогами исполнение его просьбы. Сегодня не могу отказать ему в рекомендации к Вам, потому что его притязания сведены до последней малости: он зайдет к Вам за пропуском на диспут во Всероскомдраме, на который я и сам бы его провел, если бы не был простужен и мог последовать своему желанию услышать и увидеть Вас.

Для меня было бы большим счастьем свидеться с Вами, и если я в этом не проявляю самодеятельности, то только потому, что в той мере недоволен собой, что до поры до времени отнял у себя право искать больших

и глубоких удовольствий, вроде свиданья с Вами, пока не заслужу. Я неудачно это выразил, но, вероятно, чувство это Вам знакомо, м. б., по далеким воспоминаниям.

Я больше полугода ничего не делаю, не рабстается как-то мне. Это оттого, вероятно, что весна принесла с собой глупый призрак относительной свободы, ложной, поверхностной и, м. б., в нашей действительности неуместной². Эта ненужная иллюзия развила чувство ответственности, в наших условиях ни во что не воплощаемой. На меня большое впечатление произвели речи Бухарина и Рыкова³ на пленуме. Они эту двусмысленную видимость разрушают.

Крепко любящий Вас и преданный
Б. Пастернак.

180. А. М. ГОРЬКОМУ

4 марта 1933, Москва

4.III.33

Дорогой Алексей Максимович.

Ну как решиться мне беспокоить Вас? А между тем, может быть, у Вас явится охота и возможность помочь мне. И, говоря правду, один Вы в силах это сделать. Вот в чем дело.

Сейчас культпроп ЦК в общем порядке (т. е. не в отношении меня одного) предложил Ленинградскому издательству писателей отказаться от моего собрания¹. Кроме того, случилась у меня другая неприятность. С 29-го года собирал ГИХЛ (он еще ЗиФом тогда был) мою прозу и на днях должен был выпустить. Внушили издательству, чтобы предложило само оно мне отказаться от «Охранной грамоты», входящей в сборник, под тем предлогом, что «Охр. гр.» неодобрительно была принята писательской средой², и будет не по товарищески с моей стороны пренебрегать этим неодобреньем. Но тут ничего, очевидно, не поделывать: руководство ГИХЛа само истощило все возможности в склонении влиятельных виновников запрещенья в мою пользу и ничего не добилось, а я и подавно. Да и поздно что-нибудь предпринимать. 9 листов вместо 14-ти уже отпечатаны, и их брошюруют³. Больно мне это главным образом тем, что «Охр. гр.» показывала бы лицо автора. Из нее вся-

кому было бы видно, что он не обожествляет внешней формы, как таковой, потому что все время говорит о внутренней, что он не оскаруальдствует, что считает он горем, а не достойным подражания «фрагментаризмом» незаконченную отрывочность всего остального, за вычетом одной «Охр. гр.», матерьяла сборника. А теперь ко всем этим вредным недоразумениям будет достаточный повод.

Мне не на что жаловаться, Алексей Максимович, — в никчемности и несостоятельности всего мною сделанного я убежден горячее и глубже, чем это звучит в холодных и довольно еще снисходительных намеках критики или предполагается в сферах, куда мне нет доступа отчасти и потому, что меня туда не тянет.

Еще менее могу я жаловаться на недостаток чьей-нибудь симпатии: доброй воли поддержать меня кругом так незаслуженно много, что, не будучи ни большим писателем, ни драматургом, я при помощи одного расположения издательств довольно сносно держусь в нынешней необходимости моей зарабатывать на два дома, при 7-ми иждивенцах, среди невозможных современных трудностей. На это ведь требуются тысячи сейчас, и со стыдом должен признаться, что я их получаю на веру. Ерунду я эту вываливаю Вам, чтобы поскорее перейти к делу, и Вы меня простите. Я долго не мог работать, Алексей Максимович, потому что работою считаю прозу, и все она у меня не выходила. Как только округлялось начало какое-нибудь задуманной вещи, я в силу матерьяльных обстоятельств (не обязательно плачевных, но всегда, все же, — реальных) его печатал. Вот отчего всё обрывки какие-то у меня, и не на что оглянуться. Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая, как крышка бы на ящик, легла на все неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы.

И вот совсем недавно, месяц или два, как засел я за эту работу, и мне верится в нее, и очень хочется работать. На ближайший месяц мне и незачем ее оставлять, — пока что можно. Но мне долго придется писать ее, не в смысле вынашивания или работы над стилем, а в отношении самой фабулы; она очень разбросанная и развивается по мере самого исполненья; дополненья все время приходится вносить промеж сказанного, они все время возвращают назад, а не прирастают к концу записанного, замысел уясняется (пока для меня

самого) не в одну длину, но как-то идет в распор, поперечными складками.

Короче говоря, по счастью (для вещи), ее нельзя публиковать частями, пока она не будет вся написана, а писать ее придется не меньше года. И еще одно обстоятельство, того хуже: по исполненьи ее (а не до того) придется поездить по местам (или участкам жизни, что ли), в нее вовлеченным.

Словом, это дело долгое. И большим, уже сказавшимся для меня, счастьем было то, что начал я далекую эту затею в нетронутой еще иллюзии того, что собрание мое будет выпускаться, — оно меня на этот срок или хотя бы на полсрока обеспечивало.

Алексей Максимович, нельзя ли будет сделать для меня исключенья, из тех, что ли, соображений, что разнотомного собрания у меня еще не было, что (формально) первое оно у меня? Говорю — формально, потому что арифметически оно, конечно, собирается частью из уже ранее выпущенного, частью из переиздаваемого.

Однако ряду товарищей то же обстоятельство не помешало выходить собраниями, — я не знаю, кому точно, но, напр., Асееву и Жарову — кажется мне, но, м. б., я ошибаюсь. Да и не в том дело.

Алексей Максимович, я намеренно ограничиваюсь лишь просьбой этой. Я хотел Вас очень видеть истекшею весной и здорово надоедал П. П.⁴, но ничего не вышло.

От души желаю Вам всего лучшего.

Ваш *Б. Пастернак.*

Москва 19

Волхонка, 14, кв. 9.

181. С. Д. И С. Г. СПАСКИМ

30.IV.33

30 апреля 1933, Москва

Не знаю, передавали ли Вам в свое время наши приветы и поздравления, дорогие Сергей Дмитриевич и Софья Гитмановна, но если даже и верить Стеничу, что он это сделал, то все же удивительно и как-то грустно, что я так много думал о Вас обоих и так часто говорил с другими о книжке Сергея Дмитриевича. Вас же самих оставил без знака об этих разговорах: Вы вправе попе-

нять мне и были вправе даже разочароваться во мне как в друге, — мне нечем отстранить этот упрек. Я готов принять его, потому что мне есть куда его поместить; среди невеселого запустенья этого года места для таких ощущений много — нашлось бы и для него.

А лучше, если бы вместо всего этого Вы бы меня простили.

Так или иначе, двойное мое поздравление обращено к Вам обоим, и, Софья Гитмановна, я и с книгою¹ поздравляю Вас.

Самым радостным, Сергей Дмитриевич, будет для Вас и больше всего Вам скажет мое первое впечатление, когда я только вскрыл посылку и пробежал содержимое почти невнимательными глазами.

Как ни мало читаю я современных поэтов, все же печатает стихи «Лит. газета», печатают и другие журналы, есть имена и книги, из которых никого я не назову прямее, потому что, тяготясь неопределенно-альтруистическим к ним отношением, хотел бы найти облегчение в определенно дурном, но не нахожу даже и его, так все это «на уровне», так безнадежно; не буду вдаваться в подробности, хочу сказать: в фоне недостатка не имеется, есть фон. На него-то и легли Ваши страницы.

Они выделились на нем значимостью каждого Вашего слова, т. е. тем авторитетом удачи или зрелого развития, без которого поэзия недвусмысленно-существенная не возможна. Лишь на какой-то высоте может она себе позволить последнюю и широчайшую метафору самоуподобленья простому человеку, пользующемуся языком как естественным средством общения. Только на этой вершине удается ей этот распространеннейший до последней воздушности (и уже — драматический) образ, который она оставляет не обнесенным рамою частного метафоризма, потому что он должен сдерживаться (если не распадается) метафоризмом энергии, его пропитавшей. Тогда только и значат все слова и самая серость их точного смысла становится музыкой.

Это — предел. Он мыслим только в идее. С реальным достижением его никто никого никогда не поздравлял.

Но направленье к этой высоте Вы избрали своим тоном, задачей, жанром — своим делом. И это очень крупно и редкостно. И если лучше всех страниц книги стр. 32, 33 и 53, то это очень хорошо, так и должно быть:

это естественно. Это естественно и в Вашем случае, приближенном к пределу, это значит и музыкально (музыкой значения) и образно, потому что естественно. Это естественно, что как ни живы лес вокруг строительства (стр. 14), ощущение тишины и двигательной отдачи (стр. 16 и 17), как ни прекрасна страница 21 (и 22), вся, с начала до конца, и пр. и пр. — поэзия скучнее говорит о трудностях ее жизни, чем о природе. И нужно еще спасибо сказать, что она это у Вас делает так просто и достойно.

Но все это — она, поэзия. И это главное.

Слышал однажды на вечере Павла Васильева². Большое дарованье с несомненно большим будущим.

Прочел превосходную книгу Шторма «Труды и дни Михаила Ломоносова».

А у меня ничего не выходит, и остается только завидовать молодым и счастливейшим — Вам в том числе.

Как Ваша работа? Напишите, не считаясь с неслыханным моим... промедленьем. Как здоровье С. Г. и дочери? Обнимаю Вас.

Ваш Б. П.

182. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

3 июня 1933, Москва

Дорогие тетя Ася и Оля! Честное слово, — получив открытку, тотчас же стал отвечать закрытым, но в том-то и беда: закрытое Бог знает куда меня завело и без времени увянув от собственного многословья, осталось без конца и неотосланным. А время идет, и Вы тем временем по праву меня свиньей считаете. Про наших, верно, уже от них самих знаете. Живут и здравствуют, и даже Лида еще службы не потеряла в Мюнхене, что меня в общем страшно удивляет, потому что от одного недавно приехавшего немца и из вполне арийских источников знаю, что там форменный сумасшедший дом, и даже бледно у нас представляемый¹. Гоненью и искорененью подвергается даже не столько ирландство², сколько все, требующее знанья и таланта, чтобы быть понятым из чисто немецкого. Это власть начального училища и средней домхозяйки. Правда, в последнем письме папа много говорит о скоро открывающейся выставке трехсотлетия французского портрета. Но, оче-

видно, сняться и съездить на выставку не так-то легко технически. Я телеграммою звал их сюда, а потом узнал, что и Вы их приглашали. Переписываться, во всяком случае, стало труднее. И так противно было по-немецки пробовать писать, что обратился к французскому языку, хотя знаю его плохо.

Все у нас здоровы. Лето проведем в Москве по финансовым и многим другим причинам. Не сердитесь на дам за их молчанье. Зина вечно в хозяйственных хлопотах и работах. Женя зарабатывает, комсостав Красной Армии рисовала.

Обнимаю Вас крепко. Ваш Боря.

183. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30.VIII.33

30 августа 1933, Москва

Дорогая Оля! По-моему, оба наши письма, твое и мое, приступ сходного психоза. По-видимому, наши никуда не собираются трогаться, ни даже в Париж, не говоря о нас. На днях Ирина (Шура в Крыму) получила от стариков письмо, из которого заключает, что они остаются. А из того факта, что они — на даче, и по характеру снимков, которые Лида посылает своим знакомым с пляжа, никакой трагедии не явствует. Я писал им и на днях телеграфировал. Пропажа большого моего письма к ним установлена. Другое, с теми же сведениями, но в более приватном тоне, получено. Привет, жму руку, целую. Обнимаю тетю.

Б.

184. Т. ТАВИДЗЕ¹

12.X.33

12 октября 1933, Москва

Дорогой Тициан!

Благодарю Вас за отклики, косвенно дошедшие до меня через Паоло и Элевтера². Мне кажется, я понимаю, отчего они идут таким обходным путем, и готов Вас за эту деликатность поблагодарить.

Зина часто говорит о Вас и Вас и Нину Александровну очень любит. Чтения переводов знакомым дали новый повод для этих воспоминаний. Кланялся ли ты от меня, когда посылал переводы, спросила она меня как-то. Если я этого не сделал, то позвольте теперь восполнить этот пробел. Крепко вас целую.

Правда ли нравятся Вам переводы? Позвольте в этом усомниться: всякие переводы заключают некоторое насилие над подлинником, и плохие и хорошие, мои же скорее — первого рода. Вероятно, я опешлю Вас, потому что у всякого художника в ходе его работы складывается своя собственная идея устойчивости слова и моя очень груба: в ней много дилетантского, не похорошему перемешанного с жизнью. По банальности она недалеко ушла от того, что зовут надсоновщиной, апухтиновщиной или есенинщиной, когда берут самое слабое у этих поэтов для обозначения чужих недостатков. Все это я очень хорошо знаю, но этим отличаются не только мои переводы из Вас и Паоло, но и весь мой одномник.

Что же касается неточности, которую я допускаю в этой работе, то вина будет, м. б., несколько ослаблена, если я сборник назову: «Из грузинских поэтов»³, т. е. упор в заглавьи переместится с претензии на полную передачу в сторону указанного источника, откуда эти попытки отправляются. При этом неприятательном заглавии совесть моя перед Вами будет совершенно спокойна. Есть у Анненского перевод гейневского «Ich grolle nicht». Может быть, Гейне переводили и точнее, но, на мой слух, живет только этот перевод и кажется мне точным, п. ч. я люблю его, и, как живой организм, он бывает разным в разное время, как и гейневский подлинник, в чем главное их сходство.

Как бы то ни было, Вы тут страшно понравились и идете в 3-м № альманаха «Год XVI»⁴. Паоловых стихов я еще не давал, сделаю завтра, не дожидаясь некоторых его объяснений по поводу двух-трех мест, которые я не вполне понял. Но вчера и сегодня я никак не мог уловить его по телефону и, возможно, отошлю Жгенти и сдам в здешнюю редакцию его вещи с упомянутыми неопределенностями, к (оторы)е можно будет исправить в гранках. Если Вы увидите Жгенти, передайте ему, что, м. б., мне потребуется корректура.

Не удивляйтесь некоторой моей двойственности, Тициан, между давнишним моим письмом и этим; ника-

кого расхожденья между ними нет. Взрыв признательности, который Вы во мне вызвали, не остался без продолженья. Чудо жизни остается в силе, ни на минуту не прекращается и связывает меня с Вами и Ниной Александровной *всеми* сторонами моего существованья. Напишите же мне на Волхонку, «отталкиваясь» от переводов. Мы с Паоло было уговорились приехать вместе в конце месяца, но меня начинают пугать холода на дороге, и, вероятно, я не поеду.

Положение мое было бы совершенно простым, если бы З. Н. и Е. В. знали друг с другом. Их взаимное игнорирование друг друга это единственное, что продолжает затруднять мне жизнь.

Сейчас мы с Зиной живем очень хорошо, ценой ее трудов, потому что мы нашли, что без работницы в доме тише и полнее. Никаких драм или колебаний у меня нет, и, наверное, последние перегородки, которые еще отделяют меня от некоторых близких мне забот, со временем упадут. Зина так много перенесла в свое время, что я вполне ее настороженность понимаю и оправдываю. И тут, как во всем, чудотворцем окажется время.

Как бы ни изменилась жизнь Е. В., мне никогда не перестанет быть близким все, что с ней делается.

Вы, наверное, и без моих писем это угадали, но отсюда не надо делать ложных выводов. У меня не было бы никаких тайн от Зины, если бы сама она от них не отворачивалась. Также невозможно, впрочем, говорить и с Евг. Вл. о Зине.

Было бы очень мило, Тициан, если бы Вы просто мне написали, ни словом не касаясь поездки Е. В.⁵. Эти вещи можно отделить.

Ваш Б. П.

185. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

18 октября 1933, Москва

18.X.33

Дорогая Олюшка!

Как же это случилось, что ты профессор и у тебя кафедра¹, а я не узнал этого вовремя и тебя не поздравил! С чем только ни поздравляли мы друг друга в жизни, а с этим упустили.

У меня страшно болит голова, я только второй день с постели. Как-то вымылся я в ванне у знакомого в гостинице, а потом, позабыв дома гребенку, подобрал у него в номере старую частую расческу, неизвестно чью, из разряда вещей, оставляемых прежними жильцами в углах выдвижных ящиков и пр., и в кровь изодрал ею кожу на голове. Царапины покрылись корочками, они долго не сходили, я стал этому удивляться, оформить удивление во что-нибудь было некогда, пока это не дало мне жару и не свалило в постель. По вызове специалиста оказалось, что это не сифилис (в XIX-ом веке я бы иначе писал двоюродной сестре), не фурункулез, не экзема, а загрязнение кровеносной и лимфатической сетки, от которого через три дня ничего не осталось, кроме головных болей, обыкновенных, как мигрень.

Ты совершенно права насчет стариков. В двух-трех местах своего письма ты нашла слова для моих собственных ощущений (твое недовольство постановкой вопроса, взвешиванье преимуществ, с точки зрения комфорта, концепция Феди и т. д.)². Я и сам высказал папе свое недоумение по поводу того, что еще тут можно было бы готовить целый год, настолько дело все просто. Что касается потребности его в приглашении, то не относится ли это скорее к моменту выезда, а не въезда, и не в интересах ли вывоза вещей и чего-нибудь другого хочет папа заручиться официальным вызовом? Ведь тамошних законов и ограничений мы не знаем. Впрочем, это только моя догадка, и может быть, я ошибаюсь.

Перед перспективой перевозки вещей (холстов хотя бы) руки бы опустились и у меня, не семидесятилетнего. И в этом отношении также требуется подход более радикальный или, скажем, отчаянный. Согласится ли Федя взять на поддержанье остающееся? Весьма в этом сомневаюсь. Но при официальном приглашении папа мог бы, может быть, найти поддержку в полпредстве. Хотя и это, при увеличивающемся дипломатическом напряжении, подвержено сомненьям. Одно ясно, формула взвешиванья должна быть именно твоя и должна основываться на какой-то максималистской истине, а не на сравнении гарантированных вероятностей.

На днях я, по всей вероятности, уеду по делам в Грузию, а когда вернусь, начну исподволь развращать наших в названном направлении. Хотя по твоему примеру и сам я недавно склонялся к выжиданью, но теперь мне вчуже страшно чего-то и хотелось бы как можно

скорее иметь их при себе, и налегке, в качестве «временных гостей» (для отвода их собственных глаз), т. е. неотягощенными иллюзорною ответственностью перед самими собою: правильно ли или нет разрешен ими этот шаг (точно жизнь математика, — вот опять оно тут, мещанское самомучительство, святошествующее и не святое).

Ах, много бы я мог тебе написать на эту тему пережитого и передуманного, но всякий раз, как в письме ли или работе подходишь к главному и уже готовому, потому что найденному до всего остального, то такая тоска прутковская охватывает (необнимаемости необъятного), что именно главное это и оставляешь в умолчаньи. Не потому, чтобы мысль изреченная была ложью или вообще изреченью не поддавалась. Нет, нет, совсем не потому. Но физическое ощущение бесконечности, коренящейся во всяком общем положеньи, так перевешивает у меня интерес к его содержанию, что я его изложением жертвую из какой-то внутренней зябкости, из страха озноба, который для меня неминуем на этом пустыре.

Оттого-то и захвачено у меня одно второстепенное, и, сколько я ни писал, теза оставалась неназванной. У всех этих вещей отрублены хвосты, каждый из которых, если бы дать им волю, должен был бы разрастись в трактат или, точнее, в нечто бесконечное о бесконечном.

Тут-то и прилегает водораздел между гением и человеком средних способностей. Первый именно не боится этого холода, и только. И тогда, вопреки Пруткову, Паскаль охватывает необъятное и только и делает, что пишет принципиально о принципах, и набрасывает бесконечность бисернее и непринужденнее, чем Бунин какую-нибудь осень.

Дорогая тетя Ася! Я только хотел поблагодарить Вас и Олю за Ваши письма и незаметно с Олею заболтался.

Страшно рад нашему единодушию, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положеньях. Именно это ведь и характеризует наше время. На партийных ли чистках, в качестве ли мерил художественных и житейских оценок, в сознании ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще не названная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны.

Какой-то ночной разговор девяностых годов затянулся и стал жизнью. Очаровательный своим полубезумьем у первоисточника, в клубах табачного дыма, может ли не казаться безумьем этот бред русского революционного дворянства *теперь*, когда дым окаменел, а разговор стал частью географической карты, и такую солидной! Но ничего аристократичнее и свободнее свет не видал, чем эта голая и хамская и пока еще проклинаемая и стонов достойная наша действительность, — Ваша, тетя, правда. Это я по поводу керосина, что Вы папе написали или хотели написать. Крепко Вас и Олю обнимаю, Зина целует и благодарит за память.

Женичка совсем уже большой мальчик. Ему 10 лет. Он живой, рассеянный, впечатлительный и, как все дети нашего времени, полон тех живых знаний, которые почерпываются в каком-то промежутке между бытом беспризорников и усильями педагогов. Разве я не писал Вам о нем.

Но это тема не для приписки. Будьте здоровы. Еще раз обнимаю Вас. Зовите наших, но не к себе, а ко мне или к нам, и по-Олиному, т. е. в духе сурового фатализма и под керосиновым аспектом. Все это правильно и было бы, если бы принялось, им во благо.

Ваш Боря.

Поздно, запечатываю, не перечитывая. Не знаю, что писал.

186. Н. С. ТИХОНОВУ

4 января 1934, Москва

4.I.34. Москва *

Как живешь? * Дорогой мой?

Ты, конечно, сразу введен в курс воспоминаний данными письменами, не правда ли? А что, если я, например, покажу тебе такое: Закгиз **.

Не уходит ли у тебя душа в пятки при мысли о договорах? ¹ А у меня случилось вот что. Когда я приехал, оба мальчика были в кори. Только они оправились, как

* Написано по-грузински.

** Не думай, пожалуйста, что это фи́га с инкрустациями, — это Закгиз. (Примеч. Б. Пастернака.)

старший заболел скарлатиной. Чтобы обеспечить младшему скорейшее посещение детсада и обезопасить от заражения, его отделили от заболевшего, а больного с большим трудом пристроили (я нарочно так выражаюсь и не говорю: поместили) в хорошую больницу. Потом у нас была дезинфекция, как до войны, формалиновая, с выворачиваньем всех потрохов и покиданьем дома, и потом с проветриваньем этого маленького авлабара все 31-е число, весь остаток старого года, при восьмидесятиградусном, если ты привык к небольшим преувеличениям, морозе и вышедших дровах. Оргкомитеты были все в разлете, и нам пришлось все это поднять самим, самыми смертными и демократическими средствами. Неделю мы были отрезаны при общем вое соседей от воды и всего с нею связанного, а когда 1-го сели с Зиной друг против друга выяснить, кто из нас первый не выдержит этих молчаливых перегибков и рассмеется, поучительную эту игру прервали телефонным сообщением, что заболел и Лялик, отделенный младший сын З(инаиды) Н(иколаевны), но сверх ожидания это не скарлатина, а ветряная оспа, и завтра я его с совершенно измучившеюся Зиной перевезу из Трубниковского пер. домой. Я нарочно даю тебе это коротенькое резюме всего проверченного и проработанного, чтобы с его помощью измерить степень того легкомыслия и оптимизма, или энтузиазма, уж не знаю, право, как лучше это назвать, — которые я вывез из Грузии. Потому что, несмотря на все перечисленное, чувствую я себя так, точно мне сейчас в «Ориант»² и, миновав обоих парикмахеров, я в конце коридора открою дверь и, о радость! — Ты будешь ерошить волосы и рвать бумажки, а Гольцев — лежать под пледом с ячменем. Нет, каков заряд-то, а? И вовсе не винный какой-нибудь, а более глубокий и широкий, черт знает, в чем он, опять не знаю, как сказать.

Наслышаны мы, между прочим, что не меньше нашего полюбился Вам Шаншиашвили Сандро. Я давно догадывался, что, если говорить о людях, он гораздо ближе тебе, чем, скажем, Юрин или Колосов, и даже симпатичнее Кирпотина. Надо ли говорить, что я вполне разделяю твою симпатию и, например, даже не сравнил бы его с Никулиным. Но прости мне этот тон (это ощущение «Орианта»; помнишь попытку коньяком (Арсенишвили, Гаприндашвили и пр.)?). Как твоя работа? Не заставят ли нас делать одно и то же? Списываешься ли ты

с Мицишвили? ³ Помнишь ли ты вообще что-нибудь? Да жив ли ты, черт побери, если уж на то пошло, и что с тобой, наконец?!

А я, может стать, подзаимусь грузинским, но не раньше, чем оргкомитеты переведут на положение пожарных команд, с ночными дежурствами и вызовом на дом по первому требованию, а также изобретут сыворотку ото всех детских болезней сразу. Еще в скобках: ориантизм тона возможен благодаря тому, что у Адика болезнь в очень легкой форме и все у Жени тоже благополучно. И ты не поверишь, представь себе, я наравне с сулемою и лизолем переводил все это время Чиковани и Абашидзе, ведрами, изо дня в день. Не хочу и за глаза обижать названных: у Чиковани замечательный есть материал — «Мингрельские вечера» ⁴, не шутя восхитительный, и тот я переведу как-нибудь в другое время, потому что его можно переводить без рецепта. В предвиденьи конца страницы я чувствую совершенную беспомощность перед Марией Константиновной: ты, наверное, чтобы подать себя большим планом (хотя это не в твоём характере), таких гадостей нарасказал про меня, если вообще обмалвливался, что никакими поклонами теперь делу не помочь. Если это не так, то потрудись передать ей самый сердечный на свете привет, и знай: от меня он, собака. Зины нет здесь, она с младшим и лишь завтра переедет. Урывками читала она (оцени условия) «Кл<ятву> в тумане» ⁵ и восхищалась.

Хотя переводы Ч<иковани> и А<башидзе> чудовищные, но тем не менее, однако, я дал их Колосову ⁶, в «Молодую гвардию». Лучше будут, — звездану ⁷.

187. С. Д. СПАСКОМУ

23 апреля 1934, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич, с новосельем! После Вашего отъезда вскоре у меня случилось что-то нехорошее с сердцем, мне запретили чай, куренье, работу (временно) и, словом, все то, к чему привык и мой организм, коль скоро я, жилец, всю жизнь этим в нем занимался. И вот он за эту крутую измену режиму наказал меня какой-то неопикуемой накужной дрянью, с губы перешедшей на край ноздри и на глаз. Неделю назад врач сказал, что это... колонии стрептококков, но я не знаю,

не трудкоммуны ли ГПУ. Это будет завтра, п. ч. я вновь вызвал его посмотреть эту геогр. карту. Однако я не жалобить Вас собирався, это рассказывая. Но в «сердечное» свое лежанье (в конце марта) я прочел «Первый день»¹, и, знаете, ведь очень хороша проза! Страшно много уже и того, что опасенья, высказанные тогда Вам у окна (неблагодарность описанья строит. лагеря, неживописность бараков и пр.), оказались не к месту: живая, интересная, живо развивающаяся вещь! А главное, те прелести (не словарные, а синтаксические) языка, которые вызывает к жизни техническая *точность* описанья, когда вместе с людьми и вещами, помещаемыми в поле зрения не как-нибудь, а всегда в каком-нибудь *своем* положении, *ворочается и язык*, все время слышимый не как-нибудь, а в объективирующих оборотах. Ну, да Вы сами знаете, о чем речь. Мысленно я тогда поздравил Вас с большим волненьем. Привет С. Г., Гольцев написал Вам.

188. С. Д. СПАССКОМУ

27 сентября 1934, Одоев

27.IX.34

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Мне хочется успеть ответить Вам отсюда, из Одоевского дома отдыха¹. Здесь чудесно. Послезавтра мы уезжаем в Москву.

Ваше письмо получил я в день обратного выезда сюда со съезда, мне его передали, т. к. с Метростроем дело обстоит еще похлеще, чем весной, и я останавливался у брата. Я не досидел до конца съезда и уехал после речи Стецкого², до заключительного слова Горького.

Первые дни по приезде сюда я мечтал Вам ответить с пространностью, которая и мне была бы на пользу, потому что упорядочила бы мои впечатления от съезда, но потом засел за работу, которая всегда идет хуже моих расчетов, и так вот прошел месяц.

Теперь вижу, что лучше на все эти темы поговорить при встрече (ведь Вы, наверное, в начале зимы в Москву соберетесь?), и не уверен, не больше ли потребность в таком разговоре у меня, чем у Вас.

Дело в том, что хотя Вас насчет телефона и не обманули ³ (был он весною, а не перед съездом) и отношение ко мне на съезде было совершенной неожиданностью ⁴, но все это гораздо сложнее, чем может Вам представиться, а главное: по *косвенности* поводов, связывающих эти вещи со мной, — серее и несправдливее.

Я уже допустил и неправильность, начав, под влиянием Вашего письма с себя. Ведь ту же нескладицу, в гораздо большем значении, для всех нас и для меня, представлял самый съезд, явление во всех отношениях незаурядное. Ведь более всего именно он поразил меня и мог бы поразить Вас непосредственностью, с какой бросал из жара в холод и сменял какую-нибудь радостную неожиданность давно знакомым и все уничтожающим заключением.

Это был тот, уже привычный нам музыкальный строй, в котором к трем правильным знакам приписывают два фальшивых, но на этот и в этом ключе была исполнена целая симфония, и это было, конечно, ново.

Об этом и будет у нас с Вами разговор, я кое-что расскажу Вам, пока же поторопитесь расстаться с неправильными наблюдениями насчет себя и ложными из них выводами. Конструкция съезда была наполовину, чтобы не сказать целиком, случайна, и ход этой лотереи не должен Вас огорчать. Вы знаете сами, как Вы в этом отношении не одиноки.

Это очень хорошо, что Вы погрузились в глубину, ничего не оставив для поверхности, и хорошо не только под знаком вечности, но и в самом насущном смысле. И прежде всего: ничего не изменилось. В частности, не случилось никаких перемен со мной. По-прежнему нам нет новой квартиры, и первую освободившуюся в Нащокинском, которую все лето обещали мне, захватил Жаров. Уезжая со съезда, я занимал деньги направо и налево, малыми дозами. Но это не для сравнения: если у Вас неудача с издательствами, надо будет найти способы этому помочь, и мы найдем их. Об этом напишите мне в Москву до личного свиданья, если это спешно.

Вы пишете, что были заняты собой и отстали от литературной общественности. Так как и я рад бы пристать, да никакой не знаю, то без огорчения прочел про Ваше отставанье. Зато глухая обмолвка Ваша о каких-то личных трудностях почти напугала меня, и простите за вмешательство и за то, что тут, наверное, я попаду

пальцем в небо: если это что-нибудь семейное, объявите эти трудности призраками, каковые они на самом деле и есть. И еще раз простите. Вы сами не мальчик, жили и лучше моего все это знаете. Но ведь все это потом так забывается, что каждый, у кого свежа память, вправе, пусть и ценой немыслимешего конфуза, особенно в случае ошибки, напоминать об аде, который готовит себе и всем участвующим каждый, пытаюсь эти трудности... разрешить.

Разорвите, пожалуйста, эту страничку и о ней забудьте. Ничего не пишу о себе, обо всем этом при устной беседе.

Задумшевнейший привет Софье Гитмановне и поцелуи дочке. Зинаида Николаевна просит присоединить и ее поклоны.

Пишите, пожалуйста.

Ваш *Б. Пастернак.*

г. Одоев, Московской обл.,
бывш. Тульской губ.

189. С. Д. СПАССКОМУ

4 октября 1934, Москва

4.Х.34

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Жалею, что написал Вам из Одоева, в некоторой оторванности от общих дел и в совершенной о них неизвестности. А то б я, конечно, писал только о Ваших переводах. Вчера видел у Гольцева Вашего Чиковани («Под дождем»). Что за восхищенье! Какой Вы молодец, и до чего мне радостно! Вот это поэзия, вот это мастерство, это вот я понимаю!! Мне тем легче судить об этой прелести и Вас с нею поздравить, что я хорошо помню подстрочник. Это настоящая близость к тексту, та пережитая и точная близость, тот тип близости, то ее понимание, которое, не сговариваясь, мы в количестве 3-х — 4-х человек (Вы, я, Тихонов, отчасти Антокольский) невольно и естественно установили. А сколько горячеей, драматической, взаимнороднящей правды в том, что четыре поэта, не уславливаясь, под действием *одного и того же закона*, формировавшего их жизнь этих лет,

так хватаются за эту возможность и так пишут русские стихи, получая от Грузии побуждение и оправдание! И опять — близость!

Ваш Б. П.

190. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 октября 1934, Москва

Дорогие мои! Как Ваше здоровье, тетя Ася? Как ты, Олюшка? Дикая жизнь, ни минуты свободной. Давно вам собираюсь написать, и еще больше хотел бы о Вас узнать. Не сердитесь на меня, честное слово, не вру. Еще больше хотел бы обо всем забыть и удрать куда-нибудь на год, на два. Страшно работать хочется. Написать бы наконец впервые что-нибудь стоящее, человеческое, прозой, серо, скучно и скромно, что-нибудь большое, питательное. И нельзя. Телефонный разврат какой-то, всюду требуют, точно я соержанка общественная. Я борюсь с этим, ото всего отказываюсь. На отказы время и силы все уходят. Как стыдно и печально. Я прошлый год грузин множество напереводил, зимой выйдут. А сейчас один вышел в Тифлисе отдельной книжечкой¹. Не знаю, какой в моем переводе. В оригинале был до слез настоящий и трогательный. Хотите, пошлю? Женя в Ленинград собирается на неделю, просила о Вас разузнать. Олечка, черкни открытку. Крепко Вас целую. Напишите о себе.

Ваш Б.

191. Т. и Н. А. ТАБИДЗЕ

8 декабря 1934, Москва

Дорогие мои Нина Александровна и Тициан!

Когда я получил тот вечерний стол в конверте, я стал Вам писать письмо за письмом. Ах, вы оба такие родные! Но ведь мы столько еще увидим в жизни общего и столько раз еще и так сильно будем жить друг другом, не правда ли? Так что зачем нам писать друг другу письма.

Мне бы только освободиться сейчас от своей кабалы, от прозы. Долго рассказывать, зачем я ее пишу.

Когда я называю Вас близкими, родными, равными, душевно-понятными, — это не пустые слова и не праздные. Приедете, у Клавдии Николаевны¹ спросите.

В неотосланных письмах я Вам о себе писал. Что у меня в душе нечто подобное бутылке с крепким клеем, где в один кусок склеивается лучшее из того, что я переживал. Я Вам стал перечислять, с чем Вы у меня связаны: с Ролланом, с моей старшей сестрой, с нынешней революционной Германией, явившейся вдруг естественным продолженьем Рильке и т. д. И вдруг вспомнил, что Вам ли, Нина, не знать этого строя, когда рядом с Вами живая такая бутылка — Тициан. А Тициан, как там ни верти, оказывается сильнейшим лириком из всех. Я это и раньше знал. Но он слишком близок мне. Как и о себе самом, я не смел этого знать даже про себя. Иногда я им жертвовал совершенно, как собою, можете Вы это понять? Однако слышали ли Вы, что в зале сделалось, когда я перешел к нему! К Вашим собачкам², Нина, Тициан будет сердцем московской книги, он ее спасает³.

Но довольно, довольно. А то и это письмо не отойдет.

Когда я увидел Змееда в виде книги, у меня сердце сжалось от невозможности сказать, кому я ею обязан. Это я должен был бы сказать Е〈вфимии〉 А〈лександровне〉⁴.

Первый месяц по возвращении я помнил все места и мгновенья в Тифлисе, и они за меня работали. А она была их летящим лицом.

Ей не надо этого говорить, она и без нас с Вами это знает. Только знает, как только все всегда и Зина, ничего никогда не понимая.

Понимать совсем другой мир, совсем иной стиль и род жизни, это не места и не мгновенья, не Тифлис даже, даже, может быть, не земля, это близкая, случаем подаренная допущенность к делам истории, это участие в ее будущем, это широкий роман с теряющимися границами нескольких особо счастливых, под небом, покрывшим их смыслом одной общей даты. Это клей, о котором была речь выше, это Вы и я, это наши соединенные руки.

Посылаю Вам свою летнюю карточку. Ее снимал простой одоевский учитель, я его не стеснялся, оттого и вышел.

Обнимаю Вас, Тициан.

Ваш Б.

22 февраля 1935, Москва

Оля дорогая, какая Вы умница, что догадались написать мне. Горячо благодарю Вас. Я сразу Вас увидел и Ваши большие глаза, точно вчера мы расстались. И услышал Ваш голос, — при сходстве с Володей Олег², наверное, как Вы, говорит, это уже и тогда было.

И хотя в немногих, ничем не неожиданных словах, — как напомнили Вы мне Володю, как разительно перенесли в дни, неотделимые от его присутствия! Рискуя вызвать у Вас слезы моими случайными, необъективными словами, — не могу сдержаться. Последние дни, когда я получил Ваше письмо и вот Вам отвечаю, — совершенно для меня — Володины, вероятно, я в такое время всего чаще встречал его. Это время впервые замечаемой городской весны, когда дня прибавляется настолько, что это вдруг обнаруживаешь, и с зимней отвычки начинает поражать пустое светлое небо после обеда, когда столько месяцев подряд зажигали лампы. Весь день не закрываешь форточки, сошедший снег не заглушает шума, ощущение такое, будто с домов сняли крыши и их место на всех углах заняло целодневное замешкавшееся небо. На таких улицах, вдоль черных бульваров естественно бывало встретить Володю, под тележно-трамвайный грохот, оставлявший от его разговора лишь легкий облик совершенной чистоты, передававшейся глазами, улыбкой и всею фигурой.

Я ничего не сказал, Олечка, я только хотел сказать, что это — Володина погода. Нехорошо гоняться в письмах за ощущениями большой драгоценности и последней неуловимости. Вместе с такими попытками в них врывается что-то от литературы, и притом дурной. А литература в письмах не удается. Тут и приходится вычеркивать. Письма надо писать в градусах средней умеренности. Я не раз еще это правило нарушу.

Доказательства явились раньше, чем я думал. Смотрите, чего ни намарал я, пустившись было описывать «свою жизнь». Так когда-то писали, бывало, знакомые барышни.

Самым для меня существенным за время, что мы с Вами не видались, было мое знакомство, а теперь и дружба моя с двумя замечательными грузинскими поэтами, Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Я их

очень люблю. Хотя я с ними много чего прожил, но мне от их приезда к приезду все больше кажется, что они кусок какого-то моего, совместного с ними будущего, пока нам неизвестного, что, несмотря на тесноту и нынешней нашей связи, существо ее впереди.

Мне надо было бы еще прожить лет 8—9, до Женичкина совершеннолетия: вот отчего, хотя я робко, и поплеывая, чтобы не сглазить, я пробую заглядывать вперед.

Мне хочется написать роман, настоящий, с сюжетом, и чтобы это было в наши дни. Я его начал, и, Олечка, как трудно писать хорошо и просто! Не поймите так, будто я думаю, что это у меня когда-нибудь выйдет! О нет. Но и *забота* о содержательности утомляет до полоумья.

Сколько всего кругом и позади, как все перемешалось. Я пишу Вам и должен напоминать себе, что между нами ничего не было, потому что временами ловлю себя на том, что пишу Вам, как писал бы с того света Жене, Зине или еще кому-нибудь и *себе самому там, позади, в жизни*. О, ведь в этом-то и дело, Оля, не в женском, не в романическом (где его границы?), а в том, что каждый из нас был по-своему всеми остальными, что все прожито всеми вместе, каждым зараз. Когда, как кажется, я напоминаю К. Н. Бугаевой Андрея Белого, дело не в ней и в нем и не во мне, — это частность. А в том, что это с нами со всеми, что такова огромная односемейная жизнь человечества, что я всегда это знал и для того жил. И Вы правы насчет Олега. То же и в маленьком Жене. Растет замечательный друг мне, если я успею, если доживу.

Способны ли Вы это понять без мистики, со страстью факта, скажем просто: живо, по-советски? Потому что на этом я хочу построить свою советскую современную вещь. Всю на фабуле, без философии.

Я остался таким же, как был. Весь я, как есть, в утверждениях предыдущей страницы. Только это — я, и жаль, что это нельзя вписать в паспорт, вместо возраста, еврея и прочего — вещей фантастических, спорных, горько-непонятных.

Я ни капельки не изменился, но положение мое морально переменилось к худшему. Где-то до съезда или на съезде³ была попытка, взамен того точного, чем я был и остался, сделать из меня фигуру, арифметически ограниченную в ее выдуманной и бездарной громадности, километрической и пудовой. Уже и тогда я попал в поло-

женье, нестерпимо для меня ложное. Оно стало теперь еще глупее. Кандидатура проваливается: фигура не собирается, не хочет и не может быть фигурой. Скоро все обернется к лучшему. Меня со скандалом разоблачат и проработают. Я опять вернусь к равенству с собою, в свою геометрическую реальность. Только бы дожить до Жениной зрелости, дописать бы только вещь.

Целую Вас и Олега. Спасибо, что написали. Будете в Москве, обязательно заходите. И хорошо бы застали Табидзе и Яшвили. Я Вас с ними познакомлю.

С Женей большой говорили о Вас накануне получения Вашего письма. Я у ней часто бываю. Вот ее адрес: Тверской бульвар, д. 25, кв. 7.

Мандельштамам кланяйтесь⁴. Они замечательные люди. Он художник неизмеримо больший, чем я. Но, как и Хлебников, того недостижимо отвлеченного совершенства, к которому я никогда не стремился.

Я никогда не был ребенком,— и в детстве, кажется мне. А они...

- Впрочем, верно, я несправедлив.

Черкните мне, Оля.

Ваш Б. П.

193. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

3 апреля 1935, Москва

Дорогая Олюша, извести, как вы и что у вас слышно. Т. к. меня не миновали беды некоторых ленинградских несчастливцев, то мне особенно хотелось бы знать, здоровы ли вы и все ли у вас в порядке¹.

Оля, вот я не пишу тебе, ты — мне, и так жизнь пройдет. И притом довольно скоро. Но мне ее не переделать. Я и не пытаюсь, потому что та, что налицо, еще лучшая и наимыслимейшая, при всем том, из чего она у меня неизбежно составлена. Если бы знала ты, на что у меня день уходит! А как же иначе, если уж мне такое счастье, что среди поедаемых ко мне почему-то относятся по-человечески.

А так хочется работать. И здоровьем бы не грех позаняться, когда бы больше времени. Впрочем, ничего серьезного, ты не думай, всякие переходящие пустяки. Но я не падаю духом. Сейчас я временно на очень строгом режиме, потому что урывками все же пишу, и большую вещь. Мне ее очень хочется написать. А как слажу с ней

(через год-полтора), надо будет все же существовать хоть недолго по-другому. Невозможно все время жить по часам, и наполовину по чужим. А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается. Много поражает дикостью, а нет-нет и удивишься. Все-таки при расейских ресурсах, в первооснове оставшихся без перемен, никогда не смотрели так далеко, и достойно, и из таких живых, некосных оснований. Временами, и притом труднейшими, очень все глядит тонко и умно. У нас все благополучны. Крепко целую тебя и маму. Итак, успокой, хотя бы короткой открыткой, даже именно предпочтительно открыткой, чтобы долго не собираться. Твой *Боря*.

И не надо ли тебе чего, Оля?

194. С. Д. СПАССКОМУ

14 апреля 1935, Москва

Дорогой Сергей Дмитриевич!

Вы должны меня считать свиньей и с своей стороны будете правы, но ленинградские обстоятельства, а с недавнего времени и московские, несмотря на легко предугадываемую безуспешность моего участия, меня все же коснулись. Кроме того, мне все труднее становится отказаться от работы над романом, который начинает жить и все более меня занимает, ни капельки тем не менее не приближаясь к концу.

Ваш восхитительный Важа Пшавела¹ превзошел ожидания. Вы вызвали мою искреннюю зависть. Неужели ни Гольцев, ни Тициан² Вам об этом не писали?

Что Вы сейчас делаете и выздоровели ли? Пожалуйста, не думайте, чтобы между нами (с моей стороны) что-нибудь могло измениться. Я только молчаливей и вынужденно-сдержанней прежнего, потому что в этом году на меня валится больше обычного и с совсем особенной бестолковостью: я меньше, чем хотел бы, принадлежу себе.

Еще раз горячо Вас поздравляю с переводом. Вы от многих о нем услышите, предвижу большую от него для Вас пользу. Пишу второпях, и, кажется, у меня начинает заплетаться язык, — не сердитесь.

Крепко обнимаю Вас. Поцелуйте девочку и привет Софье Гитмановне.

Ваш *Б. П.*

8 апреля 1936, Москва

8.IV.36

Дорогие друзья мои Тициан и Нина!

Неделю с чем-то проносил я в кармане у себя нежнейшую к Вам обоим телеграмму. Но я стыжусь сдавать на телеграф, где дежурным не до сердечных излияний, телеграммы в таком стиле. И я все собирался заменить ее более дельной и сухой. И наконец, за прошествием большого времени, отказался и от этой мысли.

Почему Вы задерживаетесь и все не едете, Тициан? Я хотел Вам протелеграфировать не о любви своей и верности, это Вам известно и давно надоело. Я хотел Вам сказать, чтобы Вы не унывали, верили в себя и держались, невзирая на временные недоразуменья. Как меня порадовал телефонный звонок Ваш! И даже Нина подошла к аппарату, — спасибо! Но разговаривать было трудно. Вы меня не слышали, а я Вас — отлично.

В передрыгах недавнего прошлого было много *обманчивого*, неопределенного. Я сразу это почувствовал.

Меня никто не собирался трогать, я имел глупость заступиться за других, за Пильняка, за Леонова. И позволил себе просто по-домашнему сказать, что газетные статьи мне не нравятся и я их не понимаю¹. Что тут было! Вместо того, чтобы напечатать в газете, что я совершил политическую непозволительность (что было бы для меня тяжелее), мою вину смягчили, и в виде наказания зачислили меня на одну пятидневку в формалисты. Но и то не долее: это успеха не имело.

Ах какая все это чепуха! Это был неприятный сон, приснившийся нескольким деятелям современной детской, и при всем старании я не мог переместиться в плоскость их кроваток.

Если есть *доля* правды во всем печатавшемся и говорившемся, то она лишь в том, что совпадает с крупнейшим планом времени, с его исторической бесконечностью. Как же может бесконечность быть *долей*, да еще такого ничтожного целого, как та манная критическая кашка, которую так трогательно расхлебывали целый месяц? Вот ответ: эта правда давалась в безотрадно слабом растворе; страшную грозовую истину разводили слюной и молоком.

Не верьте растворам, Тициан! Верьте именно в этой линии, именно из революционного патриотизма верьте, уж лучше себе, Тициану Табидзе, потому что, как бы то ни было, химия Вашего склада растворяет все на свете, как бы это ни называлось, на более высоких градусах, чем это принято в «Литературках» и «Вечерках». И если бы Вы этого даже не хотели, революция растворена нами более крепко и разительно, чем Вы можете нацедить ее из дискуссионного крана. Не обращайтесь к общественной благотворительности, друг мой, надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным буровом без страха и пощады, но в себе, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать. Это ясно, если бы мы даже и не знали искавших по-другому. А разве их мало? И плоды их трудов налицо.

Можете быть спокойны. Не я один в Вас верю и знаю Вам цену. Не верьте растворам. Верьте революции в целом, судьбе, новым склонностям сердца, зрелищу жизни, а не конструкции Союза писателей, Вы и чихнуть не успеете, как его вдруг преобразуют,— Веку, а не неделе формалиста.

Весь этот месяц чувствовал себя превосходно. Только раз прихворнул гриппом, дня на три. Страшно рад был Паоло. Но он ужасный ребенок, и с ним очень трудно. В тот миг, как он несет совершеннейшую ересь и его надо оспаривать, он вдруг становится две капли воды Медея² (страшное сходство!), и руки опускаются от умиления.

Приезжайте скорее. Редко бывал так спокоен, как сейчас, и ни капли не изменился. Только в тех ерундовых стишках, которые были написаны до Минска³ и на днях появятся в «Знамени», снял посвящение Леонидзе с последнего по счету, из опасенья, как бы у него не было неприятностей, ввиду некоторой независимости содержания.

Но какой-то период и в общей лит. жизни, и лично у меня закончился. Он у меня кончился еще раньше: я не справлялся с прозой, душевно заболел, переводил. Знаю ли я, что надо дальше? Знаю. Только никому не скажу, может быть, лишь Вам, и то под страшной тайной. Но совсем по другой линии, нежели ерунда в «Знамени»⁴. Там один лишь холостой взрыв, пустая голословность, выход недоуменью.

Но буду работать, так, скажем, с осени, если буду жив и здоров.

Всем поклон. Ниту и Нину крепко поцелуйте. Обнимаю Вас от всей души. Простите за дурацкий тон письма. Причина: дико ноет зуб, а на душе весело и тянет к глупостям. И приезжайте!

Ваш Б.

196. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1 октября 1936, Переделкино

Дорогая моя Оля.

Я зимую на даче с затрудненной почтой, без газет, — но об этом после. Вчера я был в городе и Женя мне показала статью в «Известиях»¹, — она плакала.

Во всем этом мне страшно *только* то, что ты еще не закалена, и с тобой это впервые. Наверное, это уже подхвачено ленинградской печатью, а если еще нет, то ты должна быть к этому готова. Это будет множиться с той же подлой механичностью, без мысли, сплошь в прозрачных, каждому ясных передержках, с неслыханною аргументацией (всем известно, как Маркс относился к Гомеру, — как будто ты пишешь о Марксе и, приводя противное, искажаешь факты — как будто твои аналитические вскрытия есть осужденья, как будто тебе Гомер дальше, чем этой репортерской пешке, своими руками затягивающей петлю на своей собственной шее, точно этому газетчику дышится слишком вольно и надо постараться, чтобы дышать стало еще труднее...).

Я не могу сейчас, на этих ближайших днях приехать к Вам, как мне бы хотелось и было бы, может быть, нужно. Не могла бы ты приехать ко мне? Здесь у тебя была бы отдельная комната, и ты попала бы в поселок, состоящий сплошь из таких же жертв, как ты².

Зимой была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось со статей о Шостаковиче³, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и др.

Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и, послушав, как совершеннейшие ничтожества

говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивленьем людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали, как фронду.

Я не знаю, как тебе быть, издали этого не сказать, надо знать, как далеко зашла у тебя эта беда в объективных фактах, надо увидаться. Я знаю случаи, когда люди, получив *такой* щелчок, пытались объяснить по существу, писали письма в ЦК и, добившись того, что там ознакамливались с поводом разноса (книгой, пьесой или картиной), только усугубляли свое положение и уже непоправимо, вторичным, усиленным на них наскоком, в подтверждение первого. Так было с поэтом Светловым и его пьесой ⁴. Во всех этих случаях, как и со мной, урон был только моральный, и значит, при нравах нашей прессы, лишь видимый и призрачный, с эффектом обратного действия для всякого необделенного нравственным чутьем и силой.

Я не знаю, как это по твоей неопытности разыгрывается с тобой, я не знаю твоих друзей и знакомых, твоих корней в среде, я говорю только о вещах для внутреннего душевного употребления, — самом в таком случае важном, если бы даже возможность самозащиты была нужна или доступна нам. Мне страшно себе представить, как ты все это переносишь и как это отражается на здоровье тети. Об этом, пока об этом, я прошу тебя немедленно протелеграфировать мне по адресу: Москва, Белорусско-Балтийская дорога, Баковка, городок писателей, 48, Пастернаку.

Женя сказала, что я должен был бы вступить за тебя в печати, т. е. написать контрстатью о книге. Если я это сделаю, я знаю наперед, что случится. Если бы даже это напечатали, меня в ответ высмеяли бы довольно мягко и милостиво, а тебе бы влетело еще больше, и, как это ни странно, еще и за меня.

У меня и на этот счет есть опыт, так всегда бывало, когда я за кого-нибудь вступался, хоть и устно, но публично.

Но зато, если бы потребовалось, негласными путями, т. е. личными встречами и уговорами, апелляциями людям с весом и т. д., я готов тебе служить, как могу, рвусь в бой и хотел бы только знать, что именно надо. И вслед за телеграммой, очень прошу тебя, поторопись подробно написать мне и пошли письмо спешной почтой по тому же адресу.

Теперь главное. Ты, наверное, давно ждала (и удивлялась и обижалась, может быть, его непоступлению) моего отклика и мненья о книге, и права была, не находя безобразию этому имени. И я сумел бы соврать или обойти вопрос молчаньем, если бы не знал, что, будь ты тут, ты меня бы оправдала; — но факт тот, что я еще ее толком не прочел. Я пробежал — это было весной — при первом получении всю книгу поверхностно, через пятое в десятое, но и этого было достаточно, чтобы подивиться как раз тому, что этот мерзавец намеренно проглядывает и нагло искажает: глубине и цельности общей мысли, методологическому ее членению из главы в главу через всю книгу. Кроме того, я прочел страницы о лирике, восходящие к тогдашнему разговору твоему на кухне, когда ты мне эти мысли поясняла снимками с позднейшей греческой скульптуры. «Укрощенье» я знал в отписке⁵.

Я так уже тогда боялся, что не скоро улучу минуту для этого верха наслажденья (книга на интереснейшую тему, в новом, весь генезис ее преобразующем разрезе, увлекательно написанная, да притом еще тобою!), что написал тебе телеграмму с ничего не значащим выраженьем голый радости (неужели я и ее даже не отправил!). Тогда Женя болела, и я должен был ее устроить на юг в санаторий, а затем и их обеих с Елизаветой Михайловной⁶ на все лето в дом отдыха. Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь не даром, надо было решить, брать ли ее, ездить следить за ее достройкой, изворачиваться, доставать деньги. В те же месяцы денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире⁷, подходило к концу возведение дома, начиналось распределение квартир. Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета и настолько (раза в три) превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался ото всего или, по край-

ней мере, от половины и сберег бы время, силы и душевный покой, не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещанья ничего не выходит и не выйдут. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей. Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне, т. е. хочу этого для себя, как радости, но совсем не знаю, лучшее ли бы это было из того, что они могли бы сделать, для них самих. Это остается в неопределенности, а я уже живу под эту неопределенность и трачусь и разбрасываюсь, может быть, впустую. Однако эта неопределенность с родителями лишь часть общей неизвестности, в которой я нахожусь, — жить так, как мне приходится жить сейчас, весь век было бы неисполнимым безумьем, если бы даже это мне улыбалось, — и опять-таки их проблематический приезд осложняет дело, временно фиксируя меня в том положении, в каком застаёт, и отсрочивая некоторые неотложности на неопределенное время. Но об этом я даже и не вправе распространяться.

Короче говоря, я все задерживал переезд на дачу, пока Зина не собралась сама и в одно прекрасное утро не перевезла всей мебели и хозяйства. Я тоже бросился туда, как был, без книг и вещей, необходимых мне в работе. О последней я, после кризиса⁸, составлявшего существо моей прошлогодней болезни (он, между прочим, заключался и в судьбе работ, подобных твоей), — редко мечтаю. Я пишу невероятно мало, и такое, прости меня, невозможное говно, что, не будь других поводов, можно было бы сойти с ума от одного этого⁹. Но так вообще все это не останется, я вырвусь, даю тебе слово, ты меня, если тебе это интересно, опять увидишь другим. Как раз сейчас, дня два-три, как я урывками взялся за сюжетную совокупность, с 32 года преграждающую мне всякий путь вперед, пока я ее не осилю, — но не только недостаток сил ее тормозит, а оглядка на объективные условия, представляющая весь этот замысел непозволительным по наивности притязаньем. И все же у меня выбора нет, я буду писать эту повесть. Да, но это к делу не относится, я заболтался, что же это я хотел сказать?

Да, так вот только вчера я поехал за нужными книгами, и также за твоею, которая все лето оставалась в неприступной квартире, опустошаемой и загроможденной ремонтом. Способна и согласишься ли ты это постигнуть?

Все дальнейшее, что я стал бы говорить тебе и рассказывать, я бы притянул к делу только для того, чтобы ускорить твой ответ. Поэтому прошу тебя прямо: как бы тебе ни было трудно, как бы ни было мало мое право просить тебя об этом и на это рассчитывать, умоляю тебя, найди минуту и немедленно телеграфируй мне, что с вами обоими; затем пересиль себя и напиши мне подробнее. Наконец, если это в твоих возможностях (не переехал ли бы на это время Саша ¹⁰ к тете?), приезжай ко мне. У тебя будет тут, если захочешь, отдельная комната, а рядом, под боком, все товарищи по несчастью: Пильняк, Федин и другие, обтерпевшиеся как раз в той травле, которая тебе еще в новинку. И, наконец, последнее, на то короткое время, которое меня отделяет от твоей телеграммы, письма и приезда: мне ли, невежде, напоминать тебе, историку, об извечной судьбе всякой истины? Напиши ты компиляцию о прочитанном, ни мизинцем не отмеченную ничем собственным и новым, и исход был бы, конечно, совсем другой. А тут ты выходишь с совершенно своею точкой зренья, с *произведением*, что-то прибавляющим к привычному инвентарю, с делом до осязательности новым, и гуси, конечно, в бешенстве. Есть еще одно обстоятельство, невообразимое, так оно на первый взгляд противоречит смыслу. Существуют несчастные, совершенно забытые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, т. е. убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека, полагающего величие революции в том, что и при ней, и при ней в особенности, можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. Это верное наблюденье, но я второпях его скомкал, это надо было бы выразить в двух словах, и тогда бы тебе этот нонсенс был ясен.

Обнимаю тебя и не буду знать покоя, пока не протелеграфируешь и не ответишь. Тетя, целую Вас.

Б.

7 октября 1936, Москва

Дорогая Оля!

Я совершенно потрясен самопожертвованьем Франк-Каменецкого¹, свет не видал ничего подобного. Зато как разочарует он тебя на мой счет отчетом о своей поездке!

Я не знал, чем компенсировать бескорыстие и благородство его вмешательства. К сожаленью, у нас были в этот день гости с ночевкой, и я не мог предложить ему остаться у меня. Но он ведь сам все тебе расскажет, свободно и без инспирации, не как передатчик, но как судья и наблюдатель.

Я ему обязан бесконечно многим: никакое письмо от тебя не могло бы, конечно, дать мне столько сведений, в конце концов успокоительных, как его рассказ о тебе и тете в ходе моих четырехчасовых расспросов.

Когда я звал к себе тебя, я имел в виду не только улаженье этой неприятности, но, вообще, хотел поговорить с тобой и тебя видеть. Мне хотелось, чтобы ты пожила у меня или у Жени, и тут, разумеется, менее всего Ф(ранк-Каменецкий) мог тебя заменить.

Единственной помощью, которую я мог предложить ему (устройством ему приема, где это бы понадобилось и обеспечением нужного разговора), он не захотел воспользоваться, находя это неудобным для тебя и нецелесообразным. Он передаст тебе, какую малостью, очень спорной и ничего не стоящей, я попытался послужить тебе по его совету².

Не унывай, Оля. Мне верится, что хотя большинство таких историй, в виде правила, никогда не улаживается, так что постепенно их перестали считать «историями», твоя, с какою-то долей приемлемого для тебя компромисса, уладится. Назначенье комиссии подает мне эти надежды.

Нет смысла писать тебе сейчас: ты раньше письма и гораздо больше узнаешь от И. Г. Поблагодари его от моего имени еще раз.

Тетя, напишите папе и маме. Как поймут они меня, если я, сын, стану их отговаривать. Ни разу я в этом отношении им ничего не рекомендовал. Вот границы, в которых, не расходясь с правдою, я звал их и продолжаю звать в последнее время: я пишу им, что их приезд

был бы счастьем для меня, и что я всегда готов разделить с ними ту жизнь, в какой они меня застанут, и большей радости для себя не знаю. В глубине души я не верю в их приезд.

Ваш Б.

198. Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАК

24 ноября 1936, Переделкино

Дорогие мои! Около полутора месяцев у меня лежит папино письмо из Лондона (от 14-го X)¹, рядом с ним два неоконченных ответа. Главное, что требовало в нем ответа и что я мог сообщить и тогда уже, касается новой квартиры. Деньги я за нее внес, и она вам обеспечена.

Однако этот факт, как он ни приятен, лишен для вас какой бы то ни было обязательности. Он ни в какой мере не должен влиять на ваши решения. Эти разговоры тянутся так долго, что за это время у вас могло измениться настроенье. Не считайте себя связанными ни мною, ни кем бы то ни было еще. Что из меняющегося и изменившегося за эти месяца остается неизменным? Что для меня высшей радостью был бы ваш приезд ко мне. Но ни это желанье мое быть с вами, ни имеющаяся про запас квартира, ничто, ничто такое не должно направлять твоих (папа) планов. Ты можешь всем этим воспользоваться, если твое решение готово, решать же ты должен из тех соображений, что ты ничем никому не обязывался и слишком много, честно и превосходно поработал на своем веку на светлом и почетном поприще, чтобы иметь право на вполне человеческий и ничем не омраченный покой, там, где ты его найдешь, и такой, какого ты пожелаешь. Если это будет у меня, я все для этого сделал, если у Оли в Ленинграде, можно будет устроиться и тут, и так далее, вплоть до Лиды и Жюни.

В конце концов, ты Пепе² не продавался и рабом его трескучих фраз не стал. Квартира не должна быть ни поводом для твоей связанности, ни обратно, — твоей отговоркой. Если он надоел тебе, можно без всяких отговорок послать его ко всем чертям.

Ответом на письмо я запаздываю не впервые. Этому безобразью нет имени и извиненья. В отличие от прош-

лых лет у этого сейчас свои причины, хотя, конечно, и они не могут служить оправданием.

Дело в том, что я все еще на даче, где, верно, и вообще зазимую. В городе я бываю очень редко, не чаще двух раз в месяц, и почта там залеживается в эти сроки. Кроме того, перед отправкой этого письма я все собираюсь повидаться с Пепой, а его можно застать только вечерами, и в эту поездку (числа 26-го—27) я обязательно это свиданье устрою. Так что и письмо это я допишу в городе. Может быть, на Волхонке меня в куче накопившихся писем ждут вести и от вас, и тоже потребуют ответа.

Последнее, особенно в связи с Лидой, очень меня тревожит. Но Бог даст, как раз наоборот, меня ждет именно большая радость.

Вот пойми ты человека. Перед каждой поездкой в город волнение мое доходит до крайности. Что-то еще от вас будет? Все ли благополучно у Жени? Казалось бы, это должно было участить мои поездки, и меньше, чем наблюдается, должна была бы залеживаться дома почта, которой я никогда не забираю около месяца. Но, наверное, что-нибудь подобное бывало и с тобой, и с мамой, так тесно связано это самомучительство с миром, который я от вас получил, с художественной работой. Как трудна она была всегда, как безмерно затруднилась в наш век везде по всей земле. И потому не удивляйся, если, может быть, на продолжение летней переписки о выставке ты не получаешь ответа.

Ах, великая штука история. Читаю я тут 20-ти томный труд Ж. Мишле, *Histoire de France*. Сейчас занят шестым томом, падающим на страшную эпоху Карла VI и VII, с Жанной д'Арк и ее осуждением и сожжением. Мишле страницы за страницами приводит из первоисточников, из *Chronique de Charles VI*, современника и деятеля эпохи, *prévôt des marchands Juvénal des Ursins*³. Где теперь этот Juvénal, кто скажет, а вот я читаю его хронику, которой полтысячи лет, и волосы поднимаются дыбом от ужаса. Славен современник, запечатлевший пережитое, пусть и насидевшийся в тюрьме *Tour de Nesle* и потому могущий показаться всяким циникам наивным Митрофанушкой. Нет и римского Ювенала,— что это привязался я к ним.

Как раз на этом месте оставалось недописанным письмо, как вдруг приехали вчера сюда на дачу Шура с Ириной и Федюшонком и привезли полученную от вас

открытку. Ура, поздравляю вас с новым внуком ⁴, а также в первую голову и Лиду с мужем и его родителями. Большая, большая радость, которая кажется мне чудесною, так привык я жить в постоянной тревоге и напряженности.

Ну вот, новая начинается жизнь на новом месте, а я и Мюнхена не видал, и целых пятнадцать лет вашей жизни мне остались неведомы, — ах как хотел бы я всех вас видеть! Ну чтобы вам задержаться где-нибудь тут, я бы, может быть, перелетел к вам летом за море, — вероятно, одни мечты пустые.

Писали ли Вам уже Оля с тетей Асей? У тети было воспаление легких, теперь ей лучше. У Оли же произошли серьезнейшие неприятности с выпущенной книгой ⁵, она по этому поводу в Москву ездила, и я ее видел. Юмористка, никогда не теряет присутствия духа — молодчина! Теперь, после сведений, привезенных Шурой, отправлю письмо, не дожидаясь свиданья с Пепой, пусть сам вам напишет. Крепко обнимаю вас.

Ваш Б.

Я даже не знаю, надо ли торопиться с отправкой картин. Впрочем, что я тут понимаю. Даже Я. З. ⁶, как большой знаток искусства, лучший тут судья. Но об этом как-нибудь особо.

199. Л. О. и Р. И. ПАСТЕРНАК

12 февраля 1937, Москва

Дорогие, золотые мои папа и мама! Вас не должно удивлять ни молчанье мое, ни бросающаяся в глаза неплодовитость моя за последние годы, ничто, ничто. Все это объясняется своеобразием нашей жизни, о которой на таком большом расстоянии не рассказать: ах, эти расстоянья!

Благодарю тебя, папа, за большое, живое, молодое твое письмо. Как чудно вы съездили, как я завидую вашей поездке! С некоторыми измененьями это ведь повторенье той, которую вы совершили летом 1908-го, кажется, года, когда папа писал Сибиллу В. и сделал столько цветных рисунков в Антверпене, Брюгге и других городах, полных жизни и движенья, где по приему действительно мгновенье могло показаться остановлен-

ным, — замечательных, незабываемых работ. С той поездки вы привезли мне в подарок клавираусцуг «Трист и Изольды», купленный в Лондоне. Мы ждали вас в Райках. Или я путаю и это было в 909-м? Но все равно: как много произошло с тех пор, как сильно изменилось! И вместо Сибиллы Винсент были вы в гостях у той самой Лиды, которая была тогда маленькой девочкой под присмотром покойной бабушки. И я по энциклопедической справке¹ оказался связанным с областью, о которой даже тогда не думал, ибо жил музыкой, а не литературой. Кто и когда подведет всему этому итог, и когда наконец я вас увижу. Для меня эти две вещи — реинтеграция пережитого и встреча с вами живым образом связаны, и я одного не мыслю без другого.

Спасибо за поздравленья². 29-е я всегда помню, потому что это (29/1) день смерти Пушкина. А в нынешнем году это, кроме того, и столетняя годовщина его смерти. По этому случаю у нас тут большие и очень шумные торжества. Стыдно, что я в них не принимаю участия³. Но в последнее время у меня было несколько недоразумений, т. е. меня не всегда понимают так, как я говорю и думаю. Общих мест я не терплю физически, а говорить что-нибудь свое можно лишь в спокойное время. И если бы не Пушкин, меня возможности превратных толкований не остановили б. Но на фоне *этого* имени всякая шероховатость или обмолвка показались бы мне нестерпимую по отношению к его памяти пошлостью и неприличьем.

Приближается день Жонина рожденья. Поздравьте и расцелуйте, пожалуйста, ее от меня.

С твоим письмом, папа, случилось следующее. Как я писал уже тебе, я редко бываю в городе, редко, значит, забираю и почту. Ты пообещал Шуре сообщить большие подробности о вашем путешествии в письме ко мне, вот он и сговорился с Волхонкою, что когда оно придет, чтобы ему сообщили, и забрал его себе. Я оставался в неизвестности об этом письме в продолжение 1^{1/2} месяцев, пока мне не передала его Женя. Страшно жалко, что я не успел повидать Я. З.⁴, а может, оно и лучше.

Женя долго, больше месяца болела воспаленьем брюшины, но без гнойного процесса, что было бы совсем ужасно, и очень истощена. Хворает (гриппом) и Женек. Оба они мне вечная растрava, я всегда о них думаю и грущу, особенно тяжело мне без Женечка, но вряд ли, если бы возвращенье не было связано с другими трудно-

стями, ужились бы мы с нею характерами. Бедная она, — такой прекрасный и тонкий человек, но с некоторым вызовом и неуступчивостью в характере, отчего все и случилось. Папа, папа, ведь места нет здорового в моей жизни, а вот живу и буду жить. А что еще впереди!

Одно хорошо, — эта зима в природе. Какой источник здоровья и покоя! Опять вернулся к прозе, опять хочу написать роман и постепенно его пишу. Но в стихах я всегда хозяин положенья и приблизительно наперед знаю, что выйдет и когда оно выйдет. А тут ничего не могу предвидеть и за прозою никогда не верю в хороший ее исход. Она проклятье мое, и тем сильнее всегда меня к ней тянет. А больше всего люблю я ветки рубить с елей для плиты и собирать хворост. Вот еще бы только окончательно бросить куренье, хотя теперь я курю не больше 6-ти папирос в день.

Ну как же все-таки все это будет? Где мы увидимся наконец и когда? Ты чувствуешь, как бессильны эти слова и несостоятельны, т. е. им нет никакой цены и не может быть веры.

Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. М. б., тогда практическая воля проснется во мне, а с нею и планы, и удача.

А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском⁵ я разбил, что же с таким чувством и сознанием сказать о своей собственной? И в общественных делах мне не все так ясно, как раньше, т. е. я бездеятельнее, потому что не так в себе уверен. Вообще, посмотришь, и здорового во мне или близ меня пока только одно: природа и работа. Та и другая пока поглощают меня всего, и неужели эта преданность им такой грех и преступление, что меня за этим подкараулит какое-нибудь несчастье, и я не увижу ни вас, ни изменившейся Жениной жизни, ничего, ничего из того, что тревожит и поторапливает меня? Однако никакого выбора нет, и я живу: верой и грустью; верой и страхом; верой и работой. Не это ли называется надеждой. Ну не сердитесь же на меня.

22.II.37. Письмо опять залежалось (10 дней). Уже Жонино торжество прошло, и теперь время поздравить вас с 48-летием вашей свадьбы. Скоро и золотая! Живите же в полной крепости и здоровья на радость нам, дорогие вы мои.

Крепко целую вас всех и без конца обнимаю.

Ваш Боря.

2 июля 1937, Москва

2.VII.37

Николай,

кругом такой блеск, эпоху так бурно слабит жидким мрамором, что будет просто жалко, если ты так и не узнаешь, как мне понравилась твоя книга.

Я давным-давно не испытывал ничего подобного. Она показалась мне немыслимостью и чистым анахронизмом по той жизни, которою полны ее непринужденные, подвижные страницы. Было б менее удивительно, если бы она была написана лет 5 тому назад. Но теперь... Где и когда, в какие непоказанные часы и с помощью какой индусской практики удалось тебе дезертировать в мир такого мужественного изящества, произвольной мысли, сгоряча схваченной, порывистой краски. Откуда это биенье дневника до дерзости непритязательного в дни обязательного притязанья, эфиопской напыщенности, вневременной, надутой, нечеловеческой, ложной. Это просто непредставимо.

Книга у меня вся разобрана, но не писать же мне статью о ней, это утомительно. Когда будешь тут, наведйся,— поговорим, если тебе интересно.

Когда стихи появлялись в отдельности, они мне нравились, но без слез и испуга. Они занимали один из этажей «Знамени», и было приятно, что «Знамя» стоит, лифт работает и все этажи целы. Я не предполагал, что в творческой своей субстанции они взовьются таким столбом, что они так из ряда вон и так неожиданны.

Разумеется, «Кахетинским стихам» легче жить на свете. В этом нет ничего удивительного. Они (как и мое 2-е рожд.) из категории тех стихов, которые затем и рождаются, чтобы нравиться, привлекать и, в результате всего, жить припеваючи. Менее всего неумышленны ночные серенады. Для этого жанра не последнее дело, чтобы в конце концов кто-то выглянул в окно. Так бьет без промаха поэтичность самой поэтичности.

Совсем другой коленкор «Тень друга»¹. Здесь положение драматическое, а не мадригальное. И пусть это тебе не понравится, я, по-своему, ценю его выше.

Здесь море, природа, война, путевые наблюдения радости самого путешествия и все предметы изображения без стеснения, сунуты в боковой карман по-со-

временному сшитого костюма, а отсюда — на стол рабочей комнаты в какой-то наперед облюбованный период, отданный работе и во всей естественности вдохновенный. Поэзия налицо тут в эксцессах замкнутости, в здоровой лихорадке одиночества и дьявольщине писанья этого не приходится придумывать, взвинчивать и романтизировать. Также очень хорошо, что это протекает без ежеминутных грошевых восторгов и пересудов и что при этом совсем нет женщин.

Именно совокупностью этих признаков, которые когда-то считались обязательными для каждого прокладывавшего свои пути в искусстве (а чем другим может быть художник?), и показалась мне книга какою-то белой вороной на нынешнем эпигонском горизонте.

Сейчас все полно политического охорашиванья, государственного умничанья, социального лицемерия, гражданского святошества, а книга живет действительной политической мыслью, деятельной, отрывающейся вдале, не глядящейся в зеркало, не позирующей.

Видно, как все возникало. Кувыркающаяся мешанина моря, целый ночной мир движенья, изнищенного чайками и мыслями. Видно, как естественно, повествовательную вылазкой воображенья домыслена тихая картина станционного захолустья, увиденного на остановке (ряд рассказов так Чеховым написан) в «Воскресенье в Польше». Очень схвачены все краски, особенно Парижские. Самым лучшим стихотвореньем книги кажется мне Самофракийская Победа. Оказывается, дифирамбизм мыслим и в редких случаях истинности он не форма красноречья, а нравственно-пластическое осязанье, опьяненно точное. Наверное, всех умиляет кот-рыболов, но это не для меня. Единственно слабой страницей книги кажется мне единственная в ней декларационная; та, в которой ты с неуместной, страшно сейчас распространенной торжественностью обещаешь «Стихом простым я слово проведу» и не сдерживаешь обещания.

Вся книжка читается легко, лишь эту, в которой ты подымаешь какую-то дароносицу (какую именно, не видно), мне пришлось перечесть дважды и «вдумчиво», чтобы сообразить, в чем тут дело. Книга такая, что ты вправе играть Верленовским заглавьем (Бельг. пейзажи), Блоковскими интонациями, вообще вступать в крупный, разбросанный разговор. Почти все хорошо, больше половины. Оч. хороши Птица, Легенды Европы, Противогаз.

Письмо залеживается. Единственный способ не утаить его от тебя — это отправить его неконченным. От души тебя поздравляю с «Тенью». Я не сумел представить тебе свои ощущения так, чтобы они тебя заинтересовали и убедили. Прощай. Будь здоров. Привет Марии Константиновне.

Твой Б.

201. Т. Г. ЯШВИЛИ

28 августа 1937, Переделкино

Тамара Георгиевна, милая, бедная, дорогая моя, что же это такое! Около месяца я жил как ни в чем не бывало и ничего не знал. Знаю дней десять и все время пишу Вам, пишу и уничтожаю. Существование мое обесцелено, я сам нуждаюсь в успокоении и не знаю, что сказать Вам такого, что не показалось бы Вам идеалистической водой и возвышенным фарисейством.

Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил¹. 17-го в городе мне это подтвердили. Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло, я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему. Не все, что я испытал под властью этого страшного факта, безысходно и смертоубийственно, — не все.

Когда вновь и вновь я устанавливаю, что никогда больше не увижу этого поразительного лица с высоким одухотворенным лбом и смеющимися глазами и никогда не услышу голоса от переполнения мыслями обаятельного в самом звучании, я плачу, мечусь в тоске и не нахожу себе места. С тысячею заученных подробностей память показывает мне его во всех превращениях совместно пережитой обстановки: на улицах нескольких городов, в выездах в горы и на море, дома у Вас и дома у меня, в наших позднейших поездках, в президиумах съездов и на трибунах. Воспоминание ранит, доводит боль лишения до сумасшествия, бунтует упреком: за какую вину наказан я вечностью этой разлуки?

Но случилось в первый же день, 17-го, что ее неотменимость очистила меня и свела к неоспоримейшим элементарностям, как в детстве, когда наплачешься до отупения и от усталости вдруг захочется есть или спать. Силой этого удара меня отшвырнуло далеко в сторону ото всего городского, не по праву громкого, без надоб-

ности усложненного, взвинченно равнодушного, красноречиво пустого. «Что за вздор», — вновь и вновь спрашивал я себя. Паоло? Этот Паоло, которого я так знал, что даже не разбирал, как его люблю, Паоло, имя моего наслаждения, и все то, что с серьезным видом может сообщить средний человек А. или средний человек Б., через минуту забываемый. А, это для будущего, подумал я. Умереть все равно каждому надо, и притом в какой-нибудь определенной обстановке. Вот и скажут: эта потомством сохраненная жизнь кончилась летом 37-го года, и прибавят достоверности данного времени: темы, которыми жила общественность, названия газет, имена знакомых. Точно таких же, как в применении к какому-нибудь другому веку заговорили бы о париках и брыжах или, еще дальше вглубь, о соколиной охоте.

Так вот, я вез это из города и сошел у нас на станции в Переделкине. Я знал, что, когда у нас на террасе я открою рот, чтобы сказать это Зине, у меня сорвется голос и все повторится сызнова. Пока же, по пути домой, я все больше и больше, без рецидивов, отдавался очищающей силе горя, и как далеко она меня заводила!

Мне захотелось выкупаться. Вечерело. На берегу, в затененном овраге, когда, разлегшись, я понемногу отошел от треволнений поездки, я вдруг то тут, то там стал ловить черты какого-то бесподобного сходства с ушедшим. Все это было непередаваемо хорошо и страшно его напоминало. Я видел куски и вырезы его духа и стиля: его траву и воду, его осеннее садящееся солнце, его тишину, сырость и потаенность. Так именно бы он и сказал, как они горели и хоронились, перемигивались и потухали. Закатный час точно подражал ему или воспроизводил его на память. Я как бы по-новому задумался о нем. Меня всегда восхищал его талант, его непревосходимое чутье живописного, редкое не только в грузинской литературе, не только во всей нашей современной, но драгоценное в любой и во всякое время. Он всегда удивлял меня, у людей имеются письма, как неизмеримо высоко я его ставил. Но впервые я задумался о нем в отдельности от того, что я к нему чувствовал. Как при удалении от чего-то очень, очень большого, лишь на роковой дистанции утраты стали обрисовываться его абсолютные очертания: то, чем он был без нас, без меня и Тициана, и Гоглы², то, чем он был не только в угоду нашему восхищению и желанью видеть его победителем, но и наоборот, наперекор нашей любви:

то, чем он был сам с водой и лесом и Богом и будущим.

Надо ли об этом распространяться? О том, кто именно будет через несколько лет грузинским Маяковским или к чьим образцам будет восходить и на ком учиться будущая молодая литература, если ей суждено развиваться. Но эта сторона посмертности никогда меня не трогала. Я поражен другим, как это ни трудно выразить. Тем, как много его осталось в том, чего он касался и что назвал: в часах дня, в цветах и животных, в лесной зелени, в осеннем небе. А мы жили и не знали, с какой силой он был среди нас и с какой властью остался.

Дорогая Тамара Георгиевна, простите меня. Нельзя так писать, нельзя — Вам. Поэзия, и притом дурная, здесь неуместна. Все же я отошлю написанное, а то когда же наконец скажу я то единственно нужное, что рвется у меня к Вам и милой, невообразимо драгоценной Медее. Это несложно, и Вы это без меня знаете. Хотя у Вас нет недостатка в друзьях и никогда не будет, причислите к ним и меня. Как ни затруднилось в последнее время мое существование, ради Вас невозможностей для меня не будет. А как бы я хотел Вас повидать! Я прошу Тициана и Нину обнять Вас за меня, побыть с Вами вместе и поплакать. И снова простите меня за глупое, бездарное письмо. Но я ведь и сейчас ничего, ничего не знаю. Не написали бы Вы мне, потом как-нибудь, когда будете в силах?

Весь Ваш Б. П.

202—203. Н. А. ТАВИДЗЕ

⟨1938⟩, Москва

Знаете ли Вы, Нина, как я скучаю по Вас? Разлука с Вами с Нитой, с вашей атмосферой, с разговорами, которые бы мы завели, только бы увиделись, сравнима только с тоской по сестрам и родителям, которых я не видел 15 лет.

Я всегда думал, что люблю Тициана, но я не знал, какое место, безотчетно и помимо моей воли, принадлежит ему в моей жизни. Я считал это чувством и не знал, что это сказочный факт.

Сколько раз пировали мы, давали клятвы верности (тут присутствует, конечно, и бедный Паоло, думаете ли

Вы, что я его когда-нибудь забуду!), становились на ходули, преувеличивали! Сколько оснований бывало всегда бояться, что из сказанного *ничего* не окажется правдой. И вдруг насколько все оказалось горячей, кровнее!

Как слабо все было названо! Как необычайна *действительная* сила этой неотступной, сосущей сумасшедшей связи!

Я вас часто вижу во сне, то Вас, то нас всех, то виденные вместе места в осложненном переплетенье с моими родными. Прошлой зимой, когда это было связано *только* с ужасом и страданьем, я иногда просыпался в слезах и думал, что мне больно не моей собственной болью, а что я стал куском Вашего потрясения и частью Вас самой, и оттого это так сильно. Мне трудно объяснить это безумие.

Но теперь, слава Богу, это прошло. Я Вас ни о чем не спрашиваю. Хотя и несоизмеримо меньше Вас, я все же знаю достаточно, чтобы жить надеждой. Я знаю, что в каком-то высшем плане наше новое, выстраданное, временно отсроченное воссоединенье предрешиено во всех подробностях, и наше дело только не погубить свиданье, то есть дожить до него. Я мог бы Вам писать об этом без конца, но это ни к чему.

Мне стало немножко труднее. В этом виноват только я сам. Восторженность вообще плохо давалась мне. За последние два года это стало выше моих сил — это понятно.

В самый канун нового, 38-го года у меня родился мальчик. Зина родила его ровно в 12 ч. ночи, под звон столового стекла. Я хотел назвать его Павлом (эта жизнь не идет у меня из головы и сердца, надо ли мне Вас в этом уверять), но Зина даже заплакала, так ее испугало это сближение с образом горя и горечи и загадочного исхода, и, отступив к ближайшему по близости, я назвал его в честь моего отца Леонидом.

Об остальном Вам расскажет Витя¹. Честь и слава его сердцу, что он вызвался повидать Вас, можете сказать ему.

Меня преследует мечта: я подписываю большой договор, получаю аванс, вылетаю на один день к Вам, провожу его с Вами, весь день слушаю Ваши рассказы, в свою очередь Вам что-то рассказываю и тем же способом возвращаюсь обратно. Но со мной не подписывают больших договоров. А все же? Допустимо ли это с Вашей

стороны? Я не знаю, что по Вашим условиям вредно Вам или полезно, что можно и чего нельзя.

А если бы судьба закинула Вас с Нитой сюда к нам, в Лаврушинский пер., д. № 17/19, кв. 72!! И какое счастье было бы, если бы Вы мне написали.

Целую Ваши руки. Ваш Боря.

Если увидите Тамару Георгиевну, изобразите ей это все.

204. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1.XI.38

1 ноября 1938, Переделкино

Дорогая Оля,

Ирина рассказала мне о своем летнем посещении Вас. Тогда узнал я горькую и потрясающую новость о Саше¹. В этих случаях человеческое участие дальше вытаращенных глаз и вздохов не идет. За последние два года несчастья этого порядка так обставлены, что просьбы со стороны ни к чему не ведут и только усугубляют дело.

Но она рассказала мне еще и о маминых слезах, и о приеме, и о тяготеющей над нами анафеме. Что сказать тут?

Вот мы прожили эти десятилетия, разделенные пространством и соединенные общей беспросветностью нашей судьбы, практически друг другу бесполезные, в молчаньи и неизвестности, растягивавшихся на целые годы. Вносит ли проклятье, постигшее нас, какие-нибудь перемены в этот распорядок? Реально как будто бы нет, если разлука и неведение друг о друге не были лишеньями до сих пор, отчего бы стать им всем этим после нашего осужденья? И однако сознание, что вы отныне совершенно недоступны нам, а мы перестали для вас существовать, — невысказанно и нестерпимо. Да и насколько это заслужено? Могли ли мы, я и ты, в чем-нибудь так повлиять на судьбу другого, чтобы расколдовать ее и восстановить в ее былой и прирожденной плодотворности взамен тупого обреченья, в которое оба вместе со всеми все больше и больше попадали. В чьих вообще это было силах? Это и вообще что-нибудь в эту завидную нашу бытность на свете. Единственное, что можно было для душевного облегченья, это жить вместе. И как я всегда этого хотел, как всегда вас звал к себе.

Ах, да разве не из-за этого сходил я с ума в моменты, казалось бы, более подходящие для радости и удовле-

творенья. Но всякое вынужденное приближение к фантазмагории, насколько еще далекое (!), кончалось для меня общим припадком.

Оля, напиши мне о себе и маме. Как номер твоего телефона? Можно ли будет позвонить вам зимой, когда я буду в Москве? О себе пока сообщать бессмысленно, да и нечего. Главное: мне страшно бы хотелось повидать родителей. Невозможность этого отравляет мне существование.

Обними маму, когда она наконец простит меня и сама позволит обнять себя.

Твой Боря.

Наш адрес:
Москва 17, Лаврушинский пер.,
д. 17/19, кв. 72.

205. Н. К. ЧУКОВСКОМУ

5 ноября 1938, Переделкино

5.XI.38 г.

Дорогой Николай Корнеевич!

Я так хвалил «Княжий угол»¹ Корнею Ивановичу и Лидии Корнеевне, что часть похвал, по-моему, должна была до Вас дойти.

Работа художника, со всеми прелестями и притягательностями вольного облюбованного изображения, изложение темы, хотя и требующейся, но в то же время производящей впечатление настоящей жизни; вещь, которою можно зачитаться, как, после собственного опыта, и я убедился на примере сына, приехавшего как-то сюда ко мне и весь день проведенного за нею; явление во всех отношениях *завидное*, в чем я особенно подробно признался Вашей сестре. Не смейтесь, что я свожу это все в какой-то принужденный, старообразный период; мне не хочется распространяться, а то Вы не получите письма.

Только в развязках, к концу, часть судеб и персонажей из живых становится немного картонными; вина не Ваша, потому что больше, чем позволяете себе Вы отходить от общеобязательных положений и предрешенных исходов, конечно, нельзя.

Итак, от души поздравляю Вас и крепко жму Вашу руку.

Спасибо за заботы и участие, но проза обещана «Кр. нови». Вообще о ней говорить преждевременно (м. прочим, неприлично, что я вам и папе ее читал). Она гадательна и проблематична прежде всего с точки зрения написанья (т. е. я не знаю, допишу ли ее). Так писать не надо и нельзя. Надо писать либо совершенно непроизвольно, либо так произвольно, чтобы радовать в редакциях. И тогда, в первом случае, копыя надо ломать за что-нибудь такое, чтобы игра стоила свеч.

Сговорите меня со «Звездой» на что-то другое. Вероятно, я буду переводить «Дон Жуана» Байрона². Но согласились бы они его печатать периодическими порциями? Я хотел написать об этом Ник. Тихонову и на лестнице в Гослитиздате мимоходом говорил Лавреневу.

Наверное, на днях я перееду в город. Там мой адрес: Москва 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.

Я пожалел, что при Вашем отъезде из Переделкина с Вами не простился. Я попросил бы Вас тогда кланяться: Марине Николаевне, С. Д. Спасскому, которому, после страшных несчастий с ним³, я еще не разу не писал; и В. А. Каверину. Последнему я больше года все пишу в мыслях или собираюсь написать и в конце концов привел это в исполнение, — это будет для него радостью: вещи все приятные.

Но встречаетесь ли Вы с ними? Можете не передавать поклонов, рано или поздно я их увижу или им напишу. Всего лучшего. Ваш Б. П.

206. С. Д. СПАССКОМУ

18 апреля 1939, Москва

Дорогой Сережа!

Сердечное спасибо за помощь, письмо и исполнение просьбы. Деньги вчера получил. Заплатили они, собаки, очень мало (по 2 рубля за строку), но это уже не наша с тобой вина. Очень прошу тебя, если с больной у тебя что-нибудь изменится к лучшему¹, извести меня, а пока будь здоров, преуспевай в работе и не забывай душевно тебе преданного Б. П.

Неделю проносил письмо в кармане, — прости.

Твой Б.

1 мая 1939, Москва

Дорогая Оля!

Ну, слава, слава Богу! Надо ли говорить, какой радостной неожиданностью было твое письмо! Подробностей о тети Асиной болезни я не знал. Но ведь это совершенно чудесно! Не знаю, правильно ли, но строки о Саше понял я так, что от него был устный привет через соседа. Я думаю, твое письмо, даже и в изображении пережитых драм, не дышало бы такой силой, если бы у Вас не было надежды на скорое разрешение и этого узла.

Спасибо тебе и тете за добрые чувства. Зимой мне дважды представлялась возможность съездить в Ленинград, и я ей не пользовался из страха бесцельности.

Очень трудно писать. Мне о многом надо было бы спросить тебя. Как страшно все, что ты рассказываешь! Разумеется, я не знал половины. Но жил вместе с другими эти два года и я, и многое близко меня коснулось, как — нельзя догадаться, ибо это тайны.

И в эти же два страшных года родился Леничка и вышла замуж Женья, две больших радости, чем-то связанных и одновременных, полных самой невероятной символики, и валились еще какие-то благодаянья.

Ты, по-прежнему, замечательно пишешь, — я не смогу так же ответить тебе. Но у меня совершенно такое же настроенье: ощущение завершившегося периода (целой, может быть, жизни), очень освобождающее и здоровое, радостное и в том случае, если времени осталось мало¹.

Надо бы обязательно повидаться. Поговорить бы нашлось о чем. Ах, как бы чудно было, если бы ты приехала! Нет ли у тебя все-таки, часом, такого плана? А то что скажешь в письме? Видишь, только попробовал и пошел вымарывать. Главное, я Вас обеих крепко, крепко целую и летом, если ты этого не ускоришь, увижу.

Твой Боря.

〈Декабрь 1939〉, Москва

Дорогая Нина!

Простите, что пишу Вам. Вас, наверное, не надо тревожить. Недавно, совсем недавно до меня дошел слух, будто Тициана нет в живых. Можете понять, что со мной сделалось. Но несколько часов тому назад мне сказали, что это предположение ложно и имеются доказательства противного. Я вернулся домой, шатаюсь от радости, и, пока пишу Вам, эта вера переходит в уверенность. Но удостоверьте ее. Скажите мне, что он живет, протелеграфируйте или напишите.

Нина, Нина, вот что мне надо от Вас! Чтобы во всех обстоятельствах, какие бы ни послало нам небо, Вы знали и помнили, что весь я и вся моя жизнь и разумение принадлежат Вам и Ните, и ими располагали. В те три несчастных дня, что я старался поверить страшному слуху, я узнал, что это было бы для меня не только беспредельным горем, но и такой переменной во всей моей жизни, после которой ни одна из ее радостей не стала бы мне мила, потому что их не с кем было бы разделить. Я любил мысль, что живу для него, а он для меня, и если бы это случилось, все будущее бы обесмыслилось. Нина, я не знаю, что пишу Вам. Но надежда не оставляет меня.

Ваш Боря.

209. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

14 февраля 1940, Москва

Дорогая Оля!

Я тебе задолжал письмо с того самого дня, как ты меня пожалела в моем горе¹. Спасибо тебе.

Живы ли вы обе и что с вами? Я знаю, что у вас грабежи и потемки, и беспокоюсь о вас.

Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий: я должен был перевести «Гамлета» для Александринки, ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе². Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его «Маскарад», и все откладывал.

Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали.

Все это неопишимо, все это близко коснулось меня.

Последние месяцы меня преследовал страх, как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца. Под влиянием этого страха я не отвечал папе и оставил без ответа твое письмо. Папа с девочками и их семьями в Оксфорде³, — ты знаешь. На днях я сдал перевод. Ставить его на правах первой постановки будут в Художественном театре. Я до последнего дня не верил, что театру это разрешат. Ставить будет Немирович-Данченко⁴, 84-летний *viveur** в гетрах со стриженной бородой, без единой морщинки. Перевод не заслуга, даже если он хорош. «*C'est pas grand-chose*»**. Но каким счастьем и спасеньем была работа над ним! Впрочем, что убеждать тебя: это ты писала об «Укрощеньи...». Вышнее, ни с чем не сравнимое наслаждение читать вслух без купюр хотя бы половину. Три часа чувствуешь себя в высшем смысле человеком: чем-то небессловесным, независимым, горячим, три часа находишься в сферах, знакомых по рождению и первой половине жизни, а потом в изнеможеньи от потраченной энергии падаешь неведомо куда, «возвращаешься к действительности».

Однако что расписывать? Напиши, пожалуйста, мне как ты и тетя. Мыслимо ли *технически* теперь приехать к вам на сутки, на двое, только к вам и только повидаться. Если это возможно, я приеду, когда будут деньги. Напиши мне, пожалуйста, но без принужденья, когда у тебя будет время. Обязательно напиши, что слышно о Саше; об этом можно писать.

Обнимаю вас.

Ваш Боря.

210. М. Л. ЛОЗИНСКОМУ¹

1 марта 1940, Москва

1.III.40

Дорогой Михаил Леонидович!

Я глубоко, против воли и наперекор природе виноват перед Вами. Но теперь к первой моей вине присоедини-

* жизнелюб (фр.).

** Не бог весть что (фр.).

лась другая: уже и покаянное, извинительное мое письмо, которое я Вам мысленно пишу третий месяц, так запоздало, что, наверное, самое обращение мое к Вам вызовет у Вас смех и лучше бы теперь совсем не писать.

Скажу все сразу, тем более, что в каждом моем слове заключена радость для Вас. Когда Вы сделали мне честь замечательным своим подарком, присылкою Ада², я уже был несвободен в отношении Вас, уже знал, что один из имеющихся новых «Гамлетов» — Вашей работы, и за писаньем собственного черновика выдерживал себя в намеренном неведении насчет последнего, как и относительно всех остальных переводов. В этом состоянии было сложно (или так казалось мне тогда) писать Вам.

Потом наступил другой период. За отделкою и перепиской я обложил себя ими всеми, чтобы принять в расчет все сделанное.

Вы, наверное, знаете, что перевод был предпринят не по моему собственному почину. Побужденье исходило от театров, м. пр. от Мейерхольда. Я всегда отсылал к существующим переводам, из кот. знал какой-то из старых, видимо Кронеберговский³, а может быть, и К. Р., т. е. что-то среднее, видоизменившееся в своей забытости. К старым и новым переводам я отсылал не глядя, в глубокой голословной уверенности, что это должно быть хорошо и театры привередничают и сами не знают, что им надо. Новые книги редко попадают теперь в руки: я не знал, кто из Вас четверых — Вас, Радловой⁴, Кузмина и Зенкевича — дал нового «Гамлета», и не знал, что их не один, а два. Но так это было только вначале.

Так думал я, но не представлял себе, насколько я прав. Когда я раскрыл пять или шесть этих книжек, сердце у меня упало: филологическая близость, литературное изящество и сценическая живость превзошли мои опасения. А совпадения, совпадения!! В скобках: скоро все они, сохраняя свои отдельные достоинства, расположились по местам. Наилучшим из старых показался мне Кронеберг, лучшим из всех — Ваш.

Было время, конец осени, когда под влиянием обнаруженных с Вами совпадений я собирался: признать попытку неудавшейся, сложить оружие и письменно поздравить Вас с моим пораженьем. Во-первых, зачи-

тавшись Вашим переводом, я вообще испытал чувство острого стыда от того факта, что не позаботился ознакомиться с ним раньше, т. е. от того, что при таком переводе, пусть и ценой уговоров, я решился на новый. Мне стыдно стало, что с точки зрения совести и вкуса я по неведенью поступил против долга.

Кроме того, поразило меня обилие моих совпадений с Вами и их характер. Все это были предложения, сами собой укладывавшиеся в ямбическую строчку, те самые, относительно которых к радости по поводу их естественности у меня (за черновой работой) неизменно примешивалось опасение, что в своей закономерности они, наверно, пришли мне в голову не первому.

Такие строчки совпали у меня с Вами дословно, и до запятой и именно в виде строчек, ни больше ни меньше, т. е. в виде каких-то неделимых линотипических единиц. Из этих:

«Но как во всех не дрогнет добродетель»
или:

«Он взял меня за кисть и крепко сжал»
и т. д. Я оставил очень немного (а их было множество, с этим-то и надо было Вас поздравить), и только те, которые общи у Вас со всеми или частью переводчиков. Предпринять новую редакцию сделанного, нет: — переделать весь перевод сызнова слово за словом заставили меня Вы.

Что же получилось? В результате этих толчков и передвижек я должен был прийти к тому, к чему звал меня театр и что можно было предсказать с первого раза. Все работы остались на месте, ни одна не превзойдена, ни одна не возмещается моею. Рядом с переводами в строжайшем смысле возникла более свободная, простая и легкая сценическая трактовка того же текста, после того как попытка дать новый вариант той же тяжелой дословности не оправдала себя, повторив кое в чем предшественников.

Вы легко поймете, какую радость доставил мне этот труд, не только не омраченный ничем полемическим по адресу товарищей по призванию, но наоборот, только-то и открывший мне по-настоящему глаза на истинную силу их заслуг. Эту радость отравили мне нападки Корнея Ивановича на Радлову⁵. Конечно, они несправедливы. Мне нравится ее Гамлет, живость и естественность ее речи, особенно в прозаических местах, в некоторых случаях мастерских. Я не знаю адреса Анны Дми-

триевны, а то бы написал ей сейчас и ее утешил. По-видимому, К. И. собирается теперь разнести меня и Вас. Он только недавно прочел ее Гамлета (он знал другие ее переводы) и, к моей радости, хвалит его. Значит, нам придется пострадать ей во славу, здесь ведь совсем особая система мышления, в этом отношении он и Р. явления близкие и законные партнеры.

Ваш Данте совершенное чудо. Вы сделали все, что позволил Вам частью нечеловеческий, частью же нудный и сварливый подлинник. Все описательные оазисы переданы с захватывающей увлекательностью, и больно за Вас, когда сумасшедший старик снова тащит Вас в пустыню. Но об этом нельзя писать с кондачка.

Весь год Вы были у меня на языке, Вы, верно, это знаете от других. Как Ваше здоровье. Напишите, что Вы простили меня.

Ваш Б. П.

211. А. А. АХМАТОВОЙ

28 июля 1940, Переделкино

28.VII.40

Дорогая Анна Андреевна!

Давно мысленно пишу Вам это письмо, давно поздравляю Вас с Вашим великим торжеством¹, о котором говорят кругом вот уже второй месяц.

У меня нет Вашей книги. Я брал ее на прочтение у Федина и не мог исчертить восклицательными знаками, но отметки вынесены у меня отдельно, и я перенесу их в свой экземпляр, когда достану книгу.

Когда она вышла, я лежал в больнице (у меня было воспаление спинного нерва), и я пропустил сенсацию, сопровождавшую ее появление. Но и туда дошли слухи об очередях, растянувшихся за нею на две улицы, и о баснословных обстоятельствах ее распространения. На днях у меня был Андрей Платонов, рассказавший, что драки за распроданное издание продолжаются и цена на подержанный экземпляр дошла до полутора ста рублей.

Неудивительно, что, едва показавшись, Вы опять победили. Поразительно, что в период тупого оспарива-



Борис Пастернак. Райки. 1907 г.



О. М. Фрейденберг. 1910-е годы



А. Л. Штих. 1910-е годы



**Николай Асеев. Портрет
К. Юона. 1926 г.**



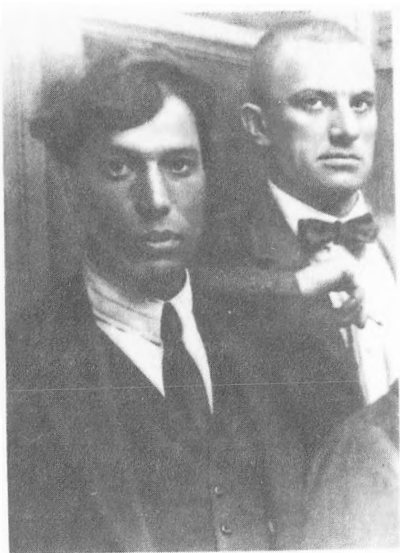
С. П. Бобров. 1910-е годы



**Розалия Исидоровна, Лидия Леонидовна, Жозефина Леонидовна,
Леонид Осипович Пастернак. 1920-е годы**



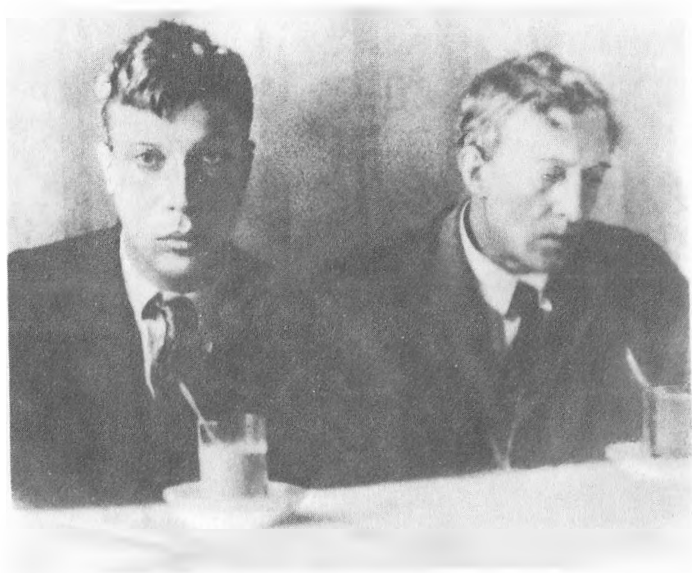
Л. О. Пастернак. 1920-е годы



Б. Пастернак и В. Маяковский.
1924 г.



Марина Цветаева
с дочерью Ариадной. 1920-е годы



Б. Пастернак и Д. Петровский. 1935 г.



В. А. Силлов. 1920-е годы



**О. Г. Силлова (Петровская).
1920-е годы**



**Стоят: Т. Табидзе, А. Белый, П. Яшвили;
сидят: К. Надирадзе, К. Бугаева, Т. Яшвили,
Н. Табидзе. Тбилиси. 1920-е годы**



Н. Асеев. Начало 30-х гг.



П. Н. Медведев. 1921 г.



К. А. Большаков.



**Нина и Тициан Табидзе
с дочерью Нитой**



**Г. Кикадзе, Г. Леонидзе,
Т. Табидзе. Начало 30-х гг.**



О. Мандельштам.
Конец 20-х гг.

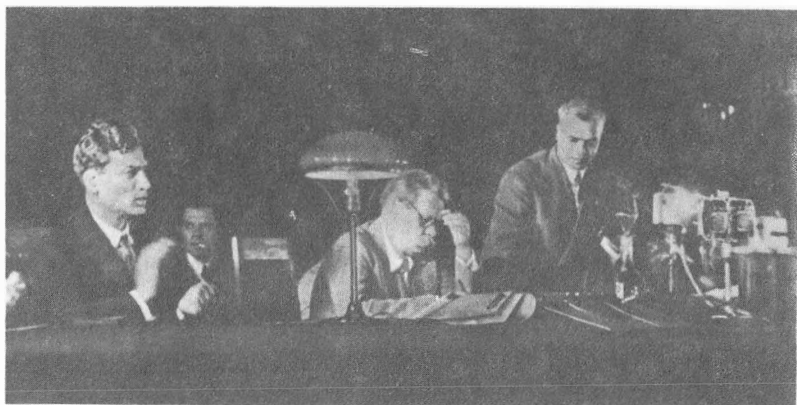


*Барису Пастернаку
Анна Ахматова
11 октября 1933. Москва*

Анна Ахматова.
Фотография с дарственной надписью
Пастернаку.



Н. Я. Мандельштам



**Б. Пастернак и М. Горький в президиуме I съезда советских писателей.
1934 г.**



**Ж. Р. Блок, И. Эренбург, Б. Пастернак, П. Яшвили, Я. Рахилло,
И. Сельвинский, Н. Тихонов с парашютисткой Ниной Камневой.
1934 г.**



Б. Пастернак. Чистополь. 1943 г.



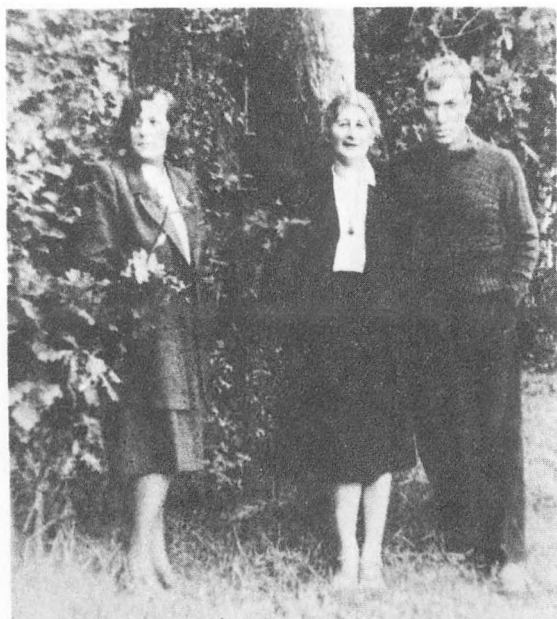
О. М. Фрейденберг. 1940-е годы.



Е. Д. Орловская



Кайсын Кулиев. 1941 г.



З. Н. Пастернак, Н. А. Табидзе,
Б. Л. Пастернак. Переделкино. 1943 г.



Е. А. Благинина



А. К. Тарасова



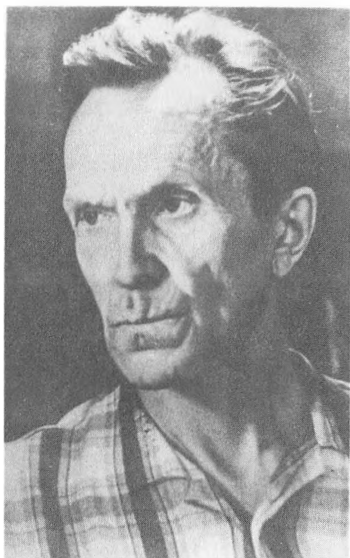
Н. К. Чуковский



В. Пастернак и М. Морозов



Переделкино. 1946 г.
Слева направо: Б. Ливанов, Е. Ливанова, Б. Пастернак,
С. Чиковани, Б. Жгенти, Ф. Твалтвадзе



В. Т. Шаламов



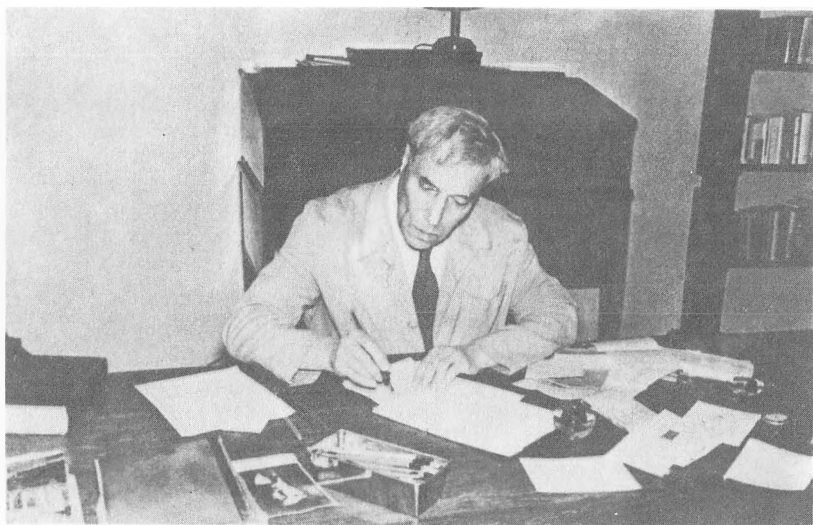
К. А. Федин и Б. Л. Пастернак. Переделкино. 1949 г.



**К. И. Чуковский в гостях у Б. Пастернака. Переделкино.
24 октября 1958 г.**



**Б. Пастернак с сыном Леонидом и Г. Леонидзе.
Санаторий Узкое. 1957 г.**



Борис Пастернак. Переделкино. 1958 г.



Б. Л. Пастернак на крыльце переделкинского дома. 1958 г.

ния всего на свете Ваша победа так полна и неопровержима.

Ваше имя опять Ахматова в том самом смысле, в каком оно само составляло лучшую часть зарисованного Вами Петербурга. Оно с прежнею силой напоминает мне то время, когда я не смел бы поверить, что буду когда-нибудь знать Вас и иметь честь и счастье писать Вам. Нынешним летом оно снова значит все то, что значило тогда, да, кроме того, еще и что-то новое и чрезвычайно большое, что я наблюдал последнее время в отдельности, но чего еще ни разу не видал в соединении с первым.

Это — соперничающее значение Вашего нового авторства в «Иве»² и новейших вставках, Ваша нынешняя манера, еще слишком своезаконная и властная, чтобы казаться продолженьем или видоизменением первой. Можно говорить о явлении нового художника, неожиданно поднявшегося в Вас рядом с Вами прежнею, так останавливает этот перевес абсолютного реализма над импрессионистической стихией, обращенной к впечатлительности, и совершенная независимость мысли от ритмического влиянья.

Способность Ваших первых книг воскрешать время, когда они выходили, еще усилилась. Снова убеждаешься, что, кроме Блока, *таким* красноречием частных не владел никто, в отношении же Пушкинских начал Вы вообще единственное имя. Наверное, я, Северянин и Маяковский обязаны Вам безмерно большим, чем принято думать, и эта задолженность глубже любого нашего признанья, потому что она безотчетна. Как все это врезалось в воображенье, повторялось и вызывало подражанья! Какие примеры изощренной живописности и мгновенной меткости!

Замечательно, что когда рядом с ними натыкаешься на вещи более широкого действия и иной, дополнительной силы, они теперь кажутся позднейшими вставками, и присутствие Вашего нынешнего искусства начинаешь подозревать там, где его нет, как, например, на стр. 199 и 203 (наряду со стихотворением на стр. 198, которое Вы читали у Фединых).

Выбор Ваш так совершенен, что предпочтенью уже нечего делать и подчеркивать приходится почти все подряд. Особенно изобилуют такими гнездами сплошных драгоценностей стихи из «Четок». Вот эти ряды: стр. 222, 223, 224, 225, 226, 227; 232, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243.

Именно к таким «гнездам» может относиться весь будущий мир «Поверх барьеров», атмосфера его зарожденья, т. е. все то, чего я лишь вскользь коснулся тут в словах о нашей задолженности, о магическом действии Вашей живописной силы и пр., и пр. Вот еще звездные скопления: 249, 253, 256; 264, 265, 266, 267, 269, 271 и др. ³.

Чтобы Вы знали, с кем, в отношении вкуса, Вы здесь имеете дело, скажу, что бегло, с налету и первого взгляда, вершинами, в разных отношениях, показались мне: стр. 50, 69, 145, 174, 194, 198, и несущественно, какую роль тут играла знакомость одних и знаменитость других страниц.

Но я начинаю заговариваться, и Вам должно стать скучно. Позвольте, я прерву письмо, а то я боюсь, что никогда не отошлю его. Узнав, что я пишу Вам, Вам просили кланяться Софья Андреевна ⁴, Нина Александровна Табидзе, Константин Александрович Федин и Зина. Знаете ли Вы, что выпустили жену Бориса, Киру Георгиевну? ⁵ Когда будете в Москве, непременно приезжайте к нам в Переделкино! Тут суший рай. После упоминанья о больнице ⁶ необходимо сказать, что я давно себя так замечательно не чувствовал, как этим летом.

Если бы Вы почтили меня открыткой, сообщите, пожалуйста, как Ваши дела и здоровье? С Вами ли уже Лев Николаевич? ⁷ Нина Т. приехала сюда хлопотать за мужа.

Я думал, Вам будет приятно узнать, каким радостным событием была для меня Ваша книга, написать Вам об этом было моей живейшей потребностью, но я сделал это так неудачно, что письмо Вам ничего не даст.

Вы должны догадываться, источником какой гордости являются для меня оба Ваших незаслуженных подарка, стихотворенье и эпитафия ⁸. Относительно последнего я не верил, несмотря на Ваши слова, пока не увидал. Тон Перцова возмутил нас всех ⁹, но тут думают (между прочим, Толстой), что кто-нибудь из настоящих писателей должен написать о Вас в журнале, а не в газете.

Ну до свиданья. Целую Вашу руку.

Еще раз горячее спасибо Вам от нас всех за это воплощенное чудо.

Ваш *Б. Пастернак*.

28 августа 1940, Переделкино

28.VIII.40

Дорогой Петя!

Я знаю, о чем тебе написала Цветаева. Я просил ее этого не делать, ввиду бесцельности. Я знаю, что Союз в этом отношении ничего не добивается, а как частное лицо ты в этом смысле можешь не более моего. Но именно потому, что она тебя знает как имя, и, значит, с твоей лучшей стороны, она заупрямилась, чтобы я тебе передал письмо. Что бы она там тебе ни писала — это только часть истины, и на самом деле ее положение хуже любого изображенного. Мне не нравится *цель*, с какою она так добивалась передачи письма, — «чтобы потом не говорили, зачем не обратилась в Союз». Она мне ее не открывает. Я ее знаю как очень умного и выносливого человека и не допускаю мысли, чтобы она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое. Но во всяком случае, эта разгоряченная таинственность мне не по душе и, очевидно, не к добру.

Вместо этого всего вот что.

В ближайший свой день в Союзе прими ее и познакомься с ней. Она случайно узнала об одном молодом человеке, некоем Бендицком, призывающемся в сентябре в Красную Армию. Его комната освобождается. Это ей подыскали знакомые. Адрес такой: Остоженка (Метростроевская), д. 18, кв. 1, комн. Бендицкого. Он был бы согласен на такое косвенное закрепление комнаты за собой (через временное ее занятие Цветаевой). Нельзя ли выяснить через нашего юриста, какой юридический соус можно приготовить к этой физической возможности. Цветаевой она кажется беззаконной, и она этой мысли боится даже в случае осуществимости.

Как бы то ни было, согласись принять ее и, когда сможешь, скажи, пожалуйста, Кашиной, чтобы она ее вызвала по тел. КО-40-13 и сообщила о дне и часе, когда ты ее примешь. Это единственный способ известить ее, т. к. отсюда я не успею, а ей кажется, что до 30-го тебя не будет.

Прости, наконец, и меня, что надоедаю тебе.

Твой Б. П.

1 ноября 1940, Переделкино

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить Вас и заинтересовать существованием в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по какому-нибудь еще, а только по-Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.

Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа¹, когда мы последний раз видались и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги. А между тем я пренебрегал возможностями встречи с Вами, уезжал на целые дни в Москву, для встречи поезда для учащихся, шедшего вне графика и не по расписанию из Крыма, с Зиной и ее больным сыном, которого надо было устроить в больницу и даже *день* приезда которого был неизвестен. В скобках, для удовлетворенья естественного интереса, все обошлось благополучно, и мальчик, проболев с месяц, теперь выздоровел.

Я не читаю газет, как Вы знаете. И вот, последнее время, когда я спрашиваю, что на свете нового, я узнаю одну вещь радостную и одну грустную: англичане держатся, обижают Ахматову. О если бы между этими новостями, мне одинаково близкими, мог существовать обмен веществ и сладость одной могла ослабить горечь другой!

Я говорил Вам, Анна Андреевна, что мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и Вы представите себе мое состоянье, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа². Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы.

Также и Нина Т(абидзе) уехала в Тифлис без малейшей надежды узнать когда-нибудь что-нибудь о муже, а мне намекали даже, что нет уверенности, чтобы он был в живых, а теперь она написала мне, что он содержится в Москве, и это установлено.

Простите, что я так грубо и как маленькой привожу Вам примеры из домашней жизни в пользу того, что никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная христианка, Вы должны знать, однако, знаете ли Вы, в какой цене *Ваша надежда* и как Вы должны беречь ее?

«Смирив души неукротимый ропот» и т. д.³ — в общей сложности 4 строки у меня записаны, но Вы не договорили тогда, — нас позвали к Фадееву. Книжку Вашу мне подарили в Гослитиздате. Если бы Вам пришла фантазия сделать мне надпись, пошлите мне ее в счастливую и легкую минуту, — я ее вклею. Однако Вы можете тут же забыть о сказанном, я Вас не буду теснить ожиданьем.

Два Ваших почитателя, муж и жена, просили меня переслать Вам письмо, я сообщил им Ваш адрес и отослал письмо обратно. В нем не было ничего дурного, но оно слишком лазурно и безоблачно для пересылки. Зная Вас и Вашу нынешнюю грусть и хмурость, я не вправе поддерживать то нереальное представление о поэте, которым дышит их обращение, немного вневременное и внепространственное.

Это бедные люди, каких очень много, что именно в похвалу им, а не во осуждение, он сын ветеринарного врача, пробовал сам писать, его попытки свободны от той блестящей безвкусицы удачливости, которая так часто и быстро выводит на широкую дорогу, но недостаткам не хватает гения, чтобы стать достоинствами, и, таким образом, шероховатое его тяжелодумье остается при нем в качестве глубоко колоритной черты, просящейся под перо какого-нибудь нового Достоевского или Писемского. Это скромные и очень достойные люди, но зачем я на их счет так расписался?

Не считайте неуваженьем к себе, что я без всякого страха пишу Вам таким слогом, с такими помарками и такой вздор.

От всего сердца желаю Вам здоровья.

Ваш Б. П.

214. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

15 ноября 1940, Переделкино

Дорогая Оля! Твое молчанье все больше тревожит меня. Что с тобою, все ли у тебя благополучно? Я боюсь задавать вопросы тебе, мне страшно их договаривать

из суеверья. Напиши мне пару слов, успокой меня. Не в обиде ли ты на меня? Кажется, меня выругали у вас в Ленинграде. Может быть, это так уронило меня в твоих глазах, что ты больше не желаешь знать меня? Или, может быть, действительно ты не понимаешь моей шутливости в отношении себя и тебя, и это тебя задевает?

Если бы ты только знала, как мне тебя недостает! Каким счастьем было бы, если бы ты могла немного погостить у меня. Как твоё здоровье после весеннего падения? Неужели нет ничего нового относительно Саши? Я так встревожен твоей безответностью, что начинаю сомневаться в твоей собственной безопасности и собираюсь запросить Ленинградский университет, существуешь ли ты в природе.

Ах, до чего часто нужно тебя! Жизнь уходит, а то и ушла уже вся, но, как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами какой-то «седьмой молодости» (твое выражение). Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Леничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепленье. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Заезаешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду! Ах, как вкусно еще живется, особенно

в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как еще рано сдаваться, как хочется жить.

Представь, Дудлика надо определять в университет (естеств. или физ. мат.), чтобы предупредить солдатчину, а то он все забудет, — как время бежит, — а Леничка, совершенный дед, умный, строгий, восприимчивый (2 года 10 месяцев) так запутался в семейных осложнениях, что не считает Зину своей матерью и удивляется, зачем Женичке столько пап (он считает, что папа вещь производная от дома и в каждом доме есть свой папа).

Но самое удивительное было с вестями от наших. Весной и в начале лета, когда я лежал в больнице, я мысленно распростился со всем, что любил и что было достойного любви в преданиях и чаяньях Западной Европы, оплакал это и похоронил, в том числе, значит, и своих. Особенно когда ко мне стало возвращаться здоровье и когда впервые, серьезно столкнувшись с медициной, я увидел, как дано мне еще жить и как много у меня еще сил, которых я не знал. Я думал, на что это мне и куда все это будет приложить, когда тем временем до такой неузнаваемости изгадили планету? И вдруг, о чудо, бог не выдал, свинья не съела! Стало возвращаться и *это*, мировое, здоровое, воскресло и вызывает тайное и всеобщее умиление, скрытное и суеверное, как запретная (и самая сильная) любовь, — молодцы англичане, что ты скажешь! Но ведь еще рано, что еще будет, однако, вместе с тем и не рано, потому что обо всех дорогих я знаю, что они есть на свете, и это солнцем встает каждый день над этой зимней жизнью в лесу. Очень странно, что на этом обрываю письмо, писать можно было бы без конца, но напиши со своей стороны и ты, как и что, прошу тебя.

Р. S. Напиши мне, пожалуйста, обо всех, о тете, о Клариной и Машуриной семье¹ (кланяйся им, пожалуйста), о себе и о своих работах. Тебе, должно быть, очень трудно сейчас, не правда ли, — сужу по нашим затруднениям. А Гамлет начнет окупаться только года через полтора после постановки.

Вышел сборник моих переводов, выбор случайный, больше половины — вещи безразличные для меня, но среди них, между прочим, и *очень важный* для меня Верлен², послать ли тебе?

Напиши хоть открытку, что ты и тетя живы!

Твой Б.

4 февраля 1941, Переделкино

Дорогая Оля!

Эти строки застанут тебя за повторением того оледененья, которое ты так замечательно описала, или вскоре после него. Напрасно ты думаешь, что я это говорю, чтобы сказать тебе приятное. Ты сама знаешь цену своим талантам и характеру, что же удивительного, если я так ценю каждый их знак.

Итак, спасибо за письмо, бывшее для меня полной неожиданностью. Мне казалось, что написать тебе, поздравить тебя с мамой с Новым годом и попросить насчет Ахматовой было у меня в идее и осталось неисполненным намереньем. Я не помню своего письма, и, несмотря на твои слова о нем, у меня ощущение, будто ты угадала мои мысли и на них отвечаешь.

Не представляю себе, как вы живете, так все кругом затруднилось. Напиши мне искренне, как я этого заслужил, не нужно ли тебе денег.

Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в отчаянье. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась. Благодетелю нашему¹ кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое,— Грозный, опричнина, жестокость². На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии. Не шутя. Меня последнее время преследуют неудачи, и если бы не остаток какого-то уваженья в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там! Я насилу добился, чтобы несамостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде Ромео и Джульетты, а то мне предлагали переводить второстепенных драматургов из нацреспублик. Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это остается невыраженным. Прости, что некоторыми местами письма, может быть, огорчаю тебя, больше никогда не буду.

Зина благодарит за память и очень кланяется тебе и маме. Леню на днях возили в город и повели в парикмахерскую. Он спросил, что тут будут покупать, и,

когда узнал о назначении заведенья, поднял шум и потребовал, чтобы его увели. Тот же интерес к предмету торговли проявил он у фотографа и кончил тем же скандалом и требованием. Я попрошу, чтобы его снял кто-нибудь из знакомых с аппаратом, и пришлю карточку, а пока нечего посылать. Он растет дикарем, хотя и очень хитрым, трусливым и нервным.

Ты получишь журнал с Гамлетом³, если Зина исполнила мою просьбу и была на почте. Если у тебя будет время прочесть его, сделай это, не осложняя этого мыслью, всегда неприятной, что потом тебе придется писать о нем. Мне страшно бы хотелось, чтобы он понравился тебе и маме, и хотя я знаю, *чем* он вам не понравится, и хотя именно эти резкости или странности сглажены в редакции, предназначенной для Гослитиздатского издания (но не для МХАТа!), и я мог бы дожидаться его выхода, я послал тебе именно этот первоначально вылившийся и, по мнению некоторых, *рискованный* (я этого, конечно, не сознаю, это естественно) и даже неудачный вариант. Кое-что из доделанного его, конечно, улучшает, меня к концу торопили.

Но не шучу: если в виде одобренья или порицанья у тебя будет о нем больше двух строчек, это огорчит меня; достаточно и той жертвы, которую тебе придется принести, в смысле сил и времени на ее прочтенье.

Крепко тебя и маму целую. Сделай мне удовольствие, ответь по поводу одной из низких истин, относительно денег. Однажды ты меня на этот счет успокоила. Так ли все это еще и теперь?

Пишу тебе в самый мороз, весь день топлю печи и сжигаю все, что наработаю.

Твой Боря.

Я забыл поблагодарить тебя за Ахматову, большое спасибо.

216. Е. М. СТЕЦЕНКО¹

8 февраля 1941, Переделкино

Дорогая Елисавета Михайловна!

Горячо благодарю Вас за письмо, за Ваши слова о Жене и Лёне, за все, за все.

Вы должны были догадаться, что, если на *такое* письмо, как Ваше, от кого бы то ни было, даже от совер-

шенного животного, не последовало тотчас же ответа, должно было случиться нечто непредвиденное и чрезвычайное, что этому помешало. Почти весь январь я был занят кропотливой и головоломной работой той степени срочности и неотложности, которая одной уже этой болезненностью «темпов» должна была бы наводить на подозренье, как нечто аффектированное, выдуманное и ненужное. Но этим видом деятельности, напоминающим припадок истерии или умопомешательства, придают серьезность несуществующим сторонам жизни, и в этом назначение большинства учреждений, объединений и т. д. и т. д. По требованию издательства я должен был совершенно переделать «Гамлета» в духе, нелепом, неприемлемом, спорном и никому не нужном. Если бы меня к этому побуждало только давление обстоятельств, я бы, может быть, не поддался. Но я согласился, как под хлороформом, оглушенный отвращеньем. Мне так смертельно не хотелось и не следовало слушаться, что я подчинился. Около месяца я коверкал и портил — плохо ли, хорошо ли, но однажды уже сделанное, лишился сна, перемарал корректурные листы до полной неудобочитаемости и пальцами, разъеденными от красных чернил, подал плод этих трудов кому и куда нужно.

Тут же я узнал, что с красных чернил не набирают, потому что это цвет высшей, неавторской окончательности и пурпур присвоен цензуре, так что всю мою работу будут переписывать сызнова и по-новому перевирать. Когда же ее перезеленили (работа нескольких машинисток, стопы исписанной бумаги на столах), в издательстве пришли к заключенью, что я был прав, раньше лучше было и они восстановят прежний текст. Ну что Вы скажете, Елизавета Михайловна! Ну как не выкатываться после этого на тротуар в падучей?

Дорогая Елизавета Михайловна, когда я читал Ваше святое, полное забот о детях, об Авиновой², обо всем на свете, горящее, одухотворенное письмо, я думал, как хорошо, что на свете есть помехи и препятствия и «бремена» и гири, а то сердца такого выдающегося совершенства, как Ваше, сгорали бы разом при первой жертве собой и мигом подымались бы к небу. Их обществом мы, таким образом, обязаны неустройствам и трудностям жизни. Вот Вам и оправдание зла, которое так не удавалось Лейбницу.

Марии Юрьевне надо знать следующее: 1) Моим именем она может пользоваться где и как ей заблаго-

рассудится, потому что в любом положении, полезном ей, такая ссылка (ничего mot, не правда ли?) будет соответствовать истине.

2) Всюду о ней сказано. 2-я половина XIX века в Учпедгизе с Эйхенгольцем предположение еще очень далекое. Планы хрестоматии еще не рассматривались и не утверждены, то есть еще не образовалось и неизвестно, образуется ли дело, участие в котором ей, наверное, обеспечено.

3) Маршака нет в Москве. По этой же самой антологии не все у меня самого обстояло с Маршаком блестяще, — но это к делу не относится. Я говорил с заместительницей Маршака, от которой узнал следующее. Они работу М. Ю. видели и отнеслись одобрительно и до моих похвал (я им рассказал о вещах, которые читал в позапрошлом году). Через месяц, по возвращении Маршака работы по собиранию материала возобновятся. Наверное, переводы М. Ю. войдут в сборник. *Они собираются заказать ей сами что-нибудь по своему выбору.* Это было сказано в ответ на мои слова о денежной реализации сделанного. Я им еще раз об этом напомним. Указала ли М. Ю., как же с нею сноситься?

Не удивляйтесь, что я неожиданно оборву письмо. Вам давно уже, верно, некогда читать его. Моя мечта показать Вам когда-нибудь Леничку. Целую Ваши руки и еще раз за все благодарю. Привет от всего сердца Ипполиту Васильевичу³.

Крепко Вас любящий и преданный *Б. П.*

217. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

20 марта 1941, Переделкино

Вот Ленечка¹, мое утешенье. — Я тебя не поблагодарил еще за письмо. — И так, «Гамлет» тебе не понравился, несмотря на глубокомыслие твоих оговорок. Но именно за их ласковую шутливость тебе спасибо, за Боречку, которым ты меня назвала.

Недавно я разбирал сундук с папиными набросками, самыми сырыми и черновыми, с его рабочей макулатурой. Помимо радости и гордости, которые всегда выносишь из этих пересмотров, действие этого зрелища уничтожающе. Нельзя составить понятия, не измерив этого в ощущении, разницы несхоластического времени, когда естественно развивавшаяся деятельность человека наполняла жизнь, как растительный мир — простран-

ство, когда все передвигались и каждый существовал для того, чтоб отличаться от другого. Оля, Оля, мое существование жалко и позорно. Часть этой досады тебе знакома по твоему собственному опыту.

Но ты наталкиваешься на препятствия, тебе мешают интриги, у меня же нет этого оправдания. Мне кажется, что у меня давным-давно сами собой опустились руки. Иногда под влиянием этой горечи срываешься. [...] ²

Прости за неожиданную остановку. Дальше следовали совершенно ненужные нескромности.

Лучше вернемся к цели письма. Я хотел сообщить тебе, что Лида ³ родила девочку. У ней два мальчика, это третий ребенок. Что же касается Лени, то, конечно, он вылитая Зина, но не кажется ли тебе, что в то же время он напоминает Женю?

Крепко, крепко целую тебя и тетю Асю. Как ее здоровье? Еще раз горячо тебя благодарю за заботливость в отношении Гамлета. Меня страшно интересует, чем кончится твоя борьба с темными силами в университете.

Твой Боря.

218. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 апреля 1941, Переделкино

Дорогая Оля! Сердечное, сердечное тебе спасибо за твое золотое письмо. Тебя справедливо удивляет, наверное, такое промедление ответом. Между прочим, — как я пишу маме, — я ждал этой эстонской бумаги, которую хотел «почать» письмом к тебе. Кстати, у вас она должна быть в Ленинграде, и если ее не продают при университете, то, может быть, она имеется у писателей. Хочешь, я напишу в ваш литфонд, чтобы тебе отпустили пачку?

Благодарю за чувства, за слова о Лёне, за поддержку, за доброту. Твое письмо пришло в воскресенье 30-го, ты спрашиваешь о Дудлике. Он у меня гостил как раз в те дни, а в воскресенье на даче была и Женя. В прошлом письме я стал было тебе писать про разные интимности и бросил. Не ставь этого ни в какую связь с упоминанием о Жене и Женечке, но в общем клубке недовольств, из которых главное — недовольство зря потраченной жизнью и собою, было у меня и раздражение того свойства, что мне опять захотелось сломать и по-иному сложить свою жизнь. Полтора месяца тому

назад я поссорился и расстался с Зиной. Я немного помучился, а потом вновь поражен был шумом и оглушительностью свободы, ее живостью, движеньем, пестротой. Этот мир рядом. Куда же он проваливается, когда мы не одни? Я преобразился, снова поверил в будущее. Меня окружили товарищи. Стали происходить неожиданности. Так бы и осталось, если бы не удары, посыпавшиеся на Зину.

Во-первых, я не думал, что она примет это все так трагически. Писать и говорить об этом вообще нельзя и нескромно. Но когда к ее горестям прибавилась болезнь старшего мальчика, которого на днях повезут в Евпаторию, выдерживать свое решение стало, может быть на время, невозможно. Я тут помогу ей, а там будет видно. Чего-то забытого и вновь недавно испытанного я назад не уступлю. Я пишу тебе сбивчиво, с пропусками и помарками, и бесчеловечно. Она чудная, работающая, человек со страшно трудною жизнью и такая же рева, как Леничка. Но поговорим о другом. При мысли о Греции у меня сердце сжимается. Мне кажется обстановка опять, как прошлым летом, когда неслись лавиной и брали страну за страной. Дай Бог, чтоб я ошибся. С восхищеньем читал твой рассказ об университетских «Ра» (доктора, профессора). Чем же в итоге все кончится, будут ли они тебя печатать? Ах, как везде все повторяется! Но твое письмо так содержательно, что на него нет возможности ответить сразу. Разумеется, пошли телеграмму нашим, можешь себе представить, как они будут рады. Телеграмма из 25 слов стоит 12 руб. и озаглавливается ELT (вероятно: Europe letter telegram). Телеграфируй по-английски. Адрес: Pasternak, 20 Park Town, Oxford. Если по каким-нибудь внутренним соображеньям раздумаешь, сообщи мне, что хочешь им сказать, и я введу твои слова каким-нибудь Olga reports...* в свою телеграмму. Итак, на днях, может быть, повезу одного из наших мальчиков в Евпаторию. Спасибо тебе еще раз. Ты не можешь себе представить, как ценю я твою поддержку, и — дай мне только уладить годами скопившиеся упущенья, ты увидишь, я не обману тебя. Зина вам кланяется и действительно, когда вернется из Крыма, напишет маме. Крепко тебя целую.

Твой Боря.

* Ольга сообщает (англ.).

Прости за эти пустые записки, столь оскорбительно-торопливые в ответ на твое глубокое, значительное письмо, но это мое проклятье, все второпях и на ходу.

Дорогая тетя Ася!

Какою радостью было для меня и Зины опять увидеть строки, написанные Вашей рукою! Горячо благодарю Вас за сказанное. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы повидали Леню. Он все же очень и в меня. Он страшно серьезный, мрачный, рассудительный и упрямый; чувствительный, обидчивый и пугливый; может, например, перепугаться моли, или куска материи, или клочка мочалы в матрасе и будет плохо спать несколько ночей; видит иногда ужасные кошмары; очень наблюдателен и умен. Фантазиями и страхами он в Жюничку и в свою бабушку с моей стороны.

У Жюнички, при всей тонкости, не было таких нервов. Вы о нем спрашиваете. Он весною кончает среднюю школу и, верно, попадет в солдаты. Я хотел добиться, чтобы он побывал до этого в университете, как бывало в наше время, и сначала хлопоты, как казалось, могли увенчаться успехом. Но для этого пришлось бы идти по очень нескромной линии и выдавать его за вундеркинда, чего на самом деле нет и мне не хотелось. И у Жени осталось такое чувство, точно я недостаточно по отношению к нему заботлив. Пока я жил в городе, т. е. в прошлом году, я туда водил иногда Леничку. Они его очень любят. Но скоро год, как они его не видали. Зина обязательно напишет Вам, тетя, и уже написала бы, но ее надо простить и она достойна сожаленья. К утомленью от зимы у ней прибавилось несколько огорчений, из которых главное — болезнь старшего мальчика. У него костный туберкулез левой ступни, он лежит в гипсовой повязке, и на днях она повезет его в Евпаторию. Если мне будет кого оставить на даче, я для помощи поеду тоже.

Тетя, я обращаюсь к Вам и себе не верю. Разумеется, если бы я по всей серьезности последовал своему чувству, я должен был бы написать Вам нечто бесконечное. Если бы 25 лет тому назад нам сказали, что будет с каждым из нас, мы бы сочли это сказками. И оттого после каждого письма Вам, Оле или самым близким людям остается ощущение промаха и оплошности, точно не сделал чего-то должного или обещанного. Олино письмо так осчастливило меня, доставило такую

радость, что я сейчас же ответил бы ей и только ждал этой эстонской бумаги, чтобы обновить ее письмом к Вам.

Крепко целую Вас.

Ваш Боря.

219. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 мая 1941, Переделкино

Дорогая Оля!

Сегодня я был в городе и узнал от Женички, что Женя в Ленинграде. Наверное, она была у вас, и, значит, по ее возвращении будут новые причины благодарить тебя и писать вам особо. Спешу написать тебе до наступленья этих поводов, в силу более ранних побуждений.

Последние две недели я все боялся, что ты успеешь ответить мне до моего нового письма. Мне хотелось предупредить тебя, а я все время очень занят. Ты должна знать, что я себя чувствую твоим неоплатным должником и чем-то вроде вампира, насасывающегося лучшими соками твоей сердечности и свикшегося с периодичностью этого дарового питания. Береги свои силы, у тебя свой путь, они нужны тебе. Да и просто говоря, ты человек занятой, открытки о здоровье, вот и все, на что я притязаю.

Зимняя переписка с тобою (т. е. твои письма, я не так сказал) сыграла серьезнейшую роль в моих новейших переменах. Речь не о семейных, я напрасно о них заговаривал в прошлом письме. Но спустя почти 15 лет или более того я опять себя чувствую как когда-то, у меня опять закипает каждодневная работа во всей былой необязательности, когда она только и естественна, без ощущения наведенности в фокус «всей страны» и пр. и пр.¹ Я уже что-то строчу, а буду и больше, отчего и такая торопливость тона.

Итак, мне не только хотелось забежать вперед и попросить тебя, чтобы ты не тратилась на меня так безмерно душою и воображеньем, потому что твоя доброта уничтожает меня,— и чем я на нее отвечу? Но это идет и дальше. Например. Как я ни люблю Леничку, но ваше отношенье к нему тоже превосходит все ожидания. Надо умерить и эту волну. Приложенную карточку я посылаю именно потому, что на ней он хуже.

Его обкорнали наголо, он особенно на ней смущен и растерян и больше, чем на первой, похож на меня.

Наконец, главное, это просьба моя и Зины. Приезжай с мамою летом к нам на дачу, устрой это, подумай, как это будет чудесно. Может быть, в середине лета придет и будет с Вами наша лучшая приятельница Нина Табидзе, муж которой в лучшем случае четвертый год в неизвестности, да Леничка, да мы. Правда, подумай.

Не судите Зины. На днях она переедет сюда и напишет, а пока в тоске и хлопотах в городе с другим сыном, целыми днями шьет на нас и плачет, — старший мальчик за месяц потерял пуд в весе. Температура с незапамятного времени все высокая, одним туберкулезом сустава не объяснимая.

Итак, спасибо, спасибо, спасибо. Крепко обнимаю тебя и маму. Тетя Ася права, ругая мой почерк. Но виновата не рука, карандашом я пишу каллиграфически, а не везет мне на перья. Нормальных, не щепящихся и не зацепляющих за бумагу, я уже давно не помню.

Твой Боря.

220. С. Д. СПАССКОМУ

9 мая 1941, Переделкино

Дорогой Сережа!

Отличный пролог¹. Когда на 76-й странице я дошел до слов «Вот кого напоминала соседка», я вздрогнул, и глаза у меня наполнились слезами от смелости фабульного оборота. Этой неожиданностью обозначился разряд, к которому можно было бы отнести произведенья, если бы дальше все шло в том же плане. То же повторилось с переносом к главе «Все кончено» (раздел 1-й), с несколькими кусками той же определенности в Щукинской части. Все это доказывает, какие книги, при твоих силах, ты мог бы писать, если бы только хотел писать лучше всех. Этого желанья недостает данной книге, об этом надо будет подумать в следующей.

Нельзя так далеко уходить от формы, формы изложения, формы образа (увиденного), формы характера (предположенного). Хороша и реальна только Тать-

яна. Только в словах о ней творческая сущность пишущего сосредоточилась до некоторой степени в неизувеченном виде. Если по цензурным соображениям нельзя сказать ничего значащего о течении времени, потому что это история; о характерах, потому что это социология; о природе, потому что это мировоззрение; то лучше ничего не говорить или надо придумать какой-нибудь выход. Это не касается читателя, а только твое дело. Он имеет право быть несправедливым: это искусство.

Ты, наверное, взорвешься и раззнакомишься со мной. Я это дело поправлю по переезде всех корифеев в Переделкино. Оттают твои стихи, приводившие меня в такое восхищенье на зимней даче у Катаева, я почитаю их глазами и напишу тебе.

В сказанном нет ничего обидного. Ты можешь лучше. Зачем так растягивать. Я легко мог бы остаться в расстроганности, заслуженно достигнутый множеством страниц, живо вдобавок тебя вспомнив как близкого и родного. И, наверное, Ланны в восхищенье. Все это глупости. Ради искусства мы должны быть зверьми.

Если бы я не был так занят, я не упустил бы случая утереть нос Коле Тихонову из чувства живейшей преданности ему, ради одного взбодренья атмосферы. Меня просят дать новый перевод леонидзевской поэмы² — автор, издательство и все, что стоит за ними. Я отказался якобы из чувства товарищества, но это чистейшее ханжество.

Крепко тебя обнимаю, Сережа. Я знаю, знаю, знаю, что можно спросить с тебя, и знаю, какую может быть вторая книга. Вот пусть такую она и будет.

Прости за тон, а впрочем, как хочешь.

Твой Боря.

221. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 июня 1941, Переделкино

8.VI.41

Дорогая Оля.

Сердечное тебе спасибо за золотые строки о Жене. Как это все интересно, верно и талантливо, не говоря о том, как это ласково и человечно.

С нетерпением буду ждать Теофраста¹. Страшно заинтригован, потому что просто не представляю себе, как воссоздавать научную древность. Вам, наверное, приходилось создавать свою предположительную терминологию? Чем вы в таком случае руководствовались? Тебе, наверное, пришлось заняться историей естествознания? Как это все замечательно! Ботаника была моей первой детской страстью.

Не сердись, пожалуйста, за отрывочность и запоздалость моих последних писем. Не могу изобразить тебе «многозаботности» и сложности моего существования. Половина таких «ответов» пишется наспех, в виде бессмысленных повторяющихся восклицаний, — это должно раздражать тебя.

Я немного верил в исполнимость твоего приезда с мамой и огорчен тем, как вы обе на это смотрите. Мы бы с обеих сторон друг на друга понасмотрелись, это дает так много!

Нашему больному лучше в том смысле, что, по видимому, жизнь его вне опасности. Теперь это обычный тяжелый случай костного туберкулеза, который потребует какого-то долгого времени для излечения, без дополнительных пугающих догадок.

Если у тебя есть возможность сделать это по телефону, позвони, пожалуйста, когда у тебя будет время, Машуре. Я забыл или не знаю отчества тети Вари², а хотел бы написать ей (адрес, наверное, несложен, просто город Касимов и больше ничего). Может быть, Машура черкнет мне? Тогда как Машуре ответить, чтобы этого не знала тетя Клара? Целую тебя и обнимаю.

Твой Боря

222. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

17 июня 1941, Переделкино

Дорогая Оля!

Браво, браво, горячо тебя поздравляю. Это мог я тебе сказать уже ровно неделю, и только эта подлая жизнь виной тому, что я этого не сделал. Да и сейчас пишу, высуня язык.

Теофраст бесподобен, я и отдаленно не предполагал ничего похожего и проглотил разом, как только Леня подал мне пакет. Я читал его гостям, им наслаждался

бывший у меня в воскресенье Женя, я всем его показываю и, когда буду в городе, хочу, чтобы его прочел философ Асмус. Жаль хоронить это в ученых записках. Если бы существовала по-прежнему «Академия»¹, его надо было бы издать с чем-нибудь параллельным этого же порядка.

Очень хорошо, что вы переводили дословно, — «силен сделать» и т. д. В вашем объеме я, конечно, никогда этого не знал, — речь о твоём «греческом запахе», — но и то немногое, что я когда-то восторженно усвоил, я безбожно перезабыл и из запаха помню только какие-то αλομενης την κεφαλην (обезглавленный) и, как вижу, даже писать разучился.

Все мои восклицанья наравне с документом относятся к твоему увлекательному вступлению. Интереснейшие, блестящие страницы! Замечательные мысли о параллелизме этики и комедии, о видоизменении значений при неизменности смыслового образа или термина, об истории перемещенья прицела (боги, герои, посредственности) и историко-публицистические характеристики времени и обстановки.

Я знаю, что еще больше интересных и поучительных мыслей и неожиданностей почерпну в другой работе, о древнегреческом фольклоре² (как смело сформулирован вопрос гумбольдтоподобной широты и напряженности!), но я ее еще не прочел.

Прости, что я тебя, наверное, невольно обидел, промедлив выраженьями своего восхищенья. По-моему, твоё торжество должно быть полным. Чего ему недостает, чем еще могут быть тут недовольны придиры?

Крепко тебя целую, вновь и вновь благодарю и поздравляю. Мне очень хочется поскорей развязаться с Ромео, есть и еще кой-какие осложненья, вот отчего у меня такой загнанный вид и язык. Если у тебя будет свободное время и возможность, попроси своих учеников достать тебе 6-й, июньский номер «Красной нови»³. Я им дал несколько своих пустяков, написанных о зиме и прошлом лете нынешнею весною. Обнимаю тебя и тетю Асю.

Твой Б.

9 июля 1941, Москва

Дорогая золотая моя Олюшка!

Ну вот, ну как это тебе нравится! Пишу тебе совсем в слезах, но, представь себе, о первой радости и первой миновавшей страсти в ряду предстоящего нам: Зину взяли работницей в эшелон, с которым эвакуируют Леничку, и таким образом он с божьей помощью будет не один и будет знать, кто он и что он. Сейчас их отправляют, и я расстанусь со всем, для чего я последнее время жил и существовал.

Женичка в армии, где-то в самом пекле, в Вашем направлении.

Ты удивишься, но в самых неподходящих условиях, среди трагических разговоров и в бомбоубежище, я вдруг начинаю рассказывать о тебе и твоём Теофрасте, чем привожу всех в восхищенье.

Пиши мне по городскому адресу: Москва 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.

Как здоровье тети Аси?

Крепко целую Вас обеих. Пиши мне, помни меня, пользуйся мной.

Детей отправляют на восток от Казани, на Каму.

Что будет со мною, не знаю. На даче я вырыл глубокую траншею, но дорога эта западная, там будет по отъезде моих пусто и мертво, я, наверное, там не выживу.

Обнимаю тебя. Твой Б.

22 августа 1941, Москва

Дорогая моя Олюшка! Спасибо за письмо и открытку. Крепко обнимаю тебя и маму. Женя в свое время вернулся со своих работ и недавно перевелся и уехал с Женею старшей в Ташкент. Будет большим чудом и счастьем, если эта открытка достигнет тебя. Я совершенно один, и м. б., если будет можно, в компании с двумя-тремя такими же холостяками, проведем своих жен под Казанью. Они все здоровы, но им, как и естественно, очень трудно.

Твой Боря.

14 сентября 1941, Москва

Дорогая Олюшка! Какое время, какое время! Как я тревожусь и болею душой за тебя и тетю! Безумно, я тебе сказать не могу! У вас ужасные бомбардировки. Мы это испытали месяц тому назад. Я часто дежурил тогда на крыше во время ночных налетов.

В одну из ночей, как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 12-ти этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали и опьяняли. Я один, но, наверное, буду зимовать вчетвером с Фединым, Всеволодом Ивановым и Леоновым в одной из наших дач. Женя с Дудликом в Ташкенте. Зина с Леничкой и еще одним мальчиком в Чистополе на Каме, другой ее сын, с костным туберкулезом, на Урале. Было известие из Оксфорда. Все живы.

Твой Б.

8 октября 1941, Москва

Дорогие Олюшка и тетя Ася!

Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченко, Евг. Влад. Пастернак.

Кажется, пока они не жалуются, по слухам, Женя поступил в университет на матем. факультет, а также подвизается в театре. Милый друг, Оля, спасибо за открытку и телеграмму. Можешь себе представить, как я им обрадовался!!! Я доживаю на даче последние дни со старой Жениной работницей: я все-таки навещу Зину, пока не стали реки. Там все спокойно, хотя у Ленички корь и условия в общежитии, где помещается Зина, наверное, трудные. Она недавно страшно сглупила, заплатив в Лит. фонд за себя и детей за все три месяца, несмотря на свою адскую работу при столовой, между тем как ничего не делающие жены богачей-лауреатов живут в долг той же организации, не ударяя пальцем о палец. «Зачем рождается столько детей», — вот последнее Лёнино mot *, привезенное в Москву эвакуированными.

* словечко (фр.).

8 октября 1941, Москва

Дорогие, золотые мои! Вот еще раз на всякий случай адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченки, ей. Какое счастье было бы, если бы вы съехались! Папа и сестры живы, справлялись о нас по телеграфу, — перед отъездом к Зине в Чистополь протелеграфирую им Pasternak 20 Park Town, Oxford о вас и о нас. Конечно, я страшно соскучился по Леничке, он просил Зину, «пусть папа приедет, чтобы не летали бомбы». Вызовы Зины все требовательнее и ультимативнее, мне хочется съездить к ней. Если бы случилось такое чудо и вы проездом ли или в виде окончательной цели оказались в Москве как раз в мое временное отсутствие, тут будут всякие возможности, начиная с квартиры, некоторого топлива, некоторого количества картошки и капусты и т. д. и т. д. в ведении Жениной старой работницы, Елены Петровны Кузьминой, Тверской бульв., 25, кв. 7, Е. В. Пастернак. Может быть, у ней будет жить и Ахматова, вас это нисколько не стеснит, это хороший и простой человек.

228. К. И. ЧУКОВСКОМУ¹

12 марта 1942, Чистополь

Дорогой Корней Иванович!

Благодарю Вас за помощь Жене. Она мне писала, как много Вы для нее сделали². Очень бы мне хотелось знать, как Вы живете и что делаете, как здоровье Марьи Борисовны и Лидии Корнеевны и что слышно о Коле и Борисе³. Убедите, пожалуйста, Лидию Корнеевну написать мне несколько строк только об этом, и постоянный личный мой долг Вам еще возрастет, а ей я напишу, что она захочет.

Мы и так тогда собирались навестить наших детей и женщин⁴, к этому приказ об эвакуации, мы знали, что связь Чистополя с миром на шесть месяцев вымерзает, вот я все это и принял, и в рамках этих обстоятельств надо было вписать какой-нибудь окупающийся труд, длительный и разумный. Я перевел «Ромео и Джульетту» и должен буду сделать избранного (своей работы)

Словацкого⁵. Ко времени, когда я с ним справлюсь, река оттает, связь с миром возобновится, и надо будет подумать о дальнейшем. Но так я чудесно настроен, что с верою буду двигаться навстречу этим размышленьям.

Часть нашего бабьего царства, чтобы не сказать стада, воеет по московским горшкам, причем по системе нынешних софизмов этому вою приписывается высокий смысл, и тогда им подтягивают мужья. Для меня эти горшки тоже символ того прошлого, с которым лично я расстался навсегда и в которое для меня нет возврата. Я, может быть, поеду в Москву по делам и повезу туда рукописи и свою веселую дерзость.

Сейчас получено известие, что новые обитатели городка писателей привели все в совершенное разрушение и загадили, переносили вещи из дачи в дачу, раскурили Павленковскую библиотеку, трижды загорались дачи Сейфуллиной, Кассиля и Ивановых⁶. Первые удалось отстоять, а Ивановская сгорела. Мне жалко только папиных работ, но ведь я ко всему был готов и все предвидел. Не правда ли, умирительно! А Вы говорите — Ясная Поляна. Помните, Вы мне рассказывали про Куоккалу?

Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть⁷, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: «Когда кончится это толстовское юродство?» И вот вдруг Лев Николаевич попал в герои.

В перечне вещей, вывезенных (а не уничтоженных) из Я. П., числится *копия* с папиной «Наташи на балу» к «Воине и миру». Перед самым отъездом из Москвы я обратился в *нынешнюю*. Третьяковскую галерею с просьбой сберечь сундучок папиных записных книжек, лучшего, что он за свою жизнь сделал, с целою, между прочим, бездною этих самых Наташ в оригинале, — надо было видеть, с какою миной было отказано такому ничтожеству, как я, по поводу такого ничтожества, как отец мой. А Вы говорите — Ясная Поляна.

Что Вы знаете о несчастной Жене Афиногеновой?⁸ Я написал ей в Куйбышев по известии о смерти Александра Николаевича, событии странном и которое кажется почти вымышленным или подстроенным, по неожиданности, нарочитости и символической противоречивости. Там были приветы и выражение соболезнования Антонине Васильевне и Светлане⁹, в Ташкенте ли они и как они?

Я бы Вам много написал интересного, но боюсь вдаться в бесконечности. Естественно сердечный и естественно понятный привет всей семье Вашей, а то бы я не томил Вас шестую страницей. Поцелуйте, пожалуйста, Анну Андреевну¹⁰, независимо от того, как Вы это делаете, сами или через посредника. Крепко целую Вас.
Ваш Б. П.

229. Т. В. и В. В. ИВАНОВЫМ¹

12 марта 1942, Чистополь

12.III.42

Дорогие Тамара Владимировна и Всеволод!

Удивительно, сколько времени лишаю я себя удовольствия написать Вам. Делал я это ради работы, и это стоило мне большой выдержки. Каждый раз, как тут являлось что-нибудь новое, мне всегда хотелось записать это для Вас, и попутно и для себя занести на память. От этого я отказывался.

Так, мне хотелось написать Вам о великолепии здешних холодов, которое все заметили. В ту войну я две зимы прожил на Урале и в Вятской губ. Всегда кажется, в особенности когда грешишь искусством, что твои воспоминания прикрашены и разрослись за тридцатилетнюю давность. Нынешней зимой я убедился, что гиперболизм в отношении впечатлений того времени был уместен и даже недостаточен.

Потом, когда сложилась наша правленческая пятерка², мне хотелось рассказать Вам, и в особенности Всеволоду, о наших попытках заговорить по-другому, о новом духе большей гордости и независимости, пока еще зачаточных, которые нас пятерых объединили как по уговору.

Я думаю, если не все мы, то двое-трое из нас с безличьем и бессловесностью последних лет расстались безвозвратно. Все очень постарели и похудели, а здоровье Федина,— по-прежнему моей старейшей привязанности, даже внушает опасенье, но нравственная новинка, о которой я говорю, праздником живет в нас и молдит против Москвы.

Смело держится и интересно работает Асеев. К. А. пишет дальше свою книгу о Горьком, причем что ни новая глава, то все лучше. Мы устраиваем по средам

литературные собрания. Федин открыл их чтением своей книги ³, прошедшим с огромным успехом. На них с бесподобным блеском выступает Леонов, и т. к. в компании нет Ник. Федоровича ⁴, то иногда позволяю себе говорить и я.

Кстати, поклон ему. Я нарочно не вмешивался в Женины неурядицы, чтобы не осложнять наших и без того странных отношений с ним. По словам Жени, всем хорошим, что она видела в Ташкенте, она обязана Вам. Прибавлять ли, как я Вам за это признателен?

Другим основанием для благодарности,— Адик, которому Вы пишете. Весной мы с Зиной к нему съездим. Я в вечном страхе за него. Боюсь, его не спасти. По отзыву старшего врача, с кот. я списывался, нога его в плохом состоянии, и возможность ее ампутации не устранена. Но это еще не худшее. Я думаю, туберкулез позвоночника, который у него открылся, лишь новая и следующая ступень общего его разрушения. Ничего этого он не должен знать. Мы скрываем от него также судьбу Генр. Густ-ча ⁵, но, наверное, я ему наконец сообщу правду (он разделил судьбу Ив. Капитоныча ⁶ и Всев. Эмил. ⁷, если Вы еще не знаете), чтобы мальчик не думал, что отец убит во время бомбардировки.

Как ни скромно и немногочисленно сделанное мною незадолго до войны и в первые ее месяцы, ничего из этого не попадает в печать, и дальше это только будет ухудшаться. Итак, я снова волей-неволей сведен к переводам. Наряду с оконченной «Ром. и Джул.» я должен буду приготовить избранного Юл. Словацкого. Когда я его окончу, я, может быть, повезу рукописи продавать в Москву. Мне хочется сделать это до навигации, потому что, не предрешая этим конечного исхода войны и судьбы Москвы, я думаю, что вместе с пароходным сообщением осенние волны на Восток повторятся, и через месяц-полтора двигаться навстречу этому потоку будет невозможно. Разумеется, как бы ни сложилось мое пребывание в Москве, если я туда попаду (я также хочу постараться попасть на фронт), я потом вернусь к Зине и детям.

Я иногда встречаю Зин. Влад. и Марию Потаповну, они себя хорошо чувствуют, у обеих превосходный вид. Вас же всех и еще чаще вижу в мыслях, причем Таня и Кома всегда в движении, а Вы оба и Миша ⁸ стоите или сидите.

Что-то важное и интересное надо было сообщить Вам, но это-то именно я и упустил, и не могу вспомнить. От души желаю Вам всего лучшего.

Преданный и любящий Вас

Б. П.

Кланяйтесь, пожалуйста, семьям Чуковских и Погодиных и, если известите меня о получении письма, сообщите, что и как Ахматова, а также приложите ее адрес.

Замечательную Вашу поздравительную телеграмму (равно как и Женину) получил, восхищен и благодарю. Вообще я, наверное, о многом забыл, не сочтите за невниманье. И весь Чистополь кланяется Вам, Вам обоим и детям.

230. А. Л. ПАСТЕРНАКУ

22 марта 1942, Чистополь

Дорогой Шура! У меня руки опускаются при мысли, что писать тебе все равно что бросать письма в Лету и что от тебя как от козла молока. Поэтому я ограничился открыткой, но ведь сердце не камень: мне надо так много сказать тебе!

Ваше существование я рисую себе в самых черных и подходящих красках, и каждую ночь дрожу за вашу жизнь. Эти ужасы холода и голода, это ужасно, да и только ли это одно! Я знаю, что, кроме конца и гибели, практически ничего ждать нельзя, — кто же мог думать, даже в самые страшные минуты, что тупоумие так кристаллически верно себе, так минерально непреходяще и настолько прочнее золота и бриллиантов! Я знаю, что ни о чем разумном нечего думать, и самые здравые заботы перед лицом нелепости бессмысленны. Но главные мои заботы тоже безумны и лишены логики, как и подстерегающая нас фатальность. Эти заботы — папины вещи. Разумеется, я не смею мечтать об их сохранении, это было бы чудом, моя мечта скромнее, я желал бы для них достойного конца без унижения. Мне хотелось бы, чтобы их лизнул язык чистого огня, а не ночной факел говночиста. Когда в числе картин, увезенных из Я〈сной〉 П〈оляны〉, оказалась копия папиной «Наташи на балу», это было таким удовлетворе-

нием, а вот что наверно все в Переделкине погибло в немудреных руках освободителей человечества, осе- ненных еще более гениальной орифламмой, это позор и горе, и с нашей стороны это непростительно. А это верно так, судя по тому, что Павленковскую библиотеку в числе многих тысяч томов раскурили, а Ивановскую дачу сожгли. Если бы тебе когда-нибудь посчастливилось попасть туда, надо поехать с Еленой Петровной¹ и захватить с собою денег на разные чаи. Там осталась Жоничка в платице, обрисовкой которому служит чистый серый пробел картона, там из сундука, прикрытого гвоздем, пропущенным через ушки замка и накладки, надо взять все папины масляные этюды. Может, явилась бы возможность, если это еще сохранилось, снести все это в одно место к Геннадию Александровичу Смирнову² или еще как-нибудь отделить от расквартированных в даче частей. Там в чулане — связка литографий «Толстой за работой» между двумя фанерами. И всюду рассовывай деньги, я еще пришлю их тебе: эти произведения, следы этих рук все-таки высшее, что мы видели и знали, это высшая правда нас самих, меня и тебя, незаслуженно высокий вид благородства, которому мы причастны, это наше дворянство: надо позаботиться о его *достойном погребении*. Но Переделкино далеко и трудно: я успел увезти только часть, а остальное бросил на волю божью; может быть, чудом это и сохранится. А вот в Москве все из Лаврушинского надо перевезти к тебе или на квартиру к Жене. Там на 9-м этаже в моей комнате шкаф, полный книг. Ты знаешь, как это может быть дорого писателю. Много я приобретал потом, не жалея денег. И вот можешь бросить это все или возьми себе, для Феде³. Но сундучки с папиными записными книжками (между стеной и шкапом), папку с большими картонами и все, что там есть папиного, надо оттуда вывезти, потому что квартиры займут, и займут варвары. Это не дача, это в пределах человеческих сил: бери в помощницы Петровну, если мало, я спишусь с другими и достану тебе помощников.

Знаешь ли ты что-нибудь о папе? Живы ли тетя Ася и Оля?⁴ Что известно о Коле⁵ и куда ему писать? Когда наконец ты или Ирина⁶ напишете несколько человеческих слов о себе и детях!

Теперь несколько слов вкратце о нас. На одной из улиц, считающихся центральными, живем отдельно:

в доме № 75 — я, в доме № 63, где помещается детдом Литфонда, — Зина и Леничка, еще ниже, в Доме крестьянина, Стасик⁷ со старшим интернатом Литфонда. Леничка туповатый молчальник вроде Стасика, милый дичающийся малый, в котором я души не чаю и которого вижу очень редко. Жил я разнообразно, но в общем прожил счастливо. Счастливо в том отношении, что (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), насколько возможно, я старался не сгибаться перед бытовыми неожиданностями и переменами и прозимовал в привычном труде, бодрости и чистоте, отвоеванных хотя бы у крестьянского хлева. Меня в этом отношении ничто не останавливало. Три дня я выгружал дрова из баржи и сейчас сам не понимаю, как я поднимал и переносил на скользкий берег эти огромные бревна. Надо было, и я чистил нужники и наколол несколько саней мерзлого человеческого кала. Я тут бреюсь каждый день, и круглый день в своей выходной черной паре, точно мне все это снится, и я уже и сейчас испил это все до дна и нахожусь где-нибудь в Парк-Тауне⁸. То вдруг в столовой подавали гуляш из баранины (хотя суп представлял подогретые помои), то там принимались кормить неочищенными конскими внутренностями, — я это называл гуляшем из конюшни, то вдруг все прекращалось и я недели существовал кипятком и черным хлебом, то — о чудо! — меня принимали на питание в интернат, — то столь же неожиданно с него списывали, — но как бы то ни было, это, по счастью, никогда не достигало остроты бедствия. Никогда это не омрачало мне дня, никогда не затмевало мне утреннего пробуждения с радостной надеждой: сегодня надо будет сделать то-то и то-то, — и благодарного сознания, что Бог не лишил меня способности совершенствовать свое старанье и одарил чутьем того, что именно есть совершенство. Я перевел тут и отделал «Ромео и Джульетту» именно в том духе и вкусе, как мечтал и задумывал, теперь сделаю избранного Словацкого, — работу неизмеримо менее интересную, и два больших заказа, которые я привез сюда, — исполнены. Как я уже писал тебе, очень вероятно, что я постараюсь скоро попасть в Москву. Но в Нижнем Уфалее на Урале лежит и, видимо, неизлечимо угасает Адик⁹ с ухудшившимся туберкулезом ноги и новым туберкулезом позвоночника. Надо будет обязательно к нему съездить, это сильнейшее мое желанье. Как совместятся и разместятся эти поездки, будет еще видно.

Несказанно облегчает наше существование та реальность, которую мы здесь впятером друг для друга составляем, — я, Федин, Асеев, Тренев и Леонов. Нам предоставлена возможность играть в Союз писателей и значиться его правлением, и так как душа искусства более всего именно игра, то давно я ни себя, ни Леонова и Федина не чувствовал такими прирожденными художниками, как здесь, наедине с собой за работой, в наших встречах и на наших литературных собраниях. Мы здесь значительно ближе к истине, чем в Москве, где в последние десятилетия с легкой руки Горького всему этому придали ложную серьезность какой-то инженерии и родильного дома или богадельни. В нравственном отношении все сошли с катушек, сняли маски и помолодели, а физически страшно отощали и некоторые, как, напр., Федин, прямо пугают своей болезненной худобой.

Женя живет в Ташкенте в одном доме с Ивановыми (семьей Всеволода Иванова). Некоторое время им было трудно, а теперь стараниями Ивановых и Чуковских все улажено. Женек недавно поступил в военно-инженерную академию. Я вас очень прошу передать мои приветы всем, кто мне дорог и кто придет вам на память: всем вашим, Зине и Анне Федоровне, Ольге Александровне (здорова ли она?), Эттингеру (жив ли он?), Елене Петровне, Милице Сергеевне¹⁰, Асмусам, всем. Напишите мне искренне, Вы, Ирина, и ты, Шура, что между нами произошло и в какой вы на меня обиде, — ваше молчанье уму непостижимо! Не собирайся долго отвечать мне, Шура, а поезжай за сундучком в Лаврушинский и напиши мне о себе и делах прямо и основательно. Крепко, крепко вас целую.

Ваш Боря.

231. Т. В. и В. В. ИВАНОВЫМ

8 апреля 1942, Чистополь

8.IV.42

Дорогие Всеволод и Тамара Владимировна!

Сегодня я окончил вторую заказную работу (перевод избранного Ю. Словацкого) и, хотя это черновик, требующий отделки, решил отдохнуть и весь день доставляю себе удовольствия. Я расчистил дорогу к сараю, заваленному снегом до крыши, сходил на почту отпра-

вил Адиду деньги, прозевал раздачу хлеба и остался на бобах (какое неподходящее выражение! Кто бы не согласился испытать его фигуральность в грубейшей дословности?). Пока я не взялся снова за работу, я хочу написать Вам и Жене.

Повода два. Мне хочется сообщить Вам одну радость и посоветоваться с Вами и Всеволодом насчет одного дела. Итак, сначала первое.

Леонов прочел нам новую замечательную пьесу¹, неподдельную и захватывающую почти на всем протяжении, кроме обычного и немного казенного конца. Действие в городке за несколько часов до занятия неприятелем и во время занятия, угловатые и крупные характеры, предательства, «метаморфозы», странные и отталкивающие загадки с непредвиденно высоким разрешением, мертвецы, бывшие люди, немецкое командование, все выпукло, близко, отрывисто и страшно, и какой-то не свой, комитетский конец², неправдоподобный не по благополучью победоносного исхода, а по душевной незначительности, которой он обставлен, в особенности после такой густой и горькой вязи, как в начале.

Между прочим, после чтения, из отчета Живова в «Лит. и Иск.»³ (кто-то привез с собой газету) мы узнали о Толстовском Грозном. Это немного отравило радость, доставленную Леоновым. Все повесили головы, в каком-то отношении лично задеты. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так разно противопоставленных Толстых и Иванов и Курбских. Итак, амфир всех царствований терпел человечность в разработке истории, и должна была прийти революция со своим стилем вампир, и своим Толстым, и своим возвеличением бесчеловечности. И Шибанов нуждался в переделке!⁴ Но это у Вас все рядом, Вы, наверное, другого мнения, и Всеволод мне напишет, что я ошибаюсь. Я же нахожу это поразительным, как поразительны и Эренбург и Маршак⁵, и не перестаю поражаться.

Мне представляется необъяснимой и недоступна эта слепая механическая однонаправленность при сжатьи и разжатьи, как в машинках для стрижки, это таинственное расположение резакон, которое толкает вперед рывками и захватами, независимо от того, говорят ли наблюденья за или против, и окружены ли вы светом или тьмой. Эта неспособность оглянуться на себя

и свое! Или это гениальные бессмертные комики, и мы не умеем прочесть их эзоповской иронии и окажемся в дураках, принимая все за чистую монету? Но простите, это — пустословье, я заговорился.

Теперь другое. Вот о чем я хотел посоветоваться. Здесь становится голодно. Время передвижений, произойдут перемены и перемещения. Может быть, следует подумать и что-то предпринять. Зина стала подумывать о переезде нас всех к Вам в Ташкент. Эта мысль укореняется в ней все глубже, я же пока ее и не обсуждал, таким она мне кажется неисполнимым безумьем. Прежде всего меня пугает переезд. Ничего ни в Москве, ни в Можайском направ. я так не боялся, как железнодорожной сыпнотифозной вши. Во мне утвердилось представление, что это нас не минует. Потом мне кажется, что каким-то ходом личных настроений и событий мы на лето будем так же разлучены с Вами, женами и семьями, как прошлый год, и при этом условии мне хотелось бы Зину и детей оставить в знакомом и изученном месте, благодаря множеству положенных усилий приобретшему характер лагеря или стана. Даже заикаться об измене Чистополку значит колебать выдержку других колонистов и расшатывать прочность самой колонии. Я знаю, что отъезд двоих или троих из нас с семьями на Восток потянул бы за собой остальных, а разъезд нас, верхов и головки, сделал бы гадательным существование интерната и детдома, и все развалилось бы. Итак, нужно ли и мыслимо ли перевозить оба дома Литфонда в Ташкент, для того чтобы я и Зина позволили себе это в отношении Стасика и Лёни? Здесь довод личный и общий совпадают и делают этот вопрос в моих глазах праздным и неосуществимым. И хотя это так, все же, если у Вас будет время, напишите мне свои соображения на этот счет, цены, предположительные продовольственные виды на будущее, размеры эпидемии у Вас, вероятный и предположительный тип нашего поселения, моего заработка, бытового устройства и т. д. и т. д.

Простите, что заканчиваю неряшливо и второпях. Если будете писать о Ташкенте, будьте трезвы и объективны. — Простите за самонадеянность, но я верю, что с разной силой, но одинаково искренно Женя, Вы и Погодины были бы нам рады в Ташкенте, но дело не в этом.

От души всего лучшего Вам со Всеволодом, детям, Марусе и всем знакомым.

Ваш Б. П.

18 июля 1942, Чистополь

Дорогая Оля! Сейчас твоя открытка попала в такую обстановку, что я, не тратя ни минуты, отвечу тебе. Воскресенье, семь часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня Зина, а в десять часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме, где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что иначе по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в сильное солнце. Я встал в шесть часов утра, потому что в колонке нашего района, откуда я ношу воду, часто портятся трубы, и, кроме того, ее дают два раза в день в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер, которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу, ими полон город.

Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый «Парком культуры и отдыха», а другое — в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов, и где голосят на крик, когда судят кого-нибудь из здешних.

Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населению, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофманского «Щелкунчика». В окно я увидел почтальоншу, поднимающуюся на крыльцо нарсуда, и узнал, что она бросила к нам в ящик открытку.

Я без всякого препятствия взялся сейчас за письмо вследствие раннего часа, тишины и живописности кругом. Телеграмма от тебя была для меня понятным потрясеньем, я плакал от счастья. Но я, наверное, долго бы не мог преодолеть робости и удивленья перед мерой перенесенного вами и еще переносимого, и долго бы не мог написать тебе, потому что никакие воскли-

цанья не казались бы мне достаточными для их выраженья.

Когда я сюда приехал в конце октября, я почему-то надеялся, что вы попадете к Жене в Ташкент. Я ее о вас запрашивал. Но дело в том, что и от самой Жени я не имел ни слова первые четыре месяца, и письма оттуда пошли только с конца января. Мне помнится, что я тебе писал перед отъездом из Москвы или вскоре по приезде в Чистополь, и мне казалось, что Зинин адрес (Чистополь, детдом Литфонда) тебе известен. Главное же, я в глубине души так же, вероятно, не допускал мысли, что вы в Ленинграде, как тебе не верилось, что Шура остался в Москве. Наконец, последнее: только в марте я узнал на практике, что из отрезанного Ленинграда и туда бывает почта, что в природе это имеется. Но даже и тогда мне казалось дерзостью покушаться писать на ваш обыкновенный адрес, суеверный страх того, что ваша квартира опустеет от одной смелости допущенья, будто в ней по-старому может быть кто-нибудь, чтобы отпирать почтальону. И я наводил о вас справки через С. Спасского и, с помощью ленинградца Шкапского, живущего здесь, собирался запрашивать о тебе Ленинградский университет. Только случайно естественнейшая мысль пришла мне в голову. Дай-ка напишу я им все-таки простую открытку.

Вот, в конце концов, и все. Продолжается хорошо тебе известная жизнь с видоизмененьями, какие внесла в нее война. Пока я был в Москве, я с большой охотой и интересом разделял все новое, что сопряжено было с налетами и приближеньем фронта. Я очень многое видел и перенес. Для размышлений, наблюдений и проявления себя в слове и на деле это был непочатый край. Я пробовал выражать себя в разных направлениях, но всякий раз с тою долей (может быть, воображаемой и ошибочной) правды и дельности, которую считаю для себя обязательной, и почти ни одна из этих попыток не имела приложенья. Между тем надо жить.

Сюда я привез с собой чувство предвиденности и знакомости всего случившегося и личную ноту недовольства собой и раздраженного недоуменья. Пришлось опять вернуться к вечным переводам. Зиму я провел с пользой и приготовил для Гослитиздата избранного Словацкого¹, а для Комитета по делам искусств перевел «Ромео и Джульетту». Теперь я свободен. Для возвращения в Москву требуется правительственный вызов.

Их дают неохотно. Месяц тому назад я просил, чтобы мне его выхлопотали.

Пройдет, наверное, еще месяц, пока я его получу. Тогда я поеду в Москву из целого множества естественных чувств, и между прочим, любопытства. Пока же я свободен и торопливо пишу, переписываю и уничтожаю современную пьесу в прозе², которую пишу исключительно для себя из чистой любви к искусству.

Что-то не выходит у меня письмо к тебе, и чувствую я (такие ощущения никогда не обманывают), читаешь ты его с холодом и отчуждением. Все мои тут и в Ташкенте здоровы, но, конечно, одна кожа да кости, феноменально похудели. Хорошо еще, что тут хлеба досыта, но это почти и все. Зинин старший мальчик (с костным туберкулезом) в санатории на Урале, она его не видела около года, собирается к нему. Леня, которому я сегодня сказал, что получил от тебя открытку, помнит тебя по прошлогодним рассказам. Крепко обнимаю тебя и тетю Асю. Что же ты думаешь все-таки делать?

233. Е. В. ПАСТЕРНАК

16 сентября 1942, Чистополь

Дорогая Женья! Получил твое письмо, спасибо. Действительно, я не писал вам вечность.

Зина ездила к Адику. Ему, наверное, придется все-таки отнимать ногу ниже колена. В то же самое время выпустили на свободу Генриха Густавовича. Они встретились в Свердловске, где он, наверное, будет преподавать в консерватории. Но Адика Гаррик еще не видал, это часах в трех от Свердловска, и я не знаю, насколько он располагает свободой.

Наверное, на днях я поеду в Москву. Мне туда совсем не надо и не особенно хочется. Но прошлой осенью у меня были силы для проведения своей линии. Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого не сделали. Все осталось по-прежнему — двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь. В такой безоружности протянуть в чистопольской бабьей пошлости еще зиму будет трудно. Вот отчего я еду. Но как раз сейчас что-то могло бы меня и удержать.

Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел «Ромео и Джульетту», избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму. Я подписал договор на сочиненье современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержание. Уже подписывая его, я проговорился, что буду писать вещь по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны. Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это окончательно развязало мне руки. Современные борзописцы драм не только врут, но и врать-то ленятся. Их лжи едва-едва хватает на три-четыре угнетающе бедных акта, лишенных содержания и выдумки. В этом отношении Тренев написал тут вещь до ужаса слабую¹, и Федин, человек, которого я любил и, наверное, люблю больше всех на свете, после поразительных воспоминаний о Горьком написал четырехактную пьесу² с мертвыми словами и страстями, содержание которой может уместиться в спичечной коробке. Только Леонову, благодаря безмерности его дарования, удалось написать талантливую и блестящую неправду³, которая очаровывает на протяжении всей завязки и разочаровывает только к концу.

Исходя из этих наблюдений, а также из сознания практической беспомощности моего труда на ближайшее время, я решил не стеснять себя размерами и соображеньями сценичности и писать не заказную пьесу для современного театра, а нечто свое, очередное и важное для меня, в ряд прошлых и будущих вещей, в драматической форме. Густоту и богатство колорита и разнообразие характеров я поставил требованием формы и по примеру стариков старался черпать из жизни глубоко и полно. Рано говорить о том, насколько я со всеми этими намереньями справлюсь. Я написал первый акт этой сложной четырех- или пятиактной трагедии. Он в четырех длинных картинах со множеством действующих лиц и сюжетных узлов. Драма называется «Этот свет» (в противоположность «тому»), ее подзаголовок «Пушинская хроника». Первая картина — на площади перед вокзалом, вторая в комнате портнихи, из беспризорных, близ вокзала, третья в бомбоубежище этого дома, четвертая — картофельное поле на опушке Пушинского леса в вечер оставления области нашей армией.

Пока вещь не дописана вся, не говори о ней, пожалуйста, никому. Я хочу попробовать продолжать ее в Москве. Не знаю, насколько это будет выполнимо. Сейчас, издалека, ни с кем не списавшись и не проверив на месте, предполагаю поселиться у тебя, если позволит состоянье комнаты и Елена Петровна⁴ согласится мне помогать. На всякий случай вот вам адрес Асмусов: Москва, Zubовский бульвар, 16/20, кв. 45. Как только установится мой собственный, я тебе сообщу. По-видимому, зимовка в Москве будет не легче Ленинградской. Если по приезде выяснится, что осесть и обосноваться с надеждою поработать невысказанно, я вернусь в Чистополь. Перевожу тебе тысячу рублей. Как только достану в Москве, переведу столько же. Зина, Леня и Стасик остаются в Чистополе. Крепко тебя и Женичку целую. Спасибо ему за открытку, я, кажется, на нее не ответил.

Ваш Боря.

Если я вас сейчас поздравлю телеграммой с его рождением, она к 23-му не дойдет, об этом надо было подумать раньше. С тем большей силой желаю вам обоим всего лучшего.

234. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

5 ноября 1943, Москва

Дорогие тетя Ася и Оля!

На днях Юдина нашла и вновь подарила мне вас¹. В прошлом году я послал вам несколько писем и телеграмм, оставшихся без ответа. Из последнего твоего письма, Олюшка, я знал, что вы двинулись было из Ленинграда и опять туда вернулись. Больше известий от вас не поступало, а запросы оставались без ответа. Но не я один был в отношении вас в таком положении. Факт близкого нашего родства, очевидно, широко известен, что доставляет мне всегда живейшую радость. В прошлом году, когда как раз я терзался неведением о вас, в одном издательстве ко мне подошла незнакомая и очень милая молодая женщина, сказавшая мне, что она твоя ученица, по фамилии, кажется, Полякова, и что после твоего несостоявшегося выезда из Ленинграда она потеряла твой след. Вскоре с теми же сожалениями ко

мне обратился проф. Б. В. Казанский. В последней открытке, которую я тебе написал, я упоминал тебе с радостью, как тебя знают и любят. В результате вашего молчания я пришел к нескольким допущеньям, из которых самым легким было предположение, что вы все-таки выбрались в какую-нибудь сибирскую глушь. Я был уверен, что вас в Ленинграде нет, а вашего дома (раз письма не находят вас) и подавно: что его снесло снарядом. Розыски вас я приостановил в конце декабря. Нынешним летом Казанский посоветовал мне написать в Центроэвак в Бугуруслан, и я этого не сделал только потому, что были едущие в Ленинград и я надеялся запросить через них университет. Вы для меня были настолько потеряны, что мне трудно даже было скрывать это в телеграммах от папы.

В конце декабря я опять уехал от холодов к Зине и Леничке в Чистополь на елку; ведь он родился как раз в новогоднюю ночь. Я очень полюбил это звероподобное пошехонье, где я без отвращения чистил нужники и вращался среди детей природы на почти что волчьей или медвежьей грани. Все-таки, элементарные вещи, как хлеб, вода и топливо были как-то достижимы там, не то что в многоэтажных московских ребусах, в которых зимами останавливаются все токи, как кровь в жилах, и которые в меня вселяют мистический ужас. Я там опять прожил несколько месяцев и перевел «Антония и Клеопатру»². Их печатают, а «Ромео и Джульетту», мою прошлогоднюю работу, я, может быть, пришлю тебе до Рождества. Когда я летом прошлого (42-го года) приехал в Москву, я столкнулся с полным нашим разореньем, из которого потрясла меня только почти полная гибель папиных эскизов и набросков, а частью и законченных вещей, которые у меня имелись. Я уезжал среди паники и хаоса октябрьской эвакуации. Мы с Шурой ходили в Третьяковскую галерею с просьбой принять на хранение отцовские папки. Никуда ничего не принимали, кроме Толстовского музея, который далеко и куда не было ни тележек, ни машин.

У нас на городской квартире (восьмой и девятый этаж) поселились зенитчики. Они превратили верхний, незанятый ими этаж в проходной двор с настежь стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком я виде все там нашел в те единственные 5—10 минут, что я там побывал. В Переделкине стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе

большой сундук со множеством папиных масляных этюдов, и вскоре Ивановская дача сгорела до основанья. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаньями. Я не мог заставить себя пойти на свою городскую квартиру еще раз и прожил осень и половину прошлой зимы, не побывав ни разу в Переделкине, где прожил лучшее время с Леничкой, которое любил и где сосредоточенно и в тишине работал, хотя знал, что там живет Ленькина няня и что туда надо было бы съездить. Всю зиму (до Чистополя) я кочевал, некоторое время жил у Шуры, а больше у больших своих друзей профессора В. Ф. Асмуса и его жены, где зажился и сейчас и откуда пишу тебе. В июле я привез в это разоренье Зину с ее сыном Стасиком и Леничкой. За старшим, Адрианом, с ампутированной ногой (костный туберкулез), она недавно со страшным трудом ездила в Свердловск и привезла полуумирающим. Он под Москвой в санатории. Страшных трудов стоило выселить из квартиры зенитчиков. Это удалось только на прошлой неделе. Зина героически перебралась в этот неотопленный пустырь постепенно обживать его. Ее другой сын, Стасик — живет у знакомых близ Курского вокзала, она в Лаврушинском, я у Асмусов близ Киевского, Леничка со своей прежней няней, странной, чтобы не сказать больше, женщиной, не чающей в нем души, живет у ней на кухне нашего пустого дома в Переделкине. Я надеюсь, что холода в конце концов всех нас туда загонят. Когда Леня тихо подходит к моему столу во время моей работы, чтобы посмотреть, как это мне помешает (как теребят корочку на губе), это на меня действует как присутствие музыки. В конце концов, он самое крепкое, что связывает меня с жизнью. Кроме того, зима в лесу, что может быть проще в смысле разрешения дровяной проблемы. Если мы там очутимся, я примусь за «Лира». Мне заказали избранного Шекспира: «Лира», «Макбета» или «Бурю», и две хроники, «Ричард II» и «Генрих IV».

Нам сейчас очень трудно, ни угла, ни обстановки, жизнь приходится начинать сначала. В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными (армия была все время в передвижении), я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я опять туда поеду. Посылаю тебе книжечку³, слишком тощую, очень запо-

здалую и чересчур ничтожную, чтобы можно было о ней говорить. В ней есть только несколько здоровых страниц, написанных по-настоящему. Это цикл начала 1941 г. «Переделкино» (в конце книги). Это образец того, как стал бы я теперь писать вообще, если бы мог заниматься свободной оригинальной работой. Это было перед самой войной. Ты догадываешься по почерку и стилю, что пишу я страшно второпях. Я очень много работаю эти недели (жизнь у Асмусов в этом отношении очень благоприятна: он мне уступил свой кабинет, я им только что много о вас рассказывал. Она — Ирина Сергеевна Асмус, моя приятельница, в ней есть какие-то тети Асины черточки). Я очень много работаю. Мне хочется пролезть в газеты. Я поздно хватился, но мне хочется обеспечить Зине и Леничке «положение». Зина страшно состарилась и худая, как щепка. Приехали из Ташкента Женя с Женечком. Он учится в Академии танкостроения, лейтенант (20 лет), на втором курсе, на хорошем счету, любим товарищами. Я пишу, перевожу, сочиняю поэму на современную тему с войной⁴ и буду ее печатать в «Знамени» и «Правде». Папа и сестры с Федей и семьями живы и благополучны.

Без конца целую и обнимаю вас.

Ваш Боря.

235. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 ноября 1943, Москва

12.XI

Дорогая Олюшка! Поздравил папу и сестер с октябрьскими днями и в телеграмме сообщил о вашем здоровье. Получил ответ: Thanks often read about you heard transmission Moscow celebration rejoice with you long live our great fatherland all well father Pasternaks Slaters*.

Мне очень трудно бороться с царящим в печати тоном. Ничего не удастся; вероятно, я опять сдамся и уйду в Шекспира. Целую тебя и тетю.

Твой Боря.

* Благодарим часто читали о вас слушаем передачи Москвы поздравляем радуемся вместе с вами желаем много лет нашей великой родине все благополучны — отец Пастернаки Слейтеры (англ.).

31 декабря 1943, Москва

Милый Даниил Семенович!

Благодарю Вас за сердечное письмо¹. Его нельзя оставить без ответа. У меня действительно были серьезные намеренья, когда я писал «Сапера». Его немного изуродовали² (даже его!), как все, что мы пишем. Там все рифмы были полные и правильные: у Гомеля — экономили, смелые — проделаю; вынести — глинистей. Измененья, которые делали без меня, пришлось как раз по рифмовке. Кроме того, выпустили одну строфу. Это противно.

Вы в большом заблуждении, думая, что Ваши чувства в каком-то смысле общие и распространенные среди многих. Я привык осторожно обращаться с общностями, как «народ», «армия», и пр., и никогда не любил романтизма, даже когда он не был еще официально признан.

Вы ошибаетесь, думая, что я со своим миром и люди, подобные мне (даже с большими именами), кому бы то ни было нужны и *на деле* заслуженно известны. Ничего подобного. Обидная курьезность нашего явления достаточно определилась именно в последнее время и дальше будет только расти. Я никогда не возвеличивал интеллигента и не любил его, как и романтика; но не поклонялся и невежеству. Темнота самоутвержденная и довольная собой ни к чему меня не склонит.

Я не верю в успешность своих нынешних усилий. Вы спрашиваете о поэме. Я начал ее с другими надеждами. Но общий тон литературы и судьба отдельных исключений, отмеченных хоть какой-нибудь мыслью, обескураживают. Проработали Зоценку, навалились на Асева, после многих лет пустоты и холода позволившего себе написать по-человечески, кажется, очередь за Сельвинским. Все равно. Я теперь никого не люблю. Я стал взрываться по другим причинам, и с такой резкостью, что это меня когда-нибудь погубит.

Посылаю Вам «Поезда»³. Это книжка никчемная и конфузная по запоздалости, малости размеров и случайности содержания. Лучшее из военных («Русскому герою») и лучшее из переделкинских (единственных живых страниц книги) «Вальс с чертовщиной» выкинуты. Стихов, как переделкинские, должно было быть вдесятеро больше, их нужно было бы, как и вообще всякую

свою литературу, прозу, драматургическое, писать постоянно, а не переводить десятилетиями с недельными отступлениями. Сейчас один из театров заказал мне «Отелло». Надо жить. Еще раз спасибо. Не старайтесь меня разубеждать. Писать письма мука и бесполезное дело, я их от Вас не жду. Вы и так слишком много мне сказали. Еще раз спасибо.

Ваш *Б. Пастернак.*

237. Н. А. ТАБИДЗЕ

30 марта 1944, Москва

30/III.1944

Дорогой мой друг Нина, целую, целую, целую Вас. В своем письме я Вас искренне просил простить меня уже и за то, что я так далеко от Вас в это трудное время в пространстве, в своих заботах, в возможной помощи. А о том, чтобы Вам еще и тратиться на нас, да еще так крупно, как Вы это умеете, безумная душа,— как можно это позволять и об этом думать. И только я это Вам написал, как Вы послали целый караван товаров с Кротковым, которого, бедняжку, дорогой ограбили. И только я отошел от этого обморока, как пришел посыльный с чаем, пудом винных ягод и шампанским от Вас! Я не мог с должной любезностью поблагодарить лицо, столь благородно тащившее в Москву эти тяжести при неудобстве нынешнего сообщения, потому что имя профессора у Вас написано не вполне разборчиво, а посыльный из гостиницы не знал его фамилии. У профессора сложится обо мне мнение, как о неблагодарном грубияне. Так же невыгодно расскажет Вам, наверно, обо мне Верико Анджапаридзе, с которой и я как-то оказался рядом в темноте театральных кресел. Я очень много работаю последнее время, отчего и лишен счастья и возможности писать Вам. Я часто переутомляюсь. Это внешне старит меня и делает рассеянным. Таким меня увидала Верико. Я не сразу узнал ее. Узнав, не сразу вспомнил, кто она и ее имя. Все это должно было произвести на нее жалкое и дурацкое впечатление. А в передаче она имела право еще это и преувеличить.

Дальше позвольте мне писать с полным эгоизмом, на который я имею право. Тициан для меня лучший образ моей собственной жизни, это мое отношение к земле и

поэзии, приснившееся мне в самом счастливом сне, он для меня почти то же, что для Вас. Когда я прочел из Ваших строк, что он жив, мой долг сознаться Вам, что я не в состоянии верить этому счастью. Как раз в последние годы, и особенно военными зимами, мне показалось, и я примирился с мыслью, что я живу в большом, большом помещении, называемом миром, где его больше нет. Это совершенно видоизменило для меня действительность. С этого сознания началось именно то, что могла заметить во мне Верико. Я стал суше, мужественнее, отчетливее. Но у этого не одни дурные стороны. Эта горечь дисциплинировала меня. Если бы это было на мусульманском Кавказе, я бы сказал, что складочка мстительности легла на мое лицо и чуть-чуть подсушила его. Но так как я другой и по роду своей деятельности сам нахожусь под действием смягчающей силы, учащей всепрощенью, то наоборот. Допущение этой утраты прибавило мне еще какой-то вершок нравственного роста и сделало молчаливым и деятельным, точно я сделался чем-то вроде «брата милосердия», поглощенным работою и угрюмым.

Если то, что Вы пишете, имеет под собою хоть какое-нибудь вероятье, счастье или милость божия еще безмернее, чем и без того они на каждом шагу меня поражают. Так же просто я не в силах это принять, я к этому не подготовлен.

Нина, милая, простите, что я пишу все это Вам. Это, вероятно, чудовищно — раздирать на куски живое мясо, Вас, себя и в каком-то смысле его. Страшно и то, что я позволил себе заговорить об этом так на лету, второпях. Но это потому, что все равно его и Ваша жизнь, по месту в истории и природе, по сделанному, по проявленному, — поэма. В любом варианте при любых условиях! И моя. И все равно она в слезах, от счастья ли или от горя. Простите. Крепко обнимаю Вас. Ваш

Боря.

238. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 июля 1944, Москва

Дорогая Оля! Как тебе не стыдно писать мне такие эпиграфы и страшные слова! Получила ли ты мою открытку, где я тебя зову пожить у нас?

Торопись, лето уже на исходе. Если ты решишь отдохнуть у нас в Переделкине, я нарочно туда перееду посмотреть на тебя на нашем огороде, среди зелени, Зины, Ленички, живущих у нас Асмусов и прочих прелестей этого места. Я застрял в городе и ни разу там не был совсем не по непреодолимым каким-нибудь роковым причинам. Лето нежаркое, каждые три дня в неделю Зина бывает в городе, где навещает старшего своего сына в туберкулезном институте и стряпает нам, мне и другому своему мальчику, Стасику, пианисту, ученику Консерватории, на остальные три-четыре дня, и уезжает, с тяжестями и покупками на половину недели на дачу, поддерживать тамошнее хозяйство: ходить за созданием своих рук, огородом и пр. и пр. Так она и мечется. А у меня были дела и работы, которые удобнее было делать, не выезжая из города, я кончал перевод «Отелло» для одного театра ¹, который меня подгонял и торопил. На днях, когда получу их из издательства, пошлю тебе своих «Ромео» и «Антония» ².

Горе мое не во внешних трудностях жизни, горе в том, что я литератор, и мне есть, что сказать, у меня свои мысли, а литературы у нас нет и при данных условиях не будет и быть не может. Зимой я подписал договоры с двумя театрами на написание в будущем (которое я по своим расчетам приурочивал к нынешней осени) самостоятельной трагедии из наших дней, на военную тему ³. Я думал, обстоятельства к этому времени изменятся и станут немного свободнее. Однако положение не меняется, и можно мечтать только об одном, чтобы постановкой какого-нибудь из этих переводов добиться некоторой материальной независимости, при которой можно было бы писать, что думаешь, впрок, отложив печатанье на неопределенное время.

Недавно я телеграфировал нашим о смерти тети ⁴. Меня удивляет и беспокоит, что от них нет телеграммы в ответ, обычно они отзывались скорее. Не случилось ли там чего-нибудь? Завтра я повторю запрос.

Я хотел много написать тебе, но, видимо, это обманчивая или неправильно понятая потребность. Вероятно, на самом деле, мне хочется повидать тебя, здесь рядом у нас, а часть того, что я мог бы сказать тебе, надо совершить и сделать.

Как ты живешь? Не надо ли тебе денег? Еще недавно такой вопрос в моих устах был бы чистым пустословьем.

Но в ближайшие месяцы мне должно стать гораздо легче. Но все это вздор. Серьезно: — соберись, приезжай.

Крепко целую тебя.

Твой Боря.

239. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

21 июня 1945, Москва

Дорогая Оля! 31-го мая умер папа. За месяц перед тем ему удалили катаракт с глаза, он стал поправляться в лечебнице, переехал домой, но тут сердце у него сдало, и он умер в четверг, три недели тому назад.

В момент кончины вокруг него были Федя и девочки, он умер, вспоминая меня, — это все из их телеграммы.

Зимой мне хотелось полнее и определеннее, чем я это делал прежде, сказать ему, каким потрясающим сопровождением стоит всегда предо мной и следует при мне его ошеломляющий талант, чудодейственное мастерство, легкость работы, его фантастическая плодовитость, его богатая, гордо сосредоточенная, реальная, по-настоящему прожитая жизнь, и как всегда без зависти, с радостью за него посрамляет и уничтожает это сравнение меня, мою разбросанную неосуществленную жизнь, бездарность моего быта, неоправданные обещанья, малочисленность и ничтожество сделанного, на какую трагическую высоту поднято его поприще его недооценкой и до какой скандальности перехвалено это все у меня. Я все это написал ему, короче и лучше, чем тебе, в письме, препровожденном через дипломатические каналы Майского¹ при дюжине, по крайней мере, моих Шекспиров, нарочно туда посланных в виде повода для этой записки. Они телеграфно известили меня о получении одной книги (из 12-ти). Письмо не дошло. Месяца два тому назад я послал им несколько устных поклонов.

Меня очень волнует твоя болезнь. Я не мог сообразить всего сразу и очень жалею, что не ближе посвятил Чечельницкую² в обстоятельства нашего житья-бытья и не передал с ней постоянной и главной своей мечты о том, чтобы ты пожила с нами на даче. В нижней закрытой стеклянной террасе живут, как прошлым летом, Асмусы, верхняя, рядом с Леничкой, свободная, и тебе было бы очень удобно в ней.

Чечельницкая застала меня в состоянии крайней нервной расшатанности. Это было перед моим вечером³, которого устроитель не подготовил, я боялся, что зал будет пустой; были гости; накануне мы с Зиной перевезли из Москвы и похоронили у себя в саду под смородиновым кустом, который он сажал маленьким мальчиком, прах ее старшего сына, умершего от туберкулезного менингита 29 апреля. У меня три месяца: 1) жесточайше болит правая рука от плеча до кисти (плексит) и велено носить ее на перевязи, — черновик «Генриха IV» я пишу левою, 2) заболевают по два раза в неделю глаза конъюнктивитом от малейшего напряжения, 3) увеличена печень и болит решительно все, но ни времени, ни желания лечиться, — напротив, сквозь все страдания и слезы прилив непонятого юмора, неистребимой веры и какого-то задора... Короче говоря, я стал рассказывать Чечельницкой о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине⁴ и так разволновался, что мне захватило дыханье и я не смог говорить. Но ты своих представлений о нас не строй по этой стороне ее рассказов: она видела меня в невыгодный день и затем вечер.

Дорогая Оля, мне сейчас придется прекратить письмо, которое я противозаконно пишу тебе правой рукою: она слишком разболелась. Мне надо еще уйму сказать тебе, из чего я не заикнулся и о мельчайшей доле. Это как-нибудь в другой раз. Приезжай, пожалуйста!!

Сообщи Лапшовым о смерти папы и передай им (*это — правда, не слова*) им обоим и Машуре мою нежнейшую любовь и радость по поводу того, что они живы и благополучны. Как приятно мне было бы с ними повидаться! Достань 22-й номер «Британского союзника», там о моих Шекспирах⁵, тебе будет приятно. И будь здорова, не болей, ради Бога, и приезжай, приезжай!!

Обнимаю тебя. Твой *Боря*.

240. И. С. БУРКОВУ¹

23 июня 1945, Переделкино

23.VI.45

Милый Иван Семенович! Благодарю Вас за добрые чувства и интересные мысли, которыми Вы со мной поделились обо мне и моем отце, замечательном художнике, умершем совсем недавно, 31/V. Вы угадали. Лер-

монтов именно в *Пряднишниковском иллюстрированном* издании, вышедшем, наверно, до 1900 г.², когда мне было лет 5, не больше, оказал на меня почти такое же влияние, как Евангелие — и пророки. Простите, что так поздно отвечаю Вам и — карандашом. Три месяца с лишним болит у меня правая рука (восп. нерва) и с перерывами часто заболевают глаза. Пишу Вам левой рукой, но плохо выходит и утомляет (еще не научился). Будьте здоровы. От души желаю Вам счастья и удач в делах Ваших. Посылаю Вам новый подбор стар. моих стихотворений и «Ромео» и «Антония» Шекспира. Вы много пишете о Гамлете. Знаете ли Вы, что я перевел его?
Ваш *Б. Пастернак*.

241. С. Н. ДУРЫЛИНУ¹

29 июня 1945, *Переделкино*

Дорогой Сережа!

Горячо, горячо благодарю тебя за согласие и скорый ответ. Чагину сказал. Он в восхищеньи. Вот тебе дополнительные сведенья. Договор со мной собираются заключить в августе, том приготовить надо будет к концу года, чтобы с Божьей помощью выпускать в начале 46-го года². Но это не исключает возможности или надобности для тебя сговориться с ними уже и теперь, потому что все надо торопить и подталкивать. Впрочем, они, конечно, обратятся к тебе сами.

«Генриха IV» первую часть тебе пришло, вторую дописываю (ее-то и дописываю вчерне левою рукою, а тебе писал и пишу правою³), всего «Генриха» надеюсь кончить через месяц. Окончательной ступенью отделки для меня давно стал процесс корректуры, так что, например, «Отелло» в отдельном издании, которого они скоро выпустят, чуть-чуть иной, нежели у тебя в рукописи. Это же повторится, наверно, и с «Генрихом». Возни текстовой в томе у меня никакой не будет, кроме «Гамлета», с которым слишком нянчились, да вдобавок еще семь нянек пословицы.

Половины своих разночтений я не помню. Интересом для тебя будут обладать только две его редакции: первая, самая свежая и, как некоторым показалось, «дерзкая», напечатанная в журнале «Молодая гвардия» летом 1940 г. (у меня самого ее нет, надо будет достать),

и та окончательная, которую я сделаю для тома по первой, частью ее восстанавливая, частью сглаживая ее резкости.

У тебя (но я уже писал тебе об этом и повторяюсь) с томом будут две заботы. 1) Присмотреть за мною по всему тому, что с точки зрения твоего собственного вкуса и только в отношении свободы, естественности и выразительности речи, как в оригинальном произведении, а не в смысле соответствия чему бы то ни было, что уже однажды преодолено и теперь предусмотрено. 2) Написать что-нибудь к тому, если бы ты захотел, и то именно, что бы тебе заблагорассудилось. Ты именно мог бы, вслед за Пушкиным и Гете, опять сказать о Шекспире, или о чем-нибудь около него, с их широтой и непредвзятостью, где-то в соседстве с толстовскою полемикой, наполовину справедливой (и сильно предопределившей главную реалистическую, упрощающую тенденцию моих переводов). Между прочим (но ты, наверное, это знаешь, и я «ломлюсь в открытую дверь»), если бы тебе потребовался косвенный «витамин», или «возбудитель» вроде чая, мандариновой кожуры и т. п., есть у Гюго книга о Шекспире. Ее очень любил Ап. Григорьев⁴ и ссылался на нее, как на прообраз того «цветного, органического» и пр. искусства, с мечтою о котором он носился. Она имеется в ВТО, я ее читал (V. Hugo «William Shakespeare»). На 300 страниц глупостей и трескотни, как всегда у Гюго, десятка полтора страниц действительно поразительных и, по счастью, вначале. Он писал ее в эмиграции, на Гернзее, вперемежку с «Тружениками моря», и веяние политического изгнания и близкого моря хорошо чувствуется и прямо названы в ней. Я ею пользовался как такую вкусовую затравку для переводов и только для такого посасыванья за работой и привожу тебе.

Итак, Шекспир и Чагин дело решенное и радостное, за меру радостности которого еще раз огромное спасибо тебе от всего сердца.

Но насколько мне все близко и ясно у Петра Ивановича, настолько сомнительно и вызывает опасенья обстановка в «Лит. газ.», так далеко и враждебно мне все у них, так, при всех своих увереньях в преданности, они скорее готовы меня в ложке утопить, чем поступить со мною благожелательно и справедливо. Хотя они действительно забирались ввысь, приискивая автора статьи обо мне, хотя действительно я указал им на тебя

в этом их взлете, и Ковальчик должна позвонить тебе, но они, наверное, разгадали, каким безмерным счастьем для меня было бы наше сотрудничество, а так как целые десятилетия они сквозь завесу любезности делали мне только гадости, то и на этот раз, я уверен, они откажут мне в этой радости и, наоборот, торжествуют, найдя новый случай чувствительно огорчить меня.

Однако рано отчаиваться. А вдруг и правда — на этот раз они будут верны слову! Надо ли говорить тебе, о чем я мечтал в этом случае и почему к тебе обращался?

Во-первых, подарком было бы, что статья была бы твоя и что она была бы (как и в отношении Шекспира) на широкую тему, в каком-то смысле (неспециальном, человеческом) о творческом мире поэзии, о стихии писательства и только в каком-то последнем счете о частном случае общей темы, о предмете разбора. К похвалам, по-аптекаарски с предустановленной достодожностью каждому отвечаемому, мы все привыкли, и они тройне опротивели: оскорбительным фактом развески, бессодержательностью и пустотой и тем, что от этих похвал всегда воняет. Чудом и невидалью была бы статья с твоими мыслями, статья по современному поводу, которую интересно было бы читать⁵.

Свой последний сборник (наверное, о нем и будет речь) я послал тебе. Не обременяй себя лишним материалом. Со дня на день в Гослитизд. должен выйти мой последний скупой и удобообозримый отбор сделанного в небольшом томике⁶. Я достану его тебе. О его содержании можно спорить, может быть, там и не самое лучшее, но на принципе отбора я стою и в нем уверен. Я там отобрал самое выпуклое, сосредоточенно-образное, осязательное и живое, в ущерб отвлеченным притязаньям и тому прутковскому ложному глубокомыслию, к которому всегда приходит невольная, политически вынужденная бессюжетность нынешней литературы, — я старался в нем избежать ложной глубины и схемы. Однако довольно — я замучил тебя.

Что бы ни вышло из наших предположений (особенно из последнего), я уже и сейчас в выигрыше. Мы перекинулись с тобой письмами, и, как мне кажется, в самом широком, ни к чему не обязывающем и ничего не меняющем смысле, ты мне позволил надеяться, что мы союзники. Это значит вот что. Только в самое последнее время, отчасти из-за болезни руки, отчасти под давлением обозначившегося возраста, я почувствовал, что только

мириться с административною росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое и в более рискованной, чем бывало, степени попробовал выйти на публику.

«Рискованной» я сказал в том смысле, что я ждал от этого только неудачи и эстрадного провала. И, представь себе, это принесло одни радости. На моем скромном примере я узнал, какое великое множество людей и сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного. Существование этого неведомого угла у нас дома было для меня открытием.

Вот другое. За последние два года я, поначалу, отрицательными путями из нападков (здешних) на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев (*escapistes*). Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище — персоналисты, личности. На их знамени имена Руссо, Рескина, Кропоткина, Толстого. Они скорее анархисты, чем что бы то ни было другое. Они выпускают альманахи «Transformation», нечто среднее между «превращением», «перерождением» и «преображением». Им пишут статьи мыслящие представители англиканской церкви. Они много места уделяют крупнейшим завершителям европейского символизма — Прусту, Рильке, Блоку. Сомовским портретом Блока открывался их первый альманах! Во втором они дали «Цикад» Бунина. Они зачислили меня в свое братство, поместили «Детство Люверс» в 1-м альманахе и их издательство анонсировало выпуск тома моей прозы, за которым последуют стихи ⁷. Их вожак — драматург и поэт Герберт Рид, и надо, наверное, знать несравненно лучше язык и, кроме того, жить в их условиях, чтобы правильно судить об их деятельности. Но насколько захватывает близостью и глубиной содержание их критическая и мировоззрительная часть, настолько бледными показались мне их художественные отрывки. Впрочем, я никогда не понимал неконкретного, отвлеченного *vers libre*'а, и он казался мне водянистым и бессильным не только у Рукавишникова и Дюамеля, но иногда, страшно сказать, и у Гете.

Все это я рассказываю тебе, чтобы ты понял, в каком отношении радостен мне твой отклик. Это тот поворот людей издали лицом друг к другу, который их ничем не

связывает и не обременяет, но в каких-то высших целях, не исчерпываемых жизнью каждого в отдельности, одухотворяет пространство веяньем и единеньям, без которого нет бессмертия.

На одном из вечеров я прочел пустяк, которым пока отделяюсь впредь до написания чего-нибудь настоящего, памяти Цветаевой⁸. Он произвел впечатление. Я и его тебе посылаю.

Спасибо!! Обнимаю тебя.

Твой Боря.

Сердечный привет твоей милой жене.

242. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

⟨Ноябрь 1945⟩, Москва

Дорогая Надежда Яковлевна! Я тысячу раз собирался ответить Вам. Свинство, и я виноват перед Вами только в одном. Я должен был своевременно ответить Вам, что просьбы Вашей¹ не могу исполнить, и должен был объяснить почему, а я этого не сделал и некоторое время вводил Вас и Казарновского в заблуждение ложным и напрасным ожиданием. Теперь это сделалось, или не сделалось, наверное, иными путями (все же напишите мне, что с Казарновским), и я на эту тему распространяться не буду, скажу несколько слов о себе.

Неожиданно жизнь моя (выражусь для краткости)... активизировалась. Связи мои с некоторыми людьми на фронте, в залах, в каких-то глухих углах и в особенности на Западе оказались многочисленнее, прямее и проще, чем мог я предполагать даже в самых смелых мечтаниях. Это небывало и чудодейственно упростило и облегчило мою внутреннюю жизнь, строй мыслей, деятельность, задачи, и так же сильно осложнило жизнь внешнюю. Она трудна в особенности потому, что от моего бывшего миролюбия и компанейства ничего не осталось. Не только никаких Тихоновых и большинства Союза нет для меня и я их отрицаю, но я не упускаю случая открыто и публично об этом заявлять. И они, разумеется, правы, что в долгу передо мной не остаются. Конечно, это соотношение сил неравное, но судьба моя определена, и у меня нет выбора.

Я много перевел из Шекспира после «Гамлета»: «Ромео», «Антония», «Отелло», «Генриха IV», обе части. Если Бог даст, доделаю «Лиру» (которого начал) и «Макбета». Вольности моего обращения с Шекспиром получили одобрение в английских ун(иверсите)тах. Я немного писал своего нового, но теперь буду больше — роман в прозе, охватывающий время всей нашей жизни, не столько художественно, сколько содержательно. Напишу, наверное, большую статью о Блоке². Открытием было для меня количество и род публики на моих вечерах в эт(ом) году, я этого не предполагал, это было для всех неожиданностью.

У нас были несчастья и огорчения. Мы похоронили Адика, старшего сына Зин(аиды) Ник(олаевны), скончавшегося от костного туберкулеза, весной в Оксфорде умер мой отец 83 лет. У меня мифически трудная жизнь, потому что думают, что я числюсь в разряде преуспевающих³. Напишите мне, что Вы и как Вы, — это близко касается меня. Вы, наверное, ищете повода, послужившего толчком к такому неурочному письму? Вот он: в русской антологии издательства Macmillan and C^o под редакцией Оксфордск. проф. древн. греч. литературы, автора большой книги о наследии символизма (О Рильке, Валери, Блоке и Китсе) и переводчика Блока и др. С. М. Bowra напечатаны Tristia Ос. Эмильевича⁴. В слезах переписываю Вам первую строфу (по-моему, хорошо; перевел этот самый Боура).

I've studied all the lore of separation
From grievances bare-headed in the night.
The oxen chew, and lingers expectation,
And in the last hour to townsmen know delight.
I keep the rite of nights when cocks were crying,
When, shouldered all a traveller's load of wrongs,
Eyes, red with tears, were in the distance spying,
And women's weeping joined the Muse's songs.

Будьте здоровы. Ваш *Б. Пастернак*.

243. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

2 ноября 1945, Москва

Дорогая Оля! Я летал на 2 недели в Тифлис¹ и два раза по пути, туда и назад, перелетал над Черным морем с пакетами изабеллы, купленными за копейки в Сухуми

и Адлере, и в эти часы думал о тебе. Оно сверху самого лучшего цвета на свете, которого нельзя запомнить и назвать, серо-зеленоватого, благородного, самого некрикливого, глинисто-голубого, матового оттенка. Жизнь в Тифлисе была как эта дух захватывающая гамма. Странно, что я вернулся. Перед отъездом были оказии из Англии. Бедную Лиду оставил муж. Это с четырьмя детьми. Но про это как-нибудь в другой раз. Целую.
Твой Б.

244. И. С. ПОСТУПАЛЬСКОМУ¹

10 ноября 1945, Переделкино

Простите, Игорь Степанович. Больше двух лет пролежала у меня Ваша рукопись. Два раза принимался я Вам писать и оба раза сдерживался, чтобы не огорчить Вас.

Да и правда, что сказать мне, когда это лучшее выражение того, что мне более всего враждебно, что я отрицаю. В нашей сов. литературе, застарело (со времени Маяковского) трусливой и лживой, для меня в стихотворном секторе еще как-то, но в *одинаковой степени* (т. е. стилистические их отличия мнимы) *реальны* пары: Сельвинский + Сурков; Асеев + Симонов; совсем приятны Твардовский и Исаковский... Но Антокольский, Тихонов, ленинградская группа и все то, чего так много в Вас, — этого просто нет на свете, это абсолютно никому не нужный холод призрачного, по организационным причинам (даже и в случае трагических исключений) задержавшегося и еще не рассыпавшегося в прах ложного, видимого «мастерства», наигранной «бодрости» пустейшей, лишенной лица, образов и простого рифмоплетского уменья риторики и пр. и фр. И потом, терпеть я не могу от плохо понятого меня пошедшей неполной рифмовки!

Обратитесь к трудной, адской, каторжной Вашей жизни, черпайте из нее настоящие, пусть запретные слова, пишите прозу, настоящую, берущую содержанием, забудьте весь этот лефовско-акмеистический, неблоковский, антихристианский вздор, и да поможет Вам Бог. Еще, и еще раз простите меня.

Ваш Б. Пастернак.

10.XI.1945
Переделкино.

13 декабря 1945, Москва

Дорогая Галина Сергеевна!

Вы большая, большая артистка, и я со все время мокрым лицом смотрел Вас вчера в «Золушке»¹ — так действует на меня присутствие всего истинно большого рядом в пространстве. Я особенно рад, что видел Вас в роли, которая, наряду со многими другими образами мирового вымысла, выражает чудесную и победительную силу детской, покорной обстоятельствам и верной себе чистоты. Поклоненье этой силе тысячелетия было религией и опять ею станет, и мне вчера казалось (или так заставили Вы меня подумать совершенством исполненья), что эта роль очень полно и прямо выражает Ваш собственный мир, что-то в Вас существенное, как убеждение. Мне эта сила дорога в ее угрожающей противоположности той, тоже вековой, лживой и трусливой, низкопоклонной придворной стихии, нынешних форм которой я не люблю до сумасшествия, и так откровенно безучастен к ней, что позволил ей низвести себя до положения вши. Желаю Вам долгой жизни и постоянного успеха в претворении спорных и половинчатых пережитков традиции в новую цельную первичность, как удалось Вам извлечь пластическую и душевную непрерывность из отрывистого, условного и распадающегося на кусочки искусства балета.

Я не собирался сказать Вам ничего, что было бы неизвестно Вам, Вам, естественно и заслуженно привыкшей к более сильным эпитетам и похвалам и более пространственным признаниям.

Старое сердце мое с Вами.

Ваш Б. Пастернак.

13.XII.1945.

246. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

23 декабря 1945, Москва

23.XII.1945

Оля, Оля, Оля, что же это такое, когда это кончится? Я не пишу тебе, потому что мне некогда. Но это меня гонит не жизнь, не ее трудности, а менее благородные и,

наверное, более смешные мотивы. Теперь, когда это недоразуменье насчет меня и скандал так укореняются, мне действительно хочется стать человеком! Я глупейшим образом надеюсь исправить и оправдать все эти недомолвки и недоделки. Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее. Ах, Оля, ты не представляешь себе, в каком непомерном долгу я перед жизнью, как щедра и милостива она ко мне. Но как мало времени, как много надо нагнать и наверстать!

Ты и Шура должны долго жить и быть где-то рядом. Я даже не представляю себе, что бы я мог такое отделить от себя и переслать тебе, чтобы тебе не было так одиноко! Ты должна была бы все же побывать у нас и тогда или бы осталась, или что-то бы с собою увезла, отчего бы тебе стало светлее и лучше (потому что мне ведь *очень* легко (ликующе-легко, а не материально) и незаслуженно хорошо!).

Ты прости, ты еще, чего доброго, не поймешь и обидишься или воспримешь это, как волну ослепленного, оскорбительно-участливого хвастовства и важничанья!!

Какое несчастье! Как мне объяснить тебе это все и, главное, второпях?

Обнимаю, обнимаю тебя. Устрой так, подготовь, чтобы летом, если Бог даст, мы будем живы, нам быть вместе.

В мсей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое.

Эта атмосфера особенно велика бывает на даче, летом. У нас живут Асмусы, Шура с Ириной, бывал Женя.

Его командируют в Ленинград, и он зайдет к тебе.

Дорогая Олечка! Приезжайте к нам обязательно, летом отдохнуть и пожить с нами. Я буду очень рада Вас повидать. Тороплюсь на концерт, где выступает мой старший сын Стасик, а потому больше не пишу.

Крепко Вас целую и ждем весной к нам.

Ваша Зина

Куча новостей. Но это тебе расскажет Чечельницкая. Еще раз всего лучшего. Страшно бы хотел видеть тетю Клару и всех «ейных».

Твой Боря

Знаешь что, надпишу-ка я книгу ¹ тете Кларе и Владимиру Ивановичу, и ты им передай, если считаешь, что это им доставит радость, а если нет, вырви листок с надписью и не надо.

[Тебе не посылаю, п. ч. это все у тебя есть. Если же хочешь, напиши, и я пришлю.] ² Посылаю.

247. И. С. БУРКОВУ

28 декабря 1945, Москва

28 декабря 1945 г.

Дорогой Иван Семенович! Вы совершенно правы насчет моих новых вещей, и я ни капли на Вас не в обиде. Что касается старых, то тут Вы свободнее в суждении, чем я, а я не могу избавиться от огорчения и досады по поводу незавершенности, изломанности, ненужной сложности и малозначительности моей собственной, Маяковского и Андрея Белого. У Есенина этих грехов гораздо меньше, и совершенно еще не подвержен этому позднему распаду поразительный мир Блока. Это закономерное перерождение большого живого целого, часть которого я составляю, и зачем мне щадить несостоятельные его стороны, когда я, слава Богу, еще жив и недописанное будущее общеевропейского символизма обещает мне гораздо больше, чем успел он дать в прошлом, до исторических сдвигов, случившихся во всем мире. Ваш «Детский пейзаж» хорош и нравится мне больше «Нефрита». Все, что я говорю и чувствую относительно стиля, творческих воззрений и пр., несколько не вызвано поверхностными современными причинами. Дело глубже. От души желаю Вам всего лучшего.

Ваш Б. П.

248. Ж. Л. и Л. Л. ПАСТЕРНАК

⟨Декабрь 1945⟩, Москва

Дорогие Жоня и Лида!

Отчего у вас ни слова о Феде ¹, о самих себе, о ваших домах и детях? Спасибо за твою «Spring» ², Лида. Молодчина! Много ли ты этим занимаешься? Я несколько раз запрашивал об Алеше, Степе и Эне ³, живы ли они?

Не удивляйтесь моему треску. Для краткости я буду стрелять фразами.

Собственно, главные помехи, отчего не пишешь, не слабость слов и ограниченность сил, не строгости цензуры. Всю жизнь я жил как бы для родителей и для вас, как бы на виду у вас и для вашего удовлетворенья.

Но вот папу и маму я прозевал⁴.

Приехать к вам и повидать вас в Англии было бы для меня не только высшим счастьем. Я думаю, тогда-то именно, при этом свидании, моя жизнь сделала бы те несколько последних шагов вперед, которых ей все время недостает. Тогда-то лишь, после этого я бы понял, что мне надо вам сказать самого живого, наболевшего и важного, свидание дало бы эти выводы. То, что их нельзя предугадать и не хочется искусственно подделывать, — вот что делает малоценной или невозможной переписку.

Папа! Но ведь это море слез, бессонные ночи и, если бы записать это, — томы, томы и томы. Горько, что письмо мое через Майского⁵ не дошло тогда. Там я высказал ему разом (как однажды Рильке)⁶ все, что у меня к нему накопилось в течение всей жизни, в особенности за последние годы. Удивленье перед совершенством его мастерства и дара, перед легкостью, с какою он работал (шутя и играючи, как Моцарт), перед многочисленностью и значительностью сделанного им, — удивленье тем более живое и горячее, что сравненья по всем этим пунктам посрамляют и уничтожают меня. Я писал ему, что не надо обижаться, что гигантские его заслуги не оценены и в сотой доле, между тем как мне приходится сгорать от стыда, когда так чудовищно раздувают и переоценивают мою роль, наполовину мифическую, зиждущуюся на нескольких, очень немногочисленных, отрывочных и бесформенных пустяках, в большинстве несостоятельных и мною осужденных (это постоянный мой спор с аудиториями и молодежью, которая отстаивает «Сестру мою жизнь» и «Темы...», не проникаясь моими доводами, почему это плохо).

Я писал папе, что в нашей жизни не случилось никакой несправедливости, что *судьба* не преуменьшила и не обидела его, что в конечном счете торжествует все же он, он, проживший такую истинную, невыдуманную, интересную, подвижную, богатую жизнь частью в благословенном своем 19-м веке, частью в верности ему, а не в диком, опустошенном нереальном и мошенническом два-

дцатом, где на долю мне вместо всего реального, чем он был окружен, вместо его свободы, плодотворной деятельности, путешествий, осмысленного и красивого существования достались одни приятные слова, которые я иногда слышу и которых не заслуживаю. Да, кстати. Все эти годы о папе, наверное, в силу политической подозрительности и не заикались. Совершенной неожиданностью поэтому был некролог Грабаря⁷ (глупые неправильности, встречающиеся у него, понятны и простительны), который я прилагаю. Другое замечанье. Только что мне дал свое письмо к вам Шура, и я не буду касаться им затронутых вопросов, чтобы не повторяться. Не делайте себе из собрания папиных работ, оставшихся у вас, лишних забот.

Если выставка в Лондоне осуществима легко и просто в вашем и в общечеловеческом тоне, тактично и благородно, без каких-либо запродаж души черту и расписок кровью в этом или каких-нибудь дополнительных трехкопеечных фанфар,— устраивайте выставку. Если нет, не тужите и не чувствуйте себя виноватыми перед людьми и папиной памятью. *Это не уйдет* даже в том случае, если я ошибаюсь насчет своего или вашего долголетия или если вера моя в то, что я соберусь к вам,— самообман. Ни в коем случае ничего пока не пересылайте. Замечательная судьба моя с папиными вещами. Больше десяти лет вследствие тесноты в городе я держал в сундуке (он весил 15 пудов) и папках его черновой архив: школьные рисунки углем, эскизы к эскизам, масляные его этюды за всю жизнь, с первых лет, некоторые готовые работы, и терзался, что все это лежит под спудом, ни себе, ни другим. Только перед самой войной, весной 1941 года, когда стало немного легче, на даче (некоторые, счастливые зимы я проводил с Леничкой на даче) я разобрал сундук, отобрал много замечательного и со страшным трудом (все практическое, материальное у нас почти невыполнимо) дал застеклить и обрамить и покрыл стены у себя за городом и в городе этими красотами. Это продолжалось только несколько месяцев. Когда начались налеты и Зина с детьми уехала в Чистополь (Казанск. губ.), для меня стал вопрос, где сосредоточить картины, чтобы предохранить их от бомбежки (в сентябре Москву бомбардировали каждую ночь). Третьяковскую, куда легко было бы перенести вещи на руках (я живу напротив), эвакуировали, и она отказывалась принимать вещи со стороны. Предлагал свои услуги Толстовский музей,

но в эти дни октября, когда фронтом стала наша дачная местность, нечего уже было мечтать достать машину и вещи не на чем было перевезти. Все же я всякими правдами и неправдами разместил в трех местах (чтобы понизить шанс гибели) отобранные и висевшие у меня работы. В одном, на пустующей и покинутой Жениной квартире (она уехала в Ташкент) большая часть их уцелела, а на даче и в городской квартире все сгорело или уничтожено. Вообще у нас (и в особенности у меня) скорее все тает, изнашивается и пропадает, нежели появляется или доступно приобретенью. У меня очень легкий вещевой багаж, как у студента, несмотря на старость и присутствие детей. Да, за месяц до папиной смерти мы похоронили старшего Зининого сына Адриана, 20 лет, умершего от костного туберкулеза, которым он проболел всю войну в больнице. Жизнь такова, что не чаявшая в нем души мать, зная, что это последние дни и считанные минуты, разрывалась между Сокольниками (больницей) и Переделкиным (нами и дачей) и ездила к нам вскапывать картофельные гряды накануне его агонии, чтобы не упустить горячей огородной поры. Да, так я говорю, у нас обстановка очень несложная. Я не храню ни черновики своих, ни писем, у меня почти нет библиотеки. Когда зимой я уезжал к Зине в Чистополь, я часть родительских писем оставил на квартире у Жени (они сохранились), а лучшее из своей переписки (другую их часть и кое-какие письма Горького, Роллана и др. и все (около 100) писем Марины Цветаевой (в 1941 году она повесилась в Елабуге, в эвакуации, — у меня есть стихи к ней, я их прилагаю). Так вот этот отбор я дал на сохраненье знакомым девушкам студенткам в Скрябинский музей. На днях я узнал, что одна из них, преданнейший мне человек и поклонявшаяся Марине, возила их всегда с собою и не расставалась с ними, чтобы они не пропали, и три месяца тому назад, возвращаясь в страшной усталости из Москвы в Болшево, где она живет, по рассеянности оставила не то в вагоне поезда, не то в лесу под елью, где отдыхала. Вот тебе судьба вещей рядом со мной или вокруг меня. (Какая механичность обращения: я пишу вам обоим и все время говорю ты, тебе, попеременно представляя себе то тебя, Лида, то Жюню!) Теперь несколько слов совсем о другом. Конечно, для меня более чем радость — священное какое-то счастье, что, пусть случайно и по ошибке доброжелателей, я попал в общество имен, которые мне были в жизни

дороже всего, — Рильке, Блока и Пруста. Нахождение мое в этой атмосфере естественно и закономерно. Для меня большим утешением в суровой моей судьбе были ваши персоналисты вокруг Transformation⁸, я их близко не знаю и в особенности как о художниках ничего не могу сказать, но общий духовный рисунок, что ли, братства, идейное его очертанье, те стороны, какими в нем присутствуют символизм и христианство (мне у них больше всего нравятся статьи, было несколько очень хороших статей Рида и хорошая статья Шиманского «В бомбоубежище»), — все это удивительно совпадает с тем, что делается со мной, это самое родное мне сейчас, самое нагретое место на холодной стене, отделяющей меня от вас. Я знаю, что это не английская печать или литература, не заметное что-нибудь в области английского общественного мнения, что они, Bowra с его поразительными переводами и глубокими, увлекательно написанными книгами о символистах и об эпической поэзии, журнал Horizon и два-три человека при университетах ничего не значат, что это крошечный уголок. Но вот именно этот уголок, который я для простоты называю Англия, затем молодежь в России и, в-третьих, Грузия — это три точки чудодейственного какого-то, необъяснимого моего соприкосновенья с судьбою и временем, это мистерия или роман, который мог бы дать много пищи для суеверья, так тут все непревзойденно сказочно. Это концертные залы, которые я наполняю по афише⁹, когда *каждое* место *любого* стихотворенья, когда я замедлюсь, мне подсказывают с трех или четырех концов, это встречи и письма, которые я всю жизнь получаю, и это грузинская интеллигенция и искусство на Кавказе, на котором я 12 лет не был с последней поездки туда и куда недавно, в октябре, слетал на 2 недели¹⁰. Это что-то вроде вашей Шотландии, гор, баллад, рыцарской открытости, барабанов с волынкой, целонощных пиров с речами до утра и замечательного вина в каждой семье из своих виноградников, как у нас — своя картошка. Мне 55 лет, у нас трезвое холодное советское время, я не восторженная барышня, — я не представлял себе, что это все еще возможно: из 14-ти суток, которые я там был, я спал только 2 ночи. Я не понимаю, как я выдержал это упоительное всерастворенье себя в других и других в себе и не заболел.

Интересно, что эта стихия немножко жертвенного, необъяснимого успеха, этого чуда взаимопониманья и

отдачи себя, всегда налицо, всегда где-то рядом подстерегает меня, и казалось бы, чего лучше, отдаться бы ей на всю жизнь без перерыва. И удивительно, что я очень-очень редко позволяю себе пользоваться ей и целыми годами, если не десятилетиями отказываюсь от выступлений. Но я начинаю забалтываться. Надо сокращать письмо.

Наверное, я напишу Бауре и Шиманскому. Мне неудобно им писать по-русски, а сделать это по-английски потребует времени. Помимо симпатии и пожелания ему удачи, которые Шиманский вызывает во мне как проводник идей, близких мне и дорогих, он сделал неизмеримо и незаслуженно много для меня (я боюсь, не слишком ли много) и тем навсегда обязал. Я страшно рад книге прозы¹¹ и интереснейшему его введению, и только две вещи омрачили эту радость (в этом смысле я сказал, не слишком ли много). Правда, он оговаривает во вступлении, что, если бы я был причастен изданию, я бы, может быть, иначе распорядился материалом и т. д. Но, значит: 1) Меня огорчило, что наряду со стоящими «Охранной грамотой» (и то в ней есть куски манерные, непонятно выраженные, которые можно было выбросить) и «Детством Люверс» перевели и напечатали ужасные «Апеллесову черту», «Письма из Тулы» и «Воздушные пути», которых я так не люблю, что боюсь и хотел бы забыть. 2) Мне кажется, что книга должна оттолкнуть еще и нескромностью своего внешнего вида.

Неужели издателям не показалось бестактным давать восьмилетнего красавца босиком¹², многократной ретушью до неузнаваемости доведенных меня и Маяковского, карикатуры Кукрыниксы? Конечно, и в том и другом случае виноват я, что не такой Аполлон, но надо ли было меня раздевать в таком случае до таких пределов? Мне кажется (и это так закономерно, что не потрясет и не убьет меня), что ближайшим действием этой книги, а потом и стихов в переводе Cohen'a (или это будет собрание коллективных переводов? — Wowга'вские очень хороши) будет то, что я буду со скандалом разоблачен, как невольный самозванец (а король-то гол). Но опять-таки это вина не авторов критических статей и переводчиков и не моя только исключительно вина. Это аномалия в развитии художественных судеб и деятельности нашего времени даже и на западе, не только у нас. Все течения после символистов взорвались и остались в сознании яркою и, может быть, пустой или неглубокой загад-

кой. Последним творческим *субъектом* даже и последующих направлений остались Рильки и Прусты, точно они еще живы и это *они* опускались и портились и умолкали и еще исправятся и запишут. Что это сознают объединенья вроде персоналистов, в этом их заслуга. Это же сознание живет во мне. Вот что у меня намечено. Я хотел бы, чтобы во мне сказалось все, что у меня есть от их породы, чтобы как их продолжение я бы заполнил образовавшийся после них двадцатилетний прорыв и договорил недосказанное и устранил бы недомолвки. А главное, я хотел бы, как сделали бы они, если бы они были мною, т. е. немного реалистичнее, но именно от *этого*, общего у нас лица, рассказать главные происшествия, в особенности у нас, в прозе, гораздо более простой и открытой, чем я это делал до сих пор. Я за это принялся, но это настолько в стороне от того, что у нас хотят и привыкли видеть, что это трудно писать усидчиво и регулярно. Одно хотел бы я, чтобы дошло до вас. Недоумение, которое должны вызывать такие собранья, как мои у вас, я не только разделяю, но сам больше всех чувствую. И если я проживу еще немного и поработаю, все это разъяснится и будет восполнено. Во всяком случае, если я не напишу им особо и вы с ними знакомы, поблагодарите горячо и сердечно редактора и издателя и всех, оказывающих мне такую честь своим вниманием. И пусть они не огорчаются и не падают духом, если меня будут ругать. Этот былой беспорядок, за которым потянулись полосы переводов и долгого, наполовину вынужденного молчания, это еще не все, что я сказал. Но ведь я приеду.

Ну, надо кончать. Знайте, телеграфная переписка очень удобна (ELT), если она не дорога для вас. Поразительно, что я написал вам так много страниц и ничего не сказал. Вы не представляете себе, что бы я отдал за то, чтобы обнять Федю, посидеть с ним и услышать его короткий, отрывистый смех!

Расспросите обо всем Мг'а Берлина ¹³. Он был у меня на даче, видел меня 2—3 раза, а также Зину и Леничку, он увидит сегодня Ину и Шуру. Мои переводы Шекспира очень хорошо принимали и оценивали, но пока Худож. театр «готовил» постановку Гамлета, перемерли один за другим все инициаторы этой постановки (Немирович-Данченко, Сахновский и др.), и так везде. Если бы мой Шекспир шел на сцене ¹⁴, я бы разбогател. Но сейчас не идет нигде ничего. Театры — учрежденья, прямо и чрез-

вычайно зависящие от «двора», а если я о себе могу сказать действительно что-нибудь определенное, так это что никто не выказывает в отношении властительных особ большей сдержанности, чем я, и шаг еще дальше в этом же направлении был бы роковым. Это и определило двойственность моей здешней судьбы. Но иначе я не могу, таков *мой* выбор. Вообще же внутренне я пожаловаться не могу, то, что у меня было, услышано полнее, чем я мог мечтать. В каком-то смысле у меня легкая, счастливая жизнь.

Какие дети отличные, выразительные и красивые на карточках! Какие у тебя замечательные хохочущие мальчишки, Лида, и как девочки похожи на маму и на тебя! Папа на скамейке весной 1942 г. еще совсем такой, каким был всю жизнь, а на последней уже совсем подкошенный, бедный. Коротко о нас в отношении картин, выставки, перевозки. Мне кажется, что будет еще один, совершенно другой этап нашей жизни с облегчившимся бытом, необходимыми простейшими вещами обихода, возможностями передвиженья, большей ответственностью официальных людей и большей прочности и солидности их обещаний. Тогда можно будет трогать папины вещи нашими руками. А пока рано. Вас уверяют, что этот этап уже наступил, но это по-прежнему вранье! Жива ли Ломоносова? ¹⁵ Почему о ней ничего не слышно? Если будет что-нибудь интересное и касающееся меня, извещайте.

Большое спасибо за ботинки (папины?), они очень пригодились. Попробуйте ответить мне по почте. Буду писать и я. Ну вот давайте простимся. Я уверен, мы увидимся.

Ваш Боря.

249. Н. А. ТАБИДЗЕ

24 января 1946, Москва

Дорогая Нина! Ну что нового о Тициане? Вы, наверное, удивлены, что я не пишу Вам! Вы не представляете себе, в какой спешке и каком напряжении пишу я сейчас роман в прозе, который мог бы быть, если удастся, достоин перенесения на его бумагу ¹ и который мысленно, с самого возникновения был посвящен Тициану (и я только не знал, имею ли я право написать: «Тициану

Табидзе» или должен написать «Памяти Тициана Табидзе»).

Какое это чудо, какое счастье! Когда он появится, Вы должны непременно ехать с ним сюда к нам, это лучше всего, мне ринуться так же быстро туда к вам будет сейчас труднее. Нина, Нина, но ведь это невероятно, это не человека вернут, а землю, небо, душу, годы!! Я всегда как-то стыдлив в отношении телеграфного аппарата и телеграфисток и потому не мог переслать Вам своего первого счастливого вскрика.

Новогодняя ночь это часы рождения Ленички, и ради него Асмусы устроили семейную детскую елку без блеска и интересных новогодних гостей. Они как бы остались без великолепия и шума Нового года, принесли его в жертву Зине и Лене. Я просидел у них всю ночь, немного поспал утром у себя дома и пошел мыться. Немного погодя приходит Зина (она ночевала у Асмусов и, пока я мылся, вернулась) и говорит: «Огромная радость. Тициан жив, от него известие». И оказалось, что у нас сидит Евгений Дмитр.² с этой новостью.

С этого начался мой новый год. Когда Зина сказала это, она расплакалась и я разревелся. Ну теперь, вероятно, надо вооружиться терпением. Это то, чего мне недоставало в самые счастливые мои минуты последних лет, и это все, что мне нужно от жизни. Мне стыдно признаться, что безмерную эту радость я тут же поспешил истолковать практически, как небесное знамение или благословение моей новой работы на Тициановой бумаге. Подумайте, как мелко и утилитарно! Ну что сказать Вам еще, когда у меня к Вам теперь одни нетерпеливые вопросы.

Здесь кончается письмо. Крепко обнимаю Вас и Ниту. Если в период ожидания Вас может что-нибудь развлечь, вот в руки Вам комический материал, пользуйтесь им по своему усмотрению. Библиотечка «Огонька» (знаете, такие маленькие белые книжки) издает моего Бараташвили³. Они просили меня написать им вводную статью. По горькому опыту всех моих статей я знаю, что всякое присутствие мысли рождает возражения, пересуды, запрещения. Чтобы не задерживать издания, я решил избавиться их от этого огорчения и умудрился написать банальнейшую биографию, лишенную всякого лица и содержания. Вы еще не знали меня с этой стороны и будете поражены, что я способен на такую ординарность. Так вот, если это может Вас позабавить, посылаю

статью Вам одной. Можете показать ее у Симона и Гоглы смеха ради и хором ругайте ее без чувства предательства, потому что она ничего другого не стоит и я даю Вам на это право.

Еще раз целую Вас. Весь Ваш *Боря*.

250. Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

26 января 1946, Москва

Дорогая Надежда Яковлевна! Спасибо за письмо. Был ваш Эдик¹. Он мне очень понравился. Стремительный, самолюбивый. У него прерывался голос, и он боролся со слезами, когда рассказывал об Ос. Эм. и Казарновск. Но как он пишет, я еще не знаю, потому что это отложил.

У меня есть сейчас возможность поработать месяца три над чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от Блока до нынешней войны, по возможности в 10—12-ти главах, не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что может что-нибудь случиться до окончания работы! И как часто приходится прерывать!

У меня сейчас очень странно складывается жизнь. Это вовсе не дань привычке все без оснований углублять и преувеличивать, если я скажу, что помимо моей воли вещи очень большого смысла входят в круг моей судьбы и попадают в мои руки. Я знал всегда, что для настоящей ноты, нравственной и артистической, мало прижизненного поприща, и этот прицел охватывает более далекий круг. Фатализм, рамки данности, чувство юмора в отношении неизбежности — все это, в конце концов, род горьких удобств, и я заставлял себя жить без их облегчающего участия. Но теперь мне больше нельзя оставаться и тем, что я есть, и как недостает мне сейчас Осипа Эмильевича, он слишком хорошо понимал эти вещи, он, именно и сгоревший на этом огне! Простите, что я так открыто и много (хвастливо, как сказала бы моя жена) говорю о себе. В противоположность всем сменявшимся течениям последних лет на мою жизнь опять ложится очень резкий и счастливый личный отпечаток.

Вы слишком хорошего мнения обо мне, если думаете, что я Вам достану все эти книги². Во-первых, я и свинья,

и к тому же страшно занят. Эдик говорит, что список у Викт. Борисовича и, может быть, он что-то сделает.

Неужели я Вам не послал своей книжечки? У меня определенное чувство, что я это сделал или хотел сделать. Там все вещи полностью известные Вам. И разве Вы не читали «Ромео» и «Антония»? Со дня на день должен выйти «Отелло». Тоже пришлю. Потом «Генриха IV-го». Простите меня за безучастность в делах. Я тоже очень бы хотел Вас видеть. *Б. П.*

251. С. Д. СПАССКОМУ

28 января 1946, Москва

Дорогой Сережа, ты прелесть. Ты меня очень растрогал своей статьей в «Ленинграде»¹ и тем, что выругал военные стихи. Ты прав, спасибо тебе. Легко догадаться, что тебе выкинули фразу или две, где ты выделил то, что тебе понравилось среди них, потому что далее следует противопоставление. Я очень люблю и обнимаю тебя. В Тифлисе, где было непередаваемо хорошо, я познакомился с твоим милым и интереснейшим братом Евгением Дмитриевичем. К сожалению, меня замотали, что я не успел познакомиться с его работами. Он недавно был тут и привез радостную новость: Тициан жив и дело его пересмотрят².

252. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

1 февраля 1946, Москва

1.II.1946

Что же ты никогда не пишешь, Оля? Так ли я черен и виноват перед тобой, что не заслуживаю и доброго слова? Как трудно бывает временами и как неожиданно обидно! Вообще, какой подбор неподходящих обстоятельств: времени, рождения и прочих этикеток! И как все они противоречат существу, направлению судьбы, разговору с миром! Как из этого выскочить? Пожелай мне выдержки, т. е. чтобы я не поникал под бременем усталости и скуки. Я начал большую прозу, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня «сыр-

бор» в жизни загорелся, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твоему летнему приезду и тогда прочесть. Передала ли тебе записку Чечельницкая?

Твой Б.

253. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

24 февраля 1946, Москва

Дорогой мой друг Олюшка! Какую радость доставила ты нам своим сегодняшним письмом! Зина тебе благодарна и крепко целует. Нет, ты мне о сердце в карандашном с островов ничего не писала, — как меня это огорчает и напугало! Но ты не расстраивайся. У меня было два периода в жизни, когда мне о сердце такое говорили! Как ты чудно пишешь, можно позавидовать. Впрочем, ты сама, верно, это хорошо знаешь. Я великолепно представляю себе, какой костяк вопросов поддерживает твой интерес к проблеме прозы и как это будет глубоко!! Это наверное (в сопоставлении с условностью не-прозы) будет параллель двух культур или систем, и душу одной будут составлять преюмственность и форма, а другой — новшество и откровение. А твои слова о бессмертии — в самую точку! Это — тема или главное настроение моей нынешней прозы. Я пишу ее слишком разбросанно, не по-писательски, точно и не пишу. Только бы хватило у меня денег дописать ее, а то она приостановила мои заработки и нарушает все расчеты. Но чувствую я себя как тридцать с чем-то лет тому назад, просто стыдно. Целую тебя крепко, моя хорошая.

254. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

31 мая 1946, Переделкино

Дорогая Оля!

Ну вот опять лето, и опять, не веря в то, что это когда-нибудь случится, я прошу тебя к нам. А между тем смутные расчеты на то, что вдруг ты когда-нибудь возьмешь да приедешь, таятся где-то в глубине души, потому что, например, мы выдерживаем Асмусов на крытой стеклянной террасе и бережем внизу одну ком-

нату либо для тебя, либо для Шуры с Ириной или еще для кого-нибудь.

Я еще в городе, — я хочу и должен написать общее предисловие к собранию своих Шекспировских переводов¹ (известные тебе, плюс «Отелло» и «Генрих IV»), а вместо этого все время страшно хочется спать. Если Бог даст я буду жив, я в октябре или ноябре обязательно съезжу в Ленинград.

Ничего не могу сообщить тебе нового, соотношения сторон моей жизни прежние, мне очень хорошо внутренне, лучше, чем кому-либо на свете, но внешне, даже не мне, а моему Шекспиру, для того, чтобы он пошел на сцене, требуется производство в камер-юнкеры, то самое, чего мне никогда не дадут и потребность в чем тебя с моей стороны так удивляла. Но у меня все сложилось бы совершенно по-иному, и я, может быть, сделал бы много нового, если бы на меня стал работать театр.

Как твое здоровье? Я не жду от тебя большого письма, я знаю, как трудно бывает писать, когда считаешь, что это нужно. Всего лучше было бы, если бы ты к нам собралась. Леня уже на даче, Зина и там и тут, Женя кончает академию. Прости за эти вялые строки, я тебе ничего не собирался сообщить, а только хотел напомнить, что наступило лето.

Крепко целую тебя. За открытку все-таки был бы благодарен. Зина всегда ждет тебя так же, как я.

Твой Б.

255. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

5 октября 1946, Москва

Дорогая Оля!

Как твои дела и здоровье? У меня и у Зины летом была некоторая, хотя и слабая надежда, что ты приедешь. У нас все время было много народа. Шура с Ириной, разная молодежь, и мы все время берегли для тебя то комнату, то верхнюю стеклянную террасу.

Прости, что я не написал тебе. Я с чрезвычайною, редкою удачей работал в последнее время, особенно весной и летом. Мне надо было к собранию пяти моих шекспировских переводов написать вступительную статью, и я не верил, что я это одолею. Удивительным образом это удалось. Я на тридцати страницах сумел

сказать, что хотел о поэзии вообще, о стиле Шекспира, о каждой из пяти переведенных пьес и по некоторым вопросам, связанным с Шекспиром: о состоянии тогдашнего образования, о достоверности Шекспировской биографии. Экземпляр статьи есть в злополучной вашей «Звезде» или «Ленинграде» (т. е. в их редакциях) у Саянова или Лихарева; ¹ если у тебя есть общие знакомые, достань ее, пожалуйста. Мне хотелось бы, чтобы ты ее прочла,— хотя с таким же пожеланием я уже обратился к Ахматовой и Ольге Берггольц.

А с июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки» ², который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902—1946 г., и с большим увлечением написал четверть всего задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года — первые шаги на этом пути,— и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе,— а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе.

Сначала все это «ныне происходящее» в моей собственной части ни капельки не тронуло меня. Я сидел в Переделкине и увлеченно работал над третьей главой моей эпопеи.

Но вот все чаще из города стала Зина возвращаться черною, несчастною, страдающей и постаревшею из чувства уязвленной гордости за меня, и только таким образом эти неприятности, в виде боли за нее, нашли ко мне дорогу ³. На несколько дней в конце сентября наши дни и будущее (главным образом в материальной форме) омрачились. Мы переехали в город в неизвестности насчет того, как сложится год с этой стороны.

Но сейчас я думаю, что все наладится. Ко мне полностью вернулось чувство счастья и живейшая вера в него, которые переполняют меня весь последний год. И перед возобновлением прерванной работы (я решил сегодня снова засесть за нее) мне хотелось, пока у меня есть время, дать тебе весть о нас всех.

Наверное, эта «кампания» бьет и по тебе, и твои неприятности усилились?

Как это все старо и глупо и надоело!

Ты тогда очень хорошо процитировала выкрики Треплева из «Чайки»⁴.

Крепко целую тебя. Зина тоже кланяется тебе и тебя целует. В последнюю минуту решил все же послать тебе статью в единственно оставшемся у меня полустертом экземпляре. Если после твоего чтения не изгладятся совершенно последние следы букв, передай прочесть кому-нибудь.

И вот еще я, Леня, Зина и работница Оля в разных комбинациях⁵.

Твой Б.

Напиши, как твое здоровье. Есть ли у тебя мой перевод «Отелло»?

256. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

13 октября 1946, Москва

Дорогая Оля!

Написал тебе и в тот же день заболел ангиной, пролежал несколько дней.

Сейчас у меня очень нехорошее настроение, одна из тех полос, которые продолжительными периодами пересекали несколько раз мою жизнь, но сейчас это соединяется с действительной старостью и, кроме того, за последние пять лет я так привык к здоровью и удачам, что стал считать счастье обязательной и постоянной принадлежностью существования.

В одном отношении я постараюсь взять себя в руки, — в работе. Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое¹. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возмож-

ность строить культуру на их сырой национальной сущности.

Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.

Это все так важно, и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов.

Пакет с фотографиями, статьей, книжками и прочим я отправлял не сам, а дал отправить нашей почтальонше, так что, когда ты получишь, не задумывай большого ответного письма, но извести открыткой о своем здоровье и житье-бытье.

Целую тебя. Мне совсем невесело.

Твой Боря.

257. Н. А. ТАБИДЗЕ

4 декабря 1946, Москва

Дорогая моя Ниночка, Вы не можете себе представить, как меня огорчило известие о Нитиных глазах! Бог даст, все, может быть, опять обойдется, как в тот раз. Сообщите мне, пожалуйста, открыткой или телеграммой, в каком состоянии сейчас ее здоровье.

Грешный человек, когда Евгений Дмитриевич (брат Сережи Спасского) привез тогда эту ошеломляющую радость о Тициане¹, я подумал, что известие это правильное, т. е. что он жив, но что ограничится словами и обещаниями, а щедрость и благородство никогда не пойдут так далеко, чтобы его освободить. Как это бездарно и жестоко!! Вы знаете, друг мой Ниночка, это сильнее меня. Это именно то, чего я никогда не мог победить в себе и что так резко и неизменно определило мое поведение,— непримиримость в отношении двух-трех слишком близких случаев этого скудоумия и подлости. Этого я не могу простить, хотя бы это стоило мне жизни. И все же в одно прекрасное утро он придет, придет, может быть, даже раньше, чем Вас достигнет это письмо. Я знаю такие примеры.

Прозу я начал ведь писать с Вашей легкой руки, т. е. толчком к ней послужила подаренная Вами Тицианова бумага. Потом я решил, что бумага слишком хороша для такой пачкотни, и перенес работу, вместе с ощущением этой благородной желтизны слоновой кости, согревшей мою выдумку, на другой, более простой сорт бумаги (как часто бывает с воздержанием, когда, например, Вы отказываетесь от лакомства и мысль о лакомстве в фантазии становится равносильна двойному лакомству). Одним словом, Тицианова бумага определила мой новый стиль, и Вы, Нина, оказали на меня литературное влияние. Я вор и плагиатор.

Милая Ниночка, осенняя трепотня меня ни капельки не огорчила. Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать, с народом он или не с народом? Только такие фразеры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово, не заботясь о том, осталось ли у него какое-нибудь значение.

Вас достигли слухи о продовольственных неурядицах севера. Как всегда бывает в таких случаях с семьями нашего слоя, продовольственная паника повела к тому, что сахару покупают и потребляют больше чем надо и чем бывает в спокойное время, все время возят мясо из деревни родственники работницы, и в доме весь день воняет перетапливаемым нутряным салом.

Стасик женился, немного рано, ему только еще 19 лет, на девушке, с которою дружит последние годы, и живет в семье жены, ее отец инженер, там немного просторнее.

Леня, маленький наш дурачок, поступил во второй класс школы в середине года. Когда он в конце октября пошел первый раз в класс, я был готов к тому, что его, избалованного мальчика, выросшего на руках у женщин, исколотят и высмеют и он придет в синяках и слезах. Но представьте, он привился там, и с первого же дня с ним там подружились. Он стал хватать пятерки и оказался вторым учеником. Сейчас он захворал чем-то неопределенным со рвотами, сначала мы решили, что скарлатина, потом это оказалось ошибкой, может быть, это желтуха, может быть, глисты, во всяком случае, Ваш подарок, фрукты и сушение оказались очень кстати и вызвали взрыв восторгов и благодарности. А вино, а вино! Жаль, что когда его пьют, его выпивают, а то все хотелось бы любоваться его цветом, крепостью и густотой!

Каждый раз, что я пишу Вам, собирается и Зина, и верьте мне, мешают только хозяйственные хлопоты и бестолочь.

Мне было очень хорошо в конце прошлой зимы, весною, летом. Мне было так, как было в Тифлисе. Я не только знал (как знаю и сейчас), где моя правда и что б<ожьему> промыслу надо от меня,— мне казалось, что все это можно претворить в жизнь, в человеческом общении, в деятельности, на вечерах. Я с большим увлечением написал предисловие к моим Шекспировским переводам, кажется, Урушадзе повезла один экземпляр статьи (в рукописи, конечно) Симону,— достаньте у него. С еще большим подъемом я два месяца проработал над романом, по-новому, с чувством какой-то первичности, как, может быть, было только в начале моего поприща. Осенние события внешне замедлили и временно приостановили работу (все время денег приходится добиваться, как милостыни), но теперь я ее возобновил. Ах Нина, если бы людям дали волю, какое бы это было чудо, какое счастье! Я все время не могу избавиться от ощущения действительности, как поправленной сказки. Разберете ли Вы мою мазню? Подумайте, как я разболтался! Всем сердцем желаю Вам полного выздоровления Ниты, спокойствия, полноты сил и здоровья. Целую Вас без конца.

Ваш Б.

258. С. Д. СПАССКОМУ

24 января 1947, Москва

Дорогой Сережа!

Если ты соберешься в Москву, предупреди меня заблаговременно по почте. Мне надо будет почитать тебе написанную часть своего романа в прозе, кот. я продолжаю писать (к весне надеюсь кончить первую часть, а весь он будет в двух). Тогда я как-ниб. соединю тебя с какими-ниб. другими слушателями, Журавлевыми и еще кем-ниб., и буду читать не у себя, как я уже это делал раньше.

Как ты и твоя семья? Мне в «Звезде», единственном номере, какой я видел, понравилась твоя поэма¹, кусочки ясного пейзажа, обозначение краски, девушку на уровне Петровых глаз и лба в конце, размежевание

с романтикой «наводнения», «бури в стакане воды», так сказ., в сравнении с нынешним, некоторые выражения.

Удивительно, что я так медленно подвигаюсь в работе и у меня так много времени пропадает даром, так, не в пример прежнему, полон я мыслей, мож. быть, несвоевременных и ненужных, но владеющих всем мною целиком. Целую тебя.

Твой Б. П.

259. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

24 января 1947, Москва

Дорогая Оля, как это могло случиться, что я не поздравил тебя с Новым годом, что не пожелал тебе своего стереотипного: — здоровья и денег, двух вещей, из которых можно сложить все остальное! Успокой меня, пожалуйста, что ты жива, и еще чем-нибудь, что может уместиться в открытке.

Отчего я не пишу тебе?

Оттого, что разрываюсь между обычным течением дня и писанием последнего счастья моего и моего безумья — романа в прозе, который тоже ведь не всегда идет как по маслу.

Да и что остается мне еще сказать тебе, до сих пор остается, в каждом письме? Чтобы ты как-нибудь так устроилась с ленинградской квартирой на лето (поручила ее хранить кому-нибудь), чтобы могла пожить летом у нас, близ нашей жизни и ее каждодневного копошения.

После всего сказанного становится интересно не то, почему я молчу, а скорее обратное. Итак, по какой причине, не имея сообщить ничего нового, сорвался я сейчас писать тебе?

До меня все чаще доходят слухи, что проф. А. А. Смирнов (а может быть, еще и многие, кроме него) ведут подкоп под моих Шекспиров¹. Я вдруг вспомнил, что это — в университете и настолько по соседству с тобой, что, может быть, тебе это обидно и огорчает тебя? Спешу тебя успокоить и уверить тебя, что это решительные пустяки и будут ими в любой пропорции, даже еще бы они возросли стократно. (Это пустяки даже в том случае,

если бы это меня било не только по карману, а он был совершенно прав (а может быть, он и прав).

Я сделал, в особенности в последнее время (или мне померещилось, что я сделал, все равно, безразлично) тот большой ход, когда в жизни, игре или драме остаются позади и перестают ранить, радовать и существовать оттенки и акценты, переходы, полутона и сопутствующие представления, надо разом выиграть или (и тоже целиком) провалиться, — либо пан, либо пропал.

И что мне Смирнов, когда самый злейший и опаснейший враг себе и Смирнов, — я сам, мой возраст и ограниченность моих сил, которые, может быть, не вытянут того, что от них требуется, и меня утопят?

Так что ты не печалься за меня, если тебе пришла в голову такая фантазия. Ты не можешь себе представить, как мало я заслуживаю сочувствия, до чего я противен и самоуверен!

Меня серьезно это обеспокоило в отношении тебя, как это бывает по отношению к Зине, когда (как в осеннюю проработку) я начинаю косвенно чувствовать, что я задет и запачкан тем, что ей приходится болеть и оскорбляться за меня, а я это сношу и не смываю двойным ответным оскорблением.

В последние дни декабря за одну неделю я потерял двух своих ровесниц и приятельниц, умерла Оля Серова (старшая дочь художника) и Ирина Сергеевна, жена Асмуса.

Целую тебя.

Твой Б.

260. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

16 февраля 1947, Москва

Милая моя Олюшка, мамочка моя!

Что я, право, за собака, что, когда хочется и естественно ответить по-человечески и подробно, я оттявкиваюсь открытками или краткими записками.

Три странички твоего конспекта¹ это дело бездоннейшей глубины и целый переворот, вроде ком. манифеста или апостольского послания. Как высоко тебе свойственна способность видеть вещи в их подлинности и первичной свежести!

Вот геркулесовы столпы этого конспекта.

2. Лирика — величайшее изменение общественного сознания, этап познавательного процесса, перемена виденья мира. Вселенная впервые заселяется на *социальной земле людьми*.

3. Мифы о богах становятся биографиями поэтов.

5. Из инкарнации становится метафорой, перенесением объективного на субъективное.

6. Наличие факта и момента. Не знает обобщающей многократности.

11. Возникает одновременно с нарождающейся философией.

Все это потрясающе верно и необычайно близко мне вообще, и тому, чего ты не можешь знать и что я теперь пишу в романе (там есть такой, размышляющий, расстрига священник², из литературного круга символистов, и записи его о Евангелии, об образе, о бессмертии). Некоторые выражения прямо оттуда.

Какая ты молодчина, и как все жалко, и в то же время как все чудесно и как похоже!

Я страшно занят сейчас. В довершение общей спешки осилил то, мысль о чем всегда гнал от себя как нечто не сформулированно-расплывчатое и неосуществимое, — пересмотр и переделку «Гамлета»... какую-то требующуюся, но какую именно? — непонятно какую. Его переиздает «Детгиз», и вот, отложив в сторону роман, я легко с разбега прошел его, облегчил и упростил. И то же самое надо сделать с «Девятьсот пятым годом» для другого переиздания³.

Благодарю тебя за возвращение статьи, ее только что подали. И за письмо, с донесением. (На пакете не твой почерк, ты, наверное, кому-то поручила отправить!)

Если я урву минуту, я кому-нибудь из вас троих, тебе или Берггольц или Ахматовой пошлю стихи из романа (насколько они стали проще у меня!), чтоб вы хоть что-нибудь обо мне знали, чтобы переписать или дать переписать остальным. Вернее всего Ахматовой, как преимущественной мученице, а твою тезку попрошу переписать и отнести тебе.

Крепко тебя целую! Ты не можешь себе представить, как я стал вынужденно тороплив!

А лето?

Твой Б.

2—9 марта 1947, Москва

Дорогая Оля! Нас страшно порадовало твое согласие приехать к нам летом. Остается только сдержать данное слово.

Очень, видно, тебе не хочется, чтобы я тебя связывал с моими «литературными дамами», — твоя ответная открытка прилетела скорее телеграммы. Но, представь, я уже написал Анне Андреевне с просьбой о тебе. Я тебе не могу гарантировать абсолютной неприкосновенности, но, с другой стороны, Ахматова так ленива на ответы и исполнение просьб, что, может быть, эта радость тебя минует. Женя — адъютант военной академии, т. е. после блестящего ее окончания оставлен при ней. Как тебе не стыдно сообщать мне в виде «слухов» о моей прозе то, что я сам сказал о ней Чечельницкой, а она с моих слов — тебе. Пишу страшно не выславшись, а вчера упал и расшиб себе нос в кровь об край кухонной раковины. Целую тебя.

Твой Боря.

9 марта. Прости, письмо страшно залежалось.

16 марта 1947, Москва

Благодарю Вас за Ваше сердечное письмо. Я совершенно согласен с Вашим мнением о ложке дегтя в бочке меда, портящей все дело. Долго это отравляло для меня все мое прошлое, все сделанное, за исключением самых последних лет после Шекспира. Теперь я к этим следам деформизма у себя (футуризма, распада форм, Маяковский, напр., ценивший меня, не прощал мне случаев гладкости и благозвучия) — теперь я к этому былому беспорядку отношусь гораздо спокойнее, и, вообще, мое прошлое сейчас меня не интересует, так много я работаю и так *по-новому* в последнее время. Я пишу сейчас большой роман в прозе о человеке, кот. составляет некоторую равнодействующую между Блоком и мной (и Маяковским и Есениным, мож. быть). Он умрет в 1929 году. От него останется книга стихов, составляющая одну

из глав второй части. Время, обнимаемое романом, 1903—1945 гг. По духу это нечто среднее между Карамазовыми и Вильгельмом Meisterом.

Еще раз спасибо.

Ваш Б. П.

263. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

26 марта 1947, Москва

Дорогая Оля! Я болел гриппом и еще не выхожу, а Леничка, заболевший вместе со мною, еще лежит с небольшим послегриппозным осложнением (небольшое воспаление уха). Но чувствую я себя хорошо, и настроение у меня по-обычному бодрое, несмотря на участвовавшие нападки (например, статья в «Культуре и жизни») ¹. Кстати: «Слезы вселенной в лопатках». «В лопатках» когда-то говорили вместо «в стручках». В зеленых, когда мы были детьми, продавали горох в лопатках, иначе не говорили. А теперь все думают, что это спинные кости.

Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой и со всеми могло быть, а со мной не будет? Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю. Ничего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснения. Наверное, денежно будет труднее. Это я пишу тебе, чтобы ты не огорчалась и не беспокоилась. Может быть, все обойдется. В прошлом у меня действительно много глупой путаницы. Но ведь моя нынешняя ясность еще менее приемлема.

Целую тебя. Твой Боря.

Все это не имеет никакого отношения к твоему приезду. Наоборот, еще нужнее, чтобы ты приехала.

264. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

9 апреля 1947, Москва

Дорогая моя Олюшка, благодарю тебя за письмо. По-моему, я был в гриппе, когда его получил. Говорю «по-моему», потому что действительно, как ты справедливо заметила, все так быстро мелькает, что очень скоро забывается. Никому не писал, ни с кем не объяснялся.

Кажется, дышу, насколько могу судить. Ничего не произошло, но постоянные мои надежды, что Шекспир пойдет и станет рентой, не оправдываются вследствие все время поддерживаемой неблагоприятной атмосферы. Опять придется переводить, как все эти годы. Хотят дать перевести первую часть Фауста, но договора пока не заключили¹. Но вообще ничего, нельзя жаловаться. А подспудная судьба — неслыханная, волшебная.

Целую. Твой. Б.

Радиослова о Бетховене — поразительны!²

265. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

24 апреля 1947, Москва

Дорогая Оля. Уже три дня, как на дворе жарко, и Зина поговаривает о переезде на дачу. И мне интересно, whether you have made up your mind * по поводу твоего приезда к нам? В нашем сознании ты живешь так прочно, что Зина ссылается уже и на тебя в числе гостящих, когда надо отказать другим. Я никогда не играл в карты и не ездил на скачки, и вдруг на старости лет моя жизнь стала азартной игрой. Оказалось, что это очень интересно. Я чувствую себя очень хорошо, большую часть занят работой, но она ничем не компенсируется. Скучно, страшно скучно, как в какой-нибудь пустыне.

Целую тебя.

Твой Б.

266. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

8 сентября 1947, Переделкино

Дорогая Оля!

Что ты и как твое здоровье? Я тебе буркнул что-то нелюбезное и черствое на твой отказ приехать. Виной всему этому собачья спешка. Такая работа даже не столько утомляет, сколько портит характер. Разукаешься отдыхать, радоваться, перестаешь понимать, что

* приняла ли ты решение (англ.).

такое удовольствие. Мне все время чего-то страшно хочется, но я, собственно, не знаю чего и потому не знаю, чем себя премиривать, хочется ли мне сыру к чаю, или поехать в Москву, или кого-то увидеть, или быть уверенным, что я не увижу никого. Вероятно, это скрытое желание того, чтобы получить назад молодость без запродажи за это своей души.

Жаль, что ты не приехала. Жили Шура с Ириной, Зинин сын с женой, приезжал Женя, гостила Нина Табидзе, много было народа, тебе было бы хорошо и не скучно, Леничка и Зина научили бы тебя азартным играм, в карты, в маджонг.

А я Бог знает что выделывал, нечто варварское, непозволительное. Две с половиной тысячи рифмованных строк лирики Петефи (среди них одна поэма в 1500 строк), в месяц с неделей, «Короля Лиры» в полтора месяца. Но когда-то я переводил очень хорошо и ничего не добился. Единственный способ отомстить — это делать теперь то же самое плохо и до недобросовестности быстро. Роман или, вернее, мир, к которому я повернулся в последнюю зиму, то, что я себе позволяю и (выходит!) могу позволить — это так далеко, так несоизмеримо, что какое мне дело до Лиры и до того, плохо или хорошо я переведу его, т. е. *насколько* плохо. Ах, это теперь решительно все равно.

Мне весной писал Смирнов, по поводу их Ленинградского Шекспира, и соглашусь ли я что-то переделывать в «Ромео и Джульетте». Я ему ответил очень легко и хорошо, чтобы он знал, с кем имеет дело, очень *sans façon* *, но с очень добродушным концом, что, дескать, хотя он своим непониманием погубил моего Шекспира, но я по прирожденной глупости не способен переживать ничего неприятного и его в своей жизни не заметил, как человек избалованный и толстокожий. Беда только, что я письмо отправил простым, а у меня бывали случаи, когда простые письма пропадали.

Я тебе мараю это письмо, дострочив до конца беловик «Лиры», завтра повезу переписчице в город, это для Детгиза, для школьных библиотек. Зина с Ленечкой уже в городе, у него начались занятия в школе.

Это лето (в смысле работы) — это первые шаги на моем новом пути (это очень трудно, и это первая вещь, которою бы я стал гордиться в жизни): жить и работать

* бесцеремонно (фр.).

в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего года, а другую часть по-настоящему, для себя. И это при большой семье, которую я приучил жить хорошо, при необходимости выколачивать текущую новую и кровную работой от 10 до 15 тысяч ежемесячно. Ты не ахай и не бросай отраженных чувствований в сторону Зины. Она тоже трудится не покладая рук. А одни ее летние огороды чего стоят!

Вот я опять ничего не написал тебе. Сообщи, как твое здоровье. Оправдались ли также и твои трудовые расчеты? Как твоя задуманная работа?

Тут хорошо. Наверное, я тоже скоро перееду. Выкопаем картошку, и перееду. Я еще ведь портить «Фауста» обязался. Но до этого допишу первую книгу (?) или часть (?) романа. Осталось главу о первой империалистической (1914 г.) войне.

Целую тебя.

Твой Б.

267. Б. С. КУЗИНУ¹

7 марта 1948, Москва

Дорогой Борис Сергеевич!

Простите, что я до сих пор ничего не сказал и не написал Вам о Ваших стихах. Я очень нетерпимо отношусь к своему собственному прошлому и, более широко, к тому миру вообще, часть которого это прошлое составляет, и поэтому *не могу быть справедливым* к Вашим стихам отчасти именно вследствие их достоинств. Той струны, — скажем, что ли, так, — которой Вы в них касаетесь, я совершенно не выношу в себе и поэтому совсем не гожусь Вам в судьи.

А чтобы Вы не сделали превратных выводов из сказанного, чтобы не подумали, что я Вас зову к чему-либо такому, что называет жизнью и действительность современная газета, вот Вам стихи из самой важной и новой моей работы, из моего большого романа в прозе, который я пишу с прошлой зимы урывками, когда бывает время.

Вы должны знать, что стихов как самоцели я не любил и не признавал никогда. Положение, которое утверждало бы их ценность, так органически чуждо мне и я так этот взгляд отрицаю, что я даже Шекспиру и Пушкину не простил бы голого стихотворчества, если бы, кроме

этого, они не были гениальными людьми, прозаиками, лицами огромных биографий и пр. и пр.

Тогда, и только при этом положении, то есть только при безмерности этого, ближе неопределимого *безусловного* мира, становится простительной и получает смысл условная музыкальная речь в рифму, как только в приложении к телеграфу, несущему жизнь и смерть в обыходе, получают оправдание палочки и точки лаконического телеграфного языка и его азбуки.

Во всех же прочих случаях я не понимаю увлечения этой бессмыслицей и в этом отношении радикальнее Маяковского, кот. в этом пункте покладистый эстет в сравнении со мной.

Мне очень трудно писать Вам, т. к. Вам надо отвечать очень принципиально и это заводит в невозможные дебри.

Доставая Ваши стихи, я обнаружил, что уже летом начинал писать Вам и, наверное, не довел письма до конца вследствие его досадной и раздражающей неудачности. Все равно, прилагаю его. Желаю Вам счастья.

Ваш Б. П.

Глубокоуважаемый Борис Сергеевич! ²

Я о Вас много слышал раньше. Все в Вас меня привлекает. Моя невестка передала мне Ваши стихи. Мне хотелось бы сказать Вам только то заслуженно приятное, на что они наводят. Но до того как я обращусь к некоторым из них в отдельности, я должен наговорить резкостей и неприятностей... даже не Вам, а по другому, между прочим и моему собственному, адресу.

Вы мне лишний, в сотый или тысячный раз напомнили то, что я знаю без напоминаний, что ничего этого не было, ни Мандельштама, ни Анненского, ни меня, что все еще пока тяжел, досаден и еще не искуплен этот мир представлений в промежутке между символизмом и акмеизмом, этот еще не тот неведомый, который придет следующим по порядку, и этот уже не Блок.

Только Вы не думайте, что на моих словах сказываются результаты нынешних проработок, рассуждения об актуальности и так далее ³. Ах нет, эти нападки еще более невинный и детский вздор, чем самые объекты нападений. Сметено будет и то и другое, положение и отрицание. Я ли именно зачеркну это? Нет, не надо было зевать двадцать лет, — для этого я слишком стар.

Но я, может быть, по крайней мере, научу, как это сделать.

Простите, Вы видите, как все это второпях и небрежно, как с моей стороны безболезненно (писатели остерегаются переписываться так неряшливо). Но именно так мне и хочется написать Вам, п. ч. по другому не выходит.

268. И. С. БУРКОВУ

6 апреля 1948, Москва

6.IV. 48

Милый Иван Семенович! У меня нет времени ответить Вам по-настоящему, а чтобы дать Вам доказательство, что я Вас не забыл, посылаю Вам стихи из моего романа в прозе, писанием которого я сейчас занят. Они в него входят отдельною главой и составною частью (это долго рассказывать, как и почему). Они, наверное, Вам не понравятся своею бедностью и порядком, по сравнению с прежними, но Вам надо их иметь, чтобы у Вас было правильное представление о моем нынешнем мире и манере.

Я также, может быть, pošлю Вам книгу моих избранных, выходящих в «Советском писателе», когда они выйдут, хотя они повторяют все известное Вам. Всего Вам лучшего.

Ваш *Б. Пастернак*

269. И. С. БУРКОВУ

7 мая 1948, Москва

Милый Иван Семенович! Не думайте, что я оставил без внимания Ваши милые письма¹. В ответ на них я послал Вам записку с новыми моими стихами из романа в прозе и (кажется, теперь не помню) сборник венгерского поэта Петефи в разных переводах. Но, видимо, все это пропало, а то бы Вы, наверное, известили меня о получении посылки. Жалко, но ничего не поделаешь. От души желаю Вам всего лучшего.

Ваш *Б. Пастернак*

Издательство «Советский писатель», отпечатавшее и почти уж выпустившее мой сборник, должно было воздержаться в последнюю минуту от этого². Сборник не выйдет, и если я Вам обещал его, то не в состоянии исполнить обещания.

Ваш Б. П.

270. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

*29 июня — 1 октября 1948,
Москва, Переделкино*

Дорогая Олюшка! Как это горько, что родовые драмы так повторяются! Теперь ты меня наказываешь своим молчанием или даже полным исключением из твоего сердца за мой эгоизм, за то, что мои чувства — «слова, слова, слова», «литература», что если бы все было по-настоящему, я бы свою любовь доказал делами, а не вздохами, изображенными на бумаге.

1-го октября. Олюшка моя, вот начало весеннего моего письма к тебе, прерванного на втором слове из-за сознания его вероятной безрезультатности, к тому же усугубленного вечной спешкой. Тогда я задержался один в городе (Зина жила уже на даче), как сейчас по такой же причине застрял в одиночестве на огромной и холодной даче.

Тогда я дописывал первую книгу романа в прозе и в то же время кроил и перекраивал семь переведенных своих Шекспировских драм, поступавших из разных издательств, согласно разноречивым пожеланиям бесчисленных редакторов, сидящих там.

А теперь я с такою же бешеной торопливостью перевожу первую часть Гетевского «Фауста», чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и, может быть, закончить зимою роман, начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им, в двух книгах. Я рад,

что довел первую до конца. Хочешь, я пришлю тебе экземпляр рукописи недели на две, на месяц? Там только тяжело будет тебе читать (с целью более рельефного и разительного выделения существа христианства) до шаржа доведенные, упрощенные формулировки античности.

Будь милостива, прости меня, если я чем-нибудь виноват перед тобой, и что-нибудь напиши мне о себе или попроси кого-нибудь, может быть, Машуру. Я ее люблю ничуть не меньше тебя, то, что я пишу тебе, а не ей, ничего не значит, как из разнообразных сторон и случайностей моего поведения вообще не следует ничего фактического и разумного. Пусть меня кто-нибудь известит о тебе, жива ли ты, как твое здоровье и не нужно ли тебе денег. Я год за годом тружусь как каторжный и всегда мне всех: Зину, тебя, Леничку, нескольких твоих тезок¹ и не тезок до слез жаль, словно все кругом несчастные и только я один позволяю себе быть счастливым и, значит, у всех перечисленных как бы на шее. И действительно, я до безумия, неизобразимо счастлив открытою, широкою свободой отношений с жизнью, таким мне следовало или таким лучше бы мне было быть в восемнадцать или двадцать лет, но тогда я был скован, тогда я еще не сравнялся в чем-то главном со всем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас.

Все мы живы и здоровы, и Женя с Женичкой, и Шурина семья, все у нас в порядке.

Удостою меня, пожалуйста, хоть строчки-другой от себя (не трать времени, не надо писать много). Я охвачен почему-то страшной тревогой о тебе, я хочу, чтобы кто-нибудь вывел меня из неизвестности (в университете ли ты?), и наперед боюсь этого.

Твой *Боря*

И кланяйся тете Кларе, Владимиру Ивановичу, Машуре и всем их близким.

271. С. Д. СПАССКОМУ

12 июля 1948, Москва

Дорогой Сережа! Я попрошу Анну Андреевну¹ взять с собой один экземпляр первой книги романа для прочтения его тобою и твоими друзьями. Дописывание

этой части, ее переписка происходили в большой спешке. Я отдаю машинопись, не только не просмотрев ее, но и не имея времени даже взглянуть на нее. Но существенных опечаток или описок, кот. могли бы ввести в заблуждение или о наличии которых нельзя было бы догадаться, в рукописи не может быть. У меня на руках остается точная копия. Я задержался в городе и завтра переезжаю в Переделкино. Там я просмотрю эту музыку. Если бы что оказалось (в предвидении возможного переписывания в Ленинграде), я тебе сообщу исправление в письме с указанием страниц и строчек.

Теперь речь не об этом, а о самом общем. Справься, приехала ли А. А. и привезла ли вещь, зайди за нею и прочти ее. Напиши мне о своем впечатлении, если найдешь нужным. Скажи мне свое мнение прямо, без обиняков. Это слишком крупная претензия, отход мой и от окружающего обыкновения, и от предшествующих моих навыков, и от того может быть, что остается и что надо считать искусством, так ясен и велик, что вся эта попытка где-то сопровождается какой-то долей раздражающей наглости, и автора нечего щадить, может быть, это совсем не так хорошо, как кажется в моем чтении, наполовину актерском и, может быть, мне надо открыть глаза и меня надо проучить.

Пиши мне по городскому адресу: Москва 17, Лаврушинский, 17/19, кв. 72.

Имеющиеся стихи (Юрины)² и имеющие быть дописанными составляют одну из глав второй книги, после его смерти в 1929 году.

Целую тебя,
твой Б.

272. С. Д. СПАССКОМУ

20 июля 1948, Переделкино

Дорогой Сережа!

Я наконец выбрался в Переделкино, на первое время без выезда, чтобы двинуть «Фауста», за которого я только-только принялся¹, и пишу тебе, находясь в совершенной неизвестности насчет следующего: 1) выехала ли уже Анна Андреевна из Москвы, 2) смогла ли она, по условиям багажного веса, захватить с собою рукопись

и 3) в Ленинграде ли ты вообще, и доходят ли до тебя мои разнообразные покушения.

Зато я привел в ясность вопрос о рукописи романа ², и, во-первых, налицо ли в твоём экземпляре 149 страница, затесавшаяся в мой экземпляр в двойном числе? Это мне надо знать, чтобы дослать тебе ее. Во-вторых, найди, пожалуйста, способ сшить страницы, а то они перепутаются или затеряются. В-третьих, и это важнее всего, так что, собственно, я с этого должен был бы начать, в-третьих, в тексте все же много ошибок переписчицы (напр., на стр. 11 два раза у нее *идеал*, а у меня было *идея*, у меня: *кружишься, кружишься*, а у нее *кружиться, кружиться* и пр.) и еще больше моих собственных грехов, фраз, которые я должен был бы выбросить, лишние перегрузки мест, требующих небольшого упрощения и облегчения. Напр., на стр. 92 слишком затянут разговор о смерти. Вычеркни, пожалуйста, 3 последних строчки страницы, начиная со сл.: И вот хоть убейте меня... Отсюда вывод, что не только не надо отдавать это в переписку, но, наоборот, при первом удобном случае пришли мне рукопись с okazji для правки (или просто заказной бандеролью по почте).

Что же касается твоего собственного ознакомления с ней, то меня эти мелкие недочеты, в некоторых случаях раздражающие, не пугают. Существенной помехой для тебя они не будут и настолько не играют роли, что я поступил правильно, послав тебе непросмотренную и, в некоторых своих слоях, неотлежавшуюся рукопись. На отбор и шлифовку, на осмотрительность и неторопливость ушло столько лет жизни, что теперь только и осталось, что не тратить времени даром и торопиться. На свете мало кто способен понять так хорошо, как ты, о чем это и для чего, так что, если только это не слишком плохо, это доставит тебе радость.

Твой Б. П.

273. С. Д. СПАСКОМУ

14 августа 1948, Переделкино

Дорогой Сережа! Не обижайся, пожалуйста, на то, что о радости получения твоего большого значительного письма я извещаю тебя действительно лишь открыткой. Сколько в нем удивившего меня понимания и сколько

доброты и щедрости проявил ты, не пожалев затратить на меня столько времени! Я вынужденно тороплив, ты должен простить меня. Именно для того чтобы продолжать работу в том духе, как ты пишешь, я должен залпом и галопом одолеть «Фауста»¹, чем в настоящее время и занят. Крепко целую тебя. Еще раз за все тебе спасибо. С рукописью поступай как найдешь нужным, давай читать кому хочешь, с оговорками, что она не правлена. Как только освободится, пришлю тебе взамен этой правленую. Мне хочется очень многого, я не могу рассказать тебе все. Обнимаю тебя. Зина тебе кланяется.

274. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

〈Середина октября, 1948〉, Москва

Дорогие тетя Клара, Оля, Владимир Иванович! Оля, ты так чудно написала о тете Кларе и Владимире Ивановиче, что я вдруг увидел ее, молодую, вне возраста, как она всегда живет в моей душе, и меня потянуло так написать ей, как когда бывает роман с кем-нибудь. И тут утром позвонила Машура. Я посылаю эту рукопись вам всем. Читайте в каком угодно порядке, но, может быть, очередь чтения начнете с Оли, она скорее потом напишет мне. Читайте, если можно, не очень подолгу каждый, может быть, рукопись мне потом понадобится.

Наверное, эта, первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го. Останутся живы Дудоров и Гордон, Юра умрет в 1929-м году, и после его смерти в бумагах, которые будет разбирать его сводный брат Евграф, будет найдена тетрадь стихотворений, уже написанная, часть которых тут приложена. Все эти стихотворения, одно за другим подряд, составят одну из глав будущей второй книги.

Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем зарождении была первая, но для того, чтобы существовать (а ведь эта проза не предназначена пока для напечатанья), я должен заниматься переводами, и, следовательно, работу над романом мне надо было прервать. Сейчас я спешно, в расчете на то, что справлюсь с этим до Рождества, перевожу Гетевского «Фауста» (1-ую часть) и одного вен-

герского классика. Меня так и распирает от разных мыслей и предположений и хочется работать, как никогда.

Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения.

Так поздно приходишь к нужному, только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался,— но что делать, спасибо и на том.

Но если вам интересно, я счастлив действительно, не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему, потому что внутренне свободен и пока, благодаренье Создателю, здоров. Крепко вас всех целую и очень люблю.

Ваш *Боря*

Жалко, что я такое пугало, если бы я был так красив, как тетя, я только бы снимался, но так как мы давно не видались, то вот две-три фотографии для осведомления!

275. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

6 ноября 1948, Москва

Дорогая Оля!

Спасибо за открыточку и еще раньше за письмо. Не делай себе муки из чтения, можешь ничего не писать мне, если тебе будет некогда или трудно, но по прошествии некоторого времени мне надо будет знать, где и у кого рукопись, для возвращения ее или передачи кому-нибудь дальше. Когда у тебя минует надобность в ней, можешь дать ее прочесть, кому захочешь. Я тебя предупредил о невежественных обмолвках в отношении античности (Рима). Что сказали Лапшовы и Машура? Помнит ли еще меня кто-нибудь? Кто эта твоя belle-sœur*, — Сашкина жена? Приехала ли она? Перевожу первую часть Гетевского «Фауста», это для денег, — заказ.

Выходит, представь себе, и это естественно, потому что подготовлено всем предшествующим: многое из сильнейшего у Лермонтова, Тютчева и Блока пошло

* золовка (фр.).

именно отсюда. Меня удивляет, как могла Брюсова и Фета (в их переводах «Фауста») миновать эта преемственность. «Фауст» по-русски может удаваться *не-вольно, импульсивно*.

Целую тебя. Твой Б.

276. Н. А. ТАБИДЗЕ

25 ноября 1948, Москва

Дорогая Нина.

Большое спасибо за вино, яблоки, сласти и носки, такие красивые, что их хочется не носить, а повесить на стену. И все-таки, несмотря на прелесть вина и такого сладкого сорта яблок, зачем, зачем Вы тратились и утруждали себя и человека, любезно взявшегося привезти посылку? Я, кстати, его не знаю и не видел, когда ходил за вещами, но у него на квартире мне сказали, что Ваша сетка — единственное, что он с собой привез, потому что на вокзале его собственные вещи у него украли.

Меня очень огорчило описание Вашей жизни, данное в письме, в особенности сведения о бедной Ните, не бывшие для меня неожиданностью, потому что Вы уже говорили об этом по телефону. Как все это мучительно и печально! У нас, т. е. у нас лично, дома гораздо легче, все, сл(ава) Богу, здоровы. Я просто не знаю, что было бы, если бы, не дай Бог, какие-ниб. бытовые или семейные несчастья лишили бы меня возможности работать. Если бы я должен был оставить работу, дающую мне внутреннюю ясность и внешнюю независимость, я бы в два-три дня сошел с ума.

Дорогая Нина, не думайте, что это тщеславие или постоянная поглощенность самим собою, но вопрос, помнят ли меня, и судьба рукописи совершенно разные вещи. Если бы роман был уже напечатан, книжек этих было бы очень много и меня не интересовала бы участь каждой, я дарил бы их близким людям для бережного их хранения. Но так как эта вещь не дописана и еще не может быть напечатана, а также потому, что списков очень мало, три-четыре штуки, нельзя, чтобы рукопись долго лежала без движения. Я сделал Вам второпях слишком высокопарную и очень глупую надпись¹, стесняющую Вас и, мож. быть, просто неудобную при отдаче

вещи на прочтение другому. Вы вырежьте эту первую страницу и оставьте у себя, хотя она так глупа, что лучше бы Вы ее уничтожили. Дайте роман, с обязательным приложением стихов, почитать Куфтиным, которые к Вам обратятся с этой просьбой.

Мне очень жалко Симона, как его, бедного, треплют! Ему и Гогле сердечный привет! Ничего им не надо писать мне, пусть не утруждают себя и не тратят последних минут отсутствующего времени. Нам все известно друг о друге, ничего не надо.

От души всего лучшего Вам. Еще раз за все спасибо, крепко Вас люблю и целую.

Ваш Боря.

Адрес Куфтиных, если они сами не обратятся к Вам, — Алавердский, 7, кв. № 9, Борис Алексеевич Куфтин.

Но чепуху с первой страницы — вон!!

277. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 ноября 1948, Москва

Дорогая моя Олюшка!

Как поразительно ты мне написала!

Твое письмо в тысячу раз лучше и больше моей рукописи. Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших намерений и достижений, и наилучших речей, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки. Не ломай себе головы над этими словами. Если они непонятны, то это только к лучшему.

Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было только авансценой в виденном, только местом наибольшего сосредоточенья всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясенье — папа, его блеск, его фантастическое владенье формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания, потом вдруг повторилось (потрясенье) в судьбе Цветаевой, необычайно талантливой, смелой,

образованной, прошедшей все перипетии нашей «эпики», близкой мне и дорогой, и приехавшей из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустье.

Часто жизнь рядом со мной бывала революционизирующе, возмущающе — мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и проницательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них.

Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним, так потерял я своих грузинских друзей, и что-то в этом роде — ты, наше возвращение из Меррекуля летом 1911¹ года (Вруда, Пудость, Тикопись), и что-то в твоей жизни, стоящее мне вечною уликой.

И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман — часть этого моего долга, доказательство, что хоть я старался.

Прости, что я наспех навалял тебе столько глупостей, только в этой приблизительности и реальных. Из-за них, собственно, надо было бы начать новое письмо, разорвавши это, но когда я его напишу?

Поразительна близость твоего понимания, мгновенного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося; так понимала только та же Марина Цветаева и редко, со свойственными ему нарушениями действительности и смысла — Маяковский, — удивительно даже, что я его назвал.

Можешь дать рукопись посмотреть, кому захочешь. Когда у тебя минует надобность в ней, пришлешь именно так, как предлагаешь.

Спасибо, что, несмотря на степень своей занятости, ты прочла ее. В этих условиях, если бы даже рукопись фосфоресцировала в темноте и обладала тепловым лучеиспусканием, ты была вправе рассматривать ее, как вторгшееся лишнее, и не хотеть ее существованья.

В такой обстановке и таких чувствах я занят сейчас «Фаустом».

Всего тебе лучшего. Крепко обнимаю и целую тебя. Всегда помню твою поразительную теорию сравнения, это из таких именно вещей.

Будь здорова.

Твой Б.

25 мая 1949, Москва

Дорогой мой Сережа!

Пишу тебе наспех и, наверное, напишу нехорошо. Целая зима прошла, что я все сговаривался с Любимовым о получении твоих стихов¹ и наконец недавно жарким утром нагрязнул к нему без предупреждения, когда он голый в майке обливался потом над Сервантесом.

Вот предо мною твое море, спокойное, ясное, величественное. Ты сам знаешь, что в нем хорошо и как мне весь этот тон сродни и близок. Хорошо «благодатно плавное рожденье волн», хорошо про медную чешую сосен и голубоватую золу песка. Хороши ритмические поднятия и опускания занавеса: «Весь горизонт свободен. Вот оно. Мы дети слова...» «О том ли мне мечталось на рассвете... Что ж? О том». Хорошо достоинство и буквальность признания: «...мишурные созвездья отвергло сердце... и предпочло все тягости безвестья...» Хорошо, что *форма* этих размышлений сама посвящена теме *строенья*: жизни и дома, объемлемого небом с облаками, жизни и поприща, окруженного современною теориею мира. Все очень точно, скромно, неприкрашено, а в словах о Сикстинской Мадонне почти Пушкинская, через одно «н» (Мадона):

«Она с величием, Он — с разумом в очах...»

Особенно же хорошо стихотворение в целом, по общему своему духу. Спасибо. Целую тебя.

Что сказать о себе? Можно даже твоими словами: «Годов остаток не столь велик. *Все определено*».

О том, что выбор сделан и остается только достойно «доиграть» свою неизбежно определившуюся роль, а говорю почти в тех же выражениях.

Увидимся, поговорим. Поздравляю тебя с «морем»
Привет твоей жене² и всем твоим.

Твой Б. П.

279. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

7 августа 1949, Переделкино

Дорогая моя Олюшка, родная моя!

Как благодарить мне тебя за твое письмо! Я только не понял, когда в действительности умерла бедная

тетя? ¹ Она всегда, правда (как я пишу Владимиру Ивановичу), стояла перед моими глазами молодою, красивою, в кормиличном кокошнике, как ее написал папа больше пятидесяти лет тому назад ². Он ведь не раз ее писал, не раз писал с нее видоизмененных героинь в первых своих жанровых картинах с сюжетом, поры передвижничества. И такую всю жизнь она оставалась, высокой, стройной, доверчиво-порывистой, сильной. Я очень надеялся ее еще когда-нибудь повидать и много радости обещал себе от этой встречи.

Потом я не понял твоих слов о твоём будто бы хамстве, что ты рукопись передала без записки благодарности (по-видимому, особе, изъявившей согласие привезти ее?). Потому что неужели ты могла забыть свое удивительное письмо ко мне после прочтения рукописи и разве не получила моего ответного?

Меня особенно поразило прибытие твоего письма в дни, когда меня с особенною силой стало одолевать желание написать тебе и беспокойство о тебе. Помнится, ты тогда ждала приезда своей невестки. Кто это, Оля, неужто жена бедного Саши? И где она? С тобою ли она теперь?

С моей потребностью выговориться с тобой я благо-разумно борюсь, потому что эта мысль неисполнима. У меня была одна новая большая привязанность ³, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первую пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр.

Тогда я писал первую книгу романа и переводил «Фауста» среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удастся.

Сейчас мне пришлось запереться дома отчасти и вследствие истощившихся средств. Вышедшие теперь переводы «Генриха IV-го» и «Короля Лира» и два тома всех Шекспировских переводов в «Искусстве» давно прожиты вперед за последние три-четыре года. Месяца

через два-три мне придется напроситься на какой-нибудь заказ вроде перевода второй части «Фауста» (я не люблю ее) ради рентабельности работы, а пока спешно я принялся за вторую книгу романа. Я хочу его дописать для самого себя, т. е. и в этой части мне на темы жизни и времени хочется высказаться до конца и в ясности, так, как дано мне, и все глупее и противоречивее представляется задача, и все посредственнее и бездарнее мои силы, работа, моя позиция и положение.

Мне показывали Оксфордскую университетскую Антологию русской поэзии с русским текстом и Бауровскую переводную (второй выпуск) и Бауровскую книгу об Аполлинере, Маяковском, мне, Элиоте и испанце Лорка⁴. В тамошних собраниях по периодам (я даже тебе стыжусь и не знаю, как это сказать) больше всего места отведено Пушкину, Блоку и мне. Из примечаний и предисловий явствует, что отдельные мои сборники в переводах (и в отдельности, речь только о них), очевидно, выдержали испытание рублем, если новое издательство выпускает их в другом, новом переводе. При этом разговор не о «лучшем» или «первом» советском поэте или о чем-нибудь подобном, а без всяких эпитетов о Борисе Пастернаке, как будто это что-то значит, как когда, например, у нас просто издавали Верлена или Верхарна.

Лет пять тому назад, когда такие факты не опорочивались (даже субъективно для самого себя) совершенно новым их преломлением, эти сведения могли служить удовлетворением. Сейчас их действие (я опять говорю о себе самом) совершенно обратное. Они подчеркивают мне позор моего здешнего провала (и официального и, очевидно, в самом обществе). Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я, действительно, притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных? О, ведь если так, то тогда лучше ничего не надо, и какой я могу быть и какой обо мне может быть разговор, когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо?

Однажды, во время войны, кажется, еще тетя Ася жива была, я тебе тоже жаловался в припадке отчаяния, и ты меня утешала. Я бы не позволил себе так «обна-

жаться» перед тобой, если бы наперед молчаливо не исключил твоих возражений. Но это письмо все безобразно по своему ничем не ограниченному эгоцентризму. Два слова в слабое его оправдание. 1) В искусстве надо быть победителем, а так как это мой вынужденный, неутомимый и неизбежный труд и заработок, мне надо простить, что я отравлен производственным эгоизмом этой области. 2) Говоря на сердечные темы, я писал о себе, а не о другом человеке не по случайной слепоте, а оттого, что я в этой теме несвободен и даже тем немногим, в чем проговорился, наверное, нарушил долг молчания перед Зиною.

Р. С. Я что-то вдруг не уверен в Лиговском адресе Владимира Ивановича. Будь добра, вложи в конверт и пошли ему эту записку городским.

Далее, если случится тебе что-нибудь мне ответить, не касайся, естественно, романической стороны письма.

Я очень люблю тебя, Оля. Мне что-то печально. Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо достойно доиграть до конца. Роман, с Божьей помощью, если буду жив, я допишу. Все доработаю. И надо, чтобы хорошо жилось близким. Все у меня, слава Богу, здоровы. Опять на даче привольно, красиво и чудно, несмотря на дожди. Женя с Женичкой в Коктебеле, Стасик, Зинин сын, — хороший пианист и, наверное, поедет на конкурс имени Шопена в Варшаву. Крепко целую тебя.

Прости за бездушное письмо.

280. Н. А. ТАВИДЗЕ

15 октября 1949, Москва

Дорогой мой друг Нина, подумайте, какое у меня горе, и пожалейте меня. Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену «Фауста», «Маргариту в темнице». Бедная моя О.¹ последовала за дорогим нашим Т. Это случилось совсем недавно, девятого (неделю тому назад). Сколько она вынесла из-за меня! А теперь еще и это! Не пишите мне, разумеется, об этом, но измерьте степень ее беды и меру моего страдания.

Наверное соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей

форме. Но я часто, и в самой молодости, ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти или отъезда, к силам далеким и неопределенным. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос.

Я пишу Вам глупости, Нина, простите меня. Еще большей глупостью будет сказать Вам, что при всем этом я на страже всего Зининого и ее жизни со мной, что я не даю и не дам ей почувствовать ничего, что бы опечалило или обидело ее.

А страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но при чем она, бедная, не правда ли?

Христос с Вами, Нина, целую Вас.

У нас были без Вас Симон с Марикой² и Леонидзе троим. Это было такую радостью! Кланяйтесь им, но не показывайте письма вот почему: мне хочется любить их совершенно одинаково, но любовь — чувство демократическое, и Симона и Марико мне любить гораздо легче и проще.

Ниночка, Ниночка!

Ваш Б.

281. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ

25/Х.49

25 октября 1949, Москва

Глубокоуважаемая Ольга Ивановна!

Как хорошо Вы сделали, что догадались написать мне, — спасибо Вам! Я был на выставке¹ и ошеломлен виденным. Головокружительность дарования этого удивительного мальчика несоизмерима с печальным фактом его смерти. Мне кажется, будь он по счастью еще жив и даже гораздо старше годами, все равно я точно так же плакал бы перед этими работами и от волнения не мог бы произнести ни слова. Да как же иначе, когда эти акварели, как живые, сходят со стены Вам навстречу, берут Вас за руки, заговаривают с Вами и уводят, куда им вздумается. Тут именно то, горделивое, героическое, торжествующее и победоносное, что заключено бывает в *такой* степени совершенства, доводит до слез своей безупречностью и силой, и эти слезы торжества и ликования, а не какие-нибудь другие! Еще раз спасибо

Вам за это своевременное извещение (и в какую подходящую минуту, и как все это мне было нужно!).

Желаю радости и счастья Вам и Вашим близким.
Ваш *Б. Пастернак*.

282. О. И. АЛЕКСАНДРОВОЙ

20 ноября 1949

Дорогая Ольга Ивановна!

Подарите Дмитриевым¹ мое письмо, а я взамен сделаю Вам другой подарок. На выставке по моему совету был один мальчик², очень меня любящий и которому за это в школе очень попадает. Он, естественно, в восхищении от картин. Но он читал отзывы посетителей, и его удивило, что все это имена, а их отклики так несодержательны и бесцветны. (Я, так сказать, за что купил, за то и продаю, я этих отзывов не видал, это слова этого Андрюши.) Сейчас самой высшей добродетелью считается безличие, и многие знаменитости, простодушно недооценивая прирожденной бездарности, еще старательно тренируются и ее себе прививают. Очень странное заблуждение. Конечно, одним письмом ничего не сделать, но было бы хорошо, если бы это священное цежение слов сквозь зубы перебивалось чьим-нибудь простым голосом, даже предпочтительно неудачным, но только живым. Колина память ни в чем решительно не нуждается, ни в хороших, ни в дурных славословиях, речь именно только о высшем свете, о нравах времени, о тоне, который выдерживает и этот альбом. (Но, может быть, это все фантазии моего Андрюши, и тогда прошу извинения.)

А за передачу письма я бы Вам оставил в собственность экземпляр первой книги романа, который Вы должны поскорее взять у Дмитриевых. Многое там Вам очень не понравится, но Вы и Ваш круг должны знать эту вещь, она очень прямо и полно выражает мои стремления и интересы последнего времени, может быть даже в ущерб художественности и яркости впечатления. Искренне напишите мне потом, не боясь меня обидеть.

Стихи, приложенные к роману, пишет Юра. По замыслу вещи, он должен будет умереть в 1929 году. Во второй книге вслед за описанием его смерти будет глава, сплошь состоящая из одних стихов, найденных

потом в его бумагах. Приложенные составляют приблизительно половину их, будут еще и другие.

«Охранной грамоты» нет и у меня самого. Я не знаю, как ее достать.

Я много сейчас работаю. Пишу стихи и прозу второй книги (продолжение романа), перевожу поэмы Петефи, собираюсь перевести «Макбета» и вторую часть «Фауста». Живу я незаслуженно хорошо, непередаваемо, непостижимо, с такой совершенной внутренней свободой, словно жизнь протекает по моей фантазии и мечте как раз так, как я хотел, со всеми осложнениями и горестями, которых она мне стоит. Как раз сейчас у меня большое огорчение³, которое каждый день собирается меня уничтожить и в ежедневной борьбе с которым заключается счастье и назначение моей работы.

Если Вам покажется, что рукопись выставляет какие-то догматы, что-то ограничивает и к чему-то склоняет, значит, вещь написана очень дурно. Все истинное должно отпускать на волю, освобождать. Всего лучшего. Поклон Вашему мужу. Если у него будет желание прочесть роман и потом написать мне, я буду очень рад.

Ваш *Б. Пастернак*.

283. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

9 декабря 1949, Москва

Дорогая Олюшка!

Пишу тебе страшно второпях (вечный припев). Но на этот раз, правда, не жди ничего от письма и не «льсти себя надеждами».

Как всегда, очень острая статья¹, порывисто, немногословно изложенная, как надо.

Больше всего остановила старая твоя мысль о возникновении лирики вместе с образованием социально расчлененного общества, о том, что «душа лирики — реальный план». И распространяться о Сафо я не буду *только* из торопливости.

Все, что ты пишешь и писала в предыдущем письме о дяде Мише², — поразительно, поразительно интересно и ошеломляет со стороны твоей роли и твоего мужества: очень высоко, и мне, например, недоступно, что обезнадеживание и изнеможение, исходящее от прошлого, от преворачивания ушедших вдаль памят-

ников жизни, к которой ты причастна, не затмевает ясности твоего взора, что память даже не отца, а просто победителя, не дожившего до раскрытия своей победы, все время перед тобой, и подымает тебя и настраивает героически, что ты ее не упускаешь из виду. Это поразительно!

Новы были, конечно, и приковали к себе частности, которых я не знал, разнообразие открытий, пророчески-исчерпывающий их, так сказать, состав, угадавший имевшее последовать техническое будущее. И о Томсоне³, конечно. Но ты права, я это все чувствовал в нем, и как удивительно, что ты это запомнила.

Теперь о «заспанных...»⁴ (неужели я так тогда написал? Странное определение). Наверное, под тем письмом был приступ действительного непритворного отчаяния, может быть, продолжавшегося несколько часов.

Но, вообще, скорее наоборот, я слишком уверен в себе, и то, что я тебя, тебя, чистую, талантливую, умницу мою родную, смел натолкнуть на этот тяжелый путь ободряющих возражений, в надежде услышать что-нибудь еще такое приятное и объективное, чего бы я не мог предугадать,— последняя низость, не имеющая имени.

Но в те дни я был вообще свиньей. Меня пробудило от спячки и немного призвало к порядку большое огорчение. Моя знакомая и тезка твоя, о которой я тебе писал, попала в беду и переместилась в пространстве подобно, когда-то, Сашке. Я страшно много работаю, причем все сразу, свое и переводное в стихах и прозе, и, лучше сказать, глушу себя работой.

Целую тебя. Твой Б.

Какая жалость, что ты не едешь!
Это главное.

284. Н. Г. ВАЧНАДЗЕ

31 декабря 1949, Москва

Дорогая Наталья Георгиевна, какая Вы талантливая! И какой редкой хорошей породы этот талант, какой редкой неустрашимой чистоты и скромности! Потому что в большинстве одаренные люди стыдятся своей нравственной наследственности и портят и ухудшают себя

из робости. Примеры дарования, верного детству и дому, исключительны и граничат с героизмом.

Вы правы, когда где-то между характеристикой Маяковского и Шенгелая пробуете присвоить эти черты нелицемерной открытости и молодой свободы от предрассудков целому поколению. Действительно было время, когда это могло казаться, да и русская революционная преемственность вела к этому — крайности Достоевского, толстовские упрощения. Но все это вскользь, это уже ненужное отступление.

Вы чудно пишете², как должны были бы писать самые лучшие писатели, и, что самое главное, без ущерба для предмета изложения. Хорошее владение пером, язык и чувство стиля обыкновенно уводят от изображаемого и становятся самоцелью, а Вы не дали стилистике оседлать себя. И опять Вас спасли доброта и другие давно в мире открытые душевные достоинства, вероятно, лежащие в основе вкуса: любовь к людям и благодарность прошлому за его яркость, наряду с заботой о том, чтобы отплатить ему такой же красотой и жаром. И смотрите, в каком Вы выигрыше, именно в том, который составляет единственно истинную победу всякого настоящего искусства!

Я все больше склоняюсь к мысли, что главное различие между людьми сводится к их разнице по степени их способностей, и когда я плакал над некоторыми страницами Вашей книги (это относится к «Рассказу о себе» и «Путешествию по Европе»), то слезы вызывали высота Ваша, независимо от того, что Вы рассказывали.

У Вас очень хорошо рассказано об отце, о лунной летней ночи в Кахетии, о первичных детских ощущениях и любви к родному гнезду, о грдзели Кахури³. Заставили Вы меня плакать быстротой рассказа о поездке 14 года на Бергпляж именно умной сжатостью, с какою описано в этом месте так много знаменательного и рокового. Талант сам источник сжатости, потому что он точно обозрим и очевиден, как улика. Его почти видишь, это складка души, так же бросающаяся в глаза, как складка на плаще. Я не верю ничему, что очень велико размерами или чего очень много. Женщины рожают людей, а не циклопов. Гигантским бывает только неорганическое, космические пространства небытия, пустоты смерти, мертвящие начала уродства и надругательства.

Другой, растрогавший меня до слез отрывок, — одновременность первого замужества, окончания гимназии и первого ангажемента. Это можно было уместить так захватывающе в одной строке, потому что когда-то жизнь сблизила это так же захватывающе тесно. И снова это абсолютное соответствие дара жизни дару слова. Очень хорошо при просмотре кадров о желании подняться на экран, переиграть по-новому и исправить. Очень хороша характеристика Шенгелая. Прекрасно о городах (в автобиографии и в путешествиях), о Флоренции, о Берлине. Замечательное (конечно, бессознательное, иначе не бывает) чувство компоновки, инстинкт последовательности, в каком месте о чем рассказывать: например, очень хорошо, что сообщение о детях дается перед Трусинским ущельем. Естественность постепенно открывающихся рельефов горного пути.

Ну довольно. Поздравляю Вас. И если Вы из скромности недосказали главного: как любила Вас Ваша собственная судьба и светившее Вам солнце и носившая Вас Земля (не Грузия, а вообще Земля, Земля Мира), то этого и не надо, зритель и так догадывается об этом по своему собственному, охватившему его восхищению.

Я Вам так верю, что, когда некоторые другие страницы по теме своей оставили меня сдержанным или холодным, я больше, чем в других, сходных случаях, подумал, что это мои вина и слепота.

Да, действительно я давно-давно уже чего-то недооценил и не понял и в позднем Маяковском, и во многом другом. И что хуже всего — эта связанность собственными границами, тогда она легла на всю жизнь непоправимым обедняющим заострением. Я очень сильно чувствую это теперь, когда (говорю это совершенно искренне и без всякой рисовки, но и без сожаления) я живу только своими недостатками.

И при чувстве глубокого родства, которое во мне пробудила Ваша книга, я шлю Вам привет и благодарность из своей неудавшейся и неоправдавшейся жизни в Вашу удавшуюся и победившую.

Сердечный привет Кире Георгиевне и поцелуйте Борю⁴.

Ваш *Б. Пастернак*.

Да, с Новым Годом! Сегодня восхищенно помянем Вас, у нас будут Фатьма⁵ и Нина.

27 марта 1950, Москва

Дорогой Николай Сергеевич!

Недавно я прочел «Воскресение». И так как я не могу послать письма на тот свет ни автору, ни отцу моему, я вдруг в том же неисполнимом побуждении вспомнил о Вашей давнишней просьбе и вместо них пишу Вам.

Я очень неначитанный человек и Толстого знаю хуже, чем это можно думать (как и все, впрочем, что я хотел бы и должен был бы знать). На меня большое влияние в детстве (лет 12—13-ти) оказали люди и течения, казалось бы, с миром Льва Николаевича несовместимые, символисты и даже та доля или тот налет эгоцентризма, чтобы не сказать нищезанятия, которые отличали Скрябина, — а Скрябина я мальчиком боготворил.

И все же главное и непомернейшее в Толстом, то, что больше проповеди добра и шире его бессмертного художнического своеобразия (а может быть, и составляет именно истинное его существо) *новый род одухотворения* в восприятии мира и жизнедеятельности, то новое, что принес Толстой в мир и чем шагнул вперед в истории христианства, стало и по сей день осталось основой моего существования, всей манеры моей жить и видеть. Я думаю, что я в этом отношении не одинок, что в таком положении находятся люди из лагеря, считающегося нетолстовским, то есть я хочу сказать, что вопреки всем видимостям, историческая атмосфера первой половины XX-го века во всем мире — атмосфера Толстовская ².

286. Н. А. ТАБИДЗЕ

6 апреля 1950, Москва

6.IV.50

Дорогая Ниночка! Я целовал Ваше письмо, присланное с Гарриком ¹, гораздо чаще и усерднее, чем пил присланную Вами чачу, за которую, однако, тоже спасибо Вам от всего сердца. Я часто сдерживаю Вас и прошу не писать нам и не тратить на нас сил и времени. Так останавливаю я Вас потому, что мне больно от-

крывать бездну Вашей задушевности, как в том письме с Гивикиным² восклицанием о Пушкине и Пущине, или как в этом о нас и о кончившихся Гивикиных прививках. Вы вкладываете в письма всю Вашу душу, единственную и горячую, которую я так люблю и знаю, а от нас, свиней, в ответ — ни звука!!

Ну что же Вам сказать о нас в этом письме, которое Вам отвезет Анна Никандровна!³ Через два дня Пасха, и Зина уже с понедельника вся в делах, движении и достижениях, как тогда перед Рождеством, когда такою радостью было, что Вы приехали. В доме все в порядке, все здоровы, у меня есть заработок, ну и слава Богу.

В начале февраля после Вашего отъезда как-то были у нас Леонидзе и Чиковани, и даже Рябинина с мужем. Это был такой безобразный вечер! Бедный Борис Ливанов устроил скандал мне в защиту от неведомо кого, я никак не мог его остановить. И все было противно, и я сам себе. На другой день я свалился в гриппе от того вечернего отвращения. Какой-то род осложнения, тоже от омерзения, дал мне какие-то мешки под глазами, красные припухлости вокруг глаз, как у очковой змеи. Чувство гадливости не покидало меня сквозь весь жар, я был тошен самому себе, и, только когда сел за работу и перестал заниматься другими и самим собой, все как рукой сняло.

Все последнее время я чувствую себя очень хорошо, много и легко работаю, а больше никаких перемен.

Много радости приносит Стасик⁴, очень хорошая у него, очень близкая мне форма таланта, форма отношения к искусству и понимания его. Да и жизни тоже, вероятно...

На всех, какие только существуют, коротких и длинных радиоволнах посылаю Вам, Ните, Гивику и Алексею Николаевичу⁵ самые лучшие пожелания.

Гаррик рассказывает чудеса про Вашего Гивика, про его очарование и глубокомысленные сентенции, сожалеет, что, когда он был в гостях у Ниты, присутствие акад. Церетели и разговор с ним помешал ему слушать Вашего маленького мудреца.

Вы, наверное, уже видели в «Огоньке» стихи Ахматовой⁶ или слышали об их напечатанье. Помните, я показывал Вам давно часть их, причем не лучшую. Те, которых я не знал и которыми она дополнила виденные, — самые лучшие. Я страшно, как и все, рад этой литературной сенсации и этому случаю в ее жизни, и

только неприятно, что по аналогии все стали выжидающе оглядываться в мою сторону.

Но все то, что произнесла сейчас она, я сказал уже двадцать лет тому назад⁷, и один из первых, когда такие голоса звучали реже и в более единственном числе. Таких вещей не повторяют по нескольку раз, они что-нибудь значат или ничего не значат, и в последнем случае никакое повторение не может поправить дела.

Я очень доволен своей судьбой, возможностью зарабатывать честным трудом, ясностью моего душевного состояния. Никогда я не считал себя в каком-нибудь смысле обиженным или обойденным. Если кто-нибудь думает, что я могу со стороны показаться «мучеником», то, во-первых, я не отвечаю за чужой бред или химеры, и, во-вторых, достаточно тем, кого интересуется такая видимость, выпустить задержанные мои книги, а меня самого на эстраду — и это «подобие мученичества», не *существующее* для меня, отпадет само собой. Заявление же в «эфир» о том, что я не мученик, для меня невысказано, как предел идиотизма. Я человек очень гордый, но я должен был бы быть мелким завистником, хвастливым ничтожеством и молодым коммивояжером, чтобы верить по-журналистски и в самый эфир, и в какое-то его знание меня и существование для меня, когда, по совести, мне иногда бывает трудно поверить, что я интересую Вас или Зину. Кроме того, когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления.

Все это порочный и в высшей степени глупый круг. Кем надо быть, чтобы всем этим заниматься.

Мне кажется, все усилия человека должны быть сосредоточены в его деятельности — успешной, смелой и производительной, а остальное доделывает жизнь. В каких-то высших областях существования, каковы любовь (не только женская, но любовь к родине или любовь современников), творчество и пр. Это счастье либо дано, либо не дано вовсе, и тут не о чем заботиться, потому что никакими стараниями и хлопотами тут ничего не сделаешь, или это будет подделка. А неподдельный провал для меня все-таки приемлемее поддельного успеха. Простите, Нина, что пишу Вам такую грошовую чепуху, но это, чтобы успокоить Вас, если Вас будут нервировать какие-нибудь литературные сплетни.

Крепко целую Вас.

Ваш Б.

18 ноября 1950, Москва

18.XI.50

Дорогая Раиса Константиновна!

Как мило Вы кокетничаете, начиная Ваше коротенькое письмо с предположения, что я, наверное, Вас не помню!

Мне хотелось тут же летом написать Вам так, чтобы Вам было интересно читать и чтобы ответ доставил Вам радость. И я вернулся мыслями к ночи, когда от переполнявших меня чувств я готов был плакать или даже плакал, и вследствие Вашей снисходительности позволял себе столько мелких нарушений приличия.

Тогда Вы сошли с машины первую², в начале проспекта или даже до него, и с этого началось мое прощание с тем удивительным и волшебным, что я встречал во все свои грузинские поездки и что необъяснимо одним только югом, горами, широтой грузинского характера, женской красотой, разгоряченностью и приподнятостью шумных и многолюдных пирушек, но еще таинственнее и глубже всех этих составных частей.

Так в природе и человеческом мире волнует то значительное, чему не нашли еще имени и слова и что ждет еще своего определения. Именно этим ожиданием оно и волнует, как заданная и еще не разрешенная загадка или как повисший в воздухе и ожидающий исполнения сигнал.

Например, таким раскатившимся из глубины прошлого столетия сигналом был в истории человеческой деятельности в России Лермонтов. Память о нем, по сравнению с Пушкиным, была предельно отягощена и затруднена тем требовательным и ускользающе-неуловимым, чего в нем так много, почти как в настоящем живом горе или в сырой природе. И только к концу столетия некоторые мысли у Владимира Соловьева, кое-что у символистов, а главное — работы Врубеля были первым эхом, первым отражением лермонтовского звука на полустолетнем расстоянии, так трудно подхватить и продолжить лермонтовскую исключительность, так немислимо отвечать на его сигнал общими местами.

А теперь и то немногое, что было достигнуто, возвращено назад, в старую исходную точку, и мы узнаем о Лермонтове, что он был великий русский поэт, боль-

шой патриот и еще что-то. Это почти то же самое, что сказать, что у Лермонтова были руки и ноги.

Вас, наверное, удивляет, отчего зашел разговор об этом имени, это вышло немного ни к селу ни к городу. Но я имел в виду перевести потом речь на те неожиданные открытия, которые я стал производить даже в лучшем из того, что пишут сейчас самые близкие мои товарищи и которые меня так огорчают. Но это очень затянет письмо. Я отказываюсь от этого желания, и пусть слова, сказанные выше, останутся сказанными некстати. Напишу Вам несколько слов о себе.

Зачем Вы дарите меня такими светскими фразами, как то, что в Грузии меня помнят и любят, как то, что Вы много слышали о моих новых работах и пр. и пр. Я не говорю, что это совершенный обман в Ваших устах, но согласитесь, насколько бывает иная картина, когда эти слова действительно что-то значат и имеют полный смысл! Так тогда зачем прибегать нам к словам в их призрачном применении? Разве мы так уж бедны?

Нет, дорогая моя, если и знают меня еще три-четыре человека во всем свете, то через год-два не будет и тех. Но какое в этом горе? Однако эта неизвестность и естественное забвение еще далеко не все. Все чаще раздаются голоса самых близких, родных и самых проверенных друзей, которые видят упадок, утерю мною самого себя и уход в ординарность в моих интересах последнего времени и давшейся мне так нелегко моей нынешней простоте. Что же, не горе и это. Если есть где-то страдание, отчего не пострадать моему искусству и мне вместе с ним? Может быть, друзья мои правы, а может быть, и не правы. Может, и очень может быть, я прошел только немного дальше по пути их собственных судеб в уважении к человеческому страданию и готовности разделить его.

Но Вы не думайте, что я угощаю Вас, ожидающую совсем других разговоров, семинарскими душевспасительными беседами. Я говорю о самом артистическом в артисте, о жертве, без которой искусство не нужно и скандально-нелепо и без которой произведения снаружи припудрены поверхностной талантливостью, а внутри держатся на идее, известной или даже превзойденной человечеством при выходе из дикарства. — Но опять я Бог знает куда заехал. Вот как я с Вами заговорился.

У меня к Вам просьба, если она Вас не обидит.

Я давно собираюсь и очень хочу написать Нине Александровне Табидзе. Но ей я должен буду писать совсем о другом, она знает, оттого я и оставляю ее без писем, что никак не подберу подходящих для переписки слов.

Сообщите ей, пожалуйста, часть этой, обрушенной на Вас философии. Сообщите ей, что я по-прежнему живу как хочу и здоров и счастлив этим правом, за которое готов заплатить жизнью.

Помните, я в Сагурамо вспомнил о доме, у меня дрогнул голос, и я не мог продолжать речи. Вот и опять я о том же. Я с Зиной составляю неразделимый кусок существования, вроде того как я кожу по полу или вижу глазами. За вычетом этого краеугольного факта я люблю Нину Александровну больше всех людей на свете. Это можете не сообщать ей, это можете скрыть от нее. Целую Вашу руку.

Ваш *Б. Пастернак*

288. Н. А. ТАБИДЗЕ

19 ноября 1950, Москва

Дорогая моя Ниночка! Я страшная свинья перед Вами. По-моему, я ни разу не написал Вам с прошлой зимы, а от Вас было несколько писем, всегда полных такой сосредоточенной души, всегда что-нибудь содержащих. А в последнее время еще рассказы Фатьмы Антоновны¹ о Вас и опять безумная Ваша посылка! Простите, что так запаздываю своей благодарностью. Вот что значит хорошее вино, когда оно по-настоящему хорошее, а не только для непонимающих,— густое, почти черное, с легким и поразительным букетом, равносильным таланту и благородству в человеке! И Вы ведь, верно, уже знаете про похождения Фатьмы Антоновны, как она отстала от поезда в Гаграх и как бездомные бедные вещи, в том числе осиротевшие яблоки и баклажаны, скитались без хозяйки на ее розысках? Ничего не испортилось, а вынесенные испытания удесятирили ценность посылки.

Нина, всегда, когда со мной что-нибудь случается, я мысленно пишу Вам письмо и рассказываю это Вам. Тут через этот пересказ я только и нахожу формулу случившемуся и для собственного сознания. Таких по-

буждений было много летом, в августе, но лучше я расскажу Вам все это при встрече.

Я много работал летом, перевел в месяц Шекспировского «Макбета», взялся за вторую часть «Фауста», тут подоспела статья в «Новом мире», где меня выругали², — я рассердился на Гете и принялся за прозу.

Это то, что Вы слышали в позапрошлом году, продолженное и отделанное. Оно составляет третью четверть романа (остается написать еще четвертую). Мне переписали эту часть, ее читали, она вызывает разноречивое отношение. Одни, как Зина или живущие скромно и трудно писатели в Нащокинском переулке, бог знает как хвалят, другие, как блестящие жители Лаврушинского или такие преданные друзья, как Ливановы, находят, что я себя потерял или намеренно отказываюсь от себя, что я ударился в несвойственную мне бесцветность или обыкновенность и т. д. Но так как мне постоянно хочется работать и надо зарабатывать, жизнь, видимо, бессознательно создала мне род иммунитета и выработала совершенную невосприимчивость к судьбе сделанного и мнениям о нем. Я здоров, Ниночка, и хорошо чувствую себя. Меня беспокоит Ваше здоровье и страшно хочется Вас видеть.

Зина ездила на два — на три дня в Ленинград со Стасиком, дававшим там с огромным успехом свои концерты, и очень довольна поездкой.

Она и Леничка увлекаются фотографией, без конца снимают, проявляют, печатают и увеличивают, но, по-моему, еще недостаточно научились. Они просят кланяться Вам, зовут в Москву и крепко целуют Вас.

Ниночка, я и сейчас мог бы Вам прислать немного денег, но для некоторого удобства, совершенно эгоистического, сделаю это в декабре, при первом же новом поступлении.

Ну, милый друг мой, крепко, крепко целую Вас. Передайте мои чувства Ните, золотому Гивику и Алексею Николаевичу, которого мы наперебой расхваливали с Фатьмой Антоновной, когда я ее видел. Все хорошо, Нина. И всего хорошего.

Ваш Боря.

Вот два снимка, сделанных Зиной. Они мутные и тусклые, но я так редко выхожу человеком, а не гориллой, на фотографиях, что хочу послать их Вам.

5 декабря 1950, Москва

5 дек. 1950

Аля, родная, прости, что я так редко и мало пишу тебе, настолько реже и меньше, чем хотел бы, что кажется, будто не пишу совсем. Не сочти это за равнодушие или невнимание.

В конце лета я полтора-два месяца писал свое, продолжение прозы, а теперь по некоторым соображениям решил двинуть вперед перевод второй части Фауста. Это нечто вроде твоих лозунгов², подвигается медленнее, чем у меня в обычае, непреодолимо громоздкая смесь зачаточной и оттертой на второй план гениальности с прорвавшейся наружу и торжествующей Вампуккой. Вообще говоря, это труд решительно никому не нужный, но так как нужно делать что-нибудь ненужное, лучше буду делать это.

Алечка, все это я написал для того, чтобы записать чем-нибудь эти полстраницы. То, что я хочу сказать тебе, выразимо в нескольких строках. Жизнь, передвижения, теснота квартир научили меня не загромождать жилья, шкапов и ящичков стола книгами, бумагой, черновиками, фотографиями, перепиской. Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все это, ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она на ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастью, растаскивают). Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что, кроме тебя, я ни с кем не был знаком.

Ты опять поразительно описала и свою жизнь, и северную глушь и морозы, и было бы чистой болтовней и празднословием, если бы я упомянул об этом только ради похвал. Вот практический вывод. Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила и даже ни пугала временами, он вправе с легким сердцем вести свою, с детства начатую, понятную и любимую линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя.

Радуйся, Аля, что ты такая. Что твои злоключения перед этим богатством! Крепко тебя целую.

Твой Б.

29 апреля 1951, Москва

29 апр. 1951

Дорогой Симон!

Я забыл взять с Вас или с Мариечки ¹ слово, чтобы кто-нибудь из вас написал мне, не откладывая, о Ваших чувствованиях и впечатлениях, об объяснениях Ваших и, я сказал бы, о Ваших делах ², если бы только мог назвать это делами.

Мне очень радостно было встречаться с Вами в этот приезд. Очень печально бывает (и таких случаев подавляющее большинство), когда от человека ничего не остается, и весь он падает, едва из-под него убирают поддерживавшие его костыли и подпорки. В нашем общем восприятии Вы не только не пострадали от свалившихся на Вас неприятностей, но наоборот, со свежестью, превзошедшей ожидания, эти обстоятельства напомнили, как много Вы получили от природы и как много дали своим талантом и развитием всей общей нашей современности, как настоящий писатель и как подлинная действительная, а не искусственно составленная личность.

И на Ваш счет у меня нет прямого и существенного беспокойства. Меня не беспокоит ни положение Ваше, ни даже здоровье. Единственное, что тревожит меня, так это вопиюще неравномерное распределение сил между Вами, невыдуманным, чистым, одаренным и правым и целой сворой мелких бездарностей и ничтожеств, порождаемых дрызгами и ими питающихся, озлобленных недочетами своей природы и готовых мстить каждому, кто от них свободен.

И не за Вас я боюсь, не того, что Вам они могут быть опасны или Вас одолеют, но того, что по своей непосредственности Вы можете забыться и вспыхнуть и, вступив в объяснения с этой стихией, доставите радость темной силе и тем поддержите ее. Помните, Симон, с тем большей безропотностью соглашайтесь со всем, что услышите, чем оно будет абсурднее. Евангельское подставление левой щеки в дополнение к правой есть не чудо святости или вершина подвижничества, но единственный практический выход из положения, когда видимость судит действительность.

Но ведь Георгий Николаевич³, большой человек и поэт, сам, наверное, не даст Вас в обиду. Я написал Нине⁴ и через нее послал по записке семьям Шаншиа-швили и Леонидзе. Наверное, Нина нашла, что все это написано недостаточно красноречиво и в наказание молчит. Ее, Марийку, Вас и всех перечисленных крепко целую.

Ваш Б.

И приезжайте поскорее. Помните, мы Вас ждем.

291. Н. А. ТАБИДЗЕ

3 июня 1952, Москва

Дорогая моя Ниночка!

Я Вам собираюсь написать с того самого дня, как Вы позвонили по телефону. Ваш голос был так слышен, в нем было столько огня и задора, того самого, с которым Вы плясали лезгинку, когда мы все вместе жили в Ленинградской гостинице у вокзала;¹ в этом голосе так были Вы вся, со всей лихорадочной жизни, что я невольно улыбался, говоря с Вами: в звуке этого голоса передо мной было полное объяснение того, отчего я так люблю, так люблю Вас.

Я тотчас сказал об этом Фатьме. Я не мог перестать удивляться тому, как в звуке речи передалась так просто, полно и стремительно Ваша сущность.

Мы очень хорошо прожили эту зиму. Болезни иногда занимают больше внимания и времени, чем они занимают места в жизни, потому что обращаешься к врачам, делаешь исследования, и это становится темой, не будучи ей. Я уже не помню своих несчастий в середине зимы.

Мы жили хорошо, не знали нужды, на меня не было особенных нападков, а если и были, то я о них не знаю. Я пересматривал для печатания переиздаваемого Шекспира и только что сделанного Фауста² и понемногу писал продолжение романа. Недели три или месяц тому назад я узкому кругу друзей, в котором были бы и Вы, если бы тут гостили, обещал почитать немного дальше на прощание, перед отъездом на дачу. Дав это обещание, я связал себя им и тут только сел по-настоящему писать, потому что до этого были только черновые подготовительные заметки. Я снова, как несколько раз в

жизни, заболел работой, ничем не существовал, как только ею, преспокойно пропускал раздававшиеся телефонные звонки и не подымал трубки. Чтение было назначено на вчерашний вечер (2 июня), срок подходил, а у меня еще не все было написано, и последние дни я вставал в 5, в 6 час. утра, чтобы успеть к сроку, точно его нельзя было перенести, в это время приехала Евфимия Александровна³, мне об этом сообщила Фатьма Ант(оновна), но я ей признался, что до чтения у меня считанные минуты и пусть значит, что я этого не знаю, пока я не вздохну свободно. Я Вам пишу это, и у меня слипаются глаза от усталости. Я делаю то, что мне подсказывает крайнее мое разумение, и все без цели. Но я ничего не могу переделать, и это никогда не будет по-другому.

Леня вчера в первый раз был среди слушающих, в первый раз вообще получил понятие о том, что я делаю, как пишу и чем живу, не потому что он был мал для этого, а теперь дорос, а потому что всегда, чем я больше кого-нибудь любил, тем больше старался быть источником свободы для этого человека, и в доме никто никогда не должен был быть одних мыслей со мной и признавать меня. Кроме того, никогда я не считал себя таким потрясающим классиком или авторитетом, чтобы навязывать себя детям или рекомендовать. И вот, для меня было не безразлично, как отнесется современный пионер и завтрашний комсомолец, воспитанный на другом понимании некоторых хронологических полос и на другой манере описания природы, действительности и всего на свете, к передаче всего этого у меня. Он понятия не имел о предшествующих частях романа, и обычное ревниво-критическое отношение у детей-подростков к своим близким среди чужих, в обществе, еще больше затрудняло для него восприятие.

Но чтение⁴ происходило наверху, у него в комнате, и, естественно, он оказался среди приглашенных.

Для меня было большой радостью, что на мой вопрос, понравилось ли ему, он, преодолевая свою обычную застенчивость и густо покраснев, сказал: «Очень, очень!» А потом в другом конце стола он, я слышал, уже возражал Зине, нашедшей, что этот кусок не так лаконичен, как прежние.

Дорогая Нина! Я по природе ломовая лошадь и могу жить только в постоянном напряжении. Только миновала у меня спешка и я день или два ничего не делаю, как

уже мой внутренний аппарат никуда не годится, и так все противно мне в самом себе, что, воспользовавшись уходом всех из дому, я принял для очистки души касторки (когда видят, не позволяют). Простите за такой конец. Приезжайте поскорее.

Ваш Б.

292. В. Т. ШАЛАМОВУ ¹

9 июля 1952, Переделкино

Дорогой Варлам Тихонович!

В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку ². Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать. Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и, в первую голову,— мое.

И, для того, чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.

Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этою возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.

Я пришел в литературу со своими запросами живописи и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.

Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и вариации» были компромиссом, шагом против творче-

ской совести, такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.

Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Гвардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.

Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль. Достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворений «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюдаемой и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.

Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, не заслуживающих упоминания, потому что, даже обладая даром Блока или Гете и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддер-

жанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющею мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо *после* этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.

Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков.

Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и, чего доброго, еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.

Итак, что я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованию. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей мысли в жизни, о совершенствовании какого-то Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти predeterminedного и в котором Вы читаете свое предназначение. Но не о совершенствовании стихописания (избави боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо лучше, не самоцель и, сами по себе, яйца выеденного не стоят, — это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.

В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, по-моему, уже достаточно расправился с самим собою и не буду осложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.

1) Удивительно, как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сей-

час таким образом рифмованные стихи не кажутся мне стихами. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.

2) Ваша сильная сторона — «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок. — И безголовое пальто, Со стула руки опустив. — Гребенка прыгает в углу, Катаюсь лодкой на полу. — В колючих листьях огуречных. — Тяжелый лебедь шлепается в лужу. — Хотели б ветки сбросить тяжесть, Какая им не по плечам. — И запах пригоревшей каши напоминает шоколад. — Огонь перелетает птицей, Как ветром сорванный орел. — Мне не забыть рябых озер, — Пузатых парусов. — Гравюру мороза в окне. — Ползет, как кошка по карнизу. — Изодранная в кровь заря. — В подсвечниках сирень... Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа. — Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала.

3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия того элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или, м. б., я чего-то не понимаю! Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т. е. когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы заключает в себе и что-то

иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.

а) Вот эти (на мой взгляд) срывы (после хороших, часто, строф и страниц) — Бродил в изодранных лаптях, Ты лыко ставил мне в строку. — Толок речную воду в ступке, В уступах каменных толук. — И зайцы в том краю Не смели б показаться, Куда-нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев. — Он фунта лиха знает цену И за ценой не постоит. — Снег чувствует себя Как ветеран войны на чтение Воспоминаний для ребят. — И он нас здесь интересуе Как прошлогодний снег. — Вся белая от страха, Нитка чуть жива. — А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесценивает живую и ценную мысль.

в) Вот примеры, где по видимости такой же прием, но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: — Земля поставлена на карту // И перестала быть землей. — Мы живы не только хлебом // И утром на холодке // Кусочек живого неба // Размачиваем в реке (очень хорошо). — Рукой отломим слезы, // Такой уж тут мороз. — И кровь не бьет и кровь не льет — // До свадьбы заживет. — И надоевшее таежное творенье // Небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье.

4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им тоже, может статься, Хотелось бы годок Не знать радиостанций И авиадорог. Где юности твоей условия, Восторженные города, Что пьют подряд твоё здоровье, Всегда, всегда. — И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря. — Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала И куражилась метель.

Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.

Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где ... ты взглядом узких карих глаз Показываешь вверх, то есть нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет), «Гусеница», «Приманка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти),

начало «Кареты прошлого», в «Космическом»: все об Уране, «Ты, верно, снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодок». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.

Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее, по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные меры.

Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифмы, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого, и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззакония, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно, эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должны были подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинить дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.

Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, м. б. уже недалеко, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовски,

мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.

Ваш *Б. Пастернак*

Р. С. Для проверки своего мнения я показал Ваши книжки и свое письмо жене, женщине из военной среды, человеку здоровому, уравновешенному и скорее старого закала, не склонному к вольностям новаторства, левизне и декадентщине. Она бегло, поверхностно просмотрела несколько стихотворений и, прочтя письмо, сказала: «По-моему, очень талантливо, и ты отозвался слишком строго, пристрастно и субъективно. Я знаю твои взгляды, но нельзя их навязывать другим». Так что, может быть, я несправедлив.

Б. П.

И я упустил сделать главное, поблагодарить Вас за присланные книжки и за доброе Ваше отношение ко мне, незаслуженное.

293. Н. А. ТАВИДЗЕ

17.1.53

17 января 1953, Москва

Ниночка! Я остался жив, я — дома¹. Ах, как много мне надо Вам сказать!

Остались без ответа Ваши поразительные, перегруженные душой и кровью сердца, письма трех периодов, начиная с осенних, где Вы писали о Ните и о том, как Вы перечитываете мои книжки, затем те, в которых Вы предлагали Зине приехать в Москву на помощь, и, наконец, последние, с Вашим обращением к Зине, как к родной сестре... Чем, какими словами отблагодарить Вас?

Вот что я хочу, чтобы знали Вы, и Симон с Марико, и Георгий Николаевич и Евфимия Александровна. Я повторяю это самым, самым близким.

Некоторым иногда кажется: «Да, все эти громкие слова, идеализм, творчество, и все эти речи и тосты хороши до поры до времени, за дружеским столом, до первой беды и первого серьезного испытания. Посмотрим,

что от всего этого останется при первом столкновении с неизбежностью...»

Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерей сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!

Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, непоправимого. Зине с Ленечкой на полгода-на год средств хватит, а там они осмотрятся и что-нибудь предпримут. У них будут друзья, никто их не обидит. А конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ, за чем-нибудь недоделанным. То немногое, что можно было сделать среди препятствий, которые ставило время, сделано (перевод Шекспира, Фауста, Бараташвили).

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. «Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я *ликовал и плакал от счастья*².

Теперь Вы все же спросите, как мне, где я нахожусь и как себя чувствую? Сердце все время осязаемо: при движениях, при разговоре, даже за писанием этих слов. Говорят, это будет еще долго, а потом пройдет.

Мое главное горе, отложение солей на шейных позвонках (деформирующий спондилез), несколько сгла-

женный последним летом, когда я много двигался и перестал его чувствовать, от неподвижности за эту двухмесячную лежку возобновился и ухудшился в чудовищных размерах. Так как я ощутил его, только когда меня подняли, то это открытие отравило мне радость выздоровления.

Чиковани и Леонидзе справлялись телеграммами о моем здоровье, поздравляли с Новым годом, Евфимия Александровна и Песо³ поздравили Лёню с его рождением. Бесконечное спасибо им за эту память и теплоту.

Мне трудно будет написать им сейчас каждому в отдельности: все время за разговором и писанием подкапывает болевой клубок к горлу (кажется, это явление стенокардии).

Расскажите им о моих ощущениях в больнице. Это надо им знать, не как близким друзьям, не как людям, которых я люблю, но гораздо больше: это надо им знать, как немногочисленным представителям того мира, который в те овеянные смертью часы подвергся у меня проверке, и так вырос в моем ощущении, и получил такое подтверждение.

Зина чувствует себя лучше. Она сделала для меня безмерно много и спасла меня. У нее увеличена и раздражена печень. Мы вместе с ней поедем на месяц в санаторий, еще не известно точно, куда и когда.

Ниту, Гивика, Алексея Николаевича целую. Не судите строго моего письма. Мне еще трудно писать, вредно и запрещено.

Ваш Б.

294. О М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

20 января 1953, Москва

Дорогая Оля!

Твое письмо ждало меня дома, я выписался в день его получения. Самый внешний вид его доставил мне огромное удовольствие: ровный, полный энергии полет размашистого уверенного почерка, каким он был до войны или еще раньше.

Спасибо в отдельности за обращение к Зине. Она на тебя ничуть не сердится и никогда не чувствовала, чтобы что-нибудь осложняло ваши отношения.

Все, что я пишу тебе, относится также к Машуре, но я не могу написать ей отдельного письма, потому что это мне пока еще трудно (оттого же пишу карандашом). Спасибо ей и тебе, что вы приняли мою болезнь так близко к сердцу. Покажи ей это письмо или перешли.

Мне вменили в обязанность соблюдать осторожность. Я не знаю, до каких пределов ее распространять. Ощущение присутствия сердца внутри почти никогда не прекращается, в самых разнообразных формах, которые неудобны только тем, что я не понимаю, опасны или неопасны эти сигналы.

Этот вынужденно-бездеятельный, выжидательный способ существования (говорят, полгода или год надо считать себя больным) очень сходится с прежним вынужденным бездействием по причине избытка сил и здоровья и им подготовлен.

В первые минуты опасности в больнице я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства. Я сознавал, что оставляю семью на первое время не в беспомощности и что у них будут друзья. Я оглядывал свою жизнь и не находил в ней ничего случайного, но одну внутреннюю закономерность, готовую повториться.

Сила этой закономерности сказывалась и в настроениях этих мгновений. Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил Бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования.

Крепко целую тебя. Твой *Боря*.

Кланяйся Эйхенбауму, если он помнит меня и если ты его увидишь. Удивительное дело. За 10 минут до случившегося инфаркта я шел по Бронной и на противоположном тротуаре увидел шедшего навстречу Эйхенбаума или человека, очень похожего на него. Если бы это был Борис Михайлович, он как-нибудь отозвался бы на этот пристальный взгляд. Я смутно вспомнил, что он очень был болен, подумал, как ничего никогда нельзя знать наперед, а через 10 минут...

Целую тебя.

3 февраля 1953, Москва

Дорогая Марина Казимировна! Завтра с Зиной мы собираемся: я, если Б(огу) угодно, — на два, а она на 1 месяц в Болшево. Страшно рад, что Вы в Ленинграде, мысленно совосхищаюсь и завидую. Когда вернусь, если буду жив-здоров, хочу повидаться с Вами как-нибудь на одном из скверов, где гуляю. Мне еще вредно (чувствую последствия) много разговаривать, главн. обр. произносить продолжительные монологи. Вот что я хочу сказать Вам. 3-ю тетрадь Живаго, переписанную Зиной, пересматриваю, кое-что сглаживаю. Кажется, один экземпляр остался у Вас, я его отберу. Теперь на расстоянии я снова измерил и оценил: пусть проза второй и третьей тетради, может быть, даже и лучше первой, но *возникновение* первой, но наплыв чувств и мыслей, соединенных с ней, напр. в период, когда я читал начало у Вас (в прис(утствии) К(авдии) Ник(олаевны), Петровых и Кочеткова)², были отдельным важным периодом моей жизни, ее отдельною эпохой, как дни вокруг «Сестры моей жизни» и время написания «Охранной грамоты». Это потом не повторялось. Я рад, что это связано с Вами, с Вашей комнатой, в которую Вы вернетесь. Желаю Вам в ней счастья. Мне — лучше, и если и дальше так пойдет в Болшеве, и весной, мечтаю еще поработать. Мне очень хочется закончить Живаго. Спасибо Вам за Все.

Ваш Б. П.

296. Н. Н. АСЕЕВУ

5 февраля 1953, Болшево

5 февр. 1953

Дорогой Коля!

Чтением твоего «Гоголя»¹ обновил наше пребывание в Болшеве. Живем в лесу, разузоренном 35-градусным морозом. Ясность, скованная безветрием, но благодаря красоте и замороженности как бы сама унесенная неведомо куда. Это, вероятно, постоянное и самое общее свойство красоты, что, находясь перед глазами и оставаясь

на месте, она всегда уводит куда-то вдаль. Это и главная черта твоей поэмы. Конечно, она в лучшем смысле не на нынешний вкус.

Отличие современной советской литературы от всей предшествующей, кажется мне, более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях независимо от того, читают ли ее или не читают. Это — гордое, покоящееся в себе и самодовлеющее явление, разделяющее вместе с другими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость.

Но настоящему искусству в моем понимании далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды, и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться. В «Огоньке» были справедливы к поэме: под современный триумфальный стиль и идеал правильности пусть и грошового достоинства, не допускающей фривольности, поэма не подходит. Таких «недостатков» было еще больше у Марины Цветаевой, а Маяковский только из них и состоит.

Что сказать тебе? Читать поэму было мне радостью, наслаждением. Она — привольный ненавязчивый вырез из более широкого мыслимого мира необязательных изображений, где наряду с нею стояли бы по соседству другие произведения такой же подлинности и чистоты. В одиночестве она немислима и трагична, как выпущенный в непогоду в поле чистый беззащитный ребенок.

Очень хорошо, что она держится не единством темы, не упорством узко поставленной задачи, а природою сказочной стихии вообще, отовсюду пронизывающей ее и придающей ей ее бесхитростную замысловатость. В этом тоне — залог ее стройности. Есть главы превосходные — («Перспектива», «Петербург», гл. V, IX). Но и главы, уступающие по качеству, дышат тем же, чем полны наилучшие. Есть стихи поразительные («Портрет» там выходит из рамы // Художнику на погибель»; «Так Пушкинский разум был светел, / Что будто в России светало. // Но деспот рассвет тот заметил. // И Пушкина больше не стало»; «И Невский проспект стал дремучим, заросшим чиновничьим лесом»; «Дуя в блюдце с чаем

чинно, // Сахарок прикусывая, // Шашку двигает купчина, // Бородища русая...»). Но и все стихи верны этой манере лучших. Это органическая живая разноценность, без которой не было бы сложности целого.

Поздравляю тебя. Теплящаяся краска некоторых кусков, трепет колорита напомнил мне самые свободные твои дерзания самого молодого твоего прошлого. Конечно, все это сказано сейчас совсем по-другому, да так оно и нужно.

Наверное, я неудачно и неточно выразил то небольшое, что должен был выделить из многого, что хотел и мог бы написать, если бы мне временно не запрещено было заниматься разговором и перепиской. Еще раз спасибо за доставленное удовольствие.

Прозу, когда она тебе не будет больше нужна (со стихами), передай, пожалуйста, Чагиным (тел. Б-8-33-62), а может быть, до них, если у него будет время и желание прочесть (он слышал начало, и я с ним сговаривался) и если это для тебя выполнимо, навяжи Вите Шкловскому (т. Г-5-34-35), с тем чтобы потом он отдал Чагиным (прости за сложность).

Целую тебя. Привет всем твоим дамам.

Твой Б.

297. В. Ф. АСМУСУ¹

3 марта 1953, Болшево

Дорогой Валентин Фердинандович!

Не могу рассказать, как Вы меня тронули и какую преисполнили гордостью, коснувшись в письме ко мне некоторых вещей так глубоко, прямо и крупно и взяв их, так сказать, в их натуральную величину. Я в неплатном долгу перед Вами. Как вознаградить мне Вас и чем мне Вам ответить?

Перед отъездом я дочитал до конца Вашу «Древнегреческую философию». Мне ни разу не приходилось читать о Платоне ничего более раскрытого, понятного, захватывающего и исчерпывающего. Он завидно, небывало удался Вам. Обыкновенно либо ради осязательности и понятности (воспроизводимости мыслью) его модернизовали, как Наторп или некоторые новейшие историки философии; или его подавали как роман из понятий, увлекательный, но за которым логической

мысли трудно было следовать, как за нерасчлененной вязью сказки. У Вас так вышло, что телеологическая идея целого так вовремя и кратко и обозримо и с таким искусством предпослана обзору частей, что все объясняет. Я перечту эти страницы еще раз по возвращении в Москву.

Процесс раскрытия стремительного и естественного этой самой сложной, смелой и систематической мысли во всей истории философии доставил мне в Вашем изложении живое, точно запомнившееся наслаждение.

Мне лучше. Я стал работать, засел за окончание «Живаго».

Приехав сюда, я вспомнил, как я тут прожил месяц летом в 35 году и что как-то зимой перед Отечественной войной или во время ее Вы были тут вместе с Ириной Сергеевной. Она замечательно описывала ощущение свежего воздуха при переходе из Вашего корпуса в столовую или на прогулке. Она говорила, что заставляла холодный столб его на крыльце за дверь, где он безотлучно оставался в ожидании от выхода к выходу.

Нас поместили в том же втором корпусе, где я тогда жил, почти в той же комнате. Из моего окна виден однооконный занесенный снегом домик, из которого тогда выходила в белом халате, с папиросой между пальцев, Зинаида Владимировна Курвиц. Я хотел ей написать отсюда.

Тогда я был на 18 лет моложе, Маяковский не был еще обожествлен, со мной носились, посылали за границу, не было чепухи и гадости, которую я бы не сказал или не написал и которой бы не напечатали, у меня в действительности не было никакой болезни, а я был тогда непоправимо несчастен и погибал, как заколдованный злым духом в сказке. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мирволило мне, что-нибудь такое, что выполнимо только путем подлога. Задача была неразрешима, это была квадратура круга, я бился о неразрешимость намерения, которое застилало мне все горизонты и загораживало все пути, я сходил с ума и погибал. Удивительно, как я уцелел, я должен был умереть тогда, как Адик.

А теперь у меня сердечная болезнь, не считающаяся вымыслом, я за флагом, не в чести, все знаки переменялись, все плюсы стали минусами, но я счастлив и свободен, здоров, весел и бодр и с совершенной легкостью

сажусь за никому не нужного и неотделимого от меня Живаго, за то самое окно, которое было мне 18 лет тому назад тупиком и у которого я тогда ничего не мог и не знал, что мне делать.

Это я хотел рассказать Вам в устном разговоре. Но Вы знаете здешний телефон. Всегда — дожидаящиеся очереди. А при свидетелях углубление в такие темы было бы смешно и странно. Вот почему и пишу Вам. Сердечный привет Ариадне Борисовне². Целую Вас.

Ваш Б. П.

298. Н. А. ТАБИДЗЕ

4 апреля 1953, Москва

Дорогая Нина!

Простите, что давно не пишу Вам и оставил столько писем без ответа. Два раза написать Вам было моею сильнейшею потребностью: в дни смерти и похорон Сталина и в особенности в день обнародования амнистии¹, которая стольких, по моему пониманию, должна коснуться, и в первую очередь, Тициана. Но во-первых, больше, чем когда-либо, нам нужно терпение, чтобы сохранить силы и дожить до этой радости. И я отказался от мысли послать Вам телеграмму, чтобы не волновать и не нервировать друг друга естественной нетерпеливостью.

Но главная причина моего молчания то, что больше, чем когда-либо, я хочу дописать роман: перенесенная болезнь показала мне границы сил, которыми я располагаю. Как все люди, я не знаю, сколько часов или дней или месяцев и лет в моем распоряжении, но теперь я эту неизвестность ощущаю острее, чем год тому назад. И свободное время я трачу на работу над вещью. Труда над окончанием романа предстоит еще много.

Дорогая Ниночка, за исключением инфарктного рубца, который лег относительным запретом на некоторые возможности и привычки в их крайностях, все остальное по-прежнему. Я, слава Создателю, продолжаю жить тем же, каким виделся осенью с Нитой и писал Вам о ней: в самом важном ничего не изменилось. В Болшеве было так хорошо, я жил в атмосфере такого внимания, среди такого множества интересных и милых людей, точно это было в Грузии или точно Вы лично своей рукой этот санаторий для меня благословили.

Скоро я перееду на дачу. Как каждый год, Вы знаете мое желание: доставьте мне радость, приезжайте к нам. Еще до переезда своего туда я напомню Вам о себе.

А пока простите за коротенькое письмо, вместо которого лучше было бы, наверное, написать открытку.

У нас был Симон. Он уезжал в тот же день и, наверное, торопился и был полон забот. Он произвел на меня впечатление немного рассеянного и утомленного человека, отвлеченного какою-то своею мыслью, лежавшею вне круга, в котором происходил разговор.

Когда я был в Болшеве, Зине звонил Георгий Николаевич². Жалко, что Зине не удалось связаться с ним, чтобы привезти его ко мне.

Я чувствую себя хорошо и жду для всех одного хорошего. Целую Вас, Ниту, Гивика, А. Н.³ и всех друзей и близких.

Ваш Б.

299. Н. А. ТАБИДЗЕ

7 июля 1953, Переделкино

7/VII. 1953

Дорогая Нина!

Что же Вы не едете? Я и сейчас делаю непозволительное, подчиняясь желанию написать Вам и отлынивая от спешной работы. Теперь, после инфаркта, все работы стали для меня спешными.

Милый, милый, милый друг! Вы знаете, я давно не верю в возможность того, чтобы Т. был жив. Это был слишком большой, слишком особенный и разливающий свет вокруг себя человек, чтобы можно было его скрыть, чтобы признаки его существования не просочились сквозь любые затворы. И Ваша возродившаяся вера в то, что, быть может, мы его увидим, на минуту заразила меня¹.

Если он в живых, он непременно вернется в мою и Вашу жизнь. Это было бы немислимое счастье: это, именно это, а не что-нибудь другое, совершенно перевернуло бы ее для меня. Это было бы именно той наградой судьбы, тем возмещением, которого мне никогда, никогда не достает, когда после огромного количества души и нервов, вложенных в какого-нибудь «Фауста», Шекспира или в роман, мне страшно хочется чего-нибудь равно-

сильного, и никакие деньги и удовольствия, никакое признание и ничто на свете не могут мне возместить потраченной силы.

У Вас был один план хлопот за Т. Меня встретила Т. М. Леонова, чтобы Вы торопились попасть на прием к этому человеку. Вы, наверное, уже видели ее дочь, она поехала в Тбилиси. Теперь что-то изменилось, заключаю это из разговора по тел. с Фатьмой, не знаю, что именно, но догадываюсь.

Ах, Нина, не все ли равно, какие представлятся пути? Не может быть, чтобы их не было.

Приезжайте, мы давно ждем Вас. Я не могу написать Вам или даже телеграфировать по-человечески из-за спешки, Вы, наверное, не находите меня в письмах, они Вам кажутся холодными и рассеянными. Приезжайте хоть из любопытства посмотреть, как я изменился к худшему. Я нарочно ничего не пишу Вам о себе и о наших: все узнаете на месте. Поцелуйте Ниту и А. Н. и поцелуй наши перешлите Гивику в деревню. Мне всегда бывало больно, когда Вы кровью сердца писали Ваши золотые письма, вроде последних, Зине и мне о Стасике, потому что на такие письма нет ответов равного значения. Приезжайте, Ниночка, я Вам напомню, как я люблю Вас, и что я еще человек, с которым можно разговаривать, — Вы это забыли. Крепко, крепко, крепко Вас целую.

Ваш Б.

Кланяйтесь семье Леонидзе, дамам и ему самому. Какое горе, какое потрясение смерть Нат. Георгиевны! ² Такой талант, лицо самой жизни в ее лучшем выражении, такая красавица! Если бы у меня было время, я бы очень хотел написать обоим Чиковани — ей и ему. Вот с кем еще много я буду встречаться в жизни, если поживу еще. Верю в будущее Симона.

Ваш Б.

300. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 июля 1953, Переделкино

Дорогая Оля, я глазам своим не верю, что это наконец я пишу тебе. Спасибо тебе, не пиши мне, пожалуйста, таких чудных писем. Тяжко чувствовать себя дикой скотиной, оставляя их неотвеченными изо дня в день.

Фауст, работа и пр., не извинение: основная гадость остается налицо. Это моя добрая воля или высшая степень моего нынешнего эгоизма, что я в большей мере, чем бывало раньше, исключаю все и жертвую всем ради двух-трех задач или трудов, ставших после инфаркта неотложными.

Надо умереть самим собой, а не напоминанием о себе (об этом и ты пишешь!), надо кончить роман и кое-что другое; то есть это не то выражение, не надо, а хочется, хочется непобедимо сильно. Как я себя чувствую? Да наисчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия, для того, чтобы удавалось то, что я задумал, это неустранимое условие. И по какой-то предустановленности это чувство счастья ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача.

Пошла корректура обеих частей «Фауста»¹, и я не меньше десятой доли этой лирической реки в 600 страниц переделал заново в совершенно других решениях, было любопытно, могу ли я еще себе позволить такую блажь и дерзость, как, не считаясь с часами дня и ночи, пожелать родить на свет такого Фауста, который был бы мыслим и представим, который отнимал бы у пространства место, им занимаемое, как тело, а не как притязание, который был бы Фаустом в моем собственном нынешнем суждении и ощущении.

В твоем письме очень важно то, что ты говоришь о трагедии и хорах. Как я что-то из мира этих представлений преследовал в триметрах и хорах третьего акта второй части! И затем, загробные обрядности пятого акта. Ах, какое счастье было биться над выражением этого всего, чтобы оно пело, дышало, существовало. У Гете и у меня лучше всего получилось самое трудное, невысказанное и неисполнимое: загробный греческий мир третьего акта и загробный христианский, современный. Мне кажется, осенью книга выйдет, и из этого хвастливого письма вырастает и надвигается на тебя угроза неизбежного прочтения ее.

Я ничего не написал тебе. И ты видишь, как торопливо добывается это прощение, которое я хочу получить от тебя, безобразною спешкою теснящеюся в одну фразу через все письмо, да еще почерком, который может тебя беспокоить мыслью, не заболел ли я снова.

Крепко, крепко целую тебя.

Меня живо огорчила Машурина утрата. Я мало знал ее мужа ², но знал только с лучшей стороны, мне он очень понравился своей внешностью, умом, мужской положительностью и спокойствием. Если можно, я спустя некоторое время напишу ей. Прости меня, я и тебе пишу как-то призрачно, не чувствуя, что пишу тебе. Я был все время с тобой и с твоим письмом, но бездеятельно, — деятельно же я с какой-то отвратительной жадностью весь в одной работе.

Крепко целую тебя.

Твой Боря

301. М. К. БАРАНОВИЧ

9 августа 1953, Москва

9 авг. 1953

Дорогие Настя, Миша, Марина Казимировна и отсутствующие Маргарита Густавовна и Константин Михайлович! Поздравляю Вас всех с Вашей семейною радостью ¹. Я давно хотел выразить Вам свои чувства по этому поводу, но письменно как-то не выходило, а устно два раза пытался я звонить в Валентиновку по тел. И 1-20-46 доб. 40, и оба раза (второй раз сегодня утром, в Тушинский авиадень), но никто к телефону не подходил. Вероятно, новая маленькая хозяйка перевернула все вверх дном в Вашем обиходе, и это очень хорошо, этому можно радоваться.

Дорогая Марина Казимировна, я, кажется, разговаривал с Вами в разгар моей переделки всего Фаустовского перевода, и Вы уже знаете об этой попытке. По счастью, я довел ее до конца. Я переработал и нашел более живое и понятное выражение для всего того, наиболее рискованного и таинственного в «Фаусте», ради чего он был написан и для чего я его переводил. Говорят, осенью или в начале зимы он выйдет, тогда, если у Вас будет время, Вы на деле столкнетесь с тем, что я так безуспешно пробую определить теоретически в своих разговорах последнего времени на эту тему. «Фаустом» завоеваны и присоединены к душевным территориям человечества возможности, открытые и захваченные лирической силой этого произведения. Нельзя сказать, что этих областей нет самостоятельно, без «Фауста». Но они возникают, отогреты дыханием этой лирики, они оживают и су-

ществуют ее ценой, и они присутствуют, пока продолжается действие «Фауста», т. е. пока он растет и создается строка за строкой и сцена за сценой, как (в фигуральном и всерьез не существующем смысле) присутствуют вызванные духи, пока остается в силе действие заклятия. Вообще весь мир «Фауста», а не только таинственные его части, *приходит по вызову*, и поэтическое существо «Фауста» именно составляет эту уверенность в праве и власти призывать к существованию эти явления. Сравнения с заклинаниями и миром магическим в этом письме только пояснительны. Они нереальны, я в это верю. Есть реальная область, необозримо огромная, с которой главные чудеса «Фауста» составляют прямую аналогию и про которую «Фауст», собственно, и написан. Отчего же особенности «Фауста», такие близкие этой реальной области, я с явлениями этой области не сравниваю, а провожу параллели с призрачным, чего нет и во что я не верю. Оттого что иногда с условным, воображаемым, легче сблизить что-нибудь неудобопонятное для его определения, чем подвергнуть его тут же прямому осязательному разбору. Оттого что если бы я миновал внешне напрашивающиеся, мнимые сходства Фаустовых форм с магией, а прямо назвал бы разряд, куда он относится, мне пришлось бы писать целый трактат на эту другую, действительно существующую, истинную тему.

Область, дух которой выражает собою «Фауст», есть царство органического, мир жизни. Мир этот живет по тем же законам, которые одушевляют замысел «Фауста» и составляют тайну его яркости. И тут, пока сильно не захочешь, ничего нет, но стоит только пожелать горячо, всюю душою, и, как по вызову, являются к жизни новые существования, рождаются дети, наступают новые, лицом к солнцу правды обращенные эпохи, совершаются путешествия, производятся открытия и в каком-то соответствии с истинною силой желания, от формы к форме и из поколения в поколение развиваются и подвергаются отбору, неизбежно улучшаются самопроявления жизни, ее последовательные опыты, пробы, попытки, как изображается всю жизнь стремящийся к совершенству Фауст, с внутренней стороны называющий эту тягу любовью. Нерв этой стихии Гете затронул в «Фаусте» так полно и близко, что его язык в этом произведении кажется природным голосом самой этой силы.

Род этой энергии естественно должен был пробудиться и во мне за его передачей. Я счастлив был чувст-

зовать это начало в себе и рядом с собой, пока трудился над русским воссозданием этого чуда, и мне грустно было расстаться с этой силой по окончании работы.

Жаль и досадно, что я не удержался и заболтался все же с Вами по этому поводу. Мысли эти недодуманы, положения не сформулированы до конца. Это не то что для статьи, а даже и для письма слишком плохо. Предположите, что я забежал к Вам наверх (хотя теперь это слишком высоко для меня) и вот мелко, мелко и мелко.

Сейчас я пишу (временами увлеченно) окончание романа. Весной я отметил себе, чего надо будет коснуться в стихах. Я думал, что нынешним летом возобновлю писание их от собственного имени, а не в адрес Живаго, но так как пока на свете не случилось ничего важного, кроме рождения Вашей внучки, то старый порядок остается в силе. Пусть не смущает и не запутывает Вас повествовательный элемент в обоих стихотворениях. Он несущественен. Вот два стихотворения о соловьях. Прочтите их детям, что они скажут (Миша и Настя). Привет Поливановым и Елене Дмитриевне². Крепко Вас целую. Если вздумаете отвечать мне, то только в очень узких границах (напр., о том, нравятся ли Вам стихи или нет). И не задавайте мне лишних вопросов. А лучше не пишите.

Ваш Б.

⟨«Белая ночь» и «Весенняя распутица»⟩³

Я сам потрясен размерами письма. Таких длинных писем я не писал лет двадцать, со времени переписки с другой Мариной⁴, покойницей. Я начал это послание Вам очень весело и уверенно и кончаю в страшной грусти, пока необъяснимой. Еще раз всего лучшего Вам и всем Вашим.

302. Н. А. ТАВИДЗЕ

30 сентября 1953, Переделкино

Дорогая Нина, друг мой, если к Вам попадет Гарик, едущий в Цхалтубо, будьте осторожны, не проговоритесь с ним о том, чего никто не должен знать.

Но о моих отношениях к нему¹, о том, что он стал далек и чужд мне, можете говорить свободно и что хотите.

Этим летом он стал невыносим для меня двумя противоположностями тому, что составляет мою природу: своим отношением к женщине и своим отношением к искусству.

Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на всю жизнь остался надломленным и ошеломленным ее красотой, ее местом в жизни, жалостью к ней и страхом перед ней. Я реалист, до тонкости знающий землю, не потому, что я по-донжуански часто и много развлекался с женщиною на земле, но потому, что с детства убирал с земли камушки из-под ее ног на ее дороге.

Немногие, имевшие со мною дело, — великодушные мученицы, так несносен и неинтересен я «как мужчина», так часто бываю непоправимо и необъяснимо слаб, так до сих пор не знаю себя и ничего не знаю с этой стороны. Может быть, трогает их то, что издали, издали дотасилось все же до них это с детства им посвященное и с детства болью за них поколебленное надорванное существование, по дороге еще разбитое высокою войной, которую оно за них вело. И может быть, трогает их эта, всегда близкая женщине по воспоминаниям ее собственного детства, странная, столькое в жизни охватившая и все же до сих пор оставшаяся чистота. И этот мужской блеск, с каким он оставлял живое существо, собственную жену, на чужой даче, пока ей освободят место на ее собственной, и вероятное совершенство этой юбочной техники, завидное и недоступное мне, и это веселое афиширование этой брючной виртуозностью, — да ведь это целый тип и склад, так хорошо мне известный и такой мне враждебный.

Теперь второе, искусство. Толстой в «Воскресении» и в «Анне Карениной» изображает, как Нехлюдов, а во втором случае Вронский, уехавший с Анной в Италию, заводят все нужные художественные принадлежности, покупают холст, карандаши, кисти, краски, чтобы заниматься живописью, и все что-то не выходит, то настроения нет, то погода не такая, а рядом показан человек, сошедший с ума на живописи и вогнанный искусством в чахотку, бедный и простой. Тут творилось то же самое. Была нанята дача, привезен рояль, сверх пьянина, имевшегося у нас, были планы писать книгу о музыке, и дожди помешали, и проклятый оказался климат и т. д. и т. п. Вот эта барская, любительская, праздная прикосновенность к целому миру самопожертвования и труда, который я так знаю и которому так служу, и смелость, с кото-

рой все это разыгрывалось на глазах у меня, точно я не знаю цены этому и объяснения, также поразили и оттолкнули меня. Я что-то видел в жизни, связанной с большими людьми. Надо помнить, что такой по-светски понятый артистизм, артистизм для барышень и кино, — репертуар не для меня. Я не говорю, что надо вешать всех, кто не гениален, но в таком случае и тон и разговор должен быть совсем другой. Но довольно, какое глупое письмо я Вам пишу и каким должен казаться мелким и придирчивым.

Ах, как мне хочется, чтобы поскорее вышел «Фауст» и чтобы я мог послать его Вам! В конце концов, Вы будете единственною в Тбилиси, кому я его подарю, так мало получу я экземпляров. И прекрасно, пусть читают его из Ваших дорогих рук. Вы разорвите книгу пополам, первую часть возьмите себе, а вторую дайте Е〈вфимии〉 А〈лександровне〉, в первой части любовь земная, а во второй небесная. Ведь она бесподобная, Е. А., не правда ли? Когда я переводил вторую часть, Елена невольно приобретала ее черты, я давал ей в тексте слова, которые бы могла сказать Е. А. Я хотел бы надписать ей книгу так: прочтите, что пишет о Вас Гёте во второй части. Как Вы думаете, можно сделать такую надпись?

Ниночка, Хитарова в Гослитиздате хотела дать мне три подстрочника Чиковани. Я его считаю одним из интереснейших поэтов современного мира и разными способами доказал, как я люблю и ценю его. Но я поглощен писанием романа, и даже то немногое стихотворное, что продолжает приходить мне в голову, не развиваю тематически, как летом, а либо отбрасываю, либо запоминаю незаписанным, в зачаточной, образно не сосредоточенной, не сгущенной форме, настолько единственным делом я считаю прозу, роман и не позволяю себе отвлекаться и размениваться на стихи. Я вынужден был отказаться, пусть Симон не обижается, и даже не смотрел подстрочников, чтобы не создавать недоразумения, будто я вернул их после просмотра. Александра Петровна очень хочет устроить работу О. В.² Это ей нужно просто даже в правовом отношении. Она очень удачно переводила корейских поэтов. Я уверен, что она справится и с этими переводами. Если Симон не гонится за фамилиями переводчиков, а ему важно существо дела, т. е. действительная близость и художественность передачи, он, наверное, будет доволен, хотя об этом говорить рано. Очень многие из пишущих испытали мое влияние, ве-

роятно, и на ней оно скажется. Если Симон будет доволен, не говорите ему, кто такая О. В.

Господи, господи, какую ерунду пишу я Вам сегодня! Чтобы исправить впечатление (хотя исправлю ли этим), запишу для Вас то попутное в стихах, о чем я вскользь упомянул. Эти стихи не чета тем, это второй разряд, потому что они *только* нежны и музыкальны, а стихи, кроме музыки, должны содержать живопись и смысл. Они коротенькие, и их последовательность я объединил под заглавием: «Колыбельные песни». Стихи, которые у Вас есть, так же как и эти ³, можете давать читать кому угодно, если хотите и Г〈енриху〉 Г〈установичу〉. Он только знает двух соловьев, а Августа и остальных не знает. Если он спросит, кто это все, Вы ему скажете, что, наверное, — Зина, что Зина для меня бог и, кроме нее, у меня никого не было и не будет. Так это должно быть для всех.

Нина, теплый безоблачный осенний день, двенадцать часов дня, солнце во все шестистворчатое широкое окно, и я сижу в Вашем Переделкине и вместо того, чтобы работать, отымаю у Вас время бесконечным письмом, Нина моя, радость моя, сестра моя.

Целую Вас без конца.
Ваш Б.

303. Д. Н. и В. П. ЖУРАВЛЕВЫМ ¹

1 октября 1953, Москва

1-е окт. 1953

Дорогие Дмитрий Николаевич
и Валентина Павловна!

Вас изредка надо развлекать, Дмитрий Николаевич, и всего легче мне это сделать в форме письма или присылки стихов, потому что по приезде в город я еще больше зареюсь в писание «Живаго», которого надо непременно кончить вчерне к Новому году. Вот Вам еще несколько стихотворений. Вам не надо говорить, что этим далеко до первых, это совсем другой разряд, лишенный значения. Кажется, я Вам говорил, что за писанием прозы у меня попутно складываются ритмические мотивы, мелодии которых я не записываю и которых не развиваю тематически, не наполняю живописью и мыслью. Они *только нежны и музыкальны*, и в этом их осужде-

ние. Не надо без оглядки поклоняться музыке. Она является только раз в столетие, когда Бах, Моцарт, Шопен, Вагнер и Чайковский обнародывают огромные откровения и на этом языке, на котором легче всего притворяться или выводить голлсом и выстукивать пальцами всякие маркированные безделушки, *bioux* и прочую ерунду. А в перерывах между такими событиями (таковы еще, если нажать на меня, Бетховен, Шуман, Григ и Скрябин) музыка самый распространенный вид отлынивания от каких бы то ни было ответов веку, небу и будущему, самый ходячий способ душевной маскировки благодаря драгоценности звука, с помощью которого и материализованная ординарность заставляет себя слушать. Но все эти рассуждения смешны в приложении к таким пустякам, как эти стихи. В разговоре я показал бы, в чем связь, и сделал бы это ловчее.

Мне кажется, я Вам говорил, что эти неотделанные кусочки объединю, может быть, под названием колыбельных песен². У собрания Юриных стихов должны ведь быть стихи о чувстве или стихи, внушенные чувством в еще большей мере, чем остальные. Может быть, эти наброски и подступы к ним. Целую вас обоих.

Б. П.

304. М. В. ЮДИНОЙ¹

17 декабря 1953, Москва

17 дек.

Дорогая Мария Вениаминовна!

Какая оживленная переписка, не правда ли? Вы и в первом письме послали поклон Зине, напрасно Вы в этом сомневаетесь. Сегодня утром я отправил Вам открытку, жидущуюся на плане Вам неприемлемом и отвергнутом. Ну, как хотите. Они уже приглашены в чайнии, что Вы придете. Следовательно, они будут, и если, может статья, то, что я Вам скажу сейчас, возбудит Ваше любопытство, знайте, что вечером в воскресенье мы будем в сборе и будем ждать Вас, без расчета, что Вы приедете, и будем без конца счастливы, если все же Вы приедете². Может быть, для укрепления высоких позиций, я сейчас скажу — каких, Вы кого-нибудь захватите? Алпатовых?

Теперь вот в чем дело. Обрисованной Вами возможности (растечение тем, консерваторских разговоров и пр.)

я не только бы не допустил, но, напротив, во избежание такой измельченной встречи с остальными, позвал их в один вечер с Вами, полагая в Вашем присутствии гарантию того, что оно исключит скольжение по поверхности и пустословие, а главное, позволит мне в таком сочетании быть именно вполне собою.

Дело в том, что в каких-то отношениях я очень изменился. Летом в меня вошло что-то новое, категорическое, ускоренное и недоброе, больше — раздраженное. Близко от нас жили Нейгаузы. Вдруг я в нем усмотрел воплощение полной себе противоположности во всем, в манере существования, в отношении человека к искусству, к жизни. Это было ощущение волнующее, возбуждающее протест и отчаяние. Мне думалось, отчего одному так легко, беспоследственно легко и безнаказанно порхается, когда другой такую тяжкою душевною ценой оплачивает каждый шаг в жизни. Представьте себе, я не мог этого скрыть и не желал, так что между нами наступило отчуждение. Но я не с ним одним, я со многими посорился.

Между тем я, наверное, не прав. Каждый живет, как ему дано и как он может. Для возобновления отношений с Г〈енрихом〉 Г〈уставовичем〉, без каких бы то ни было объяснений и примирений, а так, словно ничего и не случилось, я и думал позвать его с М〈илицей〉 С〈ергеев-ной〉 в сочетании с Вами, как раз для того, чтобы говорить свободно и в полную волю, так, как мне захочется, так, как этого, судя по Вашему письму, хочется Вам.

Ах, какое кропотливое, ненужное и, в конце концов, непонятное Вам объяснение. Поступайте как знаете, наперед все принимаю, кроме обещания приехать к Вам. Давайте в субботу, послезавтра, все же сговоримся, лучше всего вечером в 7 часов. Позвоните, пожалуйста, мне. И, может быть, правда кого-нибудь пригласим в дополнение?

Ваш Б. П.

305. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

30 декабря 1953, Москва

Дорогая Олюша, с Новым годом! Отчего я не пишу тебе? Вследствие, главным образом, лежащего в основе свинства, разумеется. Но есть и другие причины. Потому что надо встретиться, пожить вместе. В этих условиях

взаимосведомление проходит естественно. Да и не в информации дело, а в развивающейся в совместной болтовне философии. Затем я не пишу потому, что все более или менее в порядке у меня, а писать о хорошем всегда граничит с хвастовством или на него сбивается.

Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важно-го. Прекратилось всedневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются.

Все, что ты мне предсказала хорошего в близком после инфаркта будущем, начало сбываться в конце лета. Кажется, я тебе об этом писал. Мне удалось переделать чудовищную махину обоечастного «Фауста», как мне хотелось. След удовлетворения, оставшийся у меня после возвращения корректур, неправильно разрастался в ожидании выхода книги и создал иллюзию, будто переводом и содержательно, в смысле материально-ощутимого целого и системы мыслей, достигнуто что-то новое, сразу открывающееся, очевидное. Теперь «Фауст» вышел. Я вижу, что это не так, что это ошибка ощущения. Но у меня нет разочарования. В это заблуждение насчет внутренней стороны текста я введен другою удачей: текучестью и естественностью языка и формы, единственным условием, при котором можно прочесть около 600 страниц лирического стиха, то, чего я в первую голову добивался и добился.

Я вчера (но еще в самом грубом поверхностном наброске или пересказе) кончил роман, которому только недостает задуманного эпилога, и написал около дюжины новых стихотворений. Вот уже и глупо, что я тебе все это пишу. Что дает это перечисление? Однако ты из этого заключи, что я здоров и что у меня легко на душе.

Последнее время частые припадки печени у Зины, так что мы отменили предполагавшуюся встречу Нового года. Вчера и позавчера у нее были сильные боли, сегодня ей легче.

Все вышеизложенное есть только распространенное вступление к единственно важному, к просьбе, чтобы ты при первой возможности, как-нибудь в начале января, написала мне о себе и Машуре, как вы и что у вас слышно. И передай ей, пожалуйста, самые лучшие пожелания и поздравления с наступающим Новым годом. Крепко целую тебя.

Твой Боря.

31 декабря 1953, Москва

Мамочка моя, родная сестра моя Олюша! Подумай, какое совпадение! Я сегодня утром написал тебе письмо, намеренно серое, ординарное, чтобы не связывать тебя и не побуждать к длинному ответу. Но этот холод к «Фаусту» и все, что там о нем сказано, — искренне и оправдано, и остается в силе. Я захватил письмо на прогулку и забыл опустить его в ящик, имел в виду выйти вечером и отослать. И вдруг — твоя открытка, с ее безмерным теплом, меняющая весь тон разговора.

Завтра вышлю тебе «Фауста», но верь мне, это факт уже свершившийся и отошедший в прошлое. У меня никакого нетерпения к нему, можешь даже не читать его. Писать же, даже совсем немного о нем и не думай, прошу тебя!! Я ведь не кривляюсь и не рисуюсь, ты, надеюсь, мне поверишь.

Я уже и в первом письме хотел как-нибудь довести до твоего сознания, не вдаваясь в частности и доказательства, что мне очень хорошо. Я уже и раньше, в самое еще страшное время, утвердил за собою род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. Теперь я могу ею пользоваться с гораздо меньшим риском. Но не в этом источник моего хорошего самочувствия. Тому много причин, много реальных и много воображаемых. Но внешне ничего не изменилось. Время мое еще не пришло. Писать глупости ради их напечатанья я не буду. А то, что я пишу, все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати непригодно. Спасибо тебе за открытку. Люблю и целую тебя.

Твой Б.

Как ты заключишь из первого письма, я «Фауста» даже не собирался посылать тебе, именно чтобы тебя им не «беспокоить». Как тебе все это объяснить? Это вещи элементарные, из начальной физики. Для того, чтобы все это существовало, значило, двигалось («Фауст», я, работы, радости), требуется воздух. В безвоздушном пространстве оно немислимо. А воздуха еще нет. Но я счастлив и без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста.

7 января 1954, Москва

Дорогая моя Олечка, сестра моя! Этим ответом на твою телеграмму я хочу предупредить тебя, хочу предотвратить ненужную с твоей стороны трату времени и душевных сил, ненужную, как говорила покойная Цветаева, растрату. Третье письмо я пишу тебе, чтобы рассказать тебе, как двойственна и таинственна, как разбросана по сторонам и противоречива моя жизнь, каким счастьем я полон последние месяцы и в каком я отчаянии оттого, что внутренний этот план для внешнего ничего не значит, — третье письмо пишу я тебе об этом и до сих пор ничего не сумел объяснить.

Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!! Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, — я многое предвидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно. И, как я писал тебе, время мое еще далеко.

И ведь «Фауст» — не главное. Рядом есть вещи, перевешивающие значение работы, — роман, подведение его к концу, новые стихотворения к роману, новое состояние души. Это внутренне значит безмерно много, и внешне не значит ровно ничего.

Я знаю, что много хорошего в переводе. Но как мне рассказать тебе, что этот «Фауст» весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма¹, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность. Но и это не главное.

Последнюю волну живой воды, расшевелившей текст, я пролил на него в листах корректуры нынешним летом. Переделки мои, совершенно новые страницы, количественно очень многочисленные, уходили в возвращаемых листах, у меня дома следов от сделанного не оставалось, и вследствие спешки я ничего не помнил. С результатами я столкнулся только теперь, и во всей книге строчек, которые продолжали бы меня коробить своей скованностью, наберется не больше десятка, их так легко было переделать, — не хватило смелости отойти от буквы подлинника чуть-чуть больше в сторону, на свободу. В ос-

тальном же все звучит и выглядит, как мне хотелось, все отлилось именно в ту форму, о которой я мечтал.

Разочарован я другим. Сверх хорошего перевода сам Гете еще нуждался в претворении и превращении посредством хорошего, вдохновенного введения и комментария, которых нет. Сколько раз предлагал я в этом направлении свои услуги². Но разве можно какому-то непосвященному беспартийному доверить такой ответственный идеологический участок? А я мог бы так живо и доступно, легкою сжатою прозой пересказать содержание, так естественно выделить действительные странности оригинала, несообразности его последовательности с нравственной точки зрения, остающиеся здесь неотмеченными и необъясненными, и так честно и заинтересованно сам бы постарался найти им объяснение, что из этого что-нибудь, наверное, бы получилось, приносящее свой деятельный свет в дополнение к проясняющему действию перевода. Ах, как все мы были без надобности свободны, когда еще ничего не значили и ничего не умели!

Не пиши мне много, пожалуйста, не утруждай себя длинным и сложным разбором. Ты знаешь, как я ценю и люблю твои письма, — дело не в этом. Не отравляй себе удовольствия, которое все же тебе, наверное, доставили некоторые страницы, вымышленной утомительной обязанностью в ответ или отплату. Не терзай своего сердца обидными сопоставлениями того, как это велико, с тем, как это мало или недостаточно признано. Я не могу тебе ничего сказать о том подпольном признании, которым балует меня судьба, оно всегда так неожиданно, но говорить об этом было бы глупо и нескромно, — и самое неслыханное и фантастическое из этой области — чужие тайны, которых я не вправе касаться. Прости меня, зачем я пишу это все тебе, я ничего не умею сказать. Мне хорошо, Оля.

Твой Б.

308. М. В. ЮДИНОЙ

18 января 1954, Москва

18 ян. 1954

Дорогая Мария Вениаминовна!

Благодарю Вас за письмо. Но не полнота признательности заставляет меня на него отозваться. Надо, чтобы

Вы знали, что никому, кроме Вас, не удавалось так метко и исчерпывающе назвать и понять коренной изъян «Фауста»¹, причину, отяжеляющую все взлеты этого произведения, разгадку главного препятствия, всегда стоявшего передо мною при переводе и сущность которого все время оставалась тайною и скрытой от меня, между тем как Вы так легко и проницательно ее определили.

Меня именно убивали эти невысказанные, необъяснимые, непозволительные примеры внезапного повисания крыльев после так счастливо взятых высот, страницы грязи и пошлости вслед за картинами и трагедиями чистоты и нежности, проявления праздной учености, по-барски надменной и такой далеко не высокой.

Секрет этого порока, этого стилистического балласта именно в том ложном, самым автором осужденном красноречии Мефистофеля, которому Гёте тем не менее уделяет в трагедии так много места. Это ораторство, заведомо ограниченное, сознательно второстепенное и, однако, такое пространное и блестяще аргументированное, — вот тот двойственный и внутренне противоречивый придаток, который разбивал в прах лучшие мои усилия по отношению к тексту и отравлял мне радость работы, без того чтобы хоть раз я понял, где корень зла.

Вы молодчина, я восхищен глубиной Вашей прозорливости и не мог не высказать Вам восторга по этому поводу. На гражд(анской) панихиде по Пришвине кто-то превосходно играл Бетховена, Баха, Балакирева, очень необыкновенные раскаты арпеджий. Я думал, это Вы, но человек из пришвинского круга сказал, что нет, это не Юдина². Во всяком случае, пианисту играть было, наверное, очень трудно, толпа стояла стеной, заслоняла ему свет и лишала его воздуха.

Еще раз спасибо.

Ваш Б. П.

309. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

20 марта 1954, Москва

Дорогая моя Олюшка, спасибо тебе сердечное за открытку. Я знаю об этом спектакле, со мной списывался Козинцев, режиссер, и тоже звал в Ленинград¹. Я не поеду. Мне надо и хочется кончить роман, а до его окон-

чания я — человек фантастически, маниакально несвободный. Вот, например, до какой степени.

В апрельском номере журнала «Знамя» собираются напечатать десять моих стихотворений из романа «Живаго», в большинстве написанных в этом году. Я их читаю в гостях, они мне приносят одну радость. Их могло бы быть не десять, а двадцать или тридцать, если бы я позволил себе их писать. Но писать их гораздо легче, чем прозу, а только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения, и прочее и прочее, и создает то внутреннее, душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и постыдное без этого стихописания. Мне не терпится освободиться поскорее от этого прозаического ярма для более мне доступной и полнее меня выражающей области.

Или, например, если не считать некоторого Зининого неприкосновенного сбережения, с текущим, повседневным бюджетом у меня теперь некоторая временная заминка. И опять, из-за неоконченного и пишущегося романа у меня нет времени постоять за себя, что-то предпринять, похлопотать в издательстве и т. д.

Вследствие поглощенности этою мыслью, у меня нет времени спорить, когда мне говорят глупости, и за недосугом я со всеми соглашаюсь и предпринимаю правку, о которой просят редактора переиздаваемых переводов, хотя этого совсем не надо делать. Видишь, какое несчастье этот роман и как надо стараться поскорее от него избавиться. По тем же причинам пишу тебе второпях, за что прошу простить меня.

Я тебя не поблагодарил за твое щедрое чувствами, великодушное письмо о «Фаусте». Но оно было именно то, написание которого я хотел предупредить и не успел. Как ты доверчива, если думаешь, что перевод оценят и обратят на него внимание (я привожу в своих выражениях надежды, которые ты питала в письме). У меня никогда расчетов и притязаний таких не было и быть не может.

Теперь о другом, гораздо более важном. Если ты знаешь кого-нибудь из участников постановки и спектакля, передай им от меня выражения сильнейшей признательности и пожелания успеха. Чтобы они не думали, если я остался в стороне, молчу и не даю о себе знать, что я что-то возомнил о себе, что безразличен к

ним и что работа их не представляет для меня значения. Или иногда я отзываюсь слишком вынужденно торопливо с превратными последствиями, на письме лежит налет угрюмой отписки, способной оскорбить получателя. Так, на меня, кажется, обиделся Козинцев.

Милая, дорогая Оля, вот и тебе написал я безобразное по глупости письмо, состоящее из единственного слова «роман» в двадцати повторениях. А как бы я хотел обнять тебя, повидаться и поговорить с тобой!! И это будет, будет когда-нибудь, увидишь. Без конца целую тебя.

Твой *Боря*.

310. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

16 апреля 1954, Москва

Дорогая Оля! Мгновенно отвечаю тебе по прочтении твоего талантливого, увлекательного, большого и глубокого письма, и в момент самый неподобающий: сейчас седьмой час вечера, а в семь тридцать в Союзе писателей обсуждение моего перевода «Фауста», и я иду туда. Я плакал, читая твои строки. Милый друг мой, достань где-нибудь через неделю или дней через десять четвертый номер журнала «Знамя»¹ (тут он уже вышел). Там за вычетом двух-трех стихотворений, раньше написанных, — все новое. Тебе приятно будет увидеть в нынешней печати такое простое, естественное и непохожее на нее. Главное, конечно, не в них, а в прозе, в «системе» которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова «доктор Живаго» оттиснуты на современной странице, запятнаны им! Без конца тебя целую, радость моя. Меня огорчает, что присобачили они ко мне Маршака². Зачем это?

Твой *Б.*

311. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 июля 1954, Переделкино

Дорогая Олюшка! Жива ли ты и что делаешь? Как твоё здоровье? Я более чем свинья перед тобой, я подлец и мерзавец (если только это действительно более свиньи),

что отделался короткой отпиской в ответ на твой большой обстоятельный разбор Гамлетовской премьеры. Это было замечательное письмо, содержащее целый мир представлений, в общей сложности споривших глубиной и яркостью с самим Гамлетом. И когда я теперь слышу или узнаю что-нибудь об этой постановке, передо мной встают не Шекспир, не Александринка, не Ленинград, а твое письмо.

Я боюсь, что ты не знаешь, как я люблю тебя, и не чувствуешь, как я тебя целую. Но если я расстанусь со своим, вошедшим в привычку, трудолюбием, что тогда от меня останется?

Зимой несколько либеральных месяцев были в том отношении облегчением, что знакомые заговорили живее и с большим смыслом, стало интереснее ходить в гости и видеть людей.

Кроме того, наступил перерыв в утомительном этом плавании по собственной вынужденной безбрежности, без руля и без ветрил, некоторое подобие органического, наполненного жизнью воздуха подступило к твоей судьбе, охватило ее кругом, опять придало ей очертания. Стало легче работать. Элемент определенности хотя бы даже далекой, одним своим присутствием в пространстве дал опять почувствовать, где ты начинаешься и кончаешься, чего хочешь, почему у тебя такие странные желания и что ты должен делать.

Я и тогда был вне этих слабых перемен и не льстил себя никакими надеждами. Но обстановка была приятнее своим большим сходством с жизнью. А теперь опять я погрузился в бездонность полной своей свободы и одиночества. Я хочу кончить роман и верю, что кончу его. Ничто не мешает мне писать его. Я здоров и хорошо себя чувствую. Зимой был ремонт дачного дома, который мы арендуем у Литфонда. Он переделан и превращен во дворец. Водопровод, ванна, газ, три новых комнаты. Мне неловко в этих помещениях, это не по чину мне, мне стыдно стен огромного моего кабинета с паркетным полом и центральным отоплением. Я работаю, я не умею отдыхать, наслаждаться, но как скучны и бездарны черновые карандашные заготовки, которые я делаю к последней части! Можешь себе представить, какой это ужас и отчаяние, если я позволил себе отложить в сторону свой дневной урок и дал волю постоянному желанию немного побыть с тобой. Но не буду гневить Бога: вот я немного отвел душу с тобой, ничего не упомянув. А разве

это не счастье. И кроме того: судьба так мягка ко мне. Но так несоизмерима разница между тем, что можно и должно было бы сделать, будь хоть какая-нибудь связь и сходство с любимым путем в окружающем, и тем, что даешь и делаешь без этой общности.

Каждое лето я с некоторой надеждой, что это когда-нибудь осуществится, зову тебя к нам. Я не повторяю этой просьбы, она только возрастает в силе.

Поцелуй, пожалуйста, от меня Машуру. Это не слова, не безразличная условность. Очень часто целые полосы отдаленного детского прошлого проходят передо мною особенно нынешним обжигающе жарким летом, с заскакивающими в дом кузнечиками. Я опять все вижу не только с жаром, звуками и запахами тех дней, но и с чувством, что освобождающее, облегчающее дыхание будущего уже было после горячей тесноты их бедной правды. Ах, Оля, Оля! Так, как тебя, мне надо было бы повидать только девочек, и не из-за близости родства только, а прибавившегося потом знания мира. Обширности кругозора, твоей деятельности, их путешествий. Крепко целую тебя.

Твой Боря.

312. Е. В. ПАСТЕРНАКУ

12 июля 1954, Переделкино

Дорогой Женя! Тебя нельзя оставлять без письма. Мама расскажет тебе о нашем разговоре и несколько не будет виновата, если оставит тебя в неясности насчет моего мнения о твоих стихотворениях. Она не могла вывести из моих слов ничего определенного, потому что никакой определенности они не заключали.

Мне понравился язык твоих стихов. Это лучшая их сторона. Язык этот естественнее и свободнее, чем он бывает у начинающих, любителей, непрофессионалов.

В остальном мои представления слишком далеки от общепринятых, чтобы не только судить о чьих-нибудь попытках, тем более сыновних, в художественной области, но вообще заговаривать с кем бы то ни было, даже отвлеченно, без личностей, на общеэстетическую тему.

Например, когда какие-то годы жизни шли у меня в сопровождении Тютчева или меня сводил с ума Лермонтов, мне никогда не приходило в голову, что еще лучше бы она шла под целый хор Тютчевых или при участии десяти Лермонтовых. Напротив, я радовался их единственности и немногочисленности, а не вынужденно мирился с ней. Эта единственность требовалась мне, входила в состав моего ощущения, моего наслаждения их символической силой, их условностью, *воздействием их одних за всех других*. А Маяковскому требуются все эти другие. Ему хотелось, чтобы поэтов было «много и разных». Мне это так же непонятно, как если бы он хотел, чтобы на земле было много солнц или у него самого было как можно больше разных сознаний.

Всю жизнь я вожу с собой умещающийся на одной полке отбор любимых, без конца перечитываемых книг. Однако и среди этих немногих с годами оказываются лишние. А Горький считал целесообразным разводить не только цветную капусту и кроликов, но еще и молодых писателей. Отсюда и институты его имени. Это мне тоже непонятно.

Вот видишь, с какими странностями связаны мои суждения, как я в этой области не свободен. И всего охотнее я уклонился бы от этих разговоров, увильнул бы от них.

Когда, Бог даст, мы в следующий раз увидимся, я обязательно обсужу с тобой и то, что ты пишешь, и мои теоретические взгляды на искусство, совершенно необязательные для тебя и ненужные, потому что ты видел только что, как они расходятся с такими серьезными авторитетами. Но сделаем это в устном разговоре. На бумаге это заводит в немыслимые дебри. У меня было две попытки ответить тебе, два неоконченных трактата, которые в раздражении на самого себя я уничтожил.

Нет, нет, это надо будет при встрече сделать лично. А пока повремени. И не выводи из этих умолчаний ничего дурного. Твои стихи многим нравятся, я слышал похвалы им со стороны. Но я в совершенно другом положении. Любителей и знатоков поэзии я никогда не любил. Мне недоставало их начитанности и веры в то, что область их пристрастий реально существует. Их почвы я под собой никогда не чувствовал.

Будь здоров. Крепко целую тебя. Как всегда, я очень занят, здоров, хорошо себя чувствую.

Кланяйся маме и поцелуй ее. Я без напоминания пошлю ей денег — через месяц, в середине августа. Если потребуется раньше, известите.

Твой *papa*.

313. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

31 июля 1954, Переделкино

Дорогая Оля! Несколько слов еще совсем впопыхах в торопливость твоих дорожных сборов или, может быть, тебе вдогонку. Я знаю, что ты имеешь в виду, говоря о напряженности своих писем или обвиняя себя в вычурности. Но ведь ты клеветешь на себя. Чувство неоконченности мысли и, вследствие этого, неполной точности ее выражения так знакомо всем, кто имеет с этим дело! Я мог оставить твое письмо без ответа на этот раз, но не могу не защитить тебя от твоих собственных нападков.

И,— несколько совпадений. Ты случайно в конце письма назвала одно имя,— ты помнишь, кого? — («Этот стиль раннего Асеева»). У меня был разрыв со всем этим кругом и, шире, со всей средой, но истекшею зимой несколько человек так растрогали меня теплотой и определенностью своих изъяснений, что я не устоял и, между прочим, был как-то у него и его жены. Мы втроем провели вечер, я на память читал им все новое, часть которого потом попала в «Знамя». Кто-то плакал из них, я, честное слово, не помню кто, но она сказала мужу (они на «вы»): Вы знаете, точно сняли пелену с «Сестры моей жизни». Это как раз и твое мнение¹.

А другое,— вместе с твоим письмом пришло от дочери, повесившейся в 1941-м году Марины Цветаевой, из восемнадцатилетней ее ссылки, из Туруханска². Мы с ней на «ты», и очень большие друзья, я девочкой видел ее в 35 году в Париже. Это очень умная, пишущая страшно талантливые письма несчастная женщина, не потерявшая юмора и присутствия духа на протяжении нескончаемых своих испытаний. Так вот я хотел переправить тебе ее письмо, так вы в чем-то похожи, такие соседки по месту в моем сердце и так неоправданно строга она к себе и неведомо, чего требует от себя и хочет. Но пере-

сылать это письмо было бы нескромно. Нет, Олечка, все хорошо. Хорошо даже и то, что грустно. Крепко целую тебя.

Твой Б.

314. С. Д. СПАССКОМУ

5 ноября 1954, Переделкино

Дорогой Сережа!

Я ничего не пишу тебе, а только крепко целую. И прошу, передай сердечный привет Антонине Ивановне.

Если тебе понадобятся деньги, сообщи мне. Если и не всегда тотчас, с небольшим запозданием это всегда можно будет сделать.

Я зимую в Переделкине на даче, которую ремонтом истекшего года превратили в настоящий дворец. Если у тебя явится мысль самому или с Антониной Ивановной погостить у нас без хозяйственных забот на некоторый срок, сообщи, я буду очень рад.

Единственным неудобством для вас будет полная ваша независимость и самостоятельность, встречи только за столом, моя заполненность работой и даже прогулки в одиночестве, особняком.

Мне хорошо. Я счастлив. Я тяжело болел, а теперь здоров, и каждый день прибавляет мне радости. Одним из таких дней был день твоего возвращения¹.

Твой Боря.

315. О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

12 ноября 1954, Переделкино

Дорогая моя Олюшка!

Как я рад бываю каждой твоей строчке, виду твоего почерка!

Такие же слухи ходят и здесь. Я — последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук¹. «Бедный Боря, — подумаешь ты, — какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину!»

Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. И мне надо жить глухо и таинственно.

Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклой, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому, Бог миловал, эта опасность миновала.

Видимо, предложена была кандидатура, определенно и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали. Так рассказывают.

Потом люди слышали по BBC *, будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласия представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор еще не кончен. Но ведь все это болтовня, хотя и получившая большое распространение.

Но мне радостно было и в предположении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем.

Я горжусь одним: ни на минуту не изменило это течения часов моей простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни.

Есть ангел-хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему.

Крепко целую тебя, золото мое.

Твой Боря.

* Би-би-си.

Р. С. Прости меня за явную для тебя торопливость тона. Чувство чего-то нависающего, какой-то предопределенной неожиданности не покидает меня, без вреда для меня, то есть не волнуя и не производя во мне опустошающего смятения, но все время поторапливая меня и держа все время начеку.

Я хорошо работаю. Да, и вот что интересно. Зина отдала дачу на зимний лад, по-царски, и я зимую в Перedelкине.

316. Н. П. СМОРНОВУ ¹

2 апр. 1955

2 апреля 1955, Москва

Дорогой Николай Павлович! (Я не забыл Вашего отчества, не путаю его? Если перевираю, то простите.) Мне страшно дорога была Ваша записка, благодарю Вас за память и сердечное тепло. Я очень хочу, чтобы Вы прочли роман и стихи, и, что касается последних, — перепишите их или дайте переписать, если у Вас явится потребность.

Три тетради прозы, имеющиеся у милой Валерии Дмитриевны ², составляют первую книгу романа. У меня в работе вторая, законченная и содержащая окончание романа. Я ее переписываю набело от руки с почти сплошными изменениями, которые всегда претерпевают рукописи в авторской переписке. Эта вторая книга, наверное, в отношении слога бледнее и менее отделана (и такую и останется), но полнее в сюжетном смысле, мрачнее, трагичнее. Вот я зачем так подробно говорю Вам об этом. Вам эта проза не сможет понравиться. Я начал ее писать в те послевоенные годы, когда, задолго до осложнений с Зощенкой и Ахматовой ³ по собственному какому-то отчуждению, я оказался не у дел и меня стало отмывать куда-то в сторону все больше и больше. Я лишился художественной собранности, внутренне опустился, как ослабнувшая тетива или струна, — я писал эту прозу непрофессионально, без сознательно выдерживаемого творческого прицела, в плохом смысле домашнему, с какой-то серостью и наивностью, которую разрешал себе и прощал. Она очень неровная, расползшаяся, она мало кому нравится, в ней чудовищное множество лишних без надобности введенных лиц (часть их, правда, во второй книге возвращается), потом в ходе изложения исчезающих.

Но я по-другому не мог. Еще хуже было бы, если бы в условиях естественно сложившейся отрешенности от литературы, без каких-либо видов на то, чтобы когда-нибудь вернуться в нее, и, занимаясь одними переводами, я продолжал по-прежнему с верностью приему, со страстью мастерства «служить музам», писать как для печати, и прочая. Это было бы какой-то позой, притворством перед собой, чем-то нереальным и фальшивым. Я не люблю (или я их превратно понимаю) двух слов и двух, соответствующих им, понятий — «мудрости» и «романтики». Мне кажется, это то, без чего можно обойтись, то, чего нет или не бывает в жизни, две формы совсем не требующейся вольности или неоправдываемого попустительства *. Так вот одинаковое писание что для печати, что не для печати было бы мне не свойственной романтикой.

Дорогой Николай Павлович, скажите мне что-нибудь по этому поводу по прочтении тетрадей. Вы такой тонкий, такой близкий по всему Вашему миру человек и такой знаток всей этой музыки, такой судья в ней! Но я не только по отношению к этой прозе чувствую себя так неудобно и неловко. Гослитиздат предлагает мне собрать 15 листов избранных стихотворений, и им утвердили это предположение. Хотя я не отказывался, но всеми правдами и неправдами стараюсь оттянуть, насколько возможно, переиздание, до такой степени весь я не в тоне современности, до того сам я сознаю и чувствую себя среди остальных белою вороной. И я совсем не говорю, что они плохи, что советская нынешняя литература бледна, наоборот, наверное, она очень хороша — говорю это совершенно искренне, наверное, так именно и надо, таков дух времени. Но я не могу последовать за нею: при всей моей природной и бывшей демократичности и революционности в жизни, нормах поведения и поступках, совсем другие силы управляют мною, когда я прихожу к искусству. В плане общественном это одиночество факт роковой и неотменимый, это предосудительно и прискорбно. Но внутренне для самого себя мне не на что жаловаться. По наполнению, по ясности, по поглощенности любимой работой жизнь последних лет почти сплошной праздник души для меня. Я более чем доволен ею, я ею счастлив,

* А «мудрость» — это вид ложной глубины, а часто даже и тупоумия, которому не успели подыскать разгадки. (Примеч. Б. Пастернака.)

и роман есть выход и выражение этого счастья. Наверное, все это — самооправдания, которые не спасут его в Ваших глазах.

Ваш Б. Пастернак.

317. М. К. БАРАНОВИЧ

18 сентября 1955, Переделкино

18 сент. 1955

Дорогая Марина Казимировна! С перерывами, вызываемыми необходимостью, начал наслаждаться Вашей работой¹. Я не преувеличиваю: только в Вашем высоком, достойном, насквозь пропитанном родством и пониманием изображении начинаю я воспринимать *и себя*: спокойно и уравновешенно, без затрудняющих суждение распространений в хорошую или дурную сторону. Какие-то полдела, которые по примеру прежнего Вы опять взяли на себя, оздоравливают общую судьбу всего труда, душевно восполняют какой-то пробел, оставленный мною, моим здравым смыслом, моей волей.

Я никогда не забывал того близкого места, которое Вы занимаете во времени, в обществе, в жизни, я, может быть, недостаточно хорошо помнил, как действительна эта близость, как много значат и много делают Ваша помощь и присутствие.

Сейчас мне спокойно, без суеты и тревоги уясняется то ощущение недоделанности, которое у меня осталось от непросмотренной рукописи. Там есть действительно тяжелые, осложненные места, которые надо будет упростить и облегчить, длинные фразы со множеством придаточных предложений, от избытка старательности, от стремления всадить в одно восприятие все сопровождающие его подробности. Иногда это удается, чему немало примеров в том же «Живаго», иногда надо уметь жертвовать этой мечтой общему чувству меры. Вот случаи этой тяжести в самом начале вещи (я ведь прочел еще очень немного).

Таков Самдевятовский абзац о партизанщине на стр. 11—12; слова о продолжающемся у Ант. Ал. страхе проехать платформу на стр. 15 (слишком громоздко) (кстати, тут у Вас: сок платформы вместо песок); о падающем с задней стороны дома снопе света в овраг на стр. 28; (мимоходом: на стр. 39 в записках Ю. А. об искус-

стве и неудачно по выраженной мысли, и неразборчиво написано: х о з я и н о м, но так, что действительно можно было прочесть к о з л и к о м, как ошибочно у Вас). Продолжаю о тяжестях. На стр. 58 тяжело и неясно сказано о чугунных плитах лестницы и о плавности Лариных движений. Далее я не читал.

Все это не предполагает большой правки, и многое из этого я, может быть, изменю, может быть, нет, — видно будет. Дорогой мой друг, но потерпим, воздержимся в отмену позавчерашней просьбы ² (о Журавлевых) от сообщения работы кому бы то ни было, пока я сам не прочту всего и не решу, как быть.

Ближайшие и, наверное, единственные друзья сделанного это О. В.³ и Вы. И она совсем не как «вдохновительница» или «натура» для героини (в истории литературы всегда эти пошлости далеки от правды), но как единственная собеседница по предметам работы в ее начале, а Вы как такая же собеседница в ее конце.

Не создавайте себе лишних забот по машинной правке Ваших машинных опечаток. Вы много хорошего говорите о моем почерке. Он — родной брат Вашей манеры печатанья, шрифта, которым Вы пользуетесь, способа расположения печати и многого другого. Мне очень приятно бывает карандашом проходиться по Вашей печати, я почти рад бываю случаям, когда это требуется.

Еще раз бесконечное Вам спасибо.

Крепко целую Вас.

Ваш Б. П.

318. З. РУОФФ

10 декабря 1955, Москва

10 дек. 1955

Дорогая Зельма Руофф!

Я не мог найти Вашего первого письма, где, может быть, указано Ваше отчество, и потому простите меня за это обращение.

Сердечное Вам спасибо за письмо, за Ваши добрые чувства и за открытку с надгробием Паулы Модерзон ¹. Какой хороший памятник! Чьей он работы? Не жены ли Рильке, Клары Рильке, она ведь скульпторша?

Не думайте, что я не отвечал Вам из высокомерия, или небрежности, или по еще более низким причинам.

Весь год я был страшно занят (да и сейчас еще не совсем освободился) дописыванием своего романа в прозе «Доктор Живаго». Написать эту вещь было моим внутренним долгом, и я рад, что он исполнен. Эта проза, по объему очень большая, совершенно непригодна для печатания. Я, естественно, торопился довести ее до конца, потому что работа над нею была моим «отпуском без сохранения оклада», которого нельзя было растягивать на долгие годы. Все это время я ни с кем не виделся, нигде не бывал, забросил дела, даже необходимые, и не отвечал на письма.

Мне хочется в немецких измерительных единицах дать Вам понятие о романе, вернее, о его духе. Это мир Мальте Бригге или Якобсеновской прозы, подчиненной, если это мыслимо, строгой сюжетной нешуточности и сказочной обыденности Готфрида Келлера, да еще в придачу по-русски, еще более приближенной к земле и бедности, к бедственным положениям, к горю. Очень печальная, очень много охватившая, полная лирики и очень простая вещь.

Благодарю Вас особенно за Ваши ссылки и упоминания о Рильке, Вы знаете, как велико и свято для меня это имя. Со всем умением видеть и любить, которому он меня научил и часть которого мне передал, желаю Вам светлого живо-ощутимого, тихого и глубокого счастья.

Ваш Б. Пастернак.

Адрес Ваш мне кажется неполным. Сообщите, дошло ли письмо. Есть ли у Вас «Фауст» в моем переводе? Мне хочется что-нибудь подарить Вам.

319. Н. А. ТАБИДЗЕ

10 декабря 1955, Москва

Дорогая Нина, любимый друг мой!

Ах, как часто мне недостает Вас, как надо мне, чтобы Вы были рядом в важнейшие минуты жизни. Оставаясь без Вас, я в этих случаях перебираю в мыслях длинные тихие разговоры с Богом и с самим собой. А то я разговаривал бы с живою, с Вами.

Я сделал много свинства Вам, с сентября ввел Вас в заблуждение насчет денег, пообещав их и до сих пор не послав ни копейки, до сих пор не трогал Тициановых

стихов¹ и не ответил на Ваши последние письма. И я не прошу прощения у Вас, я знаю, Вы оправдаете меня.

Не могу сказать Вам, сколько труда я положил на постепенную медленную отделку второй книги романа. Когда летом я сказал, что кончил его и описывал Вам его конец, дело, собственно, шло только о грубой записи содержания, еще не приведенного в окончательную художественную форму. В глубине души я и не надеялся, что буду в силах подвергнуть новой переработке это необозримое множество страниц (450 машинописных), уже стоивших мне столько времени, труда и души.

И вот это незаметно произошло само собой в течение последних двух-трех месяцев особенно благодаря одной знакомой, М. К. Баранович, которая, несмотря на мое запрещение, перепечатала рукопись на машинке и этим наполовину облегчила мне возню с ней. А я так мало, повторяю, надеялся на осуществимость этой вторичной переработки, что летом меня томил и интересовал вопрос, простят ли мне, во внимание к имени, к прошлому и, главное, к серьезности и глубине содержания, тяжеловесность, неряшливость и растянутость изложения. И вот это сделано.

Мне трудно в это поверить, и я сам не знаю, как это случилось. Но еще, наверное, до середины января я еще буду занят доделкою последних мелочей.

Вы не можете себе представить, что при этом достигнуто! Найдены и даны имена всему тому колдовству, которое мучило, вызывало недоумение и споры, ошеломляло и делало несчастными столько десятилетий. Все распутано, все названо, просто, прозрачно, печально. Еще раз, освеженно, по-новому, даны определения самому дорогому и важному, земле и небу, большому горячему чувству, духу творчества, жизни и смерти.

Я мог бы быть счастлив, в самом узком моем кругу все очень хорошо и действительно, даже и в грусти я бываю полон ликования, пока остаюсь в относительном одиночестве.

Но сейчас так много кругом поводов и желаний нарушить его, вовлечь меня в общую деятельность!² И тогда для меня начинаются несчастья. Так мало общего между мною и людьми, которые чтут или любят меня и считают меня своим то по времени, то по общему призыванию, то еще по чему-нибудь!

Так я хочу совсем другого, чем они, и безмерно большего, так мало хотят они, так не умеют сильно и много

хотеть. И каждый раз при столкновении с ними я начинаю чувствовать себя неблагодарным, отступником, предателем, плохим братом, плохим другом, плохим товарищем. О как бы я хотел сохранять замкнутость, чтобы мне ни о чем этом не напоминали!

Не бойтесь, Нина, что я так запаздываю. Дела и без меня всегда затягиваются, а потом я все быстро наверстаю. Зато все свое сердце и душу я вложу в эту небольшую дань памяти Тициана, Вы увидите.

Я мог бы Вам писать без конца, так много хотел бы Вам сказать, о стольком посоветоваться. Недавно на минуту зашел в Гослитиздат после полугодового отсутствия и увидел, что, если бы я вечно толкался там, как все, я был бы миллионером, столько всяких дел там делается, к которым я имею отношение по Шекспиру, или по Гете, или еще по чему-нибудь. Но тогда бы и я и моя жизнь были бы совсем другими. И мне надо терять, оставаться в неведении и все прозевывать, пока что-нибудь не сделается само собой без напоминания. [...]³

320. М. Г. ВАТАГИНУ¹

15 декабря 1955, Москва

15 дек. 1955

Милый Марк Григорьевич.

(Отчество Ваше восстанавливаю по догадке из инициала, извините, если ошибся.) Я все время очень занят, совсем не так, гораздо больше, чем себе представляют. Сын был прав, что отсоветовал Вам заходить ко мне, он не прав был, что согласился взять на просмотр стихи.

Когда мои читатели и почитатели обращаются ко мне с просьбами, подобными Вашей, я с сожалением или раздражением устанавливаю, что, значит, они в недостаточной степени читатели и почитатели мои, потому что не поняли во мне главного: что я «стихов вообще» не люблю, в поэзии, как ее принято понимать, не разбираюсь, что я не судья, не ценитель в этой области.

Я бы не мог сказать, как Маяковский, — побольше поэтов и разных, мне это совершенно не нужно. В согласии с моим пониманием этой стороны жизни мне хотелось бы, чтобы не только их было как можно меньше, но чтобы по возможности был один, очень большой, а стихотворчества или даже поэзии, как вида занятий, пусть

даже «боговдохновенного», многих или для многих не существовало.

Вы спрашиваете, есть ли у Вас основания мечтать о поступлении в Литинститут. Избави Бог Вас думать об этом учебном заведении с основаниями или без оных. Если у Вас отвращение к истинным наукам, математике, физике, химии и Вы чувствуете тягу к предметам словесного цикла, то тогда, во всяком случае, посвятите себя изучению истории, это нечто осязательное, это даст Вам знания и воспитает, хотя историю сильно фальсифицируют сейчас, но Вы сумеете отделить подлинное от подделки. Вот Вам прямой, твердый, уверенный ответ на Ваш вопрос.

Если Вы разделите людей на партийных и беспартийных, мужчин и женщин, мерзавцев и порядочных, это все еще не такие различные категории, не такие противоположности, как отношение между мною и противоположным мне миром, в котором любят, ценят, понимают, смакуют и обсуждают стихи, пишут их и читают. Это мир мне полярный и враждебный, и ту же ноту враждебности вызывает во мне Ваша просьба, Ваша поддержка царящего предрассудка, Ваше участие в общем заблуждении.

Как же непоследовательна в таком случае моя деятельность, — скажете Вы, — но я никогда не утверждал себя «поэтом» (это слово очень годится на обертки к туалетному мылу, и в русской практике я не люблю его), я много думал, писал прозу и занимаюсь ей, я многим занимался в жизни и до такой степени был противником образования секции поэтов при Союзе писателей, что даже спорил по этому вопросу с Горьким. Но оставим лучше меня, я скажу Вам, что думаю, по-другому.

Даже в случае совершенно бессмертных, божественных текстов, как напр. Пушкинские, всего важнее отбор, окончательно утвердивший эту данную строчку или страницу из сотни иных, возможных. Этот отбор производит не вкус, не гений автора, а тайная побочная, никогда вначале не известная, всегда с опозданием распознаваемая сила, видимостью безусловности сковывающая произвол автора, без чего он запутался бы в безмерной свободе своих возможностей.

В одном случае это трагический задаток, присутствие меланхолической силы, впоследствии сказывающейся в виде преждевременного самоубийства, в другом — черта предвидения, раскрывающаяся потом посмертной по-

бедой, иногда только через сто лет, как это было со Стендалем.

Но во всех случаях именно *этой* стороной своего существования, обусловившей тексты, но не в них заключенной, разделяет автор жизнь поколения, участвует в семейной хронике века, а это самое важное, его место в истории, этим именно велик он и его творчество.

Я просмотрел то, что Вы мне передали. Бог и природа не обидели Вас. Ваша тяга к художественному выражению не заблуждение. Некоторые попытки Вам удались. Элегическая нота Ваша располагает к Вам, в Вашу пользу. Больше ничего я на эту тему сказать не могу, не потому что Вы недостаточно одарены, а потому что вера в то, что в мире существуют стихи, что к писанию их приводят способности, и прочая и прочая, — знахарство и алхимия. Вы напрасно (и меня это удивляет) обратились ко мне. Обратитесь к алхимикам. Их множество.

А Вам желаю всего лучшего, удачи и счастья в Вашем общем развитии. Допущения, что есть какие-то стези стихописательства, на которые вступают с отрочества, представления, уродующие образ молодости, и только общее уродство современных понятий мешает это видеть.

Ваш *Б. Пастернак*.

Ваши стихи передам Чуковским, я ничего не храню у себя.

321. З. РУОФФ

12 мая 1956, Москва

Милая Зельма Федоровна!

Благодарю Вас за письмо и фотографию Рильке. Вы правы: стихотворение, которое Вам прислала ленинградская приятельница, не мое, — я такого не писал и его не знаю. Но кто бы его ни написал, он лучше бы сделал, сказав:

«Я *за* городом жил один...»

Я не могу Вам ответить по-настоящему, потому что очень занят сейчас и это долго еще будет продолжаться. Едва ли возможности напечатания романа возросли. Относясь к совершенно иному, не злободневному миру,

он все же касается многого реального, наболевшего с совсем непринятых точек зрения.

В статье о Шекспире ¹ многое выброшено и, наверное, отдаляет ее от тех, кому она была бы ближе без сокращений, может быть, видоизменяя ее общий дух. Я этого не проверил. Я так занят, что даже не видал альманаха. Я не старался достать его. Его у меня нет.

Три тома писем Рильке я добыл совсем недавно. Dichterin, о которой Вы спрашивали, — Марина Цветаева ². Он сыграл огромную роль в моей жизни, но мне никогда в голову не приходило, что я мог бы осмелиться ему написать, пока по прошествии двадцати лет оказываемого на меня и ему не ведомого влияния я вдруг не узнал (это упомянуто им в его письме моему отцу), что стал известен ему во французском переводе Извольской. Я не представлял себе, чтобы почта могла служить мостом к недоступному, совсем по-другому, чем все на свете, существующему миру, с которым я был связан только своим поклонением, и вдруг оказалось, что мост этот перекинут далекой случайностью помимо меня. Только тогда я в первый раз в жизни подумал, что мог бы написать ему. Но у нас были прерваны сношения со Швейцарией. И во Франции жила Цветаева, с которой я был в переписке и большой дружбе и которая тоже знала и любила Рильке. Мне хотелось попутно сделать ей подарок, представить ее Рильке, познакомить их. Я просил его не отвечать мне, не тратить на меня драгоценного времени, но в качестве знака, что письмо дошло до него, послать «Сонеты к Орфею» и «Элегии» Цветаевой во Францию. Помещенное в томе письмо было препровождено ей с напечатанным внизу и к ней обращенным сопровождением, но она переслала его мне. Получение этой записки было одним из немногих потрясений моей жизни, я ни о чем таком не мог мечтать. Они потом переписывались. Он жаловался ей, что я больше не пишу ему, что это огорчает и заботит его (В-s Schweigen kmmert und bekmmert mich). А мне не хотелось разменивать и растрачивать желания повидать его (я мечтал к нему поехать) в переписке, от которой я нарочно воздерживался. И вдруг он умер.

Для готовящейся книги моих избранных стихотворений я пишу предисловие биографического характера. Когда я на днях дошел до места, где надо сказать о Рильке, я вместо характеристики и описаний, которые не дали бы о нем никакого представления, в ходе изло-

жения без особого труда перевел две его вещи «Der Lesende» и «Der Schauende» из «Buch der Bilder»³, чего никогда бы не сделал так легко, если бы поставил себе эту задачу отдельно. У меня нет времени переписать их для Вас, если книга осуществится, Вы их прочтете в тексте предисловия.

Опять-таки на днях, совсем недавно, я обратился в Иностр. комиссию Союза писателей с просьбой, чтобы они мне выяснили, жива ли дочь Рильке и ее муж, живы ли Kippenberg издатель Insel Verlag'a и Lous Andreas Salome⁴, и доставили мне их адреса. Я хочу связаться с кем-нибудь из них.

Все это я Вам сообщаю, потому что Вы об этом спрашивали и Вас это интересует. Но я делаю это второпях и не считаю письма настоящим ответом Вам.

Мне кажется, у Вас превратное представление обо мне. Стихи значат гораздо меньше для меня, чем Вы, по-видимому, думаете. Они должны уравниваться и идти рядом с большой прозой, им должны сопутствовать новая, требующая точности и все еще не нашедшая ее мысль, собранное, не легко давшееся поведение, трудная жизнь. Я так и не сделал за все свое существование ничего особенного, а у меня уже есть неизвестная мне мировая судьба за нашими пределами. Она стала докапываться до меня и застаёт меня врасплох, неподготовленным, с пустыми руками, потому что то единственное, чем бы я мог ответить ей, мой роман, не может быть напечатан.

Будьте здоровы. Наверное, я Вам написал часть того, что, собственно, надо было бы написать в Веймар.

От души Вам всего лучшего

Ваш Пастернак.

322. К. Г. ПАУСТОВСКОМУ

12 июля 1956, Переделкино

Дорогой Константин Георгиевич!

Извините меня: я до сих пор не поблагодарил Вас за письмо и Ваши великодушные заботы о моих делах. Я все время в трудах, и им не видно конца.

Я боюсь попасться на глаза Федину, которого так люблю, и перед Вами в таком же положении. Никто

не поверит, что нашего общего альманаха¹ я еще в глаза не видел и его у меня нет, так я занят.

Я еще ничего не решил насчет чехословацких предложений, ничего от них не получал (да и не надо!), ничего им не писал и, за недосугом, совсем еще не действовал в этом направлении.

Наверное, я напишу им, чтобы они отказались от своей мысли в отношении меня (все эти наши половинчатые, недосказанные и малосодержательные произведения революционных десятилетий, и мои в том числе, так вынужденно-неинтересны!). А издать им предложу двухтомного «Доктора Живаго».

Списываться с ними (когда освобожусь) и налаживать пути для пересылки объемистого и тяжелого «Живаго» буду через Иностранную комиссию Союза писателей.

Боюсь, впрочем, что рукопись во время весеннего наплыва делегаций, когда она ходила по рукам, куда-нибудь увезена без моего ведома² и сама собой дойдет в числе прочих и до них. Тогда мне смерть, а впрочем, может быть, это неосновательные страхи.

Казакевича³ тоже ни разу не видал, так некогда. Вас всех остановит неприемлемость романа, так я думаю. Между тем только неприемлемое и надо печатать. Все приемлемое давно написано и напечатано.

Извините за отрывистость и краткость письма. Еще раз сердечное спасибо.

Ваш *Б. Пастернак*.

323. И. С. БУРКОВУ

9 октября 1956, Переделкино

9.IX. 56

Дорогой Иван Семенович! Зачем мне осуждать Вас и Ваши стихи? Просто я не писал Вам за недосугом, да и теперь очень занят. Очень, очень много всякого очередного, срочность которого увеличивает все недовольство половиной сделанного, нелюбовь к книгам среднего периода и их беспомощности и бесформенности, и невозможность почтить на лаврах и согласиться на простое переиздание былых сборников¹. Да много и нового. Оттого и занят. Разве я не доказал своей

любви к Вам и Вашему сыну? Зачем же сомневаться во мне?

Ваш *Б. Пастернак*

324. А. К. ТАРАСОВОЙ

5 августа 1957, Переделкино

Дорогая Алла Константиновна! ¹

В Узком, где я долечивался ², мне сказали, будто Вы себя плохо чувствуете. Я огорчился, но заподозрил в этих слухах запоздалые сведения времен Кремлевской больницы. Так оно, по счастью, и оказалось при моем разговоре по телефону с Солодовниковым, утешившим меня на Ваш счет. Ну слава, слава Богу, совсем Вам не надо и никогда нельзя будет болеть.

Хотя нога у меня таинственным и никем не разгаданным образом еще болит, но я опять у себя на даче, колдовские превращения в кого-то неузнаваемого, составлявшие главный ужас больничных наваждений, кончились, продолжается прежняя, мне знакомая жизнь, и живет тот же человек.

Хотя последнее время в санатории мне было легче, я при большом досуге ничего не делал в течение этих четырех месяцев, так как не верю в состоятельность и достоверность того, что сочиняет больной или считающийся больным, и писать себе не позволял.

Но теперь мне хочется вернуться к прерванным занятиям, и я не смогу сделать шага дальше, пока не уплачу дани своим последним впечатлениям на пороге между здоровьем и заболеванием. Такими пограничными впечатлениями на этом рубеже были: подготовка «Марии Стюарт» в театре и две зимних именинных ночи в городе (я лето и зиму живу на даче) в конце февраля.

Мне хотелось стянуть это разрозненное и многообразное воедино и написать обо всем этом сразу в одной, охватывающей все эти темы компоновке. Я это задумал под знаком вакханалии в античном смысле, то есть в виде вольности и разгула того характера, который мог считаться священным и давал начало греческой трагедии, лирике и лучшей и доброй доле ее общей культуры. Тут где-то совсем рядом находится роль и действие банальности и цыганщины не только у Ап. Григорьева, Блока и Есенина, но и в мире Лермонтова, и

которую знал в себе и всю жизнь в себе подавлял Лев Толстой. В чем-то в этом роде, то есть почти на грани «садовых» или «каскадных» мотивов зарождается дух и гений Чайковского, и тут же, сразу, с «открытой эстрады» достигает высот и трагизма Шестой симфонии и «Пиковой дамы».

Я Вам эту вакханалию посылаю, так как одна ее часть, как Вы сами увидите, косвенно связана с Вами³. Но, пожалуйста, не подходите с меркою прямой точности ни к изображению артистки, ни к пониманию образа самой Стюарт. В этом стихотворении нет ни отдельных утверждений, ни какого бы то ни было сходства с кем-нибудь, хоть артистка стихотворения это, конечно, Вы, но в той свободной трактовке, которой бы я ни к Вам лично, ни в обсуждении Вас себе не позволил.

Если вещь в целом не понравится Вам, если Вы ее найдете неприличной, не сердитесь и простите меня, что я Вас вставил в такой контекст.

Целую Вашу руку и от души желаю Вам всего лучшего.

С нетерпением жду осени, когда я наконец увижу Вас в спектакле и в жизни.

Ваш *Б. Пастернак*.

325. Н. А. ТАБИДЗЕ

21 августа 1957, Переделкино

Дорогая Нина, меня продолжают огорчать и тревожить сведения о Вашем нездоровье и физических страданиях. Я слишком хорошо это понимаю, пережив то же самое так недавно.

В этом письме я пошлю Вам несколько стихотворений конца зимы (до болезни) и четыре новых, написанных после переезда из Узкого на дачу. Как раз накануне заболевания последними моими впечатлениями были: подготовка «Марии Стюарт» в театре, две именинные ночи в городе и вообще вид вечернего зимнего города, куда я приезжал из заснеженных полей. Мне хотелось, как всегда, сказать это все сразу в одном стихотворении. Мне мерещилась форма того, что древние называли вакханалией, выражением разгула на границе священнодействия, смесью легкости и мистерии. И вот я заболел.

Я знал, что, если после выздоровления я вернусь к ра-

боте, которую больницы и санаторий прервали, то есть к писанию и накапливанию стихов для новой книги, мне не миновать этого узла зимних впечатлений и нельзя будет двинуться дальше, пока я не уплачу дани этому замыслу.

Таким образом возникло это зимнее стихотворение в летнее время ¹.

Здесь было несколько очень странных дней ². Что-то случилось касательно меня в сферах мне недоступных. Видимо, Х (рущев) у показали выборку всего самого неприемлемого из романа. Кроме того (помимо того, что я отдал рукопись за границу), случилось несколько обстоятельств, воспринятых тут также с большим раздражением. Тольятти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил. Было еще несколько мне неизвестных осложнений, увеличивших шум. Как всегда, первые удары приняла на себя О (льга) В (севолодовна). Ее вызывали в ЦК и потом к Суркову ³. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы, и на котором присутствовала О. Вс. и Ан. Вас. Ст (аростин) ⁴, пришедшие в ужас от речей и атмосферы (которым не дали говорить), и на котором Сурков читал вслух (с чувством и очень хорошо, говорят) целые главы из поэмы ⁵.

На другой день О. В. устроила мне разговор с Поликарповым ⁶ в ЦК. Вот какое письмо я отправил ему через нее еще раньше, с утра.

«Люди нравственно разборчивые никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и, таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданьем, это не ново, и я готов принять любое».

П<оликарпов> сказал, что он сожалеет, что прочел такое письмо, и просил О. В. разорвать его на его глазах.

Потом с П<оликарповым> говорил я, а вчера, на другой день после этого разговора, разговаривал с Сурковым. Говорить было очень легко. Со мной говорили очень серьезно и сурово, но вежливо и с большим уважением, совершенно не касаясь существа, то есть моего права видеть и думать так, как мне представляется, и ничего не оспаривая, а только просили, чтобы я помог предотвратить появление книги, т. е. передоверить переговоры с Ф<ельтринелли> Гослитиздату и отправить просьбу о возвращении рукописи для переработки. Я это сделаю, но, во-первых, преувеличивают вредное значение появления романа в Европе. Наоборот, наши друзья считают, что напечатание первого нетенденциозного русского патристического произведения автора, живущего здесь, способствовало бы большему сближению и углубило бы взаимопонимание... Во-вторых, вместо утихомиривающего влияния эти внезапные просьбы с моей стороны вызовут обратное действие, подозрение в применении ко мне принуждений и т. д., из меня сделают нечто вроде Зоценки, скандал совсем иного рода и пр. и пр. Наконец, в-третьих, никакие просьбы или требования в той юридической форме, какие сейчас тут задумывают, не имеют никакого действия и законной силы и ни к чему не приведут, кроме того, что в будущем году, когда то тут, то там начнут появляться эти книги, это будет вызывать очередные взрывы бешенства по отношению ко мне, и неизвестно, чем это кончится.

За эти несколько дней, как бывало в таких случаях и раньше, я испытал счастливое и поднимающее чувство спокойствия и внутренней правоты и ловил кругом взгляды, полные ужаса и обожания. Я также при этом испытании натолкнулся на вещи, о которых раньше не имел понятия, на свидетельства и доказательства того, что на долю мне выпало счастье жить большой значительной жизнью, в главном существе даже неизвестной мне.

Ничего не потеряно, я незаслуженно, во много раз больше, чем мною сделано, вознагражден со всех сторон света.

Разумеется, Лене и Зине известна лишь ничтожная, наименее болезненная часть случившегося, остальное я скрыл от них, щадя их спокойствие. Эти передрыги, поездки в город на электричке, объяснения и прочая

перепутали мне весь мой режим, обеды стали попадать в ночное время, и только. Я не волновался ни капли.

Бебутову⁷ я послал переводы тех двух стихотворений Паоло, которые Вы просили меня перевести, и несколько Симоновых. Это очень бледные работы, но если Вам будет интересно, попросите их у него, пусть он Вам их покажет и пусть известит меня об их получении. А может быть, Вам так плохо, что не до моих дел и стихов.

Крепко Вас целую.

Ваш Боря.

326. С. ЧИКОВАНИ

23 августа 1957, Переделкино

Дорогой Симон, извините, что не сразу ответил на Ваше письмо.

Вот уже не первый раз Вы являетесь свидетелем моих странных заболеваний, всегда внезапных, всегда предельно мучительных физически, всегда продолжительных, всегда необъяснимых и похожих на колдовские превращения. Видно, я слишком привык чувствовать себя субъектом неисчерпаемого здоровья, и быть объектом болезни для меня состояние невыносимое и равносильное общему потрясению.

Мне очень хорошо сейчас, как все эти последние годы в Переделкине, и, боюсь сказать, может быть, даже лучше. Ваше счастье, что месяц назад я не позволял еще себе писать ничего своего, потому что отрицаю состоятельность большого творчества, каким бы оно ни казалось мнимо интересным (в документы оно не годится, а всякое настоящее, то есть большое искусство, должно быть актом историческим и величиной мирового значения). Таким образом, я еще во время своей душевной диеты успел перевести 5 Ваших стихотворений¹ из имевшихся у меня 7-ми подстрочников. Они пригодны к печати только в том виде, в каком я их послал Бебутову. Кажется, Конст. Лордкипанидзе или Ананиашвили получили их раньше, когда они были готовы вчерне, то есть еще не готовы. Предупредите их, что эти варианты не годятся.

Я уже почти жалею, что зарифмовал и отделал эти чудеснейшие Ваши стихи, потому что это создаст пред-

посылку для дальнейших просьб и предложений, между тем как мне переводить больше нельзя, и Вы сами, Леонидзе и другие должны были бы требовать, чтобы ко мне не обращались с такого рода запросами. Пока я жив и здоров, мне надо заниматься своим, а не тратить время на чужое, как бы оно ни было дорого и близко, это, кажется, ясно. Я получил от Златкина² телеграмму, которая меня в этом смысле огорчила. Он просит меня принять участие новыми переводами в подготавливаемой книге Георгия Николаевича и спрашивает, сколько строк я согласен перевести. Я еще не ответил, но неужели причина моего отказа не может быть ясна и кого-нибудь обидит?

Попросите Бебутова написать мне несколько строк о том, получил ли он мое письмо и материалы. Пусть покажет Вам Ваши стихи в моей передаче. Я также послал Нине несколько стихотворений, половину которых, написанную в конце зимы до болезни³, Вы знаете, а другие я написал сейчас, и они для Вас будут новы, если это Вам любопытно и Вы к ней зайдете. Пусть тоже известит меня о получении моего письма, — иногда они у меня не доходят до цели и по пути пропадают.

У меня тут были осложнения с ЦК и с Союзом, во время которых я воочию увидел степень своего значения и измерил свою силу. Это были очень радостные дни, хотя совершенно очевидно, какие смертельные угрозы и неприятности неизбежно скрывают для меня самые ближайшие годы. Но только так жить и интересно, и я не понимаю, как можно воображать себя художником и отделяться дозволенным, а не рисковать крупно, радостно и бессмертно.

Целую руку Марико и обнимаю Вас. Напишите мне до Вашего приезда. Страшно рад буду Вас видеть и, как всегда, по-прежнему, всего лучше к 2 часам в любое воскресенье, к обеду, в Переделкине.

Все новое, что я делаю, мгновенно везде переводят. Я видел замечательные, в размере и с рифмой французские и английские переводы, не говоря о чешских, итальянских, польских и пр. Баронесса Будберг, последняя жена Горького, перевела Живаго по-английски⁴. Роман готов и на других языках. Едва ли требования приостановить это все выполнимы, хотя я и пошел навстречу. Ах, Симон, Симон, за что мне это все, и так много! А главного нельзя рассказать.

Б. Пастернак.

6 октября 1957, Москва

6.X.57

Дорогой Симон!

Во время последней болезни я был в долгом разъединении с моим обычным образом жизни, ее деятельная непрерывность временно прекратилась, ничто не трогало, ничто не запоминалось. Наверное, именно в те дни Зина или Нина доставили мне в больницу или в санаторий русский перевод (очень хороший, высоколитературного качества) Вашей статьи о Тициане Табидзе¹. Я ее куда-то засунул и забыл куда.

Я случайно ее обнаружил сегодня вечером, когда безуспешно разыскивал другую пропажу, исчезнувшие копии переписанной на машинке перед самой болезнью «Марии Стюарт». Я наткнулся на сложенные страницы Вашей статьи и впервые сейчас ее прочел.

Это очень хорошая статья, несколько встающих перед глазами, живо рассказанных воспоминаний, несколько размышлений, важных, серьезных, увлеченно изложенных, имеющих более общее значение, веское, авторитетное свидетельство, к которому впоследствии все будут обращаться, вся часть вокруг прогулки по ул. Чавчавадзе, вся часть вокруг понятия «гадавардана»².

Мне предстоит страшно серьезная зима, полная, вероятно, испытаний и ударов. Я сам описал в романе умственное раздвоение людей, обвинения которых в повседневных, привычных из статей и кинофильмов, высоко и красиво звучащих выражениях, кажущихся такими очевидными и бесспорными, доводили их до искренней сдачи и самобичевания.

Наверное, признаки этих состояний суждены и мне, но это в ходе фактов ничего не изменит, я не чудотворец, я жизни идей, интересов и представлений о мире остановить не в состоянии, а «Докт. Ж.» слишком значащее, слишком естественное и своевременное звено в их цепи.

Судьба произведения должна отделяться от судьбы писателя, она должна быть самостоятельной и иной, чем его судьба. Это естественно в отношении больших людей и большой литературы, это понимают дети в счастливые для искусства эпохи, и этого не понимает

никто в наше время, так постаравшееся над разрушением художника в человеке, так поработавшее над уничтожением личности и ее пониманием в нас.

Я еще хотел сказать несколько слов о Вашей статье. Очень правильны Ваши замечания о несущественности различий между не облеченной уподоблениями прямой и прозрачной речью в поэзии и теми случаями, когда она пользуется метафорами, очень хороши примеры из Пушкина и Бараташвили. Ошибочно думают, что это элементы письменности или творчества, они занесены в литературу из разговорной речи, которая еще больше, чем язык художественного отбора, состоит одинаково из слов, сказанных в прямом и переносном смысле, и где, мне кажется, яснее, что прямая формулировка и метафора — не противоположности, а разновременные стадии мысли, ранней, мгновенно родившейся и еще не проясненной в метафоре и отлеживавшейся, определившей свой смысл и только совершенствующей свое выражение в неметафорическом утверждении. И как в природе рядом уживаются ранние и поздние сорта разных сроков, было бы бессмысленным аскетизмом ограничивать течение душевной жизни одними явлениями только начального или только конечного порядка.

Наконец, об интонации. Это слово когда-то часто применялось ко мне в речах и статьях и всегда вызывало во мне неизменное недовольство и недоумение. Это понятие слишком побочное и бедное, чтобы заключить в себе что-то принципиальное и многоохватывающее, на чем можно было бы построить теорию даже отрицательную и боевую, даже в молодые дни общественного распада и уличных потасовок.

Наверно, Тициан пользовался этим наименованием неправильно и в большей степени, чем другие, подразумевал под ним нечто совершенно иное. Может быть, он имел в виду то, что имело власть технического обета надо мной в период «Сестры моей жизни», и если это было так, то был ближе к правде.

В 17-м и 18-м году мне хотелось приблизить свои свидетельства насколько возможно к экспромту, и дело не в том, что стихи «Сестры моей жизни» и «Тем и вариаций» я старался писать в один присест или перемарывать как можно меньше, но в основаниях более положительного порядка.

Если прежде и впоследствии меня останавливало и стихотворением становилось то, что казалось ярким,

или глубоким, или горячим, или сильным, то в названные годы (17 и 18) я записал только то, что речевым складом, оборотом фразы как бы целиком вырывалось само собой, произвольное и неделимое, неожиданно-непререкаемое.

Принципом отбора (и ведь очень скупого) была не обработка и совершенствование набросков, но именно сила, с которой некоторое из этого сразу выпаливалось и с разбега ложилось именно в свежести и естественности случайности и счастья.

Извините, что я Вас так томлю разбором Ваших же мыслей. Вот главная, трагическая похвала Вам, которая все время горько напрашивается, которую я все время сдерживал и все-таки выскажу. Статья — знак и мерило Вас самих, Вашей затерянности среди такого множества слившихся имен и лиц, давно и далеко где-то остановившихся и неотличимых. Для кого бьющаяся жилка Ваших розысков, Ваша точность, Ваше изящество, высота и сжатость Ваших одиноких знаний?

Ваш *Б. Пастернак*.

328. Д. Е. МАКСИМОВУ

25 октября 1957, Москва

25 окт. 1957

Дорогой Дмитрий Евгеньевич, сердечное Вам спасибо! Не обижайтесь на меня. Я долго болел. Потом начались у меня неприятности, которые будут продолжаться, развиваться, осложняться.

Я Вас хочу поздравить с большим успехом и высказать Вам удивление и благодарность по поводу Вашего Лермонтова, по поводу первых страниц статьи Вашей, где так метко и с такою силою, не в бровь, а в глаз, в самый нерв, Вы определяете существо магнетической лермонтовской притягательности (как у Баратынского

И поэтического мира

Огромный очерк я узрел и т. д.)², особенность, особое качество этой оригинальности, силу и жар ее.

Когда в 1917 году я наобум, недолго думая, написал на титуле «Сестры моей жизни» не «Памяти Лермонтова» или что-ниб. подобное, но «Посвящается Лермонтову», точно он был еще тогда не то что в живых, но в рядах случайных прохожих, еще неведомых или

еще недостаточно увековеченных абстрактностью признания, точно его тем летом где-нибудь еще можно было встретить, я не только имел в виду выразить это чувство чего-то совсем недавнего, непросохших следов ночного дождя или затихающих, неотзвучавших отголосков только что прокатившегося звука, — я долго, всю жизнь льстил себя надеждой раскрыть в статье, в прозе это таинственное могущество Лермонтовской сущности, эту драму свежести, что ли, и ее секрет и загадку. Я мечтал это сделать так, как по случайности, без наперед составленного умысла, мне это удалось в отношении себя, то есть всех моих поэтических книг и их духа, в романе «Доктор Живаго».

Разумеется, это была ложная иллюзия, никогда бы я не привел своего намерения в исполнение, не было у меня для того ни знаний, ни требующихся теоретических средств. Как же я должен был поразиться и содрогнуться, заставши Вас за таким внутренне изученным и заветно-знакомым движением души, но, в Вашем случае, таким удавшимся, таким сверкающим и до конца завершенным! Обнимаю Вас и завидую Вам.

Благодарю Вас за все, что Вы мне посылали. Не пишите мне, я не буду иметь возможности Вам ответить (так я занят), и это будет больно мне.

Ваш *Б. Пастернак*.

329. Е. А. БЛАГИНИНОЙ¹

16 декабря 1957, Москва

16 дек. 1957

Дорогая Елена Александровна, как меня тронули Ваши слова, Ваша заботливость и беспокойство! Я болел весною и летом, долго и тяжело, и долго лежал в больнице, а с тех пор, слава Богу, чувствую себя очень хорошо.

У меня были некоторые неприятности, на меня было оказано некоторое нравственное давление, отталкивающее своею двойственностью, — я частично должен был ему покориться. Я должен был принять участие в попытке приостановить появление романа в неведомом далеке, в форме, настолько неправдоподобной, что попытка эта заранее была обречена на неудачу.

Говорят, роман вышел по-итальянски, вскоре выйдет на англ. языке, а затем на шведском, норвежском, француз. и немецком, все в течение года.

Я не знаю, известно ли Вам, что около года тому назад Гослитиздат заключил договор со мной на издание книг², и если бы ее действительно выпустили в сокращенном и цензурованном виде, половины неудобств и неловкостей не существовало б. Но даже и теперь, когда, преувеличивая значение создавшейся нескладницы, тем самым способствуют возникновению шума по поводу этого случая в разных концах света, даже сейчас выпуск романа в открыто цензурованной форме внес бы во всю эту историю тишину и успокоение. Так в двух резко отличных видах выходило Толстовское «Воскресение» и множество других книг у нас и за границей до революции, и никто ничего не боялся и не стыдился, и все спали спокойно, и стояли и не падали дома. Я все время выдвигаю эти доводы и все время это предлагаю, но это ни до чьего сознания не доходит. Наконец, теперь не поздно еще и другое, я тоже постоянно об этом напоминаю. В каждой из стран, где будет появляться роман, есть революционные писатели-коммунисты, Арагон, Бехер и другие. Теперь их задача прочесть идейно чуждый роман по его выходе у них и критически его развенчать и обезвредить, разобрав его и показав его бедность мыслями и художественную несостоятельность. Это ведь люди далеко не беспомощные и безответные, и задача, мне кажется, им по силам. Но и это здравое соображение ничьего слуха не достигает.

Я не знаю, что меня ждет, — вероятно, время от времени какие-то друг за другом следующие неожиданности будут в том или другом виде отзываться на мне, но сколько бы их ни было, и как бы они ни были тяжелы или даже, может быть, ужасны, они никогда не перевесят радости, которой никакая вынужденная моя двойственность не скроет, что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы так привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник оказался в моем случае незатертым и нерастоптанным.

Целую Вашу руку, Вы — дорогая, милая, — благодарю Вас.

Ваш Б. П.

6 января 1958, Москва

6 янв. 1957¹

Дорогой Константин Георгиевич!

Сердечно благодарю Вас за новогоднюю телеграмму. Как и многие другие, слышал кое-что о Вас, и не тревожусь, не огорчаюсь, но горжусь Вами и радусь за Вас. Да и могло ли быть иначе.

Как стоит особняком Ваша деятельность среди литературы кажущейся, бездейственной и несуществующей, внешне неотличимой от истинной и легко обманывающей этим поверхностным словесным сходством, так не могла не столкнуться Ваша личность с многообъемлющим нашим окружением, задуманным в виде богадельни, с неисчислимым миром душ, жаждущих опеки, с царством слабых и давно выдохшихся дарованных, средних людей с бедною судьбой и боящихся страданий.

В наше время это не поиски правды, не взрыв гражданского мужества, как сто лет тому назад, это спор движущегося тела с препятствием, реальности с пустотой, это столкновение факта с выдумкой, это конфликт силовой.

Будьте здоровы, крепко обнимаю Вас.

Ваш *Б. Пастернак*.

Я предназначал письмо для отправки по почте, как вдруг вызвались отнести его Вам и сдать с рук на руки. Для такого чрезвычайного случая письмо слишком сдержанно и малосодержательно, — Вы должны простить меня.

Б. П.

331. Ф. А. СТЕПУНУ¹

30 мая 1958, Переделкино

Дорогой Федор Августович,

как радостно и важно дать Вам знать, что изредка я кое-что узнаю о Вас. Сборник Цветаевской прозы однажды попал мне в руки, с Вашим предисловием. Два немецких студента из Мюнхена рассказывали прошлым летом о Вас и Сосинских. Жива ли Ваша жена,

о которой Вы писали в «Записках прапорщика»? ² Если да, кланяйтесь ей. Я в памяти вижу ее перед собой в окружении былых собраний, художественных, философских. Я с таким живым чувством пишу Вам не под влиянием воспоминаний. Я не поклонник прошлого, я противник прохождения жизни заново в растроганных повторных пересмотрах. Наоборот, я полон счастья при мысли, что мы оба, Вы и я, еще живы в такое время, когда все меньше становится остатков самоуслаждающейся праздности, когда так дорого стоит и оплачивается каждое движение души, когда все так реально. Надо мной всегда нависают некоторые официальные угрозы и, в еще большей степени, возвращающееся заболевание правой ноги (следствие детского перелома, затем более позднего перелома колена), вдруг начавшее сказываться в запоздалой совокупности, и так болезненно, что часто надолго приходится ложиться в больницу. Я не знаю, позволит ли Вам Ваш вероятный и вполне понятный недосуг знакомиться с д-ром Ж., когда он выйдет у Фишера. Но перевод «Фауста» я Вам послал, когда еще не знал Вашего адреса, через П. П. Сувчинского. А если бы Вы его прочли, это за все вознаградит меня.

Крепко Вас обнимаю и целую.

332. Ф. А. СТЕПУНУ

10 июня 1958, Переделкино

Дорогой Федор Августович,

не думайте, что, узнав благодаря любезности г-жи Денцер Isar-Verlag'a Ваш адрес, я теперь замучаю Вас своими открытками. Но на днях я написал Вам об экземпляре «Фауста», направленном для Вас через посредство Сувчинского в Париже (я тогда не знал Вашего адреса). Сейчас с огорчением узнал, что возможность, которой для этого воспользовался, задержалась в своем дальнейшем движении. Это уже второй раз, что экземпляры «Фауста», отправляемые через посредство или Союза пис., или с какою-нибудь другою оказиею, не доходят или возвращаются. Я вчера как раз жаловался П. П.¹ в открытке на эту странность, которую, м. б., следует приписать самой природе Фаустовского мира, отовсюду замкнутого и против всего заговоренно-

го, и в ту же минуту получил по своему дачному адресу письмо из Штутгарта, от куратора der Faust-Gedenkstätte Knittlingen, места рождения исторического д-ра Фауста!

Но, дорогой Федор Августович, я ведь не знаю, здоровы ли Вы и как себя чувствуете! Может быть, Вы больны и Вам совсем не до моих открыток. На днях я попробую послать Вам «Фауста»² просто по почте заказной бандеролью, — кто его знает, авось дойдет. Тогда в том случае, если и прежняя посылка доберется неожиданно до Вас, Вы вырвете надпись из дублета и передадите его от себя, кому захотите, или не откажетесь передать или переслать его кому-нибудь по моей просьбе.

Скоро д-р (другой) будет в Париже³. Мне было очень легко писать его. Обстоятельства кругом были так отчетливы, так баснословно ужасны! Приходилось только всей душой прислушиваться к подсказу и покорно следовать их внушению. Время приносило самое главное в произведении, то что при свободе выбора всего труднее, *определенность содержания*. Теперь все гораздо легче и сказочно благоприятствует мне, но я уже больше не слышу голоса необходимости, которому подчинялся.

333. Н. А. ТАБИДЗЕ

11 июня 1958, Переделкино

Дорогая Нинуша, спасибо Вам за заботы, за письмо, за открытки. Я чувствую себя хорошо, нога болит гораздо меньше, но все-таки болит, когда я засиживаюсь. Мне кажется, я осенью, даже если боль совершенно пройдет, покажусь Чаклину и, может быть, попрошусь на операцию, там все-таки что-то сидит в колене и при малейшем неловком движении, боюсь, может вызвать все эти надолго растягивающиеся ужасы снова. Но самочувствие у меня очень хорошее, и зевать некогда, надо пользоваться здоровьем и свободой и что-то делать! Напоминанием о том, что в мире творчества все держится не правилами, а только исключениями, а все остальное, как бы оно ни было хорошо и почтенно, ни к чему, таким напоминанием был здесь у нас пианист Клиберн (да, ведь Вы застали его еще здесь). О〈льге〉 В〈севолодовне〉, Ванникову и многим кажется, что мне надо пи-

сать сейчас стихотворения, в моем последнем духе, прерванном болезнью. Я кое-что записал, но не только не уверен, что они судят правильно, но убежден в обратном. Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней.

Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность. Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит. Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем как начинать существовать, и допустить возможность такого времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления. Эта трудность есть и для меня. «Живаго» — это очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего написанного другими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить. И откуда мне взять на это сил, а заменять это, единственно нужное, старыми мелочами — близоруко и бесцельно. Поэтому меня не радует возобновившееся мое стихописание, да и слабо это все, что я Вам посылаю. Наверное, если уже на то пошло, требуется более резко разграниченный, новый, объединенный сильно отличным, новым признаком, раздел стихов. Может быть, я и приду к нему, но все же я их Вам посылаю¹. Я записываю их Вам от руки. Разберете ли Вы их?

Крепко целую Вас.

25 июня 1958, Переделкино

Дорогой Корней Иванович, так как Вы все равно останетесь образцы этой сонной, ничего не значащей мазни, то пусть лучше все же она будет от меня¹. Я утром тогда с Вами говорил, что я головой и сердцем совсем не тут, а в ближайших, имеющих со мною скоро случиться, происшествиях, отчасти — в переписке. Это все время продолжается и отнимает у меня все время. Так что ничего Вам об этих, притом таких немногочисленных, пустых страничках ни думать, ни говорить не надо. Если хотите помочь мне, скажите Катаеву, что очки его сбили меня с толку, и я не знал, на чей поклон отвечаю². А потом и пошел любезно разговаривать с ним в ответ на приятные новости, которые он мне сообщил. Но, конечно, что лучше нам совершенно не знать, таково мое желание. И это без всяких обид для него и без каких бы то ни было гражданских фраз с моей стороны. Просто мы люди совершенно разных миров, ничем не соприкасающихся. И ведь скоро все эти «водоразделы» возобновятся для меня. У меня не было времени читать Вашу книгу³ дальше. Я рад, что встретил Вас и имел случай сказать Вам, до какой степени удивляюсь талантливости и увлекательной силе Ваших беглых, движущихся, никогда не топчущихся на месте и вдруг озаряющихся светом целой эпохи изображений. Спасибо также за напоминание об А. А.⁴ Я рад был благодаря Вам им воспользоваться, а без Вас забыл бы. Обнимаю Вас.

Любящий Вас Б. П.

335. В. ВС. ИВАНОВУ¹

1 июля 1958, Переделкино

Дорогой Кома, извините, что я так задержал Вас ответом. Когда я сам предложил Вам показать, что Вы соберете, это был один из тех неисчислимых случаев, когда человек второпях и не одумавшись говорит прямо противоположное тому, что он должен был бы сказать. Так сложно и оговорочно мое отношение к искусству, так следовало бы мне избегать необходимости судить о нем. У меня лежат книжки многих, в том числе Слуцкого,

Евтушенко, Берестова и других, даривших мне свои выпуски, и я в них не заглядывал не из высокомерия или недостатка времени и не оттого, что предполагал, что не найду в них ничего интересного, а оттого что, наоборот, только заурядное в таких случаях оставляет меня спокойным, все же заметное поднимает бурю противоречивых ощущений, приносящих мне терзание, как терзает меня, и еще сильнее, половина или большая часть сделанного мною.

Мне близок Платоновский круг мысли относительно искусства (и исключение художников из идеального общества, и соображение, что *οὐ μαίνομενοι* не должны переступать порога поэзии), нетерпимость Толстого и даже, как вид запальчивости, иконоборческие варварские замашки писаревщины. Все это мне близко в сильном видоизменении. Эта же нота сидела в общем бунтарстве Маяковского, но с такою непоследовательностью, которая превращает его в эстета, или «поборника прекрасного», что ли, даже для меня. Я бы никогда не мог сказать: «побольше поэтов хороших и разных», потому что многочисленность занимающихся искусством есть как раз отрицательная и бедственная предпосылка для того, чтобы кто-то один, неизвестно кто, наиболее соvestливый и стыдливый, искупал их множество своей единственностью и общедоступность их легких наслаждений каторжной плодотворностью своего страдания.

Искусство не доблесть, но позор и грех, почти простительные в своей прекрасной безобидности, и оно может быть восстановлено в своем достоинстве и оправдано только громадностью того, что бывает иногда куплено этим позором.

Не надо думать, что искусство само по себе источник великого. Само по себе оно одним лишь будущим оправдываемое притязание. Всякая творческая деятельность личной, сосредоточенной складки есть пожизненное заглаживание несовершенной неловкости и неумышленной вины.

Если бы, говоря это Вам, я думал при этом о себе, высмеять меня не стоило бы труда, я сам рисовал бы на себя дешевую карикатуру. Но все же, Вы спросите, — как же я тогда занимаюсь тем, что так низко ставлю и осуждаю. Но ведь и грешат-то люди не потому, что считают грех добродетелью, а из слабости. Я и о громадности отвечу Вам под личным углом, притом ради Вас,

потому что в конце письма сказанное на этот счет понадобится мне для совета и в виде пояснительной ссылки.

Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и осязаемый, целиком перекрывающий конец, которые требовали расплаты и удовлетворения, чего-то сразу сокрушающего привычные для тебя мерил, как, например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры,— тут необязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось.

Я не говорю, что роман нечто яркое, что он талантлив, что он — удачен. Но это — переворот, это — принятие решения, это было желание начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях. Если прежде меня привлекали равностопные ямбические размеры, то роман я стал, хотя бы в намерении, писать в размере мировом. И,— о счастье, путь назад был раз навсегда отрезан. Кома, это письмо, чрезвычайно важное для Вас и для себя, я пишу очень сбивчиво, тяжело и торопливо, в форме, не полагающейся для моего литературного звания,— и этот новый, совершенно мне раньше неведомый недосуг, это тоже уже — другая жизнь, это тоже смещение мерил и следствие романа.

Просматривать Ваши стихотворения было для меня временами двойным страданием вот почему. Я заставлял одаренную юношескую душу на ложном и, может быть, ей не свойственном пути, и каждый раз, как меня что-нибудь у Вас не удовлетворяло, и что, может быть, было навеяно Маяковским или объясняется Вашей собственной незрелостью тех лет, я остро и тяжело чувствовал себя виноватым перед Вами, я в Ваших неверных или искусственных нотах слышал свои и мучился тем, какой я Вам подал дурной пример. Но это еще не все. При всяком столкновении с каким-нибудь видом несостоятельности у Вас я сознавал, что, будь под этими приме-

рами моя подпись, они не только не встретили бы возражения, но, может быть, вызывали бы восхищение нашего узкого круга. И напоминание о слепоте и несправедливости общепринятого и условного тоже меня ранило. Вот отчего я назвал эту муку двойною.

Мне очень легко писать Вам. Я ничем не огорчу Вас, мне нечем Вас огорчать. Меня всегда удивляло, как мало обращено внимания на то, что я Вам сейчас напомним, как никогда об этом не говорилось. Об этом упоминается в Варыкинских дневниках Живаго. Как иногда внутренне пуст и технически блестящ Пушкин-лицеист, как обгоняют, как опережают его средства выражения действительную надобность в них. Он уже может говорить обо всем, а говорить ему еще не о чем. После войны я собирался писать о Блоке. Я разметил для себя первые его страницы, поры «Ante lucem». Тут тоже предвосхищено много будущего, воспоследовавшего, в отвлеченных слабых очертаниях, которые наивны, как слова взрослых в устах ребенка. Эти страницы и даже книги никого бы потом не остановили и так бы ничем и остались, если бы жизнь вскоре не наполнила, не подтвердила бы их. И как она драматически наполнила эти формы, какой подлила в них краски! Эти превращения были вызваны героической чертою обоих, готовностью к подвигам, тягой к большому.

Это (даже, как Вы видели, у людей гениальных, при ранней начитанности и очень хорошем воспитании) явление юношеского ораторствования, чтобы не сказать фразерства, все равно, деланно ли озорного или мнимо унылого толка, в Вашем особом случае очень велико. Это ставит Вас в ложное положение. Излишней хлесткостью рифм, сплошь как на подбор безукоризненных, Вы отпугиваете от содержания, слишком еще молодого и неокрепшего, слишком небольшого, чтобы оно могло стать заметным и остановить на себе внимание, чтобы перевесить действие слишком громкой внешности и притянуть, привлечь от нее к себе. Это ведет к недоразумениям. Смысл сказанного не то, что понятно, но даже слишком точно и понятно, терминологически понятно, кажется непонятным только потому, что становится не сразу понятным от оглушения и отвлечения в сторону и оставляет это впечатление и в следующие минуты. Трудно представить себе истинное горе, достаточно трагическое для тона столь окончательного и определенного, это как если бы о некотором несчастии мы узна-

вали не из полуобморочных криков падающего без сознания, но из анкетной графы о звании, холодно заполненной словом «самоубийца».

Это я все говорю для того, чтобы в самых-самых общих чертах заключить следующим наблюдениям. Все эти, не по Вашей вине и воле еще необжитые и потому не в меру гулкие и чересчур просторные формы вдруг наполняются и становятся правдивыми и возбуждающими участие к концу, в коктейльских стихах осени 1955 г. Здесь строчка «Это пропасть на пропасть глядит» помимо того, что она очень хороша и сильна, еще, кроме того, убеждает. Ей веришь, как говорящей о чем-то действительном, между тем как такие же или еще более красноречивые строки на предыдущих страницах вызывают улыбку или отчуждают своей бездоказательностью.

Вообще стихи этих последних страниц (вместе с тюльпанами и рынком в Л.) — живые, настоящие. Я сейчас перечислю Вам названия и отдельные строчки, выделившиеся в чтении и понравившиеся мне, а пока еще вот что.

Если Вы думаете не то что продолжать писать стихи исподволь, но даже если бы Вам пришлось теоретически писать о поэзии, мне думается, Вам нужно сломить что-то в себе и перестроить свои понятия о ней в большем соответствии с тем, что Вы носите в себе, смелее, скупее и существеннее.

Вот что мне понравилось (отдельные строчки и цельные стихотворения).

Мертвые души из мертвого дома...

В нашем чаду Чаадаев и Чацкий

Чем прозябание по обезьяньи...

Пьером Безуховым быть бы я мог.

Правит бульварами жизни моей (милиционер)

Сейсмограф. Кито. Все стихотворение о Ст(алине).

Я не принадлежал к числу... Пляж. Гетто... И в больших балахонах... Здесь плывут облака... Тополей запыленных. Сонет со слоеным небосклоном. Гуляка я или аскет. Бессонницей пусть невраст(еник). Окна безумием застеклены. Измена марту и природе, измена самому себе. Стихи рождаются (Вы читали раньше). Но это жизнью мы зовем. А кладбище зовем вселенной. Сонет с пиретру-

мом. Сегодня я брожу в тоске. И водоросли на песке, и недоросли в море. Со сфинксов снег счищают бурый. Иду я по лужам. Я припоминаю, и вдруг под ботинком... мне переводная открылась картинка (не словесность, но реальное сходство, яркость, обнаруживавшаяся из-под сошедшей пленки). Мне нравится необозримый пляж. Сумрак рентгеновск. кабинета. Первобытная складка. Эти пропасти так мне знакомы. В лунном иск. света. Март казался случайною смесью. То ли песня. Тюльпаны.

Но все, что я говорю, так ведь произвольно! И разве я непогрешим? Кроме того, мы столько еще раз увидимся, и я договорю на словах, если это понадобится, чего не дописал. Обнимаю Вас.

Ваш Б. П.

336. Л. А. ВОСКРЕСЕНСКОЙ

12 декабря 1958, Переделкино

Дорогая Лидия Александровна, как меня огорчают Ваши новости, как это Вас угораздило, бедную! Только бы не разыгралось Ваше воспаление! Тетрадка, о которой Вы мне напомнили, имеется у Романовой, я ей позвоню, чтобы она Вам ее доставила, как она сама не догадалась? Держать ее в постели Вам будет легче, чем переплетенную книгу.

Но ведь Вы томитесь в больнице, испытываете боли, до того ли Вам? Я совершенно не принадлежу себе. Бури и анафематствования местного происхождения ничто по сравнению с тем, что ко мне приходит и тянется со всего мира. Я утопаю в горах писем из-за границы. Говорил ли я Вам, что однажды наша переделкинская сельская почтальонша принесла их мне целую сумку, пятьдесят четыре штуки сразу. И каждый день по двадцати. В какой-то большой доле это все же упоенье и радость, — душевное единение века ².

Выздоровливайте поскорее. Я сам леживал в больницах и знаю, как иногда деревянно звучат эти слова. Но что же сказать другого?

Как Вам легче читать? По-английски, по-немецки? Когда выздоровеете, я дам Вам Д(октора) Ж(иваго) в одном из переводов. В оригинале у меня его нет, и не достать. Крепко целую Вас.

Ваш Б. П.

18 февраля 1959, Москва

Спасибо, дорогой мой Олег Гончаров! Если бы Вы знали, как были сегодня впору, как кстати были Ваши любящие строки! Я не могу сказать, чтобы я никогда не слышал слов ободрения, ласки, признания. Но так запутано мое положение, столько перекрестных, сталкивающихся страданий вокруг меня! Мне надо, по посторонним причинам², против воли, временно уехать, и этого не хочет одна близкая моя приятельница³, которая знает, как много она для меня составляет, и могла бы быть уверена во мне, но которую огорчает эта необходимость временного отъезда и которая хотела бы отговорить меня от него.

И весь день мне тяжело на сердце, точно в ожидании казни или какой-нибудь потери. И вот подали мне Ваш конверт. Ну вот, думаю, прочту что-нибудь вроде «Иуды», или «продали Родину», или что-нибудь другое в духе этого казенного негодования.

И когда я стал читать Ваше письмо, весь день сдерживаемые слезы грусти и сожаления хлынули у меня градом, я зарыдал, читая Ваши золотые слова, полные доброты. Да воздаст Вам Бог счастьем за них. Я обнимаю Вас.

Ваш Б. Пастернак.

19 марта 1959, Переделкино

Дорогая Нита, я себе простить не могу, что, когда мы пошли пешком на вокзал, я, в силу привычности этой минуты, так похожей на приготовления к обычной прогулке, забыл проститься с нянею и Маней¹. Попросите от меня прощения у них, я так помню все, что они нам сделали, и так им признателен!

Вот с какой я к Вам просьбой, не откладывайте, пожалуйста, ее исполнения, сейчас же возьмите телефонную книгу и списывайте просимые адреса (тех, у кого есть телефоны, а других узнайте как-ниб. другим путем).

Сообщите мне, пожалуйста, точные адреса (почтовые, для писем и посылок): Марины Мицишвили, Медин Яшвили, Этери Николаевны Какабадзе, Гудиашвили.

Наверно, так же как и «Фауст», у Вас в семье должно быть (у Гивика, наверное?) и все, что я переводил из Шекспира.

Я продолжаю в воображении без конца гулять с Вами и разговаривать. Мы таким образом давно оставили за собой границы Тбилиси. Если это будет продолжаться так дальше, мы скоро обойдем с Вами земной шар.

Я здоров (как и все у нас), и те личные огорчения и страдания, которых я опасался по возвращении, места не имели, слава Богу. Но вот что сделайте, вот чего добейтесь, Нита, для меня. Убедите, пожалуйста, маму, чтобы она не связывала с помещением моих прежних переводов судьбы новых папиных изданий². Улучшения в этом вопросе никогда не будет. Маме надо примириться с выпадением этих нескольких вещей или согласиться на то, чтобы их дали в чьей-нибудь другой передаче. Всякий ведь поймет вынужденность этой меры.

Смягчения моего положения ждать неоткуда. Меня в лучшем случае окружают экономической блокадой, как Зоценку. От меня требуется просьба об обратном принятии в ССП, неизбежно заключающая отречение от моей книги. А этого никогда не будет. Эта книга во всем мире, как все чаще и чаще слышится, стоит после Библии на втором месте.

Крепко обнимаю и целую Вас, Алика, Гивика. Маме напишу тут же несколько слов. Позвоните Чукуртме³. Когда я получу ее адрес, я пришлю ей «Фауста».

Всем бесчисленные поклоны, Раисе Константиновне⁴ и ее дочерям, Тине Асатиани, музейной подруге Марины, знающей древнегреческий.

Дорогая Нина, Вы однажды спросили меня об одном собственном имени из Тицианова стихотворения, но, наверное, с тех пор Вы давно от других получили эти требующиеся справки. Если нет, для меня было бы счастьем, если бы все-таки в конце концов Вы это разъяснение получили от меня. Не было ли это имя Авиафар? Я на эти сведения попал случайно. Первыми обращенными к Христу св. Ниною в 316 г. во Мцхете были еврейский раввин Авиафар и его семья. Его дочь Сидония была потом сподвижницей Нины, участницей совершенных ею чудес и проповедницей.

Крепко Вас целую. Когда Вы к нам приедете? Да, Нина, вопрос о моих переводах Тициана надо, ради меня, если Вы меня любите, перерешить по-другому, как этого требуют. Тут нам не уступят.

339. Б. К. ЗАЙЦЕВУ¹

15 марта 1959, Переделкино

Дорогой Борис Константинович, не могу Вам передать, какую честь Вы мне оказали, как обрадовали своим письмом. Наверное, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой, наверное, нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким.

Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложащей грусти, — спасибо Вам.

О двух частностях 29-го числа, знал, — Вы прибавили две новых; рад совпадению в наших днях рождения, ему обязан я Вашим письмом².

Непременно пришлите мне Вашего «Жуковского»³, может дойти, хотя все это дело случая. Пропадают иногда мои русские письма, так что я и русским пишу подчас по-немецки, по-французски, по-английски, как куда придется.

Вполне ли оправилась Вера Алексеевна (в своем письме Вы пишете о ее болезни)? Чрезвычайно дорого, что Вы мне говорите о моей книге. Что бы Вы мне ни сказали, я бы все принял с величайшей благодарностью. Но еще дороже Ваших слов сознание, что Вы книгу знаете (как я мечтал об этом!) и что В. А.⁴ слышала ее в Вашем чтении. Вообще лучшая награда за понесенные труды и неприятности то, что лучшие писатели века, подобно Вам, ее читали, кто на других языках, кто в оригинале. Воображаю, сколько ошибок завелось в тексте от перепечатки к перепечатке! Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед собой и глазам своим не верю. И — благодарю и обнимаю.

Знаете ли Вы П. П. Сувчинского, музыковеда, мыслителя, замечательного человека? Если у Вас есть общие знакомые, пусть они сообщают ему, что лишь улучу

минуту, я ему отвечаю на его драгоценную, встревоженную записку. Говорят, Степун любопытствует, как ему лучше писать мне, по-русски или по-немецки. Пусть пишет, как хочет, лишь бы написал.

От души всего лучшего Вам и В. А.⁴

340. В. К. ЗАЙЦЕВУ

28 мая 1959, Переделкино

Дорогой Борис Константинович, все время зачитывался Вашим «Жуковским». Как я радовался естественности Вашего всепонимания. Глубина, способная говорить мне, должна быть такою же естественной, как неосновательность и легкомыслие. Я не люблю глубины особой, отделяющейся от всего другого на свете, как был бы странен высокий остроконечный колпак звездочета в обыкновенной жизни. Помните, как грешили ложным навязчивым глубокомыслием самые слабые из символистов?

Замечательная книга по истории, вся в красках. И снова доказано, чего можно достигнуть сдержанностью слога. Ваши слова текут, как текут Ваши реки в начале книги, и — виды, люди, годы, судьбы ложатся и раскидываются по страницам. Я не могу сказать больше, чтобы не повториться. Вот в чем дело. Гейдельбергскому университету понадобился мой русский автограф. Его надо было наполнить каким-нибудь содержанием. Я им написал несколько строк о Вашей книге¹. Судите, как она мне нравится.

Я послал Вашей дочери «Фауста». Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволяли мне предпослать этим работам собственных предисловий². А может быть, только для этого я переводил Гете, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом, и как(!) всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для... «работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело подбирать рифмы.

И только этот баснословный год открыл мне эти душевные шлюзы, но совсем с другого боку. И о «Фаусте» написал я по-немецки по запросу из Штутгарта³, где есть Faüst Gedenkstätte (место рождения истори-

ческого Фауста), и по-английски о Рабиндранат Тагоре (совсем не восторженное) его биографу в Лондоне, и по-французски о назначении современного поэта в Италию и пр. и пр. и пр. И стало легче. Но как это все странно, не правда ли? Оказывается, можно и думать.

Еще раз поздравляю Вас от души, благодарю и обнимаю.

Ваш Б. П.

Я обрываю письмо, чтобы не задерживать выражения моей радости и признательности.

341. Н. Б. СОЛЛОГУБ¹

29 июля 1959, Переделкино

Дорогая Наталия Борисовна,

благодарю Вас за догадку, что мне небезразлично и дорого будет получить несколько слов от Вас. Вы мне доставили ими большую радость. Днем раньше я после большого перерыва получил письмо от Бориса Константиновича. Наверное, я сейчас же вслед за этим ответом Вам напишу и ему. Я когда-то навсегда запомнил и люблю его спокойную и чистую цельность. Она придает красоту и естественность его мыслям и движениям, а его прозрачному слогу позволяет становиться как бы собственным языком положений и вещей, которые он изображает. Я в обновленном виде опять испытал это за чтением его «Жуковского». Это высшее, о чем смеет мечтать писатель, когда кажется, что говорит не он и его прихоти, а само нарисованное им. Я, наверное, не знаю Вас и Вашего мужа, но Вашу маму помню и вижу как сейчас, и естественно, что я полон любви к Вам и Вашей семье.

Папа Ваш спрашивает, дошли ли до меня его строки о письмах Петрарки. Я не только получил их, но ответил ему восхищением по их поводу. Раз он об этом спрашивает, значит, мои восторги пропали по дороге². Он любопытствует также, нельзя ли было бы издать «Автобиографию»³ у Вас по-русски. Что касается меня, я бы гордился его содействием. Так же мог бы он распорядиться и русским «Фаустом». Я был бы только вдвойне счастлив, если бы это принесло какую-

нибудь ощутимую пользу ему самому или кому угодно другому, кому бы только он сам пожелал. У меня есть одна близкая приятельница там, M-me de Pr⁴, ей это все виднее.

Мне выпало большое и незаслуженное счастье вступить к концу жизни в прямые личные отношения со многими достойными людьми в самом обширном и далеком мире и завязать с ними непринужденный, душевный и важный разговор. К несчастью, это пришло слишком поздно. В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить. Как страшно и непоправимо грустно, что не одну Россию, а весь «Просвещенный мир» постиг этот распад форм и понятий в течение нескольких десятилетий. Я не люблю воспоминаний, тем более бесцельных. Если я об этом упоминаю, то вот почему.

Успех романа и знаки моей готовности принять участие в позднем образумлении века повели к тому, что везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему этому не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды!

Моя жизнь далеко не гладка, дорогая Наталия Борисовна, меня окружают заботы и тревоги и на каждом шагу подстерегают, — выразимся мягко, — неожиданности, но знаете, милый друг мой, среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение.

До свидания. Поблагодарите, пожалуйста, Веру Алексеевну за ее бесценную приписку собственной рукою. Сердечный привет Вашему мужу. Покажите некоторые места письма Вашему папе, мы как бы беседовали все вместе, сообща.

Ваш Б. Пастернак

4 октября 1959, Переделкино

4 окт. 1959

Дорогой Борис Константинович, я еще не поблагодарил Вас за «Юность»¹. Я начал ее читать (про заводскую зиму и Гавриков пер.) и очередь на чтение уступил приятельнице, которая об этом просила и сама хорошо знала о некоторых неприятностях и помехах, приостановивших мое дальнейшее чтение. Но я опять с первых страниц (я дочитал до забастовки) был охвачен тем же самым, о чем я Вам писал по поводу «Жуковского»: сходством Вашего духа с существом изображаемого; так что Ваши личные особенности, то, что называют субъективностью, на пользу Вашей работе, словно и они (а не только Ваш слог, Ваше мастерство) — какие-то краски на палитре, изобразительные какие-то средства. В Ваших писаниях, как воздух, всегда присутствует живая, все охватывающая, движущаяся, дышащая, зыблящаяся ясность. В нее погружаешься сразу, с первых Ваших слов. Окна везде промыты и протерты так, точно в них не стало стекол. И в описываемых Вами домах и, так сказать, в мире Вашей души.

Больше я, верно, не скажу ничего сегодня. Я не хочу задерживать слов благодарности и за то, что Вы делаете, и за те поклоны, которые мне посылают Вера Алексеевна и Ваша дочь, не хочу оставлять Вас в ожидании.

Пожелайте мне, чтобы ничто непредвиденное извне не помешало ходу и, еще очень отдаленному, завершению захватившей меня работы.

Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе², она перешла в состояние, когда баловство или попытка становятся заветным занятием или делом страсти.

Не надо преувеличивать прочности моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным. И никак нельзя по-другому, ни жить, ни думать.

Я очень люблю Вас и крепко целую.

Ваш Б. П.

15 ноября 1959, Переделкино

Дорогая Клавдия Николаевна, по некоторым сведениям Вам лучше, но это не уменьшает моего беспокойства о Вас. Совершенно непростительно с моей стороны, что я с большим запозданием, благодаря заботе некоторых обожающих Вас друзей узнал о больших трудностях, с которыми боретесь если не Вы, то Ваши близкие. Кажется, совершенно помимо меня и без моего участия что-то предпринимается или будет предпринято Литфондом. К Вам зайдет с этой запиской дочь лучшего моего друга, Ольги Всеволодовны, Ирочка Емельянова. Вам совсем не надо принимать ее и утомляться. Примите от нее только конверт с этой весточкой. Кстати, она приятельница того французского студента Georges Nivat¹, который еще не выбрал темы для своего выпускного сочинения в Сорбонне, но, по-видимому, будет писать о Борисе Николаевиче.

Выздоровливайте, пожелайте выздороветь, умоляю Вас, — извините за зверски-эгоистическую прямоту такой формулировки: мне страшно нужно, чтобы Вы были здоровы.

Я еле справляюсь с выпавшей мне на долю странной, полуреальной, баснословной судьбой. С одной стороны, она до крайности затруднена, беспрестанно угрожаема, еле переносима. С другой, она незаслуженно светла и как-то при жизни больше, чем я вправе был надеяться, освобождена от несущественного и случайного и отнесена куда-то выше. Несомненно, это предназначалось кому-то другому и выпало мне по ошибке.

Обнимаю Вас

Да, — я еще занят очень важной новой работой и, когда она будет окончена, хочу привести ее в порядок вместе с Вами.

Ваш Б. Пастернак.

25 января 1960, Москва

25 янв. 1960

Дорогая Марина Казимировна, поздравляю Вас с рождением внука. Как Вы растрогали меня присылкой этих строк о «Фаусте» из моего письма к Вам¹. Разумеется, я не только забыл их и не узнал, не оживил в памяти, прочитав в Вашей выдержке, но не помню обстоятельств их написания. Спасибо за поддержку, за внушение веры, что когда-то думалось и говорилось что-то путное.

Вот опять я падаю духом и хочу невозможного и мучаюсь, как двенадцать или тринадцать лет тому назад, когда Вы были свидетельницей и участницей этих мучений. Но опять надо устоять и всего добиться. Обнимаю Вас.

Ваш Б. П.

11 февраля 1960, Переделкино

11 февр. 1960

Дорогой Борис Константинович, поздравляю Вас с днем рождения и крепко, крепко обнимаю. М. А. Кристенсен просил я передать мои приветы Вере Алексеевне, Наталии Борисовне и всем Вашим. Несколько мгновений была перед моими глазами газетн. вырезка с отзывом Г. Адамовича об альманахе «Возд. пути». Рецензия начинается с упоминания Вас, Вашей молодости и сожаления, что рецензент Вас на страницах альманаха не встретил. Все эти нежности по Вашему адресу всем сердцем разделяю.

Но альманаха¹ (хотя он есть здесь), равно как и Граней, и некот. статей Гуля, Франка² и др., не читал и почти не видел. Все это, подобно «Юности» и «Жуковскому» (прочитанным), попадает в жадные и дорогие мне руки одной героини-приятельницы³, которой

порядком за меня в жизни достается и досталось в самом прямом смысле... «слова и дела».

Борис Константинович, если бы Вы только знали, как я люблю Вас! Сегодня, кроме этого поздравительного привета, ничего не скажу Вам. Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону, ничего нельзя будет узнать, работа закипит и сдвинется с мертвой точки.

В частых мыслях о Вас, преданный Вам

Б. Пастернак

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Архив Горького* — Архив А. М. Горького ИМЛИ АН СССР (Москва)
- ГЛМ* — Государственный литературный музей (Москва)
- ЛО* — Литературное обозрение
- ЛН* — Литературное наследство
- ОР ГБЛ* — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина
- ОР ГПБ* — Отдел рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
- Памятники культуры* — Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1989. М., 1990
- Пастернак Е. Б. Материалы для биографии...* — П а с т е р - н а к Е. Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М., 1990
- Переписка с Ольгой Фрейденберг* — П а с т е р н а к Б. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Нью-Йорк, 1981.
- ЦГАЛИ* — Центральный Государственный архив литературы и искусства.

Настоящее издание не может претендовать на полноту собрания писем Бориса Пастернака. Далеко не вся переписка на сегодняшний день выявлена, но даже то, что известно, могло бы составить вдвое больший корпус текстов. Включены те письма, которые позволяют наиболее подробно представить себе биографию Пастернака, формирование и развитие творческих принципов и позиции в литературной и общественной жизни, наконец, являются непосредственным комментарием к прозаическим и стихотворным текстам, вошедшим в предшествующие тома собрания.

Письма Пастернака — это определенная ступень последовательной творческой работы. Впечатления и мысли, которые еще не достаточно «отстоялись» для передачи в художественном тексте, фиксировались в письмах. Интересно, что Пастернак в 1920—1930-х годах неоднократно говорил и писал, что еще не может ни в стихах, ни в прозе дать объективного изображения событий, очевидцем которых был сам, но в то же время его письма тех лет — отцу, сестрам Лидии и Жозефине, Дмитрию Петровскому, Ольге Фрейденберг, Константину Федину и ряду других адресатов содержат исключительно точные глубокие характеристики современной истории. Таким образом, уже до своего романа «Доктор Живаго», который, по точному определению Виктора Франка, в «главах, охватывающих пятилетний период между возвращением Живаго с фронта (ранней осенью 1917 г.) и его вторичным приходом в Москву (в конце лета 1922 г.) по замыслу автора явно должен служить изображением советского периода в целом, включая и сталинский период» *, Пастернак в своих письмах занимает позицию историографа, летописца, давая часто беспощадную нравственную оценку окружающей эпохе, событиям, людям.

* Франк В. С. Реализм четырех измерений. — Франк Виктор. Избранные статьи. Лондон, 1974, с. 66.

В тридцатые — пятидесятые годы, когда письма часто служили материалом для обвинительных приговоров, произошел резкий упадок русской эпистолярной традиции. Пастернак же продолжал откровенно писать все, что думает. В письме к Ольге Фрейденберг 7 января 1954 года он писал: «Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!!» Но именно откровенная оценка общественно-политической ситуации, прямая реакция на аресты и гибель близких друзей повлекли за собой многочисленные купюры во всех публикациях писем в советских изданиях, начиная с подборок писем грузинским адресатам в журналах «Вопросы литературы» (1966, № 1) и «Литературная Грузия» (1966, № 1—2) и кончая недавней публикацией писем к Андрею Белому («Андрей Белый. Проблемы творчества». М., 1988).

Письма Пастернака являются неотъемлемой частью его художественного наследия. Часто в стихах и прозе возникают не только те же темы, но и буквально совпадающие образы, метафоры, словесные обороты, которые встречаются в письмах того же периода (например, стихотворение «В больнице» и письмо Н. А. Табидзе от 17 января 1953 г. и мн. др.). Напротив, чисто событийные ряды обстоятельств могут изменяться достаточно сильно: так, читатель сможет увидеть, что ключевые моменты биографии Пастернака, описанные им в «Охранной грамоте», совсем иначе располагаются во времени при чтении писем лета 1912 года.

Пастернак был, пожалуй, единственным из русских поэтов XX столетия, который с такой тщательностью формулировал принципы своей творческой эстетики (статья «Несколько положений», «Охранная грамота» и др.). Но для полного понимания этих принципов не менее важны и многие его письма, начиная с письма Ж. Л. Пастернак июня 1912 года, и далее, писем к С. Боброву, И. Буркову, И. Поступальскому, Б. Кузину, М. Баранович и др.

Регулярность и подробность писем Пастернака делают их незаменимым источником для изучения его биографии, недаром на материале этих писем в значительной степени построены такие фундаментальные исследования, как книга Е. Пастернака «Материалы для биографии Бориса Пастернака» (М., 1990) и книги крупнейшего исследователя творчества Пастернака Л. Флейшмана «Борис Пастернак в двадцатые годы» (Мюнхен, 1982) и «Борис Пастернак в тридцатые годы» (Иерусалим, 1984).

В самое последнее время письма Пастернака были изданы отдельными книгами: П а с т е р н а к Борис. Из писем разных

лет. М., 1990 (Библиотека «Огонек», 1990, № 6 — публикация и вступительная статья Е. Б. Пастернака); Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. М., 1990 (составление, предисловие и комментарии К. М. Азадовского, Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак); Переписка Бориса Пастернака. М., 1990 (составление и комментарии Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака).

Из публикаций в журналах и сборниках следует упомянуть переписку, посвященную переводам Шекспира, с А. О. Наумовой и М. М. Морозовым (Мастерство перевода. М., 1969), письма Г. М. Козинцеву в связи с постановкой «Гамлета» (Вопросы литературы, 1975, № 1 — подготовка Е. Б. Пастернака и В. Г. Козинцевой), в «Ежегодниках Рукописного отдела Пушкинского Дома», на 1977 и 1979 гг. (Л., 1979 и 1981) подготовленные А. В. Лавровым и Е. Б. Пастернаком письма к Г. Сорокину и В. Саянову, а также письма к О. Форш, М. Волошину, С. Алянскому. Письма к К. Кулиеву и Е. Д. Орловской (Дружба народов, 1990, № 2), переписка с М. В. Юдиной (Новый мир, 1990, № 2), письма к И. С. Буркову и Б. К. Зайцеву (Наше наследие, 1990, № 1 — подготовка М. А. Рашковской), к К. А. Федину (Волга, 1990, № 2 — подготовка Р. А. Лихт) — были изданы к столетнему юбилею Пастернака. Подборки писем разным адресатам были опубликованы в «Вопросах литературы» (1966, № 1, 1972, № 9), «Литературной Грузии» (1966, № 1—3, 1980, № 2), «Литературном обозрении» (1988, № 5, 1990, № 2), «Русской речи» (1990, № 1). Письма к В. Д. Авдееву опубликованы в «Литературной учебе» (1988, № 6 — подготовка М. А. Рашковской), переписка с А. С. Эфрон опубликована в «Знамени» (1988, № 6—7).

Из зарубежных публикаций прежде всего необходимо отметить изданную Э. Моссманом книгу «Переписка Бориса Пастернака с Ольгой Фрейденберг» (Нью-Йорк, 1981), а также переписку с Р. Швейцер (Грани, 1965, № 8) и письма к Ж. де Пруайар (Новый журнал, 1965, № 80).

В настоящее время опубликованы лишь незначительные фрагменты обширной переписки с Л. О. Пастернаком и сестрами Ж. и Л. Пастернак (Знамя, 1990, № 2), с З. Н. Нейгауз (Огонек, 1990, № 1 и Досье Литературной газеты 1990, № 2).

Письма публиковались также в составе мемуарных книг адресатов, в первую очередь письма к О. В. Ивинской в ее книге «В плену времени» (Париж, 1978).

В настоящем томе письма расположены в хронологическом порядке.

Авторские даты помещены слева, редакторские даты с указанием места написания, установленные по почтовому штемпелю или по содержанию, помещаются справа и выделены курсивом. Квадратными скобками отмечаются зачеркнутые или утраченные места писем.

Составители приносят глубокую благодарность за помощь и поддержку в деле собирания и подготовки писем к изданию всем тем, без чьего участия этот том не мог бы быть подготовлен, и прежде всего Н. В. Завадской, В. С. Смолицкому, М. Н. и Е. Ц. Чуковским, М. П. Гонта, М. А. Рашковской, А. М. Кузнецову, В. С. Спасской, Г. Г. Суперфину, Е. С. Левишину, А. С. Немзеру, А. Ю. Галушкину, С. Дорцвейлеру. Огромную работу по сбору писем Пастернака грузинским друзьям проделал ныне покойный Г. Г. Маргвелашвили.

1

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. *Ольга Михайловна Фрейденберг* (1890—1955), двоюродная сестра Пастернака, впоследствии известный филолог-классик, профессор Ленинградского университета. Переписка Пастернака с ней продолжалась на протяжении многих лет. (В СССР опубл. *Переписка Бориса Пастернака*. М., 1990.)

2. *Меррекуль* — дачное место на Финском заливе (около Усть-Нарвы), где семья Пастернака проводила лето.

3. Роман норвежского писателя Е. П. Якобсена «Нильс Люне». 10 марта 1910 г. О. Фрейденберг писала Пастернаку: «...Спасибо за «Нильса»... Я знаю, почему ты дал мне прочитать эту повесть и чем она тебе нравится...» (*Переписка с Ольгой Фрейденберг*, с. 4).

4. Анна Осиповна Фрейденберг — сестра Л. О. Пастернака, мать О. Фрейденберг.

5. *Меркурий* — марка почтовой бумаги.

2

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Письмо написано из Москвы, куда Пастернак уехал, проводив О. Фрейденберг в Петербург, после их недолгого пребывания в Меррекуле.

2. Семья композитора Ю. Д. Энгеля, близкого друга семьи Пастернака, также проводила лето в Меррекуле.

3. Ф. К. Пастернак — троюродный брат Пастернака.

4. С. Н. Дурылин, поэт, литературовед, участник литературных собраний у поэта Ю. Анисимова, близкий друг Пастернака в начале 1910-х (см. с. 729, т. 1 наст. изд.). Об отношениях с Дурылиным см.: *Пастернак Е. Б. Материалы для биографии*, с. 123, 133—135; см. также письмо № 241, с. 430—434 наст. т.

5. Каждое лето до 1902 г. семья Пастернака проводила в Одессе, где жили Фрейденберги.

6. А. Л. *Маргулиус* — муж сестры Р. И. Пастернак, инженер-путеец.

7. М. Ф. Фрейденберг, отец О. Фрейденберг, инженер-изобретатель.

8. *Зайка* — домашнее имя пианиста и дирижера Исаяи Добровейна, друга семьи Пастернаков.

3

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Карл *Гозиассон* — дальний родственник Пастернаков.

2. Елена *Лившиц* — гимназическая подруга О. Фрейденберг.

4

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В письме к Пастернаку 25 июля 1910 г. Фрейденберг писала: «Я эту ночь спала только три часа, но чувствую себя такой бодрой, сильной... какая я «жизнеупорная»... я ничего не боюсь, даже возможностей: я сама — возможность, и себя мне не страшно...» (*Переписка с Ольгой Фрейденберг*, с. 24, 22).

2. С. Н. Дурылин.

3. Зимой 1909/1910 гг. Пастернак был принят в литературно-художественный кружок «Сердарда» (см. «Люди и положения», т. 4 наст. изд.).

4. Подруга О. Фрейденберг, жившая под Москвой.

5. *Вруда* — железнодорожная станция между Меррекулем и Петербургом. О. Фрейденберг вспоминала: «...Поездка вдвоем еще больше слила нас. Люди, которых мы встречали, и названия станций (Вруда, Тикопись, Пудость и т. д.) казались нам какими-то особыми... В Петербурге мы уже

не могли оторваться друг от друга. Он уезжал с тем, что я приеду в Москву, а потом он проводит меня в Петербург» (*Переписка с Ольгой Фрейденберг*, с. 9).

5

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Датируется по времени возвращения в Москву семьи Пастернаков.

2. На *Екатерининском* (ныне Грибоедовском) канале находилась в Петербурге квартира Фрейденбергов.

3. Джованни *Папини* (1881—1956) — итальянский писатель.

4. *Квизисана* — название столовой на Невском проспекте.

5. Пастернак с февраля по май 1910 г. занимался в семинарии по Юму у Г. Г. Шпета, доцента философского отделения Московского университета.

6. Предполагалось, что Пастернак будет давать уроки латыни Елене Виноград, двоюродной сестре своего гимназического приятеля А. Л. Штиха, но уроки не состоялись (см. о Е. Виноград с. 651, т. 1 наст. изд., а также *Пастернак Е. Б. Материалы для биографии*, с. 297—316).

7. Александр Леонидович Пастернак (1893—1982) — младший брат Пастернака.

8. Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер (1902—1989) и Жозефина Леонидовна Пастернак (р. 1900), сестры Пастернака.

9. Речь идет об участниках кружка «Сердарда».

6

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Открытка послана по дороге в Марбург. В Марбург Пастернак отправился для занятий философией у профессора Германа Когена.

7

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Древние кочевые племена Аравии, здесь, очевидно, евреи (ср. стихотворение Г. Гейне «Азра»).

2. Звукоподражательная передача польской речи.

3. Семья берлинских друзей Пастернаков.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Р. А. Розенфельд (о портрете Розалии Александровны Розенфельд работы Л. О. Пастернака см.: Пастернак Л. О. Записи разных лет. М., 1975, с. 222).

2. В. Ю. Розенфельд, сын Р. А. и Ю. С. Розенфельдов.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Пауль *Наторп* (1854 — 1924) — философ, один из лидеров марбургской школы неокантианства.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Электрический трамвай, пущенный в Марбурге с 1911 г.

2. *Скальмержицы* — железнодорожная станция в южной Польше.

3. В *Оболенском* около Малоярославца в 1903 г. и *Мерре-кюле* в 1910 г. семья Пастернаков проводила лето.

4. Портрет работы Л. О. Пастернака крупного московского чаоторговца и коллекционера (отца Иды Высоцкой) Давида Вульфовича *Высоцкого* выставлялся в 1913 г. в Москве на выставке Союза русских художников.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Угол открытки оборван.

2. На цеппелине «*Виктория-Луиза*», приземлявшемся в Марбурге в мае 1912 г., были укреплены рекламные щиты (в том числе, очевидно, с рекламой шампуня).

3. Речь идет о пятилепестковых цветках сирени, по распространенному студенческому поверью приносящих счастье.

4. О концепции истории Германа Когена, разрабатывавшейся в Марбургской школе философии, см. в «*Охранной грамоте*» (т. 4 наст. изд.).

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. «Родина» — еженедельный иллюстрированный журнал.

2. Объясняя в «Охранной грамоте» название этой улицы, Пастернак писал: «Босоыгами в средние века звали монахов францисканцев». Немецкое название монахов францисканцев Barfüßer может переводиться на русский язык также «босык». Дословно Barfüßer thor strasse — улица францисканских ворот.

3. Актный зал университета.

4. Документ о зачислении в университет.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Константин Григорьевич Локс (1889—1956) — литературовед, приятель Пастернака и однокурсник по философскому отделению историко-филологического факультета Московского университета, автор воспоминаний «Повесть об одном десятилетии (1907—1917)» (частично опубл.: Вопросы литературы, 1990, № 2), в которых значительное место отведено Пастернаку. Локсу посвящены стихотворения Пастернака «Близнец на корме» в книге «Близнец в тучах», «Февраль» в первой публ. в сб. «Лирика» (см. о нем также с. 638, т. 1 наст. изд.).

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. У Р. М. Глиэра (1874/75 — 1956) Пастернак брал уроки композиции в 1908 г.

2. «Соната», сочиненная Пастернаком в 1906 г., была опубликована в 1979 г. (изд-во «Советский композитор»).

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Ж. Л. Пастернак кончала в это время 3-й класс гимна-

зии, а А. Л. Пастернак сдавал экзамены после окончания первого курса университета.

2. Имя немецкого математика К. Т. Вейерштрасса, очевидно, здесь использовано в качестве нарицательного для студента математического отделения А. Л. Пастернака.

3. Н. Гартман (1882 — 1951), философ, ученик Г. Когена, в это время доцент Марбургского университета.

4. Речь идет о начальном курсе математического анализа Поссе К. А. «Курс интегрального исчисления» (СПб., 1891; 2-е изд. СПб., 1895).

5. Книга Г. Когена (Берлин, 1977; 2-е изд. 1910).

6. Марбургский адрес Г. Когена.

7. Дмитрий Осипович Гавронский — философ, выпускник Марбургского университета, двоюродный брат Иды Высоцкой, с его братьями А. О. и И. О. Гавронскими и сестрой А. О. Гавронской Пастернак был знаком в Москве.

16

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. К. А. Андреев — математик, профессор московского университета, у которого учился А. Л. Пастернак.

2. В 1908 г. Пастернак слушал курс русской истории В. О. Ключевского в Училище живописи, ваяния и зодчества и в университете.

17

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. «Ты сам этого хотел, Жорж Данден!» Из комедии Ж. Б. Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (действ. 1, явл. VII).

2. Здесь и далее идет речь о желании Л. О. Пастернака написать портрет Г. Когена. Портрет написан не был, наброски портрета Л. О. Пастернак сделал на лекции Когена во время своего приезда к сыну в Марбург 23 июля 1912 г.

3. Торжества по поводу открытия Музея изящных искусств имени Александра III в Москве 31 мая 1912 г. (ст. ст.).

18

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В литературно-художественном кружке «Сердарда», собиравшемся на квартире поэта и художника Ю. Анисимова, Пастернак выступал с фортепьянными импровизациями (см.: Пастернак Е. Б. *Материалы для биографии*, с. 109).

2. Мария Васильевна (Вульфовна) Гавронская — сестра Д. В. Высоцкого, мать братьев Гавронских.

3. Сестры Ида и Елена Высоцкие заезжали в Марбург к Пастернаку по дороге из Парижа в Берлин, объяснение с И. Высоцкой в Марбурге легло в основу стихотворения «Марбург» (см. с. 106, т. 1, ср. также «Охранная грамота», с. 180—188, т. 4 наст. изд.).

4. Ю. Д. Энгель проводил лето в Шмецке на Западной Украине.

19

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

1. Александр Львович Штих (1890 — 1962), друг Пастернака с гимназических лет, начинал как поэт, по образованию юрист. Эта открытка — первое письмо Пастернака после отъезда И. Высоцкой из Марбурга.

2. Из стихотворения Верлена в книге «Романсы без слов».

3. Имеются в виду романтики литературного направления «Буря и натиск».

4. Пастернак перефразирует латинскую поговорку: «Пусть погибнет мир, но да свершится правосудие».

5. Начиная со слов «Она была здесь...» текст написан на лицевой стороне открытки вокруг изображенного на ней Марбургского замка.

20

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. С. Л. Рубинштейн (1889 — 1960), ученик Г. Когена, в 1912 г. защитил диссертацию в Марбургском университете, впоследствии крупный советский психолог, член-корреспондент АН СССР.

2. К. Н. Пуриц (1860 — 1920) — знакомый Л. О. Пастернака по Одессе, врач.

3. В 1908 г. Пастернак поступил в Московский университет на юридический факультет, а затем перевелся на философское отделение историко-филологического. Для философа в Москве единственным местом службы и заработка был

университет, при котором Пастернак по своему происхождению не мог рассчитывать быть оставленным.

4. Сравни строчку из стихотворения «Марбург» — «Я мог быть сочтен вторично родившимся» (с. 106, т. 1 наст. изд.), а также в «Охранной грамоте»: «По приезде я не узнал Марбурга» (с. 184, т. 4 наст. изд.).

5. Из стихотворения Верлена «Le ciel est par-dessus le toit...» (Sagesse).

21

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Начало письма утрачено.
2. В семинариях Н. Гартмана и П. Наторпа.
3. Чудовище, персонаж немецких сказок.

22

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Г. О. *Гордон*, выпускник философского отделения Московского университета, в 1905 — 1908 гг. учился в Марбургском университете, в 1912 г. дал Пастернаку рекомендательное письмо к Н. Гартману.

2. Пьеса Г. Ибсена.

3. Н. *Поссарт* (1841—1921) — немецкий актер и режиссёр.

4. Розенфельды.

23

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Ответ на письмо О. Фрейденберг от 26 июня 1912 г. из Франкфурта, где она остановилась по дороге в Швейцарию. Фрейденберг писала: «Меня отделяют от тебя два часа езды: я во Франкфурте. При таких условиях добрые родственники встречаются...» (*Переписка с Ольгой Фрейденберг*, с. 43—45).

2. Реферат в семинарии у Г. Когена Пастернак читал в понедельник, 1 июля.

3. Цитата из письма О. Фрейденберг: «И во Франкфурте я остановилась не для тебя одного» (*Переписка с Ольгой Фрейденберг*, с. 4).

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

1. Реферат о Лейбнице Пастернак читал в семинарии П. Наторпа.

2. А. Л. Штих.

3. Е. А. Виноград.

4. М. Л. Штих.

5. Валериан и Владимир Виноград.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака. Датируется по содержанию — 4 июля — день рождения Г. Когена.

1. Макс *Либерман* (1847 — 1935) — немецкий художник.

2. *Кемпински* — название дорогого берлинского ресторана.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Эрнст *Кассирер* (1874 — 1945) — философ, ученик Г. Когена.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

Письмо сохранилось не полностью, датируется предположительно днем чтения второго реферата в семинарии у Г. Когена — 8 июля.

1. И. И. Мечников — известный биолог, занимался проблемами старения и поисками омолаживающих препаратов.

2. В августе 1910 г. после возвращения из Петербурга от О. Фрейденберг Пастернак поехал к Штиху в Спасское — дачное место по северной железной дороге.

3. Письмо О. Фрейденберг от 28 июня 1912 г. Пастернак получил не в день первого реферата — 1 июля, а накануне, так как 30 июня уже на него ответил, см. с. 52—53 наст. т.

4. Перефразированные строки письма О. Фрейденберг от 28 июня, посланного после отъезда Пастернака из Франкфурта (*Переписка с Ольгой Фрейденберг*, с. 45 — 48).

5. Конец письма утрачен.

29

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Вся открытка написана очень убористо, и последние строки вписаны между предыдущими строками.

30

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

31

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смоленского.

32

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Датируется днем возвращения Пастернака в Марбург из Киссингена, где в июле жила семья Пастернака. Пастернак был там 14 июля — в день рождения И. Высоцкой (см. об этом ниже в письме № 33 к А. Л. Штиху).

33

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смоленского.

1. А. Л. Вишневский (1863 — 1943) — актер Московского художественного театра.

2. Л. В. Собинов (1872 — 1934) — известный оперный певец.

3. В. О. Станевич, поэтесса, переводчица — жена Ю. Анисимова.

4. С. Н. Дурылин.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

1. А. О. Гавронский, впоследствии режиссер, двоюродный брат И. Высоцкой.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

1. А. Л. Пастернак.

2. Последнее известное нам выступление Пастернака в семинарии у Когена было 8 июля, то есть за 11 дней до написания письма.

3. Г. Э. Ланц, философ, учившийся в Гейдельбергском университете, с которым в 1912 г. Пастернак встречался в Марбурге.

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

1. Готфрид *Келлер* (1819—1890) — швейцарский писатель.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

1. Письмо написано на открытке с репродукцией рембрандтовского портрета Николая Брунинга, хранящегося в картинной галерее в Касселе.

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смолицкого.

1. Ф. К. Пастернак.

2. Речь идет о книгах: Б л о к А. Собрание стихотворений.

Кн. 2: Нечаянная радость (1904 — 1906). М., 1912; Иванов Вяч. *Sogardens*. Стихи. М., 1911; его же, Кормчие звезды. Книга лирики. СПб., 1901; Брюсов В. Пути и перепутья. Собрание стихов. Т. 1—3. М., 1908 — 1909 (часть тиража 3-го тома вышла с заглавием «Все напевы. Стихи 1906 — 1909»); Сологуб Ф. Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1909; Белый А. Стихи. СПб., 1909.

40

Впервые — *Памятники культуры*. Автограф — собрание С. В. Смоленского.

1. Л. О. Пастернак 22 июля 1912 г. писал сыну: «...Кажется, Коген у тебя потерял в обаянии — раз он тебя признает и одобряет. Для меня не нова и эта твоя метаморфоза» (собрание семьи Пастернака).

2. Г. Ланц.

41

Впервые — по автографу ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2.

1. Пастернак познакомился с С. Бобровым в 1911 г. в «Кружке для исследования проблем эстетической культуры и символизма в культуре» при издательстве «Мусагет», которым руководил поэт-символист Л. Л. Эллис. Пастернак и Бобров были членами поэтического кружка «Лирика», из которого оба вышли и образовали футуристическую группу «Центрифуга»; во главе ее и стал Бобров. В архиве Боброва (ЦГАЛИ) сохранилось 59 писем Пастернака к нему. Об истории их отношений см. Рашковская М. А. Поэт в мире, мир в поэте. — В сб.: Встречи с прошлым. Вып. 4. М., 1982.

2. После окончания университета Пастернак жил с родителями на даче в Молодях (станция Столбовая Курской железн. д.).

3. Первая книга стихов С. Боброва «Вертоградари над лозами» (М., 1913).

4. Пастернак вспоминал в очерке «Люди и положения», что именно в эти летние месяцы в Молодях им были написаны стихи первой книги «Близнец в тучах».

5. Н. Н. Асеевым, в это время также участником издательства «Лирика», в котором вышла книга Боброва «Вертоградари над лозами».

Впервые — по автографу ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2.

1. Пастернаку предлагали службу в кинематографической фирме А. А. Ханжонкова в Москве.
2. Н. Н. Асеева.

Впервые — по автографу ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2.

1. Речь идет о предполагавшемся участии Пастернака в сборнике эгофутуристов «Всегда», где публиковались В. Шершеневич, И. Игнатьев и др. (стихи Пастернака там не были напечатаны).
2. Полностью первоначальная редакция стихотворения «Вокзал» (см. с. 433, т. 1 наст. изд.) неизвестна.

Впервые — по автографу ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2.

1. Письмо написано в связи с посланным Боброву, посвященным ему, стихотворением «Лирический простор», см. с. 442, т. 1 наст. изд.
2. Ср. строки из стихотворения «Лирический простор»:

...Журавлями налажен, триангль
Отзвенит за тревогою хорд.

Прирученный не вытерпит беркут...

Впервые — по автографу из собрания Н. В. Завадской.

1. Нина Всеволодовна *Завадская*, ставшая впоследствии женой К. Локса, познакомилась с Пастернаком в 1912 г. (см.: *Пастернак Е. Б. Материалы для биографии*, с. 197—198).
2. Знакомство Пастернака с Завадской началось с ее звонка ему по телефону.
3. Ср. характеристику Петникова в письме к Д. Петровскому (с. 113 наст. т.) «есть грех, тоже из Ламаичи».
4. На книге «Близнец в тучах» Пастернак сделал надпись: «Нине Всеволодовне Завадской — первый камень для ее таинственной кладки — С нерешительностью — Б. Пастернак».
5. Стихотворение «Близнецы» (см. с. 437, т. 1 наст. изд.).

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание В. С. Смолицкого.

1. Письмо написано в ответ на просьбу Штиха написать предисловие к сборнику его стихов.

2. Б. А. Кушнер — поэт, критик, входил в «Центрифугу». В мае 1914 г. он вместе с С. Бобровым и Пастернаком был участником встречи авторов сборника «Руконог» (первого сборника «Центрифуги») с Маяковским, К. Большаковым и В. Шершеневичем. Последние потребовали этой встречи для объяснений в связи с выпадами в адрес «Первого журнала русских футуристов», содержащимися в «Руконоге» (встреча описана Пастернаком в «Охранной грамоте», см. также: Пастернак Е. Б. *Материалы для биографии*, с. 212 — 215).

3. Речь идет о предисловии Н. Асеева к сборнику «Блинец в тучах» (изд-во «Лирика», 1913).

4. Сборник стихов Н. Асеева.

5. В своей статье о современной русской поэзии (Русская мысль, 1914, № 6) В. Я. Брюсов «порубежниками» назвал Пастернака, Асеева и Боброва в отличие от «признанных» футуристов.

6. Литературная группа «Гилея» была основана Д. Бурлюком, к ней принадлежал Маяковский.

Впервые — по автографу ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55.

1. Под Алексинем в имении Петровское Пастернак жил летом 1914 г. в качестве учителя сына поэта Ю. Балтрушайтиса.

2. Н. Н. Асеева.

3. После знакомства с Маяковским в мае 1914 г. Пастернак отказывается от участия в полемических выступлениях группы «Центрифуга».

4. Речь идет о выходе Пастернака, Боброва, Асеева, Локса из группы «Лирика».

Впервые — П а с т е р н а к Борис. Из писем разных лет. М., 1990.

1. Пуришкевич В. М. — один из лидеров черносотенных организаций «Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела».

2. В 1903 г., когда семья Пастернака проводила лето в Оболенском на Оке, Пастернак упал с лошади и сломал ногу, в результате последовавшей за переломом хромоты он был освобожден от воинской повинности.

3. Поэт Вячеслав *Иванов* с женой Верой Константиновной Ивановой-Шварсалон снимали дачу по соседству с Балтрушайтисами. (Об отношениях с В. И. Ивановым см.: *Пастернак Е. Б. Материалы для биографии.*)

4. Критик Э. К. Метнер, редактор издательства «Мусагет», возглавлял образовавшийся при издательстве философский кружок, который посещал и Пастернак.

5. Е. И. *Баратынская* — первая учительница Пастернака до его поступления в гимназию.

6. М. И. Балтрушайтис.

7. Тройродный брат Пастернака Ф. К. Пастернак.

8. *Вильгельм II* (1859—1941) — германский император с 1888 по 1918 г.

49

Впервые — Литературу ли сакартвело, 1969, №43 (воспроизведено факсимильно).

1. Д. П. *Гордеев* (1889—1968), искусствовед, архитектор, брат поэта В. П. Гордеева, выступавшего под псевдонимом Божидар, участника «Центрифуги». Гордеев обратился к Пастернаку с просьбой написать предисловие к посмертному сборнику Божидара.

50

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55.

1. С января 1916 г. Пастернак жил во Всеволодо-Вильве Пермской губ., где служил в конторе химических заводов.

2. «Второй сборник «Центрифуги». М., 1916.

3. Яков *Беме* (1575—1624) — немецкий философ. Во «Втором сборнике «Центрифуги» была статья Боброва «Слова у Якова Беме».

4. *Платов* Ф. Ф. — поэт, критик, участник «Центрифуги».

5. В альманахе было напечатано стихотворение Пастернака «Полярная швея».

6. *Юлиан* Анисимов.

7. «*Обелиск*» — название журнала, который предполагали издавать Пастернак и А. Л. Штих.

8. К. Большаков и В. Хлебников, подвергавшиеся критике в «Руконоге» (первом сборнике группы «Центрифуга»), стали участниками «Второго сборника «Центрифуги».

9. *Мария Ивановна* — жена С. Боброва, *Мар* — их сын.

10. Писатель *Е. Г. Лундберг* был дружен с Б. И. Збарским, управляющим химическими заводами, и гостил у него во Всеволодо-Вильеве.

11. В Ташкент настойчиво приглашала Пастернака Н. М. Синякова (Пичета) (см.: *Пастернак Е. Б. Материалы для биографии*). Поездка не состоялась.

12. Б. А. Кушнеру.

51

Впервые — по автографу ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55.

1. С октября 1916 г. Пастернак работал в конторе военного учета на химических заводах Ушковых в Тихих Горах в Вятской губернии.

52

Впервые — по автографу ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55.

1. Бобров прислал Пастернаку книгу Маяковского «Простое как мычание» (Пг., 1916), надеясь получить от Пастернака полемическую рецензию для «Третьего сборника «Центрифуги». (Рецензию см. т. 4 наст. изд.)

53

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990.

1. Рукопись перевода трагедии Суинберна «Шателляр» пропала в типографии.

2. Пастернак работал на химическом заводе в Тихих Горах на Каме, вернулся в Москву весной 1917 г.

3. Борис Ильич Збарский (Пепа) и его жена Фанни Николаевна.

54

Впервые — Вопросы литературы, 1922, № 9. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Датируется по содержанию.

1. Перевод трагедии «Мария Стюарт» А. Суинберна, работа не была завершена.

2. *Е. Г. Лундберг*, примыкавший к «Центрифуге», заведовал критическим отделом в журн. «Современник».

55

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 55.

1. Статья Пастернака «Владимир Маяковский. Простое как мычание» была послана Боброву для «Третьего сборника «Центрифуги» — Николай Асеев. Оксана. Стихи 1912—1916 годов.

2. Статья, также написанная для «Третьего сборника «Центрифуги» — «Асеев (Николай Асеев. Оксана. Стихи 1912 — 1916 годов)».

3. Книга С. Боброва «Алмазные леса» (М., 1917).

4. Иван Александрович *Аксенов* — писатель, переводчик, с 1915 г. входил в «Центрифугу».

5. Стихи «Два посвящения», посланные Пастернаком Боброву (см. с. 617, т. 1. наст. изд.).

6. Бобров просил Пастернака написать критическую статью о книге А. Белого «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гете» (М., 1916, на титульном листе 1917).

56

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Л. Я. Карпов, главный инженер на химических заводах в Тихих Горах и его жена Анна Самойловна.

2. Новеллы «История одной контроктавы» и «Карета герцогини».

3. Наброски к фантазии «Поэма о ближнем» были посланы Боброву для «Третьего сборника «Центрифуги» (III ЦФГ), (см. письмо № 55 С. П. Боброву с. 100 наст. т. и коммент. 5).

4. Румянцевская библиотека (ныне Государственная библиотека им. В. И. Ленина).

5. Марки ликеров.

6. Обе эти работы К. Локса не были опубликованы и не сохранились.

7. Н. А сее в. Оксана (Стихи 1912—1916 годов), см. т. 4 наст. изд.

8. Историк литературы М. П. Столяров и его жена.

57

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — собрание А. В. Збарского.

1. О. Т. *Збарская* — жена Я. И. Збарского, работавшего на заводе в Тихих Горах.

2. Роман окончен не был, но его начало было опубликовано как повесть «*Детство Люверс*» (см. т. 4 наст. изд.). О работе Пастернака над прозой (не сохранилась) зимой 1917/18 г. см. подробно в статье: Б о р и с о в В. и П а с т е р н а к Е. Творческая история романа Бориса Пастернака «*Доктор Живаго*». (Новый мир, 1988, № 6.)

3. Брат Б. И. Збарского.

58

Впервые — по автографу *ЦГАЛИ*, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 56.

1. См. коммент. 2 к письму № 57.

2. Лето 1918 г. родители Пастернака жили на даче по Киевской железной дороге (платформа Очаковская).

59

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. П. Гонта.

1. О знакомстве с поэтом Д. В. *Петровским* сохранилась запись Пастернака в собрании Крученых (*ЦГАЛИ*): «...В 1915 году летом (ошибка — в действительности в апреле 1914) тогда меня не знавшему и замышлявшему самоубийство молодому поэту... сестры Синяковы сказали: «Бросьте эти штучки! Принимайте ежедневно по пять капель Пастернака». Так П<етровский> познакомился со мной и с Синяковыми» (*Пастернак Е. Б. Материалы для биографии*, с. 210). Сам Петровский вспоминал об этом в выступлении на I съезде Советских писателей: «В день самоубийства одного художника, — в странной хоть и нелепой связи с этой смертью... я встретил человека, невольно ставшего вестником моего будущего — Бориса Пастернака... Это было моим первым рождением». В конце 1920-х Пастернак и Петровский разошлись. В феврале 1937 г. Петровский выступил с многочисленными

обвинениями в адрес Пастернака на пленуме правления Союза писателей, посвященном пушкинскому юбилею.

2. Пастернак снимал комнату в Сивцевом Вражке в 1917.

3. В доме, где помещалась квартира Пастернаков на Волхонке (д. 14), расположился Изобразительный отдел (ИЗО) Наркомпроса.

60

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. П. Гонта.

1. Село *Дроздовицы* Черниговской губернии на Украине, где жил в это время Петровский.

2. Поэт Г. Н. *Петников*, участник «Второго сборника «Центрифуги» (1916), основатель издательства «Лирень» в Харькове. Пастернак печатался в издававшихся Петниковым в 1919 г. в Харькове журнале «Пути творчества» и альманахе «Сборник нового искусства».

61

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. С. Лесмана.

1. Поэтесса *Н. А. Павлович* с 1918 г. входила в президиум Всероссийского Союза поэтов, в июне 1920 г. переехала из Москвы в Петроград, где участвовала в организации Петроградского отделения Союза поэтов и стала его секретарем.

2. В кафе Союза поэтов Пастернак выступал 20 июня с чтением стихов и 27 июня с докладом «Мысли о прозе и поэзии» (позже печатавшимся под названием «Несколько положений», см. т. 4 наст. изд.).

3. Книгу «Сестра моя — жизнь» Пастернак последовательно предлагал нескольким издательствам, и лишь в 1922 г. издание осуществилось.

4. А. Белый с февраля по июль жил в Петрограде.

62

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. П. Гонта.

1. В 1911 г. семья Пастернака переехала в квартиру на Волхонке.

2. П. А. Кузько в 1918—1919 гг. был членом коллегии Наркомпрода, в 1919—1920 гг. был помощником начальника войск внутренней охраны Наркомпрода, с 1920 г.— ученый секретарь Литературного отдела (ЛИТО) Наркомпроса.

3. В. Я. Брюсов в 1920—1921 гг. был заместителем заведующего, а затем заведующим ЛИТО Наркомпроса. А. С. Серафимович возглавлял в это время литературный отдел «Известий», агитмассовый отдел Моссовета и издательский подотдел Наркомпроса, таким образом вся издательская деятельность ЛИТО им контролировалась.

4. Временник ЛИТО Наркомпроса «Художественное слово» прекратил свое существование после ухода Брюсова с поста заведующего ЛИТО.

63

Впервые — ЛН, т. 70. Автограф — *Архив Горького*.

1. Подробно об истории отношений Пастернака с А. М. Горьким см. статью Е. Б. и Е. В. Пастернак. Борис Пастернак в переписке с Максимом Горьким.— Известия Академии наук СССР: Серия литературы и языка, т. 45, № 3, 1986.

2. Летом 1915 г. Пастернак направил возмущенное письмо в редакцию журнала «Современник», где был опубликован его перевод комедии «Разбитый кувшин» Г. Клейста с многочисленными исправлениями, о которых Пастернак узнал лишь после выхода журнала. После встречи с Горьким летом 1918 г. ему стало известно, что правка перевода была сделана Горьким.

3. Б. А. Пильняк просил Пастернака выяснить у Горького возможности публикации в журнале «Дом Искусств».

64

Впервые — ЛО, 1990, № 2. Автограф — собрание М. П. Гонта.

1. Обстоятельства жизни Петровского, вызвавшие его письмо, неизвестны.

2. Издание книги стихов Петровского в эти годы не состоялось.

3. О *Петникове* см. коммент. 2 к письму № 60 Петровскому.

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, 1328, оп. 1, ед. хр. 268.

1. В. П. Полонский, критик, редактор с 1921 г. журнала «Печать и революция», с 1926 г. — «Нового мира», в литературной жизни 1920-х гг. стремился к объединению разрозненных литературных группировок, выступая одновременно против крайностей и ЛЕФа и РАППа. Подробнее об отношениях Полонского и Пастернака см.: ЛН, т. 93, с. 684—687.

Датируется по содержанию.

2. Речь идет о повести «Детство Люверс».

3. В 1918—1921 гг. были переведены три стихотворные драмы Клейста, интермедии Ганса Сакса, поэма «Тайны» Гете, стихотворения Ш. Ван Лерберга, комедия Бен-Джонсона и др.

4. Речь идет о несохранившемся письме 1915 г., см. письмо № 63 и коммент. 2.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Брат О. М. Фрейденберг, А. М. Михайлов, инженер.

2. Родители и сестры Пастернака в сентябре 1921 г. уехали в Германию.

Впервые — Вопросы литературы, 1981, № 7. Автограф — ОР ГПБ.

1. Ю. И. Юркун, прозаик, близкий друг М. А. Кузмина.

2. Повесть «Детство Люверс» была опубликована в альманахе «Наши дни» (М., 1922).

3. М. А. Кузмин откликнулся на получение книг: «...Я не удивлюсь, если прекрасная, делающая событие в искусстве, повесть Пастернака «Детство Люверс» пройдет менее замеченной, чем, скажем, стихи того же автора, несравненно слабейшие, но в которых отдана обильная дань формальному модничанию...» (Жизнь искусства, 1922, № 31, с. 1).

4. *Пичунас* — персонаж романа Юркуна «Дурная компания».

5. В стихотворении «Весенний дождь»: «Рвущееся: «Керенский, ура!» (см. с. 130 и с. 658, т. 1 наст. изд.).

6. Ср. о «Сестре моей — жизни» в письме № 69 к В. Брюсову (с. 134 наст. т.); см. также с. 651, т. 1 наст. изд.

7. Дарственная надпись Ахматовой на кн. «Сестра моя — жизнь», сохранившаяся в частном собрании, опубл.: *ЛН*, т. 93, с. 654.

8. Сборник стихов М. Кузмина 1921 г.

9. Пастернак встретился с Кузминым в Петрограде накануне отъезда в Германию в августе 1922 г. (см. письмо № 69 В. Брюсову, с. 132 наст. т.).

68

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. И. Чуковской.

1. *Н. К. Чуковский*, поэт, прозаик, переводчик, старший сын К. И. Чуковского. Входил в кружок учеников Н. С. Гумилева «Звучащая раковина», на одном из собраний которого в январе 1922 г. в квартире Иды Наппельбаум, дочери знаменитого фотографа, впервые увидел Пастернака.

27 ноября 1958 г. Н. Чуковский выступал с нападками на Пастернака на совместном заседании президиума правления Союза писателей СССР, бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей, где было принято решение об исключении Пастернака из Союза писателей.

2. «*Парсифаль*» — опера Р. Вагнера.

3. Альманахи «*Утренники*» (Пб., 1922, вып. 1 и 2), «*Пересвет*» (М., вып. 1 — 1921, вып. 2 — 1922). «*Костры*» (М., 1922).

4. Пастернак цитирует письмо Б. Пильняка, опубликованное во 2-м вып. «*Утренников*»: «Я больше не буду сотрудничать в газете «Накануне». Я верю и знаю, что идет, пришла Новая Россия и на обовшивевшем ее пути — по новому пути поведет ее новая, родившаяся теперь, биологически-теперешняя общественность...»

5. Д. А. *Лутохин*, литератор, экономист, редактор альманаха «*Утренники*», автор первой большой статьи о Пильняке в «*Вестнике литературы*», 1920, № 8.

6. Имеется в виду Б. Пильняк.

69

Впервые — Россия (Турин), 1977, № 3. Автограф — *ОР ГЛБ*.

1. Литературным контактам Пастернака и *Брюсова* посвя-

щена статья П а с т е р н а к Е. Пастернак и Брюсов. К истории отношений (Россия, 1977, № 3), ср. также стихотворение «Брюсову», с. 244, т. 1 наст. изд.

2. М. А. Кузмин писал: «...За последние три-четыре года «Детство Люверс» самая значительная и свежая русская проза. Я нисколько не забыл, что за это время выходила «Эпопея» Белого и книги Ремизова и А. Толстого». (Жизнь искусства, 1922, № 31, с. 1.)

3. Книга стихов В. Парнаха «Карабкается акробат». Париж, 1922.

4. Статья С. Городецкого «Алый вечер». — Известия, 1922, 28 июня (о книгах Брюсова «Последние мечты», «В такие дни», «Миг»).

5. Описание разговора с Л. Троцким см. в кн.: Вильмонт Н. Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. М., 1989, с. 94. (Ср. также в кн.: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. Мюнхен, 1981, с. 14—16.)

70

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268.

1. Уезжая в Берлин в августе 1922 г., Пастернак получил аванс в журнале «Печать и революция» под корреспонденции из Берлина.

2. О. С. Литовский, ответственный секретарь редакции газеты «Известия».

3. Валентина Ароновна Мильман — журналистка, в это время секретарь Дома печати в Москве.

71

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268.

1. Б. К. Зайцев вспоминал: «...В Берлине Пастернака я встречал очень часто, кажется, на литературных собраниях в кафе Ноллендорфплатц». (Зайцев Б. К. Далекое. Нью-Йорк, 1965, с. 115.) Ср. также отзыв Зайцева в статье «Беседа о писателях» («Звено», Париж, 1923, 9 апреля): «С удовольствием называю два имени молодых, но имеющих, думаю, все основания быть полюбленными: Борис Пастернак и поэт Казин».

2. Автобиография Маяковского «Я сам» была напечатана в журнале «Новая русская книга» (1922, № 9), издававшемся в Берлине А. С. Яценко. Сборник стихотворений Маяковского вышел в сменовеховском издательстве «Накануне» в 1923 г.

3. З. Г. Гринберг был представителем Госиздата в Берлине.

72

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268.

1. Письмо — на открытке с видом Марбурга.

2. Ср. в «Охранной грамоте»: «...Я провел в нем (Марбурге. — Е. П., К. П.) два дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими».

73

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — собрание семьи Н. С. Тихонова.

1. С Н. С. Тихоновым Пастернак встретился в 1924 г. в литературном салоне Бриков, с того времени началась их переписка (опубл. ЛН, т. 93). В 1940-х гг. Пастернак и Тихонов практически прекращают всяческие отношения; 27 ноября 1958 г. Тихонов председательствовал на собрании, исключившем Пастернака из Союза писателей.

2. Речь идет о публикации первой редакции начала поэмы «Высокая болезнь» в журнале «Леф».

3. Вторая книга стихов Тихонова «Брага» (М., 1922).

4. Стихотворение Тихонова «Дождь» было опубликовано в журн. «Россия» (1924, № 1).

74

Впервые — Переписка с Ольгой Фрейденберг. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Тайцы — дачное место под Ленинградом.

2. Ср. стихотворение И. Северянина «Я — композитор» (Ст. Вруда, поезд, 1912).

75

Впервые — Переписка с Ольгой Фрейденберг. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Пастернак просил переводческую работу для О. Фрей-

денберг у А. Н. Тихонова (Сереброва) в издательстве «Всемирная литература».

2. В журнал «Русский современник» Пастернак отдавал свою повесть «Воздушные пути» (опубл. 1924, № 2).

76

Впервые — Вестник РСХД (Русского студенческого христианского движения) (Париж), 1972, № 104—105. — Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Знакомство Пастернака с О. Э. Мандельштамом состоялось, очевидно, весной 1922 г. в Москве. (Правда, Н. Вильмонт вспоминает, что, по словам Пастернака, первая их встреча произошла в 1910-х г. В и л ь м о н т Н. Н. О Борисе Пастернаке... с. 47). В 1922 г. Мандельштам писал о Пастернаке в статье «Литературная Москва» (Россия, 1922, № 2), о взаимоотношениях Пастернака и Мандельштама см.: П а с т е р н а к Е. В., П а с т е р н а к Е. В. Координаты лирического пространства. — ЛО, 1990, № 2—3.

2. Н. Я. Мандельштам — жена О. Мандельштама, см. письма Пастернака к ней № 242, 250 в наст. т.

3. Имеется в виду «Шум времени» Мандельштама. Ср. в письме к Л. О. Пастернаку от 20 сентября 1924 г.: Вероятно, через месяц я поступлю на службу... Без регулярного заработка мне слишком бы беспокойно жилось в обстановке, построенной сплошь, сверху донизу, по периферии всего государства в расчете на то, что все в нем служат, в своем единообразии доступные обозрению и пониманию постоянного контроля, итак, я решил служить» (собрание семьи Пастернака).

4. В сентябре 1924 г. в театре им. В. Комиссаржевской был поставлен «Алхимик» Бен-Джонсона в переводе Пастернака.

77

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

78

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Речь идет о наводнении в Ленинграде в 1924 г. (см. об этом также в письме № 83 к О. Мандельштаму, с. 158 наст. т.).

2. Н. Я. *Marr*, в то время заведующий секцией в Институте литературы и языка Запада и Востока.

3. Пастернак был вынужден продать золотую медаль, полученную по окончании гимназии.

4. Строка из стихотворения Ф. Тютчева «Как птичка раннею зарей...»:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
(Навстречу солнцу и движенью)
За новым племенем брести.

5. Издание комедии «Алхимик» Бен-Джонсона в переводе Пастернака в Харькове не состоялось. (О постановке ее см. в коммент. 4 к письму № 76 О. Мандельштаму.)

6. *Юлиус* Гозиассон, дальний родственник Фрейденбергов.

79

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Искусствовед М. П. *Кристи* в 1918—1926 гг. был уполномоченным Наркомпроса в Петрограде.

2. О. Фрейденберг подала заявку в издательство «Всемирная литература» на перевод книги Фрезера «Золотая ветвь: Козел отпущения».

80

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Т. е. окошко для денежных переводов.

2. И. Ф. Кунин, в то время студент Литературно-художественного института им. В. Брюсова, впоследствии музыковед; хлопоты Пастернака увенчались успехом.

81

Впервые — *Вестник РСХД* (Париж), 1972, № 104—105. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Режиссер А. И. Пиотровский работал тогда в Театральном отделе Института истории искусств в Ленинграде, и Пастернак рассчитывал, что он сможет поставить на сцене одну из переведенных им пьес: «Принца Гомбургского» и «Семейство Шроффенштейн» Г. Клейста или «Алхимика» Бен-Джонсона.

2. В. Я. Брюсов умер 19 октября 1924 г.

3. В журнале «Россия» (1924, № 3) были опубликованы статья Мандельштама «Выпад» и стихотворение «Концерт на вокзале».

82

Впервые — Знамя, 1990, № 2. Автограф — собрание Ж. Л. Пастернак.

1. Библиография готовилась Институтом В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) под редакцией И. Владиславлева, издание не осуществилось.

2. Ср.:

Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны...

...Знакомился я с новостями мод

И узнавал о Конраде и Прусте...

(«Спекторский»; Вступленье, с. 337—338, т. 1 наст. изд.).

83

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В серии «Революционная поэзия Запада» (М., 1925) Пастернак опубликовал свой перевод «Стихов живого человека» Георга Гервега.

2. Институт Ленина при ЦК ВКП(б) (см. коммент. 1 к письму № 82).

3. Первая книга стихов Мандельштама (1913).

4. Поэта М. Амари (М. О. Цетлина) Пастернак посещал в первые послереволюционные годы. Тогда же там бывали В. Маяковский, А. Белый, М. Цветаева, И. Эренбург и др. (см. очерк «Люди и положения», т. 4 наст. изд.).

5. Мандельштам неоднократно писал о Пастернаке, здесь речь идет о статьях: «Vulgata (Заметки о поэзии)» (Русское искусство, 1923, кн. 2—3) и «Борис Пастернак» (Россия, 1923, № 6).

84

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Журнал «Современный Запад» издавался в 1922—1924 гг. в Петрограде при издательстве «Всемирная литература».

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Отрезной талон к почтовому переводу на 100 руб.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Речь идет о защите магистерской диссертации О. Фрейденберг, 14 ноября 1924 г. И. Г. Франк-Каменецкий поддержал работу О. Фрейденберг.

Впервые — *Переписка с О. Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. 27 ноября 1924 г. О. Фрейденберг отправила письмо Е. В. Пастернак с выражением недовольства тем, что делал Пастернак в Москве для ее трудоустройства.

2. О. Фрейденберг вернула по почте Пастернаку 100 руб., которые он послал ей и ее матери по поручению отца.

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Пастернак в письме к Мандельштаму спрашивал об издательских возможностях в Ленинграде, Мандельштам свой ответ передал устно через В. Б. Шкловского, жившего на одной лестничной площадке с художником А. М. Уречинным.

2. И. И. Ионов, директор Госиздата.

3. А. Н. Тихонов (Серебров), секретарь издательства «Всемирная литература».

4. «Шум времени» Мандельштама вышел в 1925 г. в петроградском издательстве «Время».

5. Речь идет о начале работы над поэмой «Спекторский», отрывок не был помещен в «Русском современнике», так как журнал был закрыт.

6. В январе 1924 г. состоялось «Первое московское совещание работников левого фронта искусств», на котором произошел разрыв Н. Чужака с В. Маяковским и Н. Асеевым, покинувшими демонстративно заседание (ср.: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. Мюнхен, 1981, с. 40—43).

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. Н. Чуковской.

1. Издательство Комиссии по улучшению быта ученых (КУБУЧ), в котором в 1926 г. вышла книга Н. Чуковского «Приключения профессора Зворыки». «Карусель» Пастернака была напечатана в 1925 г. в ленинградском журнале «Новый Робинзон» (№ 9) с иллюстрациями Н. Тырсы, а в 1926 г. ленинградским отделением Госиздата.

2. Речь идет о повести Н. Чуковского «Танталэна» (1925).

3. К письму приложена рукопись «Карусели».

Впервые — Вестник РСХД (Париж), 1972, № 104—105. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. О публикации переводов Пастернака в антологии см. коммент. 1 к письму № 83 О. Э. Мандельштаму.

2. О публикации глав «Спекторского» см. с. 709—715, т. 1 наст. изд.

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — собрание семьи Н. С. Тихонова.

1. Пастернак писал И. Груздеву: «Я пишу сегодня Тихонову. Асеев привез его замечательную «Дорогу» ... Она мне понравилась именно тем, чего больше всего сейчас ищет и требует мой слух у себя и других: серьезным поэтическим содержанием, отбрасывающим края формы за барьер художнического одиночества и достигающим того, что форма становится формой слушанья или пониманья собравшихся, формой их расположенья в комнате и восхищенья» (*ЛН*, т. 93, с. 665).

2. Н. Тихонов. *Вамбери*. Повесть для юношества. Л., 1925, до этого в журн. «Новый Робинзон» (1925, № 3—6).

3. *И. Садофьев*, входил в редколлегия альманахов «Ковш».

4. Маяковский В. Париж. М., 1925.

5. Поэма Василия Казина «Лисья шуба и любовь» опубл. в журн. «Красная новь» (1925, № 5).

6. Имеется в виду писание стихов для детей: «Карусель» и «Зверинец» (см. т. 1. наст. изд.).

Впервые — Вестник РСХД (Париж), 1972, № 104—105. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Пастернак послал Мандельштаму свой сборник прозы «Рассказы» (М., 1925).
2. Часть лета 1925 г. Мандельштамы прожили в Луге.
3. «Карусель» и «Зверинец».

Впервые — Дружба народов, 1988, № 6. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1991.

1. Переписка Пастернака с М. И. Цветаевой началась в 1922 г. Переписку 1926 г. см. в кн. Р. М. Рильке. Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года. М., Книга, 1990. О чтении «Поэмы конца» Цветаевой см. в Послесловии к «Охранной грамоте» см. т. 4 наст. изд.

2. «Поэма конца» была написана в Праге.

3. Марселина Деборд-Вальмор (1786—1859), французская поэтесса.

Впервые — Forum for Modern Language Studies, Vol. VIII, 1972. University of St. Andrews. Автограф — Rilke-Archiv, Gernbach. Перевод Е. Б. Пастернака.

1. Л. О. Пастернак 17 марта 1926 г. писал сыну о полученном письме от Рильке, с которым был знаком с 1899 г.: «...он о тебе, Боря, с восторгом пишет...» Рильке писал Л. О. Пастернаку: «...с разных сторон меня коснулась ранняя слава Вашего сына Бориса. Последнее, что я пробовал читать, находясь в Париже, были его очень хорошие стихи в маленькой антологии, изданной Ильей Эренбургом...» (имеются в виду 5 стихотворений из книги «Сестра моя — жизнь», включенных Эренбургом в его книгу «Портреты русских поэтов», Берлин, 1922).

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149.

1. Знакомство Пастернака с А. А. Ахматовой состоялось в 1922 г. В 1943 г. Пастернак сформулировал свое понимание поэзии Ахматовой в рецензии на ее сборник (см. т. 4 наст. изд.). Подробно об истории отношений Пастернака и Ахматовой см.

вступительную статью Е. Б. и Е. В. Пастернак (*ЛН*, т. 93), а также воспоминания Э. Герштейн «О Пастернаке и об Ахматовой» (*ЛО*, 1990, № 2).

2. Фотографию Ахматовой в позе сфинкса с надписью «От этого садового украшения» передал Пастернаку поэт Л. В. Горнунг (см. публикацию дневниковых записей Горнунга о Пастернаке — *ЛО*, 1990, № 5).

3. В книге «Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символистов до наших дней» (составители И. С. Ежов и Е. И. Шамшурин. М., «Новая Москва», 1926) были опубликованы 30 стихотворений Ахматовой.

4. Ахматова была в Москве 8—12 марта 1926 г.

5. Речь идет о письме отца от 17 марта 1926 г., в котором он писал, что творчество Пастернака известно Р. М. Рильке (см. коммент. 1 к письму № 94).

6. *Н. Н. Пунин* — муж Ахматовой, поэт, искусствовед.

96

Впервые — Дружба народов, 1987, № 6. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В анкете, рассылавшейся Академией художественных наук (ГАХН) для словаря современных писателей, Цветаева указывала, что ее мать была пианисткой.

2. Письмо М. Волошину опубликовано — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год». Л., 1981.

3. Письмо к Ахматовой см. с. 184 наст. т.

4. И. Г. и Л. М. Эренбурги жили в это время в Париже.

5. Е. Л. *Ланн* и его жена А. В. Кривцова — переводчики английской литературы.

6. С. Я. Эфрон — муж Цветаевой.

7. Э. Ю. Триоле — французская писательница, сестра Л. Ю. Брик, Пастернак встречался с ней в Москве.

8. В 1925 г. Цветаева просила Пастернака сообщить ей все обстоятельства самоубийства С. Есенина (см. письмо Пастернака Г. Ф. Устинову. — *ЛО*, 1990, № 5, с. 111).

9. Первоначальное название главы «Детство» поэмы «Девятьсот пятый год».

97

Впервые — Дружба народов, 1987, № 7. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Цветаева просила Пастернака принять участие в судьбе

поэтессы С. Парнок, к письму она приложила цикл стихов «Подруга» (1915), обращенных к Парнок.

2. Кооперативное издательство, в котором в 1926 г. вышел сборник Пастернака «Избранные стихи».

3. Стихотворение «Событье на Темзе...», т. 1 наст. изд.

4. Улица, на которой жила Цветаева в Париже.

5. Н. А. Нолле-Коган, жена критика П. С. Когана, с которой Цветаева дружила в 1920-х гг.

98

Впервые — Дружба народов, 1987, № 7. Автограф — собрание семьи Пастернак.

1. Д. П. *Святополк-Мирский*. «О Молодце». — Современные записки, 1926, № 27 (в рецензии Цветаева названа «первым поэтом»).

2. «Сменовеховская» газета, издававшаяся в Берлине в 1922—1924 гг.

3. Автобиографическая повесть О. Мандельштама.

4. В литературно-художественных альманахах «Ковш» (кн. 2 — 1925, кн. 4 — 1926), где были напечатаны главы из «Спекторского», публиковались также Н. Тихонов, Н. Асеев, Д. Петровский, В. Каверин, М. Зощенко и др.

5. В альманахе «Современник» (1922) была опубликована статья Пастернака «Несколько положений», в которой он писал: «...современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно — губка» (с. 367, т. 4 наст. изд.).

6. Глава из поэмы «Девятьсот пятый год» была опубликована в журн. «Звезда», 1926, № 2.

7. Рильке прислал Цветаевой свои книги «Сонеты к Орфею» и «Дуинезские сонеты» с дарственными надписями.

99

Впервые — Дружба народов, 1987, № 7. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Цветаева передала Пастернаку через И. Эренбурга, приехавшего в Москву, поэму «Крысолов» и «Поэму Горы», свои фотографии.

2. А. И. Цветаева, сестра Цветаевой.

3. В этой тетради, подаренной Цветаевой, Пастернак написал позже II и III части «Охранной грамоты».

4. См. с. 730 и 732, т. 1 наст. изд.

5. Глава «Детство» поэмы «Девятьсот пятый год» не была

напечатана в «Комсомольской правде». В 1-м номере парижского журнала «Версты» (1926) была опубликована глава «Морской мятеж» (под названием «Потемкин»).

100

Впервые — Дружба народов, 1987, № 7. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Статьи Цветаевой: «Герой труда», посвященная памяти В. Брюсова, и «Поэт о критике» («Благонамеренный». Брюссель, 1926, № 2).

101

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. А. Л. и И. Н. Пастернак.

2. В это время в Берлине открылась персональная выставка Л. О. Пастернака.

3. Детское прозвище Е. Б. Пастернака.

102

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — *ЦГАЛИ*, ф. 1328, оп. 1, ед. кр. 268.

1. Речь идет о журнальной публикации (Новый мир, 1926, № 3—9) поэмы «Лейтенант Шмидт» с посвящением-акрости-хом Марине Цветаевой (см. с. 564, т. 1 наст. изд.).

103

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — *ЦГАЛИ*, ф. 1328, оп. 1, ед. кр. 268.

1. В. Полонский в 1926—1932 гг. заведовал отделом литературы и искусства Большой Советской Энциклопедии, П. С. Коган был главным редактором отдела иностранной литературы.

2. Имеется в виду юмористический раздел журнала «Новый мир» «Литературный ларек. Фрол Скобеев».

3. 26 июля 1927 г. Пастернак направил в редакцию журнала «Новый ЛЕФ» письмо с заявлением о формальном выходе из «ЛЕФа» и требованием опубликовать это заявление. Это не было сделано. О разрыве с «ЛЕФом» см. также: Пастернак Е. Письмо Владимиру Маяковскому (*ЛО*, 1990, № 2) и в кн.: Флейшман Л. Борис Пастернак в

двадцатые годы. Иерусалим, 1982. Ср. также письмо № 123 В. В. Маяковскому, с. 245 наст. т.

4. Имеется в виду статья В. Полонского «Критические заметки. Блеф продолжается» (Новый мир, 1927, № 5).

104

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1638, оп. 1, ед. хр. 4.

1. Поэт С. А. Обрадович, в 1922—1927 гг. заведующий литературным отделом газеты «Правда», в 1927—1931 гг. был одним из организаторов и редакторов альманахов «Земля и Фабрика» («ЗиФ», № 1—13).

2. Пастернак послал Обрадовичу стихотворения «Пространство», «Ландыши», «Сирень», «Приближение грозы» и «Любка», первые два были опубликованы в 1927 г. в кн. I альм. «ЗиФа», третье — в кн. II в 1928 г. «К Октябрьской годовщине» Обрадович печатать не стал (см. с. 692, т. 1 наст. изд.).

105

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 268.

1. Я. З. Черняк.

2. Речь идет о книге В. Полонского «Очерки литературного движения революционной эпохи. 1917—1927» (М.—Л., 1927).

3. Стихи «К октябрьской годовщине» (см. письмо № 104 Обрадовичу, с. 211 наст. т.).

106

Впервые — ЛН, т. 70. Автограф — Архив Горького.

1. Горький сообщал Пастернаку в письме от 4 октября 1927 г. о готовящемся издании в Америке повести «Детство Люверс» в переводе М. И. Будберг, к которому Горький должен был написать предисловие. Издание не осуществилось (предисловие опубликовано — ЛН, т. 70, с. 309—311).

2. Речь идет о посланной Горькому книге «Девятьсот пятый год» (М.—Л., 1927), с дарственной надписью: «Алексею Максимовичу Горькому, величайшему выраженью и оправданью эпохи с почтительнейшей и глубокой любовью. В. Пастернак. 20.IX.1927. Москва».

Впервые — ЛН, т. 70. Автограф — *Архив Горького*.

1. А. И. Цветаева ездила в Сорренто по приглашению Горького.

2. М. И. Будберг.

3. Б. М. *Зубакин*, литератор, вместе с А. И. Цветаевой в августе 1927 г. был у Горького.

Впервые — ЛН, т. 70. Автограф — *Архив Горького*.

1. Ответ на письмо Горького 18 октября 1927 г. с похвалами поэме «Девятьсот пятый год» (см. ЛН, т. 70, с. 300—301): «...Книга — отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь... это — голос настоящего поэта, и — социального поэта...»

Впервые — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 45, 1986, № 3.

1. В письме от 18 октября 1927 г. (ЛН, т. 70, с. 300—301) содержалась восторженная оценка Горького поэмы «Девятьсот пятый год», в письме же от 19 октября (*там же*, с. 301—302) Горький с раздражением отзывался об А. И. Цветаевой, которая передала Пастернаку первоначальный его отзыв о поэме и изложила его намерения помощи М. Цветаевой (см. письмо № 108, с. 217 наст. т.).

2. А. И. Цветаева приехала в Москву из Сорренто 12 октября 1927 г.

3. В письме 19 октября Горький писал: «...Вы всю жизнь будете «начинающим» поэтом, как мне кажется по уверенности Вашей в силе Вашего таланта и по чувству острой неудовлетворенности самим собою...»

4. В письме 18 октября Горький писал: «...У меня гостил месяца два знакомый Ваш — Зубакин... Человек с хорошими задатками, но совершенно ни на что не способный и — аморальный человек».

5. Пастернак просил сестру послать деньги М. Цветаевой.

Впервые — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 45, 1986, № 3. Автограф — *Архив Горького*.

1 В ответ на письмо № 109 Пастернака (с. 219 наст. т.) Горький предложил прекратить переписку.

2. О переданном А. И. Цветаевой отзыве Горького см. с. 216 наст. тома.

111

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Дружеские отношения Пастернака с поэтом, переводчиком С. Д. Спасским возникли в начале 1920-х гг. в Москве. После переезда Спасского в 1925 г. в Ленинград между ними завязывается постоянная переписка. Большая часть писем Пастернака Спасскому были опубликованы В. Спасской в журн. «Вопросы литературы» (1969, № 9).

2. Поэма Спасского «Неудачники» (1925—1927) была опубликована в 1928 г.

3. Цикл стихотворений Спасского «История» был опубликован в «Красной нови» (1927, № 7).

112

Впервые — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 45, 1986, № 3. Автограф — *Архив Горького*.

113

Впервые — ЛН, т. 70. Автограф — *Архив Горького*.

1. «Митина любовь» И. Бунина была напечатана отдельным изданием в ленинградском издательстве «Книжные новинки» в 1926 г.

114

Впервые — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 45, 1986, № 3. Автограф — *Архив Горького*.

1. Н. Асеев гостил у Горького в Сорренто в ноябре 1927 г.

2. Заключительные главы 2-й части «Жизни Клима Самгина» печатались в журнале «Красная новь» (1928, № 5—6).

3. А. К. Воронский — главный редактор журнала «Красная новь» в апреле 1927 г. был подвергнут резкой критике в Отделе печати ЦК ВКП(б); была создана новая редколлегия журнала в составе: А. К. Воронский, Ф. Ф. Раскольников, В. М. Фриче и В. Н. Василевский. Вскоре Воронский был вынужден вообще покинуть журнал.

4. В «Красной нови» печатались главы из «Спекторского» (1928, № 1, 7; 1929, № 12).

115

Впервые — Борис Пастернак. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 375.

1. После выхода Пастернака из «ЛЕФа» весной 1927 г. его отношения с Маяковским фактически прекратились. Пастернак из-за болезни не встречал с Маяковским Новый год (см. письма № 116, 117); подробно о расхождении с Маяковским см.: Пастернак Е. Письмо Владимиру Маяковскому. — ЛО, 1990, № 2.

2. См. объяснение Пастернаком своего выхода из «ЛЕФа» в анкете «Наши современники» (ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 1, ед. хр. 24, л. 2): «Леф удручал и отталкивал меня своей избыточной советскостью, т. е. угнетающим сервизмом, т. е. склонностью к буйствам с официальным мандатом на буйство в руках».

3. Герой повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

4. Ксения Михайловна, жена Н. Асева.

116

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Пастернак останавливался у Фрейденбергов во время своего приезда в Ленинград в сентябре 1927 г.

2. Р. Б. Канский, искусствовед, сосед О. Фрейденберг по квартире.

3. Статья В. Красильникова «Б. Пастернак» (Печать и революция, 1927, № 5).

4. Статья Д. Святополк-Мирского «The Present State of Russian Letters (London Mercury, Juli, 1927, vol. XVI, № 93).

117

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Герой поэмы С. Спасского «Неудачники».

2. *Евразийцы* — идеологическое течение, возникшее в начале 1920-х гг. в русской эмиграции, объединявшее ученых и литераторов. Они утверждали неприменимость к России европейских социальных (прежде всего социалистических) тео-

рий и систем и обосновывали «особый путь» России ее исключительным положением на стыке Европы и Азии.

3. *Скифы* — группа литераторов, объединенная в 1917—1918 гг. Р. В. Ивановым-Разумником вокруг издания альманахов «Скифы». К скифам принадлежали А. Белый, А. Блок, С. Есенин и др.

«*Вольфила*» — «Вольная философская ассоциация», существовавшее с 1919 до 1924 г. литературно-философское объединение, среди основателей «Вольфилы» были А. Белый, А. Блок, Р. Иванов-Разумник.

4. Рецензия Д. П. Святополк-Мирского на «Девятьсот пятый год» была опубликована в журн. «Версты» (1928, № 3).

5. Поэму «Неудачники».

6. Поэму «Лейтенант Шмидт».

7. Очевидно, речь идет о поэме А. Фета «Сон».

8. Речь идет о поэме А. Блока «Возмездие».

118

Впервые — ЛН, т. 70. Автограф — *Архив Горького*.

1. Письмо написано в ответ на получение книги «Жизнь Клим Самгина». М., 1927, с дарственной надписью: «Борису Леонидовичу Пастернаку. Пожелать Вам «хорошего»? Простоты, — вот чего от души желаю я Вам, простоты воображения и языка. Вы очень талантливый человек, но Вы мешаете людям понять Вас, мешаете, потому что «мудрствуете» очень. А Вы — музыкант и музыка, — при ее глубине, — мудрости враждебна. Вот мое понимание. Книгу только сегодня получил из Москвы. А. Пешков. 27.XII.27». (Предварительно в блокноте Горький заготовил несколько иную надпись на книге, см.: ЛН, т. 70, с. 308.)

119

Впервые — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 45, 1986, № 3. Автограф — *Архив Горького*.

1. Горький вернул Пастернаку письмо к Асееву (см. письмо № 115, с. 230 наст. т.) и писал в короткой записке: «...Асеев оставил мне Ваши «Две книги», прочитал их. Много изумляющего, но часто затрудняешься понять связи Ваших образов и утомляет Ваша борьба с языком, со словом. Но, разумеется, Вы — талант исключительного своеобразия...» (ЛН, т. 70, с. 306).

2. Горький сообщал Пастернаку, что выслал ему XIX том собрания своих сочинений, выпущенный берлинским издательством «Книга» (1927).

Впервые — В. Э. Мейерхольд. Переписка. 1896—1939. М., 1976.

1. Пастернак бывал в 1920-х гг. у *Мейерхольдов*, посещал спектакли в театре Мейерхольда, об их отношениях см. также с. 685, т. 1 наст. изд.

2. На спектакле «Горе уму» Пастернак был 25 марта 1928 г.

3. Ср.: «Как дурак, я зайду к вам в антракте, // И смешаюсь, и слов не найду...» («Мейерхольдам», с. 230, т. 1 наст. изд.).

4. А.-Ч. *Суинберн*. Современники Шекспира (опубл. по-смертно в 1919 г.).

5. *Блекфрайерс* — монастырь, в трапезной которого давала спектакли труппа актеров, в которой играл Шекспир.

6. Пьеса Ф. Кромелинка «Великодушный рогоносец» в переводе И. А. Аксенова входила в репертуар театра Мейерхольда с 1922 г.

7. Актер И. В. *Ильинский* играл роль Фамусова, а В. Ф. *Зайчиков* — Загорецкого.

8. *Зинаида Николаевна Райх*, актриса, жена Мейерхольда.

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. Н. Чуковской.

1. Речь идет о книге стихов Н. Чуковского «Сквозь дикий рай» (1928).

Впервые — *ЛН*, т. 70. Автограф — *Архив Горького*.

1. Речь идет о письме № 109 от 27 октября 1927 г. (с. 219 наст. т.).

2. 60-летие Горького торжественно отмечалось 29 марта 1928 г., Горький родился 28 марта.

3. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 марта 1928 г. было опубликовано в газ. «Правда» 30 марта.

Впервые — Russian Literature Triquarterly, 1975, № 13. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 2577.

1. О восторженном отношении Пастернака к Маяковскому в 1910-х гг. см. письма С. Боброву в наст. т. Об осложнении отношений в связи с его выходом из «ЛЕФа» см. письма № 117 С. Спасскому, № 115 Н. Асееву и № 104 В. Полонскому, см. также очерк «Люди и положения» и повесть «Охранная грамота», т. 4 наст. изд. Ср. также: Пастернак Е. «Письмо Владимиру Маяковскому» (ЛО, 1990, № 2).

2. Речь идет о письме в редакцию журн. «Новый Леп», с требованием прекратить печатать имя Пастернака в списке сотрудников (ЛН, т. 90, с. 697).

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В это время Пастернак работал над «Спекторским» и «Охранной грамотой».

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В «Красной нови» (1928, № 7) были опубликованы 6—7-я главы, в № 1—5 глава «Спекторского» (см. с. 713, т. 1 наст. изд.).

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Книга Мандельштама «Стихотворения» (М.—Л., 1928).

2. Ср. со строкой Мандельштама «О как противен мне какой-то соименник...» стихотворения «Нет, никогда, ничей я не был современник...» (1924).

3. Стихотворение «Сегодня ночью, не солгу...» (1925).

Впервые — Russian Literature Triquarterly, 1975, № 13. Автограф — ОР ГБЛ, ф. 25, к. 21, ед. хр. 12.

1. Знакомство Пастернака с Андреем Белым началось в

начале 1910-х гг., когда Белый возглавлял стиховедческий кружок при издательстве «Мусагет». Пастернак в очерке «Люди и положения» (т. 4 наст. изд.) пишет, что не посещал этого кружка, однако В. В. Иванов в своей статье «Пастернак и ОПОЯЗ» (Тыняновский сборник. Третьи тыняновские чтения. Рига, 1988) обосновывает предположение, что Пастернак в действительности посещал занятия кружка А. Белого. Подробно об отношении Пастернака к Белому см. также вступ. статью Е. Б. и Е. В. Пастернаков к публикации «Из переписки Бориса Пастернака с Андреем Белым». — Белый Андрей. Проблемы творчества. М., 1988.

2. 3 ноября Белый читал у П. Н. Зайцева свой роман «Маски».

3. Московский журнал русских символистов, в котором сотрудничал А. Белый.

4. Н. П. Воротынцева.

128

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — собрание семьи Н. С. Тихонова.

1. М. К. Тихонова-Неслуховская — жена Тихонова.

2. О. Д. Форш.

129

Впервые — Волга, 1990, № 2. Автограф — собрание семьи К. А. Федина.

1. Дружба Пастернака с К. А. *Фединым* завязалась в конце 1920-х гг. В конце 1930-х гг. они становятся соседями по даче в Переделкине. 18 писем Пастернака к Федину и статья об истории их отношений опубликованы Р. Лихт в журнале «Волга» (1990, № 2).

2. В ноябре 1928 г. умерла А. В. Лурье — мать Е. В. Пастернак.

3. Речь идет о письме Пастернака к Федину от 9 сентября 1928 г., где Пастернак выражал свое восхищение романом «Братя» (1928).

4. Федин писал в ответ Пастернаку: «У меня очень велико желание ответить Вам, дорогой Борис Леонидович, на Ваше письмо. Поняв его после первого прочтения, я с наслаждением углублял это понимание новым перечитыванием — так хорошо сказали Вы в нем именно то, о чем я просил Вас сказать. У меня легчайшее чувство от Вашей искренности, от той прекрасной искренности, в черте которой уже не может быть го-

речи и недоумений. Я не могу не поблагодарить Вас за такое письмо и только поэтому нарушаю просьбу Вашу — «не отзывать».

130

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Издание поэмы С. Спасского «Неудачники».

2. Теме «правой опасности» в литературе была посвящена серия докладов в Коммунистической академии, открывшаяся докладом В. М. Фриче «Буржуазные тенденции в современной литературе и задача критики» (см. также письмо Медведеву от 10 января 1929 г.).

3. Речь идет о журнале «Наши достижения» (1929).

131

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Ленинградский Институт истории искусств предполагал издание книги Б. Бухштаба о Пастернаке и просил его самого написать автобиографическую статью. Издание не состоялось. Небольшая законченная работа Бухштаба «Лирика Пастернака» опубликована в 1987 г. (ЛО, № 9).

132

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. П. Н. Медведев, критик, литературовед, был заведующим литературно-художественным отделом ленинградского отделения Госиздата. По его предложению был заключен договор с Пастернаком на издание романа «Спекторский», который печатался отдельными главами в 1925—1930 гг. Издание, однако, не состоялось.

2. Речь идет о книге Медведева «Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику». Л., 1928.

3. Ср. об этом же в письме № 130 к С. Спасскому с. 257 наст. т.

133

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. Издательством «Круг» в 1925 г. была выпущена книга Пастернака «Рассказы».

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. К. Г. Локс.

2. Поэт Борис Садовской в начале 1910-х гг. примыкал к группе «Лирика».

3. Так как работа над «Охранной грамотой» затянулась, редакция «Звезды» опубликовала первую часть в 1929 г. в № 8.

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. Очевидно, речь идет о М. М. Бахтине.

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ГЛМ, ОФ 4840.

1. Речь идет о «Повести» и о цикле стихотворных посланий, вошедших в «Смешанные стихотворения».

2. Стихотворение было опубликовано вместе со стихотворением «Мейерхольдам» и стихами «Марине Цветаевой» (т. 1 наст. изд.) в журн. «Красная новь» (1929, № 5).

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Повесть Спасского об А. И. Ульянове была опубликована в «Новом мире» (1929, № 11), главным редактором которого в это время был В. Полонский.

2. «ЗиФ» — издательство «Земля и Фабрика».

3. Б. А. Губер в это время работал в издательстве «Федерация».

4. Отрывок из «Повести» был опубликован в «Красной нови» (1929, № 30), целиком в «Новом мире» (1929, № 7).

5. П. Н. Зайцев.

6. А. Белый.

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149.

1. Пастернак отправил предыдущее письмо по старому адресу Ахматовой (ул. Халтурина, д. 5 — «Мраморный дворец»), откуда она незадолго до этого переехала в квартиру Н. Н. Пунина на Фонтанке («Фонтанный Дом»).

139

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149.

1. Телеграмма, в которой, очевидно, Ахматова объясняла свое молчание в ответ на письма Пастернака болезнью, не сохранилась.

2. П. Н. Лукницкий — поэт, в то время занимавшийся сбором материалов по биографии и творчеству Н. С. Гумилева, Ахматова помогала ему в этом.

140

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. Речь идет о предложении ленинградского отделения Госиздата заключить с Пастернаком договор на сборник прозы.

141

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. В. П. Полонский. Речь идет об авансе под «Повесть», которая была опубликована в 7-м номере «Нового мира» за 1929 г.

142

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — в собрании В. Познера.

1. С писателем и критиком В. С. Познером Пастернак познакомился в Берлине в 1923 г. В 1929 г. Познер прислал Пастернаку выпущенную им в Париже «Антологию современной русской прозы» (1929), составленную из своих переводов и небольших критических заметок. О Пастернаке Познер писал в этой антологии: «Пастернак-поэт знаменит, Пастернак-прозаик еще не известен публике. Мы завидуем тому человеку, который спустя несколько лет найдет счастье открыть его заново».

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — собрание В. Познера.

1. Книга Познера «Panorames des littératures contemporaines. Littérature russe, par Vladimir Pozner». Paris, 1929.

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — собрание В. Познера.

1. Сборник Познера «Стихи на случай (1915—1928)». Париж, 1928.

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — собрание В. Познера.

1. См. коммент. 1 к письму № 143.

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — собрание семьи Н. С. Тихонова.

1. В феврале 1929 г. Ю. Тынянов прислал Пастернаку «Смерть Вазир-Мухтара» с дарственной надписью: «Борису Пастернаку, который своим существованием делает жизнь более достойной».

2. В издательстве «ЗиФ» вышел «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера, где на титульном листе переводчиком значился О. Мандельштам, в то время как это была переработка старых переводов А. Г. Горнфельда и В. И. Корякина. Горнфельд выступил по этому поводу в печати, Мандельштам опубликовал в ответ свои извинения, а еще через полгода появился оскорбительный фельетон Д. Заславского «Скромный плагиат или развязная халтура» (*Литературная газета*, 1929, 7 мая). Письмо с протестом против фельетона среди прочих писателей подписал и Пастернак (*Литературная газета*, 1929, 13 мая). После еще одной статьи Заславского было разбирательство на президиуме ФОСП (Федерация объединений советских писателей) и на специальной конфликтной комиссии, организованной «Литературной газетой», на которой и выступал Пастернак.

3. Перевод Рильке (см. т. 2 наст. изд.).

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — *ОР ГПБ*, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. Д. П. Кончаловский (1878—1952) — историк и переводчик.

2. Л. О. Пастернак сотрудничал в книгоиздательстве П. П. Кончаловского, а также давал уроки живописи его сыну — художнику П. П. Кончаловскому.

3. В книге «Формальный метод в литературоведении...» (см. коммент. 2 к письму № 132) всего 232 страницы, очевидно, у Пастернака описка.

148

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — собрание В. Познера.

1. Книга «Поверх барьеров» (М., 1929).

2. Книга стихов Познера. См. коммент. 1 к письму № 144 от 14 мая 1929 г.

3. О личных и творческих отношениях Пастернака и Ходасевича см.: Мальмстад Джон Е. Единство противоположностей и Богомоллов Н. Выбор путей. — ЛО, 1990, № 2.

149

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

150

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. В несохранившемся письме Медведев, очевидно, извещал Пастернака о колебаниях руководства издательства в вопросе о печатании «Спекторского» (см. письмо № 152 Н. С. Тихонову, с. 288—289 наст. т.).

2. Эти строфы черновой редакции романа неизвестны.

3. Поэма «Девятьсот пятый год», так же как и «Спекторский», вначале публиковалась в журналах и альманахах отдельными главами, а затем была отредактирована Пастернаком целиком для отдельного издания 1927 г. (см. с. 695, т. 1 наст. изд.).

151

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГБЛ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — собрание семьи Н. С. Тихонова.

1. Речь идет о книге Тихонова «Поэмы» (М.— Л., 1928), куда вошла поэма «Выра», отдельно печатавшаяся в журн. «Звезда» (1927, № 11). Раков — герой поэмы Тихонова «Выра».

2. Книги Пастернака «Поверх барьеров» (М., 1929) и «Две книги» (2-е изд., М., 1930).

3. Имеется в виду книга Тихонова «Поиски героя. Стихи 1923—1925 гг.» (Л., 1927).

4. Первый том романа А. Толстого «Петр Первый» печатался в 1929 г. в «Новом мире».

5. Книги В. Эрлиха «Софья Перовская. Поэма» (Л., 1929) и «Право на песнь. Воспоминания о Есенине» (Л., 1930).

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. Ни письмо Медведева с разбором «Спекторского», ни упоминаемое ответное письмо Пастернака не известны.

2. Поэмы И. Сельвинского «Улялаевщина» (1927) и «Пушторг» (1928).

3. Письмо от А. Г. Лебеденко, писателя, сотрудника Ленинградского отдела Госиздата, не сохранилось.

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990.

1. О. М. Фрейденберг и ее мать пытались выселить из квартиры (см.: *Переписка с Ольгой Фрейденберг*, с. 129).

2. Генриэтта Петровна Лунц, жена Г. Лунца.

3. Муж и дочь Жозефины Леонидовны Пастернак (Жони).

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ОР ГПБ, ф. 474, оп. 2, ед. хр. 7.

1. Деньги были переведены в Ленгиз из журнала «Звезда» (гонорар за перевод «Реквиема» Р. М. Рильке и 1-ю часть «Охранной грамоты»).

Впервые — ЛО, 1990, № 2. Автограф — собрание М. Н. Чуковской.

1. Речь идет о романе Н. Чуковского «Юность» (Л., 1930).

2. «Лазарь» — шестой раздел книги М. А. Кузмина «Фюрель разбивает лед» (1928).

3. О расстреле журналиста В. А. Силлова (см. о нем ЛО, 1990, № 2, с. 13), ср. также письма № 158 к Л. О. Пастернаку (с. 300) и № 192 О. Г. Петровской-Силловой (с. 353).

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990.

1. Постановка «Воскресения» была осуществлена под руководством В. И. Немировича-Данченко по инсценировке Ф. Ф. Раскольниковца.

2. Евгения Владимировна, жена Пастернака, и их сын Евгений.

3. О расстреле В. А. Силлова Пастернак узнал на премьере «Бани» В. Маяковского (см. воспоминания Э. Г. Герштейн. — ЛО, 1990, № 2, с. 96), см. коммент. 3 к письму № 157.

4. Муж родственницы Пастернака Лизы Гозиассон был расстрелян.

Впервые — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 45, 1986, № 3. Автограф — Архив Горького.

1. А. М. Горький встречался с Пастернаком в редакции журн. «Красная новь» 9 июня 1928 г.

2. П. П. Крючков — секретарь М. Горького.

3. Поэма «Спекторский» и роман (см. письмо № 134 П. Медведеву, с. 261 наст. т.), начало которого было опубликовано под названием «Повесть».

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Г. Г. и З. Н. Нейгаузы и В. Ф. и И. С. Асмусы предложили Пастернаку с Евгенией Владимировной и сыном провести лето всем вместе в Ирпене под Киевом. Там же поселились на лето 1930 г. А. Л. Пастернак с женой.

Впервые — *Знамя*, 1990, № 2. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. О просьбе к Горькому помочь Пастернаку в получении разрешения на поездку в Германию для встречи с родителями см. с. 303 наст. т.

2. Роман Р. Роллана «Очарованная душа».

3. Цикл романов М. Пруста «В поисках утраченного времени»: «В сторону Свана» (1913), «Под сенью девушек в цвету» (1918), «У Германтов» (1921).

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. С В. А. *Аптекарем* — сотрудником Коммунистической Академии — О. Фрейденберг вела переговоры об издании своей книги о происхождении греческого романа.

Впервые — *Вопросы литературы*, 1969, № 9 (с сокращениями). Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Речь идет о книге стихов С. Спасского «Особые приметы» (Л., 1930).

2. Н. Н. Вильям-Вильмонт. Он описал это лето в своих воспоминаниях «О Борисе Пастернаке» (М., 1989).

3. С. Г. Спасская-Каплун, жена Спасского, скульптор.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Повесть К. Гамсуна «Голод» (1890).

2. Речь идет об окончании работы над «Спекторским» летом 1930 г.

Впервые — Russian Literature Triquarterly, 1975, № 13.
Автограф — ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 239.

Датируется по содержанию.

1. Ответ на письмо А. Белого от 1 ноября 1930 г. (Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988, с. 699—701). Пастернак ошибочно проставил дату 12.X.30.

2. О вечере в январе 1918 г. в доме поэта М. О. Цетлина, где присутствовал Белый, Пастернак писал в «Охранной грамоте» (см. т. 4 наст. изд.).

3. Е. А. Новикова, библиограф, племянница писателя И. А. Новикова.

4. Сергей Александрович Поляков, переводчик, издатель журнала «Весы», владелец издательства «Скорпион».

5. Д. М. Бацер, муж Е. А. Новиковой, историк, экономист.

6. Ю. К. Балтрушайтис, поэт, участник «Весов», был в это время послом Литовской республики в Москве.

7. К. Н. Бугаева — жена А. Белого.

8. В 1928 г. Белый по приглашению грузинских поэтов жил в той же гостинице, где в 1930 г. в Коджорах прожил месяц Пастернак.

9. 11 ноября было опубликовано обвинительное заключение по делу Промпартии, вскрывающее «вредительство» во всех областях промышленности.

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

Впервые — Переписка с Ольгой Фрейденберг. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Поэтесса-переводчица А. Д. Радлова и ее сестра, скульптор С. Д. Лебедева (урожденные Дормолатовы).

2. Р. О. Шапиро — сестра Л. О. Пастернака.

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9 (с сокращениями). Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. А. К. Тарасенков писал о «Спекторском» в своей статье «Борис Пастернак», опубликованной в «Звезде» (1931, № 5).

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — Houghton Library (США).

1. Джордж Риви — английский славист и поэт, автор книги о поэзии Бориса Пастернака: «The poetry of Boris Pasternak (1914—1960): selected, edited and translated by George Reawey with an essay on the life and wrighting of Pasternak» (Нью-Йорк, 1959), в 1930 г. в английском журнале «Experiment» опубликовал эссе о творчестве Пастернака и свои переводы нескольких его стихотворений. Переписка Пастернака с Риви продолжалась до 1960 г. В 1943 г. Риви приехал в Москву в качестве сотрудника посольства Великобритании и в течение двух лет несколько раз встречался с Пастернаком.

2. Стихи Пастернака в переводе В. С. Познера были опубликованы в 1931 г. в журнале «Morada», № 5.

170

Впервые — по автографу — *Архив Горького*.

1. П. П. Крючков — секретарь М. Горького.

171

Впервые — по автографу — собрание семьи С. Спасского.

1. Весной 1932 г. Пастернаку с Зинаидой Николаевной и ее сыновьями была предоставлена квартира в «Доме Герцена» — доме Всероссийского союза советских писателей на Тверском бульваре, в сентябре они обменялись с Евгенией Владимировной Пастернак, которая с сыном переехала в «Дом Герцена», Пастернак же с новой семьей вернулся в комнаты квартиры на Волхонке.

2. Елена Михайловна Тагер.

172

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В июне 1932 г. Пастернак по приглашению обкома ВКП(б) приехал в Свердловск. О впечатлениях от этой поездки он в 1958 г. рассказывал З. А. Масленниковой: «В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей — стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой де-

ревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания».

2. Во время приезда Пастернака с Зинаидой Николаевной в Ленинград в октябре 1931 г.

173

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Знакомство Пастернака с грузинским поэтом П. Яшвили состоялось в Москве в 1930 г. и переросло в близкую дружбу во время поездки в Грузию в 1931 г. О дружбе с П. Яшвили Пастернак вспоминал в очерке «Люди и положения» (т. 4 наст. изд.), см. также переводы стихов Яшвили (т. 2 наст. изд.). См. письмо № 201 о гибели П. Яшвили, с. 372—374 наст. т.

2. На обкомовской даче под Свердловском.

3. Т. А. Грузинская и ее сын — знакомые Пастернака и Яшвили.

4. Имеется в виду повесть «Охранная грамота».

5. Т. Г. Яшвили, — жена П. Яшвили, Н. А. Табидзе — жена Т. Табидзе, Медея Яшвили — дочь Яшвили, Ниточка — Танит Табидзе, дочь Табидзе.

6. Из стихотворения П. Яшвили «Стол — Парнас мой», переведенного Пастернаком (см. т. 2 наст. изд.).

174

Впервые — ЛН, т. 93. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 2633, оп. 1, ед. хр. 17.

1. Г. Чулков, писатель, критик, давний друг Ахматовой.

2. Друзья Ахматовой добивались для нее материальной помощи и направления в больницу через Оргкомитет Союза советских писателей и через Наркомпрос.

3. Б. А. Пильняк.

4. Критик Д. П. Святополк-Мирский, автор нескольких статей о Пастернаке, в 1932 г. вернулся в СССР из эмиграции.

175

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9.

1. 11, 12 и 13 октября 1932 г. в Ленинграде состоялись авторские вечера Пастернака.

2. Комнаты в квартире на Волхонке, куда переехали Пастернаки, были в аварийном состоянии — текли потолки, оконные рамы и стекла были повреждены в результате взрыва Храма Христа Спасителя.

176

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. П. И. Лавут был организатором поездки Пастернака на авторские вечера в Ленинград в октябре 1932 г.

2. Н. С. Тихонов.

177

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — Houghton Library (США).

1. Стихи Пастернака и отрывок из 3-й части «Охранной грамоты» в переводе Риви были им включены в антологию советской литературы: *Soviet Literature*. Ed. and trans. by G. Reawey and M. Slonim. London, 1933. Риви прислал ее в 1933 г. Пастернаку. В 1959 г. его переводы стихов Пастернака были изданы отдельной книгой (см. коммент. 1 к письму № 169).

178

Впервые — *ЛН*, т. 93. Автограф — Houghton Library (США).

179

Впервые — *Russian Literature Triquarterly*, 1975, № 13. Автограф — *ОР ГПБ*, ф. 60, ед. хр. 62.

1. Датировано рукой А. Белого.

2. Речь идет о роспуске РАППа после постановления ЦК ВКП(б) 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций».

3. На январском пленуме ЦК ВКП(б) с покаянными речами и с полной поддержкой политической линии Сталина выступили Н. Бухарин и А. Рыков (см. «Известия», 1933, 14 и 15 января; ср. также: Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы, с. 113—115).

Впервые — Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 45, 1986, № 3. Автограф — *Архив Горького*.

1. Вместо собрания сочинений были изданы «Стихотворения в одном томе» (1933).

2. «Охранная грамота» Пастернака была подвергнута резкой критике за философский идеализм. См.: Миллер-Будницкая Р. О философии искусства Пастернака и Рильке. — Звезда, 1932, № 5; ср.: Тарасенков А. Охранная грамота идеализма. — Литературная газета, 1931, 18 декабря. Ср. также: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. Мюнхен, 1981, с. 329—330.

3. В сборник прозы Пастернака «Воздушные пути» (М., ГИХЛ, 1933) вошли «Детство Люверс», «Апеллесова черта», «Воздушные пути» и «Повесть».

4. П. П. Крючков.

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Сборник стихов Спасского «Да» (Л., 1933).

2. Вечер Павла Васильева был устроен 3 апреля 1930 г. редакцией журн. «Новый мир».

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В Германии у власти уже находились нацисты.

2. Т. е. еврейство.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Знакомство и дружба Пастернака с грузинским поэтом Т. Табидзе началась летом 1931 г. Об отношении Пастернака к нему см. очерк «Люди и положения» (т. 4 наст. изд.).

См. также переводы Пастернака стихов Табидзе (т. 2 наст. изд.).

2. П. Яшвили и Э. Л. Андроникашвили, брат И. Л. Андроникова, физик.

3. Сборник переводов Пастернака вышел под названием «Грузинские лирики» (М., 1935).

4. В альманахе «Год шестнадцатый. Альманах 3-й» переводы не были напечатаны.

5. В это время Е. Пастернак ездила в Грузию с Б. Пильняком.

185

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В конце 1932 г. О. Фрейденберг возглавила кафедру античной литературы ЛИФЛИ (Ленинградского института философии, литературы и искусства).

2. Имеется в виду обсуждавшийся вопрос возвращения Л. О. и Р. И. Пастернак в Россию.

186

Впервые — *ЛН*, т. 93.

1. Пастернак заключил в 1933 г. договор с издательством «Московское товарищество писателей» на книгу переводов современных поэтов Грузии и с издательством Закгиз вместе с Тихоновым аналогичный договор. Обе книги вышли в 1935 г. — «Грузинские лирики». Перевод Б. Пастернака. М., 1935, и «Поэты Грузии». Перевод Б. Пастернака и Н. Тихонова. Тифлис, 1935.

2. Гостиница в Тбилиси, где останавливалась писательская бригада; в нее входили кроме Пастернака и Тихонова В. В. Гольцев, М. Б. Колосов, В. Я. Кирпотин (в это время секретарь Оргкомитета Союза писателей и зав. сектором художественной литературы ЦК ВКП(б)), Л. В. Никулин.

3. Николо *Мицишвили* был редактором и автором предисловия к книге переводов Пастернака и Тихонова «Поэты Грузии».

4. См. т. 2 наст. изд., с. 261.

5. Роман Тихонова «*Клятва в тумане*» (Л., 1933).

6. М. Б. Колосов был редактором журнала «Молодая гвардия», где были напечатаны переводы Пастернака «Баллады спасения» И. Абашидзе и «Ушгульского комсомола» С. Чиковани (1934, № 2).

7. Т. е. «отдам в журнал «Звезда».

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9.

1. Повесть Спасского «Первый день» (Л., 1933).

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9 (с сокращениями). Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. В доме отдыха писателей в *Одоеве* Пастернак жил летом 1934 г. с семьей.

2. Речь заведующего Отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК ВКП(б) А. И. *Стецкого* завершала вечернее заседание Первого съезда советских писателей 30 августа 1934 г., 31 августа съезд продолжил работу и завершился заключительным словом Горького (о Пастернаке на 1-м съезде советских писателей см. в кн.: *Флейшман Л. Пастернак в тридцатые годы. Иерусалим, 1984*).

3. Речь идет о телефонном звонке Сталина Пастернаку в связи с арестом О. Мандельштама (см.: *Пастернак Е. В. и Е. Б. Координаты лирического пространства.—ЛО, 1990, № 2—3*).

4. Подробно и весьма хвалебно о Пастернаке говорил в своем докладе о советской поэзии Н. И. Бухарин, что вызвало недовольство многих выступавших затем поэтов: А. Суркова, А. Безыменского, Д. Ведного и др. Речь Пастернака на съезде см. в т. 4 наст. изд.

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Отдельное издание поэмы Важа Пшавела «Змеед» (Тифлис, 1934).

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. К. Н. Бугаева — жена А. Белого.

2. Речь идет о стихотворении Табидзе «Сельская ночь» («Дворянжки малые тьяв-тяв на месяц в небе...»).

3. В сборник «Грузинские лирики» (М., 1935) вошли 5 стихотворений Табидзе в переводах Пастернака.

4. Е. А. Леонидзе — жена Г. Н. Леонидзе.

192

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. О. Г. Петровская-Силлова — вдова В. А. Силлова (см. о нем в письме № 158 к Л. О. Пастернаку и в письме № 157 к Н. К. Чуковскому).

2. Олег — сын В. А. Силлова.

3. Речь идет о 1-м Всесоюзном съезде советских писателей в августе 1934 г.

4. О. Г. Силлова-Петровская в это время ехала в Воронеж, где жил в ссылке О. Э. Мандельштам.

193

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейдберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. После убийства С. М. Кирова 6 декабря появились сообщения о массовых расстрелах «контрреволюционеров» в крупных городах, началась массовая высылка дворян и интеллигенции из Ленинграда; в марте 1935 г. на втором пленуме правления Союза писателей и в нескольких предшествовавших пленуму статьях в «Литературной газете» начались нападки на Пастернака (см.: Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы, с. 230—233). Ср. также письмо № 194 С. Спасскому, с. 356 наст. т.

194

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Речь идет о переводе Спасского поэмы Важа Пшавела «Гость и хозяин».

2. Тициан Табидзе.

195

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. 13 и 16 марта 1936 г. Пастернак выступил на правле-

нии Союза писателей на «дискуссии о формализме». По поводу газетной кампании он сказал: «Если обязательно орать в статьях, то нельзя ли орать на разные голоса? (...) уж очень выпирает, — формализм — натурализм, натурализм — формализм. Я не поверю, что это пишется от чистого разума, что каждый пишущий так и дома разговаривает, в семье и т. д.». Стенограммы выступлений опубликованы Е. Б. Пастернаком (ЛО, 1990, № 3); ср. также главу «Бунт Пастернака» в кн.: Ф лей ш м а н Л. Борис Пастернак в тридцатые годы.

2. Медея Яшвили — дочь П. Яшвили.

3. В Минск Пастернак ездил на пленум правления Союза писателей; его выступление там см. в т. 4 наст. изд.

4. Цикл стихотворений «Художник» был опубликован в журнале «Знамя» (1936, № 4), см. т. 2 наст. изд.

196

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. 28 сентября 1936 г. в «Известиях» была напечатана разгромная рецензия Ц. Лейтезен «Вредная галиматья» на книгу О. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра».

2. Соседи Пастернака по Переделкину Б. Пильняк, К. Федин, Вс. Иванов, Л. Леонов подверглись весной 1936 г. критике за «формализм» (см. коммент. 1 к письму № 195).

3. Статья «Сумбур вместо музыки». — Правда, 1936, 28 января.

4. Пьеса «Сказка» М. Светлова.

5. Приложением к книге О. Фрейденберг была опубликована ее статья «Три сюжета или семантика одного», где разбирался сюжет классической драмы, в числе прочих на примере «Укрощения строптивой» Шекспира, публиковавшейся в журнале «Язык и литература» (1929, № 5).

6. Е. М. Стеценко.

7. Квартира в писательском доме в Лаврушинском переулке.

8. Речь идет об исключении «Охранной грамоты» из сборника прозы «Воздушные пути» в 1934 г.

9. В это время были написаны стихи цикла «Художник» и «Летние записки», а также статья «Новое совершеннолетие» (Известия, 1936, 15 июня) о проекте конституции 1936 г., подготовленном Н. И. Бухариным (позднее она всегда называлась «Сталинской»).

10. А. М. Михайлов — брат О. М. Фрейденберг.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. И. Г. *Франк-Каменецкий*, востоковед, приезжал в Москву обсуждать с Пастернаком возможности заступничества за О. Фрейденберг через Н. И. Бухарина.

2. Пастернак написал письмо Бухарину в защиту книги О. Фрейденберг. (*Переписка Бориса Пастернака*. М., 1990, с. 159—160.)

Впервые — *Знамя*, 1990, № 2. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В конце 1930-х гг., когда стало ясно, что из-за нацистского режима родители Пастернака вынуждены покинуть Германию, они думали о возвращении в Россию (сохранили советское подданство до конца жизни).

2. Б. И. Збарский (*Пена*), в это время глава группы химиков, занимавшихся консервацией тела В. И. Ленина, настоятельно склонял Л. О. Пастернака к возвращению в СССР.

3. Жювенал де Урсин — автор хроники Карла VI. Ж. Мишле в своей книге «*Histoire de France*» (т. V, с. 302) характеризует его как посредственного историка. Очевидно, Пастернак с помощью исторических аналогий стремится объяснить родителям ситуацию внутри СССР, с тем чтобы удержать их от возвращения в Москву.

4. Речь идет о рождении сына Л. Пастернак-Слейтер Майкла.

5. Книга О. Фрейденберг «*Поэтика сюжета и жанра*» (1936) была конфискована через три недели после выхода в свет; Фрейденберг написала письмо Сталину, после чего ее вызвал в Москву зам. наркома просвещения Б. Волин. Несмотря на обнадеживающие обещания, книга так и не поступила в продажу.

6. Я. З. Суриц — посол СССР в Берлине, предлагал Л. О. Пастернаку помощь в отправке его картин из Германии в Москву.

Впервые — *Знамя*, 1990, № 2. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Имеется в виду статья о Пастернаке Д. Святополк-Мирского в Enciclopedia Britanica.

2. Поздравление с днем рождения (29 января ст. ст.).

3. Пастернаку пришлось все же выступить на юбилейном Пушкинском пленуме Союза писателей СССР, после того как на него обрушились с резкой критикой политического характера Д. Алтаузен, Д. Петровский и др. (см. подробно: Флейшман Л. В дни ежовщины.— Даугава, 1990, № 1—2; ср. также: ЛО, 1990, № 2, с. 5). Свое выступление Пастернак начал словами: «Товарищи, не ждите от меня интересной и содержательной речи, забудьте, что это происходит на Пушкинском пленуме. Как раз ввиду того, что за последнее время,— я в этом сам виноват, некоторые мои слова вели к неясности, я воздержался от участия в пушкинских торжествах. Мне казалось кощунством в отношении этого имени, этой темы, подвергать ее в моих устах какой-либо превратности выражения...» (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 187, л. 59).

4. Я. З. Суриц — советский посол в Берлине.

5. В писательском доме на Тверском бульваре жили Е. В. Пастернак с сыном.

200

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — собрание семьи Н. С. Тихонова.

1. Тихонов Н. Тень друга. М., 1936.

201

Впервые — Литературная Грузия, 1964, № 6. Автограф — собрание семьи П. Яшвили.

1. Паоло Яшвили в 1937 г. подвергся озлобленной травле в печати, на него было заведено уголовное дело в НКВД Грузии, накануне ареста 22 июля 1937 г. он покончил с собой. В 1954 г. Яшвили был посмертно реабилитирован.

2. Г. Н. Леонидзе (Гогла), грузинский поэт.

202—203

Впервые — Литературная Грузия, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. В. В. Гольцев.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Брат О. Фрейденберг был арестован в августе 1937 г. и осужден на пять лет в январе 1938 г. «по подозрению в шпионаже» (см. подробно: *Переписка Бориса Пастернака*, с. 160—163). Очевидно, в 1939 г. был расстрелян.

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание М. Н. Чуковской.

1. Роман Н. Чуковского «Княжий угол» (1936).

2. Перевод «Дон Жуана» осуществлен не был.

3. Имеется в виду арест жены С. Д. Спасского — С. Г. Спасской-Каплун в 1938 г. (см. с. 378 наст. т.).

Впервые — *Вопросы литературы*, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Речь идет об арестованной С. Г. Спасской-Каплун.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Далее в тексте полностью зачеркнуты две строки.

Впервые — *Литературная Грузия*, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. 23 августа 1939 г. умерла Р. И. Пастернак.

2. «Гамлета» Пастернак переводил по просьбе В. Мейерхольда. Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 г., в ночь на 14 июля в московской квартире была убита его жена — актриса Зинаида Райх.

3. Родители Пастернака переехали в Лондон в 1938 г.

4. В. И. Немирович-Данченко принял пастернаковский перевод «Гамлета» для постановки во МХАТе, но она не была осуществлена.

210

Впервые — Boris Pasternak (1890—1960), Colloque de Cerisy-la-Salle. Paris, 1979.

1. М. Л. Лозинский, поэт, переводчик.

2. М. Л. Лозинский перевел «Божественную комедию» Данте, «Ад» был издан отдельной книгой в 1938 г.

3. Перевод «Гамлета» А. И. Кронеберга был впервые напечатан в 1844 г. и неоднократно переиздавался, в том числе и в советское время.

4. Перевод Лозинского был опубликован в 1933 г., перевод А. Д. Радловой — в 1937 г.

5. Критический отзыв К. И. Чуковского о переводе Радловой «Искалеченный Шекспир» (Правда, 1939, 25 ноября).

211

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149.

1. Речь идет о выходе сборника стихов Ахматовой «Из шести книг» (1940) впервые после семнадцатилетнего перерыва.

2. Цикл стихов Ахматовой (1924—1939), впервые появившийся в сборнике «Из шести книг».

3. Речь идет о стихотворениях Ахматовой: «Там тень моя осталась и тоскует...», «Да, я любила их, те сборища ночные...». У Фединых, очевидно, Ахматова читала «Из памяти твоей я выну этот день...»; «гнездами драгоценностей» названы «Перо задело о верх экипажа...», «Звенела музыка в саду...», «Все мы бражники здесь; блудницы...», «После ветра и мороза было...», «Косноязычно славивший меня...», «И на ступеньки встретить...», «Настоящую нежность не спутаешь...», «Столько просьб у любимой всегда...», «В последний раз мы встретились тогда...», «Здравствуй! Легкий шелест слышишь...», «Цветов и неживых вещей...», «Каждый день по-новому тревожен...», «Он длится без конца — янтарный, тяжкий день...», «Я научилась просто, мудро жить...»; «звездными скоплениями» названы «Вижу выцветший флаг над таможенной...», «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Меня покинул в новолунье...», «Со дня Купальницы-Аграфены...», «Венеция», «Протертый коврик под иконой...»,

«Гость», «Я пришла к поэту в гости...», «В то время я гостила на земле...»; и, наконец, «вершинами» названы «Не с теми я, кто бросил землю...», «Встреча», «Чернеет дорога приморского сада...», «Ни в лодке, ни в телеге...», «Широк и желт вечерний свет...», «Из памяти твоей я выну этот день...». Ахматова в разговорах с современниками отмечала, что Пастернак перечисляет почти исключительно ее стихи 1910-х гг., много раз переиздававшиеся в тогдашних сборниках (см., например: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1989. «Сейчас я вам все объясню,— сказала Анна Андреевна.— Он просто впервые читает мои стихи. Уверю вас. Когда я начинала, он был в Центрифуге, ко мне, конечно, относился враждебно и попросту моих стихов не читал. Теперь прочел впервые и, видите ли, совершил открытие: ему сильно понравилось «Перо задело о верх экипажа...» — запись от 4 августа 1940 г.).

4. *Софья Андреевна* Есенина-Толстая, вдова Есенина, знакомая Ахматовой.

5. *Кира Георгиевна* Андроникашвили — вдова расстрелянного в 1938 г. Б. А. Пильняка, в 1938 г. также была арестована.

6. В мае 1940 г. Пастернак лежал в больнице.

7. Л. Н. Гумилев, сын Ахматовой, был арестован в 1938 г., освобожден в 1943 г.

8. Стихотворение «Борис Пастернак» (1936); а также к циклу стихов «Ива» был взят эпитафия из стихотворения Пастернака «Импровизация»:

И это был пруд
И было темно.

9. 10 июля 1940 г. в «Литературной газете» появилась статья В. Перцова «Читая Ахматову», где он писал: «...Стихи Ахматовой написаны давно, в трудное время буржуазного распада семьи... Очень неширок круг явлений жизни, освещенный в творчестве этого незаурядного мастера...»

Впервые — *Viener Slavistischer Almanach*, 1983. Автор — собрание семьи П. А. Павленко.

1. П. А. Павленко был в это время одним из секретарей Союза писателей. Письмо Пастернака было послано вместе с письмом Цветаевой, где подробно излагались ее отчаянное положение и квартирные трудности.

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 149.

1. В августе 1940 г. Ахматова на 5 дней приезжала в Москву (и из них 2 дня прожила в Переделкине у Пастернака), обращалась к А. Фадееву с просьбой походатайствовать об освобождении Л. Н. Гумилева.

2. Это время массированных бомбардировок Англии немецкой авиацией.

3. Эти стихи Ахматовой в настоящее время не обнаружены.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. К. И. Маргулиус — тетка Пастернака и ее дочь М. А. Маркова.

2. В сборник «Избранные переводы» (М., 1940) вошли переводы из Шекспира, Клейста, Ралея, Китса, Байрона, Верлена и др.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Речь идет о Сталине, Благодетель — диктатор в романе Замятина «Мы».

2. А. Н. Толстой, в 1941 г. удостоенный Сталинской премии за роман «Петр Первый», начинает работу над пьесой «Иван Грозный»; С. Эйзенштейн накануне войны начинает снимать фильм «Иван Грозный», музыку к фильму пишет С. Прокофьев.

3. «Гамлет» в переводе Пастернака был опубликован в журн. «Молодая гвардия», 1940, № 4—5; отдельным изданием вышел в Гослитиздате в мае 1941 г.

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990.

1. Е. М. Стеценко — преподавательница французского языка, переводчица, дававшая уроки сыну Пастернака Евгению и ставшая другом семьи (см. о ней подробно: *Пастернак Е. Б. Материалы для биографии*, с. 456—458).

2. М. Ю. *Авинова* — переводчица, подруга Е. М. Стеценко.
3. *Ипполит Васильевич* — муж Е. М. Стеценко.

217

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В письмо вложена фотография Леонида.
2. В тексте письма несколько зачеркнутых строк.
3. Л. Л. Пастернак.

218

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

219

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Работа над циклом стихов «Переделкино» (см. т. 2 наст. изд.).

220

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Роман Спасского «Перед порогом» (Л., 1941), первая часть которого называется «Пролог».

2. Поэма Г. Леонидзе «Детство вождя» (1939), Сталинская премия 1941 г.

221

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. «Характеры» Теофраста. — Ученые записки ЛГУ, № 63. Серия филологических наук, вып. 7, 1941.
2. Жена дяди Пастернака О. И. Кауфмана.

222

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Издательство «Academia» было закрыто в 1936 г.

2. «Проблемы греческого фольклорного языка». — Ученые записки ЛГУ, № 63. Серия филологических наук, вып. 7, 1941.

3. В «Красной нови» стихи Пастернака не появились.

223

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

224

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

225

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

226

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

227

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

228

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание Е. Ц. Чуковской.

1. Знакомство Пастернака с К. И. Чуковским относится к началу 1920-х гг., в конце 1930-х гг., оказавшись соседями в Переделкине, они часто встречались и бывали друг у друга.

2. К. И. Чуковский в это время находился, как и Е. В. Пастернак, в эвакуации в Ташкенте.

3. М. Б. Чуковская — жена К. И. Чуковского. Н. К. Чуковский находился в Ленинграде, Б. К. Чуковский — младший сын К. И. Чуковского погиб в 1941 г. в боях под Москвой.

4. Пастернак выехал в Чистополь 14 октября 1941 г. после приказа ЦК ВКП(б) об эвакуации писателей.

5. Перевод «Ромео и Джульетты» был издан в 1943 г. Сборник переводов из Словацкого не был напечатан.

6. В Переделкине стояла зенитная часть. О судьбе хранившихся на даче работ Л. О. Пастернака см. также в письме № 230 с. 410—411 наст. т.

7. Речь идет об отказе Пастернака подписать письмо с требованием расстрела Тухачевского, Якира и др. в 1937 г.

8. Е. Б. Афиногенова была в эвакуации в Куйбышеве. А. Н. Афиногенов, в 1937 г. исключенный из Союза писателей и из ВКП(б), сблизился с Пастернаком, часто встречаясь с ним в Переделкине. Перед войной Афиногенов был восстановлен в партии, а в первые месяцы войны назначен главой литературного отдела Совинформбюро. 29 октября 1941 г. он погиб в здании ЦК ВКП(б) от авиабомбы.

9. А. В. и С. А. Афиногеновы — мать и дочь А. Н. Афиногенова.

10. А. Ахматова находилась в эвакуации в Ташкенте.

229

Впервые — Иванова Т. Всеволод Иванов — писатель и человек. М., 1970, с. 315—316. Автограф — собрание Т. В. Ивановой.

1. С писателем *В. В. Ивановым* и его женой *Т. В. Ивановой* Пастернак познакомился в 1928 г.; в конце 1930-х гг. они поселились на соседних дачах в Переделкине. История их отношений описана Т. В. Ивановой в книге «Мои современники, какими я их знаю» (М., 1987), там же частично опубликованы записки и письма Пастернака к ним.

2. В Чистополе в эвакуации находились кроме Пастернака еще 4 члена правления Союза писателей: Н. Асеев, Л. Леонов, К. Тренев и К. Федин.

3. К. А. Федин «Горький среди нас» (1941—1944).

4. Н. Ф. Погодин, находился в эвакуации в Ташкенте.

5. В октябре 1941 г. Г. Г. Нейгауз, как немец, был арестован.

6. И. К. Луппол, критик, редактор, был арестован в 1940 г. (Пастернак не знал, что тогда же он был и расстрелян).

7. В. Э. Мейерхольд.

8. З. В. и М. П. Каширины — сестра и мать Т. В. Ивановой. Кома, Таня, Миша — ее дети.

230

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Е. П. Кузьмина, домработница Е. В. Пастернак.
2. Г. А. Смирнов, директор городка писателей в Переделкине.
3. Сын А. Л. Пастернака.
4. О. М. и А. О. Фрейденберги.
5. Н. Н. Вильям-Вильмонт.
6. Жена А. Л. Пастернака.
7. Станислав Нейгауз — сын З. Н. Пастернак.
8. В Парк-Тауне в Оксфорде в 1939—1945 гг. Л. О. Пастернак жил у своей дочери Лидии.
9. Старший сын З. Н. Пастернак умер в 1945 г.
10. А. Ф. Вильям, О. А. Айзенман, П. Д. Эттингер, М. С. Нейгауз, Е. П. Кузьмина.

231

Впервые — *Иванова Т. Всеволод Иванов — писатель и человек. М., 1970, с. 316—317. Автограф — собрание Т. В. Ивановой.*

1. Пьеса Л. Леонова «Нашествие».
2. Т. е. предназначенный для Комитета по делам искусств.

3. М. Ж(ивов) «На чтении пьесы А. Толстого «Иван Грозный».— Литература и искусство, 1924, 14 марта.

4. Имеется в виду баллада А. К. Толстого «Василий Шибанов». Об обращении А. Н. Толстого к теме Ивана Грозного см. письмо № 215 к О. Фрейденберг, с. 392 наст. т., и коммент. 2 к нему.

5. И. Эренбург в это время постоянно выступал в «Красной звезде», «Правде» и других газетах со статьями («Змеиное племя», «Паршивец размечтался», «Голубоглазый стервятник», «Череп в тряпье», «Нутро фрица», «Могила палачей»). Маршак также выступал в эти годы с газетной публицистикой.

232

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг. Автограф — собрание семьи Пастернака.*

1. Сборник переводов Словацкого, подготовленный Пастернаком, не был опубликован.
2. Речь идет о неоконченной пьесе Пастернака «Этот свет».

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990.

1. Пьеса К. Тренева «Навстречу».
2. Пьеса К. Федина «Испытание».
3. Пьеса Л. Леонова «Нашествие».
4. Е. П. Кузьмина.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. О знакомстве О. Фрейденберг с пианисткой М. В. Юдиной, приезжавшей на гастроли в блокадный Ленинград, см.: *Переписка Бориса Пастернака*, с. 199—200. См. также коммент. 1 к письму № 297.

2. «Антоний и Клеопатра» и «Ромео и Джульетта» Шекспира в переводе Пастернака были опубликованы в 1944 г.

3. Сборник «На ранних поездах» (М., 1943).

4. По заказу газеты «Правда» Пастернак писал поэму «Зарево» (см. т. 2 наст. изд.), военные стихотворения Пастернака печатались в газетах «Красная звезда» и «Красный флот» в конце 1943 — начале 1944 г.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — *Русская речь*, 1990, № 1. Автограф — собрание Д. С. Данина.

1. Д. С. Данин прислал Пастернаку с фронта письмо с похвалами стихотворению «Смерть сапера», опубликованного в 1943 г. 10 декабря в «Красной звезде». См. подробно в воспоминаниях Данина (*Русская речь*, 1990, № 1).

2. Историю публикации стихотворения см. с. 629, т. 2 наст. изд.

3. «На ранних поездах». М., 1943.

Впервые — *Литературная Грузия*, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Перевод «Отелло» Пастернак делал по заказу Малого театра.

2. «Ромео и Джульетта» и «Антоний и Клеопатра» были изданы в 1944 г. отдельными книгами.

3. С Пастернаком заключили договоры о постановке не-написанной пьесы Камерный театр в Москве и театр «Красный факел» в Новосибирске.

4. А. О. Фрейденберг умерла 9 апреля 1944 г.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. М. И. Майский — посол СССР в Великобритании.

2. Г. Я. Чечельницкая встречалась с Пастернаком в связи со своей диссертацией, посвященной русским связям Р.-М. Рильке.

3. 28 мая 1945 г. был устроен авторский вечер Пастернака в Доме ученых.

4. М. Цветаева покончила с собой в Елабуге 31 августа 1941 г.

5. В газете «Британский союзник» (1945, № 22, 3 июня) была помещена статья Кр. Ренна «Шекспир в переводах В. Пастернака».

Впервые — Наше наследие, 1990, № 2. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 379.

1. И. С. Бурков познакомился с С. Н. Дурылиным в Томске и по его совету написал письмо Пастернаку.

2. Имеется в виду двухтомное издание Сочинений М. Лермонтова (издание И. Н. Кушнерева и П. К. Прянишникова) 1891 г., в котором были помещены иллюстрации Л. О. Пастернака (к «Мцыри» и др.), М. Врубеля (к «Демону»), В. Серова, И. Репина, В. Васнецова и др.

Впервые — «Встречи с прошлым», вып. 7. М., 1990. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 2980.

1. С. Н. Дурылин — историк литературы, театровед, в 1910-х гг. входил в литературные группы «Сердарда» и «Лирика» (см. о нем в письмах № 4, 33 наст. т.).

2. Речь идет о предполагавшемся издании в Гослитиздате шекспировских пьес в переводах Пастернака, редактором которого должен был быть С. Дурылин.

3. Перевод «Генриха IV» был окончен в 1945 г.

4. Восхищенный отзыв Ап. Григорьева о книге В. Гюго «Вильям Шекспир» (1864) — «Парадоксы органической критики» (Письма Ф. М. Достоевскому) (Письмо 2-е). Ап. Григорьев. Собр. соч., М., 1915.

5. Статья Дурылина о Пастернаке для «Литературной газеты» — опубликована — Литературная учеба, 1988, № 6.

6. Речь идет о сборниках «Земной простор» (М., 1945) и «Избранные стихи и поэмы» (М., 1945).

7. «Transformation». Лондон, 1945, № 1, см. об этом также в письмах № 248 к Л. Л. и Ж. Л. Пастернак и № 242 к Н. Я. Мандельштам наст. т.

8. «Памяти Марины Цветаевой» (см. т. 2 наст. изд.).

242

Впервые — Вестник РСХД, Париж, 1972. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Н. Я. Мандельштам просила Пастернака помочь поэту Ю. Казарновскому, с которым она познакомилась в Ташкенте. Казарновский был одним из последних, кто встречался в лагере с О. Э. Мандельштамом.

2. Предварительные наброски к статье о Блоке, см. т. 4 наст. изд. Одновременно с работой над статьей Пастернак писал главу романа «Доктор Живаго» «Елка у Свентицких», в которой Ю. Живаго пишет реферат о Блоке.

3. Ср. шарж Кукрыниксов в «Литературной газете» 7 ноября 1945 г. «Принц госиз Датский».

4. Книга С. М. Bowra «A book of Russian verse». London, 1945.

243

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Пастернак ездил в Тбилиси в октябре 1945 г. на торжественно отмечавшееся 100-летие со дня смерти Н. Бараташвили.

Впервые — по автографу — собрание В. Лаврова.

1. И. С. *Поступальский* — поэт, переводчик.

Впервые — полностью — Советская культура, 1988, 10 декабря. Автограф — собрание Г. С. Улановой.

1. Г. С. *Уланова* исполняла главную партию в балете С. Прокофьева «Золушка» на сцене Большого театра в 1945 г.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Сборник «Избранные стихи и поэмы». М., 1945.

2. Зачеркнуто карандашом; книга с надписью, датированной этим же днем, была послана О. Фрейденберг.

Впервые — Наше наследие, 1990, № 1. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 379.

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990.

1. Ф. К. Пастернак.

2. Стихотворение Л. Л. Пастернак.

3. Австрийские родственники Л. О. Пастернака.

4. Л. О. Пастернак умер 31 мая 1945 г. Р. И. Пастернак умерла 23 августа 1939 г.

5. М. И. *Майский*, посол СССР в Лондоне.

6. Письмо № 94 к Р. М. Рильке от 12 апреля 1926, см. с. 178 наст. т.

7. Некролог И. Г. *Грбая* был опубликован в газ. «Советское искусство» 13 июля 1945 г.

8. Об этой литературной группе см. подробно в письме № 241 к С. Н. Дурылину (с. 433 наст. тома).

9. В 1945 г. состоялись публичные выступления Пастернака: в Колонном зале, в Доме ученых, с переводами Бараташвили в концертном зале им. Руставели в Тбилиси и др.

10. С 19 по 30 октября Пастернак участвовал в Тбилиси в праздновании юбилея Николая Бараташвили.

11. В. Pasternak. The collected prose works. Arranged with introduction by Stefan Schimansky. London, 1945.

12. В книге была помещена репродукция с рисунка Л. О. Пастернака 1898 г.

13. И. Берлин привез это письмо сестрам Пастернака в Англию. О его встречах с Пастернаком см.: Берлин И. Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах.— Звезда, 1990, № 2.

14. И. Берлин в воспоминаниях пишет, что Пастернак говорил ему о запрещении постановки «Гамлета» во МХАТе Сталиным (Б е р л и н И. Встречи...— Звезда, 1990, № 2, с. 145).

15. Многочисленные письма Пастернака к Р. Н. Ломоносовой хранятся в Русском архиве в Лидсе и в настоящее время не опубликованы (см. ЛО, 1990, № 2, с. 42—43).

249

Впервые — ЛО, 1988, № 5. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Во время пребывания Пастернака в Тбилиси в октябре 1945 г. Н. Табидзе подарила Пастернаку запас бумаги, оставшийся у нее после ареста Т. Табидзе.

2. Е. Д. Спасский — художник, брат С. Спасского.

3. Б а р а т а ш в и л и Н. Стихотворения в переводе Б. Пастернака. М., 1946 (Б-ка «Огонька», № 9). Первоначальную редакцию вступит. статьи см. т. 4 наст. изд.

250

Впервые — Вестник РСХД, Париж, 1972. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Э. Г. Бабаев привез Пастернаку из Ташкента письмо Н. Я. Мандельштам.

2. Н. Я. Мандельштам писала Пастернаку 2 декабря 1945 г.: «...Знаю «На ранних поездах». Но у меня ее нет. О следующей Вашей книге сюда дошел только слух. Говорят, что еще выходит. Если Вы ее не пришлете, я ее не увижу. А это не хорошо. Пришлите».

251

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Рецензия Спасского на кн. «Земной простор» была опубликована в журн. «Ленинград», 1945, № 21—22.

2. См. письмо № 249 к Н. А. Табидзе.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Имеется в виду письмо О. Фрейденберг, написанное карандашом.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. «Заметки к переводам шекспировских драм» писались как предисловие к изданию «Вильям Шекспир в переводе Бориса Пастернака» (М.—Л., Искусство, т. 1—2, 1949—1950), издано без него. Впервые опубликованы в сб. «Литературная Москва» (М., 1956) (см. т. 4 наст. изд.).

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Пастернак предполагал опубликовать свою статью о переводах шекспировских драм в журналах «Звезда» (гл. редактор — В. Саянов) или «Ленинград» (гл. редактор — Б. Лихарев), после постановления ЦК ВКП(б) об этих журналах, закрытия «Ленинграда» и снятия Саянова с поста редактора публикация не осуществилась.

2. Одно из первоначальных названий романа «Доктор Живаго».

3. 4 сентября 1946 г. А. Фадеев на президиуме правления Союза писателей говорил о «чуждом советскому обществу идеализме» в творчестве Пастернака, об его «уходе в переводы от актуальной поэзии в дни войны» и т. д. (Литературная газета, 1946, 7 сентября). На общемосковском собрании писателей 17 сентября 1946 г. Фадеев назвал поэзию Пастернака «безыдейной и аполитичной», которая «не может служить идеалом для наследников великой русской поэзии» (там же, 21 сентября).

4. В письме от 29 июня 1946 г. О. М. Фрейденберг, описывая атмосферу Ленинградского университета, процитировала «Чайку» А. П. Чехова: «Вы, рутинеры, захватили пер-

венство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите».

5. К письму были приложены фотографии.

256

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Ср. «Евангелие... говорило: в том сердце задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности» (Доктор Живаго, с. 124, т. 3 наст. изд.).

257

Впервые — *ЛО*, 1988, № 5. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. См. письмо № 249, с. 446—447 наст. т.

2. См. коммент. 3 к письму № 255 к О. Фрейденберг.

258

Впервые — Вопросы литературы. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Поэма Спасского «Всадник» (Звезда, 1946, № 2—3).

259

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Договор на издание драм Шекспира в переводе Пастернака был заключен в 1945 г., однако первый том вышел лишь в 1949 г. после личного ходатайства Фадеева.

260

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. О. М. Фрейденберг прислала Пастернаку работу «Происхождение лирики», которая не была при ее жизни опубликована.

2. Н. Н. Веденяпин.

3. По настоянию Ф. М. Левина — редактора книги Пастернака, готовившейся в издательстве «Советский писатель» (тираж в 1948 г. был уничтожен), Пастернак переделывал ряд мест в поэмах «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — по автографу — собрание семьи К. П. Богатырева.

1. *З. Ф. Руофф*, биолог, поклонница творчества Рильке, прислала Пастернаку письмо из ссылки.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В статье «О поэзии Б. Пастернака» (*Культура и жизнь*, 1947, № 8 (27)) А. Сурков писал, что «реакционное отсталое мировоззрение» Пастернака «не может позволить голосу поэта стать голосом эпохи». Сурков в качестве примера приводил строку из стихотворения Пастернака «Определение поэзии» (1917) — «Это слезы вселенной в лопатках...».

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Договор на перевод 1-й части «Фауста» был заключен в мае 1947 г. с Гослитиздатом. Кандидатура Пастернака осенью 1946 г. была впервые предложена на Нобелевскую премию.

2. В письме 28 марта 1947 г. О. Фрейденберг писала: «Вчера слышала по радио о Бетховене фразу: «...он осуществлял человеческое значенье».

Впервые — *Русская речь*, 1990, № 1. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — Русская речь, 1990, № 1. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. *Б. С. Кузин*, биолог, в 1930-х гг. друживший с О. Мандельштамом (см. его воспоминания — «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, № 3). Стихи Кузина опубликованы в журн. «Даугава», 1988, № 11.

2. Приложенное письмо написано ранее.

3. Ср. выступление А. Фадеева «Наши идейные противники» на XI пленуме правления Союза писателей СССР, где Пастернак обвинялся в том, что его творчество в европейской печати противопоставляется «всем советским писателям», что его объявляют «героем борьбы индивидуализма с коллективизмом» (Литературная газета, 1947, 29 июня).

Впервые — Наше наследие, 1990, № 1. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 379.

Впервые — Наше наследие, 1990, № 1. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 379.

1. См. письмо № 268 И. Буркову, с. 466 наст. т.

2. В журн. «Октябрь» (1948, № 4) была опубликована статья Н. Маслина «Маяковский и наша современность», где утверждалось, что творчество Пастернака «нанесло серьезный ущерб советской поэзии». После этого тираж книги «Избранное» был уничтожен (изд. «Советский писатель») (см. записи Л. К. Чуковской. — ЛО, 1990, № 2, с. 94).

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Имеется в виду О. В. Ивинская и О. Ф. Берггольц.

Впервые — по автографу — собрание семьи С. Спасского.

1. Ахматову.

2. Стихи из романа «Доктор Живаго».

Впервые — по автографу — собрание семьи С. Спасского.

1. В феврале 1949 г. Пастернак сообщил, что с августа 1948 г. перевел 5000 строк «Фауста». Перевод первой части «Фауста» был окончен в марте 1949 г.

2. Романа «Доктор Живаго».

Впервые — по автографу — собрание семьи С. Спасского.

1. В годы работы над романом «Доктор Живаго» переводы были единственным средством к существованию Пастернака.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. С письмом были посланы две фотографии работы Л. В. Горнунга из серии, сделанной им в 1948 г.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В 1948 г. освободили арестованную в 1937 г. жену брата О. Фрейденберг.

Впервые — *ЛО, 1988, № 5*. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Дарственная надпись не известна.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Возвращение из Меррекуля было в 1910 г.

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. Цикл стихов Спасского «Над морем».
2. Вторая жена Спасского, певица А. И. Попова-Журавленко.

279

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. К. И. Лапшова.
2. Портрет К. И. Лапшовой с маленьким Борисом Пастернаком на руках был написан Л. О. Пастернаком в 1890 г. (не окончен).
3. О. В. Ивинская.
4. С. М. Bowra. A book of Russian verse. London, 1945; С. М. Bowra. Creative Experiment. London, 1949.

280

Впервые — по автографу — Литературный музей Грузии.
1. 9 октября 1949 г. О. В. Ивинская была арестована, обстоятельства дела подробно описаны ею в журн. «Вильнюс», 1989, № 7—8.

2. С. и М. Чиковани.

281

Впервые — П а с т е р н а к Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — собрание Н. Н. Дмитриевой.

1. Выставка картин умершего в 1949 г. художника Коли Дмитриева.

282

Впервые — П а с т е р н а к Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — собрание Б. И. Аверина.

1. Родителям Коли Дмитриева.
2. А. А. Вознесенский.
3. Речь идет об аресте О. Ивинской.

283

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Статья Фрейденберг «Сафо» (Доклады и сообщения. Вып. 1. Филологический институт ЛГУ, 1949).
2. 27 ноября 1949 г. Фрейденберг писала: «Занимаюсь

много отцом. Был крупнейший изобретатель. Вспоминаю, как ты один это почувствовал в молодости, в Петербурге, помнишь?» (ср. также: Фрейденберг М. Записки русского непоседы. Одесса, 1889).

3. У. Томсон, английский физик-экспериментатор, изобретатель.

4. В письме от 7 августа 1949 г. Фрейденберг, очевидно, неверно прочла слово «загнанных».

284

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Гос. публ. б-ка им. К. Маркса (Тбилиси).

1. Н. Г. Вачнадзе, киноактриса, сестра К. Г. Андроникашвили, жены Б. Пильняка.

2. Письмо написано по прочтении книги Н. Вачнадзе «Встречи и воспоминания». Тбилиси, 1949.

3. Застольная грузинская песня.

4. К. Г. Андроникашвили и Б. Б. Андроникашвили, сын Б. Пильняка.

5. Ф. А. Твалтвадзе — редактор, переводчица.

285

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9, но с ошибочным адресатом С. Н. Дурылину. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Н. С. Родионов, исследователь творчества Л. Н. Толстого.

2. Письмо не окончено и не отправлено.

286

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1 — с сокращениями. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Г. Г. Нейгауз вернулся из гастрольной поездки в Тбилиси.

2. Г. Андриадзе — внук Н. А. Табидзе.

3. А. Н. Погодина.

4. С. Г. Нейгауз в это время уже становится известным пианистом.

5. А. Н. Андриадзе — муж Т. Т. Табидзе.

6. Речь идет о цикле стихов А. Ахматовой «Слава миру», написанных ею в надежде, что это облегчит участь в третий раз в 1949 г. арестованного сына, Л. Н. Гумилева. Их появление в «Огоньке» (1950, № 36 и 42) было первой публикацией

Ахматовой после постановления ЦК ВКП(б) 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Два стихотворения из этого цикла, которые А. Сурков включил в сб. А. А х м а т о в а. Стихотворения. М., 1958, Ахматова во всех экземплярах, проходивших через ее руки, заклеивала («Говорят дети», «Песня мира»).

7. Пастернак имеет в виду «несколько стихотворений», печатавшихся в «Знамени», 1936, № 4 (т. 2 наст. изд.).

287

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — собрание Р. К. Микадзе.

1. Р. К. Микадзе — скульптор, знакомая Н. А. Табидзе и Пастернака.

2. Речь идет о приезде Пастернака в Тбилиси в октябре 1945 г.

288

Впервые — ЛО, 1988, № 5. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Ф. А. Твалтвадзе.

2. В «Новом мире» (1950, № 8) появилась статья Т. Л. Мотылевой, в которой она характеризовала пастернаковский перевод «Фауста» (первая часть была опубликована в апреле 1950 г. в кн.: Г е т е. Избранные произведения) как не дающий представления о подлиннике, ни о его форме, ни о содержании. Ср. в письме к А. С. Эфрон: «Была тревога, когда в «Нов. мире» выругали моего «Фауста», на том основании, что будто бы боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все «иррациональное» передано слишком хорошо, а передовые идеи Гете (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится» (Переписка Бориса Пастернака, с. 507).

289

Впервые — Э ф р о н А. Письма из ссылки. Париж, 1972. Автограф — ЦГАЛИ, ф. 1991.

1. А. С. Эфрон — дочь М. Цветаевой, арестованная вторично (первый раз в 1939 г.), сосланная в Туруханск. Переписку Пастернака с А. Эфрон см. в кн.: Э ф р о н А. О Марине Цветаевой. М., 1989.

2. А. С. Эфрон зарабатывала в Туруханске писанием лозунгов и плакатов.

Впервые — Пастернак Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — Музей Дружбы народов (Тбилиси).

1. М. Чиковани, жена С. Чиковани.

2. Здесь и далее речь идет о снятии С. Чиковани с поста первого секретаря Союза писателей Грузии, который он занимал с 1944 до 1951 г.; после снятия Чиковани на этот пост был назначен Ираклий Абашидзе.

3. Г. Н. Леонидзе.

4. Нина Табидзе.

Впервые — Литературная Грузия, 1980, № 2, полностью — ЛО, 1988, № 5. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. В феврале 1935 г. Пастернаки и Т. и Н. Табидзе жили в Ленинграде в гостинице «Октябрьская».

2. Перевод второй части «Фауста» был окончен в августе 1951 г.

3. Е. А. Леонидзе.

4. На этом чтении романа присутствовали А. Ахматова, Д. Н. и В. П. Журавлевы, Е. А. и М. А. Скрабины.

Впервые — Юность, 1988, № 9 — с сокращениями. Автограф — ЦГАЛИ.

1. В 1952 г. В. Т. Шаламов из Якутии, где он находился на вечном поселении после лагеря, передал Пастернаку две тетради своих стихов. С этого времени началась их переписка, продолжавшаяся до 1956 г. (наиболее полно опубликована в кн. «Переписка Бориса Пастернака»).

2. К тетрадям своих стихов Шаламов приложил записку: «Примите эти две книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет».

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. В октябре 1952 г. Пастернак перенес тяжелый инфаркт.

2. Ср. стихотворение «В больнице», т. 2 наст. изд.

3. Е. А. и Н. Г. Леонидзе — жена и дочь Г. Н. Леонидзе.

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

Впервые — *ЛО*, 1988, № 5. Автограф — собрание семьи М. К. Баранович.

1. *М. К. Баранович*, машинистка, переводчица, познакомилась с Пастернаком в конце 1920-х, с середины 1940-х гг. постоянно перепечатывала главы романа «Доктор Живаго» и стихи из романа.

2. 27 декабря 1946 г. Пастернак читал у М. К. Баранович первые главы романа в присутствии К. Н. Бугаевой, А. С. Кочеткова и М. С. Петровых.

Впервые — Литературная газета, 1989, 12 июля. Автограф — собрание Л. А. Озерова.

1. «Поэма о Гоголе» Н. Асеева публиковалась отрывками с 1952 г., полностью — в 1964 г.

Впервые — *Огонек*, 1987, № 16. Автограф — собрание А. Б. Асмус.

1. *С В. Ф. Асмусом*, историком философии, Пастернак сдружился летом 1930 г., когда они жили вместе в Ирпене. Их тесные дружеские отношения продолжались до смерти Пастернака.

2. А. Б. Асмус — вторая жена Асмуса.

Впервые — по автографу — Литературный музей Грузии.

1. 4 апреля 1953 г. было объявлено о реабилитации «врачей-отравителей» (*Литературная газета*, 1953, 4 апреля; ср.: *Рапорт Я. Воспоминания. — Дружба народов*, 1988, № 4).

2. Г. Н. Леонидзе.

3. А. Н. Андриадзе.

Впервые — *Литературная Грузия*, 1966, № 2. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Н. А. Табидзе после смерти Сталина пыталась возобновить хлопоты об освобождении Т. Табидзе, не зная, что он погиб.

2. Н. Г. Вачнадзе умерла 14 июня 1953 г.

300

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Отдельное издание «Фауста» в переводе Пастернака вышло в декабре 1953 г.

2. Муж М. А. Марковой.

301

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание семьи М. К. Баранович.

1. Поздравление М. К. Баранович и ее родственников А. А., М. К., М. Г. и К. М. Поливановых с рождением внучки.

2. Е. Д. Скворцова, на даче у которой в Валентиновке М. К. Баранович и ее семья проводили лето.

3. Тексты стихотворений «Белая ночь» и «Весенняя распутица».

4. М. И. Цветаева.

302

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. О ссоре с Г. Г. Нейгаузом летом 1953 г. см. также письмо № 304 к М. В. Юдиной, с. 521 наст. т. Ср. также воспоминания Э. Г. Герштейн. — *ЛО*, 1990, № 2, с. 102.

2. О. В. Ивинская была освобождена осенью 1953 г. Сотрудница Гослитиздата А. П. Рябинина, по просьбе Пастернака, подтвердила справкой ее работу для издательства, на основании которой Ивинская смогла восстановить московскую прописку.

3. Вместе с письмом были посланы стихи «Бессонница», «Под открытым небом», «Август», «Ветер», «Хмель».

303

Впервые — Журавлев Д. Жизнь. Искусство. Встречи. М., 1985, с. 342. Автограф — собрание Д. Н. Журавлева.

1. О своем знакомстве с Пастернаком Д. Н. Журавлев, ак-

тер, чтец, пишет в своих воспоминаниях «Жизнь. Искусство. Встречи». Там же опубликованы письма Пастернака к нему.

2. С письмом были посланы стихи, см. коммент. 3 к письму № 302; в цикл «Колыбельные песни» входило также стихотворение «Сказка».

304

Впервые — *Новый мир*, 1990, № 2. Автограф — *ОР ГБЛ*.

1. Знакомство Пастернака с известной пианисткой *М. В. Юдиной* состоялось в 1929 г. Об истории их отношений см.: Пастернак Е. В. Высокий стойкий дух. (Вступит. ст. к публикации переписки Юдиной и Пастернака. — *Новый мир*, 1990, № 2.)

2. В письме 14 декабря 1953 г. Пастернак приглашал Юдину приехать к нему в *Переделкино* в любой воскресный вечер вместе с *Г. Г.* и *М. С. Нейгаузами*.

305

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

306

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

307

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Имеется в виду арест *О. Ивинской*.

2. Пастернак хотел сам писать предисловие к «*Фаусту*», однако издательство поручило эту работу *Н. Н. Вильям-Вильмунту*.

308

Впервые — *Записки Отдела рукописей ГБЛ*. Вып. 29. М., 1967. Автограф — *ОР ГБЛ*.

1. 15 января 1954 г. Юдина писала Пастернаку: «...о *Фаусте* ... я его боюсь. Видно, мои духовные силы слабы — я не могу долго читать о воплощенной нечистой силе, которая так умно, остроумно и порою гениально разглагольствует...»

2. Гражданская панихида по *Пришвину* состоялась 18 января 1954 г. в Центральном доме литераторов. Юдина писала

Пастернаку: «...У гроба М. М. Пришвина, разумеется, играла я ... Кроме Баха, Моцарта и Бетховена — Бородин, а не Балакирев...»

309

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Г. Козинцев в 1954 г. поставил «Гамлета» в переводе Пастернака на сцене Ленинградского государственного академического театра им. А. С. Пушкина. Переписка Пастернака с Козинцевым в связи с этой постановкой опубликована в журн. «Вопросы литературы» (1975, № 1).

310

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. В журн. «Знамя» (1954, № 4) были опубликованы под заголовком «Стихи из романа в прозе «Доктор Живаго»: «Весенняя распутица», «Белая ночь», «Март», «Лето в городе», «Ветер», «Хмель», «Бабье лето», «Разлука», «Свидание», «Свадьба». Стихи предваряла авторская заметка: «Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне. Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году...»

2. В конце спектакля звучал 76-й сонет Шекспира, специально переведенный Пастернаком, однако Козинцев воспользовался переводом С. Я. Маршака.

311

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

312

Впервые — П а с т е р н а к Борис. Из писем разных лет. М., 1990. Автограф — собрание семьи Пастернака.

313

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. 27 июля 1954 г. Фрейденберг писала о стихах из рома-

на: «...ни один цикл твоих стихов так не приближал тебя к твоим молодым началам, так не возвращал к Близнецам в тучах...» (Переписка Бориса Пастернака, с. 290).

2. 22 июля 1954 г. А. С. Эфрон, получив от Пастернака «Знамя» со стихами из романа, писала, что он в них говорит «с потомками, перешагнув через современников» (Эфрон А. О Марине Цветаевой, с. 435).

314

Впервые — Вопросы литературы, 1969, № 9. Автограф — собрание семьи С. Спасского.

1. С. Д. Спасский в 1949 г. был арестован и в 1954 г. освобожден из лагеря.

315

Впервые — *Переписка с Ольгой Фрейденберг*. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Речь идет о выдвижении Пастернака на Нобелевскую премию в 1954 г.; премия в этом году была присуждена Э. Хемингуэю.

316

Впервые — Русские новости (Париж), 1965, 28 мая — с сокращениями, полностью — Русская речь, 1990, № 2. Автограф — собрание В. Лаврова.

1. Н. П. Смирнов — прозаик, критик, автор монографии «Михаил Пришвин» (1952). В 1930-х гг. был репрессирован. В 1965 г. в «Русских новостях» он напечатал свой очерк, отрывки из писем и заметки о похоронах Пастернака «Последний путь» (28 мая).

2. В. Д. Пришвина — вдова М. Пришвина.

3. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 14 августа 1946 г.

317

Впервые — по автографу — собрание семьи М. К. Баранович.

1. В сентябре 1955 г. М. К. Баранович перепечатала и отправила Пастернаку вторую книгу романа «Доктор Живаго».

2. Пастернак писал М. К. Баранович 15 сентября 1955 г.: «Нельзя ли было бы из двух Ваших экземпляров дать на быстрое срочное прочтение интересующимся и достойным, т. е. за-

служивающим этой Вашей милости с обязательной оговоркой, что текст еще не подвергся последней моей отделке... Такой случай, достойный внимания, известен мне только один. Это — Журавлевская группа, т. е. он, Аля (А. С. Эфрон.— Е. П., К. П.), с которой Вы познакомились и страшно полюбили её, ее тетя (Е. Я. Эфрон.— Е. П., К. П.) и все, кого они придумают. Это люди очень близкого нам с Вами духа...» (собрание семьи М. К. Баранович).

3. О. В. Ивинская.

318

Впервые — по автографу — собрание семьи К. П. Богатырева.

1. *Паула Бекер-Модерзон*, скульптор, близкая подруга Р.-М. Рильке и его жены, ей посвящен «По одной подруге реквием», переведенный Пастернаком (см. с. 334, т. 2 наст. изд.).

319

Впервые — *ЛО*, 1988, № 5. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Стихи Т. Табидзе в переводах Пастернака были опубликованы в «Новом мире» (1956, № 7), в сб.: Табидзе Т. Избранное (М., 1957) и Стихотворения (М., 1960).

2. Пастернака приглашали участвовать в изданиях периода «оттепели». В. Каверин вспоминал об отказе Пастернака дать что-нибудь в 3-й альманахе «Литературная Москва», и Э. Казакевич объяснял: «Литературная Москва» — для него компромисс. Ему хочется, чтобы завтра же была объявлена свобода печати» (Знамя, 1987, № 8, с. 114).

3. Окончание письма повреждено.

320

Впервые — Грани, 1976, № 25. Автограф — собрание М. Г. Ватагина.

1. Переводчик Марк Германович *Ватагин* прислал Пастернаку свои стихи в конце 1955 г.

321

Впервые — Вопросы литературы, 1972, № 9. Автограф — собрание семьи К. П. Богатырева.

1. В альманахе «Литературная Москва» (М., 1956) были

опубликованы «Заметки к переводам шекспировских трагедий».

2. Dichterin — называет Рильке Цветаеву в письме Пастернаку от 3 мая 1926 г.

3. Для очерка «Люди и положения», который был написан как предисловие к несостоявшемуся изданию избранных стихотворений, Пастернак перевел стихи Рильке «За книгой» и «Созерцание» из книги «Книга образов» (см. т. 2 наст. изд.).

4. Антон Киппенберг — издатель Рильке, Лу Андреас Саломе — друг Рильке.

322

Впервые — *ЛО*, 1990, № 2. Автограф — собрание Г. А. Арбузовой.

1. К. Г. Паустовский и К. А. Федин участвовали в издании альманаха «Литературная Москва».

2. Рукопись была увезена в Италию журналистом Серджио Данджелло, членом компартии Италии, приезжавшим к Пастернаку весной 1956 г.

3. Э. Г. Казакевич был членом редколлегии «Литературной Москвы».

323

Впервые — Наше наследие, 1990, № 1. Автограф — *ЦГАЛИ*, ф. 379.

1. Пастернак был в это время занят редактурой и переделкой своих ранних стихов для неосуществившегося издания избранных произведений в Гослитиздате.

324

Впервые — Алла Константиновна Тарасова. Воспоминания и документы. М., 1978, с. 219—220.

1. А. К. Тарасова играла главную роль в драме Шиллера «Мария Стюарт», поставленной в переводе Пастернака МХАТом в 1957 г.

2. В марте 1957 г. Пастернак перенес воспаление мениска и после больницы находился в санатории Узкое.

3. Вместе с письмом Пастернак послал Тарасовой стихотворение «Вакханалия».

325

Впервые — *ЛО*, 1988, № 5. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Стихотворение «Вакханалия».

2. Эти события описаны в кн.: И в и н с к а я О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. Париж, 1978, см. также «Вильнюс», 1989, № 7—9.

3. А. А. Сурков в это время секретарь Союза писателей.

4. А. В. Старостин, редактор Гослитиздата.

5. Поэма «Высокая болезнь».

6. Д. А. Поликарпов, в 1940-х оргсекретарь Союза писателей, в это время зав. отделом культуры ЦК КПСС.

7. Г. В. Бебутов — редактор издательства «Заря Востока» в Тбилиси. Пастернак посылал ему новые переводы произведений П. Яшвили и С. Чиковани, которые вошли в сб.: П а с т е р н а к Б. Стихи о Грузии. Грузинские поэты. Избранные переводы. Тбилиси, 1958.

326

Впервые — ЛО, 1988, № 5. Автограф — Музей дружбы народов (Тбилиси).

1. Пастернак перевел в это время стихи Чиковани «Цветы», «Майский дождь», «Снежок», «В тени платанов», «Табак» (все опубликованы в кн.: П а с т е р н а к Б. Стихи о Грузии... Тбилиси, 1958).

2. М. И. Златкин — главный редактор издательства «Заря Востока».

3. Стихотворения «После перерыва», «Стога», «Тишина» и др. были опубликованы в «Литературной Грузии» (1957, № 1).

4. Итальянское издание романа в издательстве Фельтри-нелли вышло 15 ноября 1957 г. На английском роман вышел в переводе М. Хейворда и М. Харари; о переводе М. И. Будберг ничего не известно. В 1920-х ею, возможно, была переведена повесть «Детство Люверс» (см. коммент. 1 к письму № 106).

327

Впервые — Вопросы литературы, 1966, № 1. Автограф — Музей дружбы народов (Тбилиси).

1. Статья С. Чиковани о Т. Табидзе была опубликована в качестве вступительной в книге стихотворений Т. Табидзе в серии «Библиотека поэта» (1961).

2. С. Чиковани писал: «Тициану Табидзе (<...>) была присуща какая-то особая тревожная интонация, которую поэт сам называл «гадавардна», что означает: «бросаться очертя голову», «окунуться»...

Впервые — Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. Л., 1989. Автограф — Музей А. Блока (Ленинград).

1. Д. Е. Максимов, литературовед, прислал Пастернаку трехтомное Собрание сочинений М. Лермонтова в издании «Библиотека поэта» (Малая серия), со своей вступительной статьей.

2. Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «В дни безграничных увлечений...» (1831).

Впервые — Огонек, 1987, № 16. Автограф — собрание семьи Пастернака.

1. Е. А. Благинина — поэт.

2. В октябре 1956 г. директор Гослитиздата А. К. Котов получил указание подготовить к печати роман «Доктор Живаго». Редакторами были назначены А. В. Старостин и А. И. Пузиков (гл. редактор издательства). Договор был подписан 7 января 1957 г. Гослитиздат обратился к Фельтринелли с просьбой приостановить итальянское издание романа до выхода русского издания в Москве. Фельтринелли ответил согласием, однако когда летом 1957 г. стало ясно, что московское издание не появится, Фельтринелли не согласился более задерживать выход книги — итальянское издание вышло 15 ноября 1957 г.

Впервые — ЛО, 1990, № 2. Автограф — собрание Г. А. Арбузовой.

1. Описка Пастернака, письмо написано Паустовскому уже после «разгрома» «Литературной Москвы», т. е. в 1958 г., когда все члены редколлегии, кроме Каверина и Паустовского, выступили с публичными покаяниями в той или иной форме (Каверин В. Эпilog. М., 1989, с. 350).

Впервые — Русский альманах. Париж, 1981 (публикация Р. Гера). Автограф — собрание А. Раннита, Йельский университет (США).

1. Ф. А. Степун, русский философ, встречался с Пастернаком с начала 1910-х гг. в литературно-философских кружках при издательстве «Мусагет», в 1922 г. был выслан из СССР (см. его статью о романе «Доктор Живаго» и творческой судьбе Пастернака. — *ЛО*, 1990, № 2).

2. Книга Степуна «Из писем прапорщика артиллериста» (М., 1918).

332

Впервые — Русский альманах. Париж, 1958. Автограф — собрание А. Раннита, Йельский университет (США).

1. П. П. Сувчинскому.

2. По просьбе музея Фауста в Штутгарте Пастернак написал заметку о «Фаусте», см. т. 4 наст. изд.

3. Имеется в виду выход французского перевода романа «Доктор Живаго».

333

Впервые — В мире книг, 1987, № 5. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Вместе с письмом были посланы ранние редакции стихотворений «За поворотом» и «Все сбылось».

334

Впервые — Русская мысль (Париж), 1976, 11 ноября. Автограф — собрание Е. Ц. Чуковской.

1. Вместе с письмом посланы стихи «Все сбылось» и «Пахота».

2. В. П. Катаев, в это время главный редактор журнала «Юность», в 1958 г. вступил в КПСС и вошел в организующееся правление Союза писателей РСФСР. В августе 1957 г., когда в Союзе писателей обсуждалась возможность публикации «Доктора Живаго», Катаев выступал с нападками на роман. Ср. в письме к А. Камю 28 июня 1958 г. Пастернак писал: «...человек в черных очках, сделавших его неузнаваемым, сняв их, вызвал во мне бурю сожалений, что я его встретил. Он мне рассказал, что может с Вами познакомиться и рассказать Вам обо мне. Как это прискорбно. Я предпочитаю быть жертвой низости открыто, чем казаться с нею связанным...» (оригинал по-французски).

3. Книга К. И. Чуковского «Чехов» (1958).

4. К. И. Чуковский напомнил Пастернаку о дне рождения А. Ахматовой 23 июня.

Впервые — Пастернак Б. Об искусстве. 1990. Автограф — собрание Вяч. Вс. Иванова.

1. В. В. Иванов, филолог, сын близких друзей Пастернака Т. и Вс. В. Ивановых. См. воспоминания Вяч. Вс. Иванова о Пастернаке. — Литературная газета, 1990, № 5, 31 января; Согласие, 1990, № 1.

Впервые — ЛО, 1988, № 5. Автограф — собрание семьи Л. А. Воскресенской.

1. Л. А. Воскресенская, искусствовед, библиограф, знакомая Пастернака с 1900-х гг.

2. Ср. стихотворение «Божий мир», т. 2. наст. изд.

Впервые — Огонек, 1990, № 8, с. 27. Автограф — собрание В. Приходько.

1. О. Гончаров — геолог из Львова.

2. 11 февраля в Англии было опубликовано стихотворение «Нобелевская премия» (см. т. 2 наст. изд.), после чего Пастернака вызвали к Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко и потребовали, чтобы он покинул Москву на время приезда премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана. С 20 февраля по 6 марта Пастернак был в Тбилиси.

3. О. В. Ивинская.

Впервые — Литературная Грузия, 1980, № 2; ЛО, 1988, № 5 — полностью. Автограф — Литературный музей Грузии.

1. Письмо написано после возвращения из Тбилиси.

2. В сборник Т. Табидзе «Стихотворения» (М., 1960), сданный в производство в январе 1960 г., были включены переводы Пастернака. Опасения Пастернака связаны с тем, что его переводы были только что исключены из готовившегося собрания сочинений Шекспира; «Мария Стюарт» шла во МХАТе без указания имени переводчика.

3. Чукуртма Гудиашвили, дочь Ладо Гудиашвили.

4. Р. К. Микадзе.

Впервые — Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1—2. Vol. XV. 1974. Janvier — juin.

1. Свое знакомство с Пастернаком в 1920-х гг. *Б. К. Зайцев* описывает в очерке «Путь. О Пастернаке» (см. *ЛО*, 1990, № 2).

2. Зайцев писал: «Из его автобиографического очерка я узнал, что мы родились с ним в один день, только он на 9 лет позже меня (а Жуковский на 98 лет раньше, но тоже в этот день). Совпадение это подтолкнуло написать ему. Я написал весьма дружественно. Его ответ — дружественность в квадрате» (*ЛО*, 1990, № 2, с. 78). Пастернак помнил этот день еще и как день смерти Пушкина (см. письмо № 199 Л. О. Пастернаку, с. 368 наст. т.).

3. Зайцев *Б. Жуковский*. Париж, 1951.

4. *В. А. Зайцева* — жена *Б. Зайцева*.

Впервые — Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1—2. Vol. XV. 1974, Janvier — juin.

1. Письмо профессору Гейдельбергского университета *Д. И. Чижевскому* с характеристикой книги Зайцева «Жуковский» (см. *Дружба народов*, 1990, № 3).

2. Предисловие Пастернака к переводам Шекспира было опубликовано как «Замечания к переводам шекспировских трагедий» в альманахе «Литературная Москва» (1956), предисловие к «Фаусту» написал по поручению издательства *Н. Н. Вильям-Вильмонт*. Зайцев, процитировав эти строки в своей статье, далее пишет: «Вот «специалист» в предисловии к его переводу «Фауста» и предупреждает читателей, что слово «Бог» у Гете надо понимать... как-то особенно, чтобы Бог не был Богом» — имеется в виду фраза Вильмонта: «Господь, архангелы и мефистофель и т. п. не более как носители извечно борющихся природных и социальных сил» (*ЛО*, 1990, № 2).

3. См. «В дом-музей Фауста», т. 4 наст. изд.

Впервые — Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1—2. Vol. XV. 1974. Janvier — juin.

1. *Н. Б. Соллогуб* — дочь *Б. К. Зайцева*.

2. До *Б. Зайцева* также не дошло письмо от 29 апреля 1959 г., оно опубликовано в журн. «Наше наследие», 1990, № 1, по копии, хранящейся в *ЦГАЛИ*.

3. Речь идет об очерке «Люди и положения», который был написан в качестве предисловия к несостоявшемуся изданию стихов Пастернака в Гослитиздате (см. т. 4 наст. изд.).

4. Жаклин де Пруайяр, переводчица, исследовательница и друг Пастернака (см. ее статью о Пастернаке. — Горизонт, 1990, № 2).

342

Впервые — Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1—2. Vol. XV. Janvier — juin, 1974.

1. Повесть Зайцева «Юность». Париж. 1950.

2. Пастернак в это время начал работу над пьесой «Слепая красавица», оставшуюся незавершенной.

343

Впервые — Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988. Автограф — ОР ГБЛ.

1. Ж. Нива, ныне известный французский славист, находился в это время на стажировке в Москве.

344

Впервые — по автографу — собрание семьи М. К. Баранович.

1. 26 декабря 1959 г. М. К. Баранович писала Пастернаку: «Если бы Вы позволили, я прислала бы Вам копию того письма. «Область, дух которой выражает собою «Фауст», есть царство органического, мир жизни, (...) с внутренней стороны называющий эту силу любовью». Это было написано в 1953. И тогда еще эта сила не привела к высшему подвигу, перед которым склонился весь мир» (см. цитируемое неточно М. Баранович письмо № 301, с. 516 наст. т.).

345

Впервые — Cahiers du Monde Russe et Soviétique. 1—2. Vol. XV. Janvier — juin.

1. Первый выпуск нью-йоркского альманаха «Воздушные пути» (1960) его участники посвятили 70-летию В. Пастернака.

2. Статьи Р. Гуля «Победа Пастернака» — «Новый журнал» (Н-И., 1958, № 55); В. Франка «Реализм четырех измерений» — Мосты, 1959, № 2 (ср. ЛО, 1990, № 2, с. 72).

3. Имеется в виду О. В. Ивинская.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

- Абашидзе Ираклий Виссарионович (р. 1909), грузинский поэт — 347, 638, 665.
- Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925), писатель-сатирик — 142
- Авинова Мария Юрьевна — 349, 394, 648
- Адамович Георгий Викторович (1892—1972), поэт, критик — 577
- Айзенман Ольга Александровна (1879—1964), художница — 413, 651
- Аксенов Иван Александрович (1884—1935) — 102, 120, 600, 622
- Александрова Ольга Ивановна, инженер — 480—482
- Алпатов Михаил Владимирович (1902—1986), искусствовед — 521
- Алпатова Софья Тимофеевна — 521
- Амари — см. Цетлин М. О.
- Ананишвили Элизбар Георгиевич, грузинский поэт, переводчик — 552
- Анджапаридзе Вера (Верико) Ивлиановна (1900—1991) — 425, 426
- Андреас Лу Саломе, немецкая писательница — 546, 672
- Андреев Константин Алексеевич (1848—?), профессор математики — 40, 589
- Андриадзе Алексей Николаевич (1920—1985) — 487, 492, 505, 512, 513, 570, 663, 666
- Андриадзе Гиви Алексеевич — 487, 492, 505, 512, 513, 570, 663
- Андроникашвили (Пильняк) Борис Борисович (р. 1934), писатель — 485, 663
- Андроникашвили Кира Георгиевна — 386, 485, 646, 663
- Андроникашвили Элевтер Луарсабович, физик — 340, 638
- Анисимов Юлиан Павлович (1889—1940), поэт, переводчик, художник — 43, 66, 81, 92, 585, 590, 593, 598
- Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909), поэт — 272, 273, 341, 465, 498
- Антокольский Павел Григорьевич (1896—1978), поэт — 350, 438
- Аполлинер Гийом (1880—1918), французский поэт — 478
- Аптекарь Валериан Алексеевич — 309, 312, 632
- Арагон Луи (1897—1982), французский поэт — 558
- Арсенишвили Али, грузинский поэт — 346
- Асатиани Тина — 570
- Асеев Николай Николаевич (1889—1963), поэт — 74, 76, 81—82, 100, 105, 128, 139, 140, 158, 168, 169, 170, 191, 202—203, 229, 230, 237, 239, 245, 273, 274, 276, 330, 337, 408, 413, 424, 436, 507, 533, 595—597, 600, 601, 611, 612, 615, 619—621, 623, 650, 666
- Асеева Ксения Михайловна (1893—1985) — 231, 533, 620
- Асмус Ариадна Борисовна (р. 1921) — 511, 666

* В указатель включены имена, встречающиеся в письмах Б. Л. Пастернака; имена, объясненные в комментариях, не аннотируются.

- Асмус Валентин Фердинандович (1894—1975), историк фило-софии — 403, 413, 422, 423, 427, 428, 438, 447, 450, 509—511, 632, 666
- Асмус Ирина Сергеевна — 413, 420, 422, 423, 427, 428, 438, 447, 450, 458, 510, 632
- Афиногенов Александр Николае-вич (1904—1941), драма-тург — 407, 650
- Афиногенова Антонина Василь-евна — 407, 650
- Афиногенова Евгения Бернгар-довна (1905—1948) — 407, 650
- Афиногенова Светлана Алексан-дровна — 407, 650
- Ахматова Анна Андреевна (1889—1966) — 127, 140, 184, 186, 232, 252, 264, 273, 315, 328—329, 384, 392—393, 406, 408, 410, 452, 459, 460, 468, 469, 487, 536, 563, 605, 613, 614, 627, 635, 645—647, 650, 660, 663, 664, 665, 675
- Бабаев Эдуард Григорьевич (р. 1927), поэт и историк литературы — 448, 656
- Бабель Исаак Эммануилович (1894—1940), писатель — 270
- Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт — 175, 378, 647
- Балакирев Милий Алексеевич (1836/37—1910), компози-тор — 526, 669
- Балтрушайтис Мария Иванов-на — 86, 598
- Балтрушайтис Юргис (Юрий Казимирович) (1873—1944), поэт — 83, 85, 314, 597, 633
- Бальзак Оноре (1799—1850), французский писатель — 58
- Бальмонт Константин Дмитрие-вич (1867—1942), поэт — 273, 274
- Банников Николай Василье-вич (р. 1918), редактор — 561
- Баранович Марина Казимировна (1900/01—1975) — 507, 515, 538, 541, 577, 582, 666, 667, 670, 671, 678
- Бараташвили Николай (1817—1845), грузинский поэт — 447, 504, 555, 654—656
- Баратынская Екатерина Ива-новна (1852—1921), писа-тельница, педагог — 85, 598
- Баратынский Евгений Абрамо-вич (1800—1844), поэт — 105, 196, 556, 674
- Барбе д'Оревильи (1808—1889), писатель — 104
- Баура — см. Боура
- Бах Иоганн Себастиан (1685—1750), немецкий компози-тор — 57, 526, 669
- Бахтин Михаил Михайлович (1895—1975), теоретик лите-ратуры — 263, 626
- Бацер Давид Миронович (1905—1987) — 314, 633
- Бебутов Гарегин Владимирович (1903—1987), редактор — 552, 553, 673
- Бедный Демьян (1883—1945), поэт — 273, 639
- Бекер-Модерзон Паула, немец-кий скульптор — 539, 671
- Белый Андрей (Борис Николае-вич Бугаев; 1880—1934), писатель — 72, 101, 102, 113—114, 120, 130, 132, 157, 195, 222, 231, 250, 266, 313, 334, 354, 439, 498, 576, 595, 600, 602, 606, 610, 621, 623, 624, 626, 633, 636, 639, 678
- Беме Якоб (1575—1624), немец-кий философ, мистик — 88, 598
- Бен Джонсон (1573—1637), английский драматург — 150—151, 166, 604, 608, 609
- Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975), поэт — 452, 459, 468, 660
- Берестов Валентин Дмитриевич (р. 1931), поэт — 563
- Берлин Исайя (р. 1909), англий-ский писатель — 445, 656
- Бетховен Людвиг ван (1770—1827), немецкий компози-тор — 462, 659, 669
- Бехер Иоганнес (1910—1983), немецкий поэт — 558
- Благина Елена Александровна (1901—1989), поэт — 557, 674

- Блок Александр Александрович (1880—1921) — 72, 231, 236, 273, 371, 385, 433, 435, 439, 443, 448, 460, 465, 472, 478, 498, 548, 566, 594, 621, 654, 674
- Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель — 275
- Бобров Мар Сергеевич — 92, 599
- Бобров Сергей Павлович (1889—1971), поэт — 73—78, 80—83, 87—94, 100—106, 108, 122, 201, 273, 582, 595—600, 623
- Боброва Мария Ивановна — 92, 599
- Большаков Константин Аристархович (1895—1938), писатель — 89, 597, 599
- Боура Сесил Морис, английский филолог — 435, 444, 478, 654, 662
- Брик Лили Юрьевна (1891—1978) — 170, 202, 607, 614
- Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт — 72, 81, 116, 117, 131, 155, 242, 273, 473, 595, 597, 603, 605, 606, 609, 610, 616
- Бугаева Клавдия Николаевна (1886—1970) — 314, 352, 354, 507, 576, 633, 639, 666
- Будберг Мария Игнатьевна (1892—1974), переводчица — 216, 553, 617, 618, 673
- Булгаков Михаил Афанасьевич (1891—1940), писатель — 359
- Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель — 129, 228, 344, 433, 619
- Бурков Иван Семенович (1905—1985) — 429, 439, 466, 547, 582, 583, 653, 660
- Бухарин Николай Иванович (1888—1938), политический деятель — 335, 636, 639, 641, 642
- Бухштаб Борис Яковлевич (1904—1985), литературовед — 259, 625
- Вагинов Константин Константинович (1899—1934), писатель — 274
- Важа Пшавела (1861—1915), грузинский поэт — 351, 352, 356
- Валери Поль (1871—1945), французский поэт — 435
- Васильев Павел Николаевич (1910—1937), поэт — 339, 637
- Ватагин Марк Германович, переводчик — 542, 671
- Вачнадзе Нато Георгиевна (1895—1953) — 483, 513, 663, 667
- Вейерштрасс Карл Теодор Вильгельм (1815—1897), немецкий математик — 39, 589
- Верлен Поль Мари (1844—1896), французский поэт — 37, 44, 371, 391, 478, 590, 647
- Верфель Франц (1890—1945), немецкий поэт — 209
- Верхарн Эмиль (1855—1916), бельгийский поэт — 478
- Верховский Юрий Никандрович (1878—1956), поэт — 185, 186
- Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), германский император и прусский король — 83, 86, 598
- Вильдрак Шарль (1882—1971), французский писатель — 251, 252
- Вильям Анна Федоровна — 413, 651
- Вильям-Вильмонт Николай Николаевич (1901—1986), историк литературы — 98, 104, 127, 164, 230, 606, 608, 632, 651, 668, 677
- Виноград Валериан Александрович — 52, 592
- Виноград Владимир Александрович — 52, 592
- Виноград Елена Александровна (Дороднова; 1896—1987) — 52, 586, 592
- Винсент Сибилла — 368
- Вишневский Александр Леонидович (1863—1943), актер МХАТа — 64, 65, 593
- Вознесенский Андрей Андреевич (р. 1932), поэт — 481, 662
- Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932), поэт — 186, 583, 614

- Воронский Александр Константинович (1884—1937), критик, публицист — 229, 619
- Воскресенская Лидия Александровна (1885—1982), искусствовед — 568, 676
- Врубель Михаил Александрович (1856—1910), художник — 488, 653
- Высоцкая Елена Давыдовна (1894—1920) — 44, 47—48, 50, 60, 590
- Высоцкая Ида Давыдовна (1892—1976) — 44, 45, 47, 48, 50, 63, 66, 72, 587, 589, 590, 593, 594
- Высоцкий Давид Вульфович, чае-торговец и меценат — 29, 63, 587
- Гавронская Анна Осиповна — 40, 589
- Гавронская Мария Васильевна — 43, 44, 57, 590
- Гавронский Александр Осипович (1888—1958), кинорежиссер — 40, 67, 589, 590, 594
- Гавронский Дмитрий Осипович (1883—1949) — 39, 40, 46, 58, 60, 589
- Гавронский Илья Осипович — 40, 589
- Гамсун Кнут (1858—1952), норвежский писатель — 312, 535, 632
- Гаприндашвили Валериан Иванович (1888—1941), поэт и переводчик — 326, 327, 346
- Гарсиа Лорка Федерико (1898—1936), испанский поэт — 478
- Гартман Николай (1882—1950), доцент Марбургского университета — 39, 49, 58, 589, 591
- Гафиз (1317/25—1389), персидский поэт — 59
- Гейне Генрих (1797—1856), немецкий поэт — 341, 586
- Гельдерлин Фридрих (1770—1843), немецкий поэт — 209
- Георге Стефан (1868—1933), немецкий поэт — 242
- Герасимов Михаил Прокофьевич (1889—1939), поэт — 185
- Герберт Иоганн Фридрих (1776—1841), немецкий философ — 52
- Герверг Георг (1817—1875), немецкий поэт — 158, 610
- Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий поэт — 49, 50, 85, 431, 433, 467, 471, 472, 492, 498, 514, 516, 526, 527, 542, 572, 600, 604, 677
- Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874/75—1956), композитор, педагог — 38, 588
- Гогла — см. Леонидзе Г. Н.
- Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 26
- Гоциассон Елизавета Леоновна (Якобсон), двоюродная сестра Б. Пастернака — 301, 631
- Гоциассон Карл Яковлевич, муж Е. Л. Гоциассон — 16, 17, 301, 585, 631
- Гоциассон Юлиус Яковлевич — 151, 609
- Гольцев Виктор Викторович (1901—1955), литературный критик — 346, 348, 350, 356, 638, 643
- Гомер (VII в. до н. э.), древнегреческий поэт — 114, 291, 359
- Гончаров Олег — 567, 676
- Гордеев Богдан Петрович (Божидар; 1894—1914), поэт — 87, 598
- Гордеев Дмитрий Петрович (1889—1968), искусствовед — 87, 598
- Гордон Габриель Осипович (1885—1938?), философ, доцент университета — 49, 591
- Горнунг Лев Владимирович (р. 1902), поэт и фотограф — 184, 614, 661
- Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967), поэт — 134, 606
- Горький Алексей Максимович (1868—1936) — 117, 122, 155, 157, 214, 216, 217, 219, 223, 224, 225, 229, 233, 234, 236, 237, 244, 257, 302, 306, 320, 321, 335, 348, 408, 419, 442, 532, 543, 553, 603, 617—619, 621, 622, 631, 632, 634, 637, 639
- Гофман Эрнест Теодор Амадей (1776—1882), немецкий писатель — 416
- Грабарь Игорь Эммануилович

- (1871—1960), художник — 441, 655
- Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 242
- Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), поэт и критик — 431, 548, 654
- Гринберг Захарий Григорьевич (1889—1949), работник Наркомпроса — 139, 607
- Гронский Иван Михайлович (1894—1985), литературный критик — 328
- Грузинская Тамара Александровна — 325, 635
- Губер Борис Андреевич (1903—1937), писатель — 266, 626
- Гудзь (Шаламова) Галина Игнатьевна — 496
- Гудиашвили Ладос Давыдович (1896—1983), художник — 570, 676
- Гудиашвили Чукуртма — 570, 676
- Гуль Роман Борисович (1896—1986), писатель — 577, 678
- Гумилев Лев Николаевич (р. 1912), этнограф — 386, 646, 647, 663
- Гумилев Николай Степанович (1886—1921), поэт — 132, 605, 627
- Гюго Виктор Мари (1802—1885), французский писатель — 134, 431, 654
- Данин Даниил Семенович (р. 1914), писатель — 424, 652
- Данте Алигьери (1265—1321), итальянский поэт — 242, 384
- Деборд-Вальмор Марселина (1786—1859), французская поэтесса — 178, 179, 183, 613
- Джавахишвили (Михаил Саввич Адамашвили; 1880—1937), писатель — 326
- Джойс Джеймс (1882—1941), английский писатель — 157
- Диккенс Чарльз (1812—1870), английский писатель — 130, 453
- Дмитриев Николай Федорович (Коля) (1933—1949), художник — 480, 481, 662
- Дмитриев Федор Иванович — 481, 663
- Дмитриева Наталия Николаевна — 481, 662, 663
- Добровейн Исай Александрович (1891—1953), дирижер — 15, 585
- Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 130, 314, 388, 453, 498, 654
- Дурылин Сергей Николаевич (1887—1954), писатель — 11, 12, 20, 66, 430, 585, 593, 653—655, 663
- Дюамель Жорж (1884—1966), французский поэт — 433
- Евтушенко Евгений Александрович (р. 1935), поэт — 563
- Елизавета Венгерская (Святая Елизавета; 1207—1231) — 35—37
- Емельянова Ирина Ивановна (р. 1937) — 576
- Есенин Сергей Александрович (1895—1925) — 133, 189, 210, 289, 439, 460, 498, 548, 614, 621, 630, 646
- Жанна д'Арк — 149, 366
- Жаров Александр Алексеевич (1904—1984), поэт — 337, 349
- Жгенти Виссарион (Бессо; 1903—1979), журналист — 341
- Живов Марк Семенович (1893—1962), филолог — 414, 651
- Журавлев Дмитрий Николаевич (1900—1991), актер — 456, 520, 521, 539, 665, 667, 668
- Журавлева Валентина Павловна — 456, 520, 521, 539, 665
- Завадская Нина Всеволодовна — 78—79, 596
- Зайцев Борис Константинович (1881—1972), писатель — 139, 571, 572, 574, 575, 577, 606, 624, 677, 678
- Зайцев Петр Никанорович (1889—1971), издатель — 250, 251, 266, 626
- Зайцева Вера Алексеевна — 571, 574, 575, 577, 677

- Зайчиков Василий Федорович (1888—1947), актер — 242, 622
- Замятин Евгений Иванович (1884—1937), писатель — 126, 252, 647
- Збарская Фанни Николаевна — 97, 107, 599
- Збарская Ольга Тимофеевна — 106—108, 601
- Збарский Борис Ильич (1885—1954), биохимик — 92, 97, 365, 366, 599, 601, 642
- Збарский Яков Ильич — 107, 108, 601
- Зелинский Корнелий Люцианович (1896—1970), критик — 195
- Зенкевич Михаил Александрович (1891—1973), поэт и переводчик — 382
- Златкин Марк Израилевич, редактор — 553, 673
- Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958), писатель — 424, 536, 551, 570, 615
- Зубакин Борис Михайлович (1894—1937), поэт, археолог — 217, 218, 222, 225, 618
- Ибсен Генрик (1828—1906), норвежский драматург — 29, 591
- Иван IV Грозный (1530—1584), русский царь — 392, 414, 647, 651
- Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963), писатель — 257, 270, 405, 407, 408, 413—415, 421, 641, 650, 651, 676
- Иванов Вячеслав Всеволодович (р. 1929), филолог — 409, 563—568, 624, 650, 676
- Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949), поэт — 72, 85—86, 274, 595, 598
- Иванова Вера Константиновна (Шварсалон) (1890—1920) — 84, 598
- Иванов Михаил Всеволодович, художник — 409, 650
- Иванова Тамара Владимировна (р. 1900), писательница — 408—410, 413—415, 650, 651, 676
- Иванова Татьяна Всеволодовна, филолог — 409, 650
- Ивинская Ольга Всеволодовна (р. 1912) — 467, 477, 479, 519, 539, 550, 561, 569, 576, 577, 583, 660, 662, 667, 668, 671, 673, 676, 678
- Ивнев Рюрик (1891—1981), поэт — 89
- Извольская Елена Александровна (1897—1974), переводчица — 545
- Ильинский Игорь Владимирович (1901—1987), актер — 242, 622
- Ионов Илья Ионович (1887—1942) — 167, 611
- Исаковский Михаил Васильевич (1900—1973), поэт — 436, 498
- К. Р. (в. кн. Константин Константинович Романов), (1858—1915), поэт — 382
- Каверин Вениамин Александрович (1902—1989), писатель — 252, 378, 615, 671, 674
- Казакевич Эммануил Генрихович (1913—1962), писатель — 547, 671, 672
- Казанский Борис Васильевич — 421
- Казарновский Юрий Александрович (1904—?), поэт — 434, 448, 654
- Казин Василий Васильевич (1898—1981), поэт — 171, 606, 612
- Какабадзе Этери Николаевна — 570
- Калинин Михаил Иванович (1875—1946), партийный деятель — 320
- Канский Ростислав Борисович (1906—1948), востоковед — 233, 248, 620
- Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ — 30, 39, 40, 58, 60, 62
- Карл VI (1368—1421), французский король — 366
- Карл VII (1403—1461), французский король — 366
- Карпов Лев Яковлевич (1876—1921), химик — 102, 600

- Карпова Анна Самойловна — 102, 600
- Карсавин Лев Платонович (1882—1952), религиозный писатель — 234
- Кассиль Лев Абрамович (1905—1970), писатель — 407
- Кассирер Эрнст (1874—1945), немецкий философ — 57, 592
- Катаев Валентин Петрович (1897—1936), писатель — 170, 401, 563, 675
- Кауфман Варвара Семеновна — 402, 648
- Каширина Зинаида Владимировна — 409, 650
- Каширина Мария Потаповна — 409, 650
- Келлер Готфрид (1819—1890), швейцарский писатель — 70, 540, 594
- Киппенберг Антон, издатель Инзель-Ферлаг — 546, 672
- Кириллов Владимир Тимофеевич (1890—1943), поэт — 185
- Кирпотин Валерий Яковлевич (1898—1990), литературовед — 346, 638
- Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972), поэт — 202, 274
- Китс Джон (1795—1821), английский поэт — 435, 647
- Клиберн (Клайберн) Харви Лаван (р. 1934), американский пианист — 561
- Ключевский Василий Осипович (1841—1911), историк — 41, 589
- Ковальчик Евгения Ивановна (1907—1953), редактор — 432
- Коган (Нолле) Надежда Александровна (1888—1966) — 194, 615
- Коган Петр Семенович (1872—1932), историк литературы — 209, 615, 616
- Коген Герман (1842—1918) философ, глава марбургской школы философии — 25, 27, 29, 33, 35, 37—43, 45—50, 52—58, 60—63, 65—66, 69, 71—72, 586, 587, 589, 591, 592, 594, 595
- Козинцев Григорий Михайлович (1905—1973), кинорежиссер — 529, 583, 669
- Колосов Марк Борисович (1904—1989), писатель — 346, 347, 638
- Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910), актриса — 241, 608
- Коневской Иван Иванович (1877—1901), поэт — 105
- Конрад Джозеф (1857—1924), английский писатель — 157, 610
- Кончаловский Дмитрий Петрович (1878—1952), историк — 278, 629
- Кончаловский Петр Петрович (1838—1904), издатель — 279, 629
- Кончаловский Петр Петрович (1876—1956), художник — 279, 629
- Кочетков Александр Сергеевич (1900—1953), поэт — 507, 666
- Коэн, английский переводчик — 444
- Кристенсен М. А. — 577
- Кристи Михаил Петрович (1875—1956), искусствовед — 152, 609
- Кронеберг Александр Иванович, переводчик — 382, 645
- Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921), теоретик анархизма — 433
- Кротков Юрий, журналист — 425
- Крючков Петр Петрович (1889—1938), секретарь А. М. Горького — 302—304, 319, 337, 631, 634, 637
- Кудашева Мария Павловна (Роллан), поэтесса — 307
- Кузин Борис Сергеевич (1903—1973), биолог — 464—466, 582, 660
- Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936), поэт — 124, 127, 128, 132, 144, 157, 232, 252, 297, 382, 604—606, 631
- Кузько Петр Авдеевич (1884—1969), издательский работник — 116, 603
- Кузьмина Елена Петровна — 405, 406, 411, 413, 420, 651, 652

- Кусиков Александр Борисович (1896—1977), поэт — 195
- Кунин Иосиф Филиппович (р. 1904), музыковед — 154, 609
- Курбский Андрей Михайлович (1528—1583), князь — 414
- Курвиц Зинаида Владимировна, врач — 510
- Куфтин Борис Алексеевич — 474
- Кушнер Борис Анисимович (1888—1937), писатель — 80, 89, 92, 597, 599
- Лавренев Борис Андреевич (1891—1959), писатель — 378
- Лавров, председатель ЦеКУБУ — 146
- Лавут Павел Ильич (1898—1979) — 330, 636
- Ланн Евгений Львович (1896—1958), переводчик — 188, 401, 614
- Ланц Генрих Эрнестович (1886—1945), философ — 69, 73, 594, 595
- Лапшов Владимир Иванович — 439, 468, 471, 472, 477, 479
- Лапшова — см. Маргулиус К. И.
- Лебедев Владимир Васильевич (1891—1967), художник — 359
- Лебедева Сарра Дмитриевна (1892—1967), скульптор — 315, 633
- Лебеденко Александр Гервасьевич (1892—1975), писатель — 292, 630
- Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий философ — 39, 42, 48, 49, 51, 52, 394
- Леонидзе Георгий Николаевич (Гогла) (1899—1966), грузинский поэт — 326, 358, 373, 401, 448, 474, 480, 487, 495, 503, 505, 512, 513, 553, 640, 643, 648, 665, 666
- Леонидзе Ефимия Александровна — 352, 496, 503, 513, 519, 640, 665
- Леонидзе Нестан Георгиевна (Песо) — 505, 665
- Леонов Леонид Максимович (р. 1899), писатель — 257, 270—271, 357, 360, 405, 409, 413, 419, 498, 641, 650, 651, 652
- Леонова Татьяна Михайловна (Сабашникова) — 513
- Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), писатель, публицист — 37, 226
- Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 156, 160, 168, 610, 642
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 430, 472, 489, 490, 532, 548, 556, 557, 653, 674
- Лешетицкий Игнатий, австрийский музыкант, педагог — 186
- Либерман Макс (1847—1935), немецкий художник — 53, 592
- Ливанов Борис Николаевич (1906—1962), актер — 487, 492
- Литовский Осаф Семенович (1892—1971), издательский деятель — 136, 606
- Лившиц, египтолог — 246
- Лифшиц Елена Семеновна — 17, 23, 585
- Лихарев Борис Михайлович (1906—1962) — 452, 657
- Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955), поэт и переводчик — 381, 645
- Локс Константин Григорьевич (1889—1956) — 36, 37, 74, 97—99, 102—106, 261, 588, 596, 597, 600, 626
- Ломоносова Раиса Николаевна (1888—1973), литератор — 138, 248, 656
- Лордкипанидзе Константин Александрович (1904/5—1986), поэт — 552
- Лукицкий Павел Николаевич (1900—1973), биограф Н. С. Гумилева — 268, 627
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), нарком просвещения — 148, 152, 165
- Лундберг Евгений Германович (1883—1965), литератор — 92, 98, 599, 600
- Лунц Генриетта Петровна — 296, 630

- Лунц Лев Натанович (1901—1924), писатель — 273
- Луппол Иван Капитонович (1896—1940), писатель — 409, 650
- Лутухин Далмат Александрович (1885—1942) — 130, 605
- Любимов Николай Михайлович (р. 1912), переводчик — 476
- Люксембург Роза (1871—1919), деятель рабочего движения — 158
- Магницкий Леонтий Филиппович (1669—1739), автор первого учебника математики — 8
- Майский Иван Михайлович (1884—1975), советский посол в Англии — 428, 440, 653, 655
- Максимов Дмитрий Евгеньевич (1904—1987), литературовед — 556, 674
- Мандельштам Надежда Яковлевна (1899—1980) — 145, 146, 155, 162, 170, 172, 249, 355, 434, 448, 608, 613, 654, 656
- Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938), поэт — 128, 144, 155, 158, 166, 169, 171, 249, 252, 277, 355, 435, 448, 465, 608—613, 615, 623, 628, 639, 654, 660
- Маргулиус Александр Лазаревич — 12, 585
- Маргулиус Клара Исидоровна (Ланцова; 1869—1949) — 391, 402, 429, 438, 468, 471, 472, 476, 647, 662
- Маркова Мария Александровна, двоюродная сестра В. Л. Пастернака — 391, 402, 429, 468, 471, 472, 506, 515, 523, 531, 647, 667
- Маркс Карл (1818—1883) — 167, 359
- Марр Николай Яковлевич (1864/65—1934), лингвист — 149, 152, 162, 165, 609
- Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964), поэт — 171, 395, 414, 529, 651, 669
- Маширов Алексей Иванович (1884—1942), поэт — 273
- Маяковский Владимир Владимирович (1893—1930), поэт — 80, 92—94, 100, 102, 105, 116, 138, 139, 168, 171, 196, 202, 203, 210, 230, 239, 245, 265, 267, 306, 311, 313, 326, 374, 385, 439, 444, 460, 465, 475, 478, 484, 485, 497, 498, 502, 508, 510, 532, 542, 564, 597, 599, 600, 607, 610—612, 616, 617, 620, 623, 631, 660
- Медведев Павел Николаевич (1891—1938) — 259, 260—261, 263, 269, 279, 283, 285, 290, 291, 297, 625, 626, 629—631
- Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940), режиссер — 240, 265, 266, 359, 381, 409, 622, 626, 644, 650
- Мерике Эдуард (1804—1875), немецкий писатель — 128
- Метнер Эмилий Карлович (1872—1936), литератор, музыкальный критик — 85, 598, 600
- Мечников Илья Ильич (1845—1916) — 58, 592
- Микадзе Раиса Константиновна — 489, 570, 664, 676
- Микеланджело Буонарроти (1475—1564), итальянский скульптор — 173
- Мильман Валентина Ароновна (1900—1968) — 136, 606
- Мицшвили Марина Николаевна 570
- Мицшвили Николо (1894—1937), писатель — 326, 347, 638
- Мишле Жюль (1798—1874), французский историк — 366, 642
- Мопассан Ги де (1850—1893), французский писатель — 7, 70
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), немецкий композитор — 57, 440, 521
- Надирадзе Колау (Николай Галактионович; р. 1895), поэт — 326, 327
- Наполеон Бонапарт (1769—1821), французский император — 83, 291

- Нарский Алексей Владимирович, поэт — 334
- Натори Пауль (1854—1924), философ — 27, 33, 35, 48, 60, 509, 587, 591, 592
- Нейгауз Адриан Генрихович (1925—1945) — 328, 347, 388, 397, 400, 402, 405, 409, 412, 414, 418, 422, 427, 429, 435, 442, 510, 651
- Нейгауз Генрих Густавович (1888—1964), пианист — 409, 418, 486, 517, 520, 522, 632, 650, 663, 667
- Нейгауз Милица Сергеевна (Бородкина; 1888—1962) — 413, 522, 651, 668
- Нейгауз Станислав Генрихович (1927—1980), пианист — 346, 405, 412, 414, 420, 422, 427, 438, 455, 463, 479, 487, 492, 512, 651, 663
- Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), режиссер — 381, 445, 631, 645
- Неслуховская (Тихонова) Мария Константиновна — 253, 278, 289, 347, 372, 624
- Нива Жорж, французский славист — 576, 678
- Никулин Лев Вениаминович (1891—1967), писатель — 346, 638
- Новиков Иван Алексеевич (1877—1959), писатель — 314, 633
- Новикова Елена Андреевна (1904—1991) — 314, 633
- Обрадович Сергей Александрович (1892—1956), поэт — 211, 617
- Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934), востоковед — 165
- Павленко Петр Андреевич (1899—1951), писатель — 387, 407, 411, 646
- Павлович Надежда Александровна (1895—1980), писательница — 113, 602
- Папини Джованни (1881—1956), итальянский писатель — 23, 586
- Парнах Валентин Яковлевич (1891—1951), поэт — 133, 606
- Парнок София Яковлевна (1885—1933), поэтесса — 133, 191, 615
- Паскаль Блез (1623—1662), французский физик, философ — 344
- Пастернак Александр Леонидович (1893—1982) — 24, 28, 39—41, 43, 48—51, 53, 56, 57, 60, 68, 85, 156, 157, 204, 247, 305, 322, 323, 330, 340, 366, 368, 410, 417, 421, 438, 445, 451, 463, 468, 586, 588, 594, 616, 632, 651
- Пастернак Альбрехт (Алеша), брат Ф. К. Пастернака — 439
- Пастернак Евгений Борисович (р. 1923) — 142, 150, 154, 161, 186, 204, 208, 233, 247, 279, 300, 303, 305, 316, 345, 354, 355, 368, 391, 393, 396, 398, 399, 404, 405, 409, 412, 413, 414, 420, 423, 438, 451, 460, 463, 468, 479, 531, 590, 596—599, 606, 614, 616, 623, 624, 631, 632, 634, 639, 641, 643, 647, 668
- Пастернак Евгения Владимировна (1899—1965) — 142, 143—146, 150, 152, 155, 156, 161, 162, 164, 176, 186, 188, 200, 204, 206, 208, 233, 247, 267, 268, 279, 300, 303, 305, 309, 313, 315—316, 317, 319, 322—324, 340, 342, 347, 351, 354, 355, 360, 361, 364, 366, 368—369, 377, 379, 396, 399, 401, 404, 405, 406, 409, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 423, 442, 463, 468, 479, 533, 611, 631, 632, 634, 638, 643
- Пастернак (Рамзи) Елена Федоровна (Аленушка; р. 1928) — 296, 302, 630
- Пастернак Жозефина Леонидовна (р. 1900) — 24, 30—35, 38, 42, 63—66, 156, 296, 302, 306, 368, 369, 381, 388, 396, 398, 411, 423, 428, 439, 531, 581—583, 586, 588, 604, 630, 654
- Пастернак Зинаида Николаевна (Нейгауз; 1897—1966) — 315, 319, 321, 322—325, 328—

- 331, 340, 342, 345, 346, 350, 352, 354, 362, 373, 375, 386, 388, 390, 391, 393, 396, 397, 400, 404—406, 409, 412, 415—418, 420, 422, 427, 429, 435, 438, 440—442, 445, 447, 450—453, 456, 458, 462, 467, 468, 470, 477, 487, 491, 492, 496, 503, 505, 507, 512, 513, 520, 522, 529, 551, 554, 583, 632, 634, 635, 651, 665
- Пастернак Ирина Николаевна** (Вильям; 1897—1986) — 204, 305, 322, 340, 366, 376, 411, 413, 438, 445, 451, 463, 467, 616, 632, 651
- Пастернак Леонид Борисович** (1938—1976) — 375, 379, 390—393, 395—398, 399—400, 404, 406, 412, 415—418, 420, 422, 427, 428, 441, 445, 447, 451, 453, 455, 461, 463, 468, 492, 496, 504, 505, 542, 551, 648
- Пастернак Леонид Осипович** (1862—1945) — 23, 25—30, 37—50, 53—57, 60, 70—73, 83—86, 94—97, 157, 163, 178, 181, 208, 279, 295, 300, 303, 339, 340, 343, 362, 364, 365, 367, 375, 381, 388, 395, 397, 406, 407, 410—411, 423, 427, 428, 429, 435, 440, 441, 446, 474, 486, 581, 584, 587, 589, 595, 601, 604, 608, 611, 613, 616, 629, 632, 633, 638, 642, 644, 650, 651, 655, 656, 662, 677
- Пастернак Лидия Леонидовна** (Слейтер; 1902—1989) — 24, 36, 42, 63, 157, 295, 301, 339, 340, 366, 368, 381, 388, 396, 406, 423, 428, 436, 439, 531, 581, 583, 586, 604, 642, 648, 651, 654, 655
- Пастернак Розалия Исидоровна** (Кауфман; 1867—1939) — 7, 37—38, 40—41, 47, 50, 83, 94—97, 114, 157, 186, 279, 296, 343, 364, 365, 367, 380, 446, 585, 601, 604, 638, 642, 644, 655
- Пастернак Федор Александрович** (р. 1927) — 322, 366, 651
- Пастернак Федор (Фридрих) Карлович** (1880—1976) — 11, 16, 17, 36, 54, 71, 72, 86, 296, 302, 307, 343, 423, 428, 445, 585, 594, 598, 630, 655
- Пастернак Эна**, дочь Альбрехта Пастернака — 439
- Паустовский Константин Георгиевич** (1892—1968), писатель — 546, 559, 672, 674
- Перцов Виктор Осипович** (р. 1898), критик — 386, 646
- Петефи Шандор** (1823—1849), венгерский поэт — 462, 482
- Петников Григорий Николаевич** (1894—1977), поэт и переводчик — 113, 120, 596, 602, 603
- Петр I Великий** (1672—1725), русский царь — 126, 392
- Петрарка Франческо** (1304—1374), итальянский поэт — 573
- Петровский Дмитрий Васильевич** (1892—1955), поэт — 109—112, 114, 119, 145, 581, 596, 601—603, 615, 643
- Петровская-Силлова Ольга Георгиевна** (1902—1988), литератор — 301, 353, 631, 640
- Петровых Мария Сергеевна** (1908—1979), поэт — 507, 666
- Пильняк Борис Андреевич** (1894—1938), писатель — 118, 126, 130—132, 251, 252, 270, 271, 275—277, 317, 328, 357, 360, 363, 386, 603, 605, 635, 638, 641, 646, 663
- Пиотровский Адриан Иванович** (1895—1967), историк театра, переводчик — 155, 609
- Писарев Дмитрий Иванович** (1840—1868), критик — 564
- Писемский Александр Феофилактович** (1821—1881), писатель — 388
- Платов Федор Федорович** (1895—1967), поэт, литературный критик — 91, 598
- Платон** (428/427—348/347 до н. э.), древнегреческий философ — 30, 39, 58, 79, 510, 564
- Платонов Андрей Платонович** (1899—1951), писатель — 384
- Погодин Николай Федорович**

- (1900—1962), драматург — 409, 415, 650
- Погодина Анна Никандровна — 487, 663
- Познер Владимир Соломонович (р. 1905), французский писатель — 272—275, 280, 318, 627—629, 634
- Покровский Михаил Николаевич (1868—1932), историк — 146—148, 152, 165
- Поливанов Константин Михайлович (1904—1983), доктор технических наук — 515, 517, 667
- Поливанов Константин Михайлович (р. 1959) — 577
- Поливанов Михаил Константинович (р. 1930), физик — 515, 517, 667
- Поливанова Анастасия Александровна (Баранович) (р. 1932) — 515, 517, 667
- Поливанова Маргарита Густавовна (Шпет; 1908—1989) — 515, 517, 667
- Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905—1965) — 550—551, 673
- Полонский Вячеслав Павлович (1886—1932), литературный критик и редактор — 121, 135, 137, 139, 208, 209, 213, 266, 269, 604, 616, 617, 623, 626, 627
- Поляков Сергей Александрович (1874—1943), владелец издательства «Скорпион» — 314, 633
- Полякова Софья Викторовна, филолог — 420
- Попова-Журавленко Антонина Ивановна, певица — 476, 534, 662
- Поссарт Эрнст (1841—1921), немецкий актер и режиссер — 50, 591
- Поссе Константин Андреевич (1847—1928), математик — 39, 589
- Поступальский Игорь Стефанович, литератор — 436, 581, 655
- Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954), писатель — 527, 668, 669, 670
- Пришвина Валерия Дмитриевна (1900—1979) — 536, 670
- Пруайяр Жаклин — 574, 583, 678
- Пруст Марсель (1871—1922), французский писатель — 157, 160, 275, 307, 433, 443, 610, 632
- Прянишников П. К., владелец книжного магазина и издатель — 430, 653
- Пунин Николай Николаевич (1888—1953), искусствовед — 183, 327, 330, 614, 627
- Пуриц Константин Николаевич (1870—1920), врач — 20, 22, 26, 590
- Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — 84, 597
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 104, 126, 130, 175, 178, 181, 196, 239, 368, 385, 431, 464, 476, 478, 487, 489, 543, 555, 565, 677
- Пушин Иван Иванович (1798—1859), декабрист, друг А. С. Пушкина — 487
- Рабле Франсуа (1494—1553), французский писатель — 416
- Радлова Анна Дмитриевна (1891—1949), поэтесса — 297, 315, 382—383, 633, 645
- Райх Зинаида Николаевна (1894—1939), актриса — 242, 381, 622, 644
- Раскольников Федор Федорович (1892—1939), дипломат, литератор — 300, 619, 631
- Рашке, студент в Марбурге — 48
- Рескин Джон (1819—1900), английский философ — 433
- Ржевские, дачные соседи — 86
- Риви Джордж (Георгий Данилович; 1907—1976), английский поэт — 317, 331, 333, 634, 636
- Рид Херберт (1893—1968), английский поэт и критик — 433, 443
- Рильке Клара (Вестгоф), скульптор — 539, 671
- Рильке Райнер Мария (1875—1926), немецкий поэт — 32, 177, 178, 181, 193, 194, 197,

- 198, 203, 213, 262, 326, 327, 352, 429, 433, 435, 440, 443, 445, 475, 539, 540, 544—546, 613—615, 628, 631, 637, 653, 655, 659, 671, 672
- Робакидзе Григорий (1884—1963), грузинский поэт — 328
- Родионов Николай Сергеевич (1886—1960)—486, 663
- Родов Семен Абрамович (1893—1968), писатель — 273
- Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977), поэт — 244, 315
- Розенфельд Владимир Юлиусович — 26, 50, 587, 591
- Розенфельд Розалия Александровна — 26, 50, 53, 587, 591
- Розенфельд Юлиус Сергеевич, юрист — 26, 50, 587, 591
- Роллан Ромен (1866—1944), французский писатель — 306—307, 352, 442, 632
- Романов Пантелеймон Сергеевич (1884—1938), писатель — 330
- Романова Елена Дмитриевна — 568
- Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894), композитор и пианист — 157, 186
- Рубинштейн Сергей Леонидович (1889—1960), психолог — 45—46, 53—54, 60, 590
- Рубинштейн, мать С. Л. Рубинштейна — 45—46, 54
- Руофф Зельма Федоровна (1897—1978), биолог — 460, 539, 544, 659
- Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1930), писатель — 433
- Руссо Жан Жак (1712—1778), французский писатель — 433
- Рыков Алексей Иванович (1881—1938), политический деятель — 335, 636
- Рябинина Александра Петровна (1900—1977), редактор — 487, 519, 667
- Садовской Борис Александрович (1881—1952), поэт — 261, 626
- Садофьев Илья Иванович (1889—1965), поэт — 171, 612
- Сати Эрик (1866—1925), французский композитор — 160
- Сафо (VII—VI вв. до н. э.), древнегреческая поэтесса — 482
- Сахновский Василий Григорьевич (1886—1945), режиссер — 150, 445
- Саянов Виссарион Михайлович (1903—1959), поэт — 452, 583, 657
- Светлов Михаил Аркадьевич (1903—1964), поэт — 360
- Свифт Джонатан (1667—1745), английский писатель — 314
- Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890—1939), литературный критик — 195—197, 203, 233, 234, 302, 329, 615, 620, 621, 635, 643
- Северянин Игорь Васильевич (1887—1941), поэт — 142, 274, 385, 607
- Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954), писательница — 407
- Сельвинский Илья Львович (1899—1968), поэт — 283, 291, 424, 436, 630
- Серафимович Александр Серафимович (1863—1949), писатель — 117, 603
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616), испанский писатель — 476
- Серова Ольга Валентиновна — 458
- Сибилла В.— см. Винсент
- Сидония Святая (IV в.) — 570
- Силлов Владимир Александрович (1902—1930), литератор — 298, 300, 353, 631, 640
- Силлов Олег Владимирович (р. 1925) — 301, 353, 355, 640
- Симонов Константин Михайлович (1915—1979), писатель — 436
- Синякова Надежда Михайловна, (1889—1975), певица — 201, 599, 601
- Скворцова Елена Дмитриевна (1908—1984), геолог — 517, 667
- Скрябин Александр Николаевич

- (1871/72—1915), композитор — 326, 327, 486, 521
- Слейтер Майкл (р. 1936), сын Л. Л. Пастернак — 367, 396, 642
- Словацкий Юлиуш (1809—1849), польский поэт — 407, 409, 412, 413, 417, 419, 650, 651
- Слуцкий Борис Абрамович (1919—1986), поэт — 563
- Смирнов Александр Александрович (1883—1962), литературовед — 457, 458, 463
- Смирнов Геннадий Александрович — 411, 651
- Смирнов Николай Павлович (1898—1978), литературный критик — 536, 537, 670
- Собинов Леонид Витальевич (1872—1934), оперный певец — 64, 593
- Соллогуб Наталия Борисовна — 572, 573, 575, 577, 677
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), поэт и философ — 489
- Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927), писатель — 72, 101, 595
- Солодовников Александр Васильевич (р. 1904), директор МХАТа — 548
- Сомов Константин Андреевич (1869—1939), художник — 433
- Сосинский Владимир Брониславович (1903—1987), литератор — 560
- Спасская Вероника Сергеевна (р. 1933) — 337, 350, 356, 619
- Спасская-Каплун Софья Гитмановна, скульптор — 233, 256, 311, 315, 317, 321, 337, 348, 350, 356, 378, 632, 644
- Спасский Евгений Дмитриевич (1900—1985), художник — 447, 449, 454, 656
- Спасский Сергей Дмитриевич (1898—1956), поэт и прозаик — 222, 233, 256, 266, 269, 309, 314, 315, 317, 321, 328, 329, 337, 347, 348, 350, 356, 378, 400, 417, 454, 456, 468, 469, 476, 534, 619, 620, 623, 625, 626, 632, 633, 637, 639, 640, 644, 648, 656, 658, 660—662, 670
- Ставский Владимир Петрович (1900—1943), секретарь Союза писателей — 407
- Сталин Иосиф Виссарионович (1879—1953) — 392, 511, 636, 639, 647, 656, 667
- Станиславский Константин Сергеевич (1863—1938), актер и режиссер — 157, 241
- Станевич Вера Оскаровна (1890—1967), поэтесса и переводчица — 43, 66, 593
- Старостин Анатолий Васильевич (1918—1981), редактор — 550, 673, 674
- Стендаль (Анри Мари Бейль; 1783—1842), французский писатель — 544
- Стенич Валентин Осипович (1902—1937), писатель — 337
- Степанов Николай Леонидович, (1902—1972), литературовед — 278
- Степун Федор Августович (1884—1965), писатель — 559, 560, 571, 675
- Стеценко Елизавета Михайловна (Лопухина) — 361, 393, 641, 647, 648
- Стеценко Ипполит Васильевич — 395, 648
- Стецкий Алексей Иванович (1896—1938), партийный деятель — 348, 639
- Столяров Михаил Павлович (1888—1937), поэт и философ, историк литературы — 106, 601
- Столярова Вера Николаевна — 106
- Сувчинский Петр Петрович (1892—1983), музыковед — 234, 560, 571, 675
- Суинберн Алджернон Чарльз (1837—1909), английский поэт — 37, 95, 97, 102, 240—241, 599, 600, 622
- Суриц Яков Захарович, советский посол в Германии — 368, 642, 643
- Сурков Алексей Александрович

- (1899—1983), поэт — 436, 498, 550, 551, 639, 659, 664, 673
- Табидзе Нина Александровна (1900—1965)—327, 341, 351, 357, 374, 380, 386, 400, 425, 446, 454, 463, 473, 479, 486, 491, 495, 503, 511, 512, 517, 540, 553, 554, 570, 571, 581, 656, 657, 663, 664, 665, 667
- Табидзе Танит Тициановна (Андриадзе; р. 1922)—327, 359, 374, 376, 380, 447, 456, 473, 486, 491, 505, 511, 513, 569, 663
- Табидзе Тициан (1895—1937), грузинский поэт — 326, 327, 340, 342, 351, 353, 356, 373—374, 380, 388, 425, 446, 447, 449, 454, 511, 513, 540, 542, 554, 555, 570, 571, 637, 638, 640, 656, 665, 667, 671, 673, 676
- Тагер Елена Михайловна (1895—1964), поэт, литературный критик — 297, 321, 634
- Тагор Рабиндранат (1861—1941), индийский писатель — 573
- Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909—1956), литературный критик — 317, 633, 637
- Тарасова Алла Константиновна (1898—1973), актриса — 548, 672
- Твалтвадзе Фатъма Антоновна (1897—1973), переводчица — 485, 491, 492, 495—496, 513, 663, 664
- Твардовский Александр Трифонович (1910—1971), поэт — 436, 498
- Теофраст (372—287 до н. э.), древнегреческий философ — 402, 404, 648
- Тихонов-Серебров Александр Николаевич (1880—1956), писатель — 167, 608, 611
- Тихонов Николай Семенович (1896—1979), поэт — 139, 169, 170, 232, 252, 276, 288, 345, 350, 370, 378, 401, 434, 436, 607, 612, 615, 624, 629, 630, 636, 638, 643
- Толстая-Есенина Софья Андреевна (1900—1975) — 386, 646
- Толстой Алексей Константинович (1817—1875), поэт — 414, 651
- Толстой Алексей Николаевич (1882/83—1945), писатель — 132, 195, 289, 386, 606, 630, 647, 651
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 157, 178, 291, 407, 413, 431, 433, 486, 498, 518, 549, 558, 564, 620, 663
- Тольятти Пальмиро (1893—1964), глава компартии Италии — 550
- Томсон Уильям, лорд Келвин (1824—1907), английский физик — 483, 663
- Тренев Константин Андреевич (1876—1945), писатель — 413, 419, 650, 652
- Триоле Эльза Юрьевна (1896—1970), писательница — 188, 189, 273, 614
- Троцкий Лев Давыдович (1879—1940), политический деятель — 134, 606
- Трунина Мария Егоровна, няня в доме Вс. Иванова — 409
- Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943), писатель — 252, 628
- Тютчев Федор Иванович (1803—1873), поэт — 150, 472, 532, 609
- Уланова Галина Сергеевна (р. 1910), балерина — 437, 655
- Урчин Арсений Моисеевич, художник — 166, 611
- Урсен Жювеналь, французский историк — 366, 642
- Урушадзе Венера, профессор Тбилисского университета — 458
- Уэллс Герберт Джордж (1866—1946), английский писатель — 130
- Фадеев Александр Александрович (1901—1956), писатель — 389, 647, 657, 658, 660
- Федин Константин Александрович (1892—1977), писатель —

- 172, 252, 253, 257, 266, 270—271, 360, 363, 384—386, 405, 408, 409, 413, 419, 546, 581, 583, 624, 641, 645, 650, 652, 672
- Фельтринелли Джакомо, итальянский издатель — 550, 551, 674, 675
- Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — 235, 236, 473, 621
- Фидий (V в. до н. э.), древнегреческий скульптор — 115
- Филоненко Мария Николаевна (Фрейденберг) — 144, 472, 477
- Фишер, владелец Fischer-Verlag — 560
- Флобер Гюстав (1821—1880), французский писатель — 70, 104
- Форш Ольга Дмитриевна (1873—1961), писательница — 252, 583, 624
- Франк Виктор Семенович (1909—1972), литературовед — 577, 581, 679
- Франк-Каменецкий Израиль Григорьевич, филолог — 162, 364, 611, 642
- Фрезер Джеймс Джордж (1854—1941), английский этнограф — 152
- Фрейденберг Александр Михайлович (Михайлов; 1884—1938), инженер — 123, 144, 150, 363, 376, 379, 381, 390, 461, 472, 477, 483, 604, 641, 644
- Фрейденберг Анца Осиповна (1860—1944) — 8, 17, 23, 24, 52, 56, 86, 123, 143, 144, 147—149, 151, 152, 153, 154, 161—163, 165, 205, 206, 208, 248, 304, 315, 316, 322, 339, 344, 351, 363, 364, 367, 377, 379, 380, 391, 392, 396, 397, 398, 400, 403—406, 411, 418, 427, 479, 584, 611, 630, 651
- Фрейденберг Михаил Федорович (Филиппович), изобретатель и журналист — 14, 15, 59, 142, 282, 585, 663
- Фрейденберг Ольга Михайловна (1890—1955) — 7—25, 50—53, 59, 61, 64, 123, 141—143, 146—148, 152, 153, 159, 162, 163, 204, 231, 245, 248, 258, 296, 304, 308, 312, 315, 322, 330, 339, 340, 342, 351, 355, 359, 364, 365, 367, 376, 379, 380, 389, 392, 394, 396, 398, 401—406, 411, 416, 420, 423, 426, 428, 435, 437, 449, 450—453, 457, 458, 460—462, 467, 471—474, 476, 482, 505, 513, 522, 524, 525, 529, 530, 533, 534, 581, 584—586, 591—593, 604, 607—611, 616, 620, 623, 625, 630, 632—642, 644, 647—649, 651—655, 657—663, 666—670
- Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190), германский император — 104
- Харди Томас (1840—1928), английский писатель — 157
- Хемингуэй Эрнест (1899—1961), американский писатель — 535, 670
- Хитарова Софья Михайловна, редактор — 519
- Хлебников Велемир (Виктор Владимирович; 1885—1922), поэт — 89, 121, 355, 599
- Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939), поэт — 139, 155, 157, 274, 281, 282, 629
- Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971), государственный деятель — 550
- Цветаева Анастасия Ивановна (р. 1894), писательница — 198, 199, 215, 221, 244, 615, 618, 619
- Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) — 125, 129, 173, 179, 180, 182, 183, 185, 191, 194, 198, 201, 209, 217, 222, 223, 225, 233, 244, 267, 275, 387, 429, 434, 442, 475, 502, 508, 517, 525, 533, 545, 559, 610, 613—616, 618, 626, 646, 653, 654, 664, 667, 670, 672
- Цветков, поэт — 133
- Церетели Георгий Васильевич (1904—1973), востоковед — 487

- Цетлин (Амари) Михаил Осипович (1882—1945), поэт и издатель — 158, 610, 633
- Чагин Петр Иванович (1898—1967), издательский деятель — 430, 431, 509
- Чайковский Петр Ильич (1840—1893), композитор — 521, 549
- Чаклин, хирург — 561
- Черняк Яков Захарович (1898—1955), историк литературы — 136, 214, 266, 617
- Чехов Антон Павлович (1860—1904) — 241, 371, 657, 676
- Чиковани Мария Николаевна — 480, 494, 503, 513, 553, 662, 665
- Чиковани Симон Иванович (1902/03—1966), грузинский поэт — 347, 350, 448, 456, 474, 480, 487, 494, 503, 505, 512, 513, 519, 520, 552—554, 638, 662, 665, 673
- Чечельницкая Гитель Яковлевна, филолог — 429, 438, 449, 460, 653
- Чуковская Лидия Корнеевна (р. 1908), писательница — 337, 406, 646, 660
- Чуковская Марина Николаевна (р. 1905), переводчица — 378, 612, 622
- Чуковская Мария Борисовна (1880—1955) — 406, 649
- Чуковский Борис Корнеевич (1910—1941), инженер — 406, 649
- Чуковский Корней Иванович (1882—1969), писатель — 129, 169, 171, 244, 373, 377, 383, 384, 406, 410, 413, 544, 563, 605, 645, 649, 675
- Чуковский Николай Корнеевич (1904—1965) — 128, 169, 232, 243, 297, 377, 406, 605, 612, 622, 631, 640, 644, 649
- Чулков Георгий Иванович (1879—1939), писатель — 328, 635
- Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982), писательница — 359
- Шаламов Варлам Тихонович (1907—1982), писатель — 496, 665
- Шаншиашвили Сандро (1888—1979), грузинский писатель — 326, 346, 495
- Шапиро Розалия Осиповна, сестра Л. О. Пастернака — 316, 633
- Шелли Перси Биши (1792—1822), английский поэт — 37
- Шекспир Уильям (1564—1616) — 130, 151, 240—242, 276, 422, 423, 428, 430, 431, 435, 445, 451, 452, 456, 457, 460, 461, 463, 464, 467, 477, 492, 495, 504, 512, 530, 542, 545, 570, 572, 622, 641, 647, 652—654, 657, 658, 669, 676, 677
- Шенгеля Николай Михайлович (1903—1943), кинорежиссер — 484, 485
- Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893—1942), поэт и переводчик — 92, 596, 597
- Шиманский Стифен, английский писатель — 443, 444, 656
- Шкапский Глеб Орестович, инженер — 411
- Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), писатель — 166, 168, 449, 509, 611
- Шолохов Михаил Александрович (1904—1985), писатель — 535
- Шопен Фридерик (1810—1849), польский композитор — 26, 186, 326, 479, 521
- Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ — 29
- Шор Мария Соломоновна, пианистка — 28, 37
- Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906—1975), композитор — 359
- Штих Анна Львовна (Розова), пианистка — 52, 69, 70, 73
- Штих Александр Львович (1890—1962) — 44, 45, 51, 52, 57—59, 62, 64, 80, 586, 590, 592, 593, 597, 598
- Штих Михаил Львович, скрипач — 52, 592
- Шторм Георгий Петрович

- (1898—1978), писатель — 339
- Шуман Роберт (1810—1856), немецкий композитор — 521
- Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952), писательница — 144
- Эвклид (Евклид; III в. до н. э.), древнегреческий математик, создатель элементарной геометрии — 39
- Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959), литературовед — 506
- Эйхенгольц Марк Давыдович (1889—1953), литературовед — 395
- Элиот Томас Стернс (1888—1965), английский поэт — 478
- Энгель Юлий Дмитриевич (1868—1927), музыкальный критик — 8, 44, 584, 590
- Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967), писатель — 187, 196, 199, 203, 414, 610—615, 651
- Эренбург Любовь Михайловна, (Козинцева), художница — 187, 614
- Эрлих Вольф Иосифович (1902—1937), писатель — 289, 630
- Эсхил (ок. 525—456 до н. э.), древнегреческий поэт — 37, 178, 181, 242
- Этингер Павел Давыдович (1866—1948), художественный критик — 413, 651
- Эфрон Ариадна Сергеевна (1912—1975)—198, 493, 533, 583, 664, 667, 670, 671
- Эфрон Георгий Сергеевич (1925—1944) — 198
- Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941), журналист — 188, 198, 201, 614
- Ювенал Децим Юний (ок. 60—127), римский поэт-сатирик — 366
- Юдина Мария Вениаминовна (1899—1970), пианистка — 315, 420, 521, 523, 583, 652, 667, 668
- Юрин Юрий Петрович (1894—1954), поэт — 346
- Юркун Юрий Иванович (1895—1938), литератор — 124, 604
- Языков Николай Михайлович (1803—1846/47), поэт — 105, 196
- Якобсен Енс Петер (1847—1885), датский писатель — 70, 540, 584
- Якобсон Соломон Леонович, двоюродный брат Б. Л. Пастернака — 142
- Якобсон Яков Леонович — 142
- Яшвили Медея — 327, 358, 374, 570, 635, 641
- Яшвили Паоло (1895—1937), грузинский поэт — 314, 324, 340, 342, 353, 358, 372, 374, 552, 635, 638, 641, 643, 673
- Яшвили Тамара Георгиевна (1904—1982)—314, 327, 371, 376, 635
- Яценко Александр Семенович (1877—1934), писатель и издатель — 138, 607

СОДЕРЖАНИЕ

1. О. М. Фрейденберг. 7 июля 1910	7
2. О. М. Фрейденберг. 23 июля 1910	8
3. О. М. Фрейденберг. 26 июля 1910	15
4. О. М. Фрейденберг. 28 июля 1910	17
5. А. О. и О. М. Фрейденберг. (Август 1910)	23
6. Л. О. Пастернаку. 22 апреля 1912	25
7. Л. О. Пастернаку. 23 апреля 1912	26
8. Л. О. Пастернаку. 7 мая 1912	26
9. Л. О. Пастернаку. 11 мая 1912	27
10. Л. О. Пастернаку. 14 мая 1912	28
11. Л. О. Пастернаку. 15 мая 1912	29
12. Ж. Л. Пастернак. 17 мая 1912	30
13. К. Г. Локсу. 19 мая 1912	36
14. Л. О. Пастернаку. 26 мая 1912	37
15. Л. О. Пастернаку. 29 мая 1912	38
16. А. Л. Пастернаку. 31 мая 1912	40
17. Л. О. Пастернаку. 5 июня 1912	41
18. Л. О. Пастернаку. 8 июня 1912	43
19. А. Л. Штиху. 18 июня 1912	44
20. Л. О. Пастернаку. 18 июня 1912	45
21. А. Л. Пастернаку. 21 июня 1912	48
22. Л. О. Пастернаку. 22 июня 1912	49
23. О. М. Фрейденберг. 27 июня 1912	50
24. А. Л. Штиху. 27 июня 1912	51
25. О. М. Фрейденберг. 30 июня 1912	52
26. Л. О. Пастернаку. 4 июля 1912	58
27. Л. О. Пастернаку. 5 июля 1912	56
28. А. Л. Штиху. 8 июля 1912	57
29. Л. О. Пастернаку. 9 июля 1912	60
30. О. М. Фрейденберг. 11 июля 1912	61
31. А. Л. Штиху. 11 июля 1912	62
32. Ж. Л. Пастернак. 15—16 июля 1912	63
33. А. Л. Штиху. 17 июля 1912	64
34. А. Л. Штиху. 17 июля 1912	67
35. А. Л. Штиху. 18 июля 1912	68
36. А. Л. Штиху. 19 июля 1912	68
37. А. Л. Штиху. 22 июля 1912	70
38. А. Л. Штиху. 25 июля 1912	71
39. А. Л. Штиху. 26 июля 1912	71
40. А. Л. Штиху. 3 августа 1912	72
41. С. П. Боброву. 2 июля 1913	73
42. С. П. Боброву. 2 августа 1913	74

43. С. П. Боброву. 21 сентября 1913	76
44. С. П. Боброву. 27 сентября 1913	77
45. Н. В. Завадской. 25 декабря 1913	78
46. А. Л. Штиху. 1 июля 1914	80
47. С. П. Боброву. 8 июля 1914	82
48. Л. О. и Р. И. Пастернак. <Июль 1914>	83
49. Д. П. Гордееву. 16 декабря 1915	87
50. С. П. Боброву. 2 мая 1916	87
51. С. П. Боброву. 8 ноября 1916	93
52. С. П. Боброву. 26 ноября 1916	93
53. Л. О. и Р. И. Пастернак. 9 декабря 1916	94
54. К. Г. Локсу. <Январь> 1917	97
55. С. П. Боброву. 13 февраля 1917	100
56. К. Г. Локсу. 13 февраля 1917	102
57. О. Т. Збарской. <Ноябрь> 1917	106
58. С. П. Боброву. 16 июля 1918	108
59. Д. В. Петровскому. 6 апреля 1920	109
60. Д. В. Петровскому. 1 июня 1920	112
61. Н. А. Павлович. 28 июня 1920	113
62. Д. В. Петровскому. 15 декабря 1920 — 19 января 1921	114
63. А. М. Горькому. 5 февраля 1921	117
64. Д. В. Петровскому. 1 мая 1921	119
65. В. П. Полонскому. <Лето 1921>	121
66. О. М. Фрейденберг. 29 декабря 1921	123
67. Ю. И. Юркуну. 14 июня 1922	124
68. Н. К. Чуковскому. 11 июля 1922	128
69. В. Я. Брюсову. 15 августа 1922	131
70. В. П. Полонскому. 2 января 1923	135
71. В. П. Полонскому. 10 января 1923	137
72. В. П. Полонскому. 11 февраля 1923	139
73. Н. С. Тихонову. 21 апреля 1924	140
74. О. М. Фрейденберг. 25 июля 1924	141
75. О. М. Фрейденберг. 2 августа 1924	143
76. О. Э. Мандельштаму. 19 сентября 1924	144
77. О. М. Фрейденберг. <Конец сентября 1924>	146
78. О. М. Фрейденберг. 28 сентября 1924	147
79. О. М. Фрейденберг. 6 октября 1924	152
80. О. М. Фрейденберг. 11 — 13 октября 1924	153
81. О. Э. Мандельштаму. 24 октября 1924	155
82. Ж. Л. Пастернак. 31 октября 1924	156
83. О. Э. Мандельштаму. <Начало ноября 1924>	158
84. О. М. Фрейденберг. 2 ноября 1924	159
85. О. М. Фрейденберг. 19 ноября 1924	161
86. О. М. Фрейденберг. 20 ноября 1924	162
87. О. М. Фрейденберг. <Середина декабря 1924>	163
88. О. Э. Мандельштаму. 31 января 1925	166
89. Н. К. Чуковскому. 14 мая 1925	169
90. О. Э. Мандельштаму. <Май 1925>	169
91. Н. С. Тихонову. 7 июня 1925	170
92. О. Э. Мандельштаму. 16 августа 1925	171
93. М. И. Цветаевой. 25 марта 1926	173
94. Р.-М. Рильке. 12 апреля 1926	178
95. А. А. Ахматовой. 17 апреля 1926	184
96. М. И. Цветаевой. 20 апреля 1926	186
97. М. И. Цветаевой. 19 мая 1926	191

98. М. И. Цветаевой. 28 мая 1926	194
99. М. И. Цветаевой. 5—7 июня 1926	198
100. М. И. Цветаевой. 30 июля 1926	201
101. О. М. Фрейденберг. 21 октября 1926	204
102. В. П. Полонскому. 2 ноября 1926	208
103. В. П. Полонскому. 1 июня 1927	209
104. С. А. Обрадовичу. 29 августа 1927	211
105. В. П. Полонскому. 19 сентября 1927	213
106. А. М. Горькому. 10 октября 1927	214
107. А. М. Горькому. 13 октября 1927	216
108. А. М. Горькому. 25 октября 1927	217
109. А. М. Горькому. 27 октября 1927	219
110. А. М. Горькому. 15 ноября 1927	223
111. С. Д. Спасскому. 15 ноября 1927	224
112. А. М. Горькому. 16 ноября 1927	224
113. А. М. Горькому. 23 ноября 1927	225
114. А. М. Горькому. 21 декабря 1927	229
115. Н. Н. Асееву. 21 декабря 1927	230
116. О. М. Фрейденберг. 3 января 1928	231
117. С. Д. Спасскому. 3 января 1928	233
118. А. М. Горькому. 4 января 1928	236
119. А. М. Горькому. 7 января 1928	237
120. В. Э. Мейерхольду. 26 марта 1928	240
121. Н. К. Чуковскому. 29 марта 1928	243
122. А. М. Горькому. (Начало апреля 1928)	244
123. В. В. Маяковскому. 4 апреля 1928	245
124. О. М. Фрейденберг. 10—20 мая 1928	246
125. О. М. Фрейденберг. 19 июля 1928	248
126. О. Э. Мандельштаму. 24 сентября 1928	249
127. А. Белому. 30—31 октября 1928	250
128. Н. С. Тихонову. 19 ноября 1928	252
129. К. А. Федину. 6 декабря 1928	253
130. С. Д. Спасскому. 22 декабря 1928	256
131. О. М. Фрейденберг. 27 декабря 1928	258
132. П. Н. Медведеву. 10 января 1929	259
133. П. Н. Медведеву. 20 января 1929	260
134. П. Н. Медведеву. 28 января 1929	261
135. П. Н. Медведеву. 23 февраля 1929	263
136. А. А. Ахматовой. 6 марта 1929	264
137. С. Д. Спасскому. 30 марта 1929	266
138. А. А. Ахматовой. 6 апреля 1929	267
139. А. А. Ахматовой. 10 апреля 1929	268
140. П. Н. Медведеву. 21 апреля 1929	269
141. С. Д. Спасскому. 24 апреля 1929	269
142. В. С. Познеру. 1 мая 1929	270
143. В. С. Познеру. 13 мая 1929	272
144. В. С. Познеру. 14 мая 1929	274
145. В. С. Познеру. 23 мая 1929	275
146. Н. С. Тихонову. 14 июня 1929	276
147. П. Н. Медведеву. 20 августа 1929	278
148. В. С. Познеру. (Октябрь — ноябрь 1929)	280
149. П. Н. Медведеву. 6 ноября 1929	283
150. П. Н. Медведеву. 28 ноября 1929	285
151. П. Н. Медведеву. 5 декабря 1929	287
152. Н. С. Тихонову. 5 декабря 1929	288
153. П. Н. Медведеву. 19 декабря 1929	290

154. П. Н. Медведеву. 30 декабря 1929	291
155. Л. Л. Пастернак. 9 января 1930	295
156. П. Н. Медведеву. 9 января 1930	297
157. Н. К. Чуковскому. 1 марта 1930	297
158. Л. О. Пастернаку. 26 марта 1930	300
159. А. М. Горькому. 31 мая 1930	302
160. О. М. Фрейденберг. 11 июня 1930	304
161. Ж. Л. Пастернак. 15 июля 1930	306
162. О. М. Фрейденберг. 21 августа 1930	308
163. С. Д. Спасскому. 29 сентября 1930	309
164. О. М. Фрейденберг. 20 октября 1930	312
165. А. Белому. 12 ноября 1930	313
166. С. Д. Спасскому. 30 октября 1930	315
167. О. М. Фрейденберг. 5 декабря 1930	315
168. С. Д. Спасскому. 15 февраля 1931	317
169. Дж. Риви. 28 марта 1931	317
170. П. П. Крючкову. 21 июня 1931	319
171. С. Д. Спасскому. 1 февраля 1932	321
172. О. М. Фрейденберг. 1 июня 1932	322
173. П. Яшвили. 30 июля 1932	325
174. Н. Н. Пунину и А. А. Ахматовой. 19 октября 1932	328
175. С. Д. и С. Г. Спасским. 22 октября 1932	329
176. О. М. Фрейденберг. (Вторая половина октября 1932)	330
177. Дж. Риви. 20 ноября 1932	331
178. Дж. Риви. 2 января 1933	333
179. А. Белому. (Январь 1933)	334
180. А. М. Горькому. 4 марта 1933	335
181. С. Д. и С. Г. Спасским. 30 апреля 1933	337
182. О. М. Фрейденберг. 3 июня 1933	339
183. О. М. Фрейденберг. 30 августа 1933	340
184. Т. Табидзе. 12 октября 1933	340
185. О. М. Фрейденберг. 18 октября 1933	342
186. Н. С. Тихонову. 4 января 1934	345
187. С. Д. Спасскому. 23 апреля 1934	347
188. С. Д. Спасскому. 27 сентября 1934	348
189. С. Д. Спасскому. 4 октября 1934	350
190. О. М. Фрейденберг. 30 октября 1934	351
191. Т. и Н. А. Табидзе. 8 декабря 1934	351
192. О. Г. Петровской-Силловой. 22 февраля 1935	353
193. О. М. Фрейденберг. 3 апреля 1935	355
194. С. Д. Спасскому. 14 апреля 1935	356
195. Т. и Н. А. Табидзе. 8 апреля 1936	357
196. О. М. Фрейденберг. 1 октября 1936	359
197. О. М. Фрейденберг. 7 октября 1936	364
198. Л. О. и Р. И. Пастернак. 24 ноября 1936	365
199. Л. О. и Р. И. Пастернак. 12 февраля 1937	367
200. Н. С. Тихонову. 2 июля 1937	370
201. Т. Г. Яшвили. 28 августа 1937	372
202. Н. А. Табидзе. 29 октября 1937	374
203. Н. А. Табидзе. (1938)	376
204. О. М. Фрейденберг. 1 ноября 1938	377
205. Н. К. Чуковскому. 5 ноября 1938	378
206. С. Д. Спасскому. (18 апреля 1939)	379
207. О. М. Фрейденберг. 1 мая 1939	380
208. Н. А. Табидзе. (Декабрь 1939)	380
209. О. М. Фрейденберг. 14 февраля 1940	381

210. М. Л. Лозинскому. 1 марта 1940	384
211. А. А. Ахматовой. 28 июля 1940	387
212. П. А. Павленко. 28 августа 1940	388
213. А. А. Ахматовой. 1 ноября 1940	389
214. О. М. Фрейденберг. 15 ноября 1940	392
215. О. М. Фрейденберг. 4 февраля 1941	393
216. Е. М. Стеценко. 8 февраля 1941	395
217. О. М. Фрейденберг. 20 марта 1941	396
218. О. М. Фрейденберг. 8 апреля 1941	399
219. О. М. Фрейденберг. 8 мая 1941	400
220. С. Д. Спасскому. 9 мая 1941	400
221. О. М. Фрейденберг. 8 июня 1941	401
222. О. М. Фрейденберг. 17 июня 1941	402
223. О. М. Фрейденберг. 9 июля 1941	404
224. О. М. Фрейденберг. 22 августа 1941	404
225. О. М. Фрейденберг. 14 сентября 1941	405
226. О. М. Фрейденберг. 8 октября 1941	405
227. О. М. Фрейденберг. 8 октября 1941	406
228. К. И. Чуковскому. 12 марта 1942	406
229. Т. В. и В. В. Ивановым. 12 марта 1942	408
230. А. Л. Пастернаку. 22 марта 1942	410
231. Т. В. и В. В. Ивановым. 8 апреля 1942	413
232. О. М. Фрейденберг. 18 июля 1942	416
233. Е. В. Пастернак. 16 сентября 1942	418
234. О. М. Фрейденберг. 5 ноября 1943	420
235. О. М. Фрейденберг. 12 ноября 1943	423
236. Д. С. Данину. 31 декабря 1943	424
237. Н. А. Табидзе. 30 марта 1944	425
238. О. М. Фрейденберг. 30 июля 1944	426
239. О. М. Фрейденберг. 21 июня 1945	428
240. И. С. Буркову. 23 июня 1945	429
241. С. Н. Дурылину. 29 июня 1945	430
242. Н. Я. Мандельштам. <Ноябрь 1945>	434
243. О. М. Фрейденберг. 2 ноября 1945	435
244. И. С. Поступальскому. 10 ноября 1945	436
245. Г. С. Улановой. 13 декабря 1945	437
246. О. М. Фрейденберг. 23 декабря 1945	437
247. И. С. Буркову. 28 декабря 1945	439
248. Ж. Л. и Л. Л. Пастернак. <Декабрь 1945>	439
249. Н. А. Табидзе. 24 января 1946	446
250. Н. Я. Мандельштам. 26 января 1946	448
251. С. Д. Спасскому. 28 января 1946	449
252. О. М. Фрейденберг. 1 февраля 1946	449
253. О. М. Фрейденберг. 24 февраля 1946	450
254. О. М. Фрейденберг. 31 мая 1946	450
255. О. М. Фрейденберг. 5 октября 1946	451
256. О. М. Фрейденберг. 13 октября 1946	453
257. Н. А. Табидзе. 4 декабря 1946	454
258. С. Д. Спасскому. 24 января 1947	456
259. О. М. Фрейденберг. 24 января 1947	457
260. О. М. Фрейденберг. 16 февраля 1947	458
261. О. М. Фрейденберг. 2—9 марта 1947	460
262. З. Ф. Руофф. 16 марта 1947	460
263. О. М. Фрейденберг. 26 марта 1947	461
264. О. М. Фрейденберг. 9 апреля 1947	461
265. О. М. Фрейденберг. 24 апреля 1947	462

266. О. М. Фрейденберг. 8 сентября 1947	462
267. Б. С. Кузину. 7 марта 1948	464
268. И. С. Буркову. 6 апреля 1948	466
269. И. С. Буркову. 7 мая 1948	466
270. О. М. Фрейденберг. 27 июня — 1 октября 1948	467
271. С. Д. Спасскому. 12 июля 1948	468
272. С. Д. Спасскому. 20 июля 1948	469
273. С. Д. Спасскому. 14 августа 1948	470
274. О. М. Фрейденберг. (Середина октября 1948)	471
275. О. М. Фрейденберг. 6 ноября 1948	472
276. Н. А. Табидзе. 25 ноября 1948	473
277. О. М. Фрейденберг. 30 ноября 1948	474
278. С. Д. Спасскому. 25 мая 1949	476
279. О. М. Фрейденберг. 7 августа 1949	476
280. Н. А. Табидзе. 15 октября 1949	479
281. О. И. Александровой. 25 октября 1949	480
282. О. И. Александровой. 20 ноября 1949	482
283. О. М. Фрейденберг. 9 декабря 1949	483
284. Н. Г. Вачнадзе. 31 декабря 1949	486
285. Н. С. Родионову. 27 марта 1950	486
286. Н. А. Табидзе. 6 апреля 1950	489
287. Р. К. Микадзе. 18 ноября 1950	491
288. Н. А. Табидзе. 19 ноября 1950	493
289. А. С. Эфрон. 5 декабря 1950	494
290. С. Чиковани. 29 апреля 1951	496
291. Н. А. Табидзе. 3 июня 1952	497
292. В. Т. Шаламову. 9 июля 1952	497
293. Н. А. Табидзе. 17 января 1953	503
294. О. М. Фрейденберг. 20 января 1953	505
295. М. К. Баранович. 3 февраля 1953	507
296. Н. Н. Асееву. 5 февраля 1953	507
297. В. Ф. Асмусу. 3 марта 1953	509
298. Н. А. Табидзе. 4 апреля 1953	511
299. Н. А. Табидзе. 7 июля 1953	512
300. О. М. Фрейденберг. 12 июля 1953	513
301. М. К. Баранович. 9 августа 1953	515
302. Н. А. Табидзе. 30 сентября 1953	517
303. Д. Н. и В. П. Журавлевым. 1 октября 1953	520
304. М. В. Юдиной. 17 декабря 1953	521
305. О. М. Фрейденберг. 30 декабря 1953	522
306. О. М. Фрейденберг. 31 декабря 1953	524
307. О. М. Фрейденберг. 7 января 1954	525
308. М. В. Юдиной. 18 января 1954	526
309. О. М. Фрейденберг. 20 марта 1954	527
310. О. М. Фрейденберг. 16 апреля 1954	529
311. О. М. Фрейденберг. 12 июля 1954	530
312. Е. В. Пастернаку. 12 июля 1954	531
313. О. М. Фрейденберг. 31 июля 1954	533
314. С. Д. Спасскому. 5 ноября 1954	534
315. О. М. Фрейденберг. 12 ноября 1954	534
316. Н. П. Смирнову. 2 апреля 1955	536
317. М. К. Баранович. 18 сентября 1955	538
318. З. Руофф. 10 декабря 1955	539
319. Н. А. Табидзе. 10 декабря 1955	540
320. М. Г. Ватагину. 15 декабря 1955	542
321. З. Руофф. 12 мая 1956	544

322. К. Г. Паустовскому. 12 июля 1956	546
323. И. С. Буркову. 9 октября 1956	547
324. А. К. Тарасовой. 5 августа 1957	548
325. Н. А. Табидзе. 21 августа 1957	549
326. С. Чиковани. 23 августа 1957	552
327. С. Чиковани. 6 октября 1957	554
328. Д. Е. Максимова. 25 октября 1957	556
329. Е. А. Благининой. 16 декабря 1957	557
330. К. Г. Паустовскому. 6 января 1958	559
331. Ф. А. Степуну. 30 мая 1958	559
332. Ф. А. Степуну. 10 июня 1958	560
333. Н. А. Табидзе. 11 июня 1958	561
334. К. И. Чуковскому. 25 июня 1958	563
335. В. Вс. Иванову. 1 июля 1958	563
336. Л. А. Воскресенской. 12 декабря 1958	568
337. О. Гончарову. 18 февраля 1959	569
338. Т. Т. и Н. А. Табидзе. 19 марта 1959	569
339. Б. К. Зайцеву. 15 марта 1959	571
340. Б. К. Зайцеву. 28 мая 1959	572
341. Н. Б. Соллогуб. 29 июля 1959	573
342. Б. К. Зайцеву. 4 октября 1959	575
343. К. Н. Бугаевой. 15 ноября 1959	576
344. М. К. Баранович. 25 января 1960	577
345. Б. К. Зайцеву. 11 февраля 1960	577
Комментарии	580
Алфавитный указатель имен	679

Пастернак Б. Л.
П19 Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. 5. Письма/
Редкол.: А. Вознесенский; Д. Лихачев; Д. Мам-
леев и др.; Сост. и коммент. Е. В. Пастернак и
К. М. Поливанова.— М.: Худож. лит., 1992.—
703 с.
ISBN 5-280-00985-7 (Т. 5)
ISBN 5-280-00765-X

В том входят избранные письма Б. Л. Пастернака 1910—1960 гг.

П 4702010206-174 Подписное
028(01)-92

ББК 84Р6

Борис Леонидович
ПАСТЕРНАК
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ

Том 5

Подбор иллюстраций и макет *П. Е. Пастернака*
В альбоме использованы фотографии из личного архива
Б. Л. Пастернака

Зав. редакцией *С. Князева*

Редактор *Ч. Залилова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *Г. Володина* и *М. Чупрова*

ИБ № 5695

Сдано в набор 04.12.90. Подписано к печати 16.08.91. Формат 84 ×
×108^{1/32}. Гарнитура «Школьная». Печать высокая. Усл. печ.
л. 36,96 + вкл. + альб. = 37,85. Усл. кр.-отг. 39,16. Уч.-изд. л. 38,51 +
+ вкл. + альб. = 39,44. Тираж 100 000 экз. Изд. № П-3511. Заказ 964.
«С» — 079.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
ГПП «Печатный Двор». 197110, Санкт-Петербург, П-110, Чкаловский
пр., 15

